

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

СТЕПИ ЕВРАЗИИ В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

*К 100-летию со дня рождения
М. П. Грязнова*



Санкт-Петербург
2002

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ

THE STATE HERMITAGE MUSEUM
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE FOR THE HISTORY OF MATERIAL CULTURE

STEPPE OF EURASIA IN ANCIENT TIMES AND MIDDLE AGES

Proceedings of International Conference

To the Centenary of Mikhail P. Gryaznov

Book I

St. Petersburg
The Hermitage Publishing House
2002

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

СТЕПИ ЕВРАЗИИ В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

*Материалы Международной научной конференции,
посвященной 100-летию со дня рождения
Михаила Петровича Грязнова*

Книга I

Санкт-Петербург
Издательство Государственного Эрмитажа
2002

Печатается по решению
Редакционно-издательского совета
Государственного Эрмитажа
и Ученого совета Института
истории материальной культуры РАН

Редакционная коллегия:

М.Б. Пиотровский
Е.Н. Носов
А.Ю. Алексеев
В.А. Алекшин
Н.А. Боковенко
В.С. Бочкарев
Э.Б. Вадецкая
Г.В. Длужневская
С.В. Красниенко
В.М. Массон
М.Н. Пшеницына
Д.Г. Савинов
Л.А. Соколова

Ответственный научный редактор Ю.Ю. Пиотровский

На обложке: бляха от узды № 8. Первый Пазырыкский курган. *Дерево*

**М.П. Грязнов
и его научное наследие**

Часть 1



**Mikhail Gryaznov
Scholarly Heritage**

Part 1

В свои юные года я увлекался математикой и любил науки о природе. Никогда не думал об истории, а тем более об археологии как о своих возможных профессиональных занятиях. Но судьба решила иначе. В 1920 г., студентом первого курса, естественником я попал в географическую экспедицию в предгорья Саян, и отряд, в котором я работал, однажды встретился на р. Енисей с археологическим отрядом, только что приступившим к раскопкам. Наш отряд задержался здесь на две недели и принял участие в раскопках. Так я неожиданно познакомился с археологией, полюбил ее раз и навсегда. В университете я получил специальность археолога и вот уже более 40 лет работаю археологом.

Почему же и 18-летним юношей, и теперь, когда мне стало уже за 60, я каждый год с нетерпением жду лета, чтобы ехать на раскопки, почему с трепетом и волнением приступаю к раскопкам каждого нового кургана или древней стоянки?

А зимой, почему только доносящиеся через окна звуки пробуждающегося утром города вдруг напоминают, что давно уже пора кончать работу, встать из-за стола и ложиться спать? Почему так увлекает и захватывает археология, и не только меня?

Пожалуй, нет другой такой науки, где бы исследователь так часто, чуть ли не на каждом шагу, сталкивался все с новыми, порой совершенно неожиданными открытиями. Каждые раскопки обязательно раскрывают таящиеся под землей загадки далекого прошлого людей, нашей Страны. Жажда познания тайн древнейшей истории человечества археологическими раскопками утоляется, но каждая новая раскопка тотчас порождает новые вопросы, еще более увлекательные и интересные. Хочется и надо исследовать все больше и больше новых памятников. Период летних работ археолога – это пора интереснейших научных поисков, полная удач, а иногда и разочарований.

Не менее интересны и увлекательны и зимние работы. То, что археолог находит в земле, – это лишь незначительные остатки воздвигнутых древним человеком сооружений или сделанных им вещей. Это лишь следы, иногда едва уловимые, жизни и деятельности древнего человека. Надо прочесть эти следы. Надо много потрудиться над детальным их изучением. Надо много приложить знаний, умения, изобретательности, чтобы подобно криминалисту, раскрывающему по незначительным следам картину расследуемого преступления, восстановить по обломкам и следам картину жизни и деятельности людей прошлых эпох. Зимние работы археолога также ведут ко многим интересным и ценным научным открытиям.

Однако все это пока, так сказать, лицевая сторона медали. Но у каждой медали есть и обратная сторона. Так и у археолога. Все, что я только что сказал об археологии, может создать впечатление, что занятия археологией – это сплошной праздник, одно лишь удовольствие. Это не так. Занятие археологией влечет за собой много трудностей и неприятностей. Летом приходится много и с напряжением работать в изнуряющую жару с воспаленными от пыли глазами, с хрустящим на зубах грязным песком, а также во время холодных дождей в липкой грязи. Грязь, пыль, сушь, жара, холод, комары и москиты, иной раз как бы сговорившись, не оставляют археолога ни на минуту в покое, не давая ему ни работать, ни отдыхать. А работать надо упорно и с большим напряжением всех умственных сил, иначе успеха в раскопках не жди. Но даже и в том



М.П. Грязнов, 1972 г.

случае, когда археолог, преодолев все трудности, отдал все свои силы и способности работе по раскопке памятника, даже и в этом случае его нередко может постичь полная неудача. Раскопки могут не дать никакого материала. Нередко случается так, что обещающий по внешнему виду хорошие результаты памятник ничего в себе не сохранил. Неудачи и разочарования знакомы всем археологам. То же и в зимних работах. Много иной раз скучного и кропотливого труда по подсчетам, сопоставлениям, сравнениям надо произвести, чтобы обосновать и доказать свои выводы. И здесь также бывают неудачи и разочарования. И после этого снова многие дни и недели упорного труда, пока не достигнешь намеченной цели.

Но ведь нет такой профессии, где бы не требовался упорный труд. Археолог, раскрывая страницу за страницей забытую книгу древнейшей истории человечества, помогает исторической науке изучать законы развития общества и тем самым позволяет на научных основаниях строить планы переустройства общества на коммунистических началах. Археолог участвует в процессе советской науки и в строительстве коммунистического общества.

Доктор исторических наук
М.П.Грязнов
10.02.1964



СПИСОК ПЕЧАТНЫХ РАБОТ С.А. ТЕПЛОУХОВА

1. Следы доисторической жизни в Минусинском крае // Географический вестник. Петроград, 1922. Т. III. С. 2–3.
2. Этнологические исследования в Сибири // Наука и ее работники. 1922. № 3–4 (подписано – С.Т.).
3. [Рецензия] A.M. Tallgren. Collection Zaoussailov an Musee Historique de Finland a Helsingfors (Отд. оттиск из неизвестного издания, напечатано приблизительно в 1922–1924 гг.).
4. Отчетная выставка этнографического отдела за 1923 г. // Описание работ экспедиции в Минусинский край. Петроград. Изд-во Русского музея. 1924. С. 8–12.
5. Раскопки в курганах Ноин-Ула // Кр. отчеты экспедиций по исследованию Северной Монголии. Л., 1925. С. 13–22, 6 табл.
6. Палеоэтнологические исследования в Минусинском крае // Этнографические экспедиции 1924–1925 гг. Л. Изд-во Русского музея, 1926. С. 88–94.
7. Древние погребения в Минусинском крае // Материалы по этнографии. Л., 1927. Т. III. Вып. 2. С. 57–112 (См. рец. А.М. Tallgren. Eurasia Septentiuonales Antiqua, III, 1928. С. 186–187).
8. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края // Материалы по этнографии. Л., 1929. Т. III. Вып. 2. С. 41–62.
9. По поводу журнала экспедиций Института археологической технологии от 9 февраля 1926 г. // Отчет Гос. Русского музея за 1925 г. Л., 1926. С. 89–91.
10. Древнеметаллические культуры Минусинского края // Природа, 1929. № 6. С. 539–552.
11. Андроновская культура // Сибирская сов. энциклопедия. 1929. Т. I. С. 115–116.
12. Афанасьевская культура // Там же, с. 122–123.
13. Археологическая Тувинская экспедиция // Отчет о деятельности АН СССР в 1929 г. 1929. 14–16 (без подписи).
14. Курганы и могилы // Сибирская сов. энциклопедия. 1931. Т. II. С. 1124–1129.
15. Карасукская культура // Там же, с. 526.
16. Каури в Урянхайском и Минусинском крае // Изв. Гос. Академии материальной культуры. 1931. Т. VI. Вып. 8–9. С. 101.
17. Металлический период // Сибирская сов. энциклопедия. 1932. Т. III. С. 400–415.

М. Грязнов
24.06.47 г.

**СПИСОК
ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ М. П. ГРЯЗНОВА**

1924

1. Сбор органических остатков при палеозоологических и археологических раскопках // Материалы по методике археологической технологии. РАИМК. Ин-т археол. технологии. Л., 1924. Вып. 1. С. 17 (совместно с С. И. Руденко, В. И. Громовой и др.).

1925

2. Инструкция для измерения черепа и костей человека // Материалы по методике археологической технологии. РАИМК. Ин-т археол. технологии. Л., 1925. Вып. 5. С. 40, 9 л. ил. (совместно с С. И. Руденко).
3. Бийская старина // Газ. «Звезда Алтая». 1925. № 143.

1926

4. Доисторическое прошлое Алтая // Природа. 1926. № 9–10. С. 97–98.
5. Раскопки на Урале // Там же. С. 96.
6. Каменные изваяния Минусинских степей // Природа. 1926. № 11–12. С. 100–105, ил. (совместно с Е. Р. Шнейдером).

1927

7. Описание костей человека из древних могил на Урале // Казаки. Л., 1927. Вып. 1. С. 238–257.
8. Погребения бронзовой эпохи в Западном Казахстане // Там же. С. 179–221, ил.

1928

9. Раскопка княжеской могилы на Алтае // Человек. 1928. № 2–4. С. 217–219, ил.
10. Ein bronzener Dolch mit Widderkopf aus Ostsibiren // Artibus Asiae. 1928–1929. № 4. S. 192–199, il.
11. Fürstengraber im Altaigebiet // Wiener Prahistorischen Zeitschrift. 1928. T. 15. S. 120–123, il.

1929

12. Археологические исследования в Сибири; Архитектура жилищ и построек туземцев Сибири; Аспелин; Гейкель; Городища // Сибирская сов. энциклопедия. М., 1929. Т. 1.
13. Бронзовый кинжал с оз. Кото-Кель // Бурятияведение. 1929. Вып. 1–2. С. 136–141, ил. (то же, отд. отт.)
14. Древние изваяния Минусинских степей // Материалы по этнографии. Л., 1929. Т. 4. Вып. 2. С. 63–93, 19 ил., 1 карт. (совместно с Е. Р. Шнейдером).
15. Пазырыкский курган // Человек и природа. 1929. № 24. С. 40–42, ил.
16. Пазырыкское княжеское погребение на Алтае // Природа. 1929. № 11. С. 971–984, ил.

1930

17. Древние культуры Алтая // Об-во изуч. Сибири. Материалы по изуч. Сибири. Новосибирск, 1930. Вып. 2. С. 11, ил.
18. Древние культуры Алтая // Сибироведение. 1930. № 3–4. С. 18–21.
19. Значение древесины в определении относительного возраста древних сооружений // Природа. 1930. № 2. С. 224–227.
20. Казахстанский очаг бронзовой культуры // Казаки. Л., 1930. Вып. 3. С. 149–162, ил., карт.

1931

21. Древние культуры Алтая // Journal of the Anthropol. Soc. Tokyo. 1931. Vol. 46. № 521 (на япон. яз.).
22. Каменные бабы // Сибирская сов. энциклопедия. М., 1931. Т. 2. Стб. 479–480, ил. (совместно с Е. Р. Шнейдером).

1932

23. Мартин // Сибирская сов. энциклопедия. М., 1932. Т. 3
24. Остатки человека из культурного слоя Афонтовой Горы // ТКИЧП. 1932. Т. 1. С. 137–144, ил.

1933

25. Боярская писаница // ПИМК. 1933. С. 41–45, ил.
26. Графический метод вычисления нормальной кривой вариационного ряда // Антропол. журнал 1933. № 1–2. С. 193–200. Рец. на нем. яз.

27. Инструкция по учету и охране памятников материальной культуры на новостройках // ГАИМК. Комитет по новостройкам. Л., 1933. С. 16, ил. (совместно с М. И. Артамоновым и Б. А. Латыниным).
28. The Pazirik Burial of Altai // Amer. Journal of Archaeology. 1933. Vol. 37. № 1. P. 31–44, il. (совместно с Е.А. Гольмштоком).

1934

29. Инструкция по учету и охране памятников материальной культуры на новостройках. 2-е изд. // ГАИМК. Комитет по новостройкам. Л., 1934. С. 24, ил. (совместно с М. И. Артамоновым и Б. А. Латыниным).

1935

30. Золото Восточного Казахстана и Алтая // ГАИМК. 1935. Вып. 110. С. 192–193.
31. Инструкция по учету и охране памятников материальной культуры на новостройках. 3-е изд. // ГАИМК. Комитет по новостройкам. Л., 1935. С. 12, ил. (совместно с М. И. Артамоновым и Б. А. Латыниным).

1937

32. Пазырыкский курган // АН СССР. ГЭ. М.; Л., Изд-во АН СССР. 1937. С. 44. Текст парал. на рус. и фр.

1938

33. Усуньские могильники на территории Киргизской ССР: К истории усуней // ВДИ. 1938. № 3 (совместно с М. В. Воеводским).

1939

34. Массажеты и саки // История СССР (макет). Ч. I–II. М.; Л., 1939. С. 188–193.
35. Ранние кочевники Западной Сибири и Казахстана // Там же. С. 399–413.
36. Сибирь, Казахстан и Средняя Азия // Там же. С. 142–159 (совместно с Б. Б. Пиотровским).
37. Средняя Азия во II–I вв. до н. э. // Там же. С. 303–311 (совместно с С. П. Толстовым).

1940

38. Раскопки на Алтае // СГЭ. 1940. Вып. 1. С. 17–21, ил.
39. Сибирь и Казахстан в эпоху бронзы; Культура и искусство ранних кочевников Сибири // Эрмитаж. Общий путеводитель. Л. 1940. Вып. 1.

1941

40. Древняя бронза Минусинских степей // Труды ОИПК. 1941. Т. 1. С. 237–271, ил. Рез. на англ. яз.

1945

41. Дополнение к статье А. Н. Зографа «Нумизматические статьи, помещенные в № 3–4 ВДИ за 1940 г.» // КСИИМК. 1945. Вып. 11. С. 152–153.
42. Хозяйство, быт и социальный строй ранних кочевников Алтая по раскопкам Пазырыкского кургана: (рез. докл.) // СГЭ. 1945. Вып. 3.
43. [Рецензия] // КСИИМК 1945. Вып. 11. С. 145–149. Рец. на кн.: Бернштам А. Н. Кенкольский могильник. Л., 1940.
44. [Рецензия] // КСИИМК. 1945. Вып. 11. С. 152–153. Рец. на кн.: Киселев С. В. Находка античных и византийских монет на Алтае. ВДИ, 1940. № 3–4.

1946

45. Техника графической реконструкции формы и размеров глиняной посуды по фрагментам // СА. 1946. Т. 8. С. 306–318, ил.

1947

46. К методике определения типа рубящего орудия: (топор, тесло) // КСИИМК. 1947. Вып. XVI.
47. Памятники майэмирского этапа эпохи ранних кочевников на Алтае // КСИИМК. 1947. Вып. 18. С. 9–17, ил.
48. Работы Алтайской экспедиции. Тез. докл. // КСИИМК. 1947. Вып. 21. С. 77–78.

1948

49. Сибирь и Казахстан в неолите и бронзовом веке; Культура и искусство ранних кочевников Сибири // ГЭ. Краткий путеводитель по отделу истории первобытной культуры. Л., изд-во Гос. Эрмитажа, 1948.

1949

50. Золотая бляха с изображением борьбы животных // Сокровища Эрмитажа. М.; Л., 1949. С. 71–74, ил.
51. Раскопки Алтайской экспедиции на Ближних Елбанах // КСИИМК. 1949. Вып. 26. С. 110–119, ил.

1950

52. Из далекого прошлого Алтайского края: По работам Алтайской археологической экспедиции ИИМК и ГЭ 1946–1949 гг. // Стенограмма лекции (Отд-ние культ.-просвет. работы Алтайского крайисполкома. краев. лекц. бюро). Барнаул, 1950. С. 20, ил.
53. Костяное орудие палеолитического времени из Западной Сибири // КСИИМК. 1950. Вып. 31. С. 165–167, ил.
54. Минусинские каменные бабы в связи с некоторыми новыми материалами // СА. 1950. Т. 12. С. 217–250, ил.
55. Первый Пазырыкский курган // ГЭ. Л., 1950. С. 92, ил. Библиогр.: с. 89–90.
56. [Рецензия] // ВЛУ. 1950. № 1. С. 116–122. Рец. на кн.: Руденко С. И., Руденко Н. М. Искусство скифов Алтая. Л., 1949.

1951

57. Археологическое исследование территории одного древнего поселка (Раскопки Северно-Алтайской экспедиции в 1949 г.) // КСИИМК. 1951. Вып. 40. С. 105–113, ил.
58. Итоги трехлетних работ на Верхней Оби // Тез. докл. на сессии отд-ния ист. и философ. и пленуме ИИМК, посвящ. итогам археол. исслед. 1946–1950 гг. М., 1951. С. 52–54.

1952

59. Некоторые итоги трехлетних археологических работ на Верхней Оби // КСИИМК. 1952. Вып. 48. С. 93–102, ил.
60. Памятники карасукского этапа в Центральном Казахстане // СА. 1952. Т. 16. С. 129–162, ил.

1953

61. Землянки бронзового века близ хутора Ляпичева на Дону // КСИИМК. 1953. Вып. 50. С. 137–148, ил.
62. Неолитическое погребение в с. Батени на Енисее // МИА. 1953. № 39. С. 332–385, ил.

1955

63. Выставка памятников культуры и искусства ранних кочевников // СГЭ. 1955. Вып. 8. С. 8–9, ил.
64. Колесница ранних кочевников Алтая // СГЭ. 1955. Вып. 7. С. 20–22, ил.
65. Некоторые вопросы истории сложения и развития ранних кочевых обществ Казахстана и Южной Сибири // КСИЭ. 1955. Вып. 24. С. 19–29.

1956

66. Войлок с изображением борьбы мифических чудовищ из Пятого Пазырыкского кургана на Алтае // СГЭ. 1956. Вып. 9. С. 40–42, ил.
67. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка // АН СССР. ИИМК. М.; Л. 1956. С. 161, ил. (МИА; № 48). Библиогр.: с. 158–160.
68. К вопросу о культурах эпохи поздней бронзы в Сибири // КСИИМК. 1956. Вып. 64. С. 27–42, ил.
69. Племена Сибири и Казахстана (в эпоху бронзы) // Очерки истории СССР: Первобытно-общинный строй и древнейшие государства. М., 1956. С. 168–176, ил.
70. Племена Сибири и Дальнего Востока в I тыс. до н. э. // Там же. С. 388–412, ил. (совместно с А. П. Окладниковым).
71. Северный Казахстан в эпоху ранних кочевников // КСИИМК. 1956. Вып. 61. С. 8–16, ил.
72. Эрмитаж: Первобытная культура // ГЭ. Путеводители по выставкам. М.: Искусство, 1956. Вып. 2. С. 42, 13 ил. (совместно с О.И. Давидан, К.М. Скалон).

1957

73. Этапы развития хозяйства скотоводческих племен Казахстана и Южной Сибири в эпоху бронзы // КСИЭ. 1957. Вып. 26. С. 21–28.

1958

74. Древнее искусство Алтая: [Альбом] // ГЭ. Л., 1958. С. 96, 64 ил. Текст парал. на фр. и рус. яз.

1959

75. Связи кочевников Южной Сибири со Средней Азией и Ближним Востоком в I тысячелетии до н. э. // Материалы Второго совещ. археологов и этнографов Средней Азии. М.; Л., 1959. С. 136–142, ил.

1960

76. Археологические исследования на Оби в ложе водохранилища Новосибирской ГЭС // Научная конф. по истории Сибири и Дальнего Востока. Секц. археол., этногр., антропол. и ист. Сибири и Дальнего Востока дооктябрьского периода. Подсекция. археол., этногр. и антропол. Сибири и Дальнего Востока. Докл. Иркутск, 1960. С. 22–24
77. Писаница эпохи бронзы из д. Знаменки в Хакассии // КСИИМК. 1960. Вып. 80. С. 85–89, ил.
78. По поводу одной рецензии [С. И. Руденко. СА. 1960. № 1] // СА. 1960. № 4. С. 236–238.

1961

79. Древнейшие памятники героического эпоса народов Южной Сибири // АСГЭ. 1961. Вып. 3. С. 7–31, ил.
80. Курган как архитектурный памятник // Тез. докл. на заседаниях, посвящ. итогам полевых исследований в 1960 г. М., 1961. С. 22–25.
81. Памятка по раскопкам грунтовых могильников // АН СССР. ЛОИА. Л., 1961. С. 14, ил.
82. Так называемые оселки скифо-сарматского времени // Исследования по археологии СССР. Сб. статей в честь М.И. Артамонова. Л., 1961. С. 139–144, ил.

1962

83. Антропоморфная фигурка бронзового века с р. Оби // СГЭ. 1962. Вып. 22. С. 26–27, ил.

1963

84. Бронзовый век // История Киргизии. Фрунзе. 1963. Т. 1. С. 54–65, ил.
85. Переход пастушеских племен Семиречья и Тянь-Шаня к кочевому скотоводству; Саки; Усуни // Там же. С. 66–78, ил., карт.

1964

86. Археологические раскопки на Енисее: (Пятый сезон работ Красноярской экспедиции. 1963 г.) // Тез. докл. на заседаниях, посвящ. итогам полевых исслед. 1963 г. М., 1964. С. 53–55.
87. К 60-летию Александра Марковича Беленицкого // СА. 1964. № 3. С. 170–171, портр.
88. Ковер ворсовый из Пятого Пазырыкского курган (Алтай); Бляха золотая из Сибири // ГЭ. Л., 1964. Рис. 6, 7.
89. О так называемых женских статуэтках трипольской культуры // АСГЭ. 1964. Вып. 6. С. 72–78, ил.
90. Прикладное и декоративное искусство на Енисее в скифское время // Тез. докл. на Юбилейной науч. сессии (Гос. Эрмитаж). Секц. заседания. Л., 1964. С. 12–14.

1965

91. О кельтеминарском доме // МИА. 1965. № 130. С. 99–102, ил.
92. Работы Красноярской экспедиции [Обзор работы за 1960–1963 гг.] // КСИА. 1965. Вып. 100. С. 62–71, ил.

1966

93. Восточное Приаралье: (Племена степной бронзы на севере страны) // Средняя Азия в эпоху камня и бронзы. М.; Л., 1966. С. 233–238, ил.
94. Культура и искусство скифов и ранних кочевников Алтая // ГЭ (Путеводитель по залам Гос. Эрмитажа). Л.; М., 1966. С. 120, ил. (совместно с Л. К. Галаниной и др.).
95. Курганы IV–III вв. до н. э. на оз. Сарагаш // КСИА. 1966. Вып. 107. С. 62–69, ил. (совместно с М. Н. Пшеницкой).
96. Надпись или олень?: (по поводу одной публикации) // Народы Азии и Африки. 1966. № 2. С. 131–133, ил. (совместно с С. Г. Кляшторным).
97. О чернолощенной керамике Кавказа, Казахстана и Сибири в эпоху поздней бронзы // КСИА. 1966. Вып. 108. С. 31–34, ил.

98. Работы Красноярской экспедиции // Тез. докл. на заседаниях, посвящ. итогам полевых исслед. 1965 г. М., 1966. С. 13–16.

99. Раскопки могильников в Западной Сибири // АО. 1965 (1966). С. 12–15, ил. (совместно с М. Н. Комаровой).

1967

100. Карасукский могильник Кюргеннер // АО. 1966 (1967). С. 137–138, ил. (совместно с М. Н. Комаровой).

1968

101. Афанасьевская культура (совместно с Э. Б. Вадецкой); Карасукская культура (совместно с Г. А. Максименковым, Б.Н. Пяткиным); Тагарская культура // История Сибири. Л., 1968. Т. 1. С. 159–165, 180–196, ил.

102. Бронзовый век // История Киргизской ССР. Фрунзе, 1968. Т. 1. С. 55–67, ил.

103. Переход пастушеских племен Семиречья и Тянь-Шаня к кочевому скотоводству; Саки; Усуни // Там же. С. 68–79, ил.

104. Работы Карасукского отряда // АО. 1967 (1968). С. 148–150, ил.

105. Степные скотоводческие племена Средней Азии в эпоху развитой и поздней бронзы // Проблемы археологии Средней Азии. Тез. докл. к совещ. по археологии Средней Азии. Л., 1968. С. 13–14.

1969

106. Классификация, тип, культура // Теоретические основы советской археологии. Л., 1969. С. 18–22.

107. Ковер ворсовый из Пятого Пазырыкского кургана; Бляха золотая из Сибири // Сокровища Эрмитажа. Изд. 2-е. Л., 1969.

108. Раскопки у горы Тепсей на Енисее // АО 1968 (1969). С. 176–179 (совместно с М. Н. Комаровой).

109. Эпоха бронзы в СССР // Тез. докл. на сессии Отд-ния истории АН СССР, посвящ. итогам полевых археол. и этногр. исслед. 1968 г. Л., 1969. С. 20–25.

110. Southern Siberia. Geneva, 1969. P. 252, il., kart. (Archaeologia Mundi). Изд. на англ., нем. и фр.

1970

111. Археологические коллекции Красноярской экспедиции // СГЭ. 1970. Вып. 31. С. 76–77, ил.

112. Могильники у г. Тепсей. // АО. 1969 (1970). С. 177–178.

113. Пастушеские племена Средней Азии в эпоху развитой и поздней бронзы // КСИА. 1970. Вып. 122. С. 37–43.

1971

114. Комплекс таштыкских погребальных памятников у горы Тепсей // АО. 1970 (1971). С. 202–204.

115. Методы исследования мегалитических погребальных памятников по итогам работ Красноярской экспедиции // Тез. докл. посвящ. итогам полевых археол. исслед. в 1970 г. в СССР: Археол. секция (доп. выпуск). Тбилиси, 1971. С. 11–17.

116. Миниатюры таштыкской культуры: (из работ Красноярской экспедиции 1968 г.) // АСГЭ. 1971. Вып. 13. С. 94–106, ил.

1972

117. Аржан – царский курган раннескифского времени в Туве // АО. 1971 (1972). С. 243–246, ил.

118. Бык в обрядах и культе древних скотоводов // Тез. докл. на сессиях и пленумах, посвящ. итогам полевых исслед. в 1971 г. М., 1972. С. 24–29.

119. Обследование берегов Красноярского моря // АО. 1971 (1972). С. 248–249 (совместно с Г. А. Максименковым).

120. Раскопки царского кургана раннескифского времени в Туве // Крат. тез. докл. к пленуму, посвящ. итогам археол. исслед. [ЛОИА] 1971. Л., 1972. С. 5–6 (совместно с М. Х. Маннай-Оолом).

121. Раскопки царского кургана раннескифского времени в Туве // Тез. докл. на сессии, посвящ. итогам полевых исслед. 1971. М., 1972. С. 420–421.

1973

122. Археологическая карта побережья Новосибирского водохранилища // Науч. труды НовосибГПИ 1973. Вып. 85. С. 3–44, ил. (совместно с Т. Н. Троицкой и др.).

123. Курган Аржан – могила «царя» раннескифского времени // УЗ ТНИИЯЛИ. 1973. Вып. 16. С. 191–206, ил. (совместно с М. Х. Маннай-Оолом).

124. Почва и археологические памятники в их взаимосвязи // Тез. докл. на сессии, посвящ. итогам полевых археол. исслед. 1972 г. в СССР. Ташкент, 1973. С. 67–70.

125. Раскопки кургана Аржан в Туве // АО. 1972 (1973). С. 207–208 (совместно с М. Х. Маннай-Оолом).

1974

126. Третий год раскопок кургана Аржан // АО. 1973 (1974). С. 192–195, ил. (совместно с М. Х. Маннай-Оолом).

1975

127. К хронологии древнейших памятников эпохи ранних кочевников // УСА. 1975. Вып. 3. С. 9–12.

128. Курган Аржан в Туве и вопросы сложения культур скифо-сибирского типа // Новейшие открытия сов. археологов: тез. докл. Киев, 1975. Ч. 2. С. 6–7.

129. Курган Аржан по раскопкам 1973–1974 гг. // УЗ ТНИИЯЛИ. 1975. Вып. 17. С. 185–198, ил. (совместно с М. Х. Маннай-Оолом).

130. Некоторые вопросы хронологии ранних кочевников в связи с материалами кургана Аржан // Ранние кочевники Средней Азии и Казахстана. Л., 1975. С. 6–10.

131. Окончание раскопок кургана Аржан // АО. 1974 (1975). С. 196–198 (совместно с М. Х. Маннай-Оолом).

1976

132. Дневник раскопок Тоянова городка, произведенных в 1924 г. // Из истории Сибири. ТомГУ. 1976. Вып. 19. С. 79–89, ил.

133. Монументальная скульптура скифского времени в степях Евразии и в Приуралье // Этнокультурные связи населения Урала и Поволжья с Сибирью, Средней Азией и Казахстаном в эпоху железа. Уфа, 1976. С. 11–13.

134. Раскопки у горы Тепсей на Енисее // АО. 1975 (1976). С. 230.

1977

135. Аржан: культура скифо-сибирского типа // Курьер ЮНЕСКО. 1977. № 1. С. 38–41, ил.

136. Бык в обрядах и культурах древних скотоводов // Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. М., 1977. С. 80–88.

137. Раскопки у горы Тепсей // АО. 1976 (1977). С. 198–200 (совместно с Ю. С. Худяковым, Н. А. Боковенко).

1978

138. К вопросу о сложении культур скифо-сибирского типа в связи с открытием кургана Аржан // КСИА. 1978. Вып. 154. С. 9–18, ил.

139. Саяно-алтайский олень: (этюды на тему скифо-сибирского звериного стиля) // Проблемы археологии. Л., 1978. Вып. 2. С. 222–232, ил.

1979

140. Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее // СО АН СССР. ИИФФ. Новосибирск, Наука, 1979. С. 167, ил. Библиогр.: с. 165–166 (совместно с М. Н. Комаровой, М. Н. Пшеницыной и др.).

141. О едином процессе развития скифо-сибирских культур // Тез. докл. Всесоюз. археол. конф. «Проблемы скифо-сибирского культурно-исторического единства». Кемерово, 1979. С. 4–7.

142. Основные проблемы археологии Сибири // Советская археология в 10-й пятилетке: Тез. докл. Всесоюз. конф. Л., 1979. С. 37–40.

1980

143. Аржан: Царский курган раннескифского времени // ИА АН СССР. Л., Наука, 1980. С. 62, ил.

1981

144. Монументальное искусство на заре скифо-сибирских культур в степной Азии // Кр. тез. докл. науч. конф. ОИПК ГЭ «Контакты и взаимодействие древних культур». Л., 1981. С. 21–24.

145. Инокультурные традиции на примере андроновско-карасукских сопоставлений // Преемственность и инновации в развитии древних культур. Л., 1981. С. 31–33.

146. Письмо в редакцию: [по поводу работ В. Е. Ларичева] // СА. 1981. № 4. С. 289–295 (совместно с А. Д. Столяром, А. Н. Рогачевым).

147. [Рецензия] // СА. 1981. № 1. С. 318–320. Рец. на кн.: Гурина Н. Н. Древние кремнедобывающие шахты на территории СССР. Л., 1976.

1982

148. Археологическая трасология: Программа спецкурса по археологии // УралГУ. Свердловск, 1982. С. 7. Библиогр.: с. 6–7.

149. О кенотафах // Проблемы археологии и этнографии Сибири: Тез. докл. регион. конф. Иркутск, 1982. С. 98–103.

1983

150. Начальная фаза развития скифо-сибирских культур // Археология Южной Сибири. 1983. Вып. 12. С. 3–18, ил.

151. Ранне-скифские памятники Киргизии в свете событий VIII – VII вв. до н. э. в степях Евразии // Культура и искусство Киргизии: Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. Л., 1983. Вып. 1. С. 31–32.

1984

152. Der Grosskurgan von Arzan in Tuva, Sudsibirien. München, 1984. S. 90, ил., карт. (AVA-Materialien; Bd. 23).

1992

153. Задачи и итоги работ Иркутской экспедиции // Древности Байкала. Иркутск, 1992. С. 5–13, ил. (совместно с Г.А. Максименковым).

154. Раскопки многослойного поселения Улан-Хада // Там же. С. 13–32, ил. (совместно с М. Н. Комаровой).

155. Алтай и приалтайская степь // Археология СССР. Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992. С. 161–178, карт., табл. (составитель М.Н. Пшеницына).

1997

156. Анализ вещи: (методика культурно-исторического изучения элементарных археологических памятников-вещей) // Четвертые ист. чтения памяти М. П. Грязнова. Омск, 1997. С. 98–101.

157. Почва – хранитель археологических памятников // Вестник ОмГУ. 1997. № 3.

1999

158. Афанасьевская культура на Енисее // ИИМК РАН. Под ред. М. Н. Пшеницыной. СПб., Дм. Буланин, 1999. С. 136, ил., рез. на англ.

Литература о М. П. Грязнове

Аванесова Н. А., Кызласов Л. Р. Памяти Михаила Петровича Грязнова // СА. 1985. № 4. С. 277–283, портр. Список печатных работ, с. 280–283.

Астахов С.А. М.П. Грязнов как организатор крупных новостроечных археологических экспедиций в Сибири // Северная Евразия от древности до средневековья. Тез. конф. к 90-летию со дня рожд. М.П. Грязнова. ИИМК РАН, 1992. С. 10–12.

Баркова Л. Л., Марсадолов Л. С. М. П. Грязнов: 1902–1984 // СГЭ. 1987. № 57. С. 96–97.

Боковенко Н. А. Научный вклад М. П. Грязнова в скифо-сарматскую проблематику // Ист. чтения памяти М.П. Грязнова: Тез. докл. Омск, 1987. Ч. 1. С. 26–27.

Бобров В. В. Проблема социальных реконструкций в научном наследии М. П. Грязнова // Четвертые ист. чтения памяти М. П. Грязнова. Омск, 1997. С. 7–9.

Вадецкая Э. Б., Максименков Г.А., Пяткин Б. Н. Михаил Петрович Грязнов // ИСО АНСССР. Сер. обществ. наук. 1973. Вып. 2. С. 154–156, портр.

Вадецкая Э. Б. Методологические разработки М. П. Грязнова // Ист. чтения памяти М. П. Грязнова: Тез. докл. Омск, 1987. Ч. 1. С. 14–17.

Васильева Р. В. Личный фонд М. П. Грязнова: Вопросы обработки и перспективы использования // Там же. С. 9–10.

Глушков И. Г. Вещь глазами М. П. Грязнова // Вопросы истории археол. исслед. Сибири. Омск, 1992. С. 56–77.

Жук А. В. Палеозтологи Санкт-Петербурга – Петрограда: Из предыстории становления М. П. Грязнова // Ист. чтения памяти М. П. Грязнова: Тез. докл. Омск, 1987. Ч. 1. С. 18–21.

- Заднепровский Ю. А.* Средняя Азия в научном наследии М. П. Грязнова // Там же. С. 21–24.
- Зайцев Н.А.* О пребывании М.П. Грязнова в Кирове в 1934–1937 гг. // Северная Евразия от древности до средневековья. Тез. конф. к 90-летию со дня рожд. М.П. Грязнова. ИИМК РАН. СПб., 1992. С. 9–10.
- К 70-летию Михаила Петровича Грязнова // Первобытная археология Сибири. Л., 1975. С. 3–4.
- Киришин Ю. Ф.* Вклад М. П. Грязнова в изучение древней истории Алтая // Вторые ист. чтения памяти М. П. Грязнова. Омск., 1992. Ч. 1. С. 6–9.
- Коробкова Г.Ф.* Михаил Петрович Грязнов и трасология // Северная Евразия от древности до средневековья. Тез. конф. к 90-летию со дня рожд. М.П. Грязнова. ИИМК РАН. СПб., 1992. С. 17–19.
- Лисицын Н. Ф.* Вклад М. П. Грязнова в изучение каменного века // Ист. чтения памяти М. П. Грязнова: Тез. докл. Омск, 1987. Ч. 1. С. 24–26.
- Макаров Л. Д.* Вклад М. П. Грязнова в изучение исторического прошлого Вятской земли // Там же. С. 30–32.
- Макаров Л. Д.* М. П. Грязнов и Вятка: материалы архива ИИМК РАН // Архивы и общество: история, современность, перспективы. Ижевск, 1998. С. 36–41.
- Макаров Л. Д.* Вятские материалы М. П. Грязнова в архиве ИИМК РАН // 120 лет археологии восточного склона Урала. Екатеринбург, 1999. Ч. 1. С. 39–42.
- Матющенко В. И.* Михаил Петрович Грязнов и его место в советской археологии // Ист. чтения памяти М. П. Грязнова: Тез. докл. Омск, 1987. Ч. 1. С. 6–9.
- Матющенко В. И.* М. П. Грязнов – историк // Историк об истории. Омск. 1989. С. 26–31.
- Матющенко В. И., Швыдкая Н. П.* Михаил Петрович Грязнов: Истоки научной школы // История археол. исслед. Сибири. Омск, 1990. С. 77–90.
- Пряхин А. Д., Писаревский Н. М.* М. П. Грязнов и разработка истории ранних скотоводческих обществ в группе по истории кочевнического скотоводства ГАИМК (1930–1999 гг.) // Ист. чтения памяти М. П. Грязнова: Тез. докл. Омск, 1987. Ч. 1. С. 27–29.
- Пшеницына М. Н.* Научное наследие Михаила Петровича Грязнова: (По материалам архивного фонда ЛОИА АН СССР) // Там же. С. 10–14.
- Пшеницына М.Н., Беленицкий А.М.* Основные этапы жизни и научной деятельности Михаила Петровича Грязнова // Северная Евразия от древности до средневековья. Тез. конф. к 90-летию со дня рожд. М.П. Грязнова. ИИМК РАН. СПб., 1992. С. 5–9.
- Савинов Д. Г.* «Ранние кочевники» в исследованиях М. П. Грязнова и современное состояние проблемы // Третьи ист. чт. памяти М. П. Грязнова. Омск, 1995. Ч. 1. С. 76–80.
- Свиридовская О. Н.* М. П. Грязнов и становление статистико-математических методов в советской археологии (1920–1940-е годы) // Вторые ист. чт. памяти М. П. Грязнова. Омск, 1992. Ч. 1. С. 13–15.
- Троицкая Т. Н.* Исследования М. П. Грязнова на берегах Новосибирского водохранилища // История археол. исслед. Сибири. Омск, 1990. С. 148–153.
- Троицкая Т. Н.* О Михаиле Петровиче Грязнове // Пятые ист. чтения памяти М. П. Грязнова. Омск, 2000. С. 119–120.
- Худяков Ю. С.* Вклад М. П. Грязнова в развитие средневековой археологии Сибири // Вторые ист. чтения памяти М.П. Грязнова. Омск, 1992. Ч. 1. С. 10–12.
- Шевченко О. В.* Начало творческого пути М. П. Грязнова: исслед. истории ранних кочевников // Вопросы истории археол. исслед. Сибири. Омск, 1992. С. 78–84.
- Шер Я. А.* К вопросу о приоритетах // Там же. С. 85–92.
- Шер Я. А.* Я учился у М. П. Грязнова // Пятые ист. чтения памяти М. П. Грязнова. Омск, 2000. С. 132–141.
- Эрлих В. А.* М. П. Грязнов о бронзовом веке юга Западной Сибири: (литература 1920 – середины 1960-х годов) // Вторые ист. чтения памяти М. П. Грязнова. Омск, 1992. Ч. 1. С. 22–24.
- Эрлих В. А.* Творческие интересы М. П. Грязнова: некоторые статистические данные // Третьи ист. чтения памяти М.П. Грязнова. Омск, 1995. Ч. 1. С. 102–106.

Составитель
Л.М. Всевиов



Сергей Александрович Теплоухов
(1888–1934)

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ГРЯЗНОВА (1902–1984)

Давно стало привычным, что когда заходит речь об изучении Сибири, то, прежде всего, всплывает понятие «первопроходства». Не являются исключением и исследования в области ее исторических древностей – в археологии. В прославленной когорте первопроходцев-археологов Михаилу Петровичу Грязнову – выдающемуся российскому ученому, доктору исторических наук, заслуженному деятелю науки РСФСР, лауреату Государственной премии СССР, член-корреспонденту Германского археологического института – принадлежит одно из первых мест. Он один из тех ученых, чьи труды составляют «золотой фонд» науки. Многогранность научных интересов – характерная черта ученых, прокладывающих трудные пути в науке, – в полной мере присуща и Михаилу Петровичу. Его научное наследие насчитывает свыше 140 печатных работ. Для них характерны изумительная тонкость и точность наблюдений, большой интерес к вопросам технологии и использования древних вещей, внимательное отношение к мелочам, что позволяло исследователю подмечать многие явления, ускользающие от внимания других археологов. Скрупулезный анализ, широкая эрудиция в области этнографии позволяли М.П. Грязнову извлекать максимальную информацию из каждого артефакта, добытого во время раскопок. Эти качества давали ему возможность восстанавливать образ жизни древних племен в различных экологических нишах в совершенно новых аспектах и с такими подробностями, которые, казалось бы, не были доступны археологам. С особым вниманием и компетентностью ученый разрабатывал различные вопросы жизни древних обществ, их социального и идеологического устройства. В ряде статей, представленных на страницах этого сборника, сделана попытка дать полное, хотя и далеко не исчерпывающее представление об облике ученого и главных направлениях его деятельности.

В предлагаемой статье, являющейся, по сути, общим очерком научной биографии Михаила Петровича, помимо главных, ранее известных фактов, дан ряд сведений из материалов личного архива ученого, переданного

Рукописному архиву ИИМК РАН (фонд 91). Важность этих новых данных, представляющих особенно большое значение для характеристики Михаила Петровича не только как ученого, но и как замечательной личности, кажется нам бесспорной.

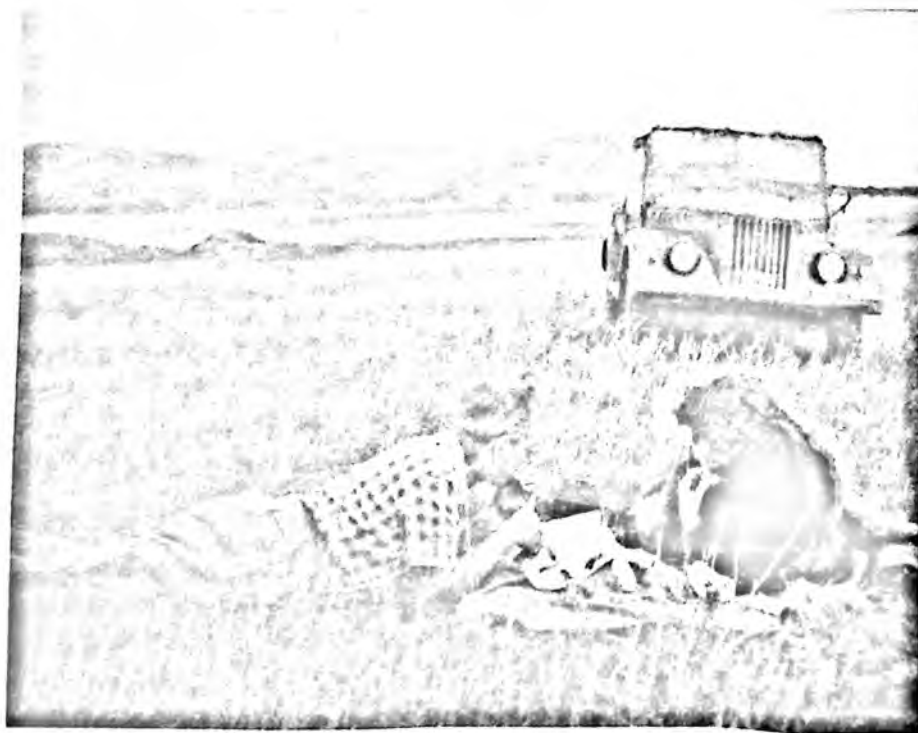
Михаил Петрович Грязнов родился 13 марта 1902 г. в г. Березове бывшей Тобольской губернии (ныне Тюменская область) в семье инспектора городского училища. После обучения в начальной местной школе с 1912 по 1919 гг. он обучался во Втором Томском реальном училище, по окончании которого в 17 лет поступил в Томский государственный университет на математическое отделение физико-математического факультета. Весной 1920 г. Михаил Петрович перевелся на естественное отделение того же факультета. Важным событием, во многом определившим направления его жизненного пути, стало участие Михаила Петровича летом 1920 г. в составе лимнологического отряда географической экспедиции Томского государственного университета (начальник С.И. Руденко), работавшей по берегам Енисея. Здесь он случайно попал в археологический отряд той же экспедиции, которой руководил доцент ТГУ Сергей Александрович Теплоухов. Вот как сам Михаил Петрович пишет в своих воспоминаниях об этом событии спустя 40 с лишним лет: «В свои юные годы я увлекался математикой и любил науки о природе. Никогда не думал об истории, а тем более об археологии как о своих возможных профессиональных занятиях. Но судьба решила иначе. В 1920 году, студентом первого курса, естественником, я попал в географическую экспедицию в предгорья Саян, и отряд, в котором я работал, однажды встретился на реке Енисей с археологическим отрядом, только что приступившим к раскопкам. Наш отряд задержался здесь на 2 недели, и я принял участие в раскопках. Так я неожиданно познакомился с археологией, полюбил ее раз и навсегда» [Архив ИИМК РАН, фонд 91, личный архив М.П. Грязнова]. Широко известны слова высокого уважения, с которыми Михаил Петрович говорил о своем первом учителе полевой археологии

Сибири. С.А. Теплоухов (1888–1934) проработал в области археологии Сибири сравнительно недолго – 14 лет, и написал за это время 17 работ. «Но заслуги его в области сибирской археологии неосценимы... Он дал первую подробную хронологическую классификацию памятников на Енисее, которая послужила эталоном для хронологических классификаций археологических памятников в других областях Восточной и Западной Сибири, Казахстана, частично и Средней Азии» [Грязнов. Доклад на заседании Средней Азии и Кавказа ЛОИА АН СССР 15.03.1963 г.]. Впрочем, судя по некоторым данным, интерес к древностям в сознании Михаила Петровича возбудил учитель Томского реального училища Виктор Федорович Смоллин, впоследствии, будучи уже профессором Казанского университета, открывший абашевскую культуру в Чувашии.

В мае 1922 г. С.А. Теплоухов и С.И. Руденко переезжают в Петроград, где занимают ведущие должности в Государственном университете, в этнографическом отделе Государственного Русского музея и Российской академии истории материальной культуры. При поддержке С.А. Теплоухова в том же 1922 г. Михаил Петрович перевелся в Петроградский Государственный университет на естественное отделение физико-математического факультета, где в течение трех лет (1922–1925 гг.) проходил курс по циклу антропологии и палеозтологии. С

1922 по 1929 гг. С.А. Теплоухов, замещая должность доцента по кафедре антропологии, читает курс по первобытной археологии и различные спецкурсы. Михаил Петрович пишет о том, что «...лекции его пользовались неизменным успехом. В свои лекции он (С.А. Теплоухов) вкладывал всю страсть своей ищущей натуры, он стремился не столько к тому, чтобы сообщить слушателям какую-то сумму известных науке фактов, сколько к тому, чтобы передать слушателям ту жажду знаний, которая обуревала его, и указать пути утоления ее. Он горел на лекциях, но горел без эффектного пламени, а жарким внутренним огнем, и огонь его передавался слушателям...» [М.П. Грязнов. Доклад на заседании сектора Средней Азии и Кавказа ЛОИА АН СССР. 15.03.1963]. Одновременно с учебными занятиями на факультете Михаил Петрович поступил работать научным регистратором в РАИМК (1922–1925 гг.). По окончании третьего курса Университета он перешел на постоянную работу в качестве научного сотрудника в этнографический отдел Государственного Русского музея. Здесь Михаил Петрович проработал с 1925 по 1933 г., совмещая службу в музее с работой в ГАИМК в должности старшего научного сотрудника.

В 1924 г. он проводит самостоятельные раскопки «Тоянова городка» близ Томска, в 1925 г. – раскопки на р. Урал в пределах Казахской ССР могил андроновской



М.П. Грязнов, М.Н. Пшеницына. Карасук, 1962 г.

культуры и обследование берегов р. Оби от Бийска до Барнаула. И в эти же годы он опубликовал свои первые научные работы. В 1925 г. вышла в свет его «Инструкция для измерения черепа и костей человека» совместно с С.И. Руденко, служившая в течение многих десятилетий руководством для исследователей. По отзыву Г.Ф. Дебеца, эта инструкция являлась наиболее подробным изданием такого рода на русском языке. В конце 20-х гг. вполне определенно очерчивается круг научных интересов Михаила Петровича. В этот период он концентрирует свое внимание на исследовании памятников эпохи бронзы и раннего железа в обширном регионе, охватывающем юг Сибири, Алтайский Край, Казахстан и Киргизию. Исследования Михаила Петровича приобретают прочную опору в удачных, чрезвычайно плодотворных открытиях, как, например, раскопки двух княжеских курганов на Алтае – Шибе (1927 г.) и 1-го Пазырыкского кургана (1929 г.). Ставшие классическими в евразийской археологии, они не нуждаются сегодня в особой характеристике. Очевидно и их общеисторическое значение как памятников материальной и духовной культуры. Отметим лишь, что в ходе этих раскопок Михаилом Петровичем была создана новая методика изучения подобных сложных памятников с мерзлотой, и воссоздана в деталях обстановка погребального обряда.

В те же годы в ГАИМК образовалась группа исследователей, работавшая над темой «Возникновение кочевого скотоводства» (ВКС). Михаил Петрович принял в ее разработке самое активное участие. Эта проблема стала одной из ведущих в его научной деятельности на многие годы. Позже, в 1939 г. им впервые было сформулировано определение эпохи ранних кочевников как особого периода в истории Евразии, вошедшего в специальную научную литературу. В 1929 г. выходит работа Михаила Петровича «Древние изваяния минусинских степей», в которой на основании детального анализа изображений выделена группа памятников бронзового века. Эта статья, как и публикация в журнале «Природа» [1926, № 11–12], написана Михаилом Петровичем совместно с Евгением Робертовичем Шнейдером, его товарищем по первым экспедициям с С.А. Теплоуховым. Жизнь Е.Р. Шнейдера трагически оборвалась в 1938 г.: он был арестован и расстрелян [Формозов, 1998, с. 202].

Из имеющихся публикаций о жизни и трудах Михаила Петровича их общую канву дает обстоятельный очерк Н.А. Аванесовой и Л.Р. Кызласова [1985, с. 277–283]. Но в нем заметен пропуск, охватывающий период 1934–1936 гг. И лишь материалы из личного архива ученого (фонд 91), а также опубликованное в 1994 г. Ф.Д. Ашнинным и В.М. Алпатовым «Дело славистов» (30-е гг.) позволяют заполнить эту лауну. Хотя в тот период Михаил Петрович вынужден быть прервать свою

работу в столь успешно начатой им области исследований, однако именно эти годы более чем важны для характеристики его как личности. Дело в том, что в конце ноября 1933 г. группу ученых очень высокого уровня: А.А. Миллера, Д.А. Золотарева, Ф.А. Фиельструп, С.А. Теплоухова, Г.А. Бонч-Осмоловского, а также и М.П. Грязнова (арестован 29.11.1933) в связи с абсолютно сфабрикованным делом «Российской национальной партии» (или «Делом славистов») обвинили в активном участии в фашистской контрреволюционной организации украинских и русских националистов, якобы созданной при этнографическом отделе Государственного Русского музея, где все они в это время работали. Некоторые из арестованных подписывали протоколы следствия, признав свою «несуществующую» вину, что стало причиной трагических для них последствий. С.А. Теплоухов повесился во время следствия (не позднее 15.03.1934 г.), Ф.А. Фиельструп погиб при невыясненных обстоятельствах в Доме предварительного заключения 07.12.1933 г. Оба были посмертно реабилитированы в 1958 г. из-за отсутствия состава преступления. Проявив незаурядную стойкость и силу воли, Михаил Петрович решительно отказался признать себя виновным в несовершенном преступлении, выдержав 12 допросов. «Значительная часть допросов не сопровождалась составлением протоколов (из 12 допросов только 6 зафиксированы в протоколах) а в тех случаях, когда протокол и был составлен, то в нем фиксировалась только небольшая часть моих ответов на вопросы следователя. Это давало возможность следователям делать безответственные заявления и применять угрозы. Мне грозили 10 годами заключения, расстрелом, ссылкой в Колывань и т. д.» [Архив ИИМК РАН, ф. 91, личный архив М.П. Грязнова]. В личных бумагах Михаила Петровича были обнаружены записанные по памяти его рукой все 12 допросов.

Нельзя в этой ситуации не вспомнить известные слова, приписываемые Вольтеру, что «мудрость в сочетании с сильной волей сильнее самой судьбы».

При отсутствии фактических свидетельств и при отказе в самообвинении органы, решавшие судьбу арестованных, ограничились высылкой Михаила Петровича по этапу в Киров (ныне Вятка) Горьковской области сроком на 3 года. 25 декабря 1936 г. он был освобожден, а позднее и снято само обвинение из-за отсутствия состава преступления (Справка Военного Трибунала Ленинградского Военного округа № 1179-Н-56/819 от 8.12.1956).

Продолжать свои исследования в прежнем направлении в Кирове было невозможно, но Михаил Петрович нашел применение своим силам, работая в местном краеведческом музее [Зайцев, 1992, с. 9–10].

Вернувшись в 1937 г. из ссылки в Ленинград, он какое-то время находится без работы и только при поддержке

М.И. Артамонова устраивается в Государственный Эрмитаж, с которым был связан практически до конца своей жизни. Что касается ГАИМК, позже реорганизованного в ИИМК – ЛОИА АН СССР – ИИМК РАН, то здесь Михаил Петрович в 1939 г. был восстановлен в должности старшего научного сотрудника. Им был написан ряд замечательных работ, в том числе и работа о бронзовых кельтах – первый опыт использования методов математической статистики в мировой археологии, о чем неоднократно писали многие археологи (Я.А. Шер, Л.С. Клейн и др.).

В годы Великой Отечественной войны с августа 1941 до осени 1945 г. он находился в эвакуации с ценностями Государственного Эрмитажа в Свердловске. В эвакуации он много писал, а в 1942 г. даже сумел провести раскопки стоянок эпохи палеолита и ранней бронзы на р. Чусовой. Возвратившись в Ленинград, Михаил Петрович продолжает работу в ИИМК сначала по совместительству, а с 1948 г. – в должности старшего научного сотрудника. В январе 1945 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Погребения эпохи бронзы в Западном Казахстане», а в июне того же года ему присудили степень доктора исторических наук за прекрасную, но, к сожалению, рукописную монографию «Пазырык – погребение племенного вождя на Алтае». С 1951 по 1953 г. Михаил Петрович руководил лабораторией археологической технологии, а с 1951 по 1968 г. (в течение 15 лет) заведовал сектором Средней Азии и Кавказа. С 1970-х гг. он также возглавлял Ленинградскую секцию Отдела полевых исследований при Президиуме Академии наук СССР.

Период 1950–1960-х гг. – время главных достижений в разнообразной деятельности Михаила Петровича и в области полевых археологических исследований. В эти годы им создана целая школа археологов, ныне успешно работающих в научных учреждениях России, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и за рубежом.

Михаил Петрович был прекрасным руководителем и организатором научной работы. Сектор Средней Азии и Кавказа по составу своих сотрудников и их научных интересов представлял собой достаточно разнообразный коллектив. В такой обстановке руководителю легко дать крен в сторону преимущественного интереса к своей собственной специальности. Однако мы можем с полной ответственностью утверждать, что за время его заведования сектором даже намек на некий фаворитизм отмечать не приходилось.

Более четверти века Михаил Петрович руководил крупнейшими в Сибири новостроечными экспедициями. В процессе этих работ им была отработана едва ли не самая совершенная в нашей стране методика изучения различных погребальных памятников.

Первые послевоенные полевые работы Михаила Петровича в районе Верхней Оби завершились выходом в свет его монографии «История древних племен Верхней Оби» (1956). Работа построена на материалах раскопок Северо-Алтайской экспедиции Государственного Эрмитажа и ИИМК АН СССР (1946, 1947, 1949 гг.), в результате которых ему удалось создать хронологию культур для лесостепной полосы Западной Сибири, начиная с эпохи бронзы и до XIII в. Иначе обстоят дела с публикацией результатов работ Новосибирской новостроечной экспедиции ИИМК (1952–1954 гг.) в зоне затопления Новосибирской и Каменской ГЭС в долине р. Обь, где было открыто около 100 памятников. На 30 из них проведены раскопки, позволяющие детально проследить историю населения этого района от неолита до XVII в. На сегодняшний день в кратком изложении опубликованы лишь материалы многослойного поселения Ирмень I [Грязнов, «К вопросу о культурах эпохи поздней бронзы в Сибири»), стоянки Ирмень II и других поселений с хорошо выраженным неолитическим культурным слоем [Комарова, «Неолит Верхнего Приобья»]; [Завитухина, «Ордынские курганы V–IV вв. до н.э.». Часть неопубликованных материалов экспедиции была включена в монографию [Молодин. «Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья», 1977]. Перечень всех зафиксированных экспедицией памятников опубликован в «Археологической карте побережья Новосибирского водохранилища» (1973).

В 1959 г. Михаил Петрович возглавил Иркутскую экспедицию ЛОИА АН СССР, организованную в связи со строительством Иркутской ГЭС, в работах которой приняли участие сотрудники ЛОИА, ИА АН СССР, Государственного Эрмитажа и Иркутского университета. В результате было исследовано за один полевой сезон более 30 стоянок и могильников, давших большой и разнообразный материал, который позволил наметить основные линии истории заселения Байкала и развития культуры его древних обитателей, начиная с мезолита и до этнографической современности. В 1992 г. ИИМК РАН совместно с Иркутским государственным университетом выпустили в свет сборник научных трудов «Древности Байкала», который ввел в научный оборот все ранее не опубликованные материалы этой знаменитой экспедиции 1959 г.

Около 20 лет Михаил Петрович руководил одной из крупнейших в Сибири новостроечных экспедиций – Красноярской, организованной в связи со строительством Красноярской ГЭС на Енисее. За эти годы было спасено для науки и изучено свыше 3500 памятников разных исторических эпох от палеолита до позднего средневековья. Успехи работ экспедиции во многом определила новая методика изучения погребальных комплексов этого региона, разработанная М.П. Грязновым.

На основе широких раскопок развита и дополнена периодизация памятников Среднего Енисея, созданная С.А. Теплоуховым. Многие материалы вошли в многочисленные статьи Михаила Петровича, а также в прекрасную монографию «Южная Сибирь», изданную на трех языках в Женеве (1969, 1970). Книга получила мировую известность и не только в научной среде. Определенный интерес в этом отношении представляет эпизод, рассказанный самим Михаилом Петровичем. Однажды в самолете он оказался соседом некоей неизвестной ему иностранки, усиленно читавшей на французском языке его «Южную Сибирь». В пути разговорились, дама рассыпалась в восхвалении этой, по ее словам, интереснейшей книги и была крайне счастлива, узнав, что она оказалась соседкой автора книги, что и высказала весьма экспансивно, как отметил Михаил Петрович.

В 1979 г. вышла коллективная монография под его редакцией, посвященная публикации материалов одного из археологических микрорайонов у горы Тепсей на Енисее.

И, наконец, в 1999 г. удалось опубликовать рукопись Михаила Петровича «Афанасьевская культура на Енисее», представляющую собой не только публикацию эталонных афанасьевских комплексов, но и образец обобщения, и ввод их в исторический контекст, с выходом на социальные реконструкции.

Ярким событием в научной биографии Михаила Петровича были раскопки «царского» кургана Аржан в Туве (1971–1974 гг.). Хотя он был уже в достаточно преклонном возрасте и центрально-азиатское солнце безжалостно палило в раскаленной степи, раскопки проводились методично и с большим упорством. Памятник надо было спасать, так как через него была проложена дорога. Совместная экспедиция ЛОИА АН СССР, ТНИИЯЛИ и ВООПИК объединила прекрасный коллектив во главе с Михаилом Петровичем и М.Х. Маннай-Оолом, который сумел на протяжении четырех лет исследовать этот огромный курган. Постоянная забота и помощь верной спутницы Михаила Петровича – Марии Николаевны Комаровой, мастерство художника Л.Н. Баранова и археолога О.Л. Пламеневской, труд многих других сотрудников, студентов и школьников – все это является важной частью аржанской эпопеи. Этот памятник сразу явился темой постоянных дискуссий среди археологов благодаря своей многоплановости и сложности. У Михаила Петровича по мере раскопок Аржана менялись представления об этом уникальном комплексе, но в конце концов они сложились в ряде его последних работ в единую концепцию. Памятник был опубликован в России (1980 г.) и более полно переиздан в Германии (1984 г.). Михаил Петрович практически сразу понял его значение для археологии не только Центральной Азии, но и для памятников всей степной зоны Евразии. Это

действительно пока самый ранний элитный комплекс вполне скифского облика (конец IX в. до н.э.), в сложении которого принимали участие, по мнению Михаила Петровича, представители нескольких культурных объединений. Именно по его инициативе началось комплексное изучение материалов кургана: датирование бревен методами естественных наук (дендрохронологией и ^{14}C), изучение тканей, состава металла бронзовых вещей, типологические исследования различных категорий вещей и т. п., что еще раз подтвердило выводы Михаила Петровича о ранней дате этого памятника.

В ходе исследований предметом особого внимания Михаила Петровича являлись также памятники изобразительного искусства. Тонкий анализ их при широком научном кругозоре позволял ему выяснить многие стороны мировоззренческого порядка, в первую очередь, характер сложных верований кочевников. Произведения искусства в его исследованиях начинали говорить об их создателе, времени, в котором они жили, и их дальнейшей судьбе.

Стиль научных публикаций Михаила Петровича отличался лаконичностью и отсутствием повторов. При том обилии фактических материалов, которыми он владел, и тематики, которую он разрабатывал на протяжении шести десятилетий неутомимой научной работы, он вполне был в состоянии «выдать на-гора» значительно большее количество «объемных опусов», чем числится в списке его печатных работ. И тем не менее общий объем научных работ, увидевших свет, оставляет большое впечатление. Всеобщее признание чрезвычайно высокой научной ценности работ по Южной Сибири было закреплено в 1983 г. присуждением Михаилу Петровичу звания лауреата Государственной премии СССР и просто любовью многих археологов.

Хочется напомнить слова Михаила Петровича, обращенные к студентам – будущим археологам.

«Молодой археолог! Посвятив себя науке о далеком прошлом, помни, что для глубокого проникновения в тайны давно минувших времен ты должен стать не только опытным ученым, но и искусным художником. Как ученый, ты должен умело находить, наблюдать и анализировать факты, чтобы добиваться точных и непоколебимых исторических выводов и построений. Художником должен быть, чтобы по случайно дошедшим до нас осколкам прошлого ты мог воссоздавать реальные картины жизни древних людей... Первому – науке – тебя научат книги. Вторым – искусством – ты можешь овладеть только путем собственного глубокого познания жизни. Не сиди в кабинете, а наблюдай окружающую тебя жизнь во всех проявлениях, будучи сам ее активным участником и творцом»

[Архив ИИМК РАН, ф. 91, личный архив М.П. Грязнова].

РЕЗОНАНС ЛИЧНОСТИ В НАУКЕ

Честность! В большом и малом... Этой заповедью открывался жизненный девиз двух Михайлов, объединенных десятилетиями мужественного, выдержавшего тяжкие испытания, археологического братства. Девиз Михаила Петровича Грязнова и Михаила Илларионовича Артамонова. Следуя ему, я должен начать с оговорки, что этот этюд представляет не первое, а уже повторное издание воспоминаний о М.П. [Столяр, 1992, с. 12–17], как совершенно особой личности, внесшей нечто уникально человеческое в сознание, по крайней мере, двух поколений археологов нашей страны. Настоящее издание подверглось небольшой правке и дополнено характерными отдельными сюжетами.

Отпущенное мне судьбой «совершеннолетие» неизбежно обращает мысль к анализу пройденного, достаточно скромного научного пути, особенно выделяя тему Наставников, самоотверженно и в основном бескорыстно пестовавших нас и обусловивших наше археологическое рождение. В процессе такого виртуального обращения к корням своим самобытные фигуры, подобные «Михлету» (сокращенная форма, бытовавшая, например, в Москве), все более масштабно осмысляются в их истинном исследовательски-этическом монументализме. При встречах с М.П. на протяжении около 40 лет в истоптанных коридорах Эрмитажа, ИИМК, истфака он повседневно воспринимался как нечто естественно данное, чуть ли не обыденное. А в реальности нам была дарована возможность общения с подлинно человеческим феноменом по его интеллектуальному диапазону, бескорыстной преданности науке, душевной открытости и щедрости. Какой ресурс нашего умудрения был упущен показывает хотя бы то, что инициатива общения с молодой порослью в археологии обычно принадлежала М.П., но не нам самим. А случаи его отказа от беседы со ссылкой на действительную занятость как-то не припоминаются.

Я не отношусь к категории прямых учеников М.П., не вхожу в круг той археологической смены, которая была ему особенно близка. В этой диспозиции я как бы человек несколько со стороны, что, не исключено, способствует объективности свидетельства исключительной энергетики влияния М.П. (как прямого, так и косвенного) на развитие отечественной археологии XX в. Налицо явление исключительного духовного резонанса жизненного подвига истинного патриота, самоотверженного гуманиста, выдающегося знатока «седой старины». Природа такого резонанса, представляющего форму посмертного бытия исследователя (философское решение

проблемы бессмертия), величественна тем, что с течением времени он не угасает, а, напротив, набирает новую силу по мере продвижения науки по путям и тропам, которые были намечены первопроходцем.

Момент, когда М.П. раз и навсегда вошел в мое сознание, помнится отчетливо. Первый послевоенный год. Темные антресоли сибирской секции ОИПК в Эрмитаже. Особая атмосфера уникального курса, который М.П. читал (точнее – исполнял) небольшой группе студентов-археологов истфака. Таким предметом явилась вообще не находящая других аналогов «археологическая криминалистика», открывающая в сотрудничестве с трасологией С.А. Семенова только рождающуюся новую сферу источниковедческого раскрытия ископаемой культуры. В представлении М.П. она обладала исключительным потенциалом. Заключая в себе совершенно особое, в чем-то космическое (по диапазону скрытой информации) понимание вещи. Каждое занятие заключало в себе нечто от волшебного действия древних инициаций. Как сказочный маг, М.П. задавал посвящаемым подготовленную задачу, порой с совершенно «свежими» наблюдениями, не получившими еще и у него окончательного объяснения. Поддерживая умственное напряжение и эмоциональный настрой соревновательного анализа каждого артефакта как носителя тайны прошлого, он очень тонко руководил исследовательскими действиями группы, постепенно поднимая студентов на начальную ступеньку соучастников своего научного поиска. С этих занятий в моем сознании органично закрепилось представление об исключительном приоритете археологического «документа», ложности снобистики самоуверенного взгляда на деятельность далеких «предков» и неприемлемости профанной спекуляции в опыте реконструкции отдельных сторон первобытной культуры в процессе ее далеко не элементарного развития.

Год спустя М.П. не пожалел времени на детальный разбор и критику корреляционных таблиц в моей первой статье, сдаваемой в печать, «Мариупольский могильник» (1947). В дальнейшем запомнились всегда насыщенные мыслью доклады М.П. и не менее существенные его выступления в прениях. Особое же влияние на мое зрелое становление и утверждение в профессиональном сознании мировоззренчески значимых постулатов оказали три случая совершенно различных контактов.

...Белая ночь конца июня 1948 г. Небольшая компания выпускников кафедры археологии вместе со своими немногочисленными учителями отмечала окончание Университета на квартире С. И. Капошиной в Лесном.

В финале М.П. обратился ко мне: «В такую ночь надо возвращаться на Васильевский подобно паломникам...». Состоялась неторопливая лирическая прогулка до 12-й линии (я жил у Среднего пр. на 6-й линии). На фоне волшебной панорамы города впечатляюще раскрывался поэтический мир М.П. А кульминацией явилась основательная остановка у озаренных солнцем сфинксов, где М.П. поведал мне заповеди своей религии в науке. Финал этой уникальной «лекции» поныне звучит в моей памяти: «Только бескорыстие, честность и неустанный поиск могут руководить учеными. Подчиняйтесь только им и Ваш труд не будет напрасным».

...Прошло более 10 лет. Я в Эрмитаже в одном отделе (ОИПК) с М.П. Еще довоенная, долго игнорируемая фундаментальная идея С.А. Семенова неожиданно приводит к тому, что буквально модным у первобытников становятся самые примитивные опыты по изготовлению орудий из камня и их рабочему использованию. Таким желанием загораются молодые (по стажу работы в ГЭ) сотрудники, поддержанные зав. отделом М.З. Паничкиной. Единственное условие постановки такого эксперимента видится нами лишь в наличии кремневого сырья хорошего качества. Весной 1960 г., в пору неопишуемой распутицы в район Ржева отправляется экспедиция за таким сырьем. В результате подобной эпопеи («Вазузнады») в Эрмитаж доставляется целый ГАЗ-52 мелового кремня из района Зубцова. Вскоре на Большом дворе Зимнего дворца закипели столь же темпераментные, как и дилетантски самодеятельные опыты раскалывания кремня и выделки самых примитивных кремневых орудий (наиболее успешно – грубых рубил). Проходивший случайно М.П. задержался на часок, наблюдая наши опыты. Уходя, он не стал изобличать стихийную примитивность наших действий, а предложил регулярно, в выходные дни проводить опыты работы с камнем у него на даче (Новый Петергоф). Так начались согретые «сибирским» гостеприимством Марии Николаевны трудовые воскресенья в небольшой рощице, неподалеку от «дендрария» – гордости М.П. Логичная постановка дела сразу же прозаически многое прояснила. Так, мы прочно поняли, на какой предельный диаметр ствола дерева нам следует ориентироваться, если мы собираемся его подрезать с помощью пластинки со скошенным краем. Еще более важным явилось уяснение до этого вообще невидимых нами обязательных технических операций (к примеру, особой важности и, одновременно, трудности прочного закрепления орудия в рукоятке). Но главным, незамеченным тогда в истинном значении, в действительности же самым существенным уроком этих дней явилось убеждение в приоритете реалистичной, конкретно моделируемой, а во всех возможных случаях и физически выверенной реконструкции над умозритель-

ными построениями, сколь бы внешне эффектными они не были.

...Третий урок, данный мне М.П., касался обязанности противостояния ложным сенсациям в науке. На протяжении примерно четырех лет он педагогически своеобразно внедрял в мою мораль чувство актуальности древней библейской заповеди о непреходящем клеймени шельмы в самой прямой форме – публично откровенно и однозначно, без каких бы то ни было смягчающих реверансов.

...В 1964 г. я вслед за моим Учителем М.И. Артамоновым ушел из Эрмитажа на преподавание в Университет. Случавшиеся встречи с М.П. стали более редкими. В связи с моими занятиями проблемой рождения изобразительного творчества у нас состоялось несколько бесед (например, в 1967 г. в связи с моим докладом в Эрмитаже о происхождении «фрески» альтамирского типа). Но основу последнего, для меня особенно важного контакта с М.П., составил другой, несколько неожиданный сюжет.

В 1976 г. заведующий сектором Института истории филологии и философии СО АН СССР, доктор исторических наук В.Е. Ларичев начал бурную рекламную кампанию по представлению Миру «исключительного археологического открытия» «огромного общекультурного значения» – «уникального», наделенного «подлинной философской грандиозностью» «искусства» стоянки Малая Сья (начало верхнего палеолита) в Хакасии. К 1980 г. появилось более 20 ширококвотельных публикаций, сопровождаемых отретушированными под «идею» иллюстрациями В. Жалковского. Откровения Ларичева пропагандировались такими центральными изданиями, как журнал «Знание–сила» и газета «Северная культура» и как нечто особо значительное в нашей истории представлялось томом «Памяти» Чивилихина.

Знакомство с первыми же его декларациями не оставило и тени сомнения в том, что все эти «шедевры», без всякого исключения, представляют только естественные образования (случай «игры природы» – *Lusus naturae*), никак не причастные к деятельности человека и его древней культуре. В такой ситуации М.П. как-то на ходу «проэкзаменовал» меня («Как Вы воспринимаете коллекцию Ларичева?»), установив идентичность наших оценок. А вслед за этим М.П. стал регулярно передавать мне, без каких бы то ни было объяснений, публикации Ларичева в массовой прессе Сибири (газеты «Советская Сибирь», «За науку в Сибири», «Вечерний Новосибирск», «Красноярский рабочий» и др.), которые ему присылались местными археологами. Насыщая таким образом «Ларичевское досье», М.П. тем самым фокусировал мой критический анализ и утверждал необходимость публичного разоблачения амбициозных фантазий, замусоривающих

источниковедение древности и ведущих к дискредитации отечественной археологии как науки.

Однако возможности выхода в центральную печать я совершенно не видел. Тем неожиданнее был московский звонок С. А. Плетневой (зам. редактора «Советской археологии») в начале 1981 г. Она в силу давнего знакомства буквально потребовала срочного критического опровержения всей сенсации Ларичева. Завершив его за неделю, я свой текст представил на суд М.П. Он его принял полностью и согласился поставить в публикации свою подпись первой [«Письмо в редакцию» // СА. 1981, № 4. С. 289–294]. Этим соавторством я очень горжусь.

Изложенные эпизоды зримо передают особое воздействие личности М.П. на становление далекого от сибирских древностей археолога следующего поколения и тем самым отражают в этих частностях его истинно человеческий диапазон и духовную щедрость.

Как бы вопреки всему трагизму десятилетий тоталитаризма, беспощадному искоренению любой незаурядности, наша археология отнюдь не была бедна яркими индивидуальностями. На этом фоне совсем не броской была и в то же время особенно выделялась самобытность М.П. Не проявляясь рельефно внешне, она носила исключительно глубинный характер. Выражалось это, прежде всего, в совершенно особом, эмоционально согретом отношении к изучаемому прошлому как живому и бесконечно многообразному, одухотворенно человеческому деянию. Позволю сказать, как бы мистически это не звучало, что «ископаемую» культуру он воспринимал как нечто действительное, всеми органами своих чувств, что ему было дано ощущение исторического аромата былой эпохи. Его исследовательский вкус отличался особой остротой и аналитической обеспокоенностью. Прошлое всегда виделось М.П. как в принципе бесконечное множество сплетений совершенно конкретных, чаще всего неповторимых явлений, постоянно требующих критического напряжения исследовательской мысли и ее готовности к принятию самого неожиданного для ученого результата данной ступени познания.

Не было момента, когда М.П. не жил бы какой-то загадкой древности. Типичная «коридорная» встреча. Вопрос М.П., к примеру такой: «А что Вы думаете о трипольских статуэтках?». Сразу же поднятые на лоб очки. Мгновенный тонкий рисунок, раскрывающий ранее невидимое в основной семантике энеолитического образа женщины.

Со всем этим сочеталась глубокая осознанность обедненности и крайней фрагментарности отблеска «седой древности» в археологическом зеркале, ущербной отрывочности и омертвелости картины жизни в этом «телекопе истории». В полной мере им всегда принимался во внимание и скрытый характер заключенной в арте-

факте информации, частично раскрываемой лишь многолетним накоплением опыта.

Теоретически все это абсолютно ясно каждому археологу. Но как редко такая установка действительно серьезно реализуется, органически входит в каждую исследовательскую операцию. Для М.П. она была естественным правилом – он никогда не принимал археологически выявленную часть, к тому же, нередко деформированную временем, за реальное целое. Насколько такая логика была элементом его мышления, показывает его же обращение в каждом случае к задачам исторической реконструкции. Замечательны, можно сказать, эталонные образцы выполненных им восстановлений, ставших хрестоматийными в широком диапазоне – от ювелирно «отремонтированных» вещей до полностью воссозданных монументальных комплексов.

Наука для М.П. была абсолютной самостоятельной ценностью. Счастье в его понимании – это свобода самых трудных исканий в избранной области знаний о человеческом феномене. Незыблемый альтруизм, полное безразличие к любым аспектам карьеры, к наградам и почестям, к официальному положению. Чуждый всему формальному, М.П. очень широко и, вместе с тем, строго определял свой долг и жизненные обязанности, подчиняя их интересам науки. К ним он относил, в первую очередь, просвещение и личное воздействие на профессиональное и нравственное становление археологической смены. Осуществлялось оно в совершенно нетрадиционных формах преподавания и свободном общении, а завершение получало в руководимых им экспедициях.

«Добровольно», в течение сорока лет, без пропусков и срывов, образцово во всех отношениях М.П. вел свои дисциплины на Ленинградской кафедре археологии. Отзываясь на просьбы, он читал на Урале и в Сибири свои оригинальные курсы, которые всегда оказывались событием в жизни этих университетов. Драматургия археологического следствия и его насыщенность живой мыслью, воссоздание казалось бы навсегда утраченного, естественная непосредственность и доверительная открытость создавали обстановку какого-то очарования, вдохновлявшего «племя молодое» на первые шаги в науке. Все это живет в сознании былых студентов, а ныне зрелых и опытных мужей науки.

Целостно интеллигентная сущность М.П. – очень ответственное отношение, при всей его постоянной увлеченности, к собственным работам, неоднократно подвергаемым проверке. Он никогда не абсолютизировал свои представления и уважительно относился к другим точкам зрения, коль они сопровождалась какой-то аргументацией. М.П. не только никогда не участвовал в любой групповщине, преследующей далекие от науки цели,

но и вообще не переносил научное несогласие на почву личных отношений. «Наружно» М.П. виделся и слышался очень тихим человеком. Ему совершенно не был свойственен повышенный тон, тем более крик. Изредка, когда он суровел, лицо утрачивало обычную мягкость, а речь становилась чеканно холодной. Так вроде бы вырисовывается портрет исключительно мирной, вне зависимости от обстоятельств и ситуации, личности. В действительности же подобное заключение содержало бы глубокое заблуждение.

Он становился совсем другим – жестким и непреклонным, – когда науке наносился губительный ущерб. Тогда он был категоричен, принципиально осуждая, наряду с полуобразованностью, тенденциозность, амбициозные спекуляции, ложные сенсации. И в этих случаях он был совершенно особенным. Это была не кратковременная шумная вспышка, а длительное, систематическое, не всегда заметное со стороны борение за достоверность археологического знания и чистоту его источниковедческой базы. Если не только афористично, но и в чем-то действительно суждение, что каждый человек имманентно заключает в себе целый мир, то самое весомое тому подтверждение представляет многообразие проявления личности М.П. Завершая очень фрагментарный и упрощенно схематичный набросок его образа, нелишне дополнительно отметить свойственные ему некоторые характерные черты открытой и целостной натуры.

Человечность М.П. сразу же принципиально проявилась в том, что обычно его собеседник, будь им даже только начинающий студент, ощущал свое достоинство в смысле изначальной самостийности, принадлежности к общему виду сапиенса с его реализуемым в перспективе онтогенеза искомым творческим потенциалом. Кажется, что в таком таланте свободного общения М.П. проявлялась реликтовая органика, восходящая еще к той морали первобытной архаики, которая составляла непобедимую социальную базу антропогенеза. Подобная глубокая наследственность единения духа тысячелетиями сохранялась в недрах коренной народной среды. Знаменательно, что современные философы-футурологи [Моисеев и др., 1987] наделяют особой миссией возрождение этического начала «ископаемой» общности. Вопреки снобизму господствующего обыденного представления о троглодите-животном, они полагают, что наступающая эпоха ноосферы решительно требует сознательной рекультивации первородной социальности в только создающуюся систему морали Земли.

Предельно критической проверкой этого качества М.П., как и неизменной скромности, явилась вся его жизнь на берегах Невы. Она прошла в самой посредственной коммунальной квартире – знаковом элементе

советской действительности. М.П. был мудрым и добрым волшебником этого случайного сообщества, утвердившим в нем незыблемость атмосферы понимания, согласия и взаимопомощи. При больших возможностях своего комфортного устройства Грязновы об этом вообще не помышляли, а у их соседней сама мысль о выезде «профессора» вызывала самый неподдельный страх. Эти чужие люди трогательно заботились о своем наставнике. Так, к примеру, оберегали они дневной сон уже состарившегося М.П., защищая его от звонков по телефону, который, кстати, также был общим. Итак, по этому показателю бытия М.П. с бесспорными основаниями мог занять выгодное место в реестре «рекордов» Гиннеса.

Искренний и уважительный интерес к человеку естественно распространялся на широкий круг коллег в их всесоюзном охвате. Постоянство этой линии в жизни М.П. получило, в частности, опять же специфическую, проявленную в деле реализацию, можно сказать, в наглядно-художественном выражении. Закономерно, а не случайно, что он, и только он многими годами создавал единственную, выполненную, как и все, что он делал, на уровне мастерства галерею фотохарактеристик значительной группы отечественных археологов.

В нем непрерывно жила память о людях, в том числе, при всей круговерти новых встреч и забот, о бывших сотрудниках. Так, он неоднократно напоминал мне о необходимости помощи по линии секции археологии Головного совета Минвуза Ф.Х. Арслановой (успешно вела археологические исследования в Казахстане, после чего судьба ее забросила в Тверь) в ее работе по учебному пособию и началу преподавания.

Дополнительными аспектами того же начала человечности являлись тактичность и безотказность. Уникальность первой заключалась в особой методике М.П., нацеленной на устранение отрицательного обстоятельства не прямым силовым действием, а тонким, особо найденным приемом, наделенным долей юмора и побуждающим виновника к самокритичному выводу («эталонный образец» – преодоление «летаргии», свойственной С.С. Черникову на заседаниях сектора). Безотказность М.П. выражалась в том, что он отзывался на каждую просьбу, если только она отвечала его возможностям и не противоречила незыблемой для него этике. Случалось, что такое участие ставило его в неловкое положение по вине самого малознакомого просителя, который это не сразу понимал. Сочувствие и чуть ли не «гимназическое» смущение самого мэтра в некоторых подобных случаях было неповторимым (эпизод – ознакомление с выставкой ОИПК московской гостьи из Министерства культуры).

Эстетическое восприятие активно аранжировало всю деятельность М.П. Стилистически наглядно такая

«археологическая семантика» искусства М.П. проявлялась и в «крупных», и в «малых» формах, к примеру, от строя стеллажей с подлинным научным сокровищем (множеством художественно оформленных папок с уникальными материалами) и вплоть до собственноручно выполненного, опять же в зверином стиле, каждого персонального приглашения на свой юбилей.

Очень мало в жизни М.П. взял для себя и очень много сил, ума и сердца отдал науке и людям. В этом – источник особого нравственного резонанса его личности.

Важную заповедь жизни М.П. передавал нам, особенно подчеркнута в последние годы, рассказом о философской оценке старым кочевником возможных утрат человека. Итогом этого рассуждения было заключение, согласно которому все личные потери, за исключением одной, преходящи и не судьбоносны. Лишь одна из них роковая: «Голову потеряешь – все потеряешь!».

Поскольку каждый уверен в сохранности своей головы, думаю, что сейчас актуально было бы с полной откровенностью обратиться к вопросу – насколько мы в действительности, а не только декларативно (по нынешнему – виртуально) следуем основным традициям, завещанным нам М.П. Грязновым. Самое существенное в этой задаче – совершенно честно ответить самому себе, никак не щадя личного самолюбия.

Михаил Петрович был последним представителем лидеров героической поры (при всех жертвах, издержках и противоречиях того времени) в отечественной археологии XX в. Сейчас эта выдающаяся плеяда (документально представлена портретной галерей ИИМК), сохраняя всю силу оставленных нам фундаментальных идей, постепенно приобретает мифологическую окраску. Мы – археологи рубежа нового столетия – полагаю в целом менее масштабны и не столь индивидуально выразительны. Во всяком случае, я сам ощущаю это физически, обращаясь к памяти о В.И. Равдоникасе и М.И. Артамонове. Такая эволюция, по-видимому, обусловлена сложной закономерностью. Преодолению она вряд ли поддается, но одновременно требует определенного контроля, дабы потери науки не были чрезмерными.

Особенно тревожно внезапно открывающееся «безлюдье», когда необходима действительная личность для определенного ответственного дела. Еще более опасно в духовной перспективе археологической смены ослабление сознания роли ее научных наставников, убыль органичной благодарности своим учителям. Короче говоря, разрушение основы научной этики. Все это представляет опасное размывание тех творческих традиций, которые составляют внутреннюю, передаваемую по поколениям силу научной эстафеты.

Р.В. ВАСИЛЬЕВА

ФОНД М.П. ГРЯЗНОВА В РУКОПИСНОМ АРХИВЕ ИИМК РАН

В документальной коллекции личных фондов Рукописного архива ИИМК РАН личный фонд Михаила Петровича Грязнова занимает одно из видных мест. В Институт фонд поступил на хранение в 1985 г. и уже первое визуальное ознакомление с ним показало, что перед нами коллекция, источниковедческое значение которой трудно переоценить. Фонд 91 значителен по объему и многообразен по составу материала, его хронологические рамки – 1913–1977 гг. В большей своей части материалы систематизированы самим фондообразователем, что придало им законченный и логически сформированный вид. В настоящее время фонд прошел первичную обработку (выделение макулатуры и материалов, не подлежащих хранению). На этом этапе работы с фондом были определены тематические группы документов и намечена канва его структуры. Исходя из содержания и видов документов, в структуре фонда определены следующие тематические группы:

- научные труды и материалы к ним;
- документы полевой деятельности;

- тематические и типологические коллекции;
- документы общественно-производственной деятельности;
- личные документы ученого и документы членов его семьи.

Каждая из групп требует самостоятельного археографического исследования, что пока не представляется возможным. В статье дана краткая характеристика отдельных групп документов.

Документы полевой деятельности представлены первичной полевой документацией: полевыми отчетами, дневниками, описями находок, рисунками и чертежами. Всего поступило на хранение 236 дел полевого материала. Хронологические рамки документов – 1946–1977 гг. Среди документов – материалы различных экспедиций: Алтайской 1946–1949 гг., Волго-Донской и Новосибирской 1951–1954 гг., Иркутской 1959 г., Красноярской 1955–1977 гг., Аржанской 1971–1974 гг. Кроме материалов самого М.П. Грязнова, среди документов данной группы находятся материалы его коллег по по-

левым исследованиям, среди них Я.А. Шера и И.Г. Спаского (Иркутская экспедиция), М.Н. Комаровой и А.Д. Грача (Красноярская экспедиция), В.Ю. Лещенко и Н.А. Аванесовой (Аржанская экспедиция). Материал в хорошей сохранности, а его полнота позволила в значительной степени пополнить нашу коллекцию полевой документации (ф.2/35).

Тематические и типологические коллекции представляют собой уникальное собрание сведений как по отдельным памятникам, так и по целым археологическим комплексам. Подборки содержат сведения, которые Михаил Петрович собирал на протяжении многих лет своей жизни, придавая им большое, не только чисто любительское, но и научное значение. Среди них картотека памятников Красноярского края и Алтая (начиная с конца XIX в. до наших дней с хронологическими рамками культур от энеолита до образования государства енисейских кыргызов; типологические картотеки (каменные бабы Сибири, орудия труда и оружие, чеканы, топоры и т. п.). Всего фонд насчитывает 152 дела (вместе с картотеками).

Документы общественно-производственной деятельности. Небольшая по объему группа, но исключительно важная и интересная по содержанию. Сохранившиеся справки, удостоверения, аттестаты, отчеты о командировках, кроме чисто биографических сведений, содержат и отпечаток эпохи. 1920–1930-е гг. – время, насыщенное новыми созидательными идеями строительства нового общества. Время необычайно трудное. Вот некоторые из таких документов. 1922 г. М.П. Грязнов зачислен регистратором ИАТ при РАИМК. Академия командировывает его в Тверскую и Рыбинскую губернии в составе этнологической экспедиции; в сентябре того же года он едет в Детскосельский уезд для осмотра костяков; в октябре – в район строительства железной дороги Орел–Петроград. Сохранившиеся отчеты об этих поездках – свидетельства необычайно напряженной работы, главная цель которой – сохранить уникальные памятники нашего прошлого, не дать им погибнуть, донести до потомков. А вот любопытный документ того времени – «Мандат», выданный М.П. Грязнову 3 сентября 1923 г. Отделом Управления Минусинского Исполкома. Он интересен еще и тем, что словно донес до нас сам дух того времени. Приведем его полностью. *«Дан сей Отделом Управления Минусинского тов. Грязнову Михаилу Петровичу в том, что он имеет право на взимание с одноконной подводки в порядке междудворного движения, а посему категорически предлагается Исполкомом и с советом оказывать названному товарищу всемерное содействие в подаче подводки без замедления и вне всякой очереди, что удостоверяется зав. Исполкомом».*

Личные документы ученого и документы членов его семьи. Это значительная по объему группа, которая

представлена документами его личной жизни, а также материалами, освещающими обширные интересы ученого, не связанные с его непосредственной научной деятельностью. Среди них несомненный интерес представляют такие ранние материалы, как ученические дневники и тетради ученика Томского реального училища Миши Грязнова. Это записные книжки и путевые записи 20-х гг., это уникальный археографический материал, собранный им в 30-е гг. в момент его пребывания в Кирове. В коллекцию документов по истории старейшего русского города Хлынова (позднее – Вятка-Киров) Михаил Петрович включил весь архивный и библиотечный материал, начиная с первых упоминаний об этом городе, т. е. с конца XVIII в. Им просматривается огромный материал летописи и описания города Хлынова за разные годы, в том числе за 1721 г., переписные и Писцовые книги. От внимания исследователя не ускользает ни одна деталь. Он составляет хронику пожаров города с подробным описанием сгоревших зданий. Здесь можно найти сведения о появлении первого водопровода и строительстве первой школы, перечень всех городских улиц со всеми их переименованиями на протяжении почти двух столетий (вплоть до 1933 г.); планы города Хлынова (графические и описательные) – планы проектирования и застройки на разных этапах существования города. Причем часто Михаил Петрович сам создает план на основании описания той или иной части города и рисунок обязательно сопровождает выписка из источника. Так, реконструируя план Торговой площади, он ссылается на источник, где сказано, «где быть в оном (на Торговой площади. – Р.В.) каменным лавкам для продажи из оных мелочных товаров вятским гражданам в губернском городе Вятке». Но даже здесь, среди исторического материала, мы находим следы истинного пристрастия Михаила Петровича, каким для него была археология. На рисунке, где изображены две пересекающиеся улицы, схематически обозначены разрезы траншей, на одной из них подпись: «Бревна начинаются на глубине около 1 м в два слоя. Поперечник бревна 20–50 см» и рядом другой разрез и надпись «бревна в один ряд на глубине 2,5 м». И приписка «17 августа 1936 г. Эти наблюдения сделаны в канаве, проложенной для прокладки водопровода». Здесь же карта размещения археологических памятников – «Памятники эпохи патриархального рода в Кировском крае (городища, могильники, клады)». Археологическому обследованию были подвергнуты и вятские кладбища, результаты которого были изложены им в тетради с названием «Остеологический материал Вятских кладбищ». Среди документов данной группы сохранилось, например, весьма интересное Свидетельство Комитета по делам изобретений ВДНХ об утверждении авторского патента на

изобретение М.П. Грязновым правил игры в шашки втроем с приложением специально разработанной для этой игры доски и многие другие документы.

Но самой многочисленной группой является переписка. Она насчитывает около 1500 писем, открыток, телеграмм, записок. В основном это письма родных и коллег по работе. Объем писем, их информативная насыщенность, большой хронологический диапазон – все это делает данную коллекцию великолепным источником не только для изучения деятельности самого фондообразователя, но и многих моментов исторического характера. К примеру, сохранившиеся в фонде письма из блокадного Ленинграда. Нет необходимости доказывать их историческое значение, и нет сомнения в том, что как только материалы станут доступными для исследования, эти письма привлекут самое пристальное внимание ученых – исследователей этого периода нашей истории. То же самое можно утверждать, ознакомившись с письмами 20–30-х гг. и послевоенного времени.

К разряду любительских интересов М.П. Грязнова можно отнести и подборку вырезок из периодической печати со статьями об охране памятников археологии и истории, о новых достижениях в науке и т.п.

Отдельную группу документов составляют изобразительные материалы: рисунки, фотографии, чертежи, выполненные самим Михаилом Петровичем и сотрудниками его экспедиций.

В заключение хотим отметить, что в настоящее время фонд находится на стадии научно-технической обработки. Окончательное ее завершение при благоприятных обстоятельствах мы планируем в ближайшие годы. Кроме того, в плане архива – подготовка полного обзора личного фонда М.П. Грязнова для профессионального издания, с тем, чтобы ознакомить широкую научную общественность с документальным наследием замечательного человека и выдающегося ученого, каким он навсегда останется в памяти учеников и последователей.

С.А. ВАСЮТИН

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ И ПОТЕСТАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ В ТРУДАХ МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ГРЯЗНОВА

Исследования социальных процессов у кочевников занимали важное место в научном творчестве Михаила Петровича Грязнова. Формирование его представлений об общественных процессах у кочевников пришлось на период, когда внедрение социологического подхода в археологию призвано было заменить «буржуазное вещеведение» [Генинг, 1982, с. 102–103, 120–122; Пряхин, 1983, с. 76; Лебедев, 1992, с. 428–430; Клейн, 1993, с. 18–19; Формозов, 1995, с. 21, 48–49, 52–53]. Переходная эпоха 20–30-х гг. в археологии и в отечественной науке в целом отразилась на всем исследовательском пути М.П. Грязнова. Весьма показательно, что он не принимал участия в развернувшейся в конце 20 – начале 30-х гг. дискуссии о содержании археологической науки и критике методов работы представителей дореволюционной школы. Не найдем мы в ранних публикациях М.П. Грязнова реверанса в сторону «нового учения о языке» Н.Я. Марра и И.И. Мещанинова и возникшей на его основе «теории стадильности», столь популярных среди молодого поколения советских археологов (С. В. Киселев, В.И. Равдоникас, А.Я. Брюсов). Вероятно, испытывая уважение к трудам предшественников и учителей (А.А. Спицын, В.А. Городцов, М.И. Ростовцев, Б.Э. Петри, Ю.В. Готье

и др.), М.П. Грязнов даже в молодости не позволял себе нигилистических высказываний в отношении методологического и источниковедческого уровня их работ.

От «академической» школы М.П. Грязнов усвоил внимательное и даже трепетное отношение к археологическому материалу (сказывалось естественнонаучное образование). Работе с артефактами всегда отводилось главное место в изысканиях ученого. В то же время М.П. Грязнов не ограничивался только обработкой и типологизацией находок, а ставил перед собой широкие задачи по реконструкции культурных и общественных процессов. Используя различные методы, прежде всего научную интуицию, он настойчиво искал новые возможности для интерпретации археологических источников, руководствуясь анализом артефактов, а не формационно-хронологическими схемами.

Почти в самом начале творческого пути судьба свела М.П. Грязнова с С. И. Руденко. Отношения их развивались довольно сложно [Шер, 2001, с. 139], особенно в 40–60-е гг., однако именно благодаря тому, что в середине 1920-х гг. М.П. Грязнов попал в состав алтайской экспедиции под руководством С. И. Руденко, он смог

впервые непосредственно познакомиться с материалами кочевнических культур эпохи раннего железного века. Пазырыкские курганы стали и первым объектом для социологических оценок М.П. Грязнова (1928, 1930 гг.).

Рубеж 20–30-х гг. тяжело отразился на развитии отечественной археологии. В массовых репрессиях и разоблачительных кампаниях этого периода в той или иной степени пострадали С.И. Руденко, С.А. Теплоухов, Ю.В. Готье, Г.И. Боровка, В.В. Бартольд, С.А. Городцов, Б.Н. Граков, Б.Э. Петри и многие другие [Матющенко, 1992, с. 56; Нефедова и др., 1992, с. 7–8; Клейн, 1993, с. 22; Формозов, 1995, с. 46–47]. В 1931 г. перестал существовать РАНИОН, реорганизации подвергся ГАИМК, сократился объем исследований (особенно в 1931–1932 гг.), а имевшиеся результаты не публиковались.

В этих непростых условиях в ГАИМК возникает группа по истории кочевого скотоводства (бригады ИКС) в составе сектора арханческой формации. Деятельность сотрудников бригады ИКС М.И. Артамонова, М.П. Грязнова, В.В. Гольмстен и Г.П. Сосновского была направлена на изучение материальной культуры всех известных к началу 30-х гг. погребальных и поселенческих комплексов номадов и социологическую их интерпретацию (тема М.П. Грязнова – скифские памятники Сибири). Уже в 1931–1933 гг. ученые предложили ряд решений проблемы социальной характеристики кочевых социумов. В отличие от сторонников рабовладельческого характера кочевых обществ I тыс. до н. э. (С.В. Киселев, С.П. Толстов, А.П. Смирнов, А.Н. Бернштам) сотрудники бригады ИКС считали, что объединения древних кочевников находились на поздних стадиях развития родового строя [Писаревский, 1989, с. 58–59].

Плодотворная работа М.П. Грязнова в составе бригады ИКС была прервана нелепым арестом и ссылкой в Вятку по «Делу славистов» [Шер, 2001, с. 139]. Это был период (1933–1935 гг.) утверждения марксизма (исторического материализма) и как научной парадигмы (хотя подлинное освоение марксистской методологии приходится на послевоенные годы), и как пропагандируемой партийными лидерами универсальной идеологической системы. Однако вернувшийся в 1937 г. из ссылки М.П. Грязнов так и не принял фразеологии «вульгарного марксизма» 30-х гг., сохранив предельную корректность социальных оценок. Признавая наличие социальной дифференциации у древних кочевников, отраженной в погребальной практике, появление рабства, начало распада родовых связей, он до конца жизни был убежденным сторонником доклассового и догосударственного характера всех скифондных обществ [Грязнов, 1937, с. 7; 1940, с. 17–18]. Именно так характеризовалась «эпоха ранних кочевников» (с VIII в. до н.э. до первых веков

н.э.), которую в 1939 г. при подготовке первого тома макета «Истории СССР с древнейших времен до образования первого русского государства» специально предложил выделить М.П. Грязнов.

Период с конца 40-х гг. стал временем широкомасштабных полевых изысканий по всей территории СССР. М.П. Грязнов был организатором исследований и руководителем экспедиций в Казахстане, Туве, Алтае, Хакасо-Минусинской котловине, Забайкалье, Приобье. Огромный фактический материал, накопленный в эти годы, позволил ему, как и другим советским ученым, выйти на новый уровень решения вопросов социальной организации кочевников. К 50–60-м гг. он стал признанным корифеем отечественной археологии. Точка зрения М.П. Грязнова о взаимосвязи процесса перехода к кочевому скотоводству с формированием племенных союзов военно-демократического типа [Грязнов, 1947, с. 13–15; 1955, с. 19–21; 1956, с. 16; 1959, с. 59] преобладала в большинстве трудов исследователей сибирских, казахстанских и среднеазиатских древностей (С.А. Акишев, С.С. Черников, К.Ф. Смирнов, М.К. Кадырбаев, Е.И. Агеева, А.Г. Максимова, И.К. Кожомбердиев, А.Д. Грач и др.).

Важное значение имела повторная (кратко материалы 1-го Пазырыкского кургана на русском и французском языках были изданы в 1937 г.), но на этот раз более содержательная, снабженная чертежами и рисунками публикация М.П. Грязновым материалов 1-го Пазырыкского кургана (1950). Данная работа находилась вне контекста археолого-кочевниковедческих исследований рубежа 40–50-х гг., определенные параллели по уровню анализа социальных проблем можно провести лишь с блестящей (впрочем, вызвавшей немало споров в последние десятилетия) статьей Б.Н. Гракова о гинекократии у савроматов [Граков, 1947]. Впервые были применены сразу несколько различных палеосоциологических методик (методы трудозатрат, социальной планиграфии могильников, сравнительный анализ сопровождающих захоронений коней). Размеры могильного сооружения (объем каменной насыпи 1800 куб. м; яма объемом 196 куб. м; 500 бревен для сруба; общие трудозатраты, составлявшие 2500–3000 человеко-дней) убеждали, что подобное погребение могло быть совершено родом или племенем. Как считал исследователь, в кургане был захоронен «не просто богатый человек, а представитель общественной власти» (М.П. Грязнов определил его как «племенной вождь»). Сочетание фамильных кладбищ (цепочек больших курганов) и общественной власти погребенных в этих некрополях свидетельствовало, по мнению ученого, в пользу того, что «богатство ...и высшие общественные должности в роду и племени передавались по наследству» [Грязнов, 1950, с. 68–69].

М.П. Грязновым впервые была опробована процедура, которая в наиболее завершеном виде будет реализована при анализе материалов кургана Аржан из Уюкской долины. Он обратил внимание на то, что кони различались по количеству меток на ушах, поэтому их следовало считать собственностью не погребенного, а разных владельцев. Об этом же говорил анализ особенностей седел и уздечек. Немаловажен был и тот факт, что погребенными оказались кони, а не лошади. Как писал в связи с этим исследователь, трудно представить, чтобы за один раз были убиты сразу 14 производителей из одного стада. Из анализа этих моментов вытекал главный вывод автора, что кони и сопровождавший их инвентарь являлись подношением покойному от подчиненных ему подразделений. По мнению М.П. Грязнова, «это были дары племенному вождю от десяти родовладык» [Грязнов, 1950, с. 69–70].

Это натолкнуло ученого на мысль о возможности реконструировать состав «пазырыкского» объединения по числу родовладык, подносивших дары вождям. По подсчетам исследователя получалось, что племя, вождь которого был погребен в 1-м Пазырыкском кургане, состояло из 10 родов, в Берели – из 16, в Шибе – из 14, в 3-м и 4-м курганах Пазырыка – из 14, во 2-м – из 7. Цифры 7 и 14 М.П. Грязнов считал не случайными, а, вероятно, свидетельствующими о фратриальном делении «пазырыкцев», что согласно точке зрения археолога являлось характерным для всех народов, находившихся на стадии военной демократии [Грязнов, 1950, с. 70]. Вышеизложенными положениями обосновывалась другая идея автора – о редистрибуции как экономической основе власти пазырыкских вождей. Он предполагал, что посмертные дары родоначальников вождю свидетельствовали о широком использовании этой практики при жизни покойного и на этом строилась вся общественная система «пазырыкцев»: регулярная передача материальных ценностей главам общественных подразделений являлась «нормой экономических отношений» между массой основных производителей и должностными лицами в роде и племени [Грязнов, 1950, с. 71].

Предложенная М.П. Грязновым реконструкция социально-потестарной системы «пазырыкцев» вызвала возражения со стороны С.И. Руденко, который резко выступил против концепции «посмертных даров» и возможности таким образом зафиксировать структурный состав алтайских племен. Ученый полагал, что погребенные кони не входили в табун, а являлись верховыми и принадлежали лично погребенному. Метки на ушах говорили лишь о том, что они могли когда-то иметь разных хозяев. Как подчеркивал исследователь, в пазырыкских курганах обнаружено много однотипных седел, а

детали узды имели изношенности, неоднократно чинились и, следовательно, не могли быть изготовлены специально для погребальной процессии [Руденко, 1952, с. 33; 1953, с. 256; 1960, с. 238–241]. На наш взгляд, при всем различии оценок замечания С.И. Руденко, уточняя некоторые наблюдения М.П. Грязнова, не противоречили его версии, ибо в качестве посмертных даров могли выступать и не только новые предметы. Структуризация погребального пространства и инвентаря 1-го Пазырыкского кургана была отправной точкой для одной из самых ценных идей М.П. Грязнова – представлении о кургане как архитектурном памятнике [Грязнов, 1961].

Значительным шагом в развитии представлений ученых о социальной организации кочевников раннескифского времени Саяно-Алтая стали раскопки в 1971–1974 гг. царского кургана у с. Аржан. Еще до исследования и полной публикации материалов Аржана у археологов сложилось мнение о существовании в бассейне р. Уюк в VII–V вв. до н. э. «уюкского племенного союза». Однако только реконструкция М.П. Грязновым социально-политической структуры «аржанского» объединения позволила предполагать появление в начале раннего железного века на территории Южной Сибири крупного военно-политического образования.

По существу, повторяя (как и в случае с 1-м Пазырыкским курганом) процедуру анализа материалов конских захоронений (не менее 160), М.П. Грязнов разделил подношения от семи собственно «аржанских» племен (определялась общей типологической близостью конского снаряжения и аналогиями с инвентарем погребений царя и аристократии) и шести вассально-зависимых или дружественных «аржанским» объединений [Грязнов, Маннай-Оол, 1973, с. 202; 1975, с. 193–194; Грязнов, 1975, с. 8–9; 1978, с. 14–15; 1980, с. 47–50; 1983, с. 4]. Все 17 погребенных в Аржане принадлежали, согласно точке зрения авторов раскопок, к элите общества, что согласовывалось с определением Э.А. Грантовским скифских «феропонтов» – «слуги» царя из аристократических семей [Грантовский, 1981, с. 130–131]. Их число превосходило все известные человеческие захоронения в царских курганах кочевников, также подчеркивая значимость погребенного в центральной могиле лица [Грязнов, Маннай-Оол, 1973, с. 194–200; 1975, с. 187, 193–194; Грязнов, 1975, с. 8; 1978, с. 14; 1980, с. 15–25, 29–32, 36–39, 45–46; 1983, с. 4].

Подводя итоги более чем полувековой работы М.П. Грязнова в области решения проблем общественно-политического развития кочевников на основе интерпретации археологических материалов, отметим что Михаил Петрович стал разработчиком нескольких

оригинальных методик палеосоциологического анализа, а многие из его идей и конкретных характеристик не утратили научной актуальности до сего дня. Так, новейшие теоретические разработки в области социогенетических и политарных процессов позволяют видеть в реконструкции М.П. Грязновым «аржанского» племенного союза контуры сложного или суперсложного чифдома, вождь которого имел функции верховного жреца – ша-

мана, о чем свидетельствуют радиальные солнцеподобные деревянные конструкции кургана, многочисленные сопровождающие погребения коней, подзахоронения представителей аристократии, сопоставимых со скифскими ферапонтами, а также предполагаемое исследователями длительное функционирование Аржана как сакрального центра [Савинов, 1992; Курочкин, 1993; Боковенко, 1996; Марсадалов, 2000 и др.].

Е.М. ДАНЧЕНКО

К ПРОБЛЕМЕ РАЗРАБОТКИ КУЛЬТУРОГЕНЕТИЧЕСКИХ СХЕМ В АРХЕОЛОГИИ ОБЬ-ИРТЫШЬЯ

В качестве одной из особенностей культурного развития Обь-Иртышья археологи отмечают традиционность и малую изменчивость форм материальной культуры на протяжении длительных периодов. В 50-х гг. XX в. на это обратили внимание ученые, предпринявшие первые попытки систематизации накопленных к тому времени материалов. В работе, посвященной характеристике культур Верхнего Приобья, М.П. Грязнов писал, что керамика таежной и тундровой зон Приуралья и Западной Сибири незначительно изменяется по форме и композиции узоров с раннеананьинского времени вплоть до XVII в. включительно [Грязнов, 1956, с. 113, 114]. Он также указывал на использование западно-сибирским населением «антикварных» вещей, изготовленных за много веков до момента включения их в состав инвентаря погребения, клада или жертвенного места [Грязнов, 1956, с. 137]. Изучая материалы Нижнего Приобья I тыс. н. э., к тем же выводам пришел В.Н. Чернецов, обративший внимание на то, что керамика, как материал массовый, а потому и особенно важный, мало изменяется на протяжении более чем тысячелетнего периода, сохраняя очень архаичный облик. Им же было отмечено, что в течение веков стилистические и сюжетные изменения изображений из бронзы настолько постепенны и незаметны, что датировка предметов на основе одного лишь формального анализа не представляется возможной [Чернецов, 1957, с. 136, 137]. Все это существенно затрудняло разработку периодизации археологических памятников и схем культурогенеза, с чем в полной мере столкнулись В.Н. Чернецов и М.П. Грязнов. Ставя целью наметить хронологию древностей региона, проследить происхождение археологических культур и последовательность их этапов, они применяли обычную для археологии практику – располагали материал в хронологическом порядке и пытались выявить наличие или отсутствие преемственности в развитии

культурных элементов. Поскольку хронологическая шкала была разработана слабо, важную роль играл типологический анализ, использовать который при такой устойчивости форм культуры непросто. Наличие в разновременных комплексах схожих черт может рассматриваться как результат их генетической связи, отражающей этапы культурного развития. В условиях, когда материалы не дают надежных оснований для датировок, исследователям порой приходится определять очередность этапов, исходя из логических соображений, что нередко приводит к ошибкам.

Примером может являться разработка периодизации верхнеобской культуры М.П. Грязновым. На основе детального анализа имевшихся в его распоряжении данных он выделил три этапа культуры: одинцовский – II–IV вв., переходный – середина I тыс. и фоминский – VII–VIII вв. [Грязнов, 1956, с. 112, 124, 140]. Ученый считал, что посуда всех трех этапов связана последовательно серией переходных форм. В качестве другого критерия для выделения стадий развития верхнеобского населения М.П. Грязнов использовал особенности погребального обряда: для одинцовского и переходного этапов были характерны трупоположения, для фоминского – трупосожжения. Реагируя на критику В.Н. Чернецова, считавшего, что фоминский этап нельзя датировать столь поздним временем, ученый рассматривал и альтернативные варианты внутренней периодизации культуры, но в итоге пришел к выводу, что они противоречат логике: «Трудно допустить, чтобы племена верхнеобской культуры сначала хоронили своих покойников по обряду трупоположения, потом по обряду трупосожжения, а затем опять по обряду трупоположения» [Грязнов, 1956, с. 134]. Однако логика развития культуры верхнеобского населения оказалась сложнее и противоречивей: последующие исследования показали, что фоминские комплексы с кремациями хронологически предшествуют

единцовскому этапу, на котором резко преобладают труположения, а еще позднее вновь наблюдается широкий переход к сожжениям, при единичных случаях ингумации [Троицкая, Новиков, 1998, с. 83, 84].

Описанный эпизод – далеко не единственный в археологии Обь-Иртышья. В.Н. Чернецов, более точно датировавший фоминские памятники, в свою очередь, также не смог избежать ошибок при разработке периодизации культур Нижнего Приобья, и, в частности, при определении хронологии древностей зеленогорского и потчевашского типов, которые он ошибочно отнес к раннему железному веку [Чернецов, 1953, с. 148; Чернецов, 1953б, с. 241]. Причем, при определении относительной хронологии зеленогорских комплексов, датируемых в настоящее время эпохой раннего средневековья, ученого подвело их типологическое сходство с керамикой эпохи поздней бронзы, в частности, с сузгунской, на основании чего он установил хронологические рамки культуры типа Зеленой Горки в пределах VII–V вв. до н. э. [Чернецов, 1953а, с. 68].

Вопрос об устойчивости и консерватизме в развитии древних культур Обь-Иртышья, а также о причинах этого явления представляется крайне интересным и требует специального рассмотрения с учетом целого ряда факторов: экологических условий, особенностей хозяйства и идеологии, проявления архитипических структур и т. п. Оставляя в стороне эту проблему в целом, следует заметить, что преемственность, наблюдаемая в археологическом материале, и существовавшие в реальности сложные механизмы культурогенеза – не одно и то же. Различные модели формирования древних культур могут с разной степенью полноты отражаться в археологических источниках. Поскольку выявить все сложности этого процесса на основе материальных остатков крайне затруднительно, культурогенетические схемы, как правило, носят более «сглаженный» характер, при этом каждая из них остается лишь упрощенной моделью действительности, адекватность которой заведомо нельзя проверить. Недостаток данных усугубляет ситуацию, повышая роль субъективизма исследователя, прежде всего его интуиции и опыта. Понятно, что труднее всего избежать ошибок ученым, которым приходится продвигаться по непроторенному пути.

Иногда стабильное, без видимых резких изменений развитие культур Обь-Иртышья наблюдается в течение сплошных, весьма продолжительных периодов. Иллюстрацией тому может служить саргатская культура раннего железного века, которая доминировала в западносибирской лесостепи на протяжении тысячелетия, сохраняя достаточно устойчивое сочетание характерных черт. Одна-

ко в середине I тыс., когда культура прекратила свое существование, произошел резкий обрыв преемственности. В результате саргатские традиции керамического производства проявляются вновь лишь спустя несколько столетий в комплексах бакальской культуры.

Принимая во внимание неоднократно отмеченный специалистами уровень социальной неоднородности саргатского общества, можно рассмотреть ситуацию с учетом возможного существования в нем субкультурных образований. Правящая элита, которая по некоторым оценкам имела сакское происхождение, являясь иноэтнической по отношению к основной массе угорского населения, была заинтересована в приоритетном развитии традиций, отражающих идеологию и систему ценностей кочевников. Наряду с этим, могли существовать и другие элементы, которые, наоборот, подавлялись и сохранялись в скрытом, приглушенном виде, до тех пор, пока не был нарушен сложившийся характер социальных связей, и они не вышли на поверхность. Те и другие компоненты культуры могли неодинаково отражаться в вещественных источниках, что препятствует изучению культурогенеза во всей его сложности и полноте [Данченко, 1998, с. 25]. Резкий обрыв культурной преемственности, сохранявшейся в западносибирской лесостепи до середины I тыс., наиболее явно прослеживается в исчезновении саргатских курганных комплексов с характерной для них керамикой и иными атрибутами, обнаруживающими параллели у кочевников. Можно предположить, что иные, восходящие к более древним местным традициям и менее подверженные внешнему влиянию, черты продолжили свое развитие, дожив до эпохи позднего средневековья.

Проявление сходства между археологическими комплексами, существование которых разделено значительными временными промежутками, представляет не менее интересную проблему. Часть поселенческой керамики саргатской культуры обнаруживает определенные параллели с позднесредневековой посудой, из-за чего одни и те же материалы иногда по-разному интерпретировались учеными. Подобным образом устанавливается преемственность между населением андроновской культуры и современными аборигенами Западной Сибири, которые до настоящего времени используют андроновские орнаментальные схемы для украшения одежды или берестяных изделий. И в том, и в другом случае орнаментальные традиции сначала исчезали на несколько веков или даже тысячелетий, или просто не фиксировались в археологических источниках, после чего прослеживались вновь в последующие эпохи. Проявлению такого «ретро» могло способствовать не только существование иных форм фиксации орнаментальных

мотивов, обычно не сохраняющихся в процессе археологизации – вышивок, аппликаций, узоров на бересте, татуировок и т. п., но также возможность использовать в качестве образцов узоры на керамике более древних культур. Этнография дает немало примеров тому, как устойчивость традиционных верований может сопровождаться разнообразием внешних форм их выражения, включая заимствованную символику, когда традиционные, глубоко укоренившиеся идеи могут воплощаться в нетрадиционных формах. Отсюда использование аборигенами Западной Сибири в культовых целях различных категорий археологических находок: каменных топоров, наконечников стрел, бронзовых антропоморфных изображений – или включение персонажей, почитаемых в православии, в традиционный языческий пантеон. При этом предметы, орнаменты, сюжеты фольклора, прежде являвшиеся элементами чужой культуры, могли утрачивать или изменять свою первоначальную функцию и наделяться новым содержанием в зависимости от особенностей культурной среды.

Таким образом, устойчивость идеологических представлений не всегда сопровождается преемственностью в развитии внешней атрибутики, которая прежде всего оказывается в поле зрения археологов. И наоборот, присутствие в различных культурно-хронологических комплексах схожих черт, например, схожих антропоморфных изображений, не обязательно является отражением прямой линии развития, поскольку древние предметы могли переиспользоваться и почитаться носителями более поздних культур именно благодаря их необычному облику и происхождению [Данченко, 1999, с. 99].

По-видимому, степень сходства разновременных комплексов, в частности керамических, особенно легко переоценить на начальном этапе их изучения, когда материалы известны еще очень слабо. Более глубокое знакомство с изучаемыми комплексами приводит к мысли о том, что за видимым плавно-эволюционным ходом культурного развития скрываются более сложные процессы, далеко не всегда адекватно фиксируемые средствами археологии.

Г.В. ДЛУЖНЕВСКАЯ, Н.А. ЛАЗАРЕВСКАЯ, М.В. МЕДВЕДЕВА

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ГРЯЗНОВА В ФОТОАРХИВЕ ИИМК РАН

Материалы, связанные с именем археолога, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки РСФСР, лауреата Государственной премии СССР, членкорреспондента Германского археологического института, крупнейшего исследователя Сибири, Алтая, Средней Азии Михаила Петровича Грязнова, в фотоархиве ИИМК РАН представлены в фондах Государственной академии истории материальной культуры, Института истории материальной культуры АН СССР, ЛО Института археологии АН СССР и личном фонде М.П. Грязнова. Фотоматериалы можно объединить в несколько обширных комплексов: персоналия, материалы полевых исследований, материалы к работам, личный фонд исследователя. Фотодокументы, а именно так Михаил Петрович настоятельно требовал называть фотографии и негативы, передававшиеся на хранение в архив, поступали в течение пятидесяти лет (с 1927 по 1976 г.). Личный фонд М.П. Грязнова был образован в апреле 1987 г.

Персоналия

В фотоархиве хранится серия портретов М.П. Грязнова, самый ранний из которых относится к 1922 г., последний снимок сделан в 1976 г. в Красноярской экспедиции.

1. М.П. Грязнов, С.И. Руденко и С.А. Теплоухов в саду Томского университета. 1922 г.
2. М.П. Грязнов за расчисткой погребения. Алтайская экспедиция. 1927 г. Альбом О.3587/126.
3. М.П. Грязнов перед отъездом в экспедицию. Алтайская экспедиция. 1927 г. Альбом О.3587/103.
4. М.П. Грязнов в экспедиции. Алтайская экспедиция. 1927–1929 гг. Альбом О.3587/105.
5. М.П. Грязнов. Фото 1934 г. Альбом О.3627/1.
6. М.П. Грязнов во время ссылки в Вятку. Фото 1934 г. Альбом О.3627/2.
7. М.П. Грязнов в ссылке в Вятке в группе жителей города. Фото 1934 г. Альбом О.3627/8.

8. М.П. Грязнов в урочище Шибе. Алтайская экспедиция. 1939 г. Альбом О.3587/98.
9. М.П. Грязнов на раскопках курганов в урочище Шибе. Алтайская экспедиция. 1939 г. Альбом О.3587/93.
10. М.П. Грязнов. Фото 1949 г. Альбом О.2511/32.
11. М.П. Грязнов. Фото 1959 г. Негатив – II 83439.
12. М.П. Грязнов за работой в ЛОИА. Фото 1959 г. Негативы – II 83449–II 83451.
13. М.П. Грязнов на раскопках могильника Улан-Хада VI. Иркутская экспедиция. 1959 г. Альбом О.3596/64.
14. М.П. Грязнов на могильнике Улан-Хада II. Иркутская экспедиция. 1959 г. Альбом О.3595/79.
15. М.П. Грязнов на могильнике Куркут. Иркутская экспедиция. 1959 г. Альбом О.3594/116.
16. М.П. Грязнов на Малом море. Иркутская экспедиция. 1959 г. Альбом О.3594/98.
17. М.П. Грязнов. Фото 1950, 1960, 1965 г. Негативы – Л1915–1916, I 58652–58653, II 80540.
18. М.П. Грязнов. Фото 1970-х гг. Негативы II 86996–86997.
19. М.П. Грязнов. Фото 1972 г. Негативы I 85519–85521.
20. М.П. Грязнов. Фото 1974 г. Альбом О.3030/100.
21. М.П. Грязнов. Фото 1974 г. Негатив I 82421.
22. М.П. Грязнов на могильнике Тепсей VIII. Красноярская экспедиция. 1976 г. Альбом О.3172/25.

Материалы полевых исследований

1927

Коллекции 1515, 1123, 1808. Альбомы О.1885, О.1670, О.2023. Негативов – 8 ед. хр., отпечатков – 8 ед. хр. Раскопки кургана Шибе на р. Урсуле, Алтай. Снимки находок.

1929

Коллекция 1253. Альбом О.2515. Отпечатков – 3 ед. хр. Материалы поездки М.П. Грязнова на Алтай. Виды р. Чулышман, перевала Катгу-ярык и бухты Аюк-испечь. Коллекция 1480. Альбом О.709. Отпечатков – 9 ед. хр. Раскопки кургана 1 в урочище Пазырык. Снимки находок – бляхи и псалии конских уборов.

Коллекция 1515. Альбом О.1885. Негативов – 6 ед. хр., отпечатков – 6 ед. хр. Раскопки кургана 1 в урочище Пазырык. Снимки находок – уздечные наборы, седло, лошадиные маски и др.

Коллекция 1335. Альбом О.1632. Негативов – 2 ед. хр., отпечатков – 2 ед. хр. Археологическая карта Пазырыкских курганов и схематичный план Пазырыкского курганного поля.

1939

Коллекция 1480. Альбом О.709. Отпечатков – 1 ед. хр. Раскопки кургана 5 в Яконуре, Усть-Канский аймак, Ойратская автономная область. Находки – золотые пластинки от головного убора.

1947

Коллекции 1325, 1348. Альбом О.1632. Негативов – 62 ед. хр., отпечатков – 61 ед. хр. Алтайская экспедиция. Раскопки поселения и могильника Ближние Елбаны, близ с. Большереченское. Полевая работа, находки.

1949

Коллекция 1443. Альбом О.1632. Негативов – 14 ед. хр., отпечатков – 14 ед. хр. Алтайская экспедиция. Раскопки могильника на дюнах Ближние Елбаны у с. Большереченское. Полевая работа, планы.

1951

Коллекция 1621. Альбом О.1831. Негативов – 18 ед. хр., отпечатков – 18 ед. хр. Волго-Донская экспедиция. Раскопки поселения эпохи бронзы у хутора Ляпичев. Чертежи, находки, рисунки.

1952

Коллекция 1587. Альбомы О.1780 – О.1783. Негативов – 5 пленочных катушек, отпечатков – 135 ед. хр. Новосибирская экспедиция. Раскопки в Верхнем Ирменском и Ордынском районах, на правом берегу р. Оби. Полевая работа.

Коллекция 1587. Альбомы О.1783, О.1872. Негативов – 58 ед. хр., отпечатков – 58 ед. хр. Раскопки поселений андроновской культуры и фоминского этапа в д. Шляпово, Ирмень I и II и Усть-Ирмень, курганного могильника у ст. Шарара. Планы, карта, чертежи и находки.

1953

Коллекция 1792. Альбом О.1967. Негативов – 119 ед. хр., отпечатков – 119 ед. хр. Новосибирская экспедиция. Раскопки поселений и могильников у д. Ирмень, Ирба, Кроново, с. Ордынское и др. Полевая работа, находки, планы, карасукская керамика, реконструкция внешнего вида женщины карасукской эпохи.

1954

Коллекция 1743. Альбом О.1969. Негативов – 93 ед. хр., отпечатков – 92 ед. хр. Новосибирская экспедиция. Раскопки неолитических стоянок и курганов у с. Ордынское. Планы, находки.

1955

Коллекция 1910. Альбом О.2073. Негативов – 37 ед. хр., отпечатков – 37 ед. хр. Красноярская экспедиция. Рас-

копки могильников в Минусинской котловине. Карта, планы, чертежи погребений. Планы местностей Таштык, Суханиха, Сарагаш и др.

1958

Коллекция 2016. Альбомы О.2073, О.2133. Негативов – 137 ед. хр., 2 пленочные катушки, отпечатков – 159 ед. хр. Красноярская экспедиция. Раскопки могильников Гришкин Лог и Карасук II. Полевая работа, планы, разрезы, реконструкция могильного сооружения.

1959

Коллекция 2084. Альбомы О.2273, О.2274. Негативов – 138 ед. хр., отпечатков – 138 ед. хр. Иркутская экспедиция. Раскопки на оз. Байкал. Чертежи, планы, находки.

1960

Коллекция 2118. Альбом О.2291. Негативов – 39 ед. хр., отпечатков – 39 ед. хр. Красноярская экспедиция. Обследования и раскопки М.П. Грязнова в Красноярском крае. Чертежи и древности.

Альбом О.829. Негативов – 31 ед. хр., отпечатков – 31 ед. хр. Красноярская экспедиция. Раскопки могильника Карасук I у с. Батени. Планы.

Альбом О.2291. Негативов – 67 ед. хр., отпечатков – 67 ед. хр. Красноярская экспедиция. Раскопки в г. Канске, с. Потрошилово и Таштык. Полевая работа, находки.

1961

Коллекция 2155. Альбомы О.2484 – О.2487. Негативов – 227 ед. хр. и 23 пленочные катушки, отпечатков – 426 ед. хр. Красноярская экспедиция. Раскопки могильников Подгорное озеро, Карасук I и III, Барсучиха V у с. Батени. Процесс полевых работ, чертежи, находки.

1962

Коллекция 2215. Альбомы О.2488 – О.2490. Негативов – 421 ед. хр., отпечатков – 419 ед. хр. Красноярская экспедиция. Раскопки могильников и поселений в Минусинской котловине: Карасук I, III, IV, V, VI, VIII, IX, Барсучиха V, Каменный Лог, Ярки, Батени, Пристань, Буфер, Крестик. Процесс полевых работ, чертежи, планы, находки.

1963

Коллекция 2260. Альбомы О.2536 – О.2539. Негативов – 321 ед. хр., отпечатков – 321 ед. хр. Красноярская экспедиция. Раскопки могильников и стоянок по р. Енисей, в Минусинской котловине (у с. Батени, Сарагаш, Новоселово, Байкалово). Полевая работа, чертежи, находки.

1964

Коллекция 2292. Альбомы О.2581 – О.2582. Негативов – 171 ед. хр., отпечатков – 171 ед. хр. Красноярская экс-

педиция. Раскопки литейной мастерской «Таштык» и могильников на р. Енисей, в Минусинской котловине. Процесс полевых работ, чертежи, находки.

1965

Коллекция 2333. Альбомы О.2639 – О.2641. Негативов – 306 ед. хр., отпечатков – 306 ед. хр. Красноярская экспедиция. Раскопки могильников Кюргинер I, II, Сыда I, V в Минусинской котловине. Полевая работа, чертежи, находки.

1966

Коллекция 2351. Альбомы О.2662, О.2663. Негативов – 212 ед. хр., отпечатков – 229 ед. хр. Красноярская экспедиция. Раскопки могильников Кюргинер I, II, Улуг-Кюзюр II, III, у горы Тепсей, в Минусинской котловине. Полевая работа, чертежи, находки.

1967

Коллекция 2389. Альбомы О.2713 – О.2714. Негативов – 235 ед. хр., отпечатков – 235 ед. хр. Красноярская экспедиция. Раскопки могильников Барсучиха I, II, IV у д. Сарагаш, в Минусинской котловине. Полевая работа, чертежи.

1968

Коллекция 2425. Альбомы О.2742 – О.2744. Негативов – 453 ед. хр., отпечатков – 453 ед. хр. Красноярская экспедиция. Раскопки могильников Тепсей I – IV, VII, VIII, IX, стоянок и могильников Тепсей IX, XII, стоянки Сыда V, могил у с. Подсуханиха и стоянки Крестик. Полевая работа, чертежи, находки.

1969

Коллекция 2554. Альбом О.2790. Негативов – 119 ед. хр., отпечатков – 122 ед. хр. Красноярская экспедиция. Раскопки могильников у горы Тепсей близ пос. Листвягово на правом берегу Енисея. Процесс полевых работ, чертежи.

1970

Коллекция 2491. Альбомы О.2839, О.2840. Негативов – 108 ед. хр., отпечатков – 244 ед. хр. Красноярская экспедиция. Раскопки могильников Тепсей III, IV, VII, XVII, XVIII на Енисее. Процесс полевых работ, чертежи.

1971

Коллекции 2540, 2572, 2592, 2772. Альбомы О.2891, О.2892, О.2928. Негативов – 129 ед. хр., отпечатков – 164 ед. хр. Красноярская экспедиция. Раскопки в Минусинской котловине и Хакасской автономной области. Полевая работа, чертежи, находки. Материалы работ М.П. Грязнова на кургане Аржан, Тувинская АССР. Чер-

тежи, находки, рисунки предметов конской сбруи, фрагменты тканей из центральной камеры.

1973

Коллекция 2636. Альбомы О.2889, О.2990. Негативов – 165 ед. хр., отпечатков – 226 ед. хр. Аржанская экспедиция. Исследования кургана Аржан у пос. Аржан, Тувинская АССР. Полевая работа, чертежи, находки.

1974

Коллекция 2671. Альбом О.3069. Негативов – 44 ед. хр., отпечатков – 42 ед. хр. Красноярская экспедиция. Чертежи, находки.

Коллекция 2678. Альбом О.3078. Негативов – 64 ед. хр., отпечатков – 78 ед. хр. Аржанская экспедиция. Раскопки царского кургана раннескифского времени у пос. Аржан, Тувинская АССР. Полевая работа.

1975

Коллекция 2734. Альбом О.3101. Негативов – 64 ед. хр., отпечатков – 64 ед. хр. Тепсейский отряд Красноярской экспедиции. Раскопки могильников Тепсей VII, XV. Полевая работа, чертежи, находки.

1976

Коллекция 2794. Альбомы О.3171, О.3172. Негативов – 176 ед. хр., отпечатков – 194 ед. хр. Курганный отряд Красноярской экспедиции. Раскопки у горы Тепсей на правом берегу Енисея. Полевая работа, чертежи, находки.

Материалы к работам

Коллекция 963. Альбом О.1407. Негативов – 11 ед. хр., отпечатков – 11 ед. хр. Материалы по археологии Сибири эпохи бронзы к работе М.П. Грязнова к I-му тому «История СССР» (макет). Карты, таблицы находок. Снимки выполнены в фотолаборатории ИИМК в 1939 г.

Коллекция 1123. Альбом О.1670. Негативов – 6 ед. хр., отпечатков – 6 ед. хр. Серия снимков для сборника статей «История культуры Алтая». Рисунки ткани, поделок из рога, кости, камня и бронзы, фотография мумифицированной ноги человека. Снимки выполнены в лаборатории ИИМК в 1941 г.

Альбом О.1670. Негативов – 3 ед. хр., отпечатков – 3 ед. хр. Материалы для сборника «История культуры Алтая». Снимки черепа из раскопок М.П. Грязнова в Шибе 1927 г., реконструкция лица человека андроновской культуры из Алексеевского, исполненная М.М. Герасимовым. Снимки выполнены в лаборатории ИИМК в 1950, 1952 гг.

Коллекция 1299. Альбом О.1670, негатив II 50209. Негативов – 22 ед. хр., отпечатков – 21 ед. хр. Материалы к работе «Минусинские каменные бабы в связи с некоторыми новыми материалами». Каменные изваяния, изображения рыб, пластины (РПР с рис.). Снимки выполнены в лаборатории ИИМК в 1947 г.

Коллекция 1504. Альбом О.1670. Негативов – 9 ед. хр., отпечатков – 9 ед. хр. Материалы к работе «Из далекого прошлого Алтайского края». Таблицы зарисовок погребений и инвентаря. Снимки выполнены в лаборатории ИИМК в 1950 г.

Коллекции 1504, 1829. Альбом О.1670. Негативов – 24 ед. хр., отпечатков – 24 ед. хр. Материалы к работе «История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка». Таблицы зарисовок керамики и находок из раскопок М.П. Грязнова в 1946, 1947, 1949 гг. Снимки выполнены в лаборатории ИИМК в 1952, 1955 гг.

Коллекция 1505. Альбом О.1670. Негативов – 2 ед. хр., отпечатков – 2 ед. хр. Материалы к статье «Археологические исследования одного древнего поселка». Таблицы рисунков находок на р. Оби и у с. Большереженское. Снимки выполнены в лаборатории ИИМК в 1950 г.

Альбом О.1670. Негативов – 2 ед. хр., отпечатков – 2 ед. хр. Материалы к работе «Некоторые итоги археологических работ на Верхней Оби». Таблицы рисунков находок и планы погребений. Снимки выполнены в лаборатории ИИМК в 1952 г.

Альбом О.1670. Негативов – 1 ед. хр., отпечатков – 1 ед. хр. Иллюстрации к статье «Писаницы эпохи бронзы из д. Знаменки в Хакасии». Снимки выполнены в лаборатории ИИМК в 1956 г.

Коллекция 1732. Альбом О.1670. Негативов – 3 ед. хр., отпечатков – 3 ед. хр. Иллюстрации к статье «Памятники эпохи бронзы в Северном Казахстане». Снимки выполнены в лаборатории ИИМК в 1954 г.

Коллекция 1958. Альбом О.2123. Негативов – 14 ед. хр., отпечатков – 14 ед. хр. Материалы к докладу «Что такое курган?» на заседании Ученого Совета ЛО ИИМК в 1957 г. Планы, рисунки, чертежи, реконструкции. Снимки выполнены в лаборатории ИИМК в 1957 г.

Альбом О.2123. Негативов – 5 ед. хр., отпечатков – 5 ед. хр. Материалы к докладу «Что такое курган?». Рисунки Салбыкского кургана, Сарыкольского кургана, схема разрушения надмогильных сооружений и чертежи наусов Пенджикента. Снимки выполнены в лаборатории ЛОИА в 1960 г.

Негативов – 42 ед. хр. Материалы к работам М.П. Грязнова «Что такое курган?» и «О так называемых одетых статуетках».

Коллекция 2544. Альбом О.2123. Негативов – 1 ед. хр., отпечатков – 1 ед. хр. Карта местности у горы Тепсей Краснотуранского района Красноярского края. Составлена М.П. Грязновым к его работам.

Альбом О.2123, негатив I 77704. Негативов – 36 ед. хр., отпечатков – 35 ед. хр. Материалы к работе «Афанасьевская культура на Енисее». Таблицы рисунков форм и орнаментов сосудов из раскопок М.П. Грязнова, С.В. Киселева, Г.П. Сосновского. Снимки выполнены в лаборатории ЛОИА в 1971 г.

Альбом О.2123. Негативов – 3 ед. хр., отпечатков – 3 ед. хр. Иллюстрации к статье «Саяно-алтайский олень» в сборник «Проблемы археологии», вып. 2.

Негативы I 115909–115911, II 95799–95800. Негативов – 5 ед. хр. Иллюстрации к книге «Аржан – царский курган раннескифского времени».

Негативы I 115904–115905, II 95792–95798. Негативов – 9 ед. хр. Иллюстрации к статье «К вопросу о сложении культуры скифо-сибирского типа в связи с открытием кургана Аржан» в КСИА, № 154.

Негативы I 95801–95808, II 115912–115918. Негативов – 14 ед. хр. Иллюстрации к коллективной монографии «Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее».

Отпечатков – 89 ед. хр. Материалы к публикации раскопок М.П. Грязнова и М.В. Воеводского в Буране.

Материалы из личного фонда М.П. Грязнова

Материалы поступили в фотоархив в 1986 г. от сына М.П. Грязнова и М.Н. Комаровой – Орика Михайловича Грязнова. Предварительная опись составлена М.Н. Пшеницыной. До начала обработки фонд включал 132 папки отпечатков (около 24000) и 3000 узких и широких пленок. Состав фонда: научный – отпечатки и негативы по полевым исследованиям 1927–1977 гг., иллюстрации к работам, материалы антропологических экспедиций, материалы поездок по Средней Азии; лично-научный – панорамы различных городов СССР, персонала.

Обработка фонда, начатая сразу же после его поступления, будет продолжаться долгие годы. Необходимо сверить новые материалы с уже хранящимися в фотоархиве, сличить негативы с пленками, составить описи, зашифровать негативы и, наконец, смонтировать альбомы, т. е. провести весь скрупулезный процесс работ по научно-технической обработке фотодокумента.

Опись фотоматериалов, поступивших в фотоархив ЛОИА как личный архивный фонд М.П. Грязнова

1) Красноярская экспедиция 1960–1967 гг. Полевые работы: могильники Подсуханиха, Карасук I, поселение Каменный Лог I. 400 отпечатков¹.

2) Красноярская экспедиция 1958–1967 гг. Полевые работы: могильники Карасук I, Гришкин Лог I и др. 450 отпечатков.

3) Красноярская экспедиция 1960–1966 гг. Полевые работы: могильники Суханиха, Улуг-Кюзюр I, Карасук I и др., снимки керамики из Минусинского музея. 430 отпечатков.

4) Красноярская экспедиция 1960–1967 гг. Полевые работы: Карасук I, IV и др. 350 отпечатков.

5) Красноярская экспедиция 1958, 1960–1967 гг. Полевые работы: могильники Карасук I и др. Материалы поездки в Туву.

6) Красноярская экспедиция 1960–1967 гг. Полевые работы: Хантайка (1961), Гришкин Лог (1960), Барсучиха IV (1960, 1967) и др. 400 отпечатков.

7) Красноярская экспедиция 1960–1967 гг. Полевые работы: могильники Кюргеннер I, Барсучиха V и др. Виды могил, курганов до и после раскопок. Видовые снимки Енисея. 450 отпечатков.

8) Красноярская экспедиция 1960–1967 гг. Полевые работы: Барсучиха I, IV, V, Карасук I, Пристань I, Кюргеннер I, Подгорное озеро и др. 1350 отпечатков.

9) Красноярская экспедиция 1960–1967 гг. Полевые работы: Карасук II, III, IV, Оглахты, Туба, Саргов улус, Барсучиха I, V, Подгорное озеро, Сыда V и др. Виды Енисея. 1250 отпечатков.

10) Красноярская экспедиция 1958 г., 1960–1961 гг. Полевые работы: Гришкин Лог I–VII, Каменный Лог I, Карасук I, V, Таптык, Улуг-Кюзюр II, Мысок, Барсучиха I. 850 отпечатков.

11) Красноярская экспедиция 1960–1967 гг. Полевые работы: Ярки II, Кюргеннер I, II, Сыда V, Буфер, Подгорновский могильник и др. 450 отпечатков.

12) Красноярская экспедиция 1958 г., 1960–1967 гг. Полевые работы: Карасук I, Страшной лог, Афанасьева гора, Карасук III, Сыда V и др. 400 отпечатков.

13) Красноярская экспедиция 1958 г., 1960–1967 гг. Полевые работы: Салбык, Барсучишный лог, Страшной лог и др. Снимки могил и перекрытий. Виды Енисея. 600 отпечатков.

14) Красноярская экспедиция 1955 г., 1958 г., 1960–1967 гг. Полевые работы: Карасук I и др. Снимки могил и перекрытий. Виды Енисея. 700 отпечатков.

15) Красноярская экспедиция 1968–1976 гг. Полевые работы: снимки могил из могильников у горы Тепсей. 2250 отпечатков.

16) Красноярская экспедиция 1968–1976 гг. Полевые работы: могильники у горы Тепсей. Снимки могил в процессе и после раскопок. 2750 отпечатков.

17) Красноярская экспедиция 1968–1976 гг. Полевые работы: могильники у горы Тепсей. Снимки чертежей. 650 отпечатков.

- 18) Красноярская экспедиция 1955 г., 1958 г., 1960–1967 гг. Полевые работы. Снимки чертежей.
- 19) Аржанская экспедиция 1971–1974 гг. Полевые работы: снимки погребений кургана и находок. 1850 отпечатков, 36 широких пленки, 30 узких пленок.
- 20) Аржанская экспедиция 1971–1974 гг. Снимки чертежей кургана Аржан. 26 негативов, 15 отпечатков.
- 21) Аржанская экспедиция 1971–1974 гг. Полевые работы: снимки погребений кургана и находок. Виды Тувы. 30 узких пленок.
- 22) Северо-Алтайская экспедиция 1947 г., 1949 г. Полевые работы: могильники и стоянка Ближние Елбаны близ с. Большая речка на р. Оби. Снимки могил и находок, фотографии процесса раскопок стоянки. 650 отпечатков.
- 23) Новосибирская экспедиция 1952–1954 гг. Полевые работы: стоянка Ирмень I, Ирмень III, Ирмень IV. Виды в процессе раскопок. 350 отпечатков.
- 24) Новосибирская экспедиция 1952–1954 гг. Полевые работы: стоянка Ирмень, Шляпово и др. 400 отпечатков.
- 25) Новосибирская экспедиция 1952–1954 гг. Полевые работы: Ордынское, Киприно, Ложбинка, Ирмень II, IV и др. 400 отпечатков.
- 26) Новосибирская экспедиция 1952–1954 гг. Полевые работы: Мереть I, Киприно и др. 150 отпечатков.
- 27) Иркутская экспедиция 1959 г.² Полевые работы: могильники Улан-Хада II–V, стоянка Улан-Хада, Фофаново и др. 400 отпечатков.
- 28) Иркутская экспедиция 1959 г. Полевые работы: поселение Улан-Хада, могильники Улан-Хада, бухта Шидэ. 400 отпечатков.
- 29) Иркутская экспедиция 1959 г. Полевые работы: могильник Улан-Хада IV, озеро Нурэ, Куркутский залив, бухта Шидэ и др. 450 отпечатков.
- 30) Иркутская экспедиция 1959 г. Полевые работы: могильники острова Ольхон, Энхалук, Фофаново и др. 400 отпечатков.
- 31) Иркутская экспедиция 1959 г. Могильники острова Ольхон. Полевая работа, снимки таблиц керамики и чертежей. 300 отпечатков.
- 32) Иркутская экспедиция 1959 г. Стоянка Улан-Хада, могильники Улан-Хада II, IV, V. Снимки чертежей. 15 негативов.
- 33) Иркутская экспедиция 1959 г. Стоянка Улан-Хада, Улан-Хада V, Бурлюк I, II и др. Снимки чертежей. Общий план расположения памятников на озере Байкал. 19 негативов.
- 34) Иркутская экспедиция 1959 г. Полевые работы: Энхалук, Степные Дворцы, могильник у мыса Елгай, остров Ольхон (Хужгер) и др. 400 отпечатков.
- 35) Иркутская экспедиция 1959 г. Полевые работы: могильники острова Ольхон, мыс Шибетей. 200 отпечатков.
- 36) Иркутская экспедиция 1959 г. Полевые работы: Фофаново, остров Ольхон (могильник Нурэ и др.), Улан-Хада и др. 25 широких пленок, 3 узких пленки.
- 37) Иркутская экспедиция 1959 г. Полевые работы: Энхалук, Степные Дворцы. 9 широких пленок с отпечатками к ним.
- 38) Иркутская экспедиция 1959 г. Полевые работы: стоянка и могильники Улан-Хада. 21 пакет с пленками и отпечатками.
- 39) Иркутская экспедиция 1959 г. Полевые работы: стоянка Улан-Хада, Саган-Нугэ, мыс Шибэтей, шатровые могильники у пос. Куркут и др. 45 пакетов с пленками и отпечатками.
- 40) Иркутская экспедиция 1959 г. Полевая работа. 26 широких пленок и 2 узких пленки.
- 41) Иркутская экспедиция 1959 г. Полевая работа. 40 пленок.
- 42) Иркутская экспедиция 1959 г. Деревянное зодчество Иркутска и Улан-Удэ. 200 негативов, 200 отпечатков.
- 43) Красноярская экспедиция. Полевые работы разных лет. 180 широких пленок, 45 узких пленок.
- 44) Красноярская экспедиция 1961 г. Полевые работы: могильник Барсучиха IV. Снимки чертежей. 18 негативов.
- 45) Красноярская экспедиция 1960–1961 гг., 1964 г. Полевые работы. 30 пленок.
- 46) Красноярская экспедиция 1960 г. Стоянки Таштык II, Усть-Собакина и др. Снимки чертежей. 14 негативов.
- 47) Красноярская экспедиция 1960–1961 гг. Могильник Барсучиха I, IV. Снимки чертежей. 13 негативов.
- 48) Красноярская экспедиция. Вид на укрепление Оглахты. Снимки вещей и керамики. 35 негативов.
- 49) Красноярская экспедиция. Полевые работы: 1960–1970-х гг. 92 широких пленки, 60 узких пленок.
- 50) Красноярская экспедиция. Полевые работы разных лет. 60 широких пленок, 30 узких пленок, 240 негативов.
- 51) Новосибирская и Бухтарминская экспедиции 1950 г., 1952–1954 гг. Полевые работы. 56 узких пленок.
- 52) Новосибирская экспедиция 1952–1954 гг. 155 негативов.
- 53) Бухтарминская и Восточно-Казахстанская экспедиции. Полевые работы 1950–1960-х гг. 20 широких пленок, 1 узкая пленка.
- 54) Бухтарминская экспедиция 1950 г. Снимки чертежей. 18 негативов.
- 55) Восточно-Казахстанская экспедиция. Снимки чертежей. 8 негативов.
- 56) Материалы поездок в Среднюю Азию и другие места. 9 широких пленок, 28 узких пленок.

57) Панорамные снимки Ленинграда, городов Средней Азии и Сибири. 24 узкие пленки.

58) Красноярская экспедиция. Полевые работы: могильники Карасук I, III, IV, поселение Каменный лог II, могильник у горы Суханиха и др. 56 диапозитивов.

59) Красноярская экспедиция. Полевые работы: могильники Гришкин лог I, VIII. 43 диапозитива.

60) Красноярская экспедиция 1958 г., 1960 г. Полевые работы: Гришкин лог VIII, поселение каменного века на р. Таштык. Иркутская экспедиция 1959 г. Полевые работы: поселение Улан-Хада, могильник Улярта, могильник у оз. Нурэ и др. 50 диапозитивов.

61) Материалы по теме «О так называемых одетых статуэтках». 13 диапозитивов.

62) Материалы к докладу «Что такое курган?». 24 диапозитива.

63) Материалы по теме «Пазырык». 22 диапозитива.

64) Материалы антропологических исследований 1920–1930-х гг. Снимки по теме «Алтайцы». 108 негативов, 3 диапозитива, 85 отпечатков.

65) Материалы поездок и экспедиций 1927–1929 гг. Киргизия, городище Бурана. 36 негативов.

66) Материалы раскопок Каменского. 1910 г. 9 негативов.

67) Пересъемка материалов из разных изданий. 143 негатива, 18 диапозитивов, 2 широких пленки, 8 узких пленок, 80 отпечатков.

68) Снимки работ М.П. Грязнова по дереву. Копии вещей из Пазырыкских курганов, сделанные им для дачи в Петергофе. 3 негатива.

69) Материалы заграничных поездок М.П. Грязнова. Панорамные снимки. 130 отпечатков.

70) Материалы Красноярской экспедиции. Фотоувеличения. 85 отпечатков.

71) Материалы раскопок Бураны в Киргизии. 60 отпечатков.

72) Снимки материалов по дендрохронологии. 110 отпечатков.

73) Материалы поездок в Киргизию и Южный Казахстан, 1950–1960-е гг. 400 отпечатков.

74) Материалы поездок в Сухуми, Хосту, Уфу и др. 250 отпечатков.

75) Материалы полевых работ на Ляпичевом хуторе. 130 отпечатков.

76) Материалы Красноярской, Новосибирской и Аржанской экспедиций. Фотоувеличения. 3 негатива, 15 отпечатков.

77) Материалы раскопок в Казахстане. 90 отпечатков.

78) Портреты М.П. Грязнова, С.В. Киселева. 2 негатива.

Коллекция 3307. Альбом О.3587. Негативов – 36 ед. хр., отпечатков–162 ед. хр. Экспедиции 1927, 1929, 1939, 1941, 1949 гг. на Алтай и в Хакасию. Полевая работа, бытовые снимки, этнографические сюжеты. Портреты М.Н. Комаровой, М.П. Грязнова, сотрудников экспедиции, местных жителей.

Коллекция 3308. Альбом О.3627. Негативов–17 ед. хр., отпечатков–16 ед. хр. Материалы пребывания М.П. Грязнова в Вятке (Киров) в 1934–1936 гг. Портреты М.П. Грязнова, местных жителей, детей; снимки экспозиции музея в Вятке. При аннотации материалов данного альбома сотрудники архива пользовались консультациями Николая Андреевича Зайцева, у родителей которого М.П. Грязнов квартировал во время пребывания в Вятке.

Коллекция 3309. Альбом О.3627. Отпечатков–113 ед. хр. Подготовительные материалы к неопубликованной работе «Очерки по истории культуры тюркских племен и народов Алтая».

Коллекция 3310. Альбом О.3856. Негативов –16 ед. хр., отпечатков – 226 ед. хр. Этот альбом, названный «Археологические материалы по Пазырыку и другим алтайским курганам», был составлен самим М.П. Грязновым и поступил в фотоархив после его кончины. Альбом содержит фотографии находок, их деталей, прорисовки орнаментов, виды курганов и отдельных моментов полевых исследований, 24 таблицы к публикации докторской диссертации.

В целом, в фотоархиве ИИМК РАН к настоящему времени обработано и доступно исследователям 4284 негатива, 30 пленочных катушек и 4949 отпечатков. Эти материалы перечислены выше в разделах «Материалы полевых исследований», «Материалы к работам» и «Персоналия» (31 ед. хр.).

Огромную ценность, бесспорно, представляет личный фонд М.П. Грязнова, включающий 132 папки отпечатков (около 24000) и 3000 узких и широких пленок. После его обработки произойдет значительное пополнение фонда документов, связанных с научной деятельностью Михаила Петровича Грязнова, столетнему юбилею со дня рождения которого посвящена данная работа.

¹ Здесь и далее в описи количество фотодокументов указано по предварительным подсчетам.

² Фотодокументы Иркутской экспедиции 1959 г. частично обработаны. См. Материалы полевых исследований, 1959 г.

ПРОБЛЕМЫ ПЕРВОБЫТНОГО ИСКУССТВА В ТРУДАХ М.П. ГРЯЗНОВА

Теория первобытного искусства и методы его изучения всегда привлекательны для исследователей. Немалая роль в разработке этих проблем принадлежит М.П. Грязнову. Человек разносторонних интересов и широкой эрудиции, он имел всегда оригинальный взгляд историка-археолога, музейного работника и искусствоведа на археологические вещи. М.П. Грязнову принадлежит ряд блестящих исследований, в которых дан комплексный анализ ряда памятников археологии. В последние 20 лет без ссылок на его статьи и монографии не обходится ни один исследователь сибирских и центральноазиатских древностей.

Труды М.П. Грязнова привлекают не только разнообразием поднятых проблем и их актуальностью, но также прозорливостью принципиальных положений. Много, о чем ученый писал в 1960–1980-е гг., находит отклик в научных трудах его последователей.

Цель предлагаемого материала – анализ основных теоретических положений в наследии М.П. Грязнова, не утративших своей актуальности в свете новых исследований в области первобытного искусства.

В своих работах М.П. Грязнов исходил из того, что археология – сложное явление культуры, связанное с различными сторонами древнего общества и обладающее единством и взаимопроникновением своих составляющих. Эта сложность требовала комплексного подхода к изучению проблем и связей археологии со смежными науками. И сегодня такой подход не вызывает сомнений и не требует доказательств. Привлечение истории, биологии, зоологии, математики, этнографии и фольклористики, искусства к изучению археологических проблем стало явлением обычным. Знание смежных наук позволило М.П. Грязнову учесть опыт и результаты ряда исследований в выработке собственной методики изучения археологии Сибири. Эта методика последовательно разрабатывалась им во всех трудах, но наиболее четко она представлена впервые в докладе, прочитанном на весенней сессии в Эрмитаже в 1960 г. [Грязнов, 1960].

М.П. Грязнов дает свой опыт типологического подхода к изобразительному искусству древних племен Сибири в I тыс. до н.э. на примере искусства древних племен Алтая, рассматривая репертуар изделий, их назначение, материал, технологию изготовления, уровень художественного мастерства, заимствования, стиль. Впервые сокровищницы алтайских курганов М.П. Грязновым были введены в общее русло развития первобытного искусства.

На Юбилейной научной сессии Государственного Эрмитажа в 1964 г. М.П. Грязнов предлагал рассматривать некоторые особенности прикладного и декоративного искусства древних племен Минусинской курганной (тагарской) культуры не как «источник для решения вопросов периодизации, хронологии и этнической принадлежности археологических памятников, затем вопросов происхождения древних культур, культурных влияний и заимствований, культурного взаимодействия и мировоззрения», а с точки зрения изобразительных приемов, техники художественного мастерства [Грязнов, 1964, с. 12–14]. Он отмечал, что в так называемый «героический» период (М.П. Грязнов) различные виды искусства (изобразительное, фольклор, музыка и др.) получают широкое развитие и достигают высокого совершенства, а декоративно-прикладное искусство приобретает черты изысканности и утонченности.

Однако ученый не ограничивался художественно-образной стороной древнего искусства. Он ввел искусствоведческую характеристику как равноправную, неотъемлемую часть археологической интерпретации. А в статье «Саяно-Алтайский олень: этюд на тему скифо-сибирского стиля» [Грязнов, 1978] художественный язык изображения сделал основным и считал скифо-сибирский звериный стиль возникшим на широких просторах степей при постоянном тесном культурном межплеменном обмене.

М.П. Грязнов был глубоко прав в широком взгляде на древнее искусство как явление, не замкнутое внутри себя, а подверженное воздействиям извне, влияниям иных стилей, которые оно оставило и по-своему интерпретировало. М.П. Грязнов разработал свой «ретроспективный метод» изучения древнего искусства. Этот метод выявления и реконструкции более древних слоев из нового, позднейшего материала в конце 1930-х гг. начал проникать в археологию и фольклористику [Городцов, 1926]. Его уподобляли методу расчисток древнерусских икон [Динцес, 1946]. В этой связи исследователь первоочередной задачей считал попытку «найти среди памятников изобразительного искусства древних племен и народа азиатских степей такие, в которых представлены сюжеты и образы героических мифов» [Грязнов, 1961]. Широкий круг памятников изобразительного искусства от I в. до н.э. до I в. н.э. М.П. Грязнов исследует как сюжеты героического эпоса. Для «прочтения» сюжетов бронзовых и золотых блях, золотых пластинок и серебряных сосудов он использует тексты героического эпоса современных народов Южной Сибири и убедительно доказывает «происхождение разных вариантов

сюжетов от одной древней поэмы, сложенной еще в эпоху ранних кочевников», которые «за время свыше 200-летней устной передачи из поколения в поколение сильно видоизменились, перерабатывались и даже приняли разную форму народного поэтического творчества» [Грязнов, 1961].

Занимаясь историей изобразительного искусства, М.П. Грязнов обращал особое внимание на последующие процессы развития и отдельные его стадии.

Свой ряд он строил и в хронологической последовательности, и в обратном порядке, от XIX–XX вв. вглубь столетий. Так, в антропоморфной фигурке бронзового века с р. Оби, представляющей из себя лошадиную бабку, он находит сходство с так называемыми эменгедерами (телеуты, шорцы, кумандинцы) – женскими духами-покровителями, которых молодая жена приносит с собой из родительского дома [Грязнов, 1962]. В небольшой статье М.П. Грязнов создает свою концепцию эволюции образа – от фигурки, связанной символикой скотоводческих культов, до игрушек, воплотивших женское начало у современных хакасских и казахских девочек. Исследователь дает реконструкцию древнего божества [Грязнов, 1962].

Кроме этого, ученому всегда были близки орнаментальные узоры, изменение их мотивов во времени. Любой геометрический мотив по М.П. Грязнову предшествовал настоящему и входил в «репертуар» последующего. Он искал скрытый смысл в каждой детали орнамента. В архивах М.П. Грязнова сохранилось большое количество таблиц, посвященных особенностям афанасьевских, андроновских, карасукских и тагарских памятников. Он не занимался специально вопросами современного народного искусства, но в плане воссоздания его истории имел свою точку зрения.

Его взгляд на реконструкцию древних памятников может служить интересным примером методики исследования народного художественного творчества. М.П. Грязнов своей методикой дает возможность представить народное искусство не как нечто застывшее, а как постоянно обогащающееся и развивающееся при сохранении форм глубокой старины.

М.П. Грязнова можно считать одним из основателей Петербургской школы исследователей древнего искусства. Принципиальная теоретическая основа его трудов и методика изучения на многие годы определили характер научной работы его последователей.

В.А. КОЛЬЧЕНКО

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ В 1928–1930 гг.

(работы М.П. Грязнова, М.В. Воеводского, А.И. Тереножкина и Палеознотологической экспедиции ГАИМК)

Археологическое изучение Кыргызстана насчитывает более 100 лет. В этом процессе можно выделить шесть этапов, различающихся по характеру решаемых задач, способам их реализации и научно-организационному потенциалу: дореволюционный (1885–1917); раннесоветский (1919–1933); бернштамовский (1936–1949); работы ККАЭЭ (1953–1958); позднесоветский (1958–1991); постсоветский – с 1991 г.

Казалось бы, ранние этапы археологического изучения Кыргызстана описаны и проанализированы наиболее обстоятельно. Их характеристики должны были бы уже приобрести устоявшиеся формы. И действительно, сформулированные в конце 1950–1960-х гг. оценки периодов практически без изменений приводятся во всех последующих историографических и обобщающих изданиях. При этом исследователи опираются, прежде всего, на опубликованные работы, хотя упоминаются и ру-

кописные материалы [Кожемяко, 1959, с. 10–19; Винник, 1967; История..., 1984]. Тем труднее объяснить практическую невостребованность рукописей, хранящихся ныне в РФ «Национального центра манасоведения и художественной культуры Национальной Академии наук Кыргызской Республики»*. Из-за этого целая экспедиция, проводившая стационарные раскопки в течение четырех месяцев на пяти объектах в Чуйской долине, а также разведочно-ознакомительные работы на Иссык-Куле, выпала из историографии археологического изучения Кыргызстана.

Речь идет о Палеознотологической экспедиции ГАИМК 1930 г., проводившейся под общим руководством Преображенского. В ее состав входили М.В. Воеводский –

* Ранее: РФ Института истории, языка и литературы КирФАН СССР, РФ Отделения общественных наук АН КиргССР.

тогда еще начинающий археолог, А. Виноградова, Дровозов, Сулейманкулов, Актанов и другие, чьи имена едва ли о чем-нибудь говорят даже знатокам истории советской археологии.

Экспедиция работала на «палеометаллической стоянке» на тогдашней северной окраине современного Бишкека; «курганной группе» у с. Ново-Покровка; городище Сын-Таш; городище Красная речка и у Чуйской электростанции.

Все полученные материалы, в том числе и археологические находки, были сданы в Киргизский научно-исследовательский институт краеведения и Краеведческий музей, являвшийся структурным подразделением последнего.

К настоящему времени вещественные находки фактически не сохранились, во всяком случае их паспорта утеряны. С рукописями – дневниками и чертежами – дела обстоят несколько лучше. Сохранились достаточно полные данные о раскопках у с. Ново-Покровка, «Палеометаллической стоянки» и у Чуйской электростанции. Дневниковые записи о раскопках на городищах Красная речка и, особенно, Сан-Таш разрознены и явно неполны.

«Палеометаллическую стоянку», как это хорошо известно, отметил при разведке в Чуйской долине в 1929 г. А.И. Тереножкин. Тогда при маршрутном обследовании он нашел несколько фрагментов керамики. [Тереножкин, 1935, с. 139; 1930, с. 49, 236, 56–57]. Развернувшиеся в 1930 г. раскопочные работы на отмеченном им месте вскрыли на площади 9.5 м² культурные напластования мощностью до 1.8 м. Они состояли из многочисленных зольных линз, костных остатков животных и небольшого количества керамики. При раскопках исследуемый участок был разбит на отдельные квадраты. Фиксация велась в дневнике послойно, отдельно по каждому квадрату. Для каждого квадрата была создана стратиграфическая колонка [Виноградова, 1930а].

На Краснореченском городище были заложены три траншеи по 14 м длиной каждая. Они зафиксировали культурный слой «на главном городище» мощностью до 4.40 м. Среди находок – в основном фрагменты керамики и кости животных, а также одна сердоликовая бусина и одна монета. Рисунки или развернутое описание находок отсутствуют. Также на городище был вскрыт «курган», в котором было обнаружено несколько безынвентарных погребений в грунтовых могилах с обкладкой и, в ряде случаев, перекрытием из сырцового кирпича, т. е. раннемусульманские погребения. В работе этого отряда принимали участие, по всей видимости, представители Киргизского НИИ краеведения Сулейманкулов и Актанов [Материалы экспедиции, 1930].

У Чуйской электростанции и у пос. Нахаловка также вскрывали два кургана. Следует напомнить о находке

здесь же в 1920 г. целого оссуария [Бартольд, 1922]. А.И. Тереножкин в 1929 г. также отмечал обнаружение здесь аналогичных изделий [Тереножкин, 1930, с. 31–32, 506–51а, 81–82; 1935, с. 142]. Экспедицией 1930 г. были раскопаны раннемусульманские погребения и захоронения кучек костей, а также фрагменты оссуариев. В курганах было найдено некоторое количество фрагментированной керамики. Значительная часть сохранившейся документации работы экспедиции в этом пункте составлена А. Виноградовой [Виноградова, 1930б].

На городище Сын-Таш у с. Юрьевка, расположенного недалеко от Иссык-Атинского ущелья, был заложен раскоп размерами 12 x 2 м. Он выявил культурный слой мощностью 120 см, состоящий из зольных линз, фрагментированной керамики, в том числе глазурованной и орнаментированной, и обломков костей животных. На глубине 60 см был выявлен слой, включавший горелое дерево, вероятно, судя по приведенному чертежу, от рухнувшего перекрытия. В раскопе также были выявлены три погребения: детское, по обряду труположения, ориентированное головой на северо-запад, безынвентарное, на глубине 50 см; при втором детском погребении, обнаруженном на глубине 89 см, также ориентированном на северо-запад, была найдена фрагментированная керамика; от третьего погребения, на глубине 73 см, сохранились лишь разбросанные в беспорядке кости. О следах могильных ям ничего не сообщается [Материалы Воеводского, 1930, с. 1–42].

Переходя к характеристике работ у с. Ново-Покровка, необходимо, прежде всего, отметить наиболее полную сохранность рукописных материалов. Написаны они А. Виноградовой и В.М. Воеводским, хотя на титульный лист вынесена только первая фамилия. В начале даны краткие описания трех городищ, находящихся севернее села. В историографии они известны как Новопокровские I, III и IV [Кожемяко, 1959, с. 107–111, 142–143]. Знакомство с ними исследователей связано, как представляется, с тем, что А.И. Тереножкин во время своих разведок в 1929 г. получил только устную информацию о «крепости» на северной окраине села, почему и отметил на карте место соответствующим значком с вопросительным знаком вместо цифры; лично им же было осмотрено городище в самом селе – Новопокровское II [Тереножкин, 1930, с. 47].

Однако основные работы у с. Ново-Покровка развернулись на его северной окраине. Здесь была зафиксирована курганная группа из 8 округлых курганов в 12–14 м в диаметре при высоте в 90–140 см и один более крупный холм удлинённых очертаний. Были вскрыты два кургана в противоположных концах группы. Под одним из них были вскрыты остатки двух, а под другим – трех погребальных сооружений типа наусов. Кроме того,

здесь же, между стенками сооружений, были найдены погребения в двух крупных сосудах-хумах и труположение под каменной наброской; у локтевого сустава погребенного на рисунке отмечен сосуд типа кружки [Виноградова, Воеводский, 1930].

Таким образом, историография археологического изучения Северного Кыргызстана в раннесоветский период представляется нам в следующем виде.

Начинать ее необходимо с организации в 1919 г. РАИМК, разряд Средней Азии которого возглавил В.В. Бартольд. В следующем, 1920 г. он посетил Среднюю Азию или, как тогда принято было называть, Туркестан. Возможно, посещение этого ученого с мировым именем повлияло, кроме прочих причин, на выход 23 мая 1921 г. Декрета Совнаркома Туркестанской республики о создании Туркомстариса.

В 1923 г. П.П. Иванов по поручению Туркомстариса обследует Таласскую долину: производит изучение и описание гумбеза Манаса и некоторые раскопки [Иванов, 1934].

В том же году В.Д. Городецкий приобрел у жителей с. Ново-Покровка серебряные сосуды, исследованные и атрибутированные им и вскоре изданные [Городецкий, 1926б]. Это был один из первых примеров археолого-культурологического вещеведения. Ныне эти изделия хранятся в Государственном Эрмитаже. Примерно в то же время В.Д. Городецкий посещает башню Бурана [История..., 1986, с. 481].

В связи с территориальным разграничением в 1924 г. среднеазиатских республик и созданием национальных Комстарисов при СНК Республик в 1925 г. Туркомстарис был преобразован с Средазкомстарис. Однако фактически именно он продолжал оставаться организационным центром исследований, во всяком случае для Кыргызстана. Такое положение предусматривалось консультациями, проводившимися руководством Туркомстариса – Средазкомстарисом в центральных научных учреждениях СССР [Янковский, 1928, с. 258].

В 1925 г. по поручению Средазкомстариса профессор МГУ Б.А. Денике совместно с М.М. Логиновым производят обмерочные работы на средневековых архитектурных памятниках Кыргызстана, в том числе, на башне Бурана и гумбезе Манаса. По их итогам были подготовлены планы реставрационных работ [Охрана памятников, 1930, с. 1–4].

В том же 1925 г. В.Д. Городецкий и Э.А. Шмидт, сотрудники Средазкомстариса, проводили разведочные исследования в западной части Иссык-Куля [Мионов, 1926, с. 30; Городецкий, 1926а].

С 1926 по 1929 г. П.П. Иванов проводил археологические обследования вначале на Иссык-Куле [1926–1927 гг.], а затем в Чуйской долине. Доклад о результа-

тах этих исследований был им сделан на заседании ГАИМК 30 мая 1930 г. [Заднепровский, 1957, с. 113]. К сожалению, результаты исследований ученого были опубликованы лишь после его смерти в 1957 г. [Иванов, 1957].

В эти же годы М.Е. Массон совершил две поездки по Таласской долине [Массон, 1930] и проводил регистрацию монетных находок, в том числе с территории Северного Кыргызстана.

В 1928 г. по заданию Средазкомстариса М.П. Грязнов и М.В. Воеводский проводили раскопки курганов южнее Буранинского городища [Материалы Воеводского, 1930, с. 43–55; Археологические экспедиции, 1962, с. 57]. О возможности проведения небольшой археологической экспедиции в Семиречье докладывал на заседании ГАИМК М.М. Цвибак, в то время руководитель Средазкомстариса [Цвибак, 1928, с. 263] Этот район был выбран, вероятно, в связи с завершающимся этапом по реставрации башни Бурана, осуществлявшейся в том году и, следовательно, наличием определенной базы на месте [Охрана памятников, 1930, с. 4]. Напомним, что в 1927 г. М.Е. Массон осуществлял археологический надзор за вскрытием нижних частей башни и проводил топографическую съемку городищ Бурана и Ак-Бешим [Умняков, 1928, с. 270–271]. Также «были обследованы цитадель и само городище около Бураны. Были обнаружены сбросы керамических заводов XI–XII вв. и неизвестное доныне христианское кладбище» [Охрана памятников, 1930, с. 3]. Поэтому можно констатировать, что работы в районе Буранинского городища в 1927–1928 гг. в целом носили комплексный характер, объединяя исследование курганной группы, городища и реставрацию минарета.

Анализируя проделанную археологическую работу, исследователи вырабатывают стратегию на будущее, сформулированную в «Плане палеоэтнологических (археологических) исследований в Киргизской АССР». В частности, в ней говорится: «Для того, чтобы обеспечить возможно более быстрое отыскание памятников и вместе с тем обследовать как можно более широкий район, работа по обследованию будет проводиться двумя отрядами по двум самостоятельным маршрутам. В состав каждого отряда входит научный сотрудник и его помощник». Предполагалось, что такие разведки займут около двух недель, в ходе которых «отряды будут проводить обследование всех встреченных ... по пути памятников, делая с них планы и фотографии, производя зачистку и сбор материала с обнажений (овраги, крутые берега, дюны, выемки при земляных работах и прочее) и нанося их на карту». «В результате такого обследования будут выбраны пункты для производства раскопок ... Они будут производиться полным составом экспедиции по возможности всего лишь в одном пункте».

Необходимо заметить, что предполагалось «сосредоточить основной интерес при работах в 1929 г. на отыскании и исследовании памятников бронзовой эпохи, выбрав для этой цели район г. Каракол и р. Тюп и Джарагалан, как место наиболее богатое по находкам бронзовых орудий» [Материалы Воеводского, 1930, с. 57–58]. В последней приведенной фразе чувствуются научные интересы М.П. Грязнова, в те годы активно занимавшегося проблемами бронзового века Южной Сибири и степей Азии.

Под документом, датированным 18.03.1929 г., стоят подписи: «Руководитель экспедиции А. Спицин; Секретарь М. Воеводский». В смете, составленной 4 марта 1929 г. начальником экспедиции значится М.П. Грязнов (но подпись его отсутствует) и секретарем все тот же М.В. Воеводский [Материалы Воеводского, 1930, с. 58–59]. И «Отчет о раскопках 1-й Буранинской курганной группы в Киргизской АССР (1928)» подписан только М.В. Воеводским (причем его фамилия стоит на первом месте), хотя подразумевалась и подпись М.П. Грязнова [Материалы Воеводского, 1930, с. 43–49]. Примечательна также запись в «Дневнике...» А.И. Тереножкина (1929 г.) «15 июля ... по договоренности, я должен был получить корреспонденцию от старшего сотрудника экспедиции М.В. Воеводского или встретить его самого» [Тереножкин, 1930, с. 52]. Из сопоставления приведенных данных складывается впечатление, что уже в 1928 г., после раскопок в районе городища Буран и поездки в Туркмению [Археологические экспедиции, 1962, с. 57] М.П. Грязнов отходит от Среднеазиатских исследований. Он возвращается к работе в составе экспедиции С.И. Руденко на Алтае. Именно в составе этой экспедиции М.П. Грязнов в 1927 г. вскрыл большой курган Шибе, а в 1929 г. – Пазырыкский [Аванесова, Кызласов, 1985, с. 277]. Представляется, что его работу в 1928 г. в Средней Азии правомерно рассматривать как передачу опыта М.В. Воеводскому, тогда начинающему археологу, только окончившему (?) естественное отделение физико-математического факультета МГУ. Именно этим можно объяснить факт соруководства одним отрядом представителей двух археологических центров – Москвы и Ленинграда, являющийся едва ли не уникальным во всей советской археологии. Впрочем, отсутствие подписей М.П. Грязнова на ряде документов может быть объяснено более просто – М.В. Воеводский, как секретарь экспедиции, вел всю документацию и переписку из Москвы, где жил и работал, в то время как М.П. Грязнов в периоды межсезонья находился в Ленинграде, поддерживая с М.В. Воеводским телефонную или иную связь.

Сейчас трудно сказать, была ли полностью осуществлена намеченная Иссык-Кульская программа 1929 г. и кто принимал непосредственное участие в ее реализа-

ции. Ряд исследователей пишет об участии в этой кампании помимо М.В. Воеводского и М.П. Грязнова также С.А. Теплоухова [Заднепровский, 1957, с. 111]. В нашем распоряжении отсутствуют необходимые для однозначных суждений документы. Фактом остается совместная статья М.П. Грязнова и М.В. Воеводского. Из нее известно о работах в 1929 г. в районе Каракола на Иссык-Куле и в ней содержится вывод о принадлежности погребений в Буранинских, Каракольских и Чильпекских курганах Усуням [Воеводский, Грязнов, 1938], сохранивший актуальность до наших дней.

Важно отметить другое. Как видно из приведенной выше цитаты из «Дневника ...» А.И. Тереножкина [Тереножкин, 1930, с. 52], раскопки на Иссык-Куле и разведки в Чуйской долине осуществлялись в 1929 г. в рамках единой экспедиции Антропологического НИИ МГУ. Но по чьей инициативе была организована эта экспедиция? Как хорошо известно, Средазкомстарис прекратил свое существование в 1928 г. и уже потому не мог быть инициатором. Но в конце 1928 г. на базе ряда местных научно-исследовательских организаций был образован Киргизский НИИ краеведения. Кроме того, следует напомнить, что еще в 1928 г. по просьбе ЦИК Киргизской АССР в республике проводился ряд экспедиций сотрудниками научных организаций Москвы и Ленинграда: ихтиологическая, геологическая, почвенная, ботаническая и др. [История..., 1986, с. 482]. Поэтому логично предположить, что именно это ведомство и было организатором. Более того, есть прямое указание на него участника тех исследований: «В 1929–1930 гг. Киргизский научно-исследовательский институт, при участии Воеводского и Грязнова, организовал археологические разведки и раскопки в долине р. Чу и на побережье оз. Иссык-Куля» [Тереножкин, 1938, с. 210].

В 1929 г., помимо раскопок на Иссык-Куле, проводились другие работы, в том числе археологическая разведка в Чуйской долине, осуществлявшаяся А.И. Тереножкиным единолично. Результаты хорошо известны [Тереножкин, 1935; 1938]. Подчеркнем лишь, что по существу по итогам работы была предложена первая историко-археологическая периодизация, базирующаяся на исторической периодизации, изложенной в работе В.В. Бартольда «Очерки истории Семиречья».

В 1930 г. А.И. Тереножкин продолжал разведочные работы, но уже в Таласской долине [Тереножкин, 1930, с. 1–10]. Можно гипотетически предположить, что в 1931 г. он работал в Центральном Казахстане, так как точно известно о работе А.И. Тереножкина в 1932 г. в Западном Казахстане, на берегах Урала [Археологические экспедиции, 1962, с. 78], как бы замыкавших его разведки в степной зоне Азии. А в Чуйской долине в 1930 г. Палеоэтнологическая экспедиция ГАИМК или «экспедиция

Преображенского» проводила разведочные раскопки на памятниках, так или иначе выделенных А.И. Тереножкиным во время разведки предыдущего года.

Однако в 1931 г. и последующих годах археологическое изучение Северного Кыргызстана не продолжается, хотя результаты работ трех предыдущих лет были весьма интересными и многообещающими. Нам видятся три возможных причины этого. Одну из них, вскользь упомянутую А.И. Тереножкиным, когда он писал о «школе» М.Н. Покровского [Тереножкин, 1938, с. 204–205], можно назвать политической. Другой причиной, личностной, могла быть смерть В.В. Бартольда, организатора и вдохновителя большинства исследований Средней Азии. Третья возможная причина, внутрикиргизстанская: 23 ноября 1930 г. Киргизский НИИ краеведения был реорганизован в НИИ животноводства и Киргизский НИИ культуры. Основными задачами последнего были разработка орфографии и терминологии кыргызского языка, выпуск программ и учебников на родном языке, сбор и обработка фольклорных данных, т. е. деятельность, далекая от археологической. И хотя через два года, в ходе новой реорганизации, в составе Киргизского НИИ культурного строительства был выделен сектор истории [История..., 1986, с. 482], но для археологических работ, хранения и демонстрации находок положение оставалось плачевным: «В г. Фрунзе... музей свернут, археологический материал на чердаке, разбросан, не инвентаризирован, а имеются очень интересные вещи, в частности материалы раскопок Воеводского и Преображенского» [Бернштам, Морозова, 1934, с. 100].

Кстати, выход цитированного выше «Отчета...» мог явиться стимулом к публикации А.И. Тереножкиным результатов его разведок в Чуйской долине, вышедших в том же журнале год спустя [Тереножкин, 1935]. Это тем более вероятно, что А.Н. Бернштам являлся научным руководителем аспиранта ИИМК А.И. Тереножкина. Выход же второй статьи А.И. Тереножкина и статьи М.В. Воеводского – М.П. Грязнова может быть инициирован началом археологических раскопок А.Н. Бернштама в Семиречье [Тереножкин, 1938; Воеводский, Грязнов, 1938].

На основании изложенного, можно согласиться с высказанным суждением исследователей старшего поколения о катастрофически недопустимой задержке публикаций результатов разведок и раскопок, ставшей бичом археологии Кыргызстана. В результате ряд исследований попросту потерял для науки, выпал из ее поля зрения. Примером тому могут служить работы Палеознотологической экспедиции ГАИМК в 1930 г. или раскопки курганов на Иссык-Куле С.А. Теплоуховым. Но трудно согласиться, что раннесоветский период археологического изучения Северного Кыргызстана являл собой лишь «кратковременные посещения» нашей республики специалистами центральных научных учреждений СССР. Организационная работа, начатая в свое время Средазкомстарисом, была продолжена Киргизским НИИ краеведения, привлечшим к исследовательской работе кадры, ставшие гордостью советской археологической школы. И первое место среди них по праву занимает Михаил Петрович Грязнов.

Г.Ф. КОРОБКОВА

ТРАСОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ М.П. ГРЯЗНОВА И СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ МЕТОДА МИКРОАНАЛИЗА В ИЗУЧЕНИИ КАМЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОЗДНИХ ЭПОХ

Первые наблюдения в изучении функций крупных орудий из камня эпохи бронзы были осуществлены М.П. Грязновым еще в 40-х гг. прошлого века. Он обладал особым даром видения, позволяющим улавливать функциональные назначения исследуемых изделий. Это не был микроанализ следов изнашивания, методику которого разработал С.А. Семенов. М.П. Грязнов пользовался визуальными наблюдениями, выстроенными в стройную систему доказательств.

В программе спецкурса «Археологическая трасология» (1982), который он читал в Уральском и Ленинградском Государственном университетах, была изложена суть его методики, которая сводилась к изучению как самих артефактов и их остатков, так и контекста, с кото-

рым они были связаны. Одним из основных положений ученого было исследование техники изготовления конкретного изделия в целях восстановления его технологии и функции. В основу своих наблюдений М.П. Грязнов положил и восстановление предметов (включая форму, размеры и конструкцию) по сохранившимся осколкам и следам, оставшимся на поверхности других объектов (отпечатки матрицы и штампа, молота и пуансона, а также основы, на которой производилось изготовление того или иного изделия). Обращал внимание на различные дефекты, следы сварки, прилепов, разного рода воздействий.

При определении функций М.П. Грязнов пользовался визуальным анализом следов сработанности –

стертости, сглаженности, заполировки поверхности, сбитости и выщербленности рабочих частей, кинематики, различных повреждений с учетом условий нахождения объекта и этнографических данных. Большую научную ценность имеют его наблюдения относительно назначения бронзовых кельтов, оселков скифо-сарматского времени и их дифференциации, восстановления конской сбруи по находкам псалиев из кургана Аржан и др.

Разработанная М.П. Грязновым методика изучения техники, технологии и назначения орудий была предназначена в основном для исследования металлических артефактов. Это был новаторский подход к изучению изделий эпохи бронзы.

Основную информацию о технологии изготовления металлических предметов дают металлографический и химический анализы. Однако последний бывает бессильным при отсутствии металлических изделий или при их сильном разрушении. Кроме того, он не дает информации об орудийном наборе, который использовался при изготовлении этих предметов и операциях, с ними связанных.

В последние годы оригинальную методику трасологического анализа, ориентированную на изучение изделий, сделанных из золота, серебра или их сплавов, предложил Р.С. Минасян (1999). В силу высокой художественной ценности они не могут быть подвержены металлографическому и химическому анализам. Исследователь предлагает применять трасологическое изучение поверхности таких предметов, используя микроскоп, до их реставрации и консервации, которые могут уничтожить или исказить имеющиеся на них следы использования. По мнению Р.С. Минасяна, на каждом изделии сохраняются специфические следы, по которым можно выявить признаки деформации и обработки, восстановить сами инструменты и почерк мастера.

Предложенная методика распространяется только на предметы, сделанные из благородных металлов. Вместе с тем, нельзя забывать, что изделия из серебра часто подвержены коррозии. И поверхность их уже теряет следы, оставшиеся от обработки или использования из-за повреждения и разрушения. Поэтому универсальным источником изучения древней металлургии и металлообработки являются каменные орудия с их разнообразием и конкретной направленностью. В отличие от металла они хорошо сохраняются, а их поверхности испещрены рисунками всевозможных следов, отличающихся особым почерком и закономерностями в характере и расположении, создающими сложную картину, написанную руками их создателей и пользователей. И в этом случае данный источник не может заменить ни один металлографический или химический анализ.

Принципиально важную роль в изучении металлургического и металлообрабатывающего производств играют эксперименты, ставящие задачи восстановления технологии этих отраслей, последовательности операций и получения эталонов соответствующих орудий с яркими диагностирующими следами сработанности. Последние с большой долей объективности позволяют определять конкретные функции каменных орудий, встреченных в памятниках эпохи бронзы и более позднего времени. Именно они могут восстановить весь технологический процесс обработки металла и изготовления металлических изделий с точной последовательностью. Можно установить не только используемые при этом орудия, но и способы их применения, кинематику, конкретную функцию в конкретной операции, обрабатываемый ими материал. Диагностика следов, полученная в ходе экспериментов, легла в основу методики трасологического анализа орудий, задействованных в металлургии и металлообработке. Первые шаги в этом направлении были сделаны С.А. Семеновым (1969). Позднее номенклатурный список макроорудий был значительно дополнен за счет проведения массовых экспериментов и выявления диагностирующих признаков изнашивания для новой значительной группы металлургических и металлообрабатывающих инструментов и особенно их градации в соответствии с обрабатываемыми материалами и конкретными функциями.

Этот банк данных позволил развернуть трасологические исследования крупных коллекций каменных, костяных, керамических и других не металлических изделий не только поры палеометалла, но и более поздних эпох. В результате определяющее значение в изучении проблем древней металлургии и металлообработки, нацеленных на восстановление технического потенциала, технологического процесса, конкретизацию функций, уровня производства и выявление специализированных центров или мастерских, имеют именно каменные инструменты. К сожалению, последние не пользуются вниманием археологов, особенно те образцы, которые не носят следов намеренной обработки, т. е. готовых изделий. В лучшем случае в публикациях встречается просто перечисление каменных рубящих орудий, плиток, молотков без конкретизации их подлинных функций. Хотя, как показывают трасологические исследования материалов ямной, катакомбной, абашевской, алакульской, петровской, срубной, сабагиновской и других культур, проведенные автором и ее учениками, многие изделия являются орудиями металлургического и металлообрабатывающего производств, рассмотренных трасологами во всей полноте и конкретности. Даже вопрос об использовании древними мастерами руды или слитков решают и конкретизируют каменные орудия,

связанные с рудодробильной техникой. То же относится к вопросу о местном или привозном характере имеющих на поселениях металлических предметов. По составу и дифференциации каменных орудий можно говорить о сложности или простоте используемой технологии и о ее ремесленном уровне.

Даже для поздних эпох камень порою остается единственным источником (кроме керамики и небольшой коллекции металлических изделий), раскрывающим производственную деятельность того или иного населения в ее многообразном проявлении. Примером может служить городище Афрасиаб, прославившееся своей великолепной настенной живописью, где из других артефактов встречается только керамика и небольшая группа металлических изделий, среди которых по количественному показателю преобладают каменные изделия (свыше 900 экземпляров), связанные с самыми разнообразными производствами, в том числе металлургией, металлообработкой, ювелирной, кожевенной, краскообрабатывающей, деревообрабатывающей отраслями и живописью. Именно камень дал возможность осветить наиболее полно и конкретно картину практиковавшихся там производств.

Трасологические исследования каменного, костяного и керамического инвентаря Алтын-депе поры энеолита – средней бронзы, насчитывающего свыше 8000 изделий, показали, что камень оказался незаменимым и единственным источником, задействованным во всех сферах хозяйственно-производственной деятельности. Он широко использовался в традиционных производствах – кожевенном, костерезном, дерево- и камнеобрабатывающем, керамическом, краскообрабатывающем. Каменные орудия являлись единственным инструментом, обслуживающим инновационные производства: металлургию, металлообработку и ювелирное дело по изготовлению мелких металлических предметов, в том числе из фольги. Камень был популярен в изготовлении бытовых, культовых, престижных изделий.

Смена исходного сырья (кремня), произошедшая с переходом к эпохе палеометалла, повлекла за собою качественный перелом в технологии производства орудий, наборе инструментария и в производственных отраслях. Вместо мелких кремневых инструментов (культура Анау I-A) в энеолите на поселение Алтын-депе пришли новые орудия, сделанные из крупных глыб и их кусков, галечных и плитчатых заготовок. Они способствовали внедрению и тиражированию новой технологии: ударной филигранной высококачественной техники оббивки, пикетажной и абразивной обработки станкового сверления. Это дало толчок к дифференцированию орудий, занятых в обработке изделий с плоскими, объемными и фигурными поверхностями, выполненными на уровне

искусства. Кузнечное производство обогатилось разного рода молотами и молотками для горячей и холоднойковки. Мастера применяли разгонку, плющение металлических заготовок, выравнивание, выглаживание обрабатываемых плоскостей, удаление шероховатостей и заусениц, образовывавшихся после литья. Четко обозначилось ювелирное дело. В его набор входили гладилки-выпрямители для раскатки фольги, молоточки легкого действия для холоднойковки мелких металлических изделий и для выдавливания на матрицах предметов стандартной полусферической формы, сами матрицы, подставки-наковаленки, на которых производиласьковка и раскатка фольги.

Судя по набору, дифференциации и новации орудий, количественному показателю, сложности используемых технологий, главными стимулами прогресса Алтын-депе были металлургия, металлообработка (в них было задействовано 1567 инструментов) и камнеобрабатывающее (1047 орудий) производство, выделившиеся уже в ремесла. По концентрации находок на территории поселения вычленились «дом кузнеца» и целый квартал металлургов, ориентированных на производство орудий труда, оружия, бытовых предметов и украшений.

Материалы Алтын-депе характеризуют культурно-хозяйственный тип развитых раннеземледельческих обществ, перерастающих в протогородские и городские цивилизации. Это был месопотамский путь развития.

С севера к этой зоне примыкал обширный пояс культур степной и лесостепной бронзы Евразии, характеризующий иной путь развития с особыми формами пастушеского скотоводства и производствами, нацеленными на эти формы и степной образ жизни. Последний привел к формированию ранних комплексных обществ типа Синташты-Аркаима и других. Население обеих зон было связано с широким использованием металла. При сравнении последних становится очевидным, что в их производственных сферах действовали разные закономерности и темпы развития.

На юге перелом в системе производств стал заметен уже в раннем энеолите (культура Анау I-A). В позднем наступил резкий переход от пластинчатой техники расщепления кремня к изготовлению макроорудий, выполненных из порфиристо-диабазовых и песчаниковых пород камня.

Техника ретуширования почти полностью сменилась пикетажной, абразивной и полировальной обработкой (за исключением наконечников стрел). Появился новый набор инструментов, задействованный в разных производствах, но особенно заметный в металлургии и металлообработке, в которых была занята уже половина всех орудий труда, характеризующихся большой дифференциацией и конкретной целенаправленностью.

В хозяйственном секторе резко возросла роль земледелия, обновившегося новыми каменными и металлическими орудиями – плугом и металлическими серпами. Все это дало толчок развитию как экономики, так и культуры в целом, что создало предпосылки к переходу к протогородской цивилизации Алтын-депе.

На севере долгое время сохраняется кремневая техника расщепления камня (трипольская, усатовская, раннеямная, волосовская, фатьяновская, хвалынская, ботайская, андреевская, ташковская, абашевская, сейминско-турбинская и другие культуры). Комплекс макроорудий отличается ограниченным номенклатурным списком и меньшим разнообразием. В основном это были рубящие орудия, абразивы, грузила, отбойники, боевые топоры, изредка молотки. Из этого перечня выбивается поселение Михайловка (древнеямная культура), давшее наряду с отщеповой техникой расщепления кремня и соответствующих заготовок яркий всплеск металлургических и металлообрабатывающих инструментов [Коробкова, 1995].

В период средней и особенно поздней бронзы в северной зоне наступает заметный переход от кремневой техники к увеличению макроорудий из разных пород

камня и их дифференциации (петровская, синташтинская, срубная, сабатиновская и другие культуры). В хозяйственной сфере все большее значение приобретают различные варианты пастушеского скотоводства, обусловившего степной образ жизни и развитие производств, ориентированных на эти формы. Это был экстенсивный путь развития. Вычлениются крупные специализированные центры по обработке кожи и кожанных изделий (поселение Шатлык), металлургии и металлообработки (Усово Озеро, Мосоловское). Вместе с тем, хотя металлургия и металлообработка достигли высокого уровня на большинстве поселений, однако они были направлены на производство той индустрии, которая обеспечивала население оружием, конским снаряжением и вещами, необходимыми в походах и встречах с враждебным окружением.

Исключением служат крупные, оседлые поселения Кулевчи III, Петровка II, Синташта-Аркаим, Усово Озеро, Мосоловское, Ситеновое и др.

В отличие от южной зоны в северной нет данных о формировании предпосылок к сложению протогородских цивилизаций. И наоборот, там появляются все признаки перехода к образованию крупных комплексных обществ.

Е.Е. КУЗЬМИНА

М.П. ГРЯЗНОВ И ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АНДРОНОВСКИХ ПЛЕМЕН

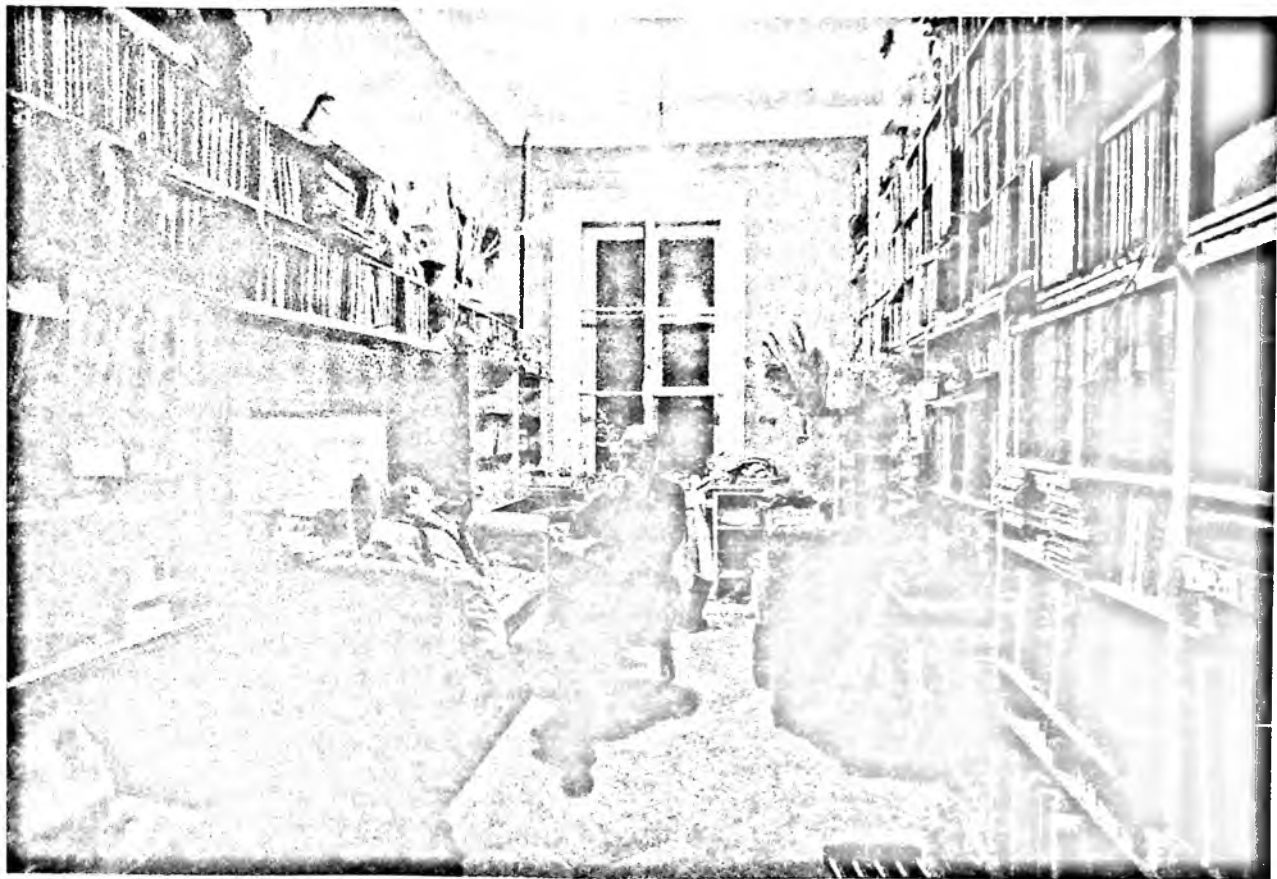
Как известно, андроновскую культуру выделил и установил ее хронологическую позицию в Минусинском крае С.А. Теплоухов в 1923 г. Но уже в 1927 г. М.П. Грязнов показал, что это не узколокальное сибирское явление, а колоссальное культурное образование, простирающееся от Урала до Енисея. Им же были установлены два важнейших факта: синхронизация андроновских памятников со срубными и отнесение к андроновской культуре многочисленных металлических изделий и случайных находок, соотнесенных ранее с сейменскими бронзами. Эти положения явились незыблемой основой андроноведения и уже три четверти века остаются общепризнанными.

Столь же важным явилось провидение М.П. Грязнова, выделившего две локальные группы андроновской керамики: восточную, характеризующуюся сосудами с округлым плечом и сплошным орнаментом с косыми треугольниками (позже отнесенную к федоровскому типу), и западную, с сосудами с уступчатым плечом, пробелом декора на шейке и орнаментом с равнобедренными треугольниками (алакульский тип). После более

чем полувековых дискуссий для большинства андроноведов теперь очевидно, что две выделенные группы действительно представляют два локальных культурных типа, не имеющих генетической связи, поскольку принципиально различны передаваемые в традиционных культурах по наследству способы изготовления керамики и приемы и методы построения орнаментальных схем. Эти кардинальные различия в гончарном искусстве коррелируют и с особенностями погребального обряда двух изначально различных групп андроновского населения.

Генезис алакульского типа установлен благодаря исследованию памятников новокумакского горизонта [Генинг, 1977; Генинг, Зданович, и др., 1992; Смирнов, Кузьмина, 1977; Кузьмина, 1994; Зданович, 1988; 1995; 1997]. Эти памятники разделяются сегодня на более древние синташтинские и хронологически и генетически связанные с ними петровские, что установлено стратиграфией поселений и могильников [Виноградов, 1995; 1999; Малютина, Зданович, 1995; Ткачев, 1999].

Происхождение памятников федоровского типа все еще не выявлено. Предположение об их формировании



М.П. Грязнов в своем кабинете

в Центральном и Восточном Казахстане остается на уровне рабочих гипотез [Черников, 1970; Кузьмина, 1994; Ткачева, 1997].

Смешанные памятники Казахстана, в которых в самых разных сочетаниях представлены алакульские и федоровские черты, отражают взаимодействие двух различных, хотя и близко родственных групп населения, составлявших андроновскую общность,

Для решения дальнейших судеб андроновского населения очень важным и обоснованным представляется вывод М.П. Грязнова, отнесшего памятники типа Дандыбай к карасукской культуре Сибири [Грязнов, 1952]. Иная точка зрения, отстаиваемая А.Х. Маргуланом, об их андроновской принадлежности опровергается тем, что на казахстанских поселениях эпохи бронзы и в ряде могил преобладает керамика с наlepным валиком, восходящая к андроновской [Маргулан, 1979; 2000]. Посуда же дандыбаевского типа принципиально отличается от андроновской по технологии производства и орнаменту, роднящих ее с карасукской. Справедливо и удревление М.П. Грязновым дандыбаевских памятников, отне-

сенных к концу II тыс. до н.э. на основании хронологии карасукской культуры (и, добавлю от себя, совместных находок с валиковой керамикой, которую М.П. Грязнов считал чуждой андроновской и связывал только с позднесрубной культурой) [Грязнов, 1970].

Очень велик вклад М.П. Грязнова в изучение динамики экономики населения бронзового века. Хозяйство андроновцев он считал оседлым комплексным, сочетающим земледелие и придомное скотоводство, преимущественно молочного направления, и именно он впервые обратил внимание на периодические переселения жителей поселка в связи с перевыпасом пастбищ [Грязнов, 1968, с. 55]. Им же были правильно установлены важнейшие перемены в хозяйстве в эпоху поздней бронзы: переход к полукочевому яйлажному скотоводству с сезонными перекочевками. Вывод этот имеет решающее значение для изучения проблемы происхождения нoмадизма в степях Евразии [Кузьмина, 1997].

М.П. Грязнов первый увидел в создателях культуры отдельных локальных вариантов представителей одного или нескольких племен, составлявших «этническую

группу, отличную от своих непосредственных соседей» [Грязнов, 1952, с. 94].

В круг интересов ученого входили самые разнообразные проблемы: архитектура жилища и реконструкция курганов особого архитектурного сооружения, вопросы демографии и детской смертности, реконструкция семьи. Но главной любовью М.П. Грязнова были металлические изделия. Одним из первых он применил корреляцию и метод вариационной статистики при классификации кельтов [Грязнов, 1941]. Он поразительно чувствовал вещь. Зимой 1954–1955 гг. М.П. Грязнов вел в Эрмитаже семинар, посвященный анализу артефактов и их классификации, и надо было видеть, как преобразилось его лицо, когда он сдвигал очки и брал в руки древний предмет. И сколько он мог рассказать нам о нем, обращая внимание на следы технологии и детали орнамента.

Грязнов-учитель – это особая тема. Учениками Михаила Петровича были археологи Ленинграда, Сибири, Казахстана, Средней Азии. В их числе были крупнейшие андроноведы Г.А. Максименков, К.А. Акишев, А.М. Оразбаев, М.К. Кадырбаев, И. Кожомердиев,

А. А. Аскарлов, Н.А. Аванесова и другие. М.П. был очень терпелив с нами, никогда не навязывал своего мнения, но несколькими спокойными, всегда доброжелательными замечаниями направлял поиск в нужное русло. Особенно я любила, когда он приглашал меня домой на Васильевский остров, где в огромной коммунальной квартире в двух комнатках жили Грязновы. С полком доставались большие папки, в которых в идеальном порядке хранились старые архивы, рисунки, фотографии. Совсем другими были Грязновы на даче под Петергофом. Домик был украшен бронзовыми фигурами в зверином стиле и окружен прелестным садом, в котором М.П. акклиматизировал сибирские растения. Помню, как он радовался, когда летом 1956 г. впервые расцвели саранки.

Связь учителя с учениками не прерывалась всю жизнь. Все мы, приезжая в Ленинград, обращались к М.П. с просьбой помочь найти аналогию, прочесть статью, подсказать, как лучше копать сложный памятник. Он, подняв очки, рассматривал вещи, рисунки, чертежи и своим тихим голосом давал совет. Его знания и интуиция были огромны, но главное, поразительна была спокойная доброжелательность и готовность помочь.

Л.Д. МАКАРОВ

М.П. ГРЯЗНОВ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ДРЕВНЕЙ ВЯТКИ

С именем выдающегося русского советского археолога Михаила Петровича Грязнова (1902–1984) мы обычно связываем изучение древностей Сибири, Средней Азии и Казахстана [Аванесова, Кызласов, 1985]. Прикамский регион был затронут ученым лишь отчасти. Так, в годы Великой Отечественной войны М.П. Грязнов, будучи хранителем Эрмитажа, находился в Свердловске вместе с эвакуированными ценностями музея. В 1942 г. он произвел раскопки стоянок палеолита и бронзы на р. Чусовой (Островская стоянка им. М.В. Талицкого и стоянка Бор у д. Верхние Гари) [Щербакова, 1986; Бадер, 1961].

Вятский период в биографии М.П. Грязнова практически неизвестен. Еще при жизни М.П. Грязнов подготовил собранные им материалы для передачи в архив ИИМК, где они и находятся в фонде 91. В папке 20 хранятся материалы о древней Вятке, состоящие из 8 дел, к которым мне не раз приходилось обращаться [Макаров, 1987; 1996; 1998; 1999]. Исследователь находился в Кирове с 1934 по 1937 г., куда был выслан по сфабрикованному «Делу славистов» («Делу Русского музея») на три года в числе значительной части ленинградской интеллигенции, подвергшейся массовым репрессиям [Формозов, 1998]. Здесь он выполнял работы по оформлению

экспозиции в краеведческом музее, а с 1936 г. являлся его старшим научным сотрудником. Михаил Петрович столкнулся с «беспорядком и хаосом, какие царят в краевом музее» и взялся исправить сложившееся положение [Архив ИИМК РАН, ф. 91, папка 20]. Ему удалось систематизировать коллекции, составить описи, снабдив их каталогом. Изучение музейных фондов позволило ученому определить культурную принадлежность ряда археологических коллекций. Усилиями М.П. Грязнова в музее был открыт отдел древней истории Кировского края, подготовлена первая археолого-антропологическая экспозиция, начато составление археологической карты.

Михаил Петрович неутомимо пропагандировал достижения отечественной науки. В архиве обнаружен, в частности, набросок его статьи «Кировский краевой музей – в помощь школе», где М.П. Грязнов пишет следующее: «В нынешнем году музей дает в помощь школе материал еще по одному источнику знаний – по истории первобытного общества. В музее открыт отдел древней истории Кировского края. Витрины этого отдела пополнены многочисленными предметами различных эпох, обнаруженными на территории Кировского края. Подлинными каменные орудия, сделанные 4000 лет тому назад, бронзовые, железные и костяные орудия труда и

хозяйственного обихода, глиняная и металлическая посуда, кости домашних и диких животных и многие другие предметы наглядно показывают развитие древней техники и хозяйства от каменного ножа охотников-рыболовов до развитой земледельческой культуры с железным топором и использованием силы животных для тяжелых работ. Художественно выполненные скульптором А.В. Виноградовым макеты, рисунки древних погребений, многочисленные предметы вооружения, принадлежности одежды и другие рассказывают, как матриархальные родовые общины с их низким уровнем техники добывающего (охотничье-рыболовецкого) хозяйства, не знающие еще разделения общества на классы, превращаются в патриархальные родовые общины с их частным домашним хозяйством, выделяющиеся из ряда семей с их обособляющимся слоем родовой знати (вожди, старейшины, военачальники), с развивающимся земледелием и скотоводством, рассказывают, наконец, как патриархальный род распадается совершенно самостоятельностью частновладельческого хозяйства и превращается, таким образом, в классовое феодальное общество... Сейчас музей ведет подготовительную работу к развертыванию показа последующих этапов развития классового общества вплоть до того момента, когда дальнейшее развитие производительных сил становится в противоречие с классовой структурой общества, взрывает его и ведет к созданию бесклассового коммунистического общества, базой которого в отличие от первобытного коммунизма служит высокоразвитая техника» [Архив ИИМК РАН, ф. 91, папка 20]. Приведенные из статьи строки показывают уровень той теоретической базы, на которой покоилась официально признанная концепция истории первобытного общества и отклонение от которой не сулило ничего хорошего сомневающимся.

Его статья «Город под землей» свидетельствует о непосредственных полевых наблюдениях ученого во время производства земляных работ в Кирове на территории древнего посада. «В г.Кирове сейчас прокладываются новый водопровод. И вот, в канаве, прорытой вдоль ул. Дрылевского, в том месте, где она пересекает Ленинскую ул., на глубине более 2-х м обнаружилась старинная деревянная мостовая. Эта находка служит нам напоминанием о древнем г. Хлынове... Улицы его кривые, тесные и грязные расположены были в беспорядке и расходились в разные стороны от торговой площади, занимавшей тогда, пожалуй, половину нынешней площади Ст. Халтурина и первые кварталы ул.Дрылевского... На остатке одной из этих улиц и натолкнулись рабочие, прокладывая первый водопровод. Канавой они пересекли бревенчатый настил старой Копанской улицы, которая шла от торговой площади к Никитскому проезду в крепостной стене, окружавшей город с трех сторон. Непролазная грязь хлыновских улиц особенно обильна

была в районе торговой площади и прилегающих к ней улиц, расположенных в сырой болотистой местности. Там, где обнаружена мостовая, протекал когда-то ручеек, называвшийся Епихов поток. Близ этого ручейка было грязи по-видимому настолько много, что даже невысказательные обитатели г.Хлынова не могли с ней мириться и вынуждены были замостить этот участок улицы настилом из бревен.

Старый город Хлынов, представлявший собой беспорядочное нагромождение тесно расположенных деревянных построек, несколько раз сгорал почти дотла. После пожаров он снова отстраивался. С годами на поверхности его накопились мощные слои земли, местами толщиной до 10 и более метров, состоящей из строительного мусора, углей, золы и других остатков пожаров. Больше всего этих отложений накапливалось в оврагах, ямах и на болотистых местах, куда свозили с пожаров весь ненужный материал. Вот почему открытая на днях древняя мостовая Копанской улицы оказалась глубоко под землей» [Архив ИИМК РАН, ф. 91, папка 20]. Автор зафиксировал данные наблюдения на планах, набросал стратиграфическую ситуацию в местах обнажения слоя и дал краткое его описание, им был составлен сводный план остатков посадского вала [Архив ИИМК РАН, ф. 91, папка 20]. Отмеченная М.П. Грязновым стратиграфия культурных напластований древнего Хлынова нашла подтверждение в наблюдениях последних лет на ул. Большевиков, Коммуны, Дрелевского и Свободы в 1983, 1986, 1990 гг., проведенных В.В. Ванчиковым и автором данных строк [Макаров, 1999].

Основательное знакомство М.П. Грязнова с антропологией позволило ему не только собрать значительный костный материал с пяти вятских кладбищ XVII–XVIII вв., затронутых строительными работами, но и произвести половозрастное определение умерших, а на основании 109 черепов выявить черепной указатель. Выяснилось, что среди вятчан преобладают индивиды с брахикранными черепами (72%), мезокранные составляли одну четверть умерших (25%), долихокранные – единицы (3%) [Архив ИИМК РАН, ф. 91, папка 20]. Данные показатели в значительной степени отличаются от таковых в центральных областях Русского государства и приближаются к сериям удмуртских черепов XVI–XVIII вв., что возможно свидетельствует об участии удмуртского компонента в сложении русского населения Вятской земли [Акимова, 1968; Фаттахов, 1982; Рясик и др., 1996]. Об этом же в какой-то степени говорят и сведения о росте горожан. Жители Вятки отличались невысоким ростом: средний рост мужчин составлял 165 см, женщин – 153 см. Собранный материал на одну треть состоял из костей с явными следами перенесенных болезней (определение проведено при содействии Д.Г. Рохлина, позднее опубликованного более полный анализ материала): туберкулеза, рахита, ревматизма, остеомиелита, сифилиса, различных опухолей, а также механических повреждений [Архив ИИМК РАН, ф. 91, папка 20].

В связи с этим М.П. Грязнов отмечает, что причинами многочисленных болезней и высокого процента смертности являлись теснота и антисанитарное состояние жилищ, топившихся по-черному, а также полное отсутствие врачебной помощи (первый врач в Вятке появился только в 1760 г.) [Архив ИИМК РАН, ф. 91, папка 20].

Помимо археологических наблюдений М.П. Грязнов проводил в Кирове исторические изыскания. Об этом свидетельствуют выписки из различных публикаций, писцовых книг, а также авторские разработки. Ученым готовилась специальная работа по исторической топографии Вятки «Исторический план города Кирова», состоящая из 10 разделов. Период от основания города до 1666 г. должен был подготовить сам М.П. Грязнов, с 1666 по 1917 г. – П.Н. Луппов, 1917–1937 гг. – ряд авторов. К плану должен был быть приложен указатель архитектурных сооружений города с необходимым справочным аппаратом. Неизвестно, предпринимались ли какие-нибудь попытки издать эту работу объемом в 5 печ. л. [Архив РАН, ф. 91, папка 20]. Частично этот материал нашел свое место в более поздних публикациях П.Н. Луппова (1958) и А.Т. Тинского (1976).

М.П. Грязнов исследовал топографические планы города, сопоставлял их с данными переписей и на этом основании прослеживал динамику развития его в целом, а также отдельных улиц, площадей и переулков, церквей и гражданских каменных зданий, крепостных сооружений и мостов. Особый интерес вызывает попытка ученого проследить генеалогию жителей Вятки. С этой целью он проанализировал переписи 1615–1717 гг., а затем, составив в алфавитном порядке список домохозяев и наложив их на планы города, представил схему расселения отдельных семей в пределах Хлынова. К сожалению, эта интереснейшая работа, практически не имеющая аналогов в историографии Вятского края и поэтому способная дать чрезвычайно важные результаты как в области социодемографии, так и относительно конкретных вятских фамилий, не была завершена. Все эти изыскания отразились в составлении ученым карточек, списков и копий [Архив ИИМК РАН, ф. 91, папка 20].

Таким образом, выдающийся русский советский археолог М.П. Грязнов внес свой весьма заметный вклад в изучение древнейшего прошлого Вятской земли.

В.М. МАССОН

О ТРЕХ ЭПОХАХ В ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ

М.П. Грязнов известен как опытный полевой исследователь с изящной раскопчной методикой и как проницательный знаток вещи как таковой, обычно именуемой объектом материальной культуры. Вместе с тем, М.П. Грязнов неизменно выходил на уровень исторической интерпретации археологических материалов и в попутных характеристиках, и в общих построениях. Достаточно назвать введенное им понятие «ранние кочевники», получившее практическое признание и применение. Особенности исторических и культурных процессов в степной зоне, на памятниках которой было сосредоточено основное внимание М.П. Грязнова, безусловно требуют учета этой специфики и на интерпретационном уровне, без поспешного использования понятий, выработанных в зоне оседлых культур и цивилизаций, будь то понятие «города» и «урбанизации» или упрощенный формационный подход, заставивший исследователей малорезультативно рассуждать о рабовладельческом характере скифского общества.

Благодаря специфической природной ситуации, обширные просторы евразийских степей стали зоной, где как своеобразная адаптивно-адаптирующая система сло-

жился особый феномен мировой истории – степной образ жизни. В условиях этого своеобразного феномена происходило и культурное, и политическое, и социальное развитие местных обществ. Его проявления в материальной культуре и в интеллектуальной и поведенческой сфере достаточно устойчивы и повторяются с естественным своеобразием во многих обществах, зачастую совершенно различной лингвистической ориентации. Специфичен был и менталитет проживавших здесь народов, когда необходимость в регулярной подвижности и вытекающей отсюда инициативе способствовала развитию коллективной пассионарности в том смысле, какой ей придает Л. Н. Гумилев.

Для древнего времени можно говорить о трех больших исторических эпохах в развитии обществ степной зоны после длительного этапа своего рода протоскотоводческой предыстории, когда шла выработка устойчивых культурно-хозяйственных типов.

Первая такая эпоха приходится на пору палеометалла, достигая апогея в бронзовом веке. Формирование ярких культурных общностей – древнеямной, катакомбной и срубной – позволяет говорить о своего рода эпохе

первых великих степных обществ. Разумеется, эти три археологические феномена не исчерпывали всей палитры степных обществ, среди которых в последние годы все отчетливее заявляет о себе общество, оставившее памятники типа Синташты-Аркаима. Характер социогенеза и политогенеза позволяет обозначить эту эпоху как пору ранних комплексных обществ с доминантой военно-аристократического пути политогенеза, способствовавшего формированию правящей элиты, скорее всего, в основном олигархического характера, без устойчивого выдвижения суперлидеров. Внедрение легких двухколесных колесниц сопровождалось и селекционной работой с конским поголовьем, формирующим породы статных коней, предшественников быстроаллюрной конницы ранних кочевников.

Кардинальный скачок в развитии степных обществ произошел во вторую эпоху, в пору перехода к всадничеству и масштабному подвижному скотоводству или собственно номадизму. По социологической значимости этот переход сопоставим с так называемой городской революцией в зоне оседлых культур, когда формировались основы урбанизма и первых цивилизаций. Термин М.П. Грязнова «ранние кочевники» здесь достаточно адекватен. Формируется эпохальный тип культуры, который можно именовать «скифским», что отнюдь не подменяет его проявление у разных народов, не являющихся собственно скифами в Геродотовом понимании. Равным образом понятие «первые цивилизации» распространяется на самые различные общества, зачастую даже диахронные.

Эпоха ранних кочевников была решающим рубежом в развитии обществ, практикующих степной образ жизни. В социогенезе формируется феномен верховного лидерства с погребальным обрядом, отличающимся особой яркостью и выразительностью. Критериями неординарности гробниц таких суперлидеров являются монументальные масштабы, требующие организованного труда, жертвоприношения, в том числе людей. Особенно массовыми на ранних этапах были жертвоприношения лошадей, гиперболизировавшие традицию, заложенную еще в эпоху бронзы, представленную гробницами элиты колесничих. В элитной структуре, таким образом, выделяется слой, который грекоязычные авторы с полным основанием именуют царями. Формируется и особый культурный пласт – элитарная субкультура. Трудно судить, в какой мере устойчивыми были эти военно-политические структуры, возглавляемые суперлидерами. Удачливый предводитель мог на время объединить весьма значительный контингент, как это видимо бывало при масштабных завоеваниях, например при юзджийском завоевании Бактрии. Вместе с тем, показательно, что после падения этой державы, ее сменили

пять владений с пятью лидерами вчерашних кочевников во главе.

Скорее всего, уже в эпоху ранних кочевников складывались предпосылки формирования относительно устойчивых образований, которые Г.Е. Марков достаточно удачно назвал кочевыми империями. Исследователи отмечают, что империя как политическая структура отличается, по меньшей мере, двумя показателями – огромными размерами и наличием колониальных и зависимых владений. В условиях степного образа жизни первым таким объединением была держава сюнну-хунну, а наибольших военно-политических успехов среди сменяющихся этнических приоритетов в домонгольскую эпоху достиг Тюркский каганат. В целом, это был социологический аналог мировым державам Древнего Востока, но не идентичный им, что заставляет использовать особую терминологию. Кочевым империям была свойственна внутренняя слабость, приводившая в конечном итоге к их падению и смене этнических приоритетов. В первую очередь, это отсутствие строгой легитимной линии в вопросах престолонаследия. Родоплеменные правопорядки сдерживали утверждение жесткой политической структуры. Обычное право давало юридические основания, освященные традицией, внутрдинастийным склокам в правящей верхушке. Безусловно, слабым звеном было отсутствие развитого административно-бюрократического аппарата. Заимствования в этой сфере у государств оседлого пояса в основном сводились к стремлению упорядочить получение дани с покоренных народов и областей. Вместе с тем, кочевые империи, обладавшие, помимо прочего, особенно на начальном этапе, колоссальным потенциалом свойственной степнякам пассионарности, становились важным явлением в мировой истории.

Третья эпоха хронологически соответствует времени средневековья в зоне оседлых цивилизаций, когда дальнейшее развитие политических тенденций достигло глобальных масштабов. Происходит определенное упорядочение управленческой сферы за счет заимствований у соседних государств с давней бюрократической традицией. Практикуется и прямое использование импортируемых бюрократических кадров. Дальнейшее развитие получает организация воинского дела с целью превращения орды в регулярную армию, хотя и не столь четко структурированную как вооруженные силы традиционных государств. Пиком этого процесса стала монгольская супердержава Чингисхана, которая собственно исчерпала потенциальные возможности дальнейшей эволюции кочевого мира. Происходит все большее слияние с оседлыми обществами, а в зоне степей в военно-политической сфере господствует гомеостазис с возвращением едва ли не к структурам скифской эпохи.

ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ КОЧЕВНИКОВ-СКОТОВОДОВ ФЕРГАНЫ

Впервые М.П. Грязнов и М.В. Воеводский в 1928–1929 гг. по поручению Средазкомстариса раскопали курганы в Семиречье (первоначально в 1928 г. около башни Бурана, в 1929 г. близ Каракола и в Чильпекском могильнике). Работы положили начало изучению в археологии вопроса древней и средневековой культуры кочевников на территории Средней Азии.

Историю археологического изучения кочевников Ферганы можно подразделить на четыре этапа.

I этап (конец XIX в. – 20–30 гг. XX в.) – первоначальный сбор материалов, описание памятников. А.П. Федченко, Н.А. Северцов, А.Ф. Миддецдорф эпизодически занимались описанием памятников старины и собиранием сведений о них. В изучении культуры кочевников Ферганы важны поездки русского востоковеда, доцента Императорского Санкт-Петербургского университета Н.И. Веселовского. В 1885 г. он осмотрел более сотни курумов-мугхона, в четырех пунктах обследовал около 30 каменных курганов и первым указал, что эти сооружения – древние погребения [Лунин, 1979, с. 46–47; Заднепровский, 1986, с. 75].

Определенный интерес к памятникам Ферганы проявили члены Туркестанского кружка любителей археологии (далее ТКЛА). Член кружка К.А. Рудановский осмотрел «приписываемые мугам постройки» в ущельях Гава-сай, Кок-сай, Сумсар. Некоторые сведения об этих сооружениях имеются у М.С. Андреева, А. Брянова и др. Данные о «хан-и-муг» (мугхона) встречаются в сообщении И.А. Кастанье (протоколы ТКЛА за 1898–1899 гг., 1912–1913 гг.). В 20–30-е гг. участники отдельных геологических партий производили любительские раскопки в горных районах долины [Литвинский, 1972]. В целом, на первом этапе исследования проводились эпизодически, носили любительский характер и осуществлялись, в основном, учеными-натуралистами, геологами, краеведами и др.

II этап (1930–1940 гг.) – дальнейшее изучение объектов. В 1930 г. ленинградский археолог Б.А. Латынин проводит разведывательные работы в районе Коканда, Хакулабада, Учкургона и Намангана. В 1933 г., в связи со строительством гидротехнических сооружений в Ферганской долине, ГАИМК АН СССР организует специальную экспедицию по изучению археологических памятников во главе с Б.А. Латыниным [Горбунова, 2000, с. 39–40]. В 1934 г. эти работы были продолжены с участием Т.Г. Оболдуевой и А.П. Манцевич. Раскопки производились на трех могильниках, на одном из которых вскрыт курган. В 1936 г. Т.Г. Оболдуева там же вскры-

ла еще два кургана [Латынин, Оболдуева, 1959, с. 17–27]. Работы Б.А. Латынина в Исфаре, Учкурганской и Кызылярской степях считаются первыми научными раскопками на территории Ферганской долины.

В 1939–1940 гг. во время строительства ряда каналов получены определенные материалы по истории кочевоего населения Ферганы. Среди них следует отметить медный котел и другие находки «скифского» типа [Массон, 1940; Оболдуева, 1951; Заднепровский, 1998, с. 136–141].

Таким образом, для второго этапа характерно постепенное накопление и первое осмысление материалов.

III этап (1946–1980 гг.) – начинается с организации Памиро-Алайской (1946–1948) и Памиро-Ферганской (1950–1952) комплексных экспедиций АН СССР (далее ПАКЭ, ПФКЭ), которыми руководил А.Н. Бернштам.

Участники экспедиций М.Э. Воронец и В.И. Спришевский в Говасае, Кулпак-сае, Сарикул-сае и других районах раскопали 35 курумов, из которых 21 – мугхона, 14 – курганы с ящиком из каменных плит. Материалы из этих сооружений обобщены и классифицированы [Воронец, 1954; Спришевский, 1956]. Позже, в 1984 г. описанные объекты вновь стали предметом исследования Северо-Наманганского археологического отряда и датированы I–VI вв.

В 1951–1952 гг. сотрудниками ПФКЭ АН СССР раскопаны курганы в могильниках Джангаил, Кара-Джар, Гурмирон, Боркорбаз, Кара-Мойнок. В 1951 г. был открыт могильник Гурмирон. В разные годы в могильнике раскопаны более 50 курганов, из которых два – грунтовые могилы, остальные – катакомбные захоронения. Основная часть курганов датируется I–II вв. [Кадыров, 1975].

Определенные работы сделаны другим участником ПФКЭ С.С. Сорокиным в Бокорбазском могильнике. Им раскопано 12 курганов (катакомбное и подбойное захоронения). Исследователь связал вскрытые погребения с древними скотоводами ферганских предгорий и датировал их III–V вв. Он же осуществил районирование и классификацию подбойно-катакомбных могильников Ферганы [Сорокин, 1958; 1961].

В фундаментальной монографии [Бернштам, 1952] были суммированы материалы экспедиций ПАКЭ, ПФКЭ, как по истории оседлоземледельческих, так и скотоводческих племен. Заслуга автора книги очень велика. Он впервые предложил районирование и классификацию памятников кочевников-скотоводов, что до настоящего времени является основополагающим моментом в истории Средней Азии.

В 1951–1958 гг. Б.А. Литвинский вместе с Е.А. Давидович производит крупномасштабные работы по изучению курганов в Исфаринском районе. Вскрыто более 300 курганов в одиннадцати могильниках. Б.А. Литвинский объединил все исследованные могильники в «карабулакско-ворухскую» культуру (I–VII вв.). Эти же авторы в 1953–1957 гг. в северо-западной Фергане изучили 160 курумов и мугхона. На основе отличия погребальных сооружений от подбойно-катакомбных Б.А. Литвинский предложил выделить «аштскую» культуру (I–VII вв.). Результаты работ нашли свое полное отражение в обобщающих трудах Б.А. Литвинского (1972, 1973, 1978 гг.). Однако, как справедливо отмечают многие специалисты, в работах наблюдается «отрыв курганных могильников от синхронных и единых им по культуре поселений, рядом с которыми они расположены» [Вайнберг, Горбунова, Мошкова, 1992, с. 23].

В 1954–1958 гг. Ю.А. Заднепровский, возглавивший Южно-Киргизский отряд ИИ АН КиргССР и ИИМК АН СССР, осуществил крупномасштабные работы по изучению материальной культуры скотоводческого населения Ферганы: выявлены 80 могильников и несколько групп курганов. В 1954 г. вскрыто 10 курганов в могильниках Кара-Джар, Кара-Кульджа в восточной Фергане, один курган в могильнике Керме-Тау возле г. Ош.

В 1955 г. этот отряд обследовал Чаткальскую долину, были раскопаны курганы в могильниках Чан-чархан и Джергетал, а также две мугхоны [Заднепровский, 1960, с. 8]. В 1974 г. при повторном обследовании в том же районе обнаружены еще несколько групп мугхоны [Дружинина, Заднепровский, 1975, с. 534–554]. В 1957–1958 гг. отряд обследовал могильник Кара-Мойнок, Кайрагач в бассейне р. Ходжа-Бакырган и Исфара, а также Кара-Токой в долине р. Сох. Впервые были выявлены около 800 курганов в 20 пунктах. Материалы из подбойно-катакомбных могильников обобщены в отдельной монографии, где впервые дано районирование погребальных памятников Ферганы [Заднепровский, 1960]. Несмотря на критические оценки отдельных ученых, дальнейшие работы в основном подтверждают реальность предложенной Ю.А. Заднепровским схемы [Горбунова, 1981, с. 84].

Особенно следует отметить заслуги Б.З. Гамбурга и Н.Г. Горбуновой. В 50-е гг. и позже ими было исследовано несколько могильников, оставленных скотоводами степного типа: Ваудиль, Карамкуль, Япаги, Чек, Арсиф, Дахана и другие, которые датируются концом третьей четверти II тыс. до н. э. [Горбунова, 1995, с. 13–25]. Как известно, поселения культуры степного типа подробно охарактеризованы Б.А. Литвинским на основе изучения памятников в районе Кайраккумского водохранилища [Литвинский, Окладников, Ранов, 1962].

В 1954–1959 гг. сотрудники Опшского краеведческого музея и ИИ АН КиргССР проводят работы на могильнике Кара-Булак. За шесть сезонов работы в могильнике раскопаны 136 курганов с богатыми погребениями (подбой, катакомба, грунтовая яма). Основную массу курганов Ю.Д. Баруздин датирует II–IV вв. [Баруздин, 1961, с. 43–81]. Интересные результаты получены в ходе работ на могильниках Тура-таш, Карабель и Кок-таш, которые также датируются первыми веками нашей эры [Баруздин, Брыкина, 1962].

В 1956 г. Ю.Г. Чуланов исследовал ряд памятников в северной части долины, среди них следует отметить дообследованные мугхоны в с. Арабкишлак и Чадак [Чуланов, 1967, с. 245–250].

Начиная с 1959 г., организуется совместная Ферганская экспедиция Государственного Эрмитажа с областным Ферганским музеем. Проведены систематические раскопки в могильниках Суфан, Урюкзор, Дамкуль, Джангаил, включающих смешанные типы погребений – катакомба с вариантами, подбой, грунтовые ямы. В конце III этапа в Ферганской долине работают крупные совместные экспедиции, которые отличаются комплексностью подходов в археологических исследованиях. В середине 70-х гг. Ю.А. Заднепровский в бассейнах Гавы, Терксяя, Касанся (Северная Фергана) обнаружил группу памятников, среди которых имелись несколько скоплений каменных погребальных склепов – мугхона. Им же исследовано первое позднекочевническое погребение в Восточной Фергане. В 1976 г. повторно исследуется знаменитый могильник Кара-Булак. Раскопан 21 курган с уникальным сопроводительным инвентарем [Мокрынин, Лубо-Лесниченко, Шер, 1977]. С 1971 по 1981 гг. Северо-Таджикистанская археологическая комплексная экспедиция ИИ АН Таджикистана (СТАКЭ) осуществляла систематические раскопки погребений ранних скотоводов в северо-западной части Ферганы. В 1967, 1971–1974 гг. сотрудники Аштского отряда СТАКЭ раскопали 200 курганов и выделили три группы объектов: 1) курганы с каменными конструкциями, относящиеся к варианту культуры степной бронзы – VIII–VII вв. до н. э.; 2) курганы с погребениями в грунтовых могилах – VI–III вв. до н. э.; 3) погребальные сооружения в форме каменных «ящиков» и курумы – от рубежа нашей эры до VI–VII вв. [Салтовская, 1978].

На III этапе изучения культуры кочевников-скотоводов происходит количественный рост раскапываемых курганов и наблюдается качественно новый уровень в накоплении и осмыслении материалов. Появляется ряд обобщающих и фундаментальных работ А.Н. Бернштама, Ю.А. Заднепровского, Б.А. Литвинского, Н.Г. Горбуновой и др.

IV этап начинается с 80-х гг. и продолжается до настоящего времени. В 1983 г. Ю.А. Заднепровский во время

работ на городище Муг-тепа (древний Касан) в Касансайском районе обнаружил еще один могильник – Кызылсу и раскопал один курган с катакомбным захоронением [Заднепровский, 1985, с. 531]. В 1990 г. мы повторно осмотрели этот могильник, в котором, по нашим данным, насчитывается около 50 курганов.

В 1983–1989 гг. Северо-Наманганский отряд ИА АН УзССР исследовал группу погребальных памятников (курумы и мугхона) в бассейне Гава-Сумсарсай. Результаты работ на могильниках обобщены в кандидатской диссертации С. Баратова [Баратов, 1991].

Автором статьи с 1986 г. ведутся работы по изучению культуры кочевых скотоводческих племен Ферганы, среди которых следует отметить работы на новом могильнике Гурмирон II, который идентичен известному могильнику Гурмирон [Матбабаев, 1996, с. 62–63, рис. 1, 3]. В целом, на данном этапе изучения переосмысливаются и пересматриваются накопленные материалы по истории культуры кочевых племен Ферганы. В связи с новым взглядом на материалы проводятся повторные дополнительные раскопки курумов, мугхона и некоторых могильников. Уточненные данные используются для написания фундаментальных многотомных изданий истории Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана: «Археология СССР», «History of Civilizations of Central Asia» [UNESCO, 1994].

В настоящее время памятники скотоводческо-кочевнических племен выявлены на огромной территории степ-

ной, предгорной и горной части Средней Азии. Следует отметить, что ферганские кочевники имели специфический облик. Их основная деятельность – скотоводство – сочетается с земледелием и охотой. В условиях Ферганы это объясняется ограниченностью пастбищ. Под влиянием земледельцев кочевники постепенно переходили к оседлости. Именно поэтому на местах зимовки по соседству с могильниками расположены поселения [Заднепровский, 1992, с. 87–95]. Следует отметить, что равнинную часть, удобную для выращивания сельскохозяйственных культур, занимали земледельцы; на периферии – в горной, предгорной и адырной зоне – скотоводы. Скотоводство и оседлое земледелие дополняли друг друга, поставляя продукцию (мясо-молочные продукты, кожа, продукция земледелия, ремесленные изделия). Эти две культурные традиции (земледельческая и скотоводческо-кочевническая) начинались во II тыс. до н. э., продолжались и в последующие периоды вплоть до настоящего времени [Батраков, 1955, с. 118–123]. Исходя из этого, термины «полукочевники» или «кочевники-скотоводы» более подходят к определению культуры Ферганы.

Таким образом, более чем столетнее изучение древней и средневековой культуры кочевников-скотоводов прошло путь от первых любительских раскопок до комплексных исследований. Прделана огромная работа: выявлены памятники от эпохи бронзы до XIII–XIV вв., определены место и роль кочевников-скотоводов Ферганы в истории кочевников Центральной Азии.

В.И. МАТЮЩЕНКО

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОИСКИ СИБИРСКИХ АРХЕОЛОГОВ (1960 – 1990 гг.)

Теоретико-методологические разработки советских археологов активизировались с конца 1950 – начала 1960-х гг. В 1960 – 1980-е гг. были обсуждены многочисленные проблемы нашей науки (М.В. Аникович, В.Н. Боряз, В.С. Бочкарев, В.Д. Викторова, В.Ф. Генинг, Г.П. Григорьев, Ю.Н. Захарук, Н.С. Каменецкий, Л.С. Клейн, В.М. Массон, А.Л. Монгайт, А.Н. Рогачев, Г.А. Федоров-Давыдов, А.А. Формозов, Я.А. Шер и др.). Этот всплеск плодотворного интереса к теории и методологии археологических исследований с конца 1980-х гг. постепенно сходит на нет в силу определенных причин.

Цель сообщения – необходимость выяснить основные причины, объясняющие состояние теоретико-методологических исследований сибирских археологов в последние четыре десятилетия. Возможно, это послужит основанием понять подобные процессы в стране в целом, поскольку сибирская археология всегда была орга-

нической, неотъемлемой частью российской, а в известное время и частью советской археологии.

Среди проблем, которые привлекали внимание сибирских археологов, можно условно выделить две группы.

Первая – это проблемы, которые возникали и каким-то образом решались под прямым воздействием нового фактического материала, полученного в ходе интенсификации полевых работ. Их можно определить как опыт исторического истолкования нового археологического материала.

Вторая – методологически новые подходы к имеющемуся материалу, которые можно несомненно отнести к кругу проблем, имеющих отношение не только к Сибири, но актуальных и для других регионов страны и зарубежья.

К проблемам первой группы относится проблема нижнего палеолита в Сибири. До 1960-х гг. почти аксиомой был тезис об отсутствии там нижнепалеолитичес-

ких памятников. Оставались в стороне от внимания археологов находки 1950-х гг. С.И. Руденко в Усть-Канской пещере на Алтае. Но уже в 1960-е гг. был открыт ряд местонахождений гораздо более ранней эпохи, чем верхний палеолит. В 1980–1990-е гг. исследуется комплекс Диринг-Юрях, возраст которого гораздо более глубокий, чем нижний палеолит.

Нижнепалеолитические стоянки теперь известны не только как единичные пункты; они представлены большой серией местонахождений, которые принадлежат всем этапам нижнего палеолита. Среди них такие, как Улалинка, Диринг-Юрях, Усть-Олекма, Монастырская гора I–III, Торгалык, пещеры Усть-Канская, Страшная, Денисова, имени Окладникова и ряд других (А.П. Окладников, А.П. Деревянко, Ю.А. Мочанов, Н.И. Дроздов, В.И. Молодин). Теперь Северная Азия занимает прочные позиции как обширный регион, где наряду с другими районами шел процесс становления человека, что существенно меняет наши представления о ходе антропогенеза в глобальном масштабе.

Проблема заселения человеком Нового Света через Берингию, в особенности культуры древнего населения Арктической зоны, не была совершенно новой в археологии Сибири, но только в 1960–1980-е гг. она приобрела четкость в постановке вопросов и фундаментальную фактическую базу, созданную сибирскими археологами. Основные заслуги в этом принадлежат Н.Н. Дикову, Ю.А. Мочанову и Л.П. Хлобыстину. Существенно расширились наши знания по палеолиту Западной Сибири и Зауралья (Черноозерье II, Могочино I, Волчья Грива, Шикаевка II, Гари – В.Ф. Генинг, В.Т. Петрин).

Сибирские археологи в рассматриваемый период обособленно выделяют в регионе эпоху мезолита. Открытия Г.И. Медведева в Прибайкалье (Усть-Белая, Верхоленская гора, Бадайский и Идинский комплексы, Царь-Девича, Лисиха) были началом исследований этой эпохи. Наличие мезолита в Сибири теперь уже не вызывает какого-либо сомнения. Памятники этого времени сейчас известны в Забайкалье, Приамурье и Западной Сибири. Так, в пределах Западной Сибири изучены стоянки Черноозерье II, VIa на Иртыше, группы местонахождений на Тоболе, Ишиме, Конде. Теперь Западно-Сибирская равнина предстает как достаточно плотно заселенная в мезолите область нашей страны.

Есть среди проблем сибирской археологии одна, кажущаяся на сегодня в основном решенной. Это проблема сибирского энеолита. В 1970-е гг. она приобрела наиболее острый характер, к 1990-м гг. острота ее сошла, и сложилась ситуация, при которой эта проблема стала восприниматься как уже решенная в пользу признания III тыс. до н. э. порой энеолита в Сибири (по крайней мере, в таежной части Западной Сибири). Наиболее убе-

дительным «аргументом» в пользу признания энеолита в тайге Западной Сибири были утверждения об удобстве периодизации, в составе которой есть такой период. На наш взгляд, проблема осталась, хотя большинство авторов публикаций принимает понятие энеолита в тайге Западной Сибири без каких-либо достаточных оснований.

В 1960–1980-е гг. сибирские археологи усиленно работали над проблемами бронзового века в азиатской части страны. Эта проблематика обсуждалась путем интенсивного накопления материала и введения его в систему наших представлений о бронзовом веке Евразии. Изучение памятников эпохи бронзы существенно расширило наши представления о районах их распространения (Прибайкалье, Забайкалье, Якутия, север Западной Сибири). Обсуждались проблемы археологии и культурной принадлежности памятников бронзы Западной Сибири, Саяно-Алтайского нагорья, Приамурья и Приморья. Во многих случаях это приносило существенные результаты, в частности, в изучении андроновской общности (Э.А. Федорова-Давыдова, В.С. Стоколос, М.Ф. Косарев, Т.М. Потемкина, Г.А. Максименков, Г.Б. Зданович, В.В. Бобров, А.В. Матвеев и др.), а также памятников карасукского и карасукоидного круга (М.П. Грязнов, Э.А. Новгородова, Н.Л. Членова, М.Ф. Косарев и др.). Широко изучались открытые памятники самусьско-ростовкинского круга (М.Ф. Косарев, Е.Н. Черных, Ю.Ф. Кирюшин, И.Г. Глушков).

Наиболее плодотворной в последнее время была попытка исследовать во всем многообразии проблему окуневской культуры [Окуневский сборник, 1999]. Здесь мы имеем опыт удачного перевода археологического источника в исторический.

В последние десятилетия в исследованиях раннего железного века Западной Сибири резко возрос интерес к проблемам саргатской культурной общности (В.А. Могильников, Л.Н. Корякова, Н.П. Матвеева, Л.И. Погдин). В ходе раскопок многочисленных курганов и, что особенно важно, поселений некоторые авторы (Л.И. Погдин) склонны расценивать саргатское общество как социально очень стратифицированное, достигшее уже такого уровня социально-экономического развития, когда стали возникать города как центры ремесленного производства, которые превращались и в центры политические. Такая трактовка саргатских памятников и общества, оставившего их, требует углубленного исследования важнейших общен исторических проблем (критерии выделения городов) и археологических (археологические материалы как исторические источники). К сожалению, этого мы пока не видим в деятельности наших коллег.

В связи с проблемами раннего железного века интересны также работы Э.Б. Вадецкой по истории таштык-

ского населения, Н.Л. Членовой по тагарской проблематике, Т.Н. Троицкой, А.П. Бородавского, Ю.Ф. Кирюшина, А.А. Тишкина, В.А. Могильникова по проблемам культур этого времени на Верхней Оби и Алтае, М.П. Грязнова и М.Х. Маннай-Оола по Туве, Л.А. Чиндиной и Л.М. Плетневой по изучению культур раннего железного века таежной полосы Западной Сибири. Особняком стоят работы над уникальными комплексами раннего железного века на плато Укок (В.И. Молодин, И.В. Полосьмак), которые вновь привлекают внимание к проблеме происхождения и истории культуры скифо-сибирского мира. Это особенно интересно в связи с углубленными исследованиями Пазырыка и Аржана (Л.С. Марсодолов).

Обширный и богатый материал эпохи средневековья исследуют сибирские археологи в разных регионах Сибири (В.С. Елагин, Л.Р. Кызласов, И.Л. Кызласов, В.А. Могильников, В.И. Молодин, Л.М. Плетнева, В.И. Соболев, Н.В. Федорова, Ю.С. Худяков, Л.А. Чиндина и многие другие). Фактически в период 1960–1990 гг. в Сибири сложилась археология средневековья.

Весь этот кратко изложенный материал представляет собой первую группу тех проблем, которыми были заняты сибирские археологи. Эти проблемы возникали и по мере возможности решались на основании новых фактических данных. Такие проблемы будут возникать и впредь, исследователи будут их вновь решать, и это будет перманентный процесс. Удачное или неудачное их решение будет зависеть от способности ученых переводить все археологические материалы в археологические источники, а последние – в исторические источники. Но именно этот важнейший момент в исследовательской процедуре остается наименее разработанным в нашей науке.

Но существовали и существуют проблемы, которые мы относим ко второй группе проблем. Это проблемы методологического характера, позволяющие по-новому оценивать имеющийся материал, намечающие новые подходы в этом направлении, а потому они могут быть оценены как наиболее перспективные, обеспечивающие сибирской археологии выход на принципиально новый уровень наших знаний.

В рассматриваемый период в сибирской археологии актуальной была проблема типологии археологического материала. Это – традиционная проблема, особенно для таких областей нашей науки, которые заняты исследованием плохо изученных или вовсе неизученных регионов, которых в Сибири много. Поэтому мы видим, как интенсивно разрабатывается типология инвентаря таких регионов как Зауралье, Среднее и Нижнее Приобье, Енисейско-Ангарский регион, Заполярье, Якутия, Верхнее и Среднее Приамурье, Приморье. Во всех этих

регионах созданы свои региональные историко-культурные схемы периодизации. В настоящее время стоит задача интегрирования этих схем, выработка единой историко-хронологической модели исторического процесса на этой обширной территории.

Особое место в процессе теоретических работ сибирских археологов занимает деятельность иркутской школы во главе с Г.И. Медведевым. Здесь была успешно разработана схема типологизации каменного инвентаря, которая максимально приближена к международным стандартам и потому хорошо используется в сегодняшней практике изучения каменных изделий эпохи камня.

В последние годы в сибирской археологии особую остроту приобрела проблема уровня социально-экономического развития ряда сибирских регионов в древности и в средневековье. Мы уже частично коснулись этой проблемы относительно саргатского населения Западной Сибири. Но наиболее остро обсуждается сейчас проблема уровня социально-экономического развития древней Хакасии. Так, Л.Р. Кызласов в течение ряда лет отстаивает тезис о существовании в эпоху раннего средневековья высокой городской культуры древней Хакасии, что в комплексе с другими культурными завоеваниями (орошаемое земледелие, продуктивное скотоводство, металлургия на стадии ремесленного производства, письменность) поставило древнюю Хакасию в ряд других высокоразвитых государств. Этот тезис вызвал резкое неприятие со стороны исследователей, склонных оценивать степень развития экономики и общества древней Хакасии традиционно: достаточно примитивные формы производства, экономики, социальных институтов и культуры (Ю.С. Худяков). В ходе дискуссии участники вышли и в политическую сферу, что еще более обострило ситуацию; на мой взгляд, это стало приобретать нездоровые формы дискуссии. Но эта проблема будет обречена на неудачу в исследовании, если не будет решен ряд вопросов применительно к Южной Сибири: критерии понятия города и критерии появления ремесленного производства. Таким образом, одна возникшая проблема ставит другие, которые приводят нас к исходным проблемам археологии, теснейшим образом связанным с теоретическими вопросами исторической науки.

Среди исследователей древней Сибири в настоящее время особое место занимает М.Ф. Косарев, известный своими интересными работами по материалам Западной Сибири. Эти работы построены на учете экологического фактора в истории населения региона (эпоха неолита, бронзы, ранний железный век). В принципе многие исследователи Сибири принимают в расчет этот фактор, но только у М.Ф. Косарева исследования органично построены так, что неразрывная связь общества с приро-

дой рассматривается как естественное состояние древних социумов, где сам социум выглядит как продукт взаимоотношений человека и природы, где природа – не фон, на котором разворачиваются социальные процессы, а один из важнейших участников этого процесса. Исследования М.Ф. Косарева можно рассматривать как углубленное продолжение палеоэтнологических работ в нашей стране.

В последнее десятилетие группа исследователей под руководством этнографа Н.А. Томилова на базе Омского государственного университета и Омского филиала ОИИФФ СО РАН занята разработкой концепции этнографо-археологического комплекса как инструмента комплексного изучения исторических общностей прошлого с помощью археологических и этнографических источников. На протяжении десятка лет проведено девять научных семинаров по этой проблеме, издано четыре сборника научных статей; Н.А. Томилов и С.С. Тихонов предложили свое понимание такого научного направления как этноархеология и даже предпринимают попытку превратить это направление в самостоятельную научную дисциплину. В семинаре, работающем регулярно из года в год в разных городах России, принимают участие многочисленные группы ученых. В ходе этой активной и разносторонней работы обсуждены многие вопросы археологических и этнографических исследований. Но, к сожалению, достаточно полной ясности понятия этнографо-археологического комплекса до сих пор нет.

Нам представляется, что дальнейшее продвижение в этом направлении возможно при учете общеизвестного положения, выработанного более ста лет тому назад В.В. Радловым, дополненным А.Н. Анучиным, а затем в 1940–1950-е гг. А.П. Дульзоном, суть которого сводится к необходимости использования широкой комплексности при изучении археологизированной культуры. В состав такого комплекса, помимо археологических и этнографических данных, должны входить антропология, лингвистика, палеогеография и все данные других наук, которые имеют отношение к древней культуре, в том числе и история первобытного общества, дающая исследователю представление о многообразии конкретных социальных групп и сообществ в доклассовом и раннеклассовом обществе. Именно в этой части исследования этнографо-археологического комплекса обнаруживают слабость.

Попытки решения ряда проблем археологии раннего железного века Сибири, в частности памятников скифо-сибирского времени, предпринимались в 1970–1980-е гг. (А.И. Мартынов), когда была предложена концепция скифо-сибирского культурно-исторического единства,

проведен ряд всесоюзных научных конференций, изданы сборники статей и книга (В.П. Алексеев, А.И. Мартынов). Но идея о существовании такого скифо-сибирского единства не нашла поддержки в среде коллег в стране и за рубежом. И произошло это не потому, что А.И. Мартынов и его коллеги недостаточно теоретически обосновали свой тезис, а скорее всего потому, что он изначально был несостоятелен.

Есть и другие проблемы второй группы, например памятники первобытной древней культуры. Сейчас предпринимаются попытки не только их археологического изучения (М.А. Дэвлет, И.Н. Кочмар, А.П. Окладников, В.Е. Ларичев и др.), но и обнаруживаются принципиально новые взгляды на эти памятники с позиций широкого комплексного их изучения (В.Е. Ларичев, И.В. Ковтун).

Сибирские археологи предпринимали неоднократные попытки разработать методологию археологии (предмет и объект археологии, понятие археологической культуры, археологическая культура и этнос, теоретико-методологическое осмысление новых, компьютерных технологий и ряд других вопросов). Но эти вопросы обсуждались от случая к случаю, без планомерной организации этих поисков, а потому все усилия не могли дать необходимые результаты. В организационной слабости сибирской археологии кроется одна из причин недостаточной теоретико-методологической зрелости нашей науки. Но есть, на наш взгляд, и более глубокая причина отставания теоретико-методологического осмысления огромного накопленного материала. Эта причина – общая критическая ситуация в нашей науке, о чем писали неоднократно многие на протяжении по крайней мере последних полутора–двух десятков лет. Не пытаясь раскрыть это явление всесторонне, обратим внимание на одну важнейшую сторону его, а именно, смену мировоззренческих парадигм, утрату прежних общепризнанных позиций отечественной археологии. Марксистская методология была отринута без необходимого осмысления этого процесса, а взамен на вооружение археология не получила чего-либо адекватного, равноценного марксизму. И произошло это как раз на взлете активности марксистской мысли в археологии. Конечно, в марксизме отечественной археологии в 1960–1990-е гг. обнаруживаются серьезные отступления от него, и эти отступления сродни скорее всего неопозитивизму. Тем не менее, даже эти отступления не мешали археологии набирать теоретическую зрелость.

Такая ситуация в современной отечественной археологии, и в сибирской тоже, вероятно будет сохраняться до тех пор, пока новое поколение исследователей не выработает достаточно ясных общепризнанных мировоззренческих позиций.

АРИЙСКАЯ «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА» ЕВРАЗИИ (попытка культурно-антропологической концепции)

В ноябре 1948 – марте 1953 г., будучи аспирантом Тадж. филиала АН СССР и ЛО ИИМК АН СССР, я прошел великую Санкт-Петербургскую школу археологов-востоковедов В.В. Бартольда – А.Ю. Якубовского в Отделе Средней Азии и Кавказа ЛО ИИМК с его традиционными регулярными научными заседаниями и докладами по важнейшим памятникам и проблемам археологии Средней Азии и нередко всего Востока нашей общей тогда страны. Огромное значение имели для меня беседы и лекции А.Ю. Якубовского, К.В. Тревер, Н.В. Пигулевской, М.М. Дьяконова, А.М. Беленицкого по археологии и истории оседлых культур Средней Азии и Кавказа. Сако-скифскую археологию я изучал по лекциям и трудам великого методиста раскопок и камеральных исследований Михаила Петровича Грязнова, особенно в то время, когда я принимал участие в раскопках кургана Аржан, который стал эталонным памятником в нашей науке.

Богатое научное наследие М. П. Грязнова, который внес большой вклад и в изучение сако-арийской проблемы Центральной Азии и Сибири, всегда будет светить нашей науке и ученым всех поколений.

«Воздушный шар» арийцев с комплексом интеллектуальных ценностей великих сокровищниц Авесты, Веды и Бундахшна с средоточием множества научных тем и проблем культурно-антропологических исследовательских поисков ученых многих стран мира последних двух столетий, начиная от Анкетилля Дюперрона до В.В. Струве, Мери Бойс и Франца Грене, давно витает над нашей планетой, особенно Евразией. Сколько бы ни изучали арийскую проблему, ее главные письменные источники и другие древнеперсидские, индийские, греческие, латинские, армянские и иные лингвистические памятники, археологический и культурологический материал, сколько бы ни пытались географически посадить все это на конкретную земную Ойкумену Евразии, шар этот, как бы уставая и отдыхая, иногда останавливался на некоторое время то над придунайско-приднепровско-черноморской культурой Триполья–Кукутени, то над Европейско-Азиатским пограничьем юго-восточного Приуралья или албано-дагестано-прикаспийского Дарбанда (Дербента), то переносился, казалось бы окончательно, на азиатскую Анатолию или шире – на Ближний Восток, то на те или иные регионы Центральной Азии от Хорезма и Приаралья до Пенджаба и всего бассейна Верхнего Инда, от Систана, Нуристана и Белуджи-

стана до Бактрии и Согда, но и до сего дня он еще в воздухе.

Эта научно-исследовательская «эстафета» особенно интенсивно шла во второй половине XX в. по коренным сущностным вопросам ариеведения и авестоведения, по двум кардинальным источникам и направлениям:

- по письменной словесности и духовной культуре;
- по археологическим материальным остаткам (самостоятельно или с частым совмещением обоих направлений поисков).

Тут были до обиды глупые «регионально-патриотические» упражнения в «тяни-толкай» и остроумные, талантливые, премированные государством исследования научного дуэта Т.В. Гамкрелидзе – В.В. Иванов [Гамкрелидзе, Иванов, 1984].

В данный момент имеется ряд выполненных основополагающих итоговых обобщений по решению арийской проблемы.

Во-первых, знаменитая гл. 3 т. 1 первого издания «Истории таджикского народа», которая содержит разделы В.А. Лившица «Общество Авесты» и «Древнейшие государственные образования» и С.Н. Соколова «Духовная культура. Религия» и «Религиозная система зороастризма» [История..., т. 1, 1963, с. 137–186]. Затем, раздел В.А. Лившица «Общество Авесты» без изменений, а разделы С.Н. Соколова «Духовная культура. Религия» и «Религиозная система зороастризма» с добавлениями И.В. Пьянкова вновь опубликованы в гл. IV т. 1 второго издания «Истории таджикского народа» [История..., т. 1, 1998, с. 216–249]. В разделе «Общество Авесты» рассмотрены семья и ее состав, рабы, жилище, род, селение, соседская община, племя, союз племен, область, объединение областей по Михр Яшту, развитие производительных сил, ремесло, город. В разделе «Духовная культура. Религия» – древнейшая религия иранских племен, Заратуштра, Бактрия и родина зороастризма, первоначальный зороастризм, Авеста и ее история, сохранившаяся часть Авесты. В разделе «Религиозная система зороастризма» – дуализм, пантеон, натурфилософия, космогония и легендарная история, зороастрийская этика, обрядность. В этом втором издании Л. Т. Пьянковой выполнен в значительно расширенном и обновленном виде раздел «Памятники материальной культуры»: ранний железный век в Средней Азии, историко-культурные зоны и регионы; хозяйство и общественная организация племен Средней Азии в первой трети I тыс. до н. э.,

культура расписной керамики на севере Средней Азии, проблема общности культур расписной керамики и их происхождения, культура археологического Дахистана, степные культуры, погребальные обряды и культы, проблема этнической истории [История..., т. 1, 1998, с. 201–215].

Таким образом, в «Истории таджикского народа» сделан опыт обобщения данных, с одной стороны, авестийских текстов, а с другой – археологических материалов, т. е. представлены к размышлению и анализу две важные категории источников, начат, если образно сказать, спуск «авестийского шара» на родную среднеазиатскую Ойкумену арийского бытия.

Во-вторых, выполнена серия исследований, обобщений и публикаций И.В. Пьянкова по всему комплексу древнегреческих, персидских и индийских источников, самой Авесты, и итогом всей работы стала серия публикаций И.В. Пьянкова, среди которых, пожалуй, наиболее четки его статьи «Ариана по свидетельствам античных авторов» [Пьянков, 1995а] и «Некоторые вопросы этнической истории древней Средней Азии» [Пьянков, 1995б]. В них автор утверждает вывод о бытности древней страны Ариана, включающей Бактриану/Бахтри, Согдиану/Сугда, Маргиану/Маргуш, Арею/Харайву (область Герата), Дрангиану/Зранка или Хайтумант (область Зеренджа-озера Хамун), Арахозию/Харахвати (область Кандагара), Паропамис/Параупарисайна (Загиндукуше, область Кабула). Но вопрос с первой по списку Авесты страной Арьяна-Вайджа И.В. Пьянков не решил окончательно. Однако несомненно, что Арьяна-Вайджа Авесты – это обширные степи скотоводов Севера (от Алтая до Волги) и западной прикаспийской части Центральной Азии – степных племен скифов-саков и массагетов. Таким образом, И.В. Пьянков во многом конкретизирует и уточняет территориально-локализационный аспект проблемы.

В третьих, ныне настало время обобщений с возможной точной локализацией всего авестийского круга топонимических наименований. Недавно такую работу провела по гидрографической ситуации, отраженной в Авесте, Н. Д. Ходжаева. Эту работу она выполнила по наиболее плодотворной орогидрографической системе в завершенном виде «горы – реки – море» Авесты, прежде всего, по главным ключевым из них: горы Хара Бэрзайти, р. Вахви Датия и Ранха и море Ворукаша. Она прекрасно обозначилась на Среднеазиатской Земле: система гор Тянь-Шань–Памиро–Алай–Гиндукуш, р. Амударья и Сырдарья и единого в древности Арало–Каспийского бассейна, включая множество археологически выявляемых ныне исчезнувших озер Туранской низменности [Ходжаева, 2000]. В одной точке зрения Н. Д. Ходжаевой еще не уточнена: она под морем Ворукаша признает только Аральское море.

В четвертых, в течение всего XX в. шли разнонаправленные, в целом грандиозные археологические исследования по изучению проарийской и арийской цивилизации Арианы–Маргианы, Согдианы и Бактрианы IV – середины I тыс. до н. э., каждый изученный памятник которой уже сам по себе значим: Анау, Намазга-депе, Алтын-депе, Тоголок, Улуттепа, Каратепе, Гонур, Сумбар, Келлели, Геоксюр, Язтепа, Саразм, Заманбаба, Дашти Козы, Муминабад, Чуст, Дальверзин, Эйлатан, Шурашабат, Кайраккум, Сапалли, Джаркуртан, Бустан, Молали, Кучуктепа, Бешкент, Ранний Тулхар, Ранний Ариктау, Вахш, Шортукай, Давлатабадский оазис, Фарукабадский оазис, Даштлинский оазис и др. В эти исследования особенно большой вклад внесли крупные археологи-аналитики В.М. Массон [1959; 1962; 1964; 1966; 1971; 1973; 1975; 1976; 1984], В.И. Сарияниди [1960; 1962; 1965; 1976; 1977; 1990], И.Н. Хлопин [1963а; 1963б; 1964; 1969; 1983а; 1983б], А.М. Мандельштам [1968], А.А. Аскарлов [1973; 1977; 1979; 1983], К.Ф. Смирнов, Е.Е. Кузьмина [1977], Е.Е. Кузьмина [1966а; 1966б; 1977; 1988; 1994], Ю.А. Заднепровский [1962], А.И. Исаков [1991], Л.Т. Пьянкова [1989; 1998], И.С. Масимов [1976], Г.Н. Лисицына [1965; 1978], Э.В. Сайко [1973], А.Н. Бернштам [1952], Б.А. Литвинский [1972], С.П. Толстов [1960], В.А. Вишневская [1973], Л.М. Левина [1996], Б.И. Вайнберг, Л.М. Левина [1993], Х. Юсупов [1986; 1991; 1997] и др.

В результате на большом числе хорошо изученных памятников открыт цельный четырехтысячелетний пласт истории основного ядра оседло-земледельческих культур Средней Азии, поставлен и во многом решен ряд больших и важных научных проблем древней истории, открыт путь к новым историческим размышлениям, обобщениям и концептуальным раскладкам. Например, о выделении нового формационного общинно-сословного строя в истории Средней Азии, о признаках формирования общесреднеазиатской макроцивилизации, которая может быть названа «зороастрийско-авестийской». Опираясь на огромный добытый материал, теперь можно составить более объемную общесреднеазиатскую характеристику важного переходного этапа социально-экономического и культурно-антропологического формирования общества с производящим образом жизни и хозяйства на базе целого ряда социально-культурных артефактов: земледелия, скотоводства, металлургии, керамического производства, ткачества и шитья, кожевенного дела, урбанизации со строительно-архитектурными и фортификационными направлениями. В итоге происходит отделение ремесла от земледелия, города от деревни, а все вместе обеспечивает лучшие условия жизни для физиологического и интеллектуального усовершенствования индивида и общества в целом. Человек

начал экологическую реконструкцию своей обитаемой среды и постепенно выявлял потенциальные возможности жизненного обустройства с формированием своих начальных бытовых и культурных потребностей, самопознания и самовыражения, например в искусстве керамических и наскальных росписей. Одно пожелание ученым исследователям: не усматривать во всем магию, мифы, верования религиозные и т. п., а оставить место для религиозных и параллельно идущих человеческих потребностей в светском образе жизни. Не следует чересчур много заниматься «богоискательством и боготворчеством». Мне думается, много радостей человек искал, находил и видел в светской духовности. Нам следует разработать методы и концепцию поисков светской духовности.

Многие из этих процессов уже выявлены и отмечены в трудах ученых, особенно четко и во многом убедительно в монографии В.М. Массона «Алтын-депе» [Массон, 1984], в ее заключительных аналитических главах. Однако они в тогдашних советских идеологических рамках и при действующей марксистской европоцентристской формационной историографии, разумеется, не мог-

ли подойти к своим материалам с новых сегодняшних реформаторских позиций по оценке и созданию объективной исторической действительности. Я в своей книге «Таджикский феномен: история и теория» [Негматов, 1997] предложил ряд концептуальных нововведений в нашу таджикскую историю, исходящих из накопленных в XX в. материалов исторических, а иногда всех гуманитарных наук. Мне представляется, что поиск инноваций – лучший путь к сегодняшнему самоусовершенствованию ученых и науки в целом.

Одной из наиболее важных инноваций на данном этапе нашей науки является карта локализации арийской «золотой подковы» на среднеазиатской земле. Думается, что такая попытка культурно-антропологического подхода к арийской проблеме – самая реальная, объективная, разумная и ее следует смело принять и обосновывать. Ведь «воздушный шар» первичной родины арийцев – Арианы и «Авесты» с историко-культурным ядром Маргиана – Согдиана – Бактриана – ученые своими открытиями и исследованиями уже показали. Но впереди долгий и трудный путь инновационных обоснований.

М.Л. ПОДОЛЬСКИЙ

МИНУСИНСКИЕ ДРЕВНОСТИ: ПРОБЛЕМА ДАТИРОВКИ

*Мы тонем во времени, хватаясь за соломинки.
И что хорошего в кирпиче для утопающего?*

Том Стоппард

Датировка археологического материала необходима. Без нее наши коллекции превратились бы в беспорядочную свалку антиквариата и всевозможных раритетов. Когда-то так оно и было. Исследователи древности, продвигаясь в прошлое, расставляли даты-вехи с большим трудом. Скорее вехи, нежели даты. Вехи, которые позволяли сортировать находки и сопоставлять их.

В 1920-х гг. С.А. Теплоухов разработал схему классификации древностей Минусинской котловины, которая стала эталоном для сибирской археологии. Позднее она уточнялась, но в целом актуальна поныне. Обобщенные даты Теплоухова (он опирался, в основном, на хронологию восточноевропейских степных культур В.А. Городцова) тоже подвергались пересмотру. Значительный вклад в уточнение датировок внес Михаил Петрович Грязнов. Единогласия достигнуть не удалось, но все же была создана некоторая *традиционная* (весьма условная) хронологическая шкала, позволившая вписать ми-

нусинские материалы в общий евразийский археологический контекст.

Сейчас широкое распространение получили физические методы датировки. Результаты измерений зачастую не совпадают с традиционными представлениями. Чаще всего они работают на удревление. Что ж, разногласия такого рода существовали и прежде. Нередко возраст памятников становился делом национального или регионального престижа (у нас – раньше всех!).

В.А. Дергачев, сопоставляя радиоуглеродные и «археоисторические» даты, пишет: «Только вместе и в подстраивании и контроле одного другим эти методы могут обеспечить всесторонний подход к археоисторическому прошлому...» [Дергачев, 1997, с. 66–67]. Настораживает слово «подстраивание». Как подстраиваться? Выбирать подходящие радиоуглеродные даты, отбраковывая сомнительные и явно несуразные? Это – фальсификация. Тянуть археологический материал, как упирающе-

гося ишака, к каждой новой радиоуглеродной дате? Вряд ли и это правильно. Идти на мелкие взаимные уступки? Это паянс, который придется раскладывать снова и снова. К тому же, арифметическое усреднение чисел, полученных разными способами, в принципе не может дать достоверного результата.

Разброс дат сам по себе еще не несет большой беды. Это конкретика, с которой надо разбираться в каждом случае особо. Значительно важнее, как мне кажется, принципиальный вопрос: откуда взялось и насколько оправдано упование на «точную» хронологию? Вроде бы, ответ ясен: разработка соответствующих физических методов позволяет навести в хронологии порядок. Однако методы есть, а порядка нет по-прежнему, да и разногласий стало много больше.

Основополагающие концепции археологии формировались во времена, когда в европейской науке безоговорочно господствовал эволюционизм. Эволюционизм нельзя считать изобретением нового времени. Он, в частности, характерен для многих древних мифологических систем. Эволюционный подход к истории имеет минимум одну привлекательную черту. Создается хотя бы иллюзия осмысленности и логичности исторического развития: будто человечество движется к заветной и заранее известной цели – сменяющиеся культуры передают одна другой эстафетную палочку. Главное при таком подходе – разбить дистанцию эстафеты на этапы. Тут не нужны точные даты, на первом плане – вопрос о механизме процесса (стадиальность, миграции, влияния, культурные круги и пр.).

Со временем эволюционную концепцию постиг неизбежный кризис, ибо даже самую надежную теорию приходится когда-то пересматривать. Были для того и вполне конкретные предпосылки. Начнем с того, что историческая динамика чрезвычайно вариативна и не ограничивается плавным поступательным движением. Взрывы, катастрофы, резкие импульсы, тупики, застои, возвраты к прошлому – пока фактического материала было мало, на это можно было не обращать внимания. По мере накопления фактов, становилось все труднее втискивать их в эволюционные рамки. С другой стороны, эволюционный подход, суливший возможность эффективного обобщения истории, зачастую распространяли за пределы его корректного применения (к примеру, исторический материализм с его жесткой схемой смены формаций и призраком светлого будущего), что вело к дискредитации метода. Наконец, симптоматично, что эволюционизм стал научной доктриной в викторианской Англии. Небывалая стабильность в сочетании с неуклонным техническим прогрессом давали подсказку – и, видимо, велик был соблазн распространить ощущение

непрерывности развития на все времена. Чарльз Дарвин сделал это, охватив все биологические виды. Позднее – уже другими – в том же духе была интерпретирована история *Homo Sapiens*. События XX в. рассеяли викторианские иллюзии.

Кризис эволюционизма обернулся кризисом исторической мысли. «The time is out of joint»*, – говорит Гамлет после встречи с Призраком. Так же можно охарактеризовать ситуацию, сложившуюся в археологии. Если нет эволюционной преемственности, если каждая последующая культура не вытекает непосредственно из предшествовавшей, то как связать конец с началом? И тут физика, как нельзя кстати, предложила радиоуглеродный метод. Все просто: надо снабдить памятники ярлычками с датами и расположить их в хронологическом порядке, тогда все само собой станет на место. Это – одна из основных идей постэволюционизма.

Принц Датский пытался исправить положение по своему. Результат известен: в финале драмы сцена завалена трупами. В нашем случае трупов много больше – все археологические материалы. Эволюционная концепция, при всей сомнительности своих предпосылок, была исторической. Постэволюционный подход отказал археологии в историзме. Археологи должны поставлять артефакты, физики – определять даты, а кто-то – *post factum* – объяснять что-то. Археолог, добывающий артефакты? Нонсенс! Это грабитель. Да, при раскопках мы находим вещи. Но основная наша цель – получить представление о людях, оставивших эти вещи: как они жили, о чем думали, во что верили. Если археолог забывает об историческом смысле своей работы, артефакты молчат, они мертвы.

В результате, избавившись от «дурной бесконечности эволюционной теории»¹, мы тут же попадаем в сети еще более дурной бесконечности синхронистических таблиц². Да и само избавление оказывается мнимым. Скрупулезное выстраивание хронологических цепочек оправдано лишь в том случае, если предполагается, что историческая динамика имеет все же эволюционную природу. Итак, археология возвращается к исходной позиции. Только раньше в основе была типология, а теперь – цифры, полученные естественнонаучным методом, что придает построениям видимость объективности.

Спору нет, хронологические таблицы нужны или, во всяком случае, полезны. Но это – всего лишь справочное пособие. Отстояние того или иного факта от нашего времени, исчисляемое тысячелетиями, настолько велико, что теряет для нас чувственную реальность. Абсолютная величина таких чисел – не более чем схоластика, уместная в каталоге, но бессмысленная в живом

* Распалась связь времен – англ.

логически-интуитивном восприятии истории. Не так уж наивны были китайцы, когда, после восшествия на престол очередного императора, начинали летоисчисление заново.

Дата того или иного факта позволяет вписать его в соответствующую эпоху. А у каждой культуры, у каждой эпохи есть своя внутренняя логика, свой внутренний ритм и, соответственно, свой ход времени. Задача археолога – вникнуть в эту логику и в этот ритм. И тут памятники не выстраиваются в календарные цепочки. Путешественник, ориентирующийся на километровые столбы, установленные вдоль шоссе, вряд ли составит мало-мальски цельное представление об окружающем. Для этого надо, отвлекшись от всяких дорожных указателей, исходить местность вдоль и поперек. Литература XX в. усвоила эту истину. В современном романе биографический принцип повествования не соблюдается, последовательность эпизодов диктуется стремлением автора всесторонне выявить личность героя. При археологических реконструкциях возникает сходная задача. *Культура как историческое явление не может быть представлена линейным рядом последовательных событий.*

А если, все-таки, для начала расставить точные даты? Помешает ли это? Безусловно. Артефакты обретают смысл только в рамках археологической модели, позволяющей сформулировать правдоподобную историческую гипотезу. В каждом конкретном случае модель должна быть максимально пластичной, ибо при использовании жестких схем невозможно обойтись без насилия над фактическим материалом. Что же касается точных дат, то их точность проблематична, зато жесткость несомненна. Их расстановка неизбежно превращает модель в громоздкую неподатливую конструкцию. Соломинки цементируются, образуется кирпич, с которым (не следует преувеличивать возможности человеческого разума) нам уже не справиться.

В квантовой физике сформулирован принцип, согласно которому нельзя одновременно определить точную координату частицы и ее импульс. Объясняется это двойственной – корпускулярно-волновой – природой микрочастиц. При историческом осмыслении археологического материала мы сталкиваемся с аналогичной ситуацией. Артефакт, играя в археологии роль элементарной частицы, тоже обладает двойственной природой. Будучи веществом, он может иметь собственную координату (астрономическую дату). Если же мы рассматриваем его в качестве микроэлемента некоторого исторического явления, эта координата приобретает статистический характер.

Археологическое моделирование и радиоуглеродный анализ разнородны, они лежат в разных плоскостях

наших знаний. Существуют точки соприкосновения (пересечения) этих плоскостей, совокупность которых мы условно считаем осью времени. Но было бы наивно полагать, что численные результаты, относящиеся к принципиально различным областям науки, будучи спроецированы на эту условную ось, должны обязательно совпасть.

Датировка, основанная на типологических сопоставлениях, исходно несет в себе историческое содержание, являясь, по сути дела, начальным этапом археологического моделирования. Насколько оно адекватно действительности? Это зависит от исследовательской интуиции, что привносит в построения элемент субъективности. Но это не должно пугать. Типологические даты – в силу их интуитивного обоснования – содержательны и податливы. Это – даты-вехи. Радиоуглеродные даты формальны, это – даты-ярлыки. И дело вовсе не в том, какие из них ближе к истине (есть поводы для сомнений в отношении тех и других). Оценка их достоверности – отдельная тема. Однако, коль скоро эти даты разнородны, их взаимное *подстраивание* (вроде согласования цифр в бухгалтерском отчете) не перспективно.

Совместимы ли они? Пока нет однозначного ответа на этот вопрос. Работать надо параллельно. Надо учитывать все, что достигнуто современной наукой. Но нужно помнить, что даты – не самоцель. Это – подсказка. С одной стороны, не следует абсолютизировать «точность» радиоуглеродных данных. С другой – не исключено, что, опираясь на них, мы сможем сконструировать новые правдоподобные и работоспособные археологические модели.

¹ О.Э. Мандельштам «О природе слова», 1922 г.

² Еще один вариант «наведения порядка» в хронологии – «статистический анализ» А.Т. Фоменко, перечеркивающий как традиционные, так и радиоуглеродные датировки. Обработав с помощью специального алгоритма исторические тексты, относящиеся к разным эпохам и к разным регионам, и обнаружив в них переклички, автор приходит к заключению, что древней истории не было, она придумана задним числом. Курьезный вывод. Хотя наличие совпадений очень интересно. Дело, видимо, в том, что письменные исторические источники – хроники, летописи, жизнеописания, мемуары и пр. – представляют собой *литературные жанры*. И создавался каждый из текстов по законам жанра, действовавшим, очевидно, весьма жестко. Но это – литературоведческая тема. В историческом аспекте показательно то, что в концепции Фоменко крайне четко проявилась характерная для постэволюционизма тенденция: в истории первична не сущность, а хронология, даты. Здесь в историзме отказано не только археологии, но и всей истории в целом.

М.П. ГРЯЗНОВ И ИЗУЧЕНИЕ ПАСТУШЕСКО-СКОТОВОДЧЕСКОГО ПОЯСА ЕВРАЗИЙСКОЙ СТЕПИ И ЛЕСОСТЕПИ ЭПОХИ БРОНЗЫ

Одним из достижений современной российской археологии, как и археологии сопредельных государств, в изучении пространств евразийской степи и лесостепи является формирование представления о том, что в эпоху бронзы на этой территории доминировали находившиеся на постпервобытном уровне развития пастушеско-скотоводческие массивы населения, внесшие свой вклад в развитие процессов цивилизации в древности. В этих условиях важен историографический анализ наследия ученых XX в., внесших выдающийся вклад как в само изучение древностей эпохи бронзы этих пространств, так и оказавших серьезное влияние на характер и направленность исследовательского поиска, прежде всего с позиции формирования общеисторических подходов к оценке происходивших в то время процессов.

Среди них особое место занимает М.П. Грязнов – выдающийся исследователь древних скотоводческих обществ Сибирско-Казахстанского региона и прилегающих пространств, а по большому счету – степи и лесостепи Евразии. Важно подчеркнуть, что на всех этапах его научной деятельности четко просматривается интерес не только к изучению и осмыслению древних кочевников раннего железного века (по его терминологии «ранние кочевники»), но и мира древних скотоводов предшествующего времени, прежде всего, эпохи бронзы [Савинов, 1995, с. 76–80].

Первые шаги в археологии М.П. Грязнов делал в 20-е гг. под руководством С.А. Теплоухова, от которого он воспринял культурно-хронологическую классификационную схему, основанную на результатах раскопок в Минусинской котловине. На формирование его общеисторических построений заметное влияние оказало участие в деятельности функционировавшей в начале 1930-х гг. в рамках доклассового сектора ГАИМК группы по истории кочевого скотоводства (выделение стадий пастушеского и кочевого скотоводства). Это во многом предопределило формирование уникальной концепции развития культур раннего железного века степной Евразии и последующую оценку пояса скотоводческих культур предшествующего времени этих пространств.

Основываясь в значительной степени на материалах Южной Сибири и Казахстана, М.П. Грязнов постепенно приходит к формированию представления, согласно ко-

торому применительно к эпохе меди – бронзы следует выделять время примитивного скотоводства, сопровождавшегося возникновением земледелия, которое, возможно, в свою очередь делилось на несколько пластов (в целом доандроновское время): пастушеско-земледельческий, связываемый с андроновцами этап – вторая половина II тыс. до н. э., и этап яйлажного (полукошевого) хозяйства – первые века I тыс. до н. э. У М.П. Грязнова, особенно в более позднее время, можно встретить и употребление термина «пастушеские скотоводы», причем в довольно широком понимании.

В основу предлагаемой схемы развития скотоводства в эпоху меди – бронзы положена ставшая для южносибирско-казахстанских пространств степи и лесостепи классической свита археологических культур: афанасьевская (время примитивного скотоводства), андроновская (пастушеско-земледельческий этап) и карасукская (полукошевое скотоводство) [Грязнов, 1957]. Ученый обращает внимание и на наличие своеобразия в хозяйстве массивов населения, составивших отдельные археологические культуры.

В построениях М.П. Грязнова просматривается стремление к системному восприятию истории развития скотоводческих обществ в эпоху бронзы, в основе которого – доминирование идеи последовательности и преемственности, стремление опереться на идею их автохтонности. В то же время, признается и значение перемещения массивов населения в этот период.

Той же логике построения подчинены и оценки общественных отношений у соответствующих массивов населения заведомо в системе первобытности (поскольку речь идет о времени, предшествующем ранним кочевникам). Конечно же не надо забывать, что в то время возможности анализа ограничивались самим состоянием археологических источников. И это даже несмотря на то, что М.П. Грязнов опирался на комплексный подход при анализе данных археологии.

Последовательно реализуемое М.П. Грязновым стремление к общеисторическим построениям отражало тенденцию развития археологии в стране как одного из звеньев исторической науки. Проявлявшаяся же при этом стадильность в подходах и схематизм построений в работах М.П. Грязнова – это прежде всего поиск исследовательских возможностей на уровне общеисторических обобщений и исторических трактовок, а не абсолютизация набора догм.

В подходе к археологическому источнику особая роль М.П. Грязновым отводилась совершенствованию методики изучения археологического памятника, предопределяемой потребностями получения информации для исторических построений. В начале 60-х гг. им изложен по сути дела новаторский подход к кургану как архитектурному памятнику. Сошлось хотя бы на его предположение, согласно которому курганы эпохи бронзы в Подонье, имеющие под насыпью ров, могли представлять собой сложенное из дерна наземное сооружение, огражденное рвом [Грязнов, 1960]. Подход к курганам как к остаткам надмогильных архитектурных сооружений во многом повлиял на саму направленность совершенствования методики их раскопок в дальнейшем.

Требуют специального историографического анализа и его подходы к пониманию того, что стоит за археологическими культурами, отдельными типами памятников, вариантами. Характерно, что основное внимание он уделяет показателям и признакам, объединяющим большие массивы памятников, что ведет к фактическому выходу за рамки собственно археологических культур. Более частное и особенное у него отстает на второй план. Из сказанного не следует, что менее масштабные, единичные памятники были вне сферы его научных интересов. Но об этом лучше говорить в связи с его оценками отдельных археологических культур при выделении типов памятников, их территориальных групп, хронологии, этапов в развитии культур при обосновании происхождения и дальнейшей судьбы носителей конкретной культуры.

Остается добавить, что свои представления об эпохе бронзы, причем прежде всего Южносибирско-Казахстанского региона, он суммирует в ряде обобщающих исследований, увидевших свет во второй половине 50-х – 60-е гг., где эпоха бронзы региона последовательно рассматривается в системе оценки древностей евразийских степей, включая оценку развитой и поздней бронзы степных районов Средней Азии [Грязнов, 1970].

В обобщающем виде эти представления, рассмотренные в значительной степени через призму анализа скотоводческого мира степной и лесостепной зон Евразии, он изложил в докладе, подготовленном к научной сессии Отделения истории АН СССР, посвященной 50-летию декрета о создании РАИМК и итогам полевых и этнографических исследований 1968 г. [Грязнов, 1969]. Это было видение проблематики эпохи на уровне достижений соответствующего этапа развития археологии в стране.

В дальнейшем к целостной оценке проблематики степной бронзы он обращается эпизодически, продолжая последовательно отстаивать тезис о единстве исто-

рического процесса в обществах древних скотоводов на пространствах евразийской степи и лесостепи (сошлось на пример сопоставления им срубной и алакульской культур). В сконцентрированном виде этот подход проявляется в высказывании, согласно которому «культура древних племен развивалась всюду в сходных формах, синхронно, во взаимодействии» [Грязнов, 1979]. В 70-е – начале 80-х гг. М.П. Грязнов реже касается частных проблем в изучении проблематики эпохи бронзы. Причина не только в том, что основное внимание он сосредотачивает на оценке древностей раннего железного века, но и в том, что следовавшие в это время одно за другим открытия археологов создавали у него ощущение перехода на качественно новый уровень осмысления всей проблематики эпохи бронзы евразийской степи и лесостепи, что приведет к серьезному переосмыслению уже сделанного. А этим предстоит уже заняться новому поколению ученых. Именно такого рода ощущение осталось у меня от бесед с ним в середине 70-х гг., во время обсуждения основных положений моего диссертационного исследования по абашевской культурно-исторической общности эпохи средней бронзы (имеются в виду первые оценки результатов раскопок Синташтинского комплекса памятников конца эпохи средней бронзы на юге Челябинской области, серии других престижных захоронений этого времени с щитковыми псалмиями с шипами, происходившими с разных территорий евразийской степи и лесостепи, оценка свидетельств производственной деятельности с Мосоловского поселения металлургов-литейщиков поздней бронзы в Подонье и т.д.).

Конечно же, крайне важно сопоставить взгляды М.П. Грязнова и его современников – других ведущих исследователей эпохи бронзы евразийской степи и лесостепи: прежде всего, его учителя С.А. Теплоухова; выдающегося исследователя эпохи бронзы евразийских степей первой половины завершившегося века В.А. Городцова (включая позднего В.А. Городцова); ученика В.А. Городцова С.В. Киселева, написавшего «Древнюю историю Южной Сибири» и обобщившего изучение эпохи бронзы на территории СССР на конец 50-х гг.; ведущих исследователей эпохи бронзы 60 – первой половины 80-х гг. Но это, по сути дела, отдельная исследовательская задача, во многом замыкающаяся на уровень историографического осмысления проблематики эпохи бронзы в отечественной науке XX столетия. К специальному ее изучению наша археология фактически только приступает. Наиболее последовательные шаги в этом направлении предприняты в последние годы В.И. Матюшенко, планомерно изучающего развитие археологии в Сибири.

М.П. ГРЯЗНОВ КАК АНТРОПОЛОГ И ЭТНОГРАФ

В истории отечественной и мировой науки хорошо известно имя археолога Михаила Петровича Грязнова (1902–1984). О нем написано и опубликовано немало, его научному наследию посвящены специальные научные конференции и сборники статей. Но М.П. Грязнов был не только выдающимся археологом, его интересы как исследователя были довольно разнообразны, что дает возможность говорить о нем также как об антропологе и этнографе.

В этой связи представляется целесообразным и даже необходимым обратиться к некоторым фактам его биографии. В 1919 г. после окончания Томского реального училища Михаил Грязнов поступил на математическое отделение физико-математического факультета Томского государственного университета, где в то время преподавали С.И. Руденко и С.А. Теплоухов. С.И. Руденко – воспитанник Санкт-Петербургского университета, ученик известного ученого Ф.К. Волкова, от которого он воспринял лучшие традиции французской и петербургской антропологических школ. Под антропологией тогда понимался комплекс наук, включавший не только собственно антропологию в ее современном значении, но также археологию, этнографию и даже частично географию. Вот такое всестороннее образование стал получать от своего университетского учителя, выдающегося ученого, антрополога, этнографа и археолога С.И. Руденко молодой студент Михаил Грязнов. Весной 1920 г. он переводится на естественное отделение физико-математического факультета, летом принимает участие в географической экспедиции Томского университета в Минусинский край, руководимой проф. С.И. Руденко. Зимой того же года под руководством своего профессора занимается измерением и описанием добытого экспедицией антропологического материала. В 1921 г. он участвует в этнологической экспедиции в Минусинский край, руководимой С.А. Теплоуховым. С 1 ноября 1921 по 1 мая 1922 г. он даже занимал штатную должность препаратора Томского университета [Архив РЭМ, ф. 2, оп. 3, д. 34, л. 3].

В мае 1922 г. С.И. Руденко и С.А. Теплоухов переезжают в Петроград и занимают здесь важные посты в университете, ЭО РМ и РАИМК. Приехавший с ними студент М. Грязнов возобновляет учебу, но теперь в Петроградском университете на естественном отделении физико-математического факультета и работает регистратором в Институте археологической технологии при РАИМК. Летом 1922 г. принимает участие в работах

этнологической экспедиции РАИМК под руководством проф. Д.А. Золотарева в Рыбинской губернии, а в 1923 г. едет в составе этнологической экспедиции под руководством С.А. Теплоухова вновь в Минусинский край [Архив РЭМ, ф. 2, оп. 3, д. 34, л. 3]. И так каждый год. В 1925 г. он уходит из университета, с 1 января 1926 г. зачисляется научным сотрудником по секции палеоэтнографии ЭО РМ, а в графе специальность он напишет «этнограф-практик без законченного образования» [РО ГРМ, ф. 3, оп. 10, д. 111, л. 83]. Однако профессиональный уровень подготовки М.П. Грязнова был довольно высоким. Уже в 1925 г. он в соавторстве с С.И. Руденко издает «Инструкцию для измерения черепа и костей человека» [Грязнов, Руденко, 1925]. На ее выход выдающийся антрополог В.В. Бунак откликнулся рецензией, в которой писал: «Брошюра может служить полезным пособием для практикума в вузах, хотя все же не исчерпывающим обычной программы» [Бунак, 1926].

С 18 мая по 1 сентября 1925 г. М.П. Грязнов под руководством заведующего ЭО РМ проф. С.И. Руденко работает в составе Алтайской экспедиции, а с 14 мая по 14 июля 1926 г. ведет палеоэтнографические исследования в Тургайской и Уральской областях Казахстана. С 25 июня по 25 сентября 1927 г. он в Барнаульском и Бийском округах и Ойратской автономной области проводит этнологические исследования, палеоэтнографические и фотографические работы, с 1 сентября по 1 октября 1928 г. с теми же целями работает в Туркменистане и южной Бухаре [РО ГРМ, ф. 3, оп. 10, д. 111, л. 3–9]. В 1929 г. совместно с С.И. Руденко ведет раскопки в Пазырыке. В эти годы в различных изданиях он публикует ряд антропологических и палеоэтнографических работ. На одну из них положительно отозвался другой выдающийся антрополог Г.Ф. Дебеч [1928]. В эти годы вместе с ним, в том числе и на ниве антропологии, успешно трудилась и его супруга М.Н. Комарова (1899–1985). Свою специализацию теперь он определяет как палеоэтнограф, а должность – помощник хранителя ЭО РМ. Уже в конце 20-х гг. обнаружился основной крен интересов ученого в сторону археологии, хотя периодически он выступал и как антрополог. Например, он был включен в состав экспертной комиссии, призванной дать заключение о черепках, найденных на о. Голодай, на предмет возможной их принадлежности декабристам. Иногда выходили его статьи, в которых проявлялась его квалификация как антрополога [Грязнов, 1932].

Успешное развитие научной карьеры М.П. Грязнова было прервано его арестом 29 ноября 1933 г. Особое Собрание при коллегии ОГПУ 29 марта и 2 апреля 1934 г. вынесло приговор по ленинградскому делу «Российской национальной партии». Хотя М.П. Грязнов не признал себя виновным, он был приговорен к трем годам ссылки, которую отбывал в Вятке (Кирове) [Ашнин, Алпатов, 1994]. Во время ссылки принимал участие в раскопках захоронений вятских архиереев как археолог и этнограф. 25 декабря 1936 г. М.П. Грязнов был освобожден и получил право вернуться сразу в Ленинград. Уже в 1937 г. он был принят на работу в Государственный Эрмитаж, в ЭО РМ он не вернулся. В ИИМК он был восстановлен в 1939 г.

Именно в ГАИИМК–ИИМК – Институте археологии АН СССР в полной мере реализовалась успешная деятельность М.П. Грязнова как археолога. Теперь он антропологический и этнографический материал привлекал в своих исследованиях уже только попутно. До войны центр археологической науки находился в Ленинграде. После ареста мэтров сибирской археологии С.И. Руденко и С.А. Теплоухова (и гибели последнего) сибирское археологическое поле осталось в известной мере свободным. Антропология после ареста С.И. Руденко, Д.А. Золотарева, Р.П. Митусовой в университете и ГАИМК была практически уничтожена. Антропологический центр в Институте антропологии и этнографии АН СССР был закрыт, в бывшем ЭО РМ – теперь Государственном музее этнографии – шли аресты. Может быть, все это повлияло на решение М.П. Грязнова заняться археологией. К тому же он стал теперь один готовить издание Пазырыка...

И все же его связи со смежными науками, которым он отдал дань в молодости, продолжались и укреплялись. М.П. Грязнов выступал в секторе Сибири Института этнографии АН СССР с докладами, печатал свои работы в этнографических изданиях [Грязнов, 1955; 1957]. По его мнению, население степей в доандроновское время, вероятно, уже в течение длительного периода занималось скотоводством, которое со временем играло в их хозяйстве все большую роль. Однако оно не заменяло охоты и рыболовства. Переворот в хозяйственной деятельности произошел в андроновское время, когда у степных и лесостепных племен Казахстана и Сибири «сложилась своеобразная, этнографически ярко выраженная культура, принципиально отличающаяся от предшествующих ей неолитических культур» (1957, с. 22). Переход к скотоводству и земледелию, отказ от охоты стали возможны после того, как люди научились пользоваться молоком животных. Пастушеско-земледельческое хозяйство потребовало переустройства всего бытового уклада, привело к изменению общественного строя. В дальнейшем

переход от оседлого пастушеско-земледельческого хозяйства андроновской культуры к полукочевому яйлажному хозяйству карасукского и замараевского типов вновь привел к значительным изменениям хозяйственной и общественной жизни людей. В сложении культуры ранних кочевников южной Сибири немаловажную роль играли связи со Средней Азией и Ближним Востоком [Грязнов, 1959].

Используя данные археологии и этнографии, М.П. Грязнов изучал памятники искусства древних племен Алтая скифского времени, преимущественно IV–III вв. до н. э. [Грязнов, 1958]. М.П. Грязнов глубоко интересовался и такой проблемой как этногенез, в частности этногенез народов Южной Сибири и Средней Азии. Так, в ноябре 1956 г. он принял участие в научной сессии, посвященной этногенезу киргизского народа, высказав свои соображения по этому вопросу [Грязнов, 1956]. Признавая несомненной связь этнонимов енисейских и Тяньшаньских киргизов, он предостерег от того, чтобы считать киргизов народом, сложившимся на Енисее, а затем переселившимся на современную территорию. Конечно, население Центральной и Средней Азии и Южной Сибири, начиная со времени ранних кочевников, чаще стало вольно или насильственно перемещаться с одного места на другое, смешиваться в объединениях разноплеменных групп. В связи с этим он предложил исследовать весь период до I тыс. только как историю определенной территории со всеми процессами, протекавшими на ней, а историю собственно киргизского народа следовало бы начинать только с I тыс., когда на территории современной Киргизии в результате крупных этнических перегруппировок стал складываться тот массив населения, из которого в дальнейшем формировался киргизский народ. Этот формирующийся народ, по мнению М.П. Грязнова, по своему происхождению связан с различными племенами и народами Саяно-Алтая, а шире – Центральной Азии. Для углубленного рассмотрения этого процесса он предложил больше привлекать этнографический материал, результаты археологии II тыс., а также данные антропологии, т. е. высказался за комплексное использование материалов смежных наук при этногенетических исследованиях. Именно такой подход и обеспечивал, как показал опыт, наиболее оптимальные результаты.

М.П. Грязнов в своих археологических исследованиях обращался также к проблеме реконструкции общественного строя древнего населения на примере материалов афанасьевской культуры, привлекая для этого этнографические данные [Грязнов, 1999]. Интересна методика, которую он использовал при этом для решения рассматриваемого сюжета. Он восстанавливает со-

циальную жизнь древних племен не из простого перечня различных особенностей могильника, а из всестороннего изучения погребального обряда. Под термином «погребальный обряд» он понимает ряд строго определенных обычаев действий, сопровождающих и оформляющих процесс погребения человека. Погребальный обряд состоит из целого цикла различных действий сородичей и соплеменников умершего с момента его смерти до окончания строительства надмогильного сооружения после предания его земле и даже дальше до совершения последних поминок у могилы. Замечу, что таков же подход этнографов к изучению погребального обряда как исторического источника.

М.П. Грязнов особое внимание обратил на то, что трупы умерших, одетые в шубы, меховые шапки и обувь, располагались в юго-восточной части могилы, а все другие предметы – глиняная посуда, различные каменные, костяные, деревянные, берестяные, кожаные, меховые изделия – в северо-западной части. Все эти вещи помещались вместе, а не разделялись как принадлежавшие тому или иному умершему. Аналогии таких предметов, хранящиеся в этнографических коллекциях, позволили исследователю выделить комплексы этих предметов и определить их функциональное назначение. Как установил он, умерших усаживали на сиденье (а не укладывали в горизонтальном положении), обряжали, после совершения определенных обрядов оставляли в таком положении до дня похорон, которые проводили раз в год или даже раз в несколько лет, захоранивая все останки в одной общей могиле. Над могилой возводили холм, а вокруг нее – каменную ограду. Встречались одиночные могилы (детей и отдельных взрослых), располагавшиеся между холмом и оградой, а иногда и за оградой. Отмечая отсутствие парных захоронений в афанасьевских могильниках, М.П. Грязнов высказывает интересные мысли об особенностях социальной жизни афанасьевцев, основываясь на данных палеодемографии. По его подсчету число взрослых мужчин в афанасьевском обществе значительно превышало число взрослых женщин. Женщины составляли всего лишь 77 % от числа мужчин. В предполагаемом поселке общее население составляло 50 человек, в том числе 18 мужчин и только 12 женщин. На этом основании он закономерно предполагает, что такая ситуация должна была формировать особые нормы брачных отношений. М.П. Грязнов допускает, что афанасьевцы, как и многие современные группы, живущие в высокогорном районе Гималаев, в Тибете, Непале и Индии, выработали свои особые семейно-брачные нормы, при которых допустимо и многомужество (полиандрия). Как бы подчеркивая, что все зависит от конкретных условий, он отмечает, что в Непале полиандрия распространена у одних народов наряду с полигамией у других, их соседей. В доказательство своих пред-

положений М.П. Грязнов приводит сведения о наличии полиандрии, ссылаясь на работы советских исследователей Н.Р. Гусевой, Л.В. Шапошниковой, Ю.И. Журавлева. В полиандрической семье число мужей колеблется от двух до пяти, причем, как правило, такая полиандрия носит братский характер, хотя иногда бывают случаи, что мужья между собой не являются братьями. Основные занятия в этих районах – высокогорное скотоводство и земледелие, отличающиеся примитивными формами ведения. Но М.П. Грязнов заблуждался, когда утверждал, что у народов, практикующих полиандрический брак, в той или иной форме сохраняется матриархальный строй общественной жизни. К сожалению, над ним довлела традиционная схема первичности материнского и вторичности отцовского рода. Это видно из его рассуждений о причинах перехода от матриархального рода к патриархальному, которые он, как и в своей ранней работе 1950 г., видит в переходе от собирательского хозяйства к производящему, в частности к скотоводству, поскольку в скотоводческом хозяйстве резко возрастает роль мужского труда. Однако, как свидетельствуют конкретные этнографические материалы, при одном и том же типе хозяйства у соседних народов могут сосуществовать материнско-родовые и отцовско-родовые нормы. И обычай похищения жен никак не связан с формированием патрилокальной семьи и патриархального рода. Еще раз подчеркну, что его общетеоретические построения базируются на принятых тогда положениях, что в значительной мере вполне объяснимо. Если же не связывать предпринятую им попытку реконструировать формы брака как с материнским, так и с отцовским родом, а видеть в полиандрии особую форму брака, сформировавшуюся в особых природных и социальных условиях, то она вполне имеет право на существование и представляется хорошо обоснованной палеодемографическими данными и вполне согласуется с приводимыми им свидетельствами китайских источников (по Н.Я. Бичурину), Геродота и Страбона. Это выглядит тем более доказательным, когда М.П. Грязнов приводит живые реальные этнографические факты, собиравшим и осмыслившим которых он занимался всю жизнь.

Умение М.П. Грязнова использовать сведения и выводы этнографической науки – это пример всем, кто использует данные смежных наук. Специалисты и сегодня высоко оценивают вклад М.П. Грязнова в антропологию [Гинзбург, 1968]. Археологические культуры он осмысливал этнографически, следуя этнографической методике. Отсюда его стремление понять происхождение этносов, выявить хозяйственный и общественный быт во всей его полноте. Уверен, что изначальное владение им теоретически и практически антропологией и этнографией существенно обогатило его как археолога.



Слева направо: Е.Р. Шнейдер, М.П. Грязнов, С.А. Теплоухов. Конец 20-х гг.



М.П. Грязнов. Новосибирская экспедиция. 1952 – 1954 гг.



М.П. Грязнов, М.Н. Комарова. 1952 – 1954 гг.



Слева направо (стоят): А. Булгаков, М.Н. Комарова, М.П. Грязнов

СИСТЕМА ХРОНОЛОГИИ СИБИРСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ В ТРУДАХ М.П. ГРЯЗНОВА

Периодизация древних культур Южной и Западной Сибири – важнейшая составляющая научного наследия М.П. Грязнова. Открытые им памятники и введенные в науку дефиниции (наименования культур и этапов – хронологических подразделений этих культур) настолько прочно вошли в теорию и практику археологических исследований, что даже трудно представить, как бы развивалось без них отечественное сибириеведение. При этом необходимо иметь в виду, что основная часть научной деятельности М.П. Грязнова протекала в то время, когда в сибирской археологии еще не использовались методы абсолютного датирования, а на первом месте находились иные подходы к определению исторического места культуры (памятника): в первую очередь, естественно-географические и типологические методы, а также стратиграфические наблюдения.

Известно, что исследовательские принципы М.П. Грязнова, во всяком случае на исходных позициях, формировались в русле палеоэтнологической школы [Матющенко, 2001]. По образному выражению А.В. Жука, «М.П. Грязнов стал археологом в среде палеоэтнологов Петрограда» [Жук, 1987, с. 18]. Влияние палеоэтнологической школы выразилось в признании детерминирующего фактора географической среды (отсюда крайне осторожное, если не негативное, отношение к выделению локальных вариантов культуры на одной и той же территории) и в целом эволюционного характера культурогенеза (стремление к выделению переходных этапов; впервые у С.А. Теплоухова – «таштыкский переходный этап»).

Для правильной оценки системы хронологии М.П. Грязнова весьма существенно определение ее исходных теоретических оснований, хотя сам Михаил Петрович высказывался по этому поводу крайне редко. «Культура, как термин археологической классификации, по М.П. Грязнову, это – период в истории конкретного общества». Этап – более дробное хронологическое деление культуры [Грязнов, 1969, с. 21]. «Очевидно, – пишет М.П. Грязнов в одной из своих более поздних работ, – при сравнении памятников разных этапов одной культуры или хронологически близких культур надо сопоставлять не отдельные категории вещей, а их комплексы, и даже не отдельные памятники, а культурно-исторические комплексы, то есть культуры, этапы, представителем которых является данный памятник» [Грязнов, 1975, с. 6].

Данные положения более применимы к первобытности, которой преимущественно занимались палеоэтно-

логи, чем к тем динамичным эпохам, изучению которых посвятил свою жизнь М.П. Грязнов, но в то время, по-видимому, это был единственно возможный путь исторической систематизации всего имеющегося (и постоянно поступающего) археологического материала.

Большое значение имел принцип исследования археологических микрорайонов, впервые блестяще реализованный С.А. Теплоуховым. «Сергей Александрович, – писал М.П. Грязнов, – исходил из предпосылок, хотя и не совсем верных, но полностью оправдавших на первых порах исследования, что если в одной местности находятся могильники, отличающиеся друг от друга по устройству могил, обряду погребения и по типам находимых в них вещей, то значит эти могильники принадлежат разным эпохам или культурам и эти культуры распространены по всей степи» [Грязнов, 1988, с. 72–73]. Та же идея заложена в основе археологических работ М.П. Грязнова у с. Большая Речка на Верхней Оби (раскопки 1946, 1947 и 1949 гг.) и у горы Тепсей на Енисее (основные раскопки 1968–1970 гг.). Полученная культурная стратиграфия исследованных микрорайонов, в контексте «классификации» С.А. Теплоухова [Теплоухов, 1929], образует своеобразный «каркас» системы хронологии М.П. Грязнова. Материалы же Новосибирской экспедиции (раскопки 1952–1954 гг.), включающие не менее яркие, но дискретно расположенные памятники (Ирмень, Ордынское, Старый Шарап и др.), по-видимому, с этой точки зрения представляли для М.П. Грязнова меньший интерес и, возможно, поэтому остались неопубликованными.

Выделение локальных вариантов культуры, соответствующих «определенным естественно-географическим районам» [Грязнов, 1956, с. 40], возможно, по М.П. Грязнову, только в очень широких пределах. Таковы три варианта верхнеобской культуры (барнаульско-бирский, новосибирский и томский); десять вариантов карасукской культуры (в работе 1956 г.) и аналогичным образом выделенные «разные варианты скифо-сибирских культур аржано-черногоровского типа» [Грязнов, 1983]. Что касается абсолютных датировок, то они определялись М.П. Грязновым, главным образом, по кругу вещественных аналогий, но «не отдельных памятников (курганов, могил и пр.), а всего этапа или культуры в целом» [Грязнов, 1975, с. 6–7]. При этом, отмечает М.П. Грязнов, их следует «принимать как приближение к истине, но не твердо установленные. Их придется еще не раз уточнять, поправлять и изменять, по мере того как в других регионах азиатских степей, более близких

к центрам древних цивилизаций, будут открываться и хронологически определяться комплексы, подобные саю-алтайским» [Грязнов, 1979, с. 5].

Полевые исследования М.П. Грязнова, давшие основной фактический материал для создаваемой им периодизации, начались на Горном Алтае. В 1927 г. был раскопан курган Шибе, давший впоследствии название шибинскому этапу. К 1929 г. относятся раскопки 1-го Пазырыкского кургана, определившего название пазырыкского этапа (культуры). Однако в первом варианте периодизации алтайских древностей, опубликованном в 1930 г., они не отражены. По справедливому замечанию Л.С. Марсадолова, в ней еще «можно видеть включение минусинской схемы С.А. Теплоухова и более ранней классификации В.В. Радлова» [Марсадолов, 1996, с. 20]. Это своеобразная «точка отсчета», начало культурно-хронологических построений М. П. Грязнова.

В 1939 г. М.П. Грязновым вводится в науку понятие «ранние кочевники», получившее самое широкое распространение [Савинов, 1995]. Тогда же была предложена новая периодизация культуры ранних кочевников Алтая с выделением трех последовательных этапов: майэмирского, пазырыкского и шибинского [Грязнов, 1939]. В 1947 г. в небольшой статье (текст доклада 1945 г.) было дано обоснование майэмирского этапа как начального периода формирования культуры ранних кочевников [Грязнов, 1947], имевшее принципиально важное значение. Во многом благодаря этому впоследствии быстро и аргументированно были введены в научный оборот такие известные памятники, как Тасмола в Казахстане, поздний Тагискен и Уйгарак на юге Средней Азии, алдыбельская культура в Туве. Касаясь датировки 1-го Пазырыкского кургана, М.П. Грязнов достаточно осторожно писал, что время его сооружения «не может быть определено точно. Ясно лишь, что он принадлежит к той группе памятников на Алтае, которые относятся ко времени с V по III вв. до н. э. Наиболее вероятной датой его (по наличию или отсутствию китайских, ахеменидских и греко-бактрийских элементов. – Д.С.) следует считать IV в. до н. э.» [Грязнов, 1950, с. 43].

С 1946 г. разворачиваются работы у с. Большая Речка (Ближние Елбаны) на Верхней Оби на памятнике, открытом М.П. Грязновым еще в 1925 г. «Ближние Елбаны, – по М.П. Грязнову, – исключительный в своем роде археологический пункт», позволяющий «на примере истории одного древнего поселка...установить детальную периодизацию памятников древних племен с эпохи бронзы по XVII в. н. э.» [Грязнов, 1952, с. 93–94].

При этом необходимо учесть, что если при работе на Енисее и на Горном Алтае М.П. Грязнов имел предшественников в лице С.А. Теплоухова, Д.А. Клеменца и В.В. Радлова, то здесь все начиналось с «белого листа». Положение

усугублялось еще и тем, что при полном отсутствии каких-либо импортных изделий, а также ощутимых влияний со стороны высоких цивилизаций, как это имело место в Пазырыке, основными источниками информации могли стать только самый тщательный типологический анализ, главным образом керамики, и детальное стратиграфические наблюдения.

В результате трехлетних раскопок, проведенных на самом высоком методическом уровне, была создана первая периодизация древних культур Верхней Оби, ставшая основой всей западносибирской археологии. В графическом исполнении она представлена в виде таблиц, сделанных по принципу «теплоуховских», но с иллюстрацией (по каждому этапу) обряда погребения [Грязнов, 1951, рис. 29–30], к сожалению, не вошедших в полное издание материалов экспедиции [Грязнов, 1956]. Помимо андроновской и карасукской культур эпохи бронзы, М.П. Грязновым были выделены и всесторонне проанализированы три новые археологические культуры: для I тыс. до н.э. большебереченская с делением на три этапа – собственно большебереченский, бийский и березовский; для I тыс. н.э. – верхнеобская, также с делением на три этапа – одинцовский, переходный и фоминский; и сросткинская (IX–XI вв.). Датировка и культурная атрибуция фоминского этапа впоследствии были пересмотрены в связи с изучением кулайской культуры Новосибирского [Троицкая, 1979; 1981] и Томского [Чиндина, 1977] Приобья, хотя сам факт прихода населения верхнеобской культуры с севера был установлен М.П. Грязновым. Материалы большебереченского этапа были синхронизированы М.П. Грязновым с майэмирскими на Горном Алтае и баиновскими (здесь впервые появляется это название) на Енисее, а бийского этапа – с пазырыкскими. Погребения карасукской культуры (или эпохи) конца II – начала I тыс. до н.э. были разделены на две группы; из них позднюю, по мнению М.П. Грязнова, «следует ограничить более коротким временем, примерно двумя последними веками, т.е. IX–VIII вв. до н.э.» [Грязнов, 1956, с. 36]. Позже таким же образом будет выделен каменоложский этап карасукской культуры на Енисее.

По материалам работ Красноярской экспедиции (начиная с 1960 г.) М.П. Грязновым была видоизменена периодизация минусинской курганной (теперь уже – тагарской) культуры: четырем выделенным С.А. Теплоуховым этапам были даны собственные наименования по названиям эталонных памятников – баиновский, подгорновский, сарагашенский и тесинский [Грязнов, 1968, с. 187–196]. В этом виде периодизация памятников тагарской культуры, во всяком случае в петербургской (ленинградской) школе сибирской археологии, стала общепринятой. В работах М.П. Грязнова нет специальных

указаний по этому поводу, но совершенно очевидна синхронизация им материалов байновского и подгорновского этапов – с майэмирскими и большеберченскими, сарагашенскими – с пазырыкскими, тесинских – с шинбинскими.

Таким образом, в результате многолетних исследований, помимо того, что «классификация» С.А. Теплоухова была распространена на всю территорию Саяно-Алтайского нагорья, М.П. Грязновым была создана уникальная система хронологии, где каждый из вновь открытых памятников мог занять свое место в пределах выделенных и синхронизированных между собой этапов и археологических культур. По своему замыслу эта система напоминает знаменитую периодическую систему элементов Д.И. Менделеева и, учитывая склонность М.П. Грязнова к естественным наукам, такое сравнение вряд ли можно считать случайным. При этом М.П. Грязнов часто возвращался к предложенным датам, уточнял их, что вообще было свойственно ему как исследователю. Особенно это видно при сравнении работ разных лет в определении рубежей майэмирского и пазырыкского этапов на Горном Алтае, байновского и подгорновского этапов в Минусинской котловине, конца березовского и начала одинцовского этапов на Верхней Оби.

Особо следует сказать о работах ближайших сотрудников М.П. Грязнова, проводивших свои исследования по заложенной им «программе». Так, М.Н. Комарова после выделения большеберченской культуры передатиrowала основную часть погребений Томского могильника [Комарова, 1952], а в 1947 г. по материалам Окунева улуса, давшего впоследствии название окуневской культуре, выделила ранний («окуневский») этап андроновской культуры. Известная монография А.А. Гавриловой о могильнике Кудыргэ является как бы «заполнением» средневековой части истории Горного Алтая, т.е. того, что не было сделано М.П. Грязновым [Гаврилова, 1965]. Показательно, что среди выделенных А.А. Гавриловой «типов могил» два (одинцовский и сrostкинский) непосредственно вытекают из дефиниций М.П. Грязнова, а третий (часовенногорский) является фактическим обоснованием заключительного этапа «классификации» С.А. Теплоухова, замыкая тем самым на уровне монгольского времени минусинскую и алтайскую периодизацию. В 1966 г. В.П. Полторацкая публикует все материалы из раскопок С.А. Теплоухова в Туве [Полторацкая, 1966], как бы «подготавливая почву» для будущего открытия кургана Аржан. Ряд углубленных аналитических исследований предпринят учениками М.П. Грязнова: М.Н. Пшеницыной – по тесинскому этапу [Пшеницына, 1975], Л.С. Марсадаловым – по хронологии курганов Горного Алтая [Марсадалов, 1985], Н.А. Боковенко – по типологии предметов конской упряжи [Боковенко, 1986]. Эти и

многие другие работы существенным образом дополнили и детализировали культурно-исторические построения М.П. Грязнова; в этом плане известное выражение «школа Грязнова» значительно весомее своего первоначального значения.

Раскопки кургана Аржан в 1971–1974 гг. как будто нарушили уже сложившуюся систему хронологии М.П. Грязнова. В связи с этим он должен был констатировать, что «анalogии Аржану противоречивы» и «в существующей периодизации эпохи ранних кочевников в Туве аржанскому этапу (предшествующему майэмирскому на Алтае. – Д.С.) нет места» [Грязнов, 1980, с. 52, 54]. Однако именно эти противоречия и несоответствие с существующей периодизацией (не касаясь здесь вопроса об абсолютной дате Аржана) привели к обоснованию идеи об «аржано – черноговской фазе» в развитии скифо-сибирских культур, положившей начало новому направлению в археологии степной Евразии. В целом, работу М.П. Грязнова по созданию системы хронологии сибирских (а точнее – сибирско-центральноазиатских) древностей можно образно сравнить с известным украшением эпохи бронзы – «кольцо в полтора оборота»: им был пройден полный круг исследований (от Енисея – через Горный Алтай и юг Западной Сибири – снова на Енисей) и на втором, не завершенном витке положено начало изучению глубинных, пока еще во многом не ясных истоков сложения кочевнических культур.

Из сказанного не следует, что надо идеализировать систему хронологии М.П. Грязнова. Существуют другие, бесспорно заслуживающие внимания периодизации, в первую очередь С.В. Киселева, Л.Р. Кызласова, В.Н. Чернецова, В.А. Могильникова. Появилось много новых, отличных от взглядов М.П. Грязнова, точек зрения, что вполне естественно, так как наряду с накоплением материалов изменилась и сама парадигма научного исследования: теперь, особенно с развитием точных методов датирования, главное внимание сосредоточено на выделении культурно-территориальных комплексов (групп памятников, археологических культур и их локальных вариантов). Так, в рамках большеберченской культуры (в данном случае уже надо говорить – общности) выделены каменная культура [Уманский, 1986], каменная и староалейская культуры [Могильников, 1997], быстринская культура [Абдулганеев, Кунгуров, 1996] или три варианта большеберченской культуры [Алехин, 1999]. В периодизации памятников Новосибирского Приобья сохраняются два этапа большеберченской культуры с названиями, данными им М.П. Грязновым – бийский и березовский [Троицкая, Бородовский, 1994]. Указанные различия отражают разное видение авторами взаимодействия различных групп населения – местных и пришлых (условно-сакских) – в пределах хронологичес-

ких границ, установленных М.П. Грязновым. Значительно расширились представления о культурах эпохи бронзы Северного Алтая [Кирюшин, 1991] и локальных вариантах сrostкинской культуры [Савинов, 1984], период бытования которой был совершенно точно определен М.П. Грязновым (IX–XI вв.). Эти и многие другие новации, вполне корректные по отношению к предшествующим разработкам М.П. Грязнова, отражают естественное развитие науки.

Вместе с тем, вряд ли можно согласиться с переименованием выделенных М.П. Грязновым этапов или культур (при фактическом сохранении их содержания). Например, бийкенская культура вместо майэмирской, одинцовская культура вместо верхнеобской, верхнеобская культура (на позднем этапе) вместо сrostкинской и т.д.

Точно также правомерно с позиции хронологии М.П. Грязнова выделение куюмского [Степанова, 1986] и бийкенского (по названию могильника Бийке) типов памятников в рамках майэмирского этапа или культуры; кара-кобинской культуры [Могильников, 1983; Суразаков, 1983] или типа памятников [Кубарев, 1992] в рамках пазырыцкого этапа. Полностью сохраняет свое значение положение М.П. Грязнова об историческом месте памятников шибинского этапа [Савинов, 1978; Кубарев, 1987] даже при условии, что датировка самого кургана Шибе может быть «удревнена» [Баркова, 1978]. Мнение М.П. Грязнова о датировке 1-го Пазырыцкого кургана IV в. до н. э. как будто подтверждается раскопками последних лет на плато Укок. Впрочем, этот вопрос остается наиболее сложным: притом, что цепочка больших Пазырыцких курганов была сооружена всего в течение 50 лет [Марсадолов, 2000], а все курганы пазырыцкого типа на Укоке – в течение 39 лет [Полосьмак, 2001], вполне вероятно, что для каждой такой группы необходима своя микрохронология (в пределах общего периода существования пазырыцкой культуры).

Изучение памятников тагарской культуры пока идет по пути уточнения и конкретизации выделенных М.П. Грязновым этапов, хотя совершенно очевидна необходимость выделения и здесь локальных вариантов культуры (групп или типов памятников). В этой связи уже не может быть принято поэтапное (с точностью до одного века) деление тагарской культуры, предложенное в коллективной монографии о Тепсее [Грязнов, 1979, с. 4] и оказавшееся своего рода «ловушкой» при абсолютизации такого метода [Субботин, 2001]. Что касается памятников лепешкинского этапа, то, вероятно, их можно рассматривать в контексте периодизации М.П. Грязнова, так как именно в это время (III в. до н. э.) аналогичные и очень серьезные изменения происходят и в пазы-

рыцкой культуре [Суразаков, 1988], и во всех других областях скифского мира. Вместе с тем, вряд ли следует принимать как руководство к действию новую хронологию Э.Б. Вадецкой [Вадецкая, 1999], в которой, исходя из возможности сосуществования нескольких культур на территории Минусинской котловины, предлагается омоложение позднего этапа тагарской культуры на два–три столетия, что, естественно, не может пройти безболезненно для периодизации культуры в целом. Предлагаемые общие хронологические рамки тагарской культуры (с VIII–VII вв. до н. э. по IV в. н. э.), помимо того, что они вообще выводят ее за предел скифского времени (со всеми вытекающими из этого обстоятельствами), излишне широки для существования одной культуры. Понимая это, автор ставит вопрос не об одной (тагарской), а о «трех генетически близких, но имеющих свое происхождение культурах» [Вадецкая, 1999, с. 132] – новое прочтение «трех стадий» С.В. Киселева, требующее совершенно иной системы доказательств.

В хронологии памятников эпохи ранних кочевников в настоящее время представлены две противоположные тенденции: одна – это удревнение существующей периодизации (в свете последних работ М.П. Грязнова); другая – ее «омоложение». Отправной точкой архаизации культур скифского типа служат абсолютные даты Аржана (всего 18) по данным карбонового анализа [Марсадолов, 2000, с. 21]. Соответственно, материалы раннескифского времени Алтая датируются IX–VI вв. до н. э. или IX–VII вв. до н. э. В свете ранней даты Аржана по отдельным вещественным параллелям предложено пересмотреть начальную дату развития тагарской культуры [Курочкин, 1993]. Существует мнение о возможности выделения еще более раннего, «скрытого» этапа формирования аржанских традиций [Боковенко, 1994], по сути дела, уводящее их в глубину эпохи бронзы. Этому как будто соответствуют (через незаполненные пока периоды существования карасукской и андроновской культур) весьма ранние даты памятников афанасьевской культуры на Алтае [Кирюшин, 1991] и первые определения по ¹⁴C погребений окуневской культуры [Лазаретов, 1997].

Другая «омолаживающая» тенденция представлена, в основном, работами Н.Л. Членовой, упорно отстаивающей позднюю датировку Аржана – VII–VI вв. до н. э.; практически одновременное бытование ирменской культуры – VIII–VI вв. до н. э. (синхронной памятникам каменоложского этапа на Енисее); длительное, включая время существования пазырыцкой культуры, переживание карасукских бронз [Членова, 1993; 1994; 1997 и др.]. Тот же «вектор» отражают эпизодически возникающая идея поздней датировки Пазырыцких курганов [Чугунов, 1993], разработки Э.Б. Вадецкой и

предлагаемая некоторыми авторами более поздняя от- носительно установленной А.А. Гавриловой дата мо- гильника Кудыргэ.

Ни та, ни другая тенденции пока не образуют систе- мы и как бы «работают на разрыв», оставляя без внима- ния многие промежуточные (или предшествующие) эта- пы культурогенеза. Однако нельзя передатировать целые этапы развития культуры, не затронув хронологическую цепочку в целом. Обращает на себя внимание и то об-

стоятельство, что все ранние датировки даны по резуль- татам радиоуглеродного анализа; а поздние – в основном по вещественным аналогиям из памятников тех, пре- имущественно западных, областей, где радиоуглеродные определения отсутствуют. Каким образом будут пре- одолены эти противоречия должны показать будущие ис- следования, основополагающее значение для которых так или иначе будет иметь система хронологии М.П. Грязнова.

Я.А. ШЕР

М.П. ГРЯЗНОВ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АРХЕОЛОГИИ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ

У М.П. Грязнова было много научных достижений, но большинство из них все же не выходило далеко за рамки археологии Сибири. Результаты раскопок и иссле- дования материалов кургана Аржан оказались чрезвы- чайно важными для археологии всей степной и предгор- ной Евразии [Грязнов, 1978 а; 1978 б; 1979, с. 4–7; 1980; 1983]. Они привели к необходимости внесения суще- ственных корректив в общепринятую в начале 1970-х гг. хронологию скифских памятников на пространстве от Байкала на востоке до Дуная на западе и от Приуралья на севере до Памира на юге. Главная их суть состояла в том, что Аржан – курган, в котором были найдены пред- меты, составляющие «скифскую триаду», – по крайней мере, на 100 лет (на самом деле – больше) древнее са- мых ранних скифских курганов Восточной Европы. Из этого неизбежно следовало, что центром формирования скифских культур на раннем этапе были не южнорус- ские степи и Северный Кавказ, а Центральная Азия. Правда, сам М.П. Грязнов этого никогда не утверждал. Он считал, что «на обширных просторах степной поло- сы Евразии с VIII в. до н. э. синхронно возникают и раз- виваются сходные в общих чертах культуры скифо-си- бирского типа. Но каждая из них вполне самобытна и оригинальна в связи со своим особым историческим прошлым... В условиях широкого межплеменного об- мена, осуществляемого как мирным путем, так и путем войн и грабительских набегов, отдельные культурные приобретения того или иного племени получают всеоб- щее распространение» [Грязнов, 1978 а, с. 18].

Реакция на результаты раскопок Аржана была двой- ственной. Одни целиком поддержали вывод о том, что центральноазиатские курганы с находками вещей скиф- ского типа древнее своих европейских аналогов [Куроч- кин, 1979, с. 22–25; Шер, 1980, с. 239–251; 1980а, с. 338–347; Тереножкин, 1982, с. 267–270 и др.; Марсадолов, 1985; Исмагилов, 1987; 1988; 1993; Шер, 1988; 1992 и

др.]. Другие не приняли этих поправок и остались на прежних позициях, считая центром сложения скифской культуры Северное Причерноморье, Северный Кавказ и прилегающие к ним степные пространства. Вместо ссы- лок на длинный перечень публикаций сторонников вто- рой концепции достаточно указать две наиболее после- довательные и содержащие подробную библиографию [Членова, 1997; Яблонский, 2001, с. 56–65].

К сожалению, авторам этих публикаций не удалось избежать некоторых шагов, не принятых в нормальной научной дискуссии. Прежде всего, они либо не замеча- ют, либо отвергают факты, противоречащие отстаивае- мой концепции. В частности, игнорируется скрупулез- ный типологический анализ предметов конской узды, блестяще выполненный М.П. Грязновым; игнорируют- ся (Л.Т. Яблонский) или отвергаются (Н.Л. Членова) ре- зультаты датировок по ¹⁴C и дендрохронологии; терми- нологические двусмысленности, имеющиеся в любой области археологии, оцениваются как намеренное иска- жение фактов; оппонентам приписываются утверждения, которых они не высказывали и т. д. Вероятно, самым ра- зумным в этой ситуации было бы не замечать таких вы- ступлений и продолжать работать дальше. Но все же есть общепринятые нормы научной этики. Ведь сам М.П. Гряз- нов уже не может ответить на такие выступления.

О терминах «скифы», «скифский мир», «памятники скифского типа» и им подобных

Терминологические неурядицы в разных областях археологии – явление общеизвестное. О нежелательно- сти вносить в археологическую терминологию этноок- рашенные клише неоднократно писали [Каменецкий и др., 1975; Шер, 1978; Клейн, 1980; Гарден, 1983; 1967; 1979]. Но это неизбежная фаза развития научного языка

такой молодой науки, какой является археология. Действительно, применение термина «скифы» к ранним кочевникам Евразии, обитавшим за Уралом и далее на восток, неудачно. Тем более, что для восточных ранних кочевников есть достаточно подробная этнонимика, почерпнутая из древних текстов (саки, массагеты, юзджи, усунь и т.п.). Правда, все эти этнонимы, включая геродотовские, носят скорее собирательный, чем конкретный характер, подобно древнекитайскому «ху» – западные варвары.

С другой стороны, так ли уж опасно соотносить со всеми памятниками раннего железного века евразийских степей понятия «скифский мир», «памятники скифского типа», «скифо-сибирский звериный стиль» и т. д.? Все понимают, что такая терминология складывалась исторически, что это выражения из профессионального научного жаргона. Если пользоваться ими непредвзято, никакой трагедии в этом нет. Если С.И. Руденко одну из своих книг назвал «Горно-Алтайские находки и скифы», любой, даже не профессионал, поймет, что речь в ней идет вовсе не о том, что на Алтае жили скифы, описанные Геродотом. Если М.А. Итина и Л.Т. Яблонский спокойно оперируют понятием «скифский мир» применительно к сакам Приаралья и другим азиатским ранним кочевникам [Итина, Яблонский, 1997, с. 6], никто не заподозрит их в том, что имеются в виду скифы Причерноморья. Б.Б. Пиотровский писал: «...повсюду на бескрайних просторах между Дунаем на западе и Ордосом на востоке, до Китайской стены, обнаруживались памятники скифского стиля... Скифский мир обнаруживался в многочисленных общих элементах культуры и одинаковых предметах... которым были свойственны общие признаки и которые были объединены общим понятием “скифский” в широком смысле» [Пиотровский, 1989, с. 3–10]. Вопросов не возникало.

Кстати, и сама этногеография Геродотовой Скифии еще далека от совершенства. Через 30 лет после статьи М.И. Артамонова (1949) за эту тему с фундаментальным размахом взялся Б.А. Рыбаков. Вышла книга [Рыбаков, 1979], были хвалебные рецензии [Буганов, 1980, с. 256–259; Кругликова, Удальцова, 1980, с. 135–140], но четкой этногеографии как не было, так и нет. Кажется, Яблонский путает причину со следствием: не традиция использовать термин «скифы» для всего конгломерата евразийских ранних кочевников породила представление о «скифо-сибирском историко-культурном единстве», а неясная этногеография скифских племен Восточной Европы породила традицию называть скифами всех ранних кочевников Евразии. Действительно, неудачны понятия «скифо-сибирское историко-культурное единство» и особенно – «цивилизация ранних кочевников Евразии». М.П. Грязнов усматривал в формирова-

нии скифского мира не «единство», а сходство в культуре самобытных племен [1978 а; 1978 б; 1979].

Яблонский обоснованно критикует идею А.И. Мартынова о «скифской цивилизации». Впервые она прозвучала в его докладе на конференции в Кемерово в 1989 г. и уже там была подвергнута критике. И позднее ее критиковали [Зуев, 1991], но Мартынов остался при своем мнении. Конечно, не следует использовать учебник для введения в научный оборот недостаточно обоснованных экзотических теорий. Но рукопись учебника нигде не обсуждалась, а для издательства было достаточно высоких степеней и званий его рецензентов. Кстати, понятие «цивилизация скифов» используется и другими авторами, но почему-то не вызывает критики.

В целом же, действительно, терминологическая неопределенность может усугубить и неопределенность научную. Но это уже проблема не только скифской археологии, а археологии в целом. Еще со времени известного доклада В.А. Городцова (1901) многие мечтают о наведении порядка в археологической номенклатуре. Но пока в нашей литературе в ходу такие термины, как «бабочковидный», «пламевидный», «реповидный» и т. п., трудно перейти от мечтаний к практике.

О датировке Аржана

Любому профессионалу ясно, что за частным вопросом о датировке Аржана – VII–VI вв. до н. э. или VIII–VII вв. до н. э. (или еще на 100 лет раньше) стоит значительно более общая проблема: вся временная и пространственная направленность формирования культуры «скифского типа».

В интерпретации Л.Т. Яблонского вся история с тем, как М.П. Грязнов пришел к датировке Аржана, выглядит для тех, кто знал Грязнова, мягко говоря, смешно. Яблонский пишет: «Украинским коллегам удалось убедить Михаила Петровича, а Михаил Петрович убедил своих учеников в том, что Аржан датируется VIII, если не IX–VIII вв. до н. э. ...Им же была предложена идея существования в это время “аржано-черногоровской” фазы развития скифо-сибирского единства... Традиционная хронология раннесакских древностей (VII–V вв. до н. э.) была сломана при поддержке казахских археологов школы К.А. Акишева... К ним присоединился А.И. Мартынов... Близкую позицию в решении проблемы происхождения скифоидных культур западного ареала степи заняли Б.Ф. Железчиков и Р.Б. Исмагилов» [Яблонский, 2001, с. 57].

Итак, по Яблонскому получается, что ни у самого Грязнова, ни у всех нас не было своих мнений. Грязнова убедили украинцы, а он убедил нас. Не было скрупулезного

типологического анализа предметов конской узды и изображений в зверином стиле на аржанском оленном камне и в художественной бронзе; не было многих ночных раздумий (Грязнов обычно работал по ночам, поскольку до самой кончины жил в большой коммунальной квартире, где днем было шумно), не было давних, но не забытых разговоров с А.А. Иессеном, который в каком-то смысле предсказывал находки чего-то подобного Аржану. Не было выстроенной Грязновым типологической цепочки предметов художественной бронзы, отразивших развитие звериного стиля от Аржана к Тас-Моле, Памирской, Чиликты, Уйгараку, Тагискену и Гумарово. Не было серии радиоуглеродных дат и их сопоставления с разработанной Л.С. Марсадоловым дендрохронологической шкалой. Ничего этого не было, а просто какие-то безмянные украинские археологи убедили Грязнова и все.

Для тех кто более или менее близко знал М.П. Грязнова, прежде всего, совершенно очевидно, что этого тихого и внешне мягкого человека было абсолютно невозможно в чем-то убедить, если он сам не приходил к этому убеждению. Это не было амбициозным упорством. Он неоднократно менял свою точку зрения на те или иные вопросы, если к этому побуждали новые факты (например, датировки энеолитических стел). Но чтобы он какое-то научное положение принял только с чьих бы то ни было слов, такое было немыслимо. Немыслимо было представить, что Грязнов мог в чем-то убеждать своих учеников. Он никогда никому не навязывал своего мнения, а сама его манера общения с учениками выражалась четкой формулой: «инициатива будет исходить от вас, а я буду или соглашаться, или возражать».

Н.Л. Членова, хорошо зная Грязнова и понимая, что подобная аргументация смехотворна, наряду с несколькими статьями, в которых она оспаривает раннюю дату Аржана, издала книгу, где все ее предшествующие доводы суммированы [Членова, 1997].

Весь пафос публикаций Членовой по поводу датировки Аржана сводится к следующему: а) Грязнов и его ученики пытаются доказать, что курган Аржан древнее скифских курганов Причерноморья и Северного Кавказа, т. е. древнее VII–VI до н. э. [Членова, 1997, с. 3]; б) если исходить из «принятого в археологии выделения датированных вещей с узкой датой (в скифскую эпоху это предметы вооружения и конского убора) и сопоставления с участием этих вещей археологических цепочек, последнее звено которых связано с письменными памятниками», то получается, что Аржан не старше скифских курганов [Членова, 1997, с. 4].

В науке работают живые люди со своими особенностями мышления, симпатиями и антипатиями к тем или иным идеям, теориям и концепциям. Они действуют в

условиях острого дефицита информации о том, что происходило тысячи лет назад. Никто не обладает истиной в последней инстанции. Это свойственно любой области знаний. Поэтому приняты общие правила, позволяющие людям с разными подходами понимать друг друга. Одно из них состоит в следовании общепринятым методам познания. Прежде всего это – эксперимент и доказательство. Научный факт в любой области науки не признается таковым, пока он не будет либо продемонстрирован и воспроизведен экспериментально, либо доказан логически. В нашей науке эксперимент используется редко. В основном, действуют логические рассуждения. Но это – в теории.

На практике же во всякой самой «объективной» науке велика роль интуитивной догадки, неизбежны субъективные по своей природе экспертные оценки, тяжелы вериги устоявшихся стереотипов, тем более, если за ними стоят многочисленные публикации, высокие ученые степени и научный авторитет. Авторитет Членовой в сибирской археологии общепризнан, и это, казалось бы, должно было побуждать ее в своих критических изысканиях быть поделкатнее к коллегам, особенно к уже ушедшим из жизни и поэтому лишенным возможности продолжать полемику.

У Членовой давно сформировался свой, в чем-то уникальный метод работы. Хорошее знание внешней формы вещей, начитанность в специальной литературе (что нынче вообще невозможно в России, за исключением Москвы и Петербурга), свободный доступ к архиву полковых отчетов – все это позволяет Членовой выстраивать ряды из сходных по внешнему виду вещей или, наоборот, утверждать, что между теми или иными вещами нет ничего общего. Обилие ссылок на сопоставления предметов создает у читателя почтение к автору, особенно, когда большинство ссылок трудно проверить. В итоге, при таком методе работы (при всех его положительных чертах) можно «доказать» все, что угодно, в зависимости от исходной посылки. Как известно, если посылка истинна, то при соблюдении правил логики, результат тоже получается истинным, но если посылка ложна хотя бы в каком-то малом звене, не спасут никакие правила и результат тоже будет ложным.

Исходная посылка в рассуждениях Членовой состоит из следующих компонентов: а) собственно скифы согласно античным источникам обитали в Северном Причерноморье и на Северном Кавказе; б) Аржан – памятник скифской эпохи, но не собственно скифов; в) Грязнов и его ученики пытаются доказать, что курган Аржан древнее скифских курганов Причерноморья и Северного Кавказа и на этом основании считают прародиной скифов Центральную Азию, т. е. Туву [Членова, 1997, с. 3]; г) радиоуглеродные даты ненадежны, осо-

бенно калиброванные, а привязки дендрошкал к датам по ^{14}C вообще некорректны в силу разных климатов Тувы и Алтай. Первые два компонента для всех очевидны и никем не оспариваются. Но они ничего не говорят ни о дате скифских курганов Восточной Европы, ни о дате Аржана. Третий компонент не соответствует действительности. Ни Грязнов, ни его ученики (кстати, в списке учеников, по крайней мере, пятеро к таковым не относятся) никогда и нигде не утверждали, что Центральная Азия, тем более Тува (этнополитическое образование новейшего времени) были прародиной скифов. Наоборот, Грязнов в своих последних публикациях высказал идею о независимом и синхронном сложении скифских культур в степной Евразии и считал проблему прародины надуманной [Грязнов, 1979, с. 4–7; 1983, с. 3–18].

Четвертый компонент исходной посылки в рассуждениях Членовой вообще лежит за пределами науки. Каждый вправе что-то признавать или не признавать, во что-то верить или не верить. Но это более уместно для заклинаний, чем для научной публикации. Уместно вспомнить, что даже католическая церковь согласилась на радиоуглеродное датирование Туринской плащаницы. Датировки по ^{14}C – научные факты, установленные экспериментальным методом, неоднократно воспроизведенные по одним и тем же образцам в разных лабораториях мира. Конечно, с этими фактами нужно уметь обращаться, как и с любыми другими фактами науки, включая глобальные аналогии, из которых строятся упомянутые выше цепочки. Конечно, бывают ошибки при отборе образцов, при химической обработке и счете импульсов, но в том и состоит преимущество экспериментальных методов, что при воспроизведении ошибки можно обнаружить и устранить. Что касается сопоставлений по дендрошкалам, то и здесь возможны ошибки, но и здесь они проверяемы (в отличие от метода глобальных аналогий). В климатическом отношении Тува и Алтай настолько близки (и сейчас, и 2500 лет назад), что по природным условиям Западная Тува неотличима от Восточного Алтая.

Таким образом оказывается, что не М.П. Грязнов и его ученики пытаются доказать тот или иной возраст Аржана, а сторонники автохтонного происхождения скифской культуры в Причерноморье (и с ними Членова) пытаются доказать, что абсолютные даты Аржана и курганов Горного Алтая, к которым его привязывают, т. е. научные факты, установленные экспериментальным путем в разных лабораториях России и Европы, неверны. Допустим невероятное: имеющиеся даты действительно неверны (грубые ошибки, мистификации, жульничество и т. д.), чего теоретически исключить нельзя. Но тогда можно либо повторно датировать те

же образцы с параллельным построением дендрошкалы, либо датировать другие образцы из тех же памятников. Метод это позволяет, но желательно – за счет сомневаемыхся.

Упомянутый выше, «принятый в археологии», метод построения цепочек из вещей с «узкими датами» и дотягивания этих цепочек до сведений письменных источников практически непроверяем, его верификация невозможна. Он основан не на объективных, измеримых данных, а на мнении автора о сходстве или несходстве тех или иных вещей. Об этом уже много писали, в том числе и в книге, на которую ссылается Членова [Камеицкий и др., 1975]. Например, что такое вещи с «узкими датами»? Членова считает, что «в скифскую эпоху это предметы вооружения и конского убора» [Членова, 1997, с. 4]. Но хорошо известно, что эти предметы относятся к числу наиболее диффузных. Они распространялись по степи и граничащим с ней очагам древних цивилизаций с большой скоростью, например скифские бутероли в Египте [Bernard, 1976, с. 227–246]. Вместе с тем, такие вещи сохраняются дольше других, переходя от поколения к поколению. Сама Членова отмечала подобные «парадоксы» [Членова, Кубарев, 1988, с. 46–55], хотя ничего парадоксального в этом нет. Но допустим, что такая цепочка выстроена и дотянута до «письменных источников», т. е. в данном случае до Причерноморья или Кавказа. Членова снисходительно иронизирует по поводу датировок тагарских курганов: они были бы достоверны, если бы древние люди оставили на оградке кургана надпись: «сей курган сооружен в таком-то году» [Членова, 1997, с. 24]. Но где же те надписи, в которых зафиксированы даты сооружения Келермеса, Мельгуновского кургана, Жаботина или, например, Зивие, который и вовсе оказался не курганом, а случайным набором разновременных вещей разного происхождения [Dyson, 1963; 1966; Muskarella, 1977; Ghirshman, 1979]? Ведь большинство из этих памятников даже не опубликованы полностью.

Возвращаясь к проблеме «происхождения», хотелось бы отметить, что автором на основании конкретных фактов, в основном, связанных с изучением петроглифов, была высказана гипотеза о центральноазиатской (но не тувинской) прародине скифо-сибирского звериного стиля [Шер, 1980; 1980 а; 1987; Sher, 1988; 1992]. Надеюсь, не нужно объяснять, что происхождение звериного стиля – это еще не происхождение племен, обитавших в Геродотовой Скифии. Петроглифы в этом смысле очень интересны своей недвижимостью. Если аналогии тех или иных вещей можно объяснять импортом или обменом, то с петроглифами такое невозможно. На основании ряда сопоставлений мною было показано, что истоки скифо-сибирского звериного стиля уходят не в культуры эпохи

бронзы Восточной Европы и не на Ближний Восток, а в культуры эпохи бронзы и даже энеолита Центральной Азии. В этой связи я не соглашался со своим учителем по вопросу о том, что культуры скифского типа не имеют единой прародины.

В скифской (в широком смысле) археологии еще много загадок и нерешенных проблем. На них-то и следовало бы направить энергию вместо того, чтобы вести трудную и малоперспективную борьбу с очевидными фактами.

А.Я. ЩЕТЕНКО

М.П. ГРЯЗНОВ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ КУЛЬТУР ЭПОХИ БРОНЗЫ ЮЖНОГО ТУРКМЕНИСТАНА

Имя Михаила Петровича Грязнова, выдающегося российского археолога, широко известно в мировой науке как автора фундаментальных книг «Southern Siberia» (1969) и «Der Grosskurgan von Arzan in Tuva, Sudsibirien» (1984).

На родине М.П. Грязнов заслуженно признается главой созданной им многонациональной археологической школы, которую отличает тщательность и новизна методики археологических исследований, широкое привлечение данных антропологии и этнографии в реконструкциях образа жизни древних обществ.

Яркое доказательство тому и его последняя монография «Афанасьевская культура на Енисее», завершенная в 1974 г. и опубликованная в 1999 г. его преданной ученицей М.Н. Пшеницыной. В предисловии она отмечает: «Скрупулезный анализ, широкая эрудиция в области этнографии позволяли М.П. Грязнову извлекать максимальную информацию из каждого артефакта, добытого во время раскопок. Эти качества давали ему возможность восстанавливать образ жизни древних племен в различных экологических и совершенно новых аспектах и с такими подробностями, которые, казалось бы, не были доступны для археологов» [Грязнов 1999, с. 7].

Эта характеристика, как и все предшествующие исследования ученого, позволяет по праву считать М.П. Грязнова одним из пионеров этноархеологии, которая как отдельное научное направление заявила о себе на западе лишь в 60–70-е гг. XX в. «Теоретическими основами для этноархеологии является использование аналогий, полученных путем современных наблюдений, чтобы с их помощью интерпретировать прошлые события и процессы» [Watson, 1979; Щетенко, 2001, с. 67].

Свои первые самостоятельные раскопки М.П. Грязнов начал в 1924 г. у Томска, а в дальнейшем его полевые работы затронули памятники Алтая, Казахстана и Киргизии. В 1928–1929 гг. он вместе с М.В. Воеводским копал усуньские могильники по р. Чу и на южном берегу оз. Иссык-Куль, у Пржевальска. В эти же годы они обследовали многослойное поселение Ак-депе у Ашхабада в Южной Туркмении.

Первые публикации М.П. Грязнова, в том числе и за рубежом [Fürstengräber im Altaigebiet, 1928], «...отличались поразительным сочетанием глубины анализа затрагиваемых проблем и лаконичным изложением» [Аванесова, Кызласов, 1985, с. 277]. Это позволило А.М. Тальгрену уже тогда по достоинству оценить талант 26-летнего исследователя: «...во всяком случае осмелюсь обещать, что он, посвятив себя эпохе бронзы туркестанских степей, имеет все данные, чтобы эту важнейшую во многих отношениях для всего европейского севера область изучить и – ee “Монтелиусом” статью» [Беленицкий, Пшеницына, 1992, с. 6].

Неудивительно поэтому, что именно М.П. Грязнову (вместе с Б.Б. Пиотровским) было доверено написание раздела «Сибирь, Казахстан, Средняя Азия» для макета «Истории СССР» [Грязнов, Пиотровский, 1939]. В те годы археология «эпохи камня и бронзы» Средней Азии представляла собой белое пятно. И лишь на юге Туркменистана имелась основанная на данных стратиграфии схема Р. Пампелли – Г. Шмидта [Pumpelly, 1908]: культуры Анау I–IV – археологическая периодизация истории древних племен подгорной равнины Копетдага, охватывающая период от эпохи медного века до раннего железного века.

Первые коррективы в эту схему внес А.А. Марущенко после раскопок в 1930–1931 гг. верхнего строительного горизонта Ак-депе, который он отнес к ранней стадии (ак-тепинский этап) культуры Анау Ш [Марущенко, 1939, с. 101]. У М.П. Грязнова и его соавтора эта стадия получила наименование Анау IIIA, в отличие от собственно Анау III [Грязнов, Пиотровский, 1939, с. 156]. Как показали последующие исследования, это было оправдано, ибо Анау IIIA являл собой «совершенно четкий и определенный комплекс», соответствующий НМЗ IV [Массон, 1956, с. 311].

Работы Б.А. Куфтина в 1952 г. на Намазга-депе (Намазга) внесли свои коррективы в ранее намеченные схемы. Выделенные на основе керамики из пяти шурфов археологические комплексы получили наименования культур Намазга (НМЗ) I, II, III, IV, V, VI. Ученый выявил

культуру НМЗ III, материалы которой отсутствовали в публикации Р. Пампелли. Культуру Анау III он разделил на три комплекса: Намазга IV, V, VI [Куфтин, 1954, 1956; Массон, 1956]. Культура НМЗ VI относилась к эпохе поздней бронзы и датировалась второй половиной II тыс. до н.э.

После работ В.М. Массона в Мургабском оазисе периодизация первобытной эпохи Южного Туркменистана получает свое завершение. На фоне широких аналогий из синхронных памятников Ближнего и Среднего Востока материалы древней Маргианы увязываются с историей племен мигрантов из подгорной полосы Копетдага и дополняют схему Б.А. Куфтина культурами Яз I–III (эпохи раннего железного века – первые Ахемениды). С тех пор эта шкала (НМЗ I–VI – Яз I–III) становится общепризнанной периодизацией археологических культур юга Средней Азии [Массон, 1959].

Во второй половине XX в. приоритет Южного Туркменистана как древнейшего центра среднеазиатской цивилизации был потеснен открытиями ярких археологических культур эпохи бронзы в древней Бактрии, Маргиане и Согде, для которых были созданы локальные периодизации. Привязка этих схем к цивилизациям древнего Востока осуществлялась через традиционную шкалу намазгинской стратиграфии с сохранением абсолютных датировок середины 50-х гг., основанных на короткой хронологии комплекса Гиссар IIIС. Эти даты вызывали возражения зарубежных археологов, с конца 70-х гг. принимавших участие в раскопках указанных регионов. Уже в 1981 г. в Гарварде на первом советско-американском симпозиуме по археологии Средней Азии и Ближнего Востока выявились «различия ученых двух стран в подходе к хронологии бронзового века Центральной Азии, которые сохраняются и по сей день» [Lamberg-Karlovsky, 1994, р. XXI]. Основной причиной существенных расхождений в датировках (для эпохи поздней бронзы – 500–700 лет) следует считать отсутствие полноценной информации о стратиграфии верхних напластований Намазга (так называемой «вышки» – северной части поселения) и Теккем-депе (Теккем) – двух главных поселений (кроме Анау, Елькен-депе и Улуг-депе), материалы которых характеризуют эту эпоху на юге Туркменистана.

Многолетние раскопки (1968–1988 гг.) «вышки» Намазга и расположенного в 2 км к югу Теккема вносят коррективы в верхнюю часть традиционной схемы намазгинской стратиграфии [Щетенко, 1999, 2000]. Новые материалы позволяют интерпретировать на более широкой основе (архитектура, изделия из камня и металла, способ погребения) комплексы Б.А. Куфтина как остатки археологических культур эпохи поздней бронзы и раннего железного века, имеющих культурно-историчес-

кие связи с земледельческими цивилизациями и степными племенами соседних регионов. Культура НМЗ VI трактуется как ряд последовательных этапов развития, по меньшей мере, двух археологических культур, прерываемых эпохами запустения жизни на поселениях.

В предварительном плане можно выделить семь основных этапов, без учета многочисленных перестроек каждого конкретного архитектурного комплекса.

1-й этап на «вышке» Намазга представлен мусорными слоями, перекрывающими архитектурные остатки позднего периода НМЗ V с характерной керамикой, женскими статуэтками и перегородчатыми печатями.

2-й этап (ранняя НМЗ VI) отмечен сооружением здания на платформы на «вышке» с тремя строительными периодами (Вышка I_{1,3}) и постройкой крепости с обводной стеной и башнями на естественной равнине (два периода Теккем 1 и 2). На нижнем полу одного помещения *in situ* найдены вместе: гончарная светлоангобирванная, краснофоновая и сероглиняная керамика, каменная «колонка» и бронзовый наконечник дротика. Крепость Теккема, возможно, представляет собой один из промежуточных пунктов на пути в Маргиану носителей протобактрийской цивилизации (БМАК по В.И. Саррианиди), демонстрирующих новую идеологию: ни одной женской статуэтки, ни одной перегородчатой печати не найдено ни в 11-метровых напластованиях Теккема, ни в 8-метровых отложениях «вышки», перекрывающих мусорные слои, венчающие комплексы НМЗ V.

3-й этап отмечен переходным периодом (Вышка II) после периода временного запустения поселения. На Теккеме он представлен мусорными слоями с находками алакульской керамики.

4-й этап – поздняя НМЗ VI (Вышка III_{1,2}, Теккем 4, 5) характеризуется планировкой отдельных домохозяйств с дворами, хозяйственными пристройками, жилыми помещениями с квадратными очагами. Для него характерны каменные литейные формы для отливки ножей с круговым упором и круглых пуговиц с литой петелькой, сероглиняная и чернолощенная керамика, полированные каменные булавы и песты. Все эти вещи имеют аналогии в материалах Анау, Улуг-депе, Елькен-депе.

5-й этап (Вышка III₃, Теккем 6) знаменует финал эпохи поздней бронзы, где преобладают красноангобирванная и серая посуда и впервые оказывается керамика саргаринско-алексеевского типа с резной орнаментацией и наклепными рельефными валиками [Щетенко, Кутимов, 1999]. На «вышке» найдены два однолезвийных и один двулезвийный нож с кольцевым упором. В металле появляется оловянная бронза с большой примесью железа как в изделиях, так и в шихте [Егорьков, Щетенко, 1999]. С этим этапом, вероятно, связано и катакомбное погребение Теккема, сероглиняная керамика которого

идентична посуде из погребений Улуг-депе, датируемых переходным этапом от эпохи поздней бронзы к раннему железному веку [Сарианиди, Качурис, 1968, с. 345].

6-й этап (Вышка III₄, Теккем 7) демонстрирует начало раннего железного века с расписной керамикой ручной лепки типа Яз I и первыми железными изделиями: бусы из погребения, раскопанного А.А. Маруценко на «вышке» и железными частями конской упряжи (?), найденными в верхнем слое Теккема.

7-й этап (кроющий слой «вышки», Теккем 8) фиксируется отдельными находками типичной раннеахеменидской керамики: банки, кубки, цилиндроконические сосуды, подставки в виде «песочных часов». Последняя форма в стратиграфическом контексте известна и в Маргиане: на поселении Уч-тепе в третьем ярусе шурфа этот редкий тип подставок найден в комплексе ахеменидской посуды [Сарианиди, 1990, табл. LXV].

Итак, данные стратиграфии Намазга и Теккема (а также южного холма Анау, Елькен-депе, Улуг-депе и Алтын-депе) свидетельствуют, что так называемая культура НМЗ VI в действительности включает в себя ряд этапов эпохи поздней бронзы и раннего железного века.

Датировка ранних комплексов эпохи поздней бронзы определяется их стратиграфическим положением (выше построек времени НМЗ V), а также рядом аналогий месопотамского или индийского импорта (керамика, слоновая кость, металл, фаянс), найденных в погребениях, впущенных в кроющие слои Намазга и Алтын-депе [Щетенок, 2002]. На востоке – это элитное погребение Кветты, кенотаф I Мергарха VIII, поселения Наушаро и Сибри, на западе – погребения (часть именуется «кладами») Гиссара IIIС, Шахдада, Тюренг-Тепе, Шах-Тепе. Фаянс и изделия из слоновой кости, кроме индийских комплексов, широко представлены и в одновременных культурах Палестины (Мегиддо). Круг аналогий, с учетом новой хронологии Гиссара IIIС [Voigt, Dyson, 1992, p. 127], дает рубеж III–II тыс. до н. э., –

начало эпохи поздней бронзы Южного Туркменистана. Эту дату подтверждают соответствия в материалах хронологических схем эпохи поздней бронзы степных культур [Аванесова, 1991] и восточноевропейских древностей [Бочкарев, Дергачев, 2001].

При расчете продолжительности каждого этапа я использовал коэффициенты накопления культурного слоя, разработанные Р. Пампелли [Pumpelly, 1908, p. 51], а также (по совету М.П. Грязнова) полевые наблюдения за процессом (и скоростью) разрушения сырцовой архитектуры и образования культурных наслоений, которые фиксировались в течение 20 лет раскопок. Так называемый период НМЗ VI даже на Намазга занимает значительно больший отрезок времени, чем это представлялось ранее: не менее 700–800 лет. Это подтверждает и серия радиоуглеродных определений из восьмиметровых напластований «вышки» [Долуханов, Този, Щетенок, 1985, с. 122]. Эта репрезентативная серия получает все большее признание за рубежом [Kohl, 1992; Hiebert, 1994, p. 81; Salvatori, 1995; Ke Peng, 1998, p. 579] и, таким образом, значительно сближает хронологические схемы российских и западных исследователей.

Продолжительность этапов «вышки» Намазга и Теккема по стратиграфическим параметрам (мощность культурных слоев, перерывы культурной последовательности, возможно, связанные с климатическими чередованиями периодов увлажнения и засух) и данным серий калиброванных ¹⁴C дат памятников Ближнего Востока и Индостана охватывает все II тыс. до н.э. Это позволяет еще раз вспомнить Михаила Петровича Грязнова и его соавтора Бориса Борисовича Пиотровского, которые на значительно меньших материалах 65 лет назад внесли свой вклад в разработку периодизации культур эпохи бронзы Южного Туркменистана, определив, что собственно культура Анау III «занимает громадный промежуток времени» и «охватывает по-видимому все второе тысячелетие до н.э.» [Грязнов, Пиотровский 1939, с. 156].

Допрос 3. 19-XII-33. Как сошло
 в дела следственных ~~дел~~ в роли: "Уж как,
 было изумительно". На ~~вопрос~~ ~~вопрос~~
 и не в том же смысле, он изумлен
 удивлен, в деле по делу в камеру!
 Нет, как в том же смысле! На этот
 допрос в камере, Присяжка также сообра-
 со и Шко.

Допрос 4. 22-XII-33. Слово следств.
 (она присяжка в том же смысле)
 Слово I дописано ~~уверенно~~ ~~уверенно~~
 Слово ~~здесь~~ к-р. ~~определено~~ и ~~предупрежден~~
 не в смысле ~~предупреждения~~ и ~~буду~~ ~~определен~~ и
 10 по ~~основанию~~ ~~ст. 109~~. В законе
 он ~~определен~~ но в том же ~~смысле~~ и ~~буду~~
 перевести и ~~определено~~ ~~камера~~ и ~~камера~~,
 нет, ~~присяжка~~ и ~~камера~~. Присяжка ~~допрос~~
 сообра со и Шко.

В ~~том же~~ деле и ~~был~~ ~~переведен~~
 в камеру ~~определено~~ ~~законное~~ и ~~камера~~
 нет, ~~присяжка~~ и ~~камера~~.

Допрос 5. 27-I-34. Следственная ~~Присяжка~~
~~слово~~ ~~слово~~ ~~сл~~ ~~сл~~
 и ~~едина~~. До ~~был~~ ~~первый~~ ~~первонач~~
 допрос, с 2 места со ~~до~~ ~~камера~~ ~~камера~~.

Допрос 6. 3-III-34. Следственная ~~Присяжка~~
 она - ~~присяжка~~ и ~~камера~~ ~~вышел~~ в ~~указ~~
 фран. к-р. ~~определено~~ ~~указ~~ и ~~русск~~ ~~камера~~. В ~~присяжке~~
~~допрос~~. ~~был~~ ~~камера~~ ~~камера~~ ~~камера~~
~~камера~~ и ~~камера~~ ~~вопрос~~ и ~~запомнил~~ ~~камера~~
 о ~~камера~~ ~~камера~~ и ~~камера~~. В ~~законона~~ ~~камера~~
 следственная ~~камера~~ ~~камера~~ ~~камера~~ ~~камера~~
~~камера~~ и ~~камера~~ ~~камера~~ и ~~камера~~ ~~камера~~
~~камера~~ и ~~камера~~, ~~камера~~ ~~камера~~ ~~камера~~ ~~камера~~
~~камера~~.

В ~~том же~~ деле и ~~был~~ ~~переведен~~
 в ~~камера~~ ~~камера~~ ~~камера~~ ~~камера~~
~~камера~~ ~~камера~~, а ~~камера~~ ~~камера~~, ~~камера~~
 и ~~камера~~.

ЗАЯВЛЕНИЕ

административно-высланного
Грязнова Михаила Петровича,
проживающего в г. Вятке по
Хлыновской улице дом 42.

Постановлением Особого Совещания при коллегии ОГПУ от 25. III. 1934 г. я признан виновным в преступлении, предусмотренном ст. 58, п. 10, 11 УК, а именно в участии в Фашистской контрреволюционной организации украинских и русских националистов и приговорен к заключению на 3 года в исправительно-трудовых лагерях с заменой этого заключения высылкой по этапу в Горьковский край на тот же срок. Считая это решение Коллегии ОГПУ неправильным, прошу дело по обвинению меня в участии в контрреволюционной организации пересмотреть.

Я никогда не принимал участия ни в каких контрреволюционных организациях, в том числе и в фашистской организации украинских и русских националистов и о существовании этой организации до моего ареста я ничего не знал. Отнесение меня к числу участников к.-р. организации явилось результатом неправильного ведения следствия.

За все время следствия (около 4-х месяцев) меня ни разу не допрашивали по существу предъявленных мне обвинений, кроме одного единственного вопроса – признаю ли я себя виновным в участии в фашистской к.-р. организации украинских и русских националистов? Несмотря на мои многочисленные, как устные, так и письменные заявления следователю с требованием допросить меня по существу предъявленных обвинений – этого сделано не было. Вместо того, чтобы попытаться выяснить, действительно ли я причастен к к.-р. организации или не причастен, следователи, коим поручено было ведение моего дела, всеми доступными средствами добивались от меня признания в том, что я был якобы участником этой к.-р. организации.

Значительная часть допросов не сопровождалась составлением протоколов (из 12 допросов только 6 зафиксированы в протоколах), а в тех случаях, когда протокол и был составлен, то в нем фиксировалась только небольшая часть моих ответов на вопросы следователя. Это давало возможность следователям делать безответственные заявления и применять угрозы. Мне грозили 10 годами заключения, расстрелом, ссылкой в Колывань и т.д. За мое якобы заpiresтельство меня дважды переводили в одиночную камеру, лишали прогулок, книг, газет и передач (в одиночке меня продержали около 4-х месяцев). Грозили посадить меня в карцер на хлеб и воду. Один из

следователей заявил, что «не мытьем, так катаньем мы добьемся вашего признания».

Обвинение меня в участии в к.-р. организации основано на показаниях С.А.Теплоухова, Ф.Фиельструпа, А.А.Миллера и Г.А.Бонч-Осмоловского. Первые двое умерли задолго до окончания следствия. Несмотря на мои настоятельные требования сделать мне очную ставку с Теплоуховым и Фиельstrupом, мне было отказано в этом. Показания Миллера и Бонч-Осмоловского обо мне были даны только в последние дни следствия в виде дополнения к их основным показаниям. Очная ставка с Миллером была обставлена таким образом, что когда Миллеру задавался вопрос обо мне, то мое имя не упоминалось (следователь спросил только: «Вы подтверждаете свои прежние показания?» – и ни слова больше), и я не подозревал, что речь идет обо мне, а мне вопрос был задан в отсутствие Миллера. Следовательно, очная ставка никоим образом не преследовала целей установления истины, а нужна была лишь для того, чтобы получить каким угодно способом «документ», на который следователь мог бы опереться при обвинении меня в участии в к.-р. организации. Показания всех четырех указанных лиц в части, касающейся о моем якобы участии в к.-р. организации, являются ложными, хотя я не знаю причин, побудивших этих лиц дать обо мне ложные показания. Насколько мне известно, ни у кого из них не могло быть повода сведения со мной личных счетов путем оклеветания меня. Этот оговор я могу объяснить только тем, что и к упомянутым лицам были применены те же незаконные приемы ведения следствия, какие применялись и ко мне, и, не желая создавать лишних конфликтов со следователем, они включили и мою фамилию в число участников к.-р. организации.

Для более подробного ознакомления с ходом следствия по моему делу к настоящему заявлению прилагаю краткое описание всех допросов, которым я был подвергнут за время моего пребывания под следствием.

16 октября 1935 г., Вятка

Краткое описание допросов

Так как фамилии следователей, кроме одного, мне не известны, в описании допросов я указывал следователей не по фамилиям, а под условными номерами (I–V).

В описании последних 4-х допросов, производившихся за время с 13 по 15-III-1934, возможны некоторые неточности изложения в деталях допросов и в изложении последовательности отдельных эпизодов допросов, так как в это время я совершенно не имел возможности делать какие-либо записи и все сообщенное мною написано исключительно по памяти (до 9-III-34 я вел короткие записи нелегальным путем).

Допрос 1. 1-XII-1933 (Через день после ареста)

Следователь I задал два вопроса: 1) за что я арестован? и 2) признаю ли я себя виновным в участии в фашистской к.-р. организации украинских националистов? После ответов на первый вопрос – «не знаю», и на второй – «не признаю», следователь более получаса убеждал меня признаться, указывая, что в случае признания себя виновным я буду подвергнут легкому наказанию – ссылке в крупный областной город, а в случае непризнания мне обеспечено 10 лет заключения в лагерях. Кроме того, он добавил: «Таких молодчиков, как вы, не мешает и пострелять. И мы пойдем на это». На мое требование допросить меня о тех преступных действиях, в которых меня обвиняют, следователь ответил отказом под тем предлогом, что раз я по основному вопросу якобы сказал неправду, то моим словам не верят и дальнейший допрос теряет всякий смысл. (Однако это не помешало впоследствии взять с меня ряд свидетельских показаний на допросах, производимых 13 и 15-III-1934.) Протокол допроса составлен не был.

Допрос 2. 11-XII-1933

Следователь II зачитал мне часть показаний С.А. Теплоухова и Ф. А. Фиельструпа, где говорится, что они состояли в фашистской к.-р. организации украинских националистов и что в состав ячейки этой организации среди сотрудников Гос. Русского музея входил и я. На это я категорически возражал и заявил, что показания С.А. Теплоухова и Ф.А. Фиельструпа о моей принадлежности к к.-р. организации являются ложными. Следователь снова долго убеждал признаться в том, что я якобы был членом этой организации и указал, что если я не признаюсь, то меня ждет «десять лет лагерей, а может быть и большее». Наконец, он заявил, что в случае моего дальнейшего якобы заpiresательства меня переведут в одиночную камеру и лишат передач, прогулок, газет и книг. Протокол допроса составлен не был.

Допрос 3. 19-XII-1933

Как только я вошел, следователь I спросил: «Ну как, будете признаваться?». На ответ мой, что я ни в чем не виновен, он истерически закричал: «Ведите его обратно в камеру! Нечего нам с ним возиться!». На этом допрос и кончился. Протокола также составлено не было.

Допрос 4. 22-XII-1933

Снова следователь I долго уговаривал меня признаться в том, что я был якобы членом к.-р. организации, и предупреждал, что в случае непризнания я буду осужден на 10 лет заключения в исправительно-трудовых лагерях. В заключение он сказал, что я как запирающийся буду переведен в одиночную камеру и лишен книг, газет, прогулок и передач. Протокол допроса составлен не был.

В тот же день я был переведен в камеру одиночного заключения и лишен книг, газет, прогулок и передач.

Допрос 5. 27-I-1934

Следователь III предложил мне написать свою краткую биографию, что я и сделал. Это был первый протокол допроса за 2 месяца со дня моего ареста.

Допрос 6. 9-III-1934

Следователь I спросил, признаю ли я себя виновным в участии в фашистской к.-р. организации украинских и русских националистов. В протокол допроса был вписан мой отрицательный ответ на этот вопрос и заполнена анкета о соц. происхождении и пр. В заключение следователь объявил мне об окончании следствия и получил с меня расписку в том, что об окончании следствия мне объявлено.

В тот же день я был переведен в общую камеру с правом получения передач, а также прогулок, газет и книг.

Допрос 7. 11-III-1934

Следователь IV сказал, что допрашивавшие меня его помощники доложили ему о моем якобы упорном запирательстве, но он не допустит такого положения и заставит меня признаться. После этого он около часа понуждал меня признаться в моей якобы вине. Угрожал в случае моего непризнания 10 годами строгой изоляции или даже высшей мерой социальной защиты. «Мы сотрем ваше научное имя, на вашей научной работе вам придется поставить крест. Вы два месяца посидели в одиночке? Так просидите еще четыре, а это не подействует, так посажу вас в карцер, переведу на хлеб и воду. Не ради вас мы добиваемся вашего признания. Семью вашу жалко. По новому закону о паспортизации семьи приговоренных к высшей мере или к 10 годам заключения выселяются из Ленинграда. Сошлем вашу жену и ребенка куда-нибудь в Кольвань. Не мытьем, так катаньем мы добьемся вашего признания». Вот те аргументы, которые должны были меня убедить в необходимости сказать, что я виновен в участии в к.-р. организации. В приведенных словах следователя я всюду упустил вставки нецензурного характера. Всю речь свою следователь сопровождал обильными нецензурными ругательствами, меня он обзывал интеллигентом, толстовцем,

прилагал ко мне различные нецензурные эпитеты. В заключение он заявил, что немедленно же переведет меня за мое якобы заpiresательство в одиночную камеру. Протокол допроса составлен не был. В тот же день я был переведен в камеру одиночного заключения и лишен права прогулок, передач, газет и книг.

Допрос 8. 12-III-1934

Следователь IV опять говорил о необходимости признания, повторяя аргументацию предыдущего допроса. Затем он спросил меня, давно ли я знаком с С. А. Теплоуховым, и какие у меня были с ним отношения, часто ли мы бывали друг у друга. Я ответил, что знаком с Теплоуховым с 1920 г. Он был моим учителем по археологии. Я с ним несколько раз ездил в экспедиции (1920–1923 гг.) в качестве его ближайшего помощника. Отношения у меня с ним до 1931 г. были дружеские, мы часто бывали друг у друга. С зимы 1930–1931 гг. отношения наши резко изменились, и я с ним встречался только по работе. Причиной этому были постоянные конфликты на почве авторства (и он, и я работали в области археологии Сибири). После 1930–1931 гг. он был у меня только один раз, а именно, в октябре или ноябре 1933 г., когда он, ссылаясь на свое одиночество, напросился ко мне в гости. На вопрос следователя, о чем мы с ним говорили во время этого его посещения, я ответил, что точно не помню, что основной темой разговоров как будто были его одинокая холостяцкая жизнь и преимущества семейной жизни. На это следователь заявил, что именно в этот самый вечер Теплоухов и вовлек меня в организацию. «Конечно, это не было формальным вступлением вашим в организацию, но с этого момента и начинается ваша причастность к ней». Это я категорически отверг и просил сделать очную ставку с Теплоуховым. Устроить очную ставку следователь отказался под тем предлогом, что он не позволит мне компрометировать показания Теплоухова. (Таким образом, из слов следователя можно заключить, что Теплоухов вел агитацию и стал якобы меня вовлекать в организацию в октябре или ноябре 1933 г., т.е. тогда, когда организация эта в основном была уже разгромлена, когда второй или третий месяц велось следствие по делу этой организации, но еще не было закончено, а вовлек меня, стало быть, почти накануне своего и моего арестов.) Убедившись, что от меня не добиться признания якобы моей вины, следователь заявил мне, что меня больше на допрос вызывать не будут и что меня ждет наиболее суровый приговор. Протокол допроса составлен не был.

Допрос 9. 13-III-1934

Меня привели в кабинет, где перед столом следователя сидел А. А. Миллер. Следователь II спросил Мил-

лера, знает ли он меня, на что Миллер ответил утвердительно и назвал мое имя и фамилию. Такой же вопрос был задан и мне. Я также назвал фамилию и имя Миллера. Спросив затем Миллера: «Вы подтверждаете свои прежние показания?» – и получив на это утвердительный ответ, следователь дал Миллеру подписать какую-то бумагу и отдал распоряжение отвести его обратно в камеру. После ухода Миллера он спросил меня: «Так вы признаете себя виновным, что состояли в организации?». После моего отрицательного ответа он написал несколько строк на листе бумаги и дал мне его подписать. Это был протокол очной ставки с Миллером, где значилось, что «после взаимного ознакомления гр-н А.А. Миллера и М.П. Грязнова. А.А. Миллеру был задан вопрос: «Подтверждаете ли вы свои прежние показания от... (точную дату я не помню. – М.Г.) о том, что М.П. Грязнов состоял в фашистской к.-р. организации украинских и русских националистов?». Далее в протоколе следует положительный ответ Миллера и его подпись, а затем вопрос ко мне и отрицательный ответ на него. В дополнение к этому следователь дал мне прочесть показания А.А. Миллера, данные последним незадолго до очной ставки, где говорилось, что Миллеру известно от третьих лиц, а также и из личных разговоров, что в состав этой организации входили помимо лиц ранее им указанных, Ф.И. Шмит, Фасмер и М.П. Грязнов. (За вторую фамилию я не ручаюсь, м.б., там была и другая фамилия, я точно не помню.) Таким образом, очная ставка была простой формальностью, так как, когда задавался вопрос Миллеру, я и не подозревал, что речь идет о показаниях обо мне и сидя в стороне не обращал на разговор между следователем и Миллером должного внимания. Когда же задавался мне вопрос, то Миллера в кабинете уже не было и моего ответа он не знает и по сей день.

По возвращении в камеру я тотчас же написал следователю письменный протест против неправильно произведенной очной ставки и неправильно составленного протокола.

Допрос 10. 14-III-1934

Следователь II опять задал вопрос, признаю ли я себя виновным в участии в к.-р. организации, на что опять получил отрицательный ответ. Я устно заявил ему протест против порядка произведенной очной ставки с А.А. Миллером и против неправильно составленного протокола. Следователь на это указал, что он лучше знает, как следует производить очную ставку, и что он не допустит, чтобы я агитировал Миллера. Продолжил допрос следователь V – Гончаров. Он предложил мне охарактеризовать А.А. Миллера, Д.А. Золотарева, Г.А. Бонч-Осмоловского, Бежковича, Малицкого, Нерадовского и, кажется, еще кого-то. Я дал характеристики только

первым трем. Остальных я очень мало знал, так как ни по работе, ни в другой обстановке мне с ними встречаться почти не приходилось. Поэтому я не решился давать характеристику их политических взглядов. В своих показаниях о Г.А. Бонч-Осмоловском я, между прочим, отметил, что знаком я с ним с 1922 г., что за все время нашего знакомства он у меня был один раз, а я у него 2 раза (в протоколе следователь неправильно записал, что мы часто бывали друг у друга. В примечании к протоколу это исправлено), что последнее наше свидание на дому было несколько лет тому назад, и, наконец, что я считал Г.А. Бонч-Осмоловского по его политическим взглядам вполне советским человеком. В протокол допроса записаны мои показания о Д.А. Золотарева, А.А. Миллере и Г.А. Бонч-Осмоловском.

Допрос 11. 14-III-1934

Следователь Гончаров предупредил меня о том, что во время очной ставки я должен отвечать только на его вопросы и ничего другого не говорить, привел к себе в кабинет Г.А. Бонч-Осмоловского. Он задал вопрос Бонч-Осмоловскому: «Подтверждаете ли вы свои показания от 14-III-34 г. (или от 13-III-34, точно не помню. – М.Г.), что М.П. Грязнов состоял в фашистской к.-р. организации украинских и русских националистов, но активной работы в ней не вел?». Бонч-Осмоловский ответил утвердительно. Тогда следователь обратился ко мне с вопросом, признаю ли я себя виновным в участии в этой организации, на что я ответил отрицательно. Услышав мой отрицательный ответ, Бонч-Осмоловский сказал мне увещевающим тоном: «Оставьте формальный метод мышления!» Следователь не остановил Бонч-Осмоловского, но ждал моего ответа на его реплику. Не зная за собой никаких действий, которые можно было бы квалифицировать как участие в к.-р. организации или как принадлежность к какой-то группе лиц, хотя бы и не объединенной в организационные формы, но ведущих или хотя бы замышляющих какие-нибудь контрреволюционные деяния, я снова заявил, что ни в каких контрреволюционных организациях я участия не принимал. После окончания очной ставки и подписания ее протокола следователь задал мне несколько вопросов из моей биографии. Услышав в ответ на один из своих вопросов, что в период времени с 1920 по 1929 гг. я был близко знаком с С. И. Руденко, работал под его руководством, и что С. И. Руденко вместе с окружающей его группой преподавателей Лен. Гос. Университета, научных сотрудников Государственного Русского музея, в том числе и мной, относясь с недоверием, а иногда и враждебно, ко многим мероприятиям Советской власти, проводил политику саботажа этих мероприятий и тем самым опорочил работу по реорганизации музея и Университета,

следователь попросил меня изложить это в письменном виде. Написанные мною показания по этому вопросу следователь перередактировал, причем в составленном им протоколе совершенно выпустил мои показания о том, что в период моей работы под руководством Руденко я не был активным его сподвижником, так как не разделял всех его взглядов и, занимая незначительные должности (препаратор и научный сотрудник II разряда), имел весьма ограниченное поле действий, что начиная с 1930 г. я много работал над своим идеологическим и методологическим перевооружением, что в 1931 г. я публично выступил на методологическом совещании в этнографическом отделе Гос. Русского музея с критикой научных работ С. И. Руденко и отмежевался, как от его методологических установок, так и от своих собственных установок периода до 1930 г., и что вся моя последующая деятельность была направлена к полному овладению марксистско-ленинской методологией и максимальному использованию ее и в области моей практической научно-исследовательской, и музейной работы. На мой протест по поводу пропуска в протоколе этой части показаний, следователь ответил, что в характеристике, данной обо мне учреждениями, в которых я работал, отмечена моя идеологическая и методологическая перестройка и даны хорошие отзывы о моей работе последних лет. В заключение следователь выразил свое удовлетворение по поводу данных мною показаний и заявил, что мой конфликт со следственными органами ликвидирован и что теперь мой режим может быть облегчен.

Со следующего дня я получил разрешение покупать газеты и журналы, меня стали водить на прогулки и я получил разовую передачу, но книг для чтения я так и не получал до конца моего заключения в ДПЗ и дальнейших передач не разрешали до объявления приговора.

Допрос 12. 15-III-1934

Следователь Гончаров просил изложить в письменной форме известные мне случаи вредительских действий работников экспедиций, мои отношения с белоэмигрантом, американским подданным Е.А. Голомштоком и о передаче последнему различных материалов мною и другими известными мне работниками ленинградских научных учреждений. В своих показаниях я описал известные мне случаи злоупотребления со стороны начальника экспедиции С.И. Руденко. О своих отношениях с Голомштоком я указал, что познакомился с ним во время его приезда в Ленинград в 1932 г., когда он собирал материалы о новейших достижениях СССР в области археологии, этнографии и антропологии для опубликования этих материалов в американской печати. Со мной он познакомился в связи с тем, что я был автором известных раскопок замороженных ханских курганов на Алтае.

От директора Гос. Русского музея И.А. Острецова он получил разрешение на получение ряда фотографий, в том числе и с материалов из моих раскопок, и на опубликование краткой информации о раскопках алтайских курганов. Я передал ему фотографии и специально написанную краткую статью размером в 1/2 печатного листа. Все это в пределах уже ранее опубликованного в советской печати. Кроме меня, Голомштоку были переданы фотографические и рукописные материалы С.А. Теплоуховым, сотрудником Музея антропологии и этнографии АН СССР Дыренку и, как говорил Голомшток, еще несколькими лицами, фамилии которых я не помню.

Написанные мною показания следователь несколько раз переработал, значительно сократив их содержание. Показания в последней редакции переписа-

ны моей рукой. В них по настоянию следователя указано, что мотивом передачи мною научных материалов Голомштоку было, между прочим, и наличие у меня остатков враждебного отношения к Советской власти, хотя я всячески протестовал против такого определения мотивов, побудивших меня передать материалы Голомштоку, и следователь видел, что я подписываю протокол, будучи не согласен с этой формулировкой. Он меня и не пытался убедить, что именно эти мотивы мною руководили при передаче материалов, а только заявлял, что показания иного характера ему не нужны, и он их просто уничтожит. Протокол этот я подписал только для того, чтобы сохранить в деле остальную часть показаний этого допроса. Допрос этот был последний.

*Архив ИИМК РАН, ф. 91
Личный архив М.П. Грязнова*

ПАЗЫРЫК

РАЗГОВОР, УСЛЫШАННЫЙ 20 ЛЕТ СПУСТЯ

(магнитофонная запись рассказа Михаила Петровича Грязнова и Марии Николаевны Комаровой от 12 марта 1982 г.)

М.П. Речь пойдет о раскопках 1-го Пазырыкского кургана. Как был избран этот курган? В предшествующие годы С.И. Руденко на Алтае объехал довольно широкие пространства, видел много разных курганов, и в 1927 году он поручил мне, в содружестве с Марьей Николаевной, раскопать курган на реке Арагол в Центральном Алтае. Но, когда мы проехали по этим местам, решили, что удобнее, и, вероятно, интереснее будет работать не на Араголе, а неподалеку, на Урсуле и раскопать курган Шибе. Курган был очень любопытен. Мы обнаружили мерзлую камеру, в которой был похоронен вождь. Целый сезон мы потратили на раскопки очень крупного сооружения. Это была большая яма, заполненная деревянными конструкциями; глубина могилы была 7 м, площадь ее около 50 кв. м.

Раскопки были интересны тем, что теперь было, что сопоставлять с исследованиями на Алтае в прошлом веке В.В. Радлова, но раскопки его были очень примитивны с нашей современной точки зрения, и они не давали ясного представления о памятнике. Стало понятным и то, что это богатые курганы высшей знати ранних кочевников скифского времени. Затем мы поняли, что во всех курганах подобного рода можно будет ожидать мерзлую землю, благодаря особенностям конструкции надмогильного сооружения.

Стало ясно и то, что все эти курганы разграблены, вероятно, еще в древности. Следы разграбления на всех тех курганах, которые нам удалось увидеть, были нами отмечены. С.И. Руденко, побывавший на Восточном Алтае, отметил группу курганов в урочище Пазырык. Это было глухое место вдали от путей сообщения, куда нет проезжих дорог и проехать можно только верхом на лошади. Туда и в древности, по-видимому, мало проезжали, это выше в горах, там, вероятно, будет гарантирована вечная мерзлота, и могилы будут не разграбленные. Но, увидев фотографии этих курганов, я решил, что и эти курганы разграблены, а мерзлота там будет основательнее, так как это выше на 500 м в горах, чем курган Шибе.

И вот, после раскопок в Шибе, когда С.И. Руденко предложил копать Пазырык, я согласился ехать, потому что по моим представлениям заранее знать, какой из курганов будет интереснее, какой будет иметь более ценный в научном отношении материал, мы не можем, это чистая потеря. Можно копать где угодно. Рассчитывать на неразграбленные погребения не приходилось, все курганы были разграблены, в том числе и Пазырыкские.

Однако мы поехали туда. Это было определенное желание С. И. Руденко, а считать, что это хуже, чем что либо другое, у меня данных не было. Неудобство было только в том, что это труднодоступный район, и мало денег. Путь туда был, действительно, труден. До Телецкого озера мы ехали на лошадях. В районе Пазырыкского кургана, как нам сообщил С. И. Руденко, поселений нет, алтайцы для физической работы (земляной) мало приспособлены, и по пути мы набрали бригаду рабочих, которые за нами шли и ехали. Затем пришлось нам плыть по Телецкому озеру на лодках, а багаж у нас был большой (продовольствие, которое нам нужно было, в тех районах отсутствовало), мы должны были закупить муки в расчете и на нашу небольшую группу, и на всех рабочих, а рабочих мы наняли около 30 человек. Груз у нас был большой, мы переплыли на лодках Телецкое озеро – это 90 км и оставалось еще 100 с лишним километров сухим путем. Наш караван состоял, примерно, из трех десятков верховых лошадей.

Местность красивая, приятная, во всех отношениях как будто хороша для жизни, но нет воды, и на весь аймак (район) имелось только две пары колес да четыре оси. Одна ось, то есть пара колес, была приспособлена для перевозки воды из ручья в районный центр, в райсобес, а остальные оставались неиспользованными. Я это говорю, чтобы показать транспортные условия, что передвигаться можно было только на лошадях. У нас не было воды, нам тоже надо бы воду возить, а использовать еще одну ось, чтобы поставить одну бочку для воды, мы не могли, проехать было негде. Надо было проехать 2 км и подняться почти на 200 м. Нам приходилось воду загружать во вьючные сумы, сшитые нами же из брезента, и каждый день верхом возить ее на лошади из ручья. Эта вода нужна и для питья, и для технических нужд.

Земля оказалась мерзлой, все, что в могиле, было тоже мерзлым. Первоначально, пока работы были земляные, было проще, потому что мы ежедневно заготавливали 1–2 куб.м дров и за ночь сжигали их на поверхности раскопа, заваливая его ветвями, чистой землей, чтобы дольше держалось тепло, чтобы протаивало. Протаивало, но не намного. Ну, а когда дошли до бревен, заполнявших могилу, там уже пришлось рубить бревна. Вопреки правилам раскопок мы не обнажали все сооружение, а в самом сооружении рубили большой колодец, если грабители, проникшие туда, прокопали колодец размерами не меньше 1 кв. м, и если сама могила была

площадью 52 кв. м, то наш колодец был немного меньше, примерно 48 кв. м. Итак, бревна прорубили вниз и дошли до погребальной камеры, там было несколько прощел, в камере лед оттаивали горячей водой. Вот теперь нам понадобилась вода и для технических надобностей. У нас непрерывно горел костер, где согревалась вода. Эту воду ковшиками разливали и снова собирали, у нас был обратимый процесс: растаявшую воду мы процеживали и снова грели.

Находки в погребальной камере были очень малочисленные, очень незначительные. Грабители опустошили все, ничего не оставили. Даже медные гвозди, которыми был прибит войлочный ковер к стенам камеры, грабители вырывали, а в тех случаях, когда они не могли вырвать, они отламывали шляпку и ее с остатком стержня забирали. Им важен был металл. По-видимому, одежды погребенного или погребенных, а вероятнее всего, было два погребенных, были украшены большим количеством ценных украшений: разного рода бляшек, покрытых листовым золотом, и для того, чтобы здесь в темноте чего-нибудь не упустить, грабители вытащили трупы наверх, и там снимали с них все. Что было выброшено наверх – не сохранилось. Сохранилось лишь то, что было сброшено назад в грабительский колодец, по-видимому, пяточная кость одного из погребенных и рукоятка бронзового топора. Топор взяли, а рукоятка, похоже, сломалась и была брошена, она хорошо сохранилась.

Камеру мы исследовали. Грабителями из камеры был сделан большой проруб в северную стену, широкий, как дверь. Выбран камень, который заполнял промежуток между внешней и внутренней стеной камеры. Стены камеры были двухслойные: один сруб был покрыт вторым. Затем они стали рубить бревно на север. Прорубили лишь одно бревно, на север получилось одно небольшое окошечко 15–20 x 30 см, но туда они не могли заглянуть, не могли голову просунуть, и на этом они свои работы прекратили. Северная часть осталась неразграбленной. По другим курганам мы знали, что на северной половине должно быть захоронение лошадей. Вот тогда мы разобрали стены, внутреннюю и наружную. Там был сплошной лед, а внизу что-то виднелось, что-то оттаивало, но мы не знали что – похоже, что-то меховое или кожаное. И вот, как-то в обеденный перерыв я подошел к нашему раскопу, посмотрел. Один из рабочих вдруг говорит: «Разрешите посмотреть, что там такое». Я разрешил, он спустился и вдруг слышу дикий крик: «Ухо!». Я не понял, что такое «ухо». «Ухо», – говорит. Пришлось спуститься. Наконец-то, из всего того, что у нас оттаивало, появилась определяемая вещь – настоящее ухо, ухо коня. Дальше можно было ожидать, что будет целая голова, потом оказалось, что это не только голова, а де-

сят верховых коней, сохранившихся с кожей, шкурой, гривами, хвостами, внутренностями и даже непереваренной пищей внутри. Ну, и, конечно, есть 10 седел, а для двух лошадей есть роскошные седла, маски, нахвостники. Вот так, за уши, мы вытянули лошадей, но труд был чрезвычайно большой, ведь мы очень долго поливали лед горячей водой. Ни один предмет нельзя было так сразу открыть, все это было переплетено в тесном промежутке. Отдельные части подтаивали, но вынуть их было невозможно, так как остальное еще во льду, и все надо было растопить. Это был очень длительный труд, и на разборку этой небольшой части могилы, на 10 лошадей, у нас ушло столько же времени, сколько на все другие работы. Но впервые были получены целые седла, сохранившиеся полностью, все до последней нитки. Хотя нет, не до последней нитки! Сначала это было непонятно. Явно многих блях, украшавших их, не доставало. Но грабители туда не проникли, похитить их не могли. Потом все выяснилось. Ведь все это пышное убранство лошадей было бутафорским: это были деревянные бляшки, покрытые золотыми и оловянными пластинками, они были хрупкие. В такой сбруе нельзя было ездить, и даже во время похоронной процессии, относительно короткой, очень многие бляшки поломались, отломались кусочки, приставные головки, части, иногда целые бляхи. Бывали случаи, когда их находили, подбирали кусочки и тонким ремешком привязывали, но не к нужному месту, а так, куда придется. Вот так шли раскопки.

Причем трудности были и другого рода. Я уже в самом начале говорил, что рабочих, привыкших к земляным работам, нельзя было найти. Мы привезли около 30 русских рабочих, с которыми мы познакомиться поближе не могли, на ходу набрали первых попавшихся. А те, видно, решили выгодно заработать. Там других-то работ нет, и они через неделю забастовали, требуя значительного повышения зарплаты. На это мы не могли пойти, а они отказались работать. Дружно все забастовали. Обращение к местным властям не помогло. «Хорошо, – сказали власти, – мы заставим их остаться, заставим их работать. Но это будут уже не рабочие, вам такие не нужны, они ничего не сделают!». И пришлось распротиться с ними. Но власти пообещали подобрать алтайцев, местных рабочих. Все ушли, а через день двое вернулись, и они оставались с нами до конца. А вообще, у нас около недели ушло на то, чтобы укомплектовать бригаду рабочих: из местных, не привычных к работе, не заинтересованных в этом. Но все-таки мы с ними работу провели, курган раскопали до конца.

Трудности были всякого рода. Мы не могли все предусмотреть, хотя бы по части питания. Так, взяли с собой хлеб, муку, еще что-то было. Продукты на месте достать было трудно, в частности сахар. Мы привезли



М.П. Грязнов. Пазырык. 1929 г.

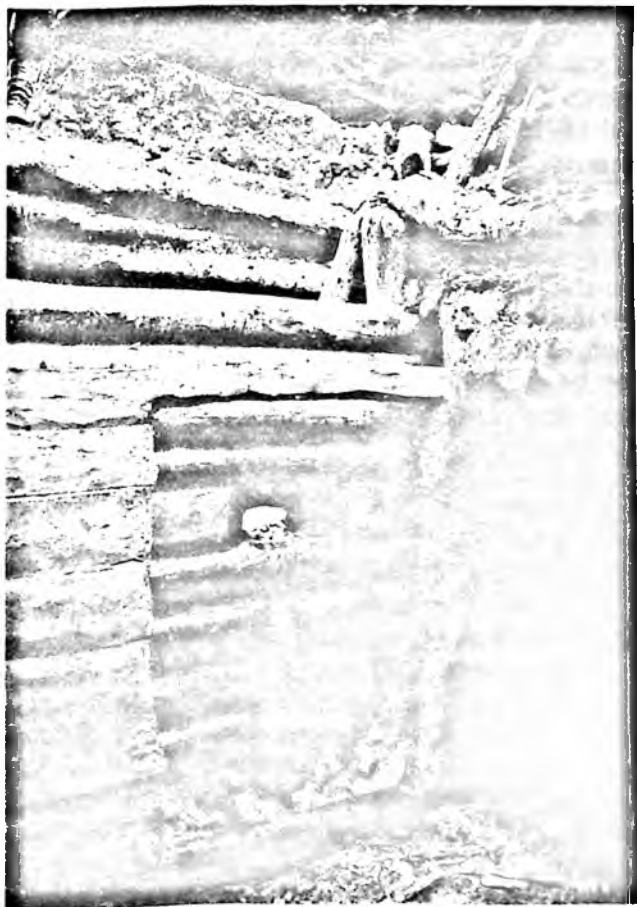
с собой сахар, так как чай все пили с сахаром, мы себя не стесняли, а когда он кончился, пошли покупать в магазин, но, когда в другой раз пошли покупать, то оказалось, купить невозможно, так как мы скупили весь годовой запас сахара. Дело в том, что алтайцы потребляют очень мало сахара, у них кусочка сахара хватает на несколько дней, а мы привыкли по 3 куска в стакан класть, и в результате мы за очень короткий срок съели весь сахар. Ну, а других продуктов там никаких не было: ни хлеба, ни овощей.

Удивительное дело, там не оказалось никаких съедобных грибов, чтобы нам пополнить свой скудный стол. Но, как известно, грибы любые можно есть, если их отварить и отвар вылить. Поэтому мы собирали грибы любого цвета, любой формы, отваривали и ели. Иногда это было ничего, а иногда не очень вкусно, зато хоть

какая-то растительная пища. А так ведь у нас, кроме хлеба и мяса, ничего не было.

М.Н. Клубники было много. Я варила варенье клубничное. А когда только что сваренное варенье в ковшике спустишь в раскоп на лед, оно сразу застывает. Очень вкусное было. Я была главный раскопщик в камере. Конечно, было очень трудно. Мне помогала там одна студентка Доскач, она поехала со мной на практику по антропологии. И у меня были средства на антропологию, 900 рублей, кажется. Но когда я увидела все эти роскошные находки, то эти деньги передала археологической экспедиции, а сама осталась без своей работы по антропологии.

Однажды был случай. Могила была очень глубокая, что-то около 7 метров, кругом мерзлота, северная сторона. Мы со студенткой были внизу, копали, с нами был еще музейный работник Василий Степаныч. Я была в середине. Вдруг слышу, что алтайцы наверху что-то бормочут и кричат: «Ай-яй-яй». Я гляжу, а вся эта масса — земля, камни — на нас стекает. Я схватила одной рукой



Пазырык. Раскопки 1929 г.

одного, другой – другого, оттянула, и мы побежали к противоположной стенке, а здесь это все рухнуло. Если бы это все упало на нас, то нас бы не скоро откопали, так что благополучно обошлось. Вот, и такие были вещи. А потом, действительно, все это выбрасывать снова наверх очень тяжело. А делать надо, раскопки были довольно длительные, оттаивали-то из чайничка все. И никуда не денешься.

Все эти седла, все вещи лежали под лошадьми, а туда трудно было попасть с горячей водой. На каких-то находках были яркие краски, когда мы их вытаскивали, а потом на солнце они теряли свою яркость. А Михаил Петрович наверху расправлял всякие ремешки, рассматривал, как и что, и занимался консервацией.

М.П. Важно было вот что: кожаные изображения, аппликации при высыхании очень сильно деформируются. Поэтому надо было, пока они не изменились, перерисовать на кальку. Ведь если сравнивать, какие эти вещи на рисунках в изданиях и какие сейчас, в натуре, то разница велика. Несмотря на все старания реставраторов, как бы они ни смягчали кожу, они не смогли восстановить натуральный размер, и рисунки в изданиях очень отличаются от натуральных вещей. Правда, есть способ сохранить и привезти в музей вещи в нормальном состоянии, но об этом я узнал потом. Для этого надо было не высушивать, а посолить, посолить обычной поваренной солью. Реставраторы соль могут легко удалить, а потом уже смягчать кожу. Соль только консервирует, но если там будут медные или железные детали, тут соль навредит.

Теперь о лошадях. 10 мумий верховых коней – это, несомненно, огромная ценность. Но как их сохранить? Ведь они очень быстро сгниют. Несколько недель – и это все превратится в бесформенную массу. Везти с собой нам было нельзя. Нас уверили, что зимой здесь хороший санный путь, отсюда сначала едут на юг к Чуйскому тракту, а уже оттуда спокойно можно добраться, куда нужно. И мы решили поступить следующим образом: пока сохранить трупы лошадей здесь, рядом с курганом. Вряд ли их кто-нибудь потревожит. Из тех бревен, что мы вытащили наверх, сделали такую постройку, сруб, но стены не сплошные, а через бревно. Такой сруб продувался очень хорошо. Потом сделали противень, и наши кони будут великолепно продуваться, дождями их не размочит, будут в тени, не будут прогреваться. А поскольку по ночам здесь, когда мы уезжали, была минусовая температура, значит, будут замерзать и должны хорошо сохраниться. Зимой, когда установился санный путь, мы отправили туда нашего молодого сотрудника Василия Степановича Адрианова.

М.Н. Вот раскопки кончились, все запаковали, как могли. Получился довольно большой багаж, а денег у

нас осталось 9 рублей. Хорошо, что у нас наладились добрые отношения с местным населением, с алтайцами. Они очень доброжелательно к нам относились и согласились нас отвезти бесплатно до Телецкого озера – это 90 км. В тот день, когда нам надо было ехать, пригнали лошадей. Нас было 4 человека на лошадях и еще лошади с тюками. Дорога довольно длинная и достаточно тяжелая, ведь в горах, кругом громадные валуны, дорожка вьется между этими валунами. Так доехали до Телецкого озера, поблагодарили их, попрощались, и они поехали обратно. А нам надо переезжать Телецкое озеро, что приблизительно 100 км, и это надо было преодолеть. Поселка здесь нет, но оказался старик, который должен был перевозить две лодки на тот конец озера. Мы сговорились с ним, что он нас перевезет туда вместе с нашим грузом даром. Погрузили весь наш багаж. На одной лодке ехал Михаил Петрович с кем-то и старик этот, а на другой ехала я вместе с Василием Степановичем и Карлом Ивановичем, нашим музейным работником. Меня посадили рулевым. А руль – это весло, тут еще ветер поднялся, волны с гребешками появились. А кругом отвесные голые скалы спускаются прямо в воду, пристать к берегу и переждать непогоду негде, качать стало сильно, опасно стало. Тут Василий Степанович с Карлом Ивановичем кричать на меня стали: «Куда ведешь, куда правишь!». А я, действительно, никогда рулем-то не владела, но все равно пришлось плыть, старалась, чтобы поперек волн лодка шла, а то волной захлестнет и все. Так что, я сама уже соображала. Ну, наконец-то увидели маленькую пристань, где были камни, обвал, и мы туда как-то пристали.

М.П. Это не пристань. Это место называется Али-Экспес (?), что в переводе означает «Медведю не пройти».

М.Н. И на это медвежье место мы сели. А кругом отвесные скалы, но все-таки лодки мы вытащили, и надо было ставить палатки. Веревки пришлось привязывать не к колышкам, а к камням. Постелили там ветки какие-то, мох, чтобы можно было переночевать. Но ночью вдруг на нас водопад обрушился. Оказалось, наверху где-то дождь пошел, и ямки, впадинки переполнились водой, и это все обрушилось ночью на нас. Пришлось нам переселяться. Немного передвинулись. Хорошо, что место было. А то ведь там скалы уходят прямо в воду, голые скалы. По берегам не пройти. На лодках не подойти. Бывали случаи, когда люди просто сидели неделями, а то и погибали, зажатые в таких местах. Так нам рассказывали, по крайней мере. А наверху совершенно дикая тайга. По утрам, как говорят, медведи выходят на берег и ревут.

Ну, на другой день мы проснулись, озеро поутихло, и мы поплыли на другой берег.

В этот день мы и приплыли туда.

Теперь нам надо ехать в Бийск, денег нет, нанимать лошадей не можем. Увидали плоты, решили плыть на плотах. Когда мы туда ехали, я обратила внимание, как мчится Бия, и еще тогда решила, что по реке не поеду, лучше пешком по берегу. Очень быстрая, стремительная река, если какой камень торчит, то такая волна получается, как воротник какой.

Сговорились с плотовщиками. А плоты такие: делается рама из 4-х бревен, внутрь накидываются бревна, а снаружи рамы по бокам кладут еще по одному бревну для страховки. В случае, если плот ударится обо что-то, то наружные бревна примут удар на себя, а рама останется целой. Внутри рамы накидывались поперек сверху 2–3 бревна, чтобы можно было сидеть. Так, на этих бревнах мы и сидели все, и наша поклажа тут же, и находки. Наши большие ценности ехали так легкомысленно! А другого выхода не было.

Еды у нас не осталось. Только муки ржаной немного и соль. Мы разводили костер, дрова-то везде находятся. В какой-то кастрюльке варили кашу, без масла, только посолив, так и ели.

Ну вот, мы отвязали эти плоты и помчались, кругом только мелькало все, настолько быстрая река, но сплавлять лес можно было вот такими плотами. Плыли только днем, ночью останавливались. А чтобы остановиться, приходилось трудно. Там четыре плотовщика с длинными веслами, и они направляют этими веслами плот. А вечером, ближе к ночи они направляют плот ближе к берегу. Один плотовщик выскакивает с канатом на берег и к какому-то дереву, которое заранее приметили, наматывает канат. А бывало и так, завернул канат за дерево, плот плывет и вытаскивает и это дерево. Так один раз и было. И плотовщик, который остался там на берегу, явился только к вечеру на место другой стоянки.

Конечно, страшно было ехать. С нами ехала еще одна женщина, жена кого-то из плотовщиков, с двумя подушками. Так в особо страшных местах она ложилась на подушку, другой закрывала голову и кричала: «Я уже умерла!». Голодные мы были все очень. Вдруг слышится выстрел и недалеко от нас падает подстреленная утка. Конечно, решили, что надо ее выловить. Какими-то палками сумели ее достать. Ощипали и предвкушали роскошный обед. Но, пока мы это делали, случилось вот что. Там есть такое место. Малый и Большой Иконостас, скалы совершенно отвесные. В этом месте река ударяется в Малый Иконостас и под почти прямым углом несется к Большому Иконостасу. И в тот момент, когда мы доставали утку, плотовщики тоже зазевались и близко подплыли к Малому Иконостасу, а там рядом отмель. И это тоже опасно: плот начнет крутить, и бревна могут вылетать, мы можем остаться на отмели про-

сто без плота. Плотовщики тут заорали, засуетились, но все равно оказались не там, где надо, а это грозило нам хорошим ударом о скалы Большого Иконостаса. Так и вышло. Ведь это происходит все в один момент, не успеешь опомниться. Река несется, и вдруг – трах! – плот немного ушел под воду, какие-то бревна выскочили оттуда, и когда появился, плот был не четырехугольным, а ромбом. Так и поехали дальше. Там было много еще приключений, попадали на отмели, тогда мы все сходили с плота и пихали его в воду. Одна отмель была особенно опасна: на мель сели и начало вымывать бревна. Одно за другим выскакивали, а мы считали, когда же, наконец, останется два-три бревна, а мы окажемся в воде. Так мы плыли девять суток, вместо полагающихся двух. У нас было восемь аварий. Путь был труден.

М.П. Путь был закончен. Приехали в Бийск.

М.Н. Поели в каком-то ресторане. Сколько мы наголодались! Пили даже какое-то фруктовое вино. А потом пошли в кино.

М.П. Поехали по железной дороге, ехали больше недели. Привезли все, кони приехали. Все это было в 1929 году. В декабре была совершена поездка за колодой и трупами лошадей. Привезли. Все это было в Этнографическом отделе Русского музея.

Однажды мне говорят, что меня спрашивает какой-то гражданин, ждет меня у подъезда.

Прихожу. Высокий, комплекции Петра I. В странном одеянии каком-то: полувоенном, полуохотничьем, в обмотках, башмаках. «Не узнаете меня?» – спрашивает. Говорю: «Нет». «Вы обещали мне показать лошадей алтайских». Оказывается, это был наш спутник в поезде, и я, видимо, рассказывал о раскопках, о лошадях и обещал ему, если придет, показать. Показал. Человек был очень доволен, он пришел к заключению, что это были очень хорошие кони, хотя специалисты коней осмотрели, сам Беленицкий-Бируля – а это известный маммолог, специалист по млекопитающим, директор Зоологического музея – осмотрел, сказал, что это обычная большеголовая лошадка степная. А этот человек говорит, что это роскошные кони. Тогда он просит: «Разрешите, я позвоню своему другу в Москве, пусть он придет, осмотрит». Через 2–3 дня приехал профессор Витт, наш крупнейший гипполог, специалист по изучению лошадей. А трупы ссохлись, стали небольшими и действительно производили впечатление маленьких большеголовых лошадей. На самом деле это были стройные высокие скакуны типа наших ахалтекинцев с маленькой изящной головой. Но когда труп усох, стал маленьким, голова стала казаться большой. И вот, в течение недели весь персонал нашего ленинградского ипподрома перебивал у нас, смотрел, восторгался этими лошадьми. Затем Витт занялся изучением лошадей и

пришел к интереснейшим заключениям, касающимся не только алтайских курганов и нас сибиряков, но и происхождения верховых скаковых лошадей вообще. И это ему помогло окончательно решить вопрос, который до сих пор был в тумане. Так, английскую скаковую лошадь вели от арабской на основании имеющихся документов. Во время крестовых походов были привезены из Аравии прекрасные скакуны, которые все были записаны, на всех имелись паспорта. Со времен крестовых походов велись родословные на всех английских лошадей. Казалось, все было ясно. Но Витту удалось доказать, что крестоносцы привезли хороших коней, золотисто-рыжих скакунов, хотя и из Аравии, но это были не арабские, а это были кони нынешней Туркмении, среднеазиатские. И эти среднеазиатские кони оказались в скифское время на Алтае. Это были те небесные кони, о которых мечтали китайские императоры, которые доставали этих небесных коней из страны Давань из Средней Азии. Это была интереснейшая находка.

Ну, а кто же был этот человек, похожий на Петра I? Я не знаю его дальнейшую судьбу, но это был большой любитель лошадей, бывший конезаводчик. В эти годы он жил не в Ленинграде, он мог только приезжать ненадолго, был не у дел, был лишен своих скакунов, но продолжал любить их. Дружил с крупнейшими гиппологами-специалистами, такими, как Витт. Вот таковы, примерно, некоторые моменты этой эпопеи.

М.Н. Михаила Петровича тогда не было в Ленинграде. Г.П. Сосновский, сотрудник Эрмитажа, устроил выставку. Это было на Международном конгрессе востоковедения в 1934 году. Много было иностранцев, которые очень заинтересовались этой выставкой, бегали, смот-

рели, жестикулировали, предлагали продать какую-нибудь лошадь. Но Г. П. Сосновский говорил, что раскопщик Михаил Петрович, и решает такие вопросы он. Они все были в восторге от находок. Конечно, замечательные находки, что и говорить!

Через несколько лет В. Равдоникас, заведующий отделом в Эрмитаже, предложил Михаилу Петровичу поехать копать дальше и обещал дать немного денег. Михаил Петрович отказался, сказав, что на такие средства он не может копать. Это можно только грабительски вытащить оттуда вещи и больше ничего. Тогда В. Равдоникас предложил копать С.И. Руденко и тот согласился.

Михаил Петрович начал с С.И. Руденко в Пазырыке копать. Действительно, С.И. Руденко мог только грабительски действовать: когда могилу копал, брал то, что у него в ногах было, и кидал мне наверх, тут и кости попадались. А я сидела и подбирала то, что он вытаскивал из могилы. Это был курган 2. Копали, конечно, скверно. Ему было трудно разобраться при таком способе раскопок. Также были исследованы и другие курганы.

Очень помог разобраться в этой груде вытасненных вещей и костей Михаил Петрович. Он занимался этим, реставрировал, подбирал. Вот, например, коляска. Сначала даже непонятно было, что это такое, а Михаил Петрович собрал ее, она ведь была положена в разобранном виде. А теперь эта колесница (не коляска!) на постоянной выставке в Эрмитаже. Много было таких вещей, которые требовали внимательного отношения к ним. Потом, относительно ковров были расхождения с С.И. Руденко. Вообще, С.И. Руденко был человек смелый и мог взяться за все, что угодно. Ну, спасибо ему за то, что раскопал эти памятники.

*Магнитофонная запись сделана Н.А. Боковенко
и Л. Скалиной 12.03.82 г. на квартире М.П. Грязнова,
В.О., 12 линия.*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Книга I. Часть I

- Аванесова Н.А., Кызласов Л.Р.* Памяти Михаила Петровича Грязнова // СА. 1985. № 4. С. 277.
- Акимова М.С.* Антропология древнего населения Приуралья. М., Наука, 1968. С.84–86.
- Артамонов М.И.* Этногеография Скифии // Уч. Зап. ЛГУ, сер. ист.наук. № 85. Вып. 13. С.129–171.
- Аскарлов А.* Саппалитепа. Ташкент, 1973.
- Аскарлов А.* Древнеземельская культура эпохи бронзы юга Узбекистана. Ташкент, 1977.
- Аскарлов А.А., Абдуллаев Д.Н.* Джаркутан. К проблеме протогородской цивилизации на юге Узбекистана. Ташкент, 1983.
- Аскарлов А.А., Альбаум Л.И.* Поселение Кучуктепа. Ташкент, 1979.
- Ашинин Ф.Д., Алпатов В.М.* Дело славистов. 30-е годы. М., 1994. С. 40, 81, 203.
- Бадер О.Н.* Поселение турбинского типа в Среднем Прикамье // МИА. 1961. М., № 99. С.12,18
- Баратов С.Р.* Культура скотоводов Северной Ферганы в древности и раннем средневековье (По материалам курумов и мутхона) // Автореф.дисс. на соиск. канд. ист. наук. Самарканд, 1999.
- Бартольд В.В.* Отчет о командировке в Туркестан // ИРАИМК. 1922. Т.2. С. 1–22.
- Баруздин Ю.Д., Брыкина Г.А.* Археологические памятники Баткена и Ляйляка. Фрунзе, 1962.
- Батраков В.С.* Характерные черты сельского хозяйства Ферганской долины в период Кокандского ханства // Тр.САГУ. Новая серия. Вып. LXII. Кн.8. Ташкент, 1955.
- Бернштам А.Н.* Историко-археологические очерки Тянь-Шаня и Памиро-Алтая //МИА. М.; Л., 1952. № 26.
- Бернштам А.Н., Морозова А.С.* Отчет о командировке в Среднюю Азию // ПИДО. 1934. № 6. С.100–101.
- Боковенко Н.А.* Проблема реконструкции религиозных систем номадов Центральной Азии в скифскую эпоху // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху. Мат-лы межд.конф. СПб. 1996. С.39–41.
- Буганов В.И.* Рец. на кн.: Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия. Историко-географический анализ // Новый мир. 1980. № 8. С.256–259.
- Бунак В.В.* Рец. на кн.: Грязнов М.П., Руденко С.И. Инструкция для измерения черепа и костей человека // Русский антропологический журнал. 1926. Т.15. Вып. 1–2. С. 101.
- Вайнберг Б.В., Горбунова Н.Г., Мошкова М.Г.* Основные проблемы в изучении памятников древних скотоводов Средней Азии и Казахстана // Археология СССР. Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992. С.21–30.
- Вайнберг Б.И., Левина Л.М.* Черикабадская культура // Низовья Сырдарьи в древности. 1993. Вып 1.
- Винник Д.Ф.* Пятьдесят лет Советской археологии в Киргизии // СА. 1967. № 4. С. 79–92.
- Вишневская В.А.* Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в VII–V вв. до н.э. По материалам Уйгарака // Тр.ХАЭЭ. 1973. Т.8.
- Воеводский М.В., Грязнов М.П.* У-суньские могильники на территории Киргизской ССР // ВДИ. 1938 № 3. С.162–175.
- Воронец М.Э.* Археологические исследования Института истории и археологии и музея истории АН УзССР на территории Ферганы в 1950–1951 гг. // Тр.музея истории АН УзССР. 1954. Вып II. С. 53–84.
- Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984.
- Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В.* Индоевропейцы. Праязык и прародина. Тбилиси, 1984.
- Гарден Ж.-К.* Теоретическая археология. М., 1983.
- Генинг В.Ф.* Могильник Синташты и проблемы ранних индоиранских племен // СА. 1977. № 4.
- Генинг В.Ф.* Очерки по истории советской археологии. У истоков формирования марксистских теоретических основ советской археологии. 20-е – первая половина 30-х гг. Киев, 1982.
- Гинзбург В.В.* Антропология в Академии наук. Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии // Тр. Института этнографии АН СССР. Нов. сер. М., 1968. Т.94. Вып. IV.
- Горбунова Н.Г.* О типах ферганских погребальных памятников первой половины 1 тысячелетия н.э. // АСГЭ. 1981. Вып.22. С.84–89.
- Горбунова Н.Г.* О культуре степной бронзы Ферганы // АСГЭ. 1995. Вып. 32. С.13–30.
- Горбунова Н.Г.* Ферганская тема // Судьба ученого. К 100-летию со дня рождения Б.А. Латынина. Сб. мат-лов. СПб., 2000. С. 39–48.
- Городецкий В.Д.* Археологическое обследование средневековых памятников северного побережья оз. Иссык-Куль в 1925 г. // ИЦБК. 1926. № 6. С. 194–195.
- Городецкий В.Д.* Серебряные сосуды из курганов с. Покровского Пишпекского уезда // Средазкомстарис. Ташкент. 1926. Вып 1. С. 77–91.
- Городцов В.А.* Русская доисторическая керамика // Тр. XI Археологического съезда в Киеве. М., 1901. Т.1.
- Граков Б.Н.* Пережитки матриархата у сарматов // ВДИ. 1947. № 3. С. 100–121.
- Грантовский Э.А.* Проблемы изучения общественно-го строя скифов // ВДИ. 1980. № 4. С. 128–155.

Грязнов М.П. Останки человека из культурного слоя Афонтовой горы II под Красноярском // Бюл. Комиссии по изучению четвертичного периода. М.; Л. 1932. № 8.

Грязнов М.П. Раскопки княжеской могилы на Алтае // Человек. 1928. № 2–4. С. 217–219.

Грязнов М.П. Древние культуры Алтая. Материалы по изучению Сибири. Вып.2. Новосибирск. 1930.

Грязнов М.П. Пазырыкский курган. М.; Л., 1937.

Грязнов М.П. Раскопки на Алтае // СГЭ. 1940.

Грязнов М.П. Некоторые вопросы истории сложения и развития ранних кочевых обществ Казахстана и Южной Сибири // КСИЭ. М., 1955. Вып. 24. С.19–29.

Грязнов М.П. Северный Казахстан в эпоху ранних кочевников // КСИИМК. М., 1956. Вып.61. С.16–18.

Грязнов М.П. Этапы развития хозяйства скотоводческих племен Казахстана и Южной Сибири в эпоху бронзы // КСИЭ. М., 1957. Вып.26. С.21–28.

Грязнов М.П. Связи кочевников Южной Сибири со Средней Азией и Ближним Востоком в 1-м тыс. до н.э. // Мат-лы 2-го совещ. археол. и этногр. Ср.Азии. 29 окт. – 4 ноября 1956 г. Сталинабад. М.;Л., 1959. С. 136–142.

Грязнов М.П. Древнее искусство Алтая. Л., 1958.

Грязнов М.П. Курган как архитектурный памятник // ТД на засед. посвящ. итогам полевых исследований в 1960 г. М., 1961. С.22–25.

Грязнов М.П. Некоторые вопросы хронологии ранних кочевников в связи с материалами кургана Аржан // Ранние кочевники Средней Азии и Казахстана. Л., 1975. С. 6–10.

Грязнов М.П. К вопросу о сложении культур скифо-сибирского типа в связи с открытием кургана Аржан // КСИА. 1978а. Вып. 154.

Грязнов М.П. Саяно-Алтайский олень // Проблемы археологии. Л., 1978б. Вып.2.

Грязнов М.П. О едином процессе развития скифо-сибирских культур // ТД Всес. археол. конф. Кемерово. 1979. С.4–7.

Грязнов М.П. Аржан – царский курган раннескифского времени. Л., 1980.

Грязнов М.П. Аржан. Л., 1980. С.63.

Грязнов М.П. Начальная фаза развития скифо-сибирских культур // Археология Южной Сибири. Кемерово, 1983. С.3–18.

Грязнов М.П. Афанасьевская культура на Енисее. СПб., 1999. С. 55–65.

Грязнов М.П., Маннай-Оол М.Х. Курган Аржан – могила «царя» раннескифского времени // УЗТНИИЯЛИ. Кызыл, 1973. Вып. XVI. С. 191–206.

Грязнов М.П., Маннай-Оол М.Х. Курган Аржан по раскопкам 1973–1974 гг. // УЗТНИИЯЛИ. Кызыл, 1975. Вып. XVII. С.185–197.

Грязнов М.П., Руденко С.И. Инструкция для измерения черепа и костей человека // Мат-лы по методологии археол. технологии. Л., 1925. Вып. V.

Данченко Е.М. О некоторых аспектах изучения саргатской культуры // Взаимодействие саргатских племен с внешним миром. Сб. науч.ст. Омск, 1998. С. 23–25.

Данченко Е.М. Некоторые аспекты междисциплинарного изучения древних антропоморфных изображений Западной Сибири // Интеграция археологических и этнографических исследований. Сб.науч.тр. Омск, 1999. С. 98–103.

Динцес Л.А. Изучение русского народного искусства и наследие Н.Я.Марра // КСИИМК. 1946. Вып.12.

Дьяконов И.М. Языки древней Передней Азии. М., 1967.

Заднепровский Ю.А. Археологическое изучение котловины Иссык-Куля и значение исследования П.П. Иванова // ТИИАН КиргССР. 1957. Вып. 3. С.109–116.

Заднепровский Ю.А. Древнеземельская культура Ферганы // МИА. 1962. № 118.

Заднепровский Ю.А. Исследования древнего Касона // АО (1983). М., 1985. С. 530–531.

Заднепровский Ю.А. Археологические памятники южных районов Ошской области. Фрунзе, 1960.

Заднепровский Ю.А. Сто лет археологического изучения Ферганы // ИБ МАИКЦА. М., 1986. Вып.10. С. 75–82.

Заднепровский Ю.А. Ранние кочевники Кетмень-Тюбе, Ферганы и Алая // Археология СССР. Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992. С.87–95.

Заднепровский Ю.А., Бушков В.И. Предметы кочевников эпохи раннего железа в Эйлатанском районе Ферганы // СА. 1998. № 3. С. 136–141.

Зуев В.Ю. К вопросу о «скифской цивилизации» // Древние культуры и археологические изыскания. Мат-лы к пленуму ИИМК 26–28 ноября 1991 г. СПб., 1991.

Иванов П.П. К вопросу о древностях в верховьях Таласа // К 50-летию научн. и обществ. деят-ти С.Ф. Ольденбурга. Л., 1934. С. 241–251.

Иванов П.П. Материалы по археологии котловины Иссык-Куля // ТИИАН КиргССР. 1957. Вып 3. С. 65–107.

Исаков А.И. Саразм: К вопросу становления раннеземледельческой культуры Зеравшанской долины (раскопки 1977–1983 гг.). Душанбе, 1991.

Исмагилов Р.Б. О локализации некоторых племен «Истории» Геродота // Ист. чтения памяти М.П. Грязнова. ТД науч. конф. Омск, 1987. С. 175–178.

Исмагилов Р.Б. Погребение Большого Гумаровского кургана в Южном Приуралье и проблема происхождения скифской культуры // АС. 1988. № 29.

Исмагилов Р.Б. Ранние скифы и Центральная Азия // Дисс. в форме науч. докл. СПб., 1993.

История Киргизской ССР. В 5-ти томах. Фрунзе, 1984. Т.1. 798 с.; то же, 1986. Т. 3. С. 652.

История таджикского народа. М., Наука, 1963. Т. 1.; то же, Душанбе, 1998. Т. 1.

Кадыров Э.Б. Древние погребальные памятники Ферганы как исторический источник // Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. Ташкент, 1975.

Каменецкий И.С., Маршак Б.И., Шер Я.А. Анализ археологических источников. М., 1975.

Клейн Л.С. Феномен советской археологии. СПб., 1993.

Клейн Л.С. Структура археологической теории // *Вопр. философии.* 1980, № 3.

Кожемяко П.Н. Раннесредневековые города и поселения Чуйской долины. Фрунзе, 1959. С. 188.

Коробкова Г.Ф. Орудия труда и хозяйство неолитических племен Средней Азии // *МИА.* 1969. № 158.

Кругликова И.Т., Удальцова З.В. Рец. на кн.: Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия. Историко-географический анализ. М., 1979 // *Вопр. истории.* 1980. № 4. С. 135–140.

Кузьмина Е.Е. Андроновская культура. Вып. 1. Памятники западных областей // *САИ.* 1966а. Вып. 2–3.

Кузьмина Е.Е. Металлические изделия эпохи энеолита и бронзового века Средней Азии // *САИ.* 1966б. Вып. ВЧ-9.

Кузьмина Е.Е. В стране Кавата и Афрасиаба. М., Наука, 1977.

Кузьмина Е.Е. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня. Фрунзе, 1986.

Курочкин Г.Н. Богатые курганы скифской знати на юге Сибири. СПб., 1993.

Курочкин Г.Н. Гипотетическая реконструкция погребального обряда скифских царей VIII–VII вв. до н.э. и курган Аржан (к проблеме происхождения скифов) // *ТД Всесоюз. археол. конф. Кемерово, 1979.* С. 22–25.

Латынин Б.А., Оболдуева Т.Г. Исфаринские курганы (к вопросу о системе хозяйства древней Ферганы) // *КСИИМК.* 1959. Вып. 76. С. 17–27.

Лебедев Г.С. История отечественной археологии. 1700–1917 гг. СПб., 1992.

Левина Л.М. Этнокультурная история Восточного Приаралья. М., 1966.

Лисицына Г.Н. Орошаемое земледелие эпохи энеолита на юге Туркмении. М., Наука, 1965.

Лисицына Г.Н. Становление и развитие орошаемого земледелия в Южной Туркмении. М., Наука, 1978.

Литвинский Б.А. Древние кочевники «Крыши мира». М., 1972.

Литвинский Б.А. Курганы и курумы западной Ферганы. М., 1972.

Литвинский Б.А., Окладников А.П., Ранов В.А. Древности Кайраккумов. Душанбе, 1962.

Лукин Б.В. Средняя Азия в научном наследии отечественного востоковедения: *Историогр. очерк.* Ташкент, 1979.

Луппов П.Н. История города Вятки. Киров, 1958.

Макаров Л.Д. Вклад М.П. Грязнова в изучение исторического прошлого Вятской земли // *Ист. чт. памяти М.П. Грязнова.* Омск, 1987. С. 30–32.

Макаров Л.Д. Грязнов Михаил Петрович // *Энциклопедия земли Вятской.* Киров, 1996. Т.6.

Макаров Л.Д. М.П. Грязнов и Вятка: Мат-лы архива ИИМК РАН // *Архивы и общества: история, современность, перспективы.* Мат-лы науч.-практич. конф., посвящ. 75-летию гос. архивных органов Удм. респ.. Ижевск, 1998. С. 36–41.

Макаров Л.Д. Демографические материалы М.П. Грязнова по истории феодальной Вятки // *XIV Уральское археол. совещ. (21–24 апреля 1999 г.).* ТД. Челябинск, 1999. С. 175–176.

Макаров Л.Д. Вятские материалы М.П. Грязнова в архиве ИИМК РАН // 120 лет археологии восточного склона Урала. Первые чт. памяти В.Ф. Генинга: Мат-лы науч. конф. Екатеринбург, 1999. С. 39–42.

Макаров Л.Д. История археологического изучения города Вятки (Хлынова) // *Европейский Север в культурно-историческом процессе (К 625-летию города Кирова).* Мат-лы межд. конф. Киров, 1999. С. 53–56.

Мандельштам А.М. Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане // *МИА.* 1968. № 145.

Марсадолов Л.С. Хронология курганов Алтая (VIII–IV вв. до н.э.) // Автореф. канд. дисс. Л., 1985.

Марсадолов Л.С. Археологические памятники IX–III веков до н.э. горных районов Алтая как культурно-исторический источник (феномен пазырькской культуры) // Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. д-ра культурологии. СПб., 2000.

Мартинов А.И. Археология. М., 1996.

Масимов И.С. Керамическое производство эпохи бронзы в Южном Туркменистане. Ашхабад, 1976.

Массон В.М. Древнеземледельческая культура Маргианы // *МИА.* 1959. № 73. М.; Л., 1959.

Массон В.М. Энеолит южных областей Средней Азии // *САИ.* 1962. Вып. В3-8. Ч. 2.

Массон В.М. Средняя Азия и Древний Восток. М.; Л., 1964.

Массон В.М. Страна тысячи городов. М., 1966.

Массон В.М. Поселение Джейтун (проблема становления производящей экономики) // *МИА.* 1971. № 180.

Массон В.М. Новая цивилизация древневосточного типа на юге Средней Азии // *Памятники культуры. Новые открытия.* М., 1975.

Массон В.М. Экономика и социальный строй древних обществ. Л., 1976.

Массон В.М. Алтын-депе // *Тр. ЮТАКЭ.* Т. XVIII. Л., Наука, 1984.

Массон М.Е. Из результатов поездки в долину Таласа

для выяснения истории горной промышленности // БСАРГРУ. 1930. № 2. С. 35–37.

Массон М.Е. Экспедиция археологического надзора на строительстве Большого ферганского канала // КСИИМК. 1940. Вып. 4. С. 52–54.

Массон В.М., Сарияниди В.И. Среднеазиатская терракота эпохи бронзы. М., 1973.

Матбабаев Б.Х. Одиночные погребения могильника Мунчактепа (К вопросу изучения погребальных сооружений Северной Ферганы первой половины – середины тысячелетия н.э.) // ИМКУ. Ташкент, 1996. Вып. 27. С. 61–76.

Матющенко В.И. История археологических исследований Сибири (до конца 1930-х гг.). Омск, 1992.

Мокрынин В.П., Лубо-Лесниченко Е.И., Шер Я.А. Работы Южно-Киргизского отряда // АО (1976). М., 1977.

Негматов Н.Н. Таджикский феномен: история и теория. Ташкент, 1997.

Нефедова Е.С., Переводчикова Е.В., Свиридова А.В. Материалы к биографии Б.Н. Гракова // Граковские чт. на каф. археол. МГУ. 1989–1990 гг. Мат-лы сем. по скифо-сармат. археол. М., 1992.

Оболдуева Т.Г. Отчет о работе первого отряда археологической экспедиции на строительстве Большого ферганского канала // ТИИА АН УзССР. Ташкент, 1951. Т. 4. С. 7–40.

Пиотровский Б.Б. Скифы и Урарту // ВДИ. 1989. № 4. С. 3–10.

Писаревский Н.П. Изучение истории ранних скотоводческих обществ степи и лесостепи Евразии в советской археологии середины 20 – первой половины 30-х гг. // Дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. Кемерово, 1989.

Прахин А.Д. История советской археологии (1917–середина 30-х гг.). Воронеж, 1986.

Пьянков И.В. Ариана по свидетельствам древних авторов // Восток. 1995а. № 1.

Пьянков И.В. Некоторые вопросы этнической истории древней Средней Азии // Восток. 1995б, № 6.

Пьянкова Л.Т. Древние скотоводы Южного Таджикистана (по материалам могильника эпохи бронзы «Тигровая Балка»). Душанбе: Дониш. 1989.

Пьянкова Л.Т. Энеолит и бронзовый век // История таджикского народа. Т. 1. Душанбе, 1998. С. 124–200.

Ранние земледельцы. Этнографические очерки. Л., Наука, 1980.

Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия. Историко-географический анализ. М., 1979.

Рясик И.О., Узлов А.Р., Никольский К.А. и др. Краниологическая характеристика черепов из средневекового Усть-Чепецкого могильника // Религия и церковь в культ.-ист. развитии Русского Севера (к 450-летию преподобного Трифона, вятского чудотворца). Мат-лы Междунар. науч. конф. Киров, 1996. Т. 1. С. 159–162.

Савинов Д.Г. Реконструкция погребального комплекса кургана Аржан, его компоненты и аналогии // Северная Евразия от древности до средневековья. СПб., 1992.

Сайко Э.В. Становление города как производственного центра. Душанбе, 1973.

Салтовская Е.Д. О погребениях ранних скотоводов в северо-западной Фергане // КСИА. 1978. Вып. 154. С. 95–99.

Сарияниди В.И. Энеолитическое поселение Геоксюр // Тр. ЮТАКЭ. Ашхабад, 1969. Т. 10.

Сарияниди В.И. Культовые здания поселений анауской культуры // СА. 1962. № 1.

Сарияниди В.И. Памятники позднего энеолита Юго-Восточной Туркмении // САИ. 1965. Вып. ВЗ-8. Ч. 4.

Сарияниди В.И. Исследования памятников Дашлинского оазиса // Древняя Бактрия. М., 1976.

Сарияниди В.И. Древние земледельцы Афганистана. Материалы Советско-Афганской экспедиции 1969–1974 гг. М., Наука, 1977.

Сарияниди В.И. Древности страны Маргуш. Ашхабад, 1990.

Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е. Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических открытий. М., Наука. 1977.

Сорокин С.С. Культура древних скотоводов в предгорьях Ферганы // Автореф. дисс. канд. ист. наук. Л., 1958.

Сорокин С.С. Боркорбазский могильник (Южная Фергана, бассейн реки Сох) // ТГЭ. Л., 1961. Т. V. С. 117–160.

Спришевский В.И. Некоторые находки из мугхона в собрании музея истории // Тр. музея истории АН УзССР. 1956. Вып. III. С. 53–73.

Тереножкин А.И. Археологические разведки в Чуйской долине в 1929 г. // ПИДО. 1935. № 5–6. С. 138–150.

Тереножкин А.И. К историко-археологическому изучению Казахстана и Киргизии // ВДИ. 1938. № 1. С. 204–215.

Тереножкин А.И. Рец. на кн.: М.П. Грязнов. Аржан: царский курган раннескифского времени // СА. 1982. № 3. С. 267–270.

Толстов С.П. Низовье Амударьи, Сарыкамыш, Узбой. История формирования и заселения // Мат-лы Хорезмской экспедиции. М., 1960. Вып. 3.

Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Верхнеобская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск, 1998. С. 152.

Умняков И.И. Археологическая и ремонтно-реставрационная работа Средазкомстариса в 1927 году // Средазкомстарис. 1928. Вып. 3. С. 265–275.

Фаттахов Р.М. О состоянии антропологического решения проблемы происхождения удмуртского народа // Мат-лы по этногенезу удмуртов. Ижевск, 1982. С. 72–80.

- Формозов А.А. Русские археологи и политические репрессии 1920–1940-х гг. // РА. 1998. № 3. С. 191–200.
- Формозов А.А. Русские археологи до и после революции. М., 1995.
- Хлопин И.Н. Энеолит южных областей Средней Азии // САИ. 1963а. Вып. В3–8. Ч. 1.
- Хлопин И.Н. Памятники раннего энеолита Южной Туркмении // САИ. 1963б. Вып. В3–8. Ч. 1.
- Хлопин И.Н. Геокюрская группа поселений эпохи энеолита. М.; Л., 1964.
- Хлопин И.Н. Памятники развитого энеолита Юго-Восточной Туркмении // САИ. 1969. Вып. В3–8. Ч.3.
- Хлопин И.Н. Юго-Западная Туркмения в эпоху бронзы. Л., 1983а.
- Хлопин И.Н. Историческая география южных областей Средней Азии. Ашхабад, 1983б.
- Ходжаева Н.Д. Историческая география Центральной Азии по данным Авесты и пехлевийских источников. Душанбе, 2000.
- Цвибак М.М. К плану археологических работ Среднеазиатского стародавнего периода // Среднеазиатский стародавний период. 1928. Вып. 3. С. 262–264.
- Чернецов В.Н. Бронза усть-полуйского времени. Древняя история Нижнего Приобья // МИА. М., 1953. № 35. С. 121–178.
- Чернецов В.Н. Усть-полуйское время в Приобье // Там же, с. 221–241.
- Чернецов В.Н. Нижнее Приобье в I тыс. н.э. Культура древних племен Приуралья и Западной Сибири // МИА. 1957. № 58. С. 136–245.
- Членова Н.Л. Центральная Азия и скифы. I. Дата кургана Аржан и его место в системе культур скифского мира. М., 1997.
- Членова Н.Л., Кубарев В.Д. Хронологические парадоксы Горного Алтая // КСИА. 1988. № 199. С. 46–50.
- Чуланов Ю.Г. Некоторые новые памятники Северной Ферганы // СА. 1967. № 2. С. 245–250.
- Шер Я.А. О развитии языка археологии // Проблемы археологии. Л., 1978. Вып. II.
- Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М., 1980.
- Шер Я.А. Ранний этап скифо-сибирского звериного стиля // Скифо-сибирское культ.-ист. единство. Кемерово, 1980а. С. 338–347.
- Шер Я.А. К вопросу о происхождении культур скифо-сибирского типа // Ист. чт. памяти М.П. Грязнова. ТД. I. Омск, 1987. С. 166–169.
- Шер Я.А. Я учился у М.П. Грязнова // Пятые ист. чт. памяти М.П. Грязнова. ТД. Всерос. науч. конф. (19–20 октября 2001 г.). Омск, 2001. С. 132–142.
- Щербакова Т.И. Палеолитическая стоянка Талицкого (по раскопкам 1942 г.) // СА. 1986. № 3. С. 105–111.
- Юсупов Х. Древности Узбоя. Ашхабад: Илим. 1986.
- Юсупов Х. Древние скотоводы Северо-Западного Туркменистана. М., 1991.
- Юсупов Х. Страницы истории Туркменистана. М., 1997.
- Яблонский Л.Т. Скифы и сарматы в контексте достижений отечественной археологии XX века // РА. 2001. № 1. С. 56–65.
- Янковский И.В. К вопросу о законодательном оформлении Среднеазиатского стародавнего периода // Среднеазиатский стародавний период. 1928. Вып. 3. С. 257–261.
- Bernard P. A propos des bouterolles de fourreaux achemenides // Revue Archeologique. 1976/ fasc. 2. P. 227–246.
- Dyson R. Archaeological Scrap. Glimpses of History at Ziwiye, Expedition. 1963. 5(3).
- Dyson R. Test Excavation at Ziwiye, 1964 // American J. Archaeology. 1966. V. 70.
- Gardin J.-C. Methods for the descriptive analysis of archaeological materials // American Antiquity. 1967. 32. P. 13–30.
- Gardin J.-C. Une archeologie theorique. Hachette. Paris, 1979.
- Ghirshman R. Tombe princiere de Ziwiye et le debut de l'art animalier scythe. Paris, 1979.
- Muskarella O. «Ziwiye» and Ziwiye: The Forgery of a Provenience // J. Field Archaeology. 1977. 4 (2). P. 197–213.
- Sher Ya. A. On the Sources of the Scythic Animal Style // Arctic Anthropology. Illinois, 1988.
- Sher Ya. A. A propos des origines du «style animalier» // Arts Asiatiques. 1992. T XLVII. P. 5–18.

РУКОПИСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. *Грязнов М.П., Воеводский М.В.* Принципы построения полеозтнологического (музея) // РФ ЦМХК НАН КР. Инв. № 110. 1930. 386 с.
2. *Виноградова А.* План местности и стоянки палеометаллической эпохи близ г. Фрунзе // РФ ЦМХК НАН КР. Инв. № 6. 1930а. 19 л.
3. *Виноградова А.* Археологические разведки в районе озера Иссык-Куль Киргизской АССР (1930, сентябрь) // РФ ЦМХК НАН КР. Инв. № 8. 1930б. 72 л.
4. *Виноградова А., Воеводский М.В.* Черновые материалы археологических исследований в районе с. Покровки Фрунзенского кантона КАССР. 1930 г. // РФ ЦМХК НАН КР. Инв. № 9. 1930. 12 л.
5. Материалы по археологии Воеводского // РФ ЦМХК НАН КР. Инв. № 102. 1930. 60 с.
6. *Материалы* археологической экспедиции [на Краснореченском городище] // РФ ЦМХК НАН КР. Инв. № 84. 1930. 79 л.
7. *Охрана* памятников старины и результаты их обследования 1930 г. // РФ ЦМХК НАН КР. Инв. № 107. 1930. 46 л.
8. *Тереножкин А.И.* Археологические разведки сотрудника Средне-Азиатской экспедиции Антропологического научно-исследовательского института в Москве летом 1929 г. в Киргизской АССР // РФ ЦМХК НАН КР. Инв. № 7. 1930. 166 с.

Археология эпохи камня и бронзы

Часть 2



Archaeology of the Stone Bronze Ages

Part 2

ОБ АЦЕФАЛЬНЫХ И СОСТАВНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ В ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ ЕВРОПЫ

Из глины сделаны божки,
Им от людей влетело:
Обломок тела без башки
Или башка без тела.

В. Берестов

В своей многогранной научной деятельности М.П. Грязнов обращался к сюжетам, казалось бы далеким от его интересов. Так, он привлек внимание к некоторым характерным чертам трипольских женских фигурок, очень важным «для решения вопросов о назначении этих фигурок и для правильного понимания некоторых особенностей изобразительного искусства трипольской культуры» [Грязнов, 1964, с. 72]. В небольшой статье, посвященной, на первый взгляд, частному вопросу, находится много ценных положений общего характера, имеющих методическое значение.

Одной из особенностей трипольских женских статуэток, отмеченных М.П. Грязновым, является то, что они представлены обнаженными, хотя, судя по множеству этнографических примеров, население стран не только с холодным, но и с умеренным и жарким климатом создает изображения антропоморфных существ, какое бы значение им ни придавалось, с определенными элементами одежды, соответствующими реальности. Как исключение из этого правила М.П. Грязнов приводит верхнепалеолитические женские статуэтки и античную скульптуру, «но эти особые случаи находят свое объяснение». Он не раскрывает далее это положение, но следует заметить, что на некоторых палеолитических изображениях представлены украшения, элементы одежды или сама одежда [Окладников, 1941; Абрамова, 1960; Soffer et al. 1993].

Для палеолитической тематики интересна и другая, отмеченная М.П. Грязновым, особенность трипольских женских фигурок: отсутствие рук, иногда ног и даже головы. «Всегда любое антропоморфное изображение, как бы ни было оно схематично, примитивно или грубо, дает прежде всего наиболее выразительную часть образа – голову, лицо. В примитивных изображениях, где художник стеснен

материалом и техническими возможностями, он всегда дает самое главное в антропоморфном образе – голову, торс, руки... Когда же фигурки лепятся из глины, то голова, руки, ноги делаются объемными...» [Грязнов, 1964, с. 72].

М.П. Грязнов справедливо замечает, что в руки археологов редко попадают вещи в их первозданном виде, они имеют дело только с той частью предметов, которая не подвержена разрушительному действию времени. Он напоминает, что в этнографии часто встречаются антропоморфные скульптуры, выполненные не из одного, а из сочетания различных материалов. Головы глиняных антропоморфных фигурок могли быть сделаны из кожи или ткани и укреплены на имеющемся на их месте штифте. Отверстия на плечах трипольских фигурок могли служить для крепления приставных рук, сделанных из мягкого материала.

М.П. Грязнов приходит к выводу, что такие фигурки без рук, а иногда и без головы представляют собой не законченные статуэтки, а своего рода манекены, куклы или болванки, широко распространенные у различных народов. Рассматривая с этой точки зрения палеолитические фигурки, мы находим определенные аналогии, и прежде всего, в глиняной скульптуре.

Уже давно было отмечено удивительное сходство палеолитических и раннеземледельческих фигурок Юго-Восточной Европы и других южных территорий, но, как точно заметил С.Н. Бибилов, «...нет никаких серьезных оснований предполагать, что палеолитические фигурки находятся в каком-либо культурно-историческом родстве с раннеземледельческими женскими изображениями. Но факт возникновения в среде первобытных охотников важен и поучителен в том отношении, что указывает на очень древнюю традицию изготовления женских скульптурных изображений, а следовательно – на некоторые

элементы общности верований у столь отдаленных во времени обществ [Бибиков, 1953, с. 247–248].

Наибольший интерес для сравнения представляют глиняные обожженные фигурки из верхнепалеолитических стоянок Моравии, отнесенные к павловской культуре граветтского времени. Как известно, керамическая посуда связана с неолитической эпохой и лишь сосуды культуры дземон в Японии датируются поздним плейстоценом (около 12 500 лет BP). Однако спорадическое появление изделий из глины происходило значительно раньше. В 1912 г. А. Бегуэн телеграфировал Э. Картальяку об открытии знаменитых бизонов, вылепленных из глины в одном из отдаленных залов пещеры Тюк д'Одубер. Позже Н. Кастере обнаружил глиняные скульптуры в пещере Монтеспан. Затем последовали находки животных и в других пещерах Арьежа (Бедейяк, Лабуиш, Мас д'Азиль), отнесенных к мадленской эпохе. Примерно к тому же времени относится и фигурка человека из Майнинской стоянки в Сибири (раскопки С.А. Васильева 1980 г.).

Но самым поразительным было открытие массового производства керамических фигурок в верхнепалеолитических стоянках Дольни-Вестониц и Павлов, существовавших на Павловских холмах в Моравии между 28 000 и 24 000 BP, судя по радиоуглеродным датам. Подавляющее большинство находок представлено разбитыми или неоформленными поделками из глины в разной степени обжига. Так, в Дольни-Вестоницах I, где обнаружена настоящая мастерская с печами для обжига, собрано свыше 3000 фрагментов, имеющих обработанную или заглаженную поверхность, из них 77 почти целых и 630 разбитых фигурок животных, 1 целая и 14 разбитых женских фигурок [Soffer et al., 1993]. Это полностью противоречит подсчетам в Луке Врублевецкой, где в массе фрагментов большую часть составляют обломки женских фигурок, а животных всего 16 [Бибиков, 1953, с. 205 и 238].

Окончательного подсчета керамических изделий на стоянке Павлов I еще не произведено, известно только, что собрано свыше 3500 аморфных фигуративных фрагментов, в целом мало отличающихся от состава керамики в Дольни-Вестоницах. Материалом служил местный лесс. Любопытна техника изготовления фигурок. Они были моделированы не из целого куска глины, а путем соединения, сдавливания, как бы насаженного один на другой мелких кусочков глины. Головы, ноги, уши, хвосты были сформированы отдельно и присоединены к телу, как и груди на женских статуэтках. Затем фигурки подвергались обжигу при температуре от 500 до 800° и при избытке влаги могли взрываться при обжиге. При такой технике изготовления большинство человеческих фигурок было лишено головы, рук и ног, причем отдельные головы и ноги также имеются в коллекции [Soffer et al., 1993]. Авторы объясняют большое количество фрагмен-

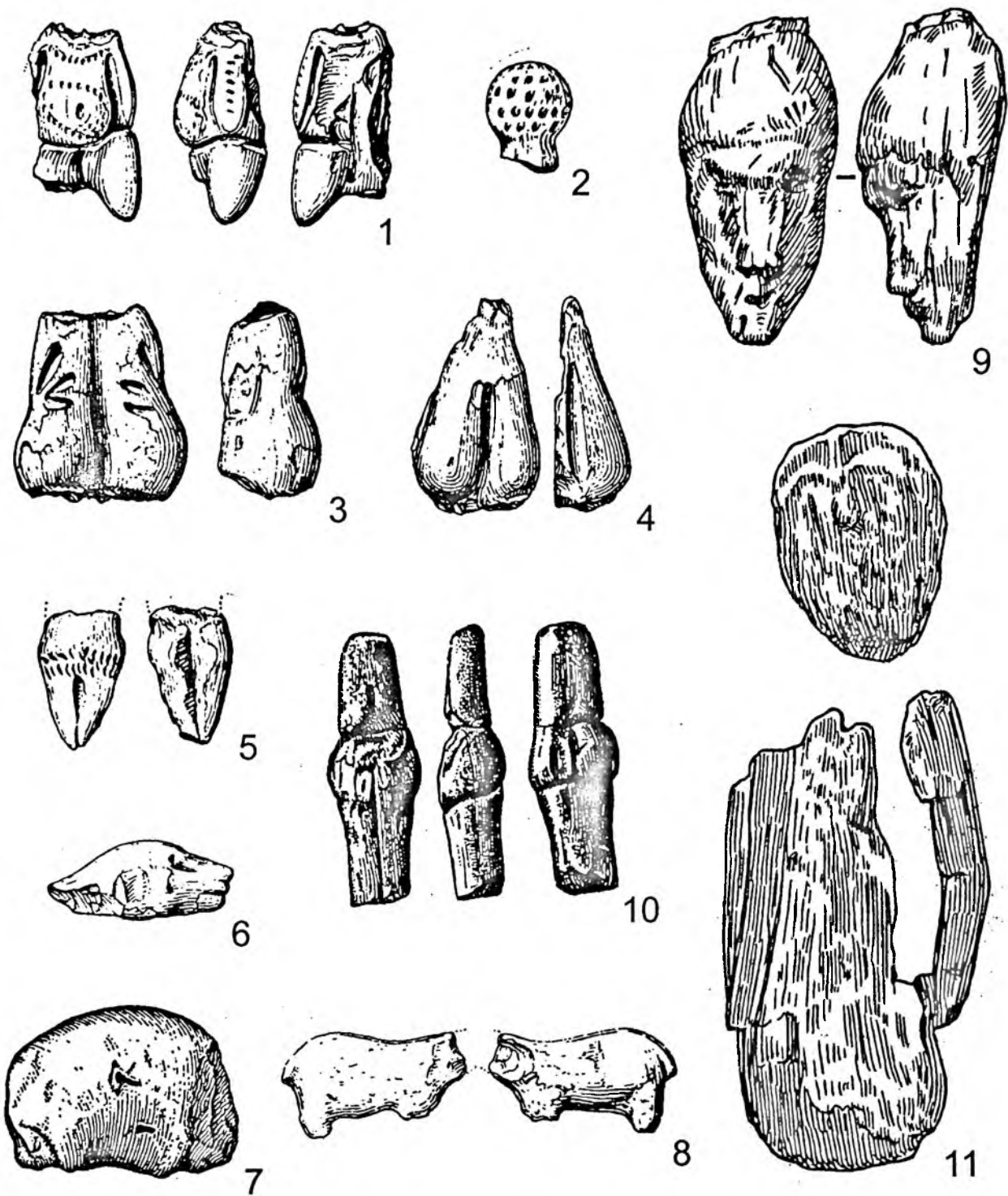
тов тем, что около печей для обжига лежит брак, а удавшиеся произведения были унесены. Так, Б. Клима считал, что немногие керамические поделки, найденные в Пшедмости (как, например, целая фигурка росомахи), были произведены не на месте [Klíma, 1974].

Помимо чисто технического, не может быть исключено и ритуальное, намеренное, разбивание фигурок. Это происходило и с другими материалами, не подвергавшимися обжигу. Яркий пример представляют Костенки I, где доказано намеренное разбивание фигурок из известняка, в том числе и высокой художественной ценности. Не избежали этой участи и тщательно вырезанные из бивня женские статуэтки, у которых отбиты голова или ноги или то и другое. Они происходят из стоянок граветтского времени или средней поры верхнего палеолита, несколько моложе Дольни-Вестониц (Костенки I, Авдеево, Гагарино, Хотылево 2 на Русской равнине и особенно Брассампуй во Франции). Именно на этих стоянках найдены и отдельные головки. Головка целой фигурки из обожженной глины в Дольни-Вестоницах [Absolon, 1949, fig. 1] выполнена в той же манере, как у фигурок в Луке-Врублевецкой [см., например, Бибиков, 1953, табл. 91а или 91к], а отдельная керамическая головка из Павлова (рисунок, 2) очень близка головкам из упомянутых восточно-европейских стоянок. Головка из Дольни-Вестониц, вырезанная из бивня мамонта как отдельный предмет (рисунок, 9) является истинным шедевром палеолитического искусства.

В Дольни-Вестоницах отдельные торсы фигурок из глины (рисунок, 3, 4) напоминают фрагменты и из Луки-Врублевецкой, и из Костенок I, на этот раз из известнякового мергеля. Материал в данном случае не имеет значения. То же самое можно сказать и о ногах фигурок, часто сведенных на конус (рисунок, 5). Привлекает внимание фигурка из Дольни-Вестониц, у которой сохранилась лишь одна нога также в виде конуса (рисунок, 1).

Для М.П. Грязнова большое значение имели фигурки женщин с коническим выступом вместо головы (Гримальди, Савиньяно) или ацефальные фигурки с заглаженной поверхностью на уровне плечей. Так, у фигурки из бивня (Елисеевичи) голова и концы ног обломаны и утрачены в древности, руки, возможно, никогда не были представлены. Более схематичная фигурка также из бивня (Павлов) не имела ни головы, ни рук (рисунок, 10). Эти же особенности характеризуют фигурку из гематита из Петржковице. Концы ног часто обломаны намеренно, если даже они сведены на конус.

Следует сказать, что намеренное «усекновение главы» касается не только женских фигурок. Фигурки животных из глины, намеренно лишённые головы, встречаются и в Дольни-Вестоницах (рисунок, 8) и в Павлове (рисунок, 7). Ярким примером являются фигурки животных из мергеля с утраченной передней частью туловища,



Произведения искусства из моравских палеолитических стоянок:

1-8 - обломки фигурок из глины (1, 3-6, 8 - Дольни-Вестоницы, 2, 7 - Павлов, по Klíma, 1987, fig. 1-3);
 9-11 - предметы из бивня (9 - Дольни-Вестоницы, по Absolon, 1949, fig. 8; 10 - Павлов, по Klíma, 1987, fig. 3, 1;
 11 - Брно II, по Oliva, 1999)

найденные в Костенках I. О том, что это сделано намеренно, свидетельствует заглаженная поверхность излома у одной из фигурок [Ефименко, 1958, рис. 194]. Наличие деталей делает эту фигурку одной из лучших в костенковской коллекции, но отнюдь не помогает в ее идентификации. Вместе с тем большая часть изображений животных как в Костенках, так и в Дольни-Вестоницах представлена головками, причем любопытно, что целые фигурки, как правило, воспроизводят мамонта (головак мамонта нет), а отдельные головки по большей части принадлежат хищникам (рисунок, б).

Ацефальные женские изображения встречаются и в гробницах мадленского времени (Ла Марш, Ложери-Бас, Истюрц, Труа-Фрер) и в настенном искусстве (Габийю, Пеш-Мерль, Англи-сюр-Англен). Намеренность изображения женского тела без головы особенно отчетливо представлена в последнем памятнике [Yakovleva, Pinçon, 1997]. Ацефальные изображения животных очень редки. Отсюда следует, что голова в воспроизведении животного в отличие от ацефальных женских фигур играла решающую роль. Отметим эту закономерность, не пытаясь найти объяснение такому противоречию кроме примитивного, связанного с функциональными особенностями изображенных существ.

В заключение следует остановиться на остатках уникальной антропоморфной составной скульптуры, к тому же единственной, встреченной в погребении Брно II также в Моравии [Oliva, 1999]. От нее сохранились три отдельные части: голова, туловище и левая рука (рисунок, II). Голова (высота 6,6 см, максимальная ширина 5,1 см и толщина 4,9 см) вырезана из обрубка бивня мамонта, центр которого образует ось с вертикальным отверстием. Пропорции головы точные, хотя лоб довольно низкий и рот не обозначен. Следы окраски охрой видны в глазных впадинах и в области ушей, обозначенных боковыми расширениями и вертикальными бороздками на той высоте, что и глаза. Нижняя часть головы была отбита в древности или осталась необработанной. Размеры туловища: высота 13,7 см, ширина сверху 2,2 см, внизу 3,7 см, максимальная толщина 5,2 см. При взгляде сверху поперечное сечение тела прямое в фас и закругленное сзади. В профиль оба контура более или менее прямые, слабо

сходящиеся кверху. Через туловище проходит естественная вертикальная ось бивня. Левая рука, отбитая от туловища в древности, имела в длину 9,8 см, толщину в круглом заглаженном плече 2,3 см, тонко обработанном локте 1,7 см. Кисть отсутствует (излом древний). Ранее считалось, что фигурка была вырезана из одного куска бивня, но К. Валоху удалось установить по направлению пластин бивня, что она сделана из отдельных частей [Valoch, 1959, s. 20].

Таким образом, статуэтка представляет собой нечто вроде марионетки, состоящей из съемных элементов. Нет никаких признаков существования или отсутствия ног, но не исключено, что они также были отдельными и прикреплялись, как голова и руки, при помощи продольного канала внутри кусков бивня.

Если бы не было найдено головы, легко можно было бы представить, что ее место могла занимать голова из другого материала и другой конфигурации. Ближайшей аналогией может служить также очень крупная статуэтка из бивня мамонта из ориньякской стоянки Холенштайн-Штадель (Германия), представляющая стоящего человека с головой льва [Хан, 1971]. Любопытно, что и у нее чисто случайно сохранилась левая рука с расширенным плечом и моделированным локтем. Наличие фаллоса указывает на мужской пол изображенного человеко-льва. Подобные существа, наделенные человеческим телом и зооморфной головой, населяют стены глубоких пещер Франции и Испании. Из них особенно знаменит «Колдун», или «Рогатый Бог», из пещеры Труа-Фрер, кочующий по публикациям разного рода и объединяющий в себе атрибуты человека и различных животных [Végoien, Breuil, 1958, p. 54, pl. XIX–XX]. На других изображениях человеческое/мужское тело снабжено головой бизона (Труа-Фрер), козла (Габийю), мамонта (Комбарелль), птицы (Альтамира, Ляско, Куньяк) и др. В целом же большая редкость мужских фигур в палеолитическом искусстве позволяет провести еще одну параллель с раннеземледельческой трипольской культурой.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского Фонда фундаментальных исследований, проект № 00-06-80318а.

Н.А. АВАНЕСОВА

ХРАМОВЫЕ ФУНКЦИИ САКРАЛИЗОВАННЫХ ПЛОЩАДОК НЕКРОПОЛЯ ДОИСТОРИЧЕСКОЙ БАКТРИИ – БУСТОН VI

Михаил Петрович Грязнов имел богатейший опыт полевых изысканий. Один из важнейших принципов раскопок М.П. Грязнова – полное вскрытие памятника, ме-

тодика которого предусматривала раскопки широкими площадями, что позволяло более точно проникнуть в суть явлений, происходивших в глубокой древности [Грязнов,

1979, с. 3]. Именно методику и методологию моего учителя я попыталась применить при исследовании грунтового могильника эпохи бронзы на юге Узбекистана. Раскопки производились методом сплошного полигонального анализа, в результате которого в топографической структуре некрополя впервые были выявлены церемониальные площадки, отражающие обрядовые действия периода функционирования могильника [Аванесова, 1995; 1999; 2001].

Культурная принадлежность Бустон VI обозначает завершающим этапом сапаллинской древнеземледельческой культуры древневосточного облика Северной Бактрии. Заключительная фаза доисторической Бактрии – это период качественных изменений во всех сферах жизнедеятельности древних обществ, связанный с зарождением новых отношений, традиций и связей, дальнейшее развитие которых приходится уже на период урбанистической Бактрии. Однако до последнего времени определить характер этих изменений было сложно из-за недостатка материалов. Среди источников, позволяющих понять суть резкой культурной переориентации данного региона в эпоху поздней бронзы, особое место принадлежит некрополю Бустон VI. Последний исследуется нами 10 лет.

Могильник функционировал в молалинское и бустонское время. Он значительно отличается от погребальных памятников ранних этапов сапаллинской культуры обрядовой вариативностью и активным внедрением в урбанистическую среду степных племен (андроновцы, срубники, тазабагьябцы и др.). Это явилось результатом сложных интеграционно-ассимилятивных процессов, вследствие чего степные племена вовлекли обитателей доисторической Бактрии в систему индоиранского расселения.

Раскопками выявлено, что некрополь представлял собой не только место захоронений усопших, но и служил местом для совершения различных культовых действий, церемоний литургического характера как в момент погребения, так и после. Отправление культов происходило не на одном и том же месте. Пространства, отведенные для ритуала, занимали склоны и возвышенные участки естественного останца надпойменной террасы высохшего русла р. Бустонсай, располагаясь большей частью на окраине некрополя. Характер отправляемых здесь церемониальных действий связан с апотропейными, умиловательными, медиативными, поминальными и другими ритуалами, в которых сильно развит солярно-огненный культ. Каждая площадка – микросвятылище, где происходило ритуальное представление.

Ключевыми элементами сакральных участков являются: сырцовые полузаземные сооружения для кремации, каменные конструкции подпрямоугольной и кольцевид-

ной формы, кирпичные стелы со свидетельствами поминальных торжеств, грунтовые алтари, кострища, остатки от тризны. Определяющей чертой служит также отсутствие погребений человека в пределах церемониальных площадок. Важным доказательством того, что отведенные сакральные места на могильнике связаны с обслуживанием культовых церемоний, является наличие следов специального оформления площадок со значительными земляными работами, производившимися на исследуемых объектах. Среди них – тщательное оформление участков: утрамбованная подсыпка речного красного песка или плотного слоя белой гипсовой крошки, облицовка дерном и др.

Все это предполагает существование определенной социальной прослойки, обеспечивающей выполнение ритуальных действий, предписанных традицией для отправления общественных культов группы людей, выполняющих функции священнослужителей. Последние должны были подготавливать и проводить эти ритуалы: производили очистительные огневые манипуляции, приносили жертвы, устраивали моления и т.п. Они «обеспечивали» благосклонность космических сил, гарантировавших выживание и безопасность, контакт с обожествленными предками и др. Совокупность всех данных, полученных при раскопках, позволяет считать, что сакрализованные площадки выполняли храмовые функции, где совершались регулярные обряды, в том числе календарного и производственного цикла.

Необходимо отметить, что жаркутанский храм как религиозный центр Шерабадского оазиса в период функционирования нашего некрополя не существовал [Аскаров, Ширинов, 1993] и, по всей вероятности, некрополь выполнял функцию храма под открытым небом. Это приближает нас к решению остродискуссионного вопроса об отсутствии монументальных храмов у индоиранцев в доисторическое время [Леликов, 1992; Стеблин-Каменский, 1993; Грантовский, 1999]. Не рассматривая этот сложный вопрос детально, отметим, что в наших материалах отражен один из этапов расселения индоиранцев, а отправлявшиеся на некрополе культы связаны с традицией последних.

Церемониальные объекты в зависимости от их информативности и значимости подразделяются на несколько групп.

Группа I включает сакрально-церемониальные площадки вокруг ящиков для кремации. Таких участков три, они занимают территорию от 90 до 200 кв. м. Характерной особенностью композиционного решения комплексов может считаться обязательное наличие трех кострищ вокруг кирпичных ящиков, наличие грунтовых алтарей, кенотафов, символических могил с монофункциональными глиняными поделками.

Группа II определяется участком, отведенным каменному настилу подпрямоугольной формы (2 x 3 м), сложенному из камней белого гипса вперемежку со щебнем и возведенному на кострище. На поверхности настила нет следов от горения. При расчистке между камнями найдены украшения и фрагменты степной керамики. Вокруг каменного настила сохранились остатки от двух кострищ, грунтового алтаря, поминального приношения, рядом – преднамеренно разбитые сосуды. Исследуемый сакральный объект (72 кв. м) связан с какими-то церемониями и совмещен с местом выставления останков человека («дахма»).

III группа отражает проявление поминального культа. Она включает ряд из трех кирпичных стел, у основания которых находятся скопления сосудов с остатками тризны. Каждый из поминов (по терминологии М.П. Грязнова) [1979, с. 134–140] различается размерами и набором составляющих их элементов. Площадка для поминальных ритуалов (около 80 кв. м) сохранила следы пиршества в виде остатков от трех кострищ, одного грунтового алтаря и преднамеренно разбитых сосудов.

Группа IV. К ней относятся участки с каменными (рваный гипс и галька) кольцевыми выкладками (диаметр 0,9–1,2 м), которые выложены не на древней поверхности, а в квадратном (1,05 x 1,05 м) или округлом (диаметр 1,03–1,05 м) грунтовым углублении. Числовые характеристики концентрических окружностей с точки зрения археоастрономии представляют особый интерес, но это тема специального исследования. Каменные кольца встречаются вместе с кострищами, грунтовыми алтарями, поминальными приношениями и кенотафами с подсыпкой дна охрой. Каждый из этих четырех объектов расположен на площадке более 50 кв. м.

В планиграфии некрополя пространства, отведенные для ритуала, рассредоточены. Возможно, это свидетельство распределения культовой деятельности, связанные со структурой сапаллинского общества. Но не исключено, что многообразие ритуальных площадок связано с расширением и увеличением самого могильника, так как сакральные объекты в подавляющем большинстве маркируют границы могильника. Хотя их назначение как места средоточения конкретных обрядов не вызывает сомнений, в настоящее время привести им точные аналогии мне не представляется возможным.

Близкая практика существования культовых мест на могильнике и связанных с ними обрядовых церемоний фиксируется у пастушеских племен эпохи бронзы Центрального Казахстана [Маргулан и др., 1966, с. 154–159; Маргулан, 1979, с. 76–78 и др.]. Подобная картина, видимо, имела место в Алексеевском [Кривцова-Гракова, 1948, с. 71–73], Потаповском [Васильев и др.,

1994, с. 75], Синташтинском [Генинг и др., 1992, с. 234–242 и др.] могильниках. В этот же ряд могут быть включены Филатовский курган [Синюк, Козмирчук, 1995, с. 49–50] и Большекараганский (Аркаим) могильник [Зданович, 1995, с. 45]. К числу явлений того же порядка следует отнести наличие святилищ на некрополях Восточной Сибири, начиная с глазковского времени [Тивашенко, 1989].

Перечисленные комплексы степных обществ Евразии отражают существование однопорядкового поля, включающего в себя элементы жертвенной практики (животные), связанные с захоронениями, в то время как сакральные площадки Бустон VI состоят из разнонаправленных и разнокачественных элементов, объединенных единым для всех одним качеством, – замкнутым ритуализированным пространством, где совершались обряды. Основу обряда составляло жертвоприношение огню в виде возлияния сока растений, молока, воскурения жира (наличие органических остатков, в том числе хвостовых позвонков барана в алтарях); жертвоприношение животных (мелкие пережженные косточки в алтарях и кострищах); сжигание усопшего в ящике равноценно причащению тела. В этом случае ящик для кремации можно рассматривать как алтарь-жертвеник. Важную роль при отправлении обрядов играла система кострищ. Необходимо отметить, что именно в них и в алтарных устройствах найдена степная керамика, которая не просто аналогична, а полностью идентична федоровской, тазабагъябской и алексеевско-саргаринской посуде.

Не останавливаясь на семантических аспектах сакральных объектов, связанных с обслуживанием культовых церемоний, следует все же отметить, что наши материалы представляют вещественное воплощение ритуальных действий, созвучных предписаниям ведической и авестийской традиций.

По сумме своих характеристик некрополь можно квалифицировать как культово-погребальный комплекс храмового порядка. Хронологически бустанский церемониальный центр – наиболее ранняя форма храма открытого типа. В этом качестве он посещался и использовался на протяжении последней четверти II тыс. до н. э. Материалы некрополя особенно зримо раскрывают сложную специфику становления качественно нового периода на завершающем этапе сапаллинской культуры. Культовая жизнь бустанцев складывалась и протекала под воздействием степного населения. Смена идеологических представлений происходила при сохранении экономических традиций. Дальнейшее развитие культуры покоилось на местном субстрате. Это еще традиционная древнеземледельческая культура, но уже на стадии формирования государственности.

ПОГРЕБЕНИЯ ГОЛОВ В ПЕЩЕРЕ ОФНЕТ НА ЮГЕ ГЕРМАНИИ (КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ АТРИБУЦИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ)

В 1908 г. Р. Шмидт открыл в пещере Офнет на юге Германии археологические комплексы, относящиеся к числу тех, которые, по причине собственной уникальности и несовершенства методики раскопок, порождают долгую научную полемику об их культурно-хронологической принадлежности и интерпретации. Речь идет о двух погребениях (или «гнездах»), в которых Р. Шмидт обнаружил человеческие черепа. В большем из них (гнездо I), по его данным, было помещено 27 черепов, в меньшем (гнездо II) – только 6. Все они находились в анатомической связи с нижними челюстями и шейными позвонками. Таким образом, в Офнете были захоронены не черепа, а головы людей. Заполнение могил было смешано с растертой охрой, сами же останки окрашены в красный цвет. Эти факты свидетельствуют о том, что положенные на дно вырытых ям головы были вначале посыпаны порошком охры и лишь затем покрыты землей. На большинстве голов или вокруг них были найдены просверленные клыки благородного оленя (22 случая) и просверленные раковины улиток (26 случаев). Вероятно, они украшали несохранившиеся головные уборы. В отдельных случаях просверленные раковины улиток обнаружены и под останками людей [Schmidt, 1912].

Р. Шмидт считал, что могилы Офнета заполнялись головами в течение длительного времени, так как останки, находившиеся в центре гнезда I, повреждены сильнее, чем лежащие на его периферии [Schmidt, 1912]. Этот аргумент, конечно, несостоятелен. Высказывалось также мнение об одновременном захоронении всех голов [Hodges, 1989]. Однако вероятность такого хода событий невелика, поскольку в эпоху мезолита численность любой группы охотников-собирателей уступала тому количеству умерших, которые, как предполагают, были одновременно похоронены в Офнете [Orschielt, 1998; 1999].

В пользу версии о неоднократном захоронении голов в гнездах Офнета свидетельствует наблюдение, сделанное автором раскопок, которому сам он, впрочем, не придал значения. Р. Шмидт зафиксировал, что культурный слой вблизи могил и даже на расстоянии 3–4 м от них имел красноватый цвет [Schmidt, 1912]. Этот шлейф охры мог образоваться только в случае многократного раскапывания гнезд для подхоронения останков. Заполнение могил, состоящее из смеси земли и охры, выбрасывалось при этом наружу и на какое-то время перекрывало близлежащий участок слоя, окрашивая его в красный цвет.

Необходимо обратить внимание еще на одно обстоятельство. В гнезде I (диаметр 76 см) обнаружено 27 черепов, а в гнезде II (диаметр 45 см) – лишь 6, т. е. гнездо II содержало гораздо меньше останков, чем оно могло бы вместить. Несложные арифметические подсчеты показывают, что размеры гнезда II позволяют подхоронить в ней не менее 16 голов. Следовательно, эта яма была выкопана с расчетом на неоднократное использование. Однако по какой-то причине ее так и не сумели заполнить целиком.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о многократном захоронении останков в одну и ту же могилу, причем каждый раз, видимо, подхоронивали группу голов. В пользу заполнения гнезд Офнета именно таким способом свидетельствует находка гнезда позднемезолитического времени в пещере Холештайн (юг Германии), в котором обнаружены три головы [Völzing, 1935/38; Orschielt, 1998; 1999].

Захоронение голов было локализовано в позднемадленском слое VI. Однако Р. Шмидт, обнаружив в заполнении могил и возле голов несколько кремневых изделий постпалеолитического, по его мнению, облика, пришел к выводу о том, что погребения были впущены в верхнепалеолитические напластования из перекрывающего их слоя VII, в котором мадленские орудия уже отсутствовали. Индустрия этого отложения, как полагал автор раскопок, включала орудия тарденуазского и более раннего азийского времени. В конечном счете, Р. Шмидт датировал гнезда «азиле-тарденуазской» эпохой [Schmidt, 1912].

Однако не слишком детальное описание автором погребальных комплексов и схематичность опубликованного им разреза культурных напластований пещеры позволили в дальнейшем некоторым исследователям усомниться в справедливости выводов Р. Шмидта о стратиграфической позиции офнетских находок. В 1926 г. Ф. Биркнер датировал рассматриваемые захоронения позднемадленским временем [Birkner, 1926]. Он исходил из того, что гнезда находились в слое верхнего палеолита, а кремневые изделия, зафиксированные Р. Шмидтом в заполнении могил и в слое VII, не могли относиться к азийской культуре, поскольку ее ареал, по мнению Ф. Биркнера, ограничивался территориями Южной Франции и Северной Испании. В 1951 г. антрополог В. Гизелер высказал предположение, не подкрепив его археологической аргументацией, о раннемезолитической датировке офнетских комплексов [Gieseler, 1951]. В середине 1930-х гг. Т. Моллисон пришел к выводу о том, что некоторые останки

(гнездо I) принадлежали людям, убитым каменными топорами [Mollison, 1936]. В 1972 г. О. Клеман предположил, что эти топоры относятся к эпохе неолита [Kleeman, 1972]. Наконец, Г. Асмус выдвинула гипотезу о том, что погребения голов были впущены в палеолитические напластования из неолитического слоя VI, который перекрывал отложения «азиле-гарденуазской культуры» (по терминологии Р. Шмидта). Г. Асмус обосновывала свою точку зрения тем, что захоронения черепов, изредка встречающиеся при раскопках раннеземледельческих памятников Юго-Восточной и Центральной Европы, относятся именно к эпохе неолита [Asmus, 1973]. Позднее в пользу неолитической принадлежности могил Офнета высказался Ж.-Г. Роуа [Rozoy, 1978].

Первая попытка радиоуглеродного датирования голов Офнета, казалось, окончательно решила многолетнюю дискуссию в пользу гипотезы Ф. Биркнера. Полученная дата (13100 ± 100 BP) свидетельствовала о позднемадленском возрасте находок из Южной Германии [Glowatski, Protsch, 1973]. Против такой датировки сразу же выступил Ф. Набер. Повторив выводы Р. Шмидта, Ф. Набер первым указал на мезолитический характер наборов погребального инвентаря в Офнете. По его мнению, кремневые изделия из заполнения могил и слоя VII соответствуют времени раннего мезолита: примерно 7000 г. до н. э. [Naber, 1974].

Дальнейшее совершенствование метода ^{14}C позволило получить серию дат для голов Офнета: 7720 ± 80 BP, 7560 ± 110 BP, 7530 ± 120 BP, 7520 ± 80 BP, 7480 ± 80 BP, 7540 ± 80 BP, 7360 ± 80 BP [Schulte, 1986; Hedges et al., 1989; Stuiver, Reimer, 1993]. Теперь стало очевидно, что прежняя датировка ошибочна и что оба гнезда относятся к эпохе позднего мезолита (вторая половина VII тыс. до н. э. с учетом калибровки). Современный анализ каменной индустрии слоя VII показал, что она неоднородна и включает орудия двух стратиграфически разновременных горизонтов (ранний и поздний мезолит), которые Р. Шмидт ошибочно объединил в один слой. К мезолитическому времени относятся также и кремни, найденные в заполнении могил [Müller-Beck, 1983]. Таким образом, радиоуглеродные определения более не противоречат археологической атрибуции погребальных комплексов Офнета. Наконец, одонтологическое исследование обнаружило полное сходство повреждений зубов у охотников-собираателей и у людей, чьи головы были захоронены в пещере [Baum, 1991]. Следовательно, связь гнезд Офнета с миром мезолитических охотников и собирателей доказана исследованиями в трех независимых областях науки.

Автор раскопок был уверен в том, что он нашел в Офнете ритуальные захоронения [Schmidt, 1912]. Это мнение было принято в научных кругах, но вскоре другие

исследователи уточнили его. Г. Обермайер предположил, что рассматриваемые погребения свидетельствуют о человеческих жертвоприношениях, связанных с культом черепа [Обермайер, 1913], хотя в данном случае уместнее было бы говорить о культе головы. Такая трактовка и сейчас имеет своих сторонников [Tillmann, 1993]. Была высказана также точка зрения о распространении в Европе в эпоху верхнего палеолита и эпилепалеолита обычаев, свойственных охотникам за головами [Krämer, 1924]. Предполагалось также, что головы захваченных в плен и впоследствии умерщвленных жертв были захоронены по особому ритуалу. Таким образом люди старались примириться с мертвыми врагами, чтобы избежать их мести [Mollison, 1936]. К этим взглядам примыкает мнение К. Заллера, считавшего, что в Офнете обнаружены останки пиршества каннибалов [Saller, 1962]. Существует еще одна интерпретация гнезд: в пещере были преданы земле головы людей, убитых при столкновении двух охотничьих групп. Конфликт возник из-за недостаточности природных ресурсов. Смерть большинства жертв могла наступить в результате использования лука и стрел [Orschielt, 1998; 1999]. Ни одно из этих объяснений не учитывает ни половозрастные характеристики голов, ни археологический контекст, в котором были найдены гнезда.

Новейшие антропологические исследования показали, что в гнезде I находилось на один детский череп (9А) больше, чем считалось ранее. Кроме того, удалось определить пол 11 детских черепов. В большом гнезде было похоронено 4 мужских головы, 8 женских и 16 детских. Среди взрослых доминируют останки молодых людей 20–30 лет (2 мужчины, 6 женщин), однако имеются головы и субъектов более старшего возраста: 30–40 лет (мужчина и женщина), 40–50 лет (мужчина), 60–70 лет (женщина). Среди детей преобладают индивиды в возрасте от 1 года до 6 лет (мальчик, 7 девочек и 5 субъектов, пол которых не определен). Остальные головы принадлежали мальчику-младенцу и двум детям 7–14 лет (мальчик и индивид, пол которого не установлен). В гнезде II были захоронены головы мужчины и женщины, достигших возраста 20–30 лет, а также девочки 1–6 лет и трех детей той же возрастной категории, пол и возраст которых невозможно установить. Таким образом, в двух гнездах Офнета были погребены 34 головы: 5 мужских, 9 женских и 20 детских, включая головы 3 мальчиков и 8 девочек [Orschielt, 1998; 1999].

Р. Шмидт приводит весьма скудные данные о локализации погребений голов в культурном слое пещеры, имевшей ширину 11 м и глубину 12 м. Известно лишь, что оба захоронения располагались непосредственно при входе, ширина которого составляла 4,5 м. Могилы округлой формы находились на расстоянии метра друг от друга.

Их глубина составляла 25 см. Толщина мезолитического слоя VII в Офнете незначительна, всего 5–8 см [Schmidt, 1912]. Однако хронологически данное отложение охватывает почти весь период мезолита. Из этого следует, что в среднем каменном веке люди по меньшей мере дважды заселяли пещеру, но каждый из этих периодов обитания был непродолжителен.

Данные современной археологии и этнографии позволяют дать оценку аргументов, приведенных в пользу той или иной трактовки погребений Офнета. Действия охотника за головами включают убийство жертвы (как правило, мужчины), отрезание от его тела головы с последующим очищением ее от мягких тканей или, наоборот, с ее последующей мумификацией, выставление черепа в местах постоянного обитания людей, ношение мумифицированной головы при себе [Фрезер, 1980; Фальк-Ренне, 1980; Kuipers, 1982/83; Schott, 1982].

Гнезда Офнета демонстрируют полное несоответствие вышеописанной модели, основанной на этнографических источниках. Мужские головы составляют седьмую часть всех обнаруженных здесь останков. 20 из 34 голов принадлежали детям. Почти половина из них, а возможно и более половины, это девочки. Возраст 18 детей не превышал 6 лет. Одна голова принадлежала старухе, а восемь – молодым и зрелым женщинам. Все головы были захоронены вскоре после отделения их от тел, иначе нижние челюсти и шейные позвонки не находились бы в естественном сочленении с черепами. Останки людей были закопаны в могиле и никогда оттуда не извлекались.

Конфликты между различными группами охотников-собирателей в традиционных обществах относительно редки [Schmidt S., 1993]. То же самое имело место и в эпоху мезолита. Хотя захоронения убитых стрелами людей обнаружены от Приднепровья до Скандинавии, количество погибших не превышает двух десятков человек [Даниленко, 1955; Столяр, 1959; Телегин, 1961; Ошибкина, 1983; Péquart et al., 1937; Albrethsen, Petersen, 1976; Larsson, 1981; 1983; Vencl, 1991]. Жертвами стычек в основном являлись мужчины. Их убивали примерно в семь раз чаще, чем женщин. Однако ни в одном случае не найдены останки пораженного стрелами ребенка. Очевидно, что вооруженные конфликты в эпоху мезолита происходили на границах территорий, контролируемых соседними группами. В стычках, большей частью случайных, погибали мужчины, ушедшие на отдаленный промысел. Убитых хоронили на кладбищах, иногда с отступлениями от норм стандартного погребального обряда. Могилы погибших не отличаются богатством инвентаря [Алэкшин, 1983; Alekšin, 1994].

Таким образом, и половозрастные определения голов Офнета, и археологический контекст находок не соответствуют двум из трех вышеупомянутых объяснений.

В отличие от двух отвергнутых предположений точка зрения о связи офнетских находок с культом черепа (вернее, с представлениями или верованиями, обрядовая сторона которых включала магические действия с головой/черепом) более вероятна, поскольку имеются вполне достоверные свидетельства особого отношения людей к голове/черепу, начиная с эпохи нижнего палеолита [Алэкшин, 1987; 1990; 1994; 1994а; 1995; 1998; Бадер, 1984; 1998; О.Н. Бадер, Н.О. Бадер, 2000; Гаврилов, 2001; Герасимова, 1984; 2000; de Bayle des Hermens, Heim, 1989; Buisson, Gambier, 1991; Cauvin, 1994; Gambier, 1992; Goring-Morris, Belfer-Cohen, 1997; Le Mort, 1987; McBrearty, Brooks, 2000; Perrot, Ladiray, 1988; Valla et al., 1989; Vallois, 1961; White, 1985, 1986]. Однако наибольшее распространение в древности манипуляции с черепами, извлеченными из могил давно умерших людей, получили в левантийских культурах докерамического неолита А и Б [Cauvin, 1994; Алэкшин, 1994]. Многолетние исследования этих памятников привели к обнаружению более двух сотен черепов [Алэкшин, 1994]. В связи с этим высказано предположение о возможном культурном влиянии земледельцев Ближнего Востока на мезолитических охотников Европы [Tillmann, 1993].

Памятники докерамического неолита А, распространенные на юге Леванта, датируются от 9700 до 9100 ВР (8900–8300 гг. до н. э. по калиброванным датам). Памятники докерамического неолита Б, сложившиеся на севере Леванта и постепенно распространившиеся по всей Сиро-Палестине, относятся к хронологическому интервалу от 9400 до 7800 ВР (8500–6900 гг. до н. э. по калиброванным датам) [Cauvin, 1987; 1987а; 1994; M.Cl. Cauvin, J. Cauvin, 1993].

Таким образом, между погребениями голов Офнета и захоронениями черепов докерамических культур Леванта имеется хронологический разрыв в несколько сот лет. Он полностью исключает возможность культурного импульса из Сиро-Палестины, который повлиял бы на развитие верований мезолитического населения Европы. Однако семантика офнетских находок не может быть понята, если их рассматривать изолированно, вне общего контекста развития верований древних народов. Именно поэтому мезолитические погребения голов (Южная Германия) следует сравнить с неолитическими погребениями черепов (Сиро-Палестина) несмотря на то, что оба типа комплексов удалены друг от друга хронологически и территориально.

Сравнение комплексов проведено по четырем критериям: 1) тип погребения (наличие или отсутствие гнезд на памятниках); 2) локализация могил (связь с культурным слоем и какой-либо постройкой); 3) половозрастные характеристики останков; 4) ритуал захоронения (череп или голова, наличие или отсутствие инвентаря,

использование охры, устройство гнезд, положение останков в могилах, ориентация глазниц черепов/голов, одновременность или разновременность захоронения).

Проведенное сопоставление показало полное сходство могил Офнета и Леванта по первым двум критериям. В обоих регионах наряду с одиночными погребениями голов/черепов [Алэкшин, 1994; Birkenet, 1914; Thévenin, 1980] имеются групповые захоронения – гнезда [Алэкшин, 1994; Schmidt, 1912]. И в Сиро-Палестине, и на юге Германии гнезда находятся в культурном слое поселений, но не связаны с функционирующими жилищами. В Офнете обе могилы вырыты при входе в пещеру, в Леванте гнезда локализованы в заброшенных домах и дворах [Алэкшин, 1994].

По третьему критерию устанавливается близкое сходство между гнездами Леванта (докерамический неолит А) и гнездами Офнета. В обоих регионах существовала традиция помещать в гнезда головы/череп преимущественно молодых мужчин, женщин и детей, причем черепа последних впервые используются в культовой практике каменного века. В захоронениях периода докерамического неолита Б выявлено значительное сокращение детских останков и небольшое преобладание женских черепов над мужскими [Алэкшин, 1994]. Следовательно, сходство с Офнетом выражено уже не столь отчетливо.

В рамках четвертого критерия сравнение выполнено по семи позициям. По двум из них (наличие охры, устройство могил) обнаружено полное сходство анализируемых комплексов. По двум другим позициям (расположение голов/черепов в гнездах, ориентация лица) выявлено близкое сходство между погребениями Леванта (докерамический неолит А) и Офнета: голова/череп иногда образовывали круг, причем их лицевые части ориентированы таким образом, чтобы мертвые не могли смотреть на живых [Алэкшин, 1994]. По двум позициям (захоронение черепа или головы, одновременность или постепенность погребений) фиксируется полное отсутствие сходства. В Офнете погребены головы, а в Леванте – черепа. Лишь в одном случае (Иерихон, культура докерамического неолита А) зафиксировано захоронение четырех голов младенцев. Гнезда Офнета являются разновременными коллективными захоронениями. В гнездах Леванта в подавляющем большинстве случаев черепа, видимо, были погребены одновременно. Позиция, связанная с наличием или отсутствием инвентаря, не имеет принципиального значения при сравнении гнезд Офнета и Леванта. Бусы из просверленных клыков оленя и раковин улиток были, очевидно, каким-то образом прикреплены к головным уборам и являлись, следовательно, частью костюма, который, как свидетельствуют данные этнографии и археологии, всегда богаче нашивными украшениями у северных народов, чем у южан.

Итак, ритуальные погребения голов, характерные для культовой практики части позднемезолитического населения Европы (Офнет), имеют наибольшее сходство (но не полное тождество) с ритуальными захоронениями черепов, характерными для обрядовой практики древнейшего земледельческого населения Ближнего Востока (культура докерамического неолита А), в экономике которого еще довольно сильны традиции присваивающего хозяйства. Учитывая хронологическую и территориальную удаленность Леванта и Офнета, речь может идти только о стадильном сходстве.

Гнезда Сиро-Палестины являются захоронениями черепов – культовых предметов, вышедших из употребления после использования их в обрядах. Эти ритуалы, судя по устойчивой традиции укладывать в них мужские и женские черепа, были связаны с культом плодородия и символизировали брачное соединение для усиления плодovitости природы, гарантируя тем самым благополучие коллектива. Детские черепа, видимо, подчеркивали плодovitость этого брачного союза, в котором в качестве супругов выступали умершие члены общины, мифологизированные мужчины и женщины [Антонова, 1990; Алэкшин, 1994].

Гнезда Офнета, видимо, имеют аналогичную семантику. Уложенные в них головы мужчин, женщин и детей, многие из которых были преднамеренно убиты ударами тяжелых массивных предметов [Orschiedt, 1998; 1999], также свидетельствуют о распространении обрядов, в которых использовали магическую силу брачного соединения для умножения плодovitости природы. Охотники и собиратели нуждались в этом не менее земледельцев, понимая умножение как увеличение численности промысловых зверей, птиц и рыб, как изобилие грибов, ягод, орехов и многих полезных для них трав. Исследования этнографов показывают, что обряды умножения производящих сил природы санкционируют продолжение жизни во всех ее сферах. Именно это и является древнейшей функцией первобытной религии [Кабо, 1987]. После завершения обрядов головы закапывали при входе на стоянку, возможно, чтобы обезопасить убежище от злых духов.

Сходство некоторых деталей ритуала захоронения голов/черепов на Ближнем Востоке и в Западной Европе объясняется, видимо, их общими корнями, восходящими к культовой практике эпохи палеолита. В связи с этим возможны два пути развития обрядовых действий с черепами/головами в каменном веке:

1. Трансформация (на определенном этапе культурного развития) вначале редких культовых манипуляций с черепами/головами в широко распространенное ритуальное использование одними группами населения черепов, другими – голов.

2. Трансформация (на определенном этапе культурного развития) вначале спорадических обрядовых действий с черепами/головами в стадию преимущественно ритуального использования голов, которое, в свою очередь, сменяется стадией культовых манипуляций с черепами.

При нынешнем состоянии археологических источников нельзя отдать предпочтение ни одной из этих моделей. Существование, например, в Иерихоне (период докерамического неолита А) гнезд с черепами и могилы с головами не противоречит ни первому, ни второму пути развития.

В.С. БОЧКАРЕВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТОПОРЫ-КЕЛЬТЫ ЕВРОПЫ ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ

Изобретение цельнолитого втульчатого топора-кельта Г. Чайлд отнес к числу важнейших достижений бронзового века. По его мнению, кельты стали первыми, понастоящему широко доступными деревообрабатывающими орудиями. Они получили массовое распространение во многих культурах эпохи поздней бронзы. Благодаря этому началась интенсивная расчистка лесов под поля и пастбища, что имело революционное последствие для экономики и экологии лесной зоны Северной Евразии. Г. Чайлд предполагал, что кельты возникли на Урале, оттуда они распространились в восточном направлении и достигли территории современного Китая. Северная и Центральная Европа не подверглись прямому уральскому влиянию, но туда с Востока проникла идея кельта. Там она нашла благоприятную среду для своего дальнейшего развития, и многие европейские кельты приобрели черты местных пальштабов [Childe, 1954, p. 11–25].

Конечно, не все эти выводы Г. Чайлда сегодня могут быть приняты. Некоторые из них кажутся слишком прямолинейными и преувеличенными. Современные исследования показали, что экономика бронзового века была сложным явлением и зависела от взаимодействия множества различных факторов. Появление новой разновидности топоров само по себе не могло оказать кардинального влияния на ход ее развития. Столь же спорным выглядит тезис об уральской прародине кельтов. Вместе с тем следует признать, что Г. Чайлду удалось по-новому сформулировать традиционную для европейской археологии проблему происхождения кельтов. Он понял, что для ее решения первостепенное значение имеют восточные материалы. Эта мысль оказалась правильной. Нынешний уровень наших знаний позволяет уверенно утверждать, что древнейшие образцы кельтов Евразии появились на территории Южной Сибири и Восточной Европы. Они происходят из сейминско-турбинских памятников.

Хронология этих памятников была предметом длительной дискуссии в нашей литературе. Постепенно выяснилось, что в волго-уральском регионе они синхронизируются с позднеабашевской культурой и рядом культур начальной поры эпохи поздней бронзы («Синташтой», «Петровка», «Потаповкой» и «Покровском»). Согласно

данным радиоуглеродных анализов (22 калиброванные даты), которые были получены в последнее десятилетие, время указанных культур определяется в диапазоне 2200/2100–1800/1700 гг. до н. э. [Трифонов, 1997, с. 94–97; Anthony D. 1998, p. 105–106]. Эти датировки значительно расходятся с традиционной хронологией сейминско-турбинских памятников (XVI–XV вв. до н. э.), которая была установлена с помощью карпато-балканских аналогий некоторым волго-уральским изделиям (дисковидные псалии, Бородинский клад и т. д.). Однако в свете новых радиоуглеродных и дендрохронологических исследований центральноевропейских памятников возраст этих аналогий также должен быть удревнен [Sherratt A. and S., 1991, p. 247–251; Randsborg K., 1991, p. 94–105; Boroffka N., 1998. S. 105].

Особо следует сказать о хронологической позиции микенских шахтовых гробниц (круг А), в одной из которых были найдены дисковидные псалии. А. Фурумарк отнес эти погребения к I позднеэллиадскому периоду (LHII), т. е. к XVI в. до н. э. Многими отечественными археологами эта дата воспринималась как важнейшая точка опоры в определении абсолютного возраста сейминско-турбинских памятников и других волго-уральских культур. Но судя по новым хронологическим исследованиям эгейских памятников, I позднеэллиадский период, видимо, придется переместить в XVII в. до н. э. [Manning S., 1996, p. 17–32]. К этому нужно добавить, что с типологической точки зрения микенские псалии относятся к поздним разновидностям изделий такого рода, распространенным в Восточной Европе.

Таким образом, все доступные сейчас источники с большой долей вероятности указывают на то, что сейминско-турбинские памятники следует датировать в пределах первой трети II тыс. до н. э. Это означает, что в Южной Сибири и в Северо-Восточной Европе кельты появились по меньшей мере на 3–4 столетия раньше, чем в остальных частях Евразии.

Памятники сейминско-турбинского типа разбросаны на огромной территории. Все же хорошо заметно, что их основная масса концентрируется вдоль южной кромки лесов и тянется полосой от Алтая до устья Оки. Возможно,

эта цепочка находок передает в общих чертах пути движения сейминско-турбинского населения. По мнению некоторых исследователей, культура этого населения сформировалась на Алтае и оттуда распространилась на другие территории. Предполагается, что небольшие, но хорошо вооруженные и мобильные группы этого населения мигрировали на запад, и часть из них, преодолев тысячи километров, проникла в лесное Приуралье и Среднее Поволжье [Черных, Кузьминых, 1989, с. 251–253, 269–277]. Их приход в Восточную Европу имел огромные последствия. Он повлек за собой цепную реакцию культурных трансформаций, что в конечном итоге привело к возникновению волго-уральского очага культурогенеза [Бочкарев, 1995, с. 18–29]. Этот очаг на протяжении нескольких столетий определял ход культурно-исторического развития на значительной части Восточной Европы и Казахстана.

Ведущая роль сейминско-турбинских мигрантов в начальной фазе волго-уральского культурогенеза объясняется рядом причин. Одна из них заключается в том, что пришельцы значительно превосходили местное население в металлопроизводстве. Они были знакомы с самыми передовыми для того времени приемами обработки металлов. Сейминско-турбинские мастера широко использовали оловянные бронзы, каменные литейные формы и литые изделия со слепой втулкой (кельты, цельнолитые наконечники копий и т. д.). Впоследствии эти приемы получили широкое распространение и легли в основу металлообработки эпохи поздней бронзы Восточной Европы.

Местные волго-уральские кузнецы и литейщики медленно и по частям осваивали новую (сейминско-турбинскую) технологию. На раннем этапе эпохи поздней бронзы оловянные бронзы были еще редки и почти все они шли на изготовление украшений. Причем количество их находок уменьшается по направлению с востока на запад. Они хорошо известны в петровских памятниках, гораздо хуже – в синташтинских и совсем отсутствуют в покровских [Агапов, Кузьминых, 1994, с. 169]. Примерно такая же тенденция видна в распределении находок каменных форм. Что касается литых изделий со слепой втулкой, то этот прием использовался только для производства одного типа наконечников копий.

На следующем этапе в срубной и алакульской культурах сфера применения новой технологии несколько расширяется. Оловянные бронзы начали употреблять в производстве оружия и орудий [Агапов, Кузьминых, 1994, с. 169], а каменные литейные формы распространились в Приуралье и в ряде районов Поволжья. Некоторый прогресс также заметен в литейном деле. Теперь все разновидности втульчатых наконечников копий и стрел изготавливались только в литье.

Из примечательных новшеств этого времени следует отметить появление цельнолитых тесел со сквозной втулкой (ильдеряковский тип). Прототипами этих орудий были кованые втульчатые тесла абашевской и синташтинской культур, а дериватами – кельты-тесла с «пещеркой». Этот типологический ряд тесел был известен Г. Чайлду, который его истолковал как свидетельство уральского происхождения кельтов [Childe, 1954, p. 15–19, fig. 3–5]. Но отождествлять топоры-кельты и кельты-тесла неправомерно. Это разные категории орудий и, как выясняется, разного происхождения. Первые из них возникли раньше и совсем в иной культурной среде, чем кельты-тесла.

В целом можно констатировать, что на первых двух этапах эпохи поздней бронзы новая технология находилась еще на стадии становления. Ковка оставалась важным формообразующим приемом, а литые изделия со слепой втулкой ограничивались двумя видами оружия. Несмотря на ощутимое сейминско-турбинское влияние, кельты не были восприняты местным населением. Оно продолжало пользоваться проушными топорами и плоскими топорами-теслами традиционных форм. Зона распространения оловянных бронз и каменных литейных форм в основном охватывала восточные территории. Во многих районах Поволжья, и особенно Подонья, продолжали пользоваться традиционными материалами.

Окончательный переход к новой технологии произошел позднее. Тогда же начался процесс массового распространения кельтов в степных и лесостепных культурах Восточной Европы. Этот перелом был связан с крупными изменениями культурно-исторической ситуации на значительной части Северной Евразии.

Около середины II тыс. до н. э. во многих степных и лесостепных регионах Восточной Европы, Южной Сибири и Казахстана произошла смена культур или их значительная трансформация. Основным генератором этих изменений был волго-уральский очаг культурогенеза. На его территории сформировалась целая свита новых культур (черкаскульская, федоровская, приказанская, сусканская и др.), которые оказали сильное влияние на дальнейший ход событий во многих соседних регионах. Кроме того, часть населения этих культур или его небольшие группы мигрировали в юго-восточном, восточном и юго-западном направлениях. В ряде случаев они продвинулись на очень значительное расстояние. Свидетельством инфильтрации населения в юго-западном направлении являются довольно многочисленные находки андроновской (черкаскульско-федоровской) керамики в Подонье, на Левобережной Украине и в Поднепровье [Березанская, Гершкович, 1983, с. 100–110; Кузьмина, 1987, с. 48–69; Гершкович, 1998, с. 61–92]. Вместе с переселенцами на юго-запад проникли многие характерные элементы волго-уральских культур. В их числе также оказались топоры-кельты и кельты-тесла.

К этому времени сейминско-турбинские кельты уже вышли из употребления. Их сменили кельты других разновидностей, которые можно объединить в четыре территориально-типологические группы: самусьско-кижировскую (Зауралье и Западная Сибирь), минусинскую (условное название «карасукские поясковые»), дербеденовскую (Южное Приуралье и Среднее Поволжье) и лобойковскую (Левобережная Украина и Поднепровье).

По общему мнению исследователей, орудия первой группы возникли в результате прямого развития классических сейминско-турбинских кельтов. Поэтому их часто называют позднейсейминскими. Гораздо сложнее проследить генезис минусинских и дербеденовских кельтов, так как они имеют ряд оригинальных черт. Но, по данным М.П. Грязнова [1941, с. 248–251, табл. 1], Б.Г. Тихонова [1960, с. 44–45] и ряда других авторов, прототипами этих кельтов также являлись сейминско-турбинские топоры. Что касается орудий лобойковской группы, то их можно рассматривать в качестве локальной разновидности дербеденовских кельтов.

В целом, еще раз следует подчеркнуть, что появление этих новых групп кельтов было сопряжено с существенными изменениями культурно-исторической ситуации на значительной части Северо-Восточной Евразии.

Для нашей темы первостепенный интерес представляют дербеденовские и особенно лобойковские кельты. Они являются первыми образцами топоров-кельтов, которые получили распространение в степной и лесостепной зонах Восточной Европы. Их появление повсюду сопровождалось освоением новой технологии литья, а также распространением новых культурных стереотипов (например, валиковой керамики). Параллельно с этим шел процесс вытеснения из употребления проушных топоров, плоских топоров-тесел, глиняных литейных форм и т. д.

На юго-западе Восточной Европы лобойковские кельты заняли почти всю Левобережную Украину, Среднее и Нижнее Поднепровье. Кроме того, они проникли в Северо-Западное Причерноморье, а также на территорию Молдавии, Восточной Румынии и Северной Болгарии (Рэдени, Дэлени, Киперчены, Галич и т. д.).

Среди этих территориальных серий находок необходимо выделить карпато-балканскую. Несмотря на свою малочисленность (10 экземпляров), она важна в двух отношениях. Во-первых, в ней представлены древнейшие кельты карпато-балканского региона, и, во-вторых, эти орудия имеют восточное происхождение. По принятой здесь хронологии они датируются в пределах XV–XIV вв. до н. э. В этот период основной категорией рубящих орудий на указанной территории оставались проушные топоры. Массовое производство кельтов на Карпатах и на Северных Балканах началось позднее, в XIII в. до н. э. Аналогичная картина наблюдается в Цен-

тральной и Северной Европе с той только разницей, что место проушных топоров занимали пальштабы различных типов. В пределах этих регионов также выделена небольшая группа древнейших кельтов, которые относят к XIV в. до н. э. (BC, по П. Рейнеке; конец периода 2, по О. Монтелиусу). Эти находки неоднократно были предметом специального рассмотрения в европейской литературе. Изучив их, С. Мюллер и О. Монтелиус пришли к выводу, что древнейшие кельты Европы произошли от местных пальштабов. Впоследствии эта точка зрения стала традиционной. Но еще в конце 20-х гг. XX в. Р. Харрисон ее решительно отверг. Он нашел существенные пробелы в типологическом ряду пальштаб – кельт и убедительно показал, что по технологическим причинам в принципе невозможно эволюционное развитие пальштаба в кельт. Позицию Р. Харрисона активно поддержал Г. Чайлд. Позднее к аналогичному выводу пришел Э. Анер после детального анализа ранних скандинавских кельтов. По его мнению, они возникли под воздействием внешнего импульса, идущего из Центральной Европы [Aner, 1962, S. 216–219].

Как уже говорилось, в Центральной Европе, точнее на ее восточных окраинах, известно несколько находок ранних кельтов. С полной уверенностью можно датировать только три из них: две с территории Словакии (клады Древенек и Ожданы) и одну из Венгрии (комплекс литейных форм из Шолдвакерта). Все они относятся к периоду BC (по П. Рейнеке), т. е. к XIV в. до н. э. Эти и некоторые другие материалы были подробно рассмотрены в работе Б. Ванзека. В результате их изучения он пришел к выводу, что центральноевропейские кельты имеют автохтонное происхождение. Их первичный центр находился в Среднем Подунавье, откуда они затем распространились на юго-восток и север Европы. По мнению Б. Ванзека, кельты развились из «венгерских» проушных топоров с диском на обухе [Wanzek, 1989, S. 136–148]. Последнее предположение Б. Ванзека кажется еще менее вероятным, чем гипотеза С. Мюллера и О. Монтелиуса. На его несостоятельность указал С. Хансен. В свою очередь, С. Хансен выдвинул собственную версию генезиса центральноевропейских кельтов. Согласно его данным, их прототипами были местные цельнолитые долота эпохи ранней и средней бронзы [Hansen, 1994, S. 177–185]. С. Хансен не привел каких-либо специальных аргументов в пользу своей точки зрения. Он ограничился общим замечанием, что способ литья слепой втулки был изобретен в Центральной Европе еще в начале II тыс. до н. э.

Проведенный историографический обзор показывает, что, несмотря на отсутствие убедительных аргументов, большинство современных западных исследователей продолжают поддерживать автохтонную гипотезу генезиса центральноевропейских кельтов. Если эту гипотезу

принять, то с неизбежностью напрашивается вывод о полицентрическом характере происхождения кельтов. Один из таких центров находился в Южной Сибири и Северо-Восточной Европе, а второй, надо полагать, – в Центральной Европе.

Но хронологические, картографические и отчасти типологические данные не подтверждают конвергентную версию происхождения кельтов. Поэтапное картирование находок кельтов наглядно демонстрирует последовательное расширение их ареала с востока на запад. В первой половине II тыс. до н. э. они занимали северо-восточную территорию Европы, а в XV–XIV вв. до н. э. – почти всю южную половину Восточной Европы, вплоть до Карпат и Балкан. В XIII в. до н. э. началось массовое производство этих орудий в карпато-балканском регионе, а век спустя – в Среднем Подунавье и в восточных районах Центральной Европы. В Западной Европе кельты получают широкое распространение только с X века до н. э.

Процесс «продвижения» кельтов в западном направлении вряд ли можно оценивать как пример классической диффузии. Он имел дискретный и взрывной характер, так как почти всегда связан с крупными культурно-историческими изменениями. Так было в случаях с сейминско-турбинской миграцией и с распространением кельтов лобойковской группы. В карпато-балканском регионе этот процесс был связан с образованием культурного блока «сабашиновка – ноуа – кослождени». По единодушному мнению румынских археологов, этот блок возник в результате восточного импульса. Число аналогичных примеров можно еще увеличить, двигаясь в западном направлении.

В заключение следует сказать, что, по всей вероятности, топоры-кельты принадлежат к тем немногим элементам культуры эпохи бронзы, которые связывали между собой различные и порой очень отдаленные регионы Северной Евразии.

С.А. ВАСИЛЬЕВ

ПАЛЕОЛИТ СИБИРИ: НОВЫЕ ФАКТЫ, НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ

М.П. Грязнов живо интересовался древнейшим прошлым Сибири, профессионально разбирался в археологии древнекаменного века, в проблематике палеолита Северной Азии. Цель статьи – кратко охарактеризовать современное состояние наших знаний по данному разделу сибирской археологии. После некоторого спада в начале 90-х гг. десятки региональных научных центров продолжили исследования, охватывающие памятники, разбросанные от Алтая и Чулыма до Камчатки и Сахалина. Большое значение имеет необычайно активная полевая и публикационная деятельность коллектива новосибирских археологов под руководством А.П. Дервянко. По мере открытия на Алтае новых комплексов, относящихся к различным этапам среднего и верхнего палеолита, становится ясно, что алтайская культурно-стратиграфическая колонка будет играть для всего палеолита Сибири такую же роль, как колонка памятников Юго-Западной Франции играет для древнекаменного века Европы.

За последнее время в сибирской археологии палеолита произошло не только заметное увеличение информационного фонда, но и глубокие методические изменения. Благодаря приходу в науку новой генерации исследователей и расширению международного сотрудничества, в практику исследований входят новейшие приемы анализа материалов. К ним относятся методы информатики (создание банков данных по памятникам, радиоуглеродным датировкам, мамонтовой фауне). Тех-

нологический анализ, ориентированный на выделение вариантов техники расщепления, процессов срабатывания и переоформления артефактов, который все больше дополняет типологическое описание комплексов каменного инвентаря. Значение роли сырья, связи стоянок с источниками добытия камня, способы его транспортировки и использования для выделки различных классов орудий. Разработка геоархеологических аспектов археологии палеолита, наглядно демонстрирующая наивность принятых ранее «интерпретационных штампов» при оценке характера памятников. Особенно показательны в этом плане результаты возобновления раскопок Мальты Г.И. Медведевым. Большое значение для выработки критериев идентификации легких переносных жилищ могут сыграть этноархеологические исследования, начатые у эвенков Забайкалья. Интерес представляют экспериментальные опыты по изучению костров, жилищ, мест расщепления камня.

К числу новых приемов стоит отнести тафономическое исследование характера костных остатков в пещерных убежищах, определение сезонности обитания и способов разделки охотничьей добычи. Итоги работ на стоянке Шестаково заставляют по-новому рассмотреть проблему соотношения охоты и использования древним человеком костей из естественных захоронений мамонта.

Проблема времени и путей первоначального заселения. В настоящее время можно говорить о первых следах проникновения человека на территорию Северной

Азии уже в среднем плейстоцене (250–300 тыс. л. н.). В свете открытий новосибирских археологов в прилегающих районах Казахстана и Монголии нельзя исключить вероятность обнаружения еще более ранних комплексов. На юго-западе Сибири из числа бесспорно древнейших памятников назовем местонахождение Мохово I, вероятно связанное с досамаровскими отложениями. К среднему плейстоцену можно отнести во многом загадочное мамонтовое местонахождение Усть-Ижуй I на Енисее. Диринг на Лене, судя по серии термолюминесцентных датировок, относится ко времени порядка 300 тыс. л. н. Наряду с галечными индустриями типа Диринга, юг Сибири, как и Монголия, входил в область распространения ашеля с бифасами, как это показывают находки в Туве. Вряд ли можно рассматривать картину освоения человеком Северной Азии как последовательное расселение с юга на север. Скорее всего, на протяжении длительного времени, вместившего колоссальные по размаху климатические изменения, территория, осваиваемая людьми, то расширялась, то сокращалась в зависимости от палеогеографической обстановки. Основными путями проникновения человека в Северную Азию, вероятно, были юго-западный (через Казахстан на Алтай), южный (через Монголию в Туву, Прибайкалье и Забайкалье) и юго-восточный (через Маньчжурию на Амур и в Приморье).

Средний палеолит: хронология и варибельность. Основной проблемой для установления хронологии среднепалеолитических индустрий является несоответствие между среднеплейстоценовыми РТЛ-датировками нижней части отложений Денисовой пещеры и суммой естественнонаучных данных, указывающих на казанцевский возраст отложений. В целом среднепалеолитические комплексы на Алтае, судя по данным колонок Денисовой пещеры и пункта Усть-Каракол I, датированы в интервале от казанцевского времени до каргинского (33–45 тыс. л. н.).

Удивительно, что, несмотря на огромную удаленность Северной Азии от основных центров развития мустье в Европе и на Ближнем Востоке, общий облик индустрий в принципе сходен. Как и в других областях распространения мустьерской культуры, в Сибири она представлена в виде параллельно существовавших в рамках одной территории вариантов. Можно выделить мустье типичное с умеренным развитием леваллуазской техники (Денисова), своеобразный вариант мустье типичного с обилием угловатых скребел (пещера Окладникова), леваллуа-мустье (пещера Страшная, Усть-Канская, Двуглазка), а также хорошо изученные нелеваллуазские непластинчатые индустрии, основанные на технике радиального скальвания. К ним относятся коллекции из Тюмечина II и пещеры Каминная, хотя в последнем случае необычай-

ная грубость сырья наложила свой отпечаток на облик изделий. Особняком стоит мустье с листовидными бифасами (раскоп I стоянки Усть-Каракол I, Мохово II), возможно более позднее по времени по сравнению с отмеченными фациями. Безусловно, продолжение раскопок должно увеличить список разновидностей мустье Алтая. Однако уже сейчас стоит отметить, что в отличие от гротов Юго-Западной Франции здесь не прослеживается переслаивания различных вариантов мустье; в каждом памятнике по всей колонке представлена только одна разновидность. Причины подобного деления не вполне ясны, очевидна роль различной функции скальных убежищ, влияния сырьевой базы и технологии обработки камня. К сожалению, антропологические остатки из алтайских пещер не дают однозначного ответа о видовой принадлежности носителей среднепалеолитических индустрий (неандертальцы, *Homo sapiens* или метисированные популяции?).

Общий облик мустьерских индустрий указывает на юго-западное направление связей сибирского среднего палеолита, ориентированных в Среднюю Азию, на Ближний и Средний Восток. Вместе с памятниками Монголии мустье Сибири может рассматриваться как крайний восточный форпост распространения этого культурного комплекса. Ареал среднего палеолита в Сибири был, судя по результатам новейших исследований, достаточно велик и охватывал кроме Алтая также Кузбасс, долины Енисея, Ангары, Верхней Лены и, вероятно, Забайкалье, бассейн верхнего течения Нижней Тунгуски и Виллой.

Начало верхнего палеолита. Новейшие открытия на Кара-Боме говорят об очень раннем появлении верхнего палеолита в Сибири (начиная с 42–43 тыс. л. н.) и длительном сосуществовании его со среднепалеолитическими комплексами. В этом плане ситуация в Сибири становится сходной с некоторыми регионами Европы. Намечается культурная дифференциация индустрий на раннем этапе верхнего палеолита. Можно выделить группу комплексов, основанных на технологии получения крупных длинных пластин с плоских ядрищ (Кара-Бом, Кара-Тенеш, 3-й слой раскопа I Усть-Каракола I, Ануй I, Малояломанская, стоянка Арембовского, Толбага, комплекс А Каменки I). Сохраняется много черт леваллуазской техники. В орудийном наборе доминируют разнообразные ретушированные пластины, остроконечники (для некоторых памятников характерен прием подработки овального основания ретушированных пластин и остроконечников ретушью на брюшке), острия, скребла, зубчато-выемчатые формы, проколки. Отметим выразительные серии резцов и скребков. В ряде стоянок зафиксированы листовидные бифасы. Специфичный вариант культуры представлен материалами из слоев 8–11 Усть-Каракола I. Для них показатель-

раннее появление развитой микропластинчатой техники, серия скребков высокой формы, скребла, резцы.

В то же время в Забайкалье прослеживается иная линия развития архаичных по общему облику мустьероидных индустрий с преобладанием изделий на отщепях и элементами верхнепалеолитической техники и типологии (Приисковская, комплекс Б Каменки I, Куналей). Нельзя не отметить возникновения на данном этапе типично верхнепалеолитических культурных достижений – развитой обработки кости, украшений и произведений изобразительного искусства (головка медведя из Толбаги). При отсутствии палеоантропологических находок неясно, как генезис верхнего палеолита в Сибири может быть связан с вероятной миграцией *Homo sapiens*.

Средняя пора верхнего палеолита: «классический этап». По мере открытия новых памятников данного периода в различных уголках Сибири гипотезы о трансконтинентальных миграциях, удачно названные в свое время А.П. Окладниковым «археологическими миражами и фантомами», теряют почву. Становится все яснее, что, несмотря на свою специфичность, комплексы Мальты и Бурети входят как составная часть в систему культур средней поры верхнего палеолита Сибири. К числу пластинчатых индустрий этой стадии развития в последние годы прибавилась выразительная серия комплексов многослойной стоянки Ануй II на Алтае, в инвентаре которой прослеживаются граветтийские элементы. Другое важное открытие – серия сегментов со стоянки Шестаково – древнейшее свидетельство появления геометрических форм в Сибири. Наряду с доминирующими на этом этапе пластинчатыми комплексами продолжается развитие архаичных отщеповых индустрий (Куртак IV).

Финал плейстоцена: культурное разнообразие и единство. Памятники позднесартанского времени (от 16–18 до 10,5 тыс. л. н.) наиболее широко представлены во всех основных регионах Сибири. Если в предшествовавшие десятилетия археологи увлекались подчеркиванием местной специфики индустрий, то ныне активность исследователей в выделении локальных вариантов культуры ослабевает, а старые определения подвергаются сомнению. Так, преждевременным оказалось деление прибайкальских материалов на «верхоленскую» и «бадайскую» культуры. Большинство местонахождений финального палеолита юга Сибири демонстрируют однообразный облик индустрии. Имеются в виду комплексы с плоскими и клиновидными ядрищами, многочисленными скреблами, скребками, долотовидными орудиями, чопперами. Есть среди них индустрии с большим удельным весом изделий на отщепях (местонахождения долин Бии и Катуня на Алтае, афонтовские стоянки Енисея, бадайские памятники на Ангаре). В других случаях

более выражен пластинчатый компонент (памятники Томи, кокоревские стоянки Енисея, индустрии типа Студеного в Западном Забайкалье).

Иной вариант сибирского палеолита характеризуется наличием листовидных бифасов, причем основное типологическое «ядро» индустрии остается неизменным (дюктайские памятники Алдана, Сохатино IV в Забайкалье). На фоне перечисленных комплексов выделяется серия разнородных по типологическому облику пластинчатых индустрий, в основном дислоцированных в западной части сибирского ареала, – Черноозерье II в Западной Сибири, Ушлеп III и Тыгкескень III на Алтае, Голубая I на Енисее. Из пещер Северо-Западного Алтая происходит индустрия с призматическими нуклеусами, ретушированными пластинами, пластинками с притупленным краем, со скребками, резцами. Комплексы дополняются костяными орудиями, богатым набором украшений из кости, бивня и скорлупы яиц страуса. Именно на этом, финальноплейстоценовом этапе территория юга Российского Дальнего Востока входит в обширную область своеобразного культурного развития, охватывавшую Японские острова, Корею и Северо-Восточный Китай, связанных в плейстоцене сухопутными мостами. Прослеживаются прямые связи по обсидиановому сырью между современным Сахалином и Хоккайдо, Приморьем и Кореей. На этой территории очень рано, уже с 12 тыс. л. н., появляется первая керамика.

Сибирь и вопрос о заселении человеком Нового Света. В разработке данного аспекта, неизменно привлекающего внимание российских и североамериканских археологов, последнее время принесло сравнительно мало принципиально нового. По-прежнему остается загадочным возраст и характер ушковских памятников. Немногочисленные комплексы северо-востока Сибири относятся исследователями к палеолиту либо на основании спорных типологических аналогий, либо лишены четкой стратиграфической привязки, допускающей в равной мере как финальноплейстоценовый, так и раннеголоценовый возраст (Хета, Уптар). Из трех древнейших культурных традиций Аляски две (палеоиндейская и ненана) по-прежнему не находят аналогий на азиатской территории. Происхождение культуры денали от дюктайской культуры, как кажется, сомнений не вызывает.

Подводя итоги, можно сказать, что, с одной стороны, выявляется все большее разнообразие и богатство культурных проявлений сибирского палеолита. С другой – по мере новых открытий сибирский палеолит по ряду аспектов утрачивает свою специфичность, вписываясь в контекст адаптаций древнего человека в масштабе Северной Евразии.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 00-06-80376.

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПАМЯТНИКОВ СИНТАШТИНСКОГО И ПЕТРОВСКОГО ТИПОВ В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ

Использование термина «синташтинско-петровские» памятники некорректно, во всяком случае для Южного Зауралья, поскольку синташтинские и петровские памятники отличаются по содержанию и отражают связанные между собой и следующие друг за другом эпизоды истории степных племен в этом районе Урала.

Группы синташтинского населения на рубеже III–II тыс. до н. э. продвинулись в Южное Зауралье из района Волго-Уралья. Их культуру в целом можно определить как протосрубную, со следами абашевского влияния. В материальной культуре синташтинских памятников также можно увидеть свидетельства контактов с местным населением – представителями культур так называемой «геометрической» керамики. Памятники синташтинского типа с их неустойчивыми характеристиками отражают начальный этап культурогенеза.

Памятники синташтинского типа и «металлоносные» абашевские памятники Южного Урала, возможно, отражают кратковременное функционирование здесь некоей общности, базирующейся на Южно-Уральской горно-металлургической области.

Синташтинская металлургия и металлообработка являлись одной из основных отраслей хозяйства, а не домашним производством. Они оказали большое влияние на стандартизацию характеристик синташтинских поселений, на облик погребальной обрядности и социальную организацию их населения. Результаты изучения памятников синташтинского типа позволяют поставить вопрос о необходимости изучения пробле-

мы соотношения профессиональных кланов (субкультур) и археологических культур бронзового века Южного Урала.

Синташтинское население инициировало формирование культуры памятников петровского типа, появление которых представляется результатом продолжавшейся экспансии в Южное Зауралье групп более западного скотоводческого населения, впитавших здесь синташтинские традиции и окончательно переработавших наследие «угорского мира» Южного Урала.

Памятники петровского типа необходимо интерпретировать как раннеалакульские, поскольку именно в них оформились основные алакульские культурные стереотипы. Историю петровского и раннесрубного населения Южного Урала логично рассматривать в теснейшей взаимосвязи. Петровское население вступило в тесные контакты с южнолесными культурами Среднего Урала (коптяковские памятники). На петровском этапе истории алакульской культуры в Южном Зауралье происходит постепенное снижение хозяйственной роли металлургии и металлообработки, исчезает традиция сооружения укрепленных поселений.

Петровские памятники занимают значительно большую по сравнению с синташтинскими территорию, куда, помимо Южного Зауралья, входит лесостепное Зауралье, Северный и Центральный Казахстан. Петровцы явились древнейшими группами индоевропейцев, которые именно в это время освоили степи Казахстана, начали разработку местных медных месторождений.

Е.И. ГАК

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НОЖИ ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНОВ КАТАКОМНОЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

(К ВОПРОСУ О ЛОКАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОИЗВОДСТВА)

В последние десятилетия фонд источников по изучению катакомбной металлообработки существенно пополнился как металлическими находками, так и производственным инструментарием мастеров, что повлекло за собой трансформацию прежних представлений о единообразии степного металлопроизводства, переоценку его технических возможностей, уточнение масштабов и характера выпускаемой продукции в границах обитания различных культурно-хронологических групп населения

катакомбной культуры. В результате наметилась тенденция к дроблению очага на несколько самостоятельных, но тесно связанных друг с другом производственных зон [Chernykh, 1992; Гак, 2000], выделению в его рамках отдельных бронзолитейных центров [Кубышев, Нечитайло, 1991]. Однако географические контуры и характеристика этих производственных структур, попытки увязать их с определенной культурой или типом катакомбных памятников выглядят пока недостаточно убедительно.

Вероятно, наблюдаемая нами «картина производства в значительной степени детерминирована процессами распределения-обмена и практического применения продукции, что вообще затрудняет «детализацию» очагов производства в рамках конкретных культурно-исторических образований» [Черных, 1997].

Вместе с тем локальные черты металлообработки в пределах степного ареала (независимо от их связи с культурно-хронологическими группами памятников) обнаруживают себя уже на уровне сопоставления типологических признаков массовых категорий металлического инвентаря. Они выявлены, в частности, при изучении ножей восточных территорий катакомбной культурно-исторической области (степное Предкавказье, Нижнее Подонье, бассейн р. Северский Донец), где отмечается их самая высокая концентрация, обеспечившая репрезентативность выборки и надежность полученных выводов.

В качестве отправной точки исследования данного вида орудий было принято положение о том, что существовавшие в степи стереотипы производства металлической продукции в той или иной мере были адаптированы к местным социально-экономическим условиям, т. е. соответствовали возможностям местных мастерских и потребностям местного населения, которые были неодинаковы в разных регионах степной зоны.

Для проведения сравнительного морфологического анализа было привлечено 445 изделий, собранных по публикациям и архивным материалам (Калмыкия – 164 экземпляра, Ставрополье и Прикубанье – 55 экз., Нижнее Подонье – 129 экз., р. Северский Донец – 87 экз., Северо-Восточное Приазовье – 10 экз.). В основу типологической классификации были положены форма и параметры клинка, характер и особенности его сочленения с черенком. Учитывались также размеры орудий, конструкция, взаимосвязь и параметрические особенности элементов конструкции в пропорциональном соотношении друг с другом.

В итоге в анализируемом материале выделилось две части. Одну и наиболее объемную (82% выборки) составили изделия, формы которых воспроизводились повсеместно и, надо полагать, не имеют выраженной культурной специфики. Согласно сводке Л.А. Черных [Черных, 1997], аналогичные типы ножей встречаются и в западном ареале катакомбной культурно-исторической области, что дает основание считать их общестепными. Другая часть орудий включает типы, не получившие в степях Восточной Европы повсеместного распространения. Они имеют сравнительно узкую локализацию и занимают, судя по погребальному контексту, совершенно конкретную культурно-хронологическую позицию. В ходе выявления подобных форм приобрели значение следующие параметрические и морфологические признаки: конфигурация

клинка, соотношение его длины (L_k) и максимальной ширины (B_k), отношение максимальной ширины клинка к ширине черенка ($B_ч$), наличие или отсутствие ребра жесткости и кованых фасок.

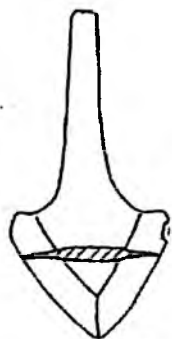
Приведу краткую характеристику этих форм ножей.

1. Орудия малых и средних размеров (9–12 см), имеющие длинный черенок, резко выраженные плечики, образующие по отношению к черенку прямой или близкий ему тупой угол, и короткий широкий клинок в виде равностороннего треугольника. Соотношение $L_k - B_k$ 1:1, $B_ч - B_k$ 1:3–5. Режущие кромки следуют по всей длине клинка, от его окончания до перехода в плечики, и подчеркиваются коваными фасками. Следов сработанности на них нет или они крайне незначительны (рисунок, 1). Учтено 4 экземпляра, все – с территории Калмыкии, из левобочных погребений восточноманьчского культурного типа.

Продолжением данной формы, возможно, являются ножи, отличающиеся от описанных лишь более узким основанием клинка, за счет сточки лезвийных кромок по всей их длине. На это указывает не только асимметричность лезвий, зазубрины, выщерблины и другие показатели их сработанности, но также отсутствие кованых фасок, очевидно утраченных в процессе длительного использования (рисунок, 2). Учтено 11 экземпляров, 8 из них были приурочены к восточноманьчским комплексам Калмыкии и Ставрополья, остальные – к западоманьчским низовьям Дона и Северо-Восточного Приазовья.

Таким образом, находки орудий данного типа локализируются в степях Центрального Предкавказья (с выходом к Дону) и связаны исключительно с маньчским кругом памятников. Вне этой территории они встречены только на Северо-Восточном Кавказе и отличаются от «классических» калмыцких экземпляров явной сточкой лезвий, коротким черенком, отсутствием кованых фасок [Каменский, 1990].

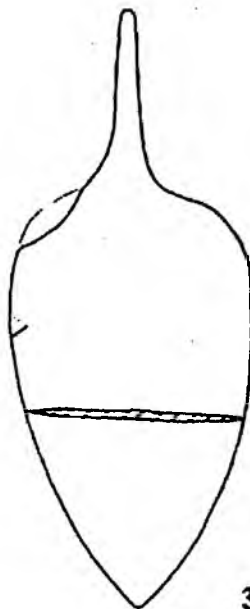
2. Орудия средних и крупных размеров (11–23 см) с коротким узким черенком, покатыми плечиками и широким лопатообразной формы клинком, который имеет подостренное окончание. Максимальная ширина клинка приходится на его верхнюю треть. Соотношение $B_k - L_k$ 1:1,5; $B_ч - B_k$ 1:6–8. Следы сработанности, имеющиеся на большинстве лезвий, заставляют думать, что клинки ножей данного типа изначально могли быть еще шире (рисунок, 3). Учтено 15 экземпляров, все они происходят с территории степного Предкавказья (Калмыкии и Ставрополья) и за единичным исключением, относящимся к раннему этапу (Восточный Маньч, 1965 г., курган 33/3), связаны с левобочными погребениями развитого катакомбного времени. Ножи аналогичных форм найдены на Кавказе в погребениях средней бронзы Грузии (2 экземпляра), Кабардино-Балкарии (2 экземпляра), Осетии



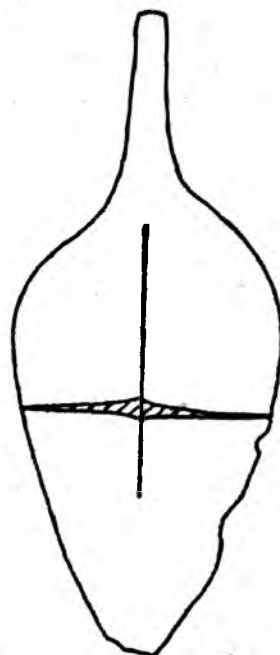
1



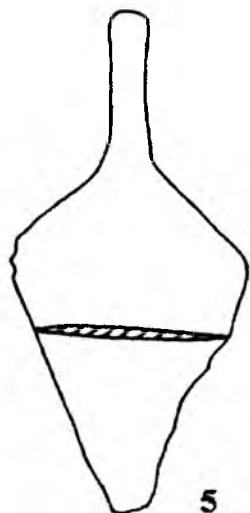
2



3



4



5



6



7

Машираб 1:2

Примеры локальных форм ножей
из погребений восточных регионов катакомбной культурно-исторической области

и Чечни (9 экземпляров) [Кореневский, 1984; Каменский, 1990; Джапаридзе, 1998]. Таким образом, находки рассматриваемого типа концентрируются в узкой зоне степей и предгорий Кавказа, преимущественно в его северо-восточной части. Особенностью степных ножей является наличие ребра жесткости в центре клинка (рисунок, 4).

3. Орудия средних размеров (9–14 см) с коротким черенком и широким треугольно-ромбовидным клинком, лезвия которого сходятся под прямым или близким ему острым углом. Соотношение Вк – Лк 1:1,5; Вч – Вк 1:5–7. По краю некоторых клинков намечены кованые фаски (рисунок, 5). Учен 21 экземпляр. Орудия данного типа найдены в погребениях манычского круга памятников степного Предкавказья (17 экземпляров) и левобережного Дона (4 экземпляра). Сходные формы ножей известны на Северном Кавказе, но в отличие от степных они имеют более вытянутые пропорции [Каменский, 1990]. Очевидно, рассматриваемый тип применялся главным образом в среде катакомбных племен Предкавказья и левобережного Дона, практически не встречаясь за пределами указанной территории ни в южном, ни в северо-западном направлениях.

4. Орудия средних размеров (12–17 см) с коротким черенком, резко выраженными плечиками и широким пятиугольным клинком. Максимальное расширение клинка приходится на его верхнюю треть, не имеющую специальных режущих кромок. У некоторых предметов на лезвиях прослежены кованые фаски (рисунок, 6). Соотношения Вк – Лк, Вч – Вк несущественны. Учтено 17 экземпляров. Кроме одного ножа из раннекатакомбного погребения степного Ставрополя (Чограй II, курган 8/10), все орудия найдены в западных регионах очерченной территории. Самые ранние из них известны на Северском Донце, где они относятся к преддонецкому горизонту катакомбных древностей. В последующий, раннедонецкий период эти формы появляются и на Нижнем Дону. Там они продолжают воспроизводиться вплоть до позднекатакомбного времени.

5. Орудия средних и крупных размеров (10–22 см) с коротким черенком, резко выраженными плечиками и клинком, стороны которого заметно сужаются к его окончанию. Максимальное расширение клинка приходится на его основание, при этом режущие кромки расположены в нижней трети клинка. Ножи данного типа отличаются выраженными ребрами жесткости (рисунок, 7). Соотношения Вк – Лк, Вч – Вк несущественны. Учтено 11 экземпляров. Эти находки концентрируются в бассейне Северского Донца и низовьях Дона. Они связаны только с погребениями позднекатакомбных культурных групп. В предкавказском и кавказском регионах такие формы неизвестны.

В технологическом отношении производство металлических ножей на рассматриваемой территории, по-

видимо, имело определенную локальную специфику. Основанием для такого заключения послужили результаты металлографического анализа 57 предметов, в том числе из погребений степного Предкавказья – 24 экземпляра, Нижнего Дона – 7 экз., Северо-Восточного Приазовья – 3 экз., бассейна Северского Донца – 23 экз. Проведенное исследование базировалось на методических принципах, разработанных И.Г. Равич и Н.В. Рындиной [1984].

Согласно полученным данным, большинство исследованных изделий изготовлено в единой технологической манере, предполагавшей кузнечную обработку литой заготовки в виде пластины или стержня. Ковка сопровождалась обязательными нагревами металла до t 300–600 °С, цельюковки было оформление контуров орудий. Особенно тщательно она велась у лезвийных кромок, на окончаниях клинка и черенка. Финальной кузнечной процедурой нередко являлся холодный наклеп, результатом которого было упрочнение металла орудий.

Вместе с тем, в ходе микроструктурных наблюдений была выявлена серия предметов, изготовленных с применением сварки. Они производились не из специально отлитой заготовки, а из полосового металлического лома. Ножи, выполненные по этой технологической схеме, найдены в погребениях манычского типа Калмыкии (5 экземпляров), левобережного Дона (1 экземпляр), Северского Донца (1 экземпляр). Случаи использования сварочных операций в период средней бронзы на Кавказе неизвестны. Представляется, что данная технология имеет степные корни, а ее эксплуатация связана, главным образом, с катакомбными мастерами Предкавказья, которые, ввиду отсутствия собственной рудной базы, испытывали явный недостаток слиткового металла и потому были вынуждены применять такую сложную и трудоемкую процедуру, как сварка.

К числу диагностирующих признаков уровня развития металлообработки относится технологическое качество выпускаемой продукции. Как показало металлографическое исследование, многие катакомбные ножи изготовлены с технологическим браком, причем в донецких материалах он составляет 15%, а в предкавказских – 40%. При этом по характеру брака намечаются особенности, отражающие специфику обработки металла мастерами отдельных регионов катакомбного ареала. К примеру, на Северском Донце наиболее часто допускался пережог металла при ковке, тогда как в Калмыкии – непровар металла при сварке. Примечательно, что в материалах Нижнего Подонья есть орудия и с тем, и с другим видом производственного брака.

Таким образом, полной однотипности морфологических и технологических стереотипов производства металлических ножей в восточной части катакомбного

ареала не наблюдается. Локальная специфика металлообработки проявляется, по крайней мере, в двух зонах рассматриваемой территории: донецкой и предкавказской (мамычской). Условной границей между ними, очевидно, является Дон. Вместе с тем, по данным сопоставления типологических признаков ножей, прослеживается

существенное отличие катакомбной металлообработки от кавказской (последняя, как постулируется, оказала непосредственное воздействие на формирование и развитие степного производства). Представляется, что указанные зоны соответствуют самостоятельным катакомбным очагам металлообработки эпохи средней бронзы.

М.М. ГЕРАСИМОВА

КРАНИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОРУССКИХ СТЕПЕЙ В ЭПОХУ РАННЕЙ И СРЕДНЕЙ БРОНЗЫ

В 1925 г., в предисловии к «Инструкции для измерения черепа и костей человека» М.П. Грязнова С.Н. Руденко писал: «Более полувека уже в России систематически ведутся раскопки могильников, курганов и других погребений, где вместе с бытовыми предметами в течение многих столетий покоились остатки самого человека. В результате, мы располагаем многочисленным материалом, позволяющим судить о последовательной смене культур на территории России, о географическом их распространении и связях с культурами, центры которых лежат за пределами нашего отечества. Много ли, вместе с тем, мы знаем о физическом типе творцов и носителей этих культур, об их... происхождении и взаимных генетических связях?» [Грязнов, Руденко, 1925]. С тех пор прошло три четверти века. За это время благодаря усилиям многих палеоантропологов были достигнуты значительные успехи в изучении останков некогда живших людей. В частности, накоплен значительный материал по краниологии населения южнорусских степей эпохи бронзы.

Южнорусские степи в эпоху бронзы составляли определенную культурную зону, в пределах которой население занималось преимущественно скотоводством, внутри этой зоны вычлняются различные территориальные и хронологические комплексы. Тем не менее приспособление к определенным экологическим условиям, и в связи с этим к хозяйственным традициям на ранних этапах человеческой истории, являлось значительным генетическим барьером и приводило к определенной пространственной локализации этногенетических процессов [Алексеев, Гохман, 1984]. В настоящий момент накопленный палеоантропологический материал степной бронзы описан, главным образом, в рамках городцовой триады: ямной, катакомбной и срубной культур. И это несмотря на существенное усложнение культурно-хронологической схемы степных южнорусских и предкавказских комплексов. Это объясняется разными причинами. Прежде всего, малочисленностью отдельных краниологических серий, и в связи с этим необходимостью генерализации материала. Кроме того, огромная масса археологических

данных противоречиво интерпретируется с точки зрения культурогенеза в различных регионах: в Украине, в Поволжье, на Северном Кавказе и в Ставрополье (достаточно сравнить точки зрения И.В. Синицина, У.Э. Эрднева, В.А. Сафронова, В.И. Шилова, Л.С. Клейна, Р.М. Мунчаева, С.Н. Кореневского и др.). Схема Городцова продолжает оставаться, в известной мере, универсальной, особенно при сопоставлении материалов различных периодов и территорий.

Характеризуя население эпохи бронзы южнорусских степей суммарно, можно сказать, что оно было в целом европеоидным (оставим в стороне проблему монголоидной примеси в Поволжье в срубное время) и обладало комплексом признаков, получившим в литературе название «протоевропеоидного» [Дебец, 1948]. Внутри этого комплекса варианты выделялись с трудом из-за его слабой дифференциации и недостаточности, лакунарности материалов.

Был, однако, выделен «катакомбный» вариант, отличающийся более короткой мозговой коробкой. На основании материалов из Поволжья в срубное время, по данным Г.Ф. Дебца, рельеф черепа становился менее выраженным, происходило уменьшение продольного диаметра и ширины лица. Исходя из наблюдаемой хронологической последовательности, было сделано предположение, что грацилизация мозгового и лицевого скелета имеет достаточно универсальный характер [Дебец, 1948; 1961]. Эта концепция была принята практически всеми отечественными антропологами, и во многом вся сумма проблем, связанных с изучением населения степного европейского пояса, рассматривалась через призму эпохальной изменчивости [Кондукторова, 1956; 1969; 1973; Круц, 1923; Фирштейн, 1967; 1974, и т. д.]. С течением времени представление о едином морфологическом типе населения степной европейской бронзы вступало в противоречие с новыми данными. Пожалуй, одной из первых работ, отрицающей это положение, явилась работа М.М. Герасимова [1955]. Им была выделена группа черепов ямнокатакомбного этапа «не только из соображений, связанных

с хронологией, но ...и потому, что черепа этого переходного этапа резко отличались от черепов ...собственно древнеямных». Затем появились работы Б.В. Фирштейн [1967] и А.В. Шевченко [1973; 1974; 1977], авторы которых обращали наше внимание на сложность антропологического состава древнеямных, катакомбных и срубных племен, в частности Нижнего и Среднего Поволжья.

Несмотря на огромные масштабы археологических раскопок (особенно новостроечных), в палеоантропологическом плане обширный ареал распространения степных курганных культур эпохи бронзы изучен крайне неравномерно. Лучше всего изучена Украина [Круц, 1984], затем Нижнее и Среднее Поволжье [Шевченко, 1986; Хохлова, 1999; 2001], Ставрополье (неопубликованные материалы Герасимовой, Яблонского, Пежемского) и совсем слабо – Подонье [Алексеев, 1983].

Позволю себе краткое изложение результатов региональных анализов краниологических материалов по отдельным культурно-хронологическим средам.

Начну с ямной культурно-исторической общности. Наблюдаемое межгрупповое разнообразие ямников обнаруживает определенные закономерности географического распределения. Население степного Приднепровья в массе было длинноголовым, массивным, со среднешироким и средневысоким лицом, с явно выраженным протоевропеоидным комплексом признаков [Круц, 1984]. В Северо-Западном Причерноморье, Буго-Ингульском междуречье, в Херсонской области наблюдаются меньшая матуризованность мозговой коробки, скуловой диаметр ниже средних величин и высота лица выше средних величин, что отличает эти серии от остальных ямных серий. На юго-восточной окраине древнеямного ареала (могильники Калмыкии, Подонья и Астраханского Правобережья) наблюдается резкая морфологическая спецификация. Эти серии характеризуются сочетанием брахикрании с более низким и значительно более широким лицом. Самой широкой мозговой коробкой и самым широким лицом обладают ямники Астраханского Правобережья (Кривая Лука) [Шевченко, 1986]. Ямники Ставрополья (по неопубликованным материалам Герасимовой, Яблонского, Пежемского) занимают как бы промежуточное положение по черепному указателю между сериями с западных территорий распространения этой культуры и прикаспийскими ямниками. Однако от калмыцких серий серия из Ставрополья отличается более длинным и низким черепом, более высоким и широким лицом, высоким носом. Наряду с увеличением к востоку ширины лица и поперечного диаметра черепа происходит увеличение угла выпуклости носа до $37,6^\circ$ на реке Молочной и 37° на Нижнем Дону [Шевченко, 1980].

Для каждой из территориальных групп ямного населения, которые представлены краниологически, за их сум-

марной характеристикой кроется морфологическое разнообразие, устанавливаемое как типологически, так и вероятностно-статистическим методом [Вунч, 1958; Гинзбург, 1957; Фирштейн, 1967; Зиневич, 1967; 1972; Круц, 1972; 1977; 1984; Шевченко, 1986]. С.И. Круц в степном Приднепровье, наряду с массивным долихоцефальным вариантом, со среднешироким и средневысоким лицом, выделяет вариант с более высоким и узким лицом, ближайшие аналогии которому она видит в населении кемибобинской культуры. Г.П. Зиневич также считает, что более узколицый, менее массивный вариант наиболее отчетливо проявляется на юго-западе ямной культурно-исторической общности. А.В. Шевченко выявляет у калмыцких ямников несколько слагаемых элементов, которые он увязывает с неолитическим населением Приазовья – Надпорожья, с энеолитическим населением Самарского Поволжья (Съезжинский могильник) и с населением культуры Средний Стог. Некоторые особенности строения черепа ставропольских ямников позволяют предположить участие в их расогенезе северокавказского населения.

Немногочисленность отдельных региональных серий ямного времени, их лакунарность не дают возможности однозначно ответить на вопрос о генетических корнях этой культуры и ее прародине. В связи с дискуссией о месте возникновения древнеямных традиций большое значение приобретает открытие в Поволжье Хвалыньских могильников. Суммарное сопоставление серии ямников Поволжья свидетельствует об их большей близости к умеренно широколицым хвалыньским черепам, нежели к гиперморфным неолитическим сериям Украины [Яблонский, Хохлов, 1994; Хохлов, 1998; 2000]. В связи с этим известный интерес приобретает идея А.В. Шевченко [1986] о том, что курганную традицию в южнорусские степи принесли выходцы из Подунавья, которые, двигаясь на восток, включали в свой состав группы энеолитического населения Восточной Европы, в частности среднестоговского, оттесняя их в лесостепные районы Заволжья и субаридную зону Северо-Западного Прикаспия. Аргументами для такого утверждения служит типологическое сходство серий черепов культуры «окрашенных костяков» Румынии с некоторыми ямными сериями западного ареала распространения ямников и, по мнению А.В. Шевченко, достаточно поздние ямные комплексы Калмыкии и Астраханского Правобережья.

Таким образом, физический тип прикаспийских ямников может рассматриваться как «конечный продукт расогенеза, длившегося несколько столетий», а брахикрания может объясняться закономерным проявлением эпохальной изменчивости. Для выяснения прародины ямной культуры существенным моментом явится картина распространения долихокраних и брахикраних

вариантов во времени и пространстве, которая будет соответствовать вектору эпохальной изменчивости.

Катакомбная культура, археологически представленная большим количеством локальных вариантов, антропологически изучена крайне неравномерно. Большой массив данных происходит из степного Приднепровья [Круц, 1984]. Антропологический тип катакомбного населения Украины представляет собой мезокранный широколицый европеидный вариант. Возможность археологического членения на раннекатакомбные и позднекатакомбные серии показала, что ранние катакомбники – долихокранные, узко- и высоколицые формы. Поздние – мезокранные, более широколицые и низколицые формы. Эти же два варианта прослеживаются и в связи со способами труположения. Первый – в погребениях со скорченными костяками, второй – в погребениях с вытянутыми костяками [Круц, 1972]. В погребениях выделенной особой ингульской катакомбной культуры обнаруживается тот же антропологический вариант, что и в позднекатакомбных, – мезокранный, широколицый и низколицый. Второй, наиболее хорошо изученный район, – это Поволжье [Шевченко, 1986], в частности Калмыкия. В калмыцких материалах выделяются две локальных группы: чограйская и эллистинская. Черепа первой группы относительно длиннее и выше, с более высоким лицом и сильно выступающим носом.

Анализ серии черепов из катакомб эпохи бронзы в Ставрополье показал ее значительное разнообразие, причем

была обнаружена известная сопряженность особенностей погребальной традиции с антропологическим типом погребенного. Как правило, погребенные в скорченном положении на боку имели долихокранную и узкую мозговую коробку, высокое и узкое лицо. Погребенные на спине с подогнутыми ногами были брахикранны и имели более широкое и низкое лицо. Возможно, что триада Городцова наложила отпечаток на комплектование серии черепов из различных культурно-хронологических групп, например ямно-катакомбных, катакомбно-северокавказских и маньчжурской катакомбной. Более дробная группировка антропологических материалов, безусловно, послужит более детальному изучению антропологических вариантов, свойственных отдельным группам населения. В условиях слабо расчлененного ландшафта в зоне евразийских степей вряд ли можно говорить о генетических барьерах, определяемых географической средой. Межпопуляционные контакты теоретически могли быть достаточно сильны, для образования перекрывающихся брачных кругов и формирования фенотипической изменчивости, характерной для панмиксного распространения генов. Между тем сохранение отличительных особенностей отдельных групп населения свидетельствует о сложных межпопуляционных отношениях, определяемых, возможно, социальными запретами, контролирующими характер и интенсивность брачных контактов с соседними популяциями.

О.И. ГОРЮНОВА

БРОНЗОВЫЙ ВЕК ПРИБАЙКАЛЯ: МОГИЛЬНИК ХУЖИР-НУГЭ XIV

(РИТУАЛ ПОГРЕБЕНИЯ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ)

Могильник Хужир-Нугэ XIV в настоящее время является одним из крупнейших некрополей бронзового века на территории Прибайкалья. Многолетние комплексные исследования позволили представить его полную планиграфию, получить богатую информацию по ритуалу погребения (в частности, по необычному сочетанию полной засыпки охрой с типичным для бронзового века Прибайкалья инвентарем), по материальной и духовной культуре; серия радиоуглеродных определений подтвердила археологическую датировку комплексов.

Древний могильник находится в 2 км к ЮЗ от пос. Сарма, в СВ части бухты Хужир-Нугэ (Малое море оз. Байкал). В административном делении это Ольхонский район Иркутской области. Некрополь обнаружен Маломорским отрядом БАНЭ ИГУ (О.И. Горюнова) в 1991 г. Частично он исследован Восточно-Прибайкальским отрядом экспедиции Иркутской лаборатории археологии и палео-

экологии Института археологии и этнографии СО РАН и Иркутского госуниверситета в 1993 г. [Горюнова, 1995]. Вскрыто пять погребений. Планомерные комплексные раскопки проведены Российско-Канадской экспедицией в 1997–2001 гг. при участии Отдела антропологии Университета Альберта, г. Эдмонтон, Канада [Горюнова, Вебер, 1997; 2000; 2001; Горюнова, Вебер и др., 1998; Горюнова, Вебер, Новиков, 1998]. За все годы исследования на могильнике вскрыто 79 погребений, из которых 78 относятся к бронзовому веку.

Захоронения размещались в межрядовых понижениях вдоль южного склона горы, на высоте от 15 до 30 м над уровнем Байкала. Протяженность основного могильника: с ЮЗ на СВ – 205 м, с СЗ на ЮВ – 40 м. Погребения, как правило, располагались компактными группами, образуя вдоль склона ряды-цепочки (13 рядов численностью до 5 могил), ориентированные по линии

С-Ю. Подобное размещение могил отмечено А.П. Окладниковым в исаковских, серовских и глазковских могильниках Приангарья и связывается им с кровным родством умерших [Окладников, 1950].

Восточная часть некрополя Хужир-Нугэ XIV наиболее насыщена могилами, здесь же отмечены более длинные цепочки погребений и крупные по размерам надмогильные сооружения (по 6,0–6,5 м). Последние были ограблены в древности, вследствие чего их надмогильные кладки имели вид кольцевых конструкций.

Могильник грунтовый. Захоронения располагались под каменными надмогильными сооружениями. Форма кладок овальная или округлая; конструкция сплошная, выложенная из плит породы в несколько слоев. В 26 случаях (из 78) надмогильные сооружения имели вид кольцевых или полукольцевых кладок. Однако все они были разрушены в древности, и, вероятно, их первоначальная конструкция была также сплошной. Ориентация сооружений по линии ЮЗ-З – СВ-В. Преимущественные размеры надмогильных кладок: 2,3–4,9 x 1,1–2,4 м; кольцевых сооружений: 5,0–6,5 x 4,0–5,0 м. Каменные кладки над коллективными и двойными захоронениями не отличались своими размерами от остальных могил.

Практически во всех захоронениях зафиксированы внутримогильные перекрытия (от одного до четырех), состоящие из каменных плит. Могильные ямы – овальные, ориентированные по линии ЮЗ-З – СВ-В. Ямы прорезали собой слой желтой щебенистой супеси и частично были выдолблены в скальной породе. Глубина могильных ям от 0,24 до 0,65 м (исключение составляет погребение 31, глубина которого 0,8 м). В девяти случаях могилы (71, 74, 76, 78, 82–86) ограничены вертикальными плитами в головах и ногах погребенных. В захоронениях 2 и 19 плита располагалась под головой погребенного.

Иногда могилы сопровождалась: небольшими выкладками в виде «розеток» из плит породы – две могилы (64, 79) и округлыми ямами глубиной до 0,35 м – четыре могилы (62, 71, 74–75), расположенными на уровне первого внутримогильного перекрытия, на расстоянии от 0,3 до 1,7 м от могил. Археологический материал зафиксирован только в яме у погребения 62 (игла из бронзы).

Преобладают индивидуальные захоронения 69 могил. Вскрыто одно коллективное (тройное) одноплоскостное погребение (25) и восемь двойных: одноплоскостных пять погребений (35–37, 57, 62) и ярусных три погребения (58–59, 80). В последних покойные отделены друг от друга каменными перекрытиями. Труположение в основном вытянутое на спине; в десяти случаях (п. 22, 24, 34, 51, 55, 57/1, 2, 58/2, 71, 82) – на спине с согнутыми в коленях ногами. В погребении 58 отмечены два труположения в одной могильной яме, что, возможно, свидетельствует об их одновременном существовании. Погре-

бение 1, видимо, повторное. Интересно отметить, что шейные позвонки погребенного 86 упирались вплотную в западную стенку могилы, ограниченную вертикальной плитой. Вероятно, покойного хоронили без головы. Ориентация всех погребенных единая – головой на ЮЗ-З.

В ритуале большую роль имел «очистительный» огонь, таких могил 45. Мощные зольники отмечены в 28 случаях на уровне внутримогильных перекрытий; отдельные углистые пятна – в 17 могилах. Однако действию огня подвергнуто лишь 13 погребенных. В ряде могил отмечены пласты бересты и остатки жженого дерева.

В 20 захоронениях отмечено использование охры. Степень ее окраски различная: в семи могилах она покрывала костяк и дно ямы, в шести могилах отмечена только на костях и в семи случаях – в виде отдельных пятен.

Использование в ритуале погребения огня (как и охры) встречается с различным труположением. В пяти могилах отмечено одновременное использование охры и «очистительного» огня.

В двух погребениях (9 и 57/2) зафиксированы следы насильственной смерти (наконечник стрелы в области правой брюшной полости, направленный острием к позвоннику, и наконечник, расположенный в левой половине груди, острием внутрь). Стрелы, пронзившие погребенных, отмечались в захоронениях бронзового века Прибайкалья и ранее [Окладников, 1950; 1955; Конопацкий, 1982, с. 62].

Сопроводительный инвентарь укладывали, как правило, в голове, у пояса, у голени погребенных (чаще – с левой стороны). Встречаются компактно уложенные изделия, видимо находящиеся в каких-то сумках. Вокруг головы, шеи, кистей рук, вдоль туловища и вокруг щиколоток часто фиксируются украшения, которыми, вероятно, обшивалась одежда и обувь погребенных. В 37 могилах найдены пастовые бусинки. Их количество в захоронениях различно – от 23 до 533 (п. 25) и 650 (п. 38). Судя по расположению бусинок, они нанизывались на нить и пришивались к одежде целыми рядами. В некоторых захоронениях (28, 37, 38) зафиксирован орнамент, составленный из вертикально и горизонтально нашитых нитей. В 18 погребениях найдены подвески из зубов марала, которыми, вероятно, также обшивали края одежды и головные уборы. В погребении 42 зафиксированы подвески из фаланг животных (11 штук). Одежду часто дополняли кольца и диски из светлого нефрита и мрамора (в 20 могилах), которые являлись характерными украшениями бронзового века Прибайкалья. Их расположение: у черепа и на груди. В числе украшений четыре кольца из бронзы и меди (п. 25 – 2 шт.; п. 52, 57 – 1 шт.).

Оформление одежды, головного убора и обуви пастовыми и перламутровыми бусами неоднократно отмечалось А.П. Окладниковым в серовских и глазковских погребениях Приангарья [Окладников, 1950; 1955]. Орудия

из металла представлены обломками ножей из меди (бронзы?) – погребения 4 и 74 и бронзовой иглой (п. 62).

Большую группу изделий составляют наконечники стрел из камня (24 погребения). Наконечники листовидные и подтреугольные: с прямой, округлой, слегка выпуклой, с вогнутой базой, симметричными и асимметричными шипами, с черенком и ромбовидные. В их числе наконечники в виде равносторонних и удлинённых треугольников; встречаются наконечники со скошенным расположением базы. В комплексе погребения 76 найден наконечник копья листовидной формы с округлой базой, его обработка бифасиальная.

Группа ножей представлена однолезвийными с красной обработкой лезвия, листовидными бифасами и шлифованными пластинчатыми ножами из зеленого нефрита.

В числе изделий из камня зафиксированы шлифованные топоры и тесла из зеленого нефрита, абразивы из мелкозернистого сланца, скребки, проколки, сверла, резец, отжимник из сланца, отщепы и пластинчатые сколы (многие из них – с ретушью), нуклеус, округлые мелкие галечки диаметром до 1 см (п. 77) и вкладыши-бифасы (п. 82, 83). В погребении 82 отмечено двадцать вкладышей, большинство из которых находилось *in situ*, образуя двулезвийный кинжал (обойма последнего не сохранилась).

Изделия из кости и рога: обломки двусторонних гарпунов (п. 2, 75, 86), игла (п. 61), наконечники стрел с ромбовидным сечением (п. 2, 74, 86), прямые стерженьки составных рыболовных крючков с отверстием в основании (п. 2, 74), остря, ложки с выпуклым (п. 31) и плоским (п. 61) резервуаром, проколки и лощила. В погребении 2 обнаружено костяное острие с выступами-шипами в основании.

В семи погребениях (3, 5, 9, 15–17, 28) встречены фрагменты штриховой и гладкостенной керамики, украшенные «отступающей лопаточкой». В могиле 28 зафиксирован штриховой сосуд простой закрытой формы, с круглым дном. Венчик украшен насечками, тулово – ромбовидно пересекающимися линиями, выполненными «отступающей лопаточкой». Орнамент покрывает верхнюю часть сосуда. Диаметр венчика 12 см, тулова 13 см, высота сосуда 16 см. По форме, композиции и технике нанесения орнамента он аналогичен сосуду из Листвяной Губы (слой 8), датируемому бронзовым веком – 3500±70 л.н. [Конопацкий, 1982].

Среди погребального материала 11 могил зафиксированы остатки фауны: зубы, клыки и челюсти медведя, бобра, соболя, лисы, кабарги, нерпы, лапки зайца, позвонки рыбы, когти медведя, отростки рога изюбря и обломки трубчатых костей.

В шести погребениях (7, 19, 22, 23, 26, 41) сопроводительный инвентарь отсутствовал.

В целом, анализируя материалы с могильника Хужир-Нугэ XIV, можно отметить аналогии с ранее исследованными захоронениями бронзового века Приольхонья и в целом Прибайкалья [Окладников, 1955; Горюнова, 1992; Гогоупова, 1995]. Это проявляется в планиграфии некрополя, в особенностях ритуала погребений: в конструкции и ориентации надмогильных сооружений, в труположении, использовании в ритуале огня (особенно на Верхней Лене и в Приольхонье), в наборе сопроводительного инвентаря. Наиболее близкие аналогии находим в материалах погребений: 2, 10, 35 (могильник Улярба); 2 (1972 г., Шаманский мыс) и 3 (Улан-Хады II) [Грязнов, 1960; Конопацкий, 1982, с. 59, 172, 174; Комарова, Шер, 1992, с. 34; Новиков, 1999]. Эти комплексы относятся к позднеглазковской культуре развитого бронзового века Прибайкалья, датируемого по аналогиям с сопредельными территориями (и особенно с могильником Сопка 2 в Западной Сибири) и по сопоставлению с комплексами многослойных стратифицированных поселений, XVI–XI вв. до н. э. [Горюнова, 1992; Горюнова, Хлобыстин, 1992, с. 52; Горюнова, Воробьева, 1993; Молодин, 1985]. Засыпка погребенного охрой в сочетании с обрядом, характерным для бронзового века Прибайкалья, впервые отмечена Л.П. Зяблиным в погребениях 6, 8, 10 могильника Улярба II в Приольхонье [Грязнов, 1960]. В числе сопроводительного инвентаря погребения 10 зафиксирована бронзовая игла, спектральный анализ которой показал сплав меди с оловом (до 11%), характерный для культур бронзового века 2-й половины II – начала I тыс. до н. э. [Герасимов, Черных, 1975, с. 47].

По погребениям могильника Хужир-Нугэ XIV получена серия (25 дат) радиоуглеродных определений диапазона от 4,3 до 2,6 тыс. л.н.; с отбросом крайних дат – 3,9–3,2 тыс. л.н. В целом эти определения укладываются в хронологические рамки развитого бронзового века Прибайкалья, однако нижняя граница выглядит несколько удрученной.

А.И. ГОТЛИБ

ГОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ-«СВЕ» – НОВЫЙ ВИД АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ В МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЕ

Минусинская котловина представляет собой один из богатейших в археологическом отношении регионов Сибири, где сосредоточены десятки тысяч памятников, по-

давливающее большинство которых курганы и погребальные комплексы. Современные научные представления о древней истории Южной Сибири во многом сформированы

на основании изучения погребальных памятников. Созданный перекоп в археологических исследованиях, акцентирующий внимание на специфическом проявлении человеческой культуры, каким собственно и является погребальный обряд, к сожалению, создает одностороннее восприятие картины жизни и культуры древних племен на территории Хакасско-Минусинской котловины. Особенно это актуально для эпохи бронзового века данного региона Сибири. Здесь известно считанное количество поселений этого времени. Многочисленные попытки обнаружить древние поселения, относящиеся к бронзовому веку, и тем самым заполнить образовавшийся пробел в представлениях о культурно-историческом развитии этой части Южной Сибири, остаются пока безуспешными [Савинов, 1996, с. 7, 8].

За последнее десятилетие количество вновь открытых поселений выросло незначительно, в пределах двух-трех памятников, несмотря на интенсивные поиски подобных объектов различными специалистами. Находка и исследование даже одного нового поселения в этих условиях кардинально могут изменить существующие представления о характере культур эпохи бронзы в Минусинской котловине, как это случилось с открытием поселения Торгажак, относящего к каменнолоожскому этапу карасукской культуры [Савинов, 1996].

В этом отношении большую роль для устранения данного пробела играет новый вид археологических источников, который по многим причинам ранее практически не изучался. Речь идет о таких выразительных и монументальных, и вместе с тем до недавнего времени почти не исследуемых памятниках, как горные архитектурно-фортификационные сооружения Хакасии, именуемые, согласно установившейся традиции, памятниками-«све» [Кузнецов-Красноярский, 1889]. «Све» в переводе с хакасского языка означает крепость. Эти археологические объекты достаточно широко распространены по территории Минусинской котловины и расположены они на вершинах гор повсеместно. В настоящее время выявлено более сорока подобных сооружений. Подавляющее большинство таких памятников находится на левом берегу Енисея в пределах современной Республики Хакасия.

Горные сооружения типа «све», как правило, в системе фортификации имеют массивные каменные стены, сложенные всухую из плоских плит песчаника или обломков камня. В некоторых случаях встречаются каменно-земляные валы. Сложившаяся хакасская фольклорная традиция считала подобные памятники средневековыми кыргызскими или монгольскими крепостями. Такая же традиция отношения к памятникам-«све» была характерна для многих исследователей до недавнего времени, а иногда бытует и сейчас [Кызласов Л.Р., 1963, с. 160–161; Кызласов И.Л., 1981, с. 202–203; Кызласов И.Л., Мылтыга-

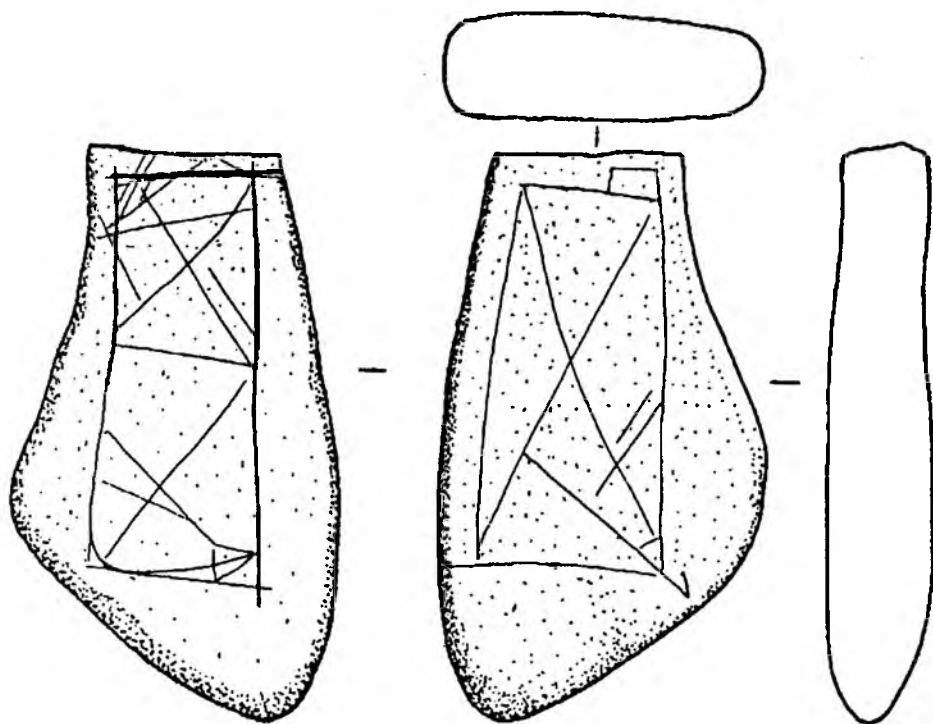
шева, 2001, с. 176]. В связи с отсутствием внешних признаков культурного слоя на таких памятниках долгое время существовало мнение, что горные сооружения-«све» мало перспективны в археологическом отношении, и по этой причине они почти не раскапывались и не изучались.

Научные исследования, проводившиеся в последние годы археологической лабораторией Хакасского государственного университета под руководством автора настоящей публикации, а также исследования археолога из Санкт-Петербурга М.Л. Подольского позволили убедительно доказать появление традиции строительства на горных вершинах архитектурно-фортификационных сооружений-«све», начиная еще с эпохи ранней бронзы [Готлиб, 1997, с. 134–151; Gotlib, 1999, с. 28–69; Подольский, 2001, с. 108–110]. В настоящее время в результате стационарных раскопок на территории Минусинской котловины получены достоверные доказательства о принадлежности пяти памятников-«све» к культурам бронзового века. Эти новые факты значительно меняют традиционные научные представления о памятниках-«све» и о характере развития культур бронзового века на территории Южной Сибири. В связи с этим возникают актуальные вопросы о функциональном назначении «све» и причинах, побудивших строительство подобных объектов и требовавших значительных физических усилий, а также о месте, которое они занимают среди других видов памятников археологии Минусинской котловины.

Слои бронзового века зафиксированы на таких горных сооружениях-«све», как памятники Змсиная (Чиланых тах, этот памятник исследуется М.Л. Подольским), Устанах, Чебаки, Чергатинская. Кроме того, полевые сборы на «све» Шишка в центре котловины, около г. Минусинска, также датируются эпохой бронзы.

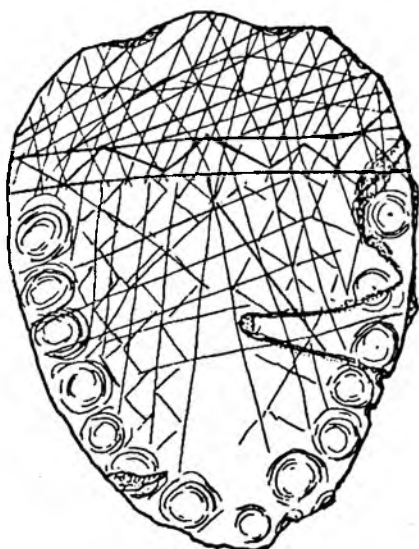
На «све» Устанах в культурном слое памятника фиксируются следы афанасьевской, окуневской и каменнолоожского этапа карасукской культур [Готлиб, 1995; Готлиб, 1997]. На горном сооружении Чебаки обнаружены мощные слои окуневской культуры, памятник продолжал свое существование и в каменнолоожский этап. На «све» Чергатинская также прослежены слои окуневского времени и каменнолоожского этапа карасукской культуры. Материалы раскопок горных сооружений-«све» Хакасии разнообразны и выразительны. Особенно это касается окуневской эпохи. При практически полном отсутствии поселений этого времени в Минусинской котловине, за исключением памятника Кадат VI, в случае с горными сооружениями-«све» мы имеем дело с яркими и чрезвычайно интересными архитектурными комплексами, содержащими многочисленные артефакты окуневской эпохи.

Особо значимое место в ряду подобных памятников занимает «све» Чебаки. Раскопки этого памятника позволили получить значительный объем нового научного

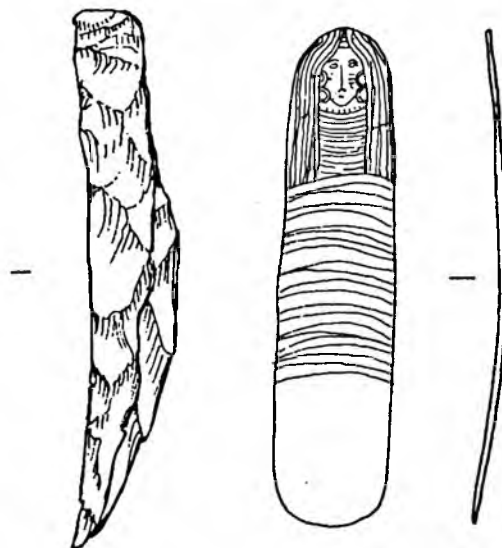


1

0 3 см



2



3

«Све» на горе Чебаки. Каменные и костяная находки

материала для характеристики эпохи ранних скотоводов на территории Южной Сибири. Предварительные итоги результатов раскопок впечатляющие [Gotlib, 1999, с. 29–69]. Исследование этого комплекса проводится планомерно, начиная с 1995 г., и за это время исследовано не менее 70% наиболее интересной части памятника – так называемой «цитадели». Общая площадь раскопа составляет около 400 кв. м. За годы исследований на территории площадки цитадели обнаружено большое количество артефактов. Одна из самых выразительных категорий, найденных при раскопках предметов, свидетельствующая об использовании «све» Чебаки в окуневское время, – это массовый керамический материал данного времени. Найдены многочисленные фрагменты венчиков, стенок и донцев окуневских сосудов (не менее 2100 фрагментов). В керамической коллекции представлено около 80 сосудов, некоторые из которых реконструируются достаточно полно. Окуневская керамика «све» Чебаки по характеру и орнаментации находит многочисленные аналоги в погребальных окуневских памятниках Минусинской котловины.

Несколько неожиданно выглядит находка на территории памятника небольшой серии фрагментов так называемых культовых «сосудов-курильниц». В коллекции керамики представлены фрагменты по меньшей мере от трех курильниц. Сам факт обнаружения курильниц на территории горных сооружений-«све» примечателен. В погребальных памятниках окуневской культуры курильницы, видимо, являются культовыми предметами и встречаются достаточно редко.

Выразителен и каменный инвентарь из раскопок «све» Чебаки. Обращает на себя внимание многочисленность и разнообразие видов изделий из камня. Среди орудий обнаружены кремневые наконечники стрел (90 штук, из них 40 экземпляров целы), шлифованные топоры (8 экземпляров), скребловидные орудия, так называемые «грузила», отбойники, абразивы, тесло из нефрита, украшения. Примечательна находка каменной подвески – штампа для нанесения орнамента на керамику.

Судя по всему, производство орудий частично происходило непосредственно в цитадели памятника. Подтверждением этого является обнаружение большого количества отходов каменной индустрии в виде разнообразных отщепов, сколов, чешуек и микропластинок, а также находки каменных орудий на различных стадиях обработки. Всего в ходе раскопок собрано не менее 3000 единиц отходов расщепления камня. Были также найдены заготовки незаконченных наконечников стрел и топоров.

В культурном слое памятника представлена и такая категория предметов, как изделия из кости. Обнаружены костяные проколки, лощила, наконечники стрел (?), пряслица, пластины, три костяных гарпуна и т. д. Схожие по форме гарпуны хорошо известны по раскопкам окунев-

ских курганов. Найдены единичные предметы из бронзы, в частности обломок лезвийной части ножа.

Среди наиболее примечательных находок окуневского времени, обнаруженных на территории цитадели при раскопках, следует отметить отдельные находки предметов искусства. В развале каменных плит упавшей части кладки стены была найдена песчаниковая плита с выбитой антропоморфной личиной окуневского типа, а при разборе окуневского слоя внутри цитадели были обнаружены три предмета мелкой пластики, относящихся к категории изобразительного искусства (рисунок, 1–3). Самой замечательной находкой такого рода стала костяная пластина, на зауженном конце которой тонкой гравировкой вырезано изображение женского лица (рисунок, 3). Такие костяные пластины прежде были известны в Минусинской котловине только по погребальным памятникам окуневской культуры.

Не менее интересны и другие находки предметов мелкой пластики (рисунок, 2). Одна из них представляет собой плоскую плитку песчаника эллипсоидной формы, края которой оббиты и тщательно прошлифованы. Лицевая поверхность плитки покрыта тонкими гравированными линиями, создающими сложный геометрический рисунок. Резные линии, перекрещивающиеся между собой, образуют разноформатные треугольники, ромбы, прямоугольники, фестоны. По внешнему периметру местами прослеживаются резные окружности, которые вписаны друг в друга. Ближайшими аналогами данной находки являются известные гравированные гальки из поселения Торгажак каменноложского времени [Савинов, 1996]. За десять лет раскопок горных памятников-«све» Хакасии это первый случай обнаружения подобных предметов изобразительного искусства эпохи ранней бронзы на вершинах гор.

Палеозоологические материалы раскопок «све» Чебаки весьма обширны и представительны. Вдоль каменных стен цитадели прослежены мощные скопления костей животных. Всего обнаружено более 41 тысячи обломков костей животных. Костные остатки представлены 16 видами диких животных и тремя видами домашних животных. Причем на долю диких животных приходится более 90% всех фаунистических остатков (определение зоолога М.В. Саблина).

На сегодняшнем этапе исследования памятника уже можно высказать ряд общих предварительных соображений по вопросу архитектурно-фортификационной планировки центральной части памятника, так называемой «цитадели». Планировочная схема цитадели достаточно сложная и имеет ряд специфических особенностей. Так, наиболее фундаментальная и массивная часть каменной стены находилась в центральной части цитадели, где древними строителями был выкопан

искусственный котлован длиной не менее 10 м и шириной до 4 м. В этой части памятника реконструируемая высота стены была около 2 м, а ширина около 2,5 м. К краям цитадели высота стен резко уменьшалась до 1 м и ниже. Скорее всего, котлован перекрывался сверху деревянными бревнами, которые одним концом укладывались на край котлована, а другим – на каменную кладку стены цитадели. При исследовании котлована по его краю обнаружены остатки деревянных бревен. Возможно, что данный котлован, основательно заглубленный в земляной грунт, служил своеобразным жилым помещением. Именно здесь при раскопках найдено наибольшее количество вещественных предметов, керамики, каменных отщепов и костей животных. На некоторых участках в котловане вдоль стены цитадели фиксировалось от 1500 до 2000 фрагментов костей животных с одного квадратного метра.

К юго-востоку от котлована, на краю цитадели, исследованы два каменных сооружения эллипсоидной формы, пристроенных к ее стене. Размеры сооружений 5 x 5,6 м. В культурном слое этих объектов найдены многочисленные обломки костей животных, фрагменты керамики, вещественные предметы. Датировка этих сооружений совпадает с окуневским временем функционирования «све» Чебаки. Достаточно выразителен и более поздний слой развития памятника, связанный с каменоложским этапом карасукской культуры.

На всех исследуемых горных памятниках-«све» при раскопках были выявлены яркие культурные слои, подтверждающие существование этих сооружений в эпоху бронзы. Все это свидетельствует не столько об эпизодическом посещении данных участков горных вершин, сколько о достаточно постоянном присутствии человека здесь в течение значительного времени и о строительстве фундаментальных каменных стен «све» и внутренних архитектурных объектов уже в эпоху бронзы.

Открытие совершенно нового вида археологических источников по изучению бронзового века Минусинской котловины, какими стали в последнее десятилетие горные сооружения-«све» Хакасии, значительно меняет наши представления о развитии древнескотоводче-

ского населения и его мировоззрении в эпоху бронзы в Южной Сибири.

Планомерные исследования горных памятников-«све» Хакасии находятся только в начальной стадии, но они уже дали массовые археологические материалы различных культур эпохи бронзы. И это обстоятельство выдвигает на первый план в исследованиях таких памятников проблему интерпретации горных сооружений Минусинской котловины как особого историко-культурного явления. Актуальными становятся вопросы о функциональном назначении памятников и причинах, побудивших древних скотоводов к строительству горных сооружений, требующих значительных физических усилий, а также о месте, которое они занимают среди других памятников археологии Южной Сибири.

Анализируя различные аспекты функциональных возможностей памятников-«све» эпохи бронзы Хакасии, следует определить основные потенциальные варианты использования этих объектов в древности. С нашей точки зрения, такими основными функциями могли быть: 1) оборонительно-крепостная, 2) поселенческая, 3) культово-сакральная. Вместе с тем все это, очевидно, лишь различные стороны восприятия того сложного явления, которое представлено памятниками-«све».

Как уже неоднократно отмечалось ранее, на данном этапе исследований этого нового вида археологических источников по древней истории Минусинской котловины невозможно однозначно определить функциональное назначение этих памятников [Готлиб и др. 1996, с. 34; Готлиб, 1997, с. 145–146]. Ясно одно – горные сооружения-«све» представляют собой целостные архитектурно-ландшафтные комплексы, возможно полифункционального назначения.

Несомненно, раскопки памятников-«све» Минусинской котловины существенно меняют традиционные представления о развитии и духовном мировоззрении населения этого региона в эпоху бронзового века. И как следствие этого, отрадно отметить, что в последнее время отмечается повышенный интерес исследователей к изучению подобных памятников как в самой Минусинской котловине, так и на соседних сопредельных территориях Южной Сибири.

А.В. ЕПИМАХОВ

МАЛО-КИЗЫЛЬСКОЕ СЕЛИЩЕ И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ КУЛЬТУР БРОНЗОВОГО ВЕКА УРАЛА

Время перехода от средней к поздней бронзе для территории Волго-Уралья остается предметом устойчивого интереса специалистов на протяжении последнего десятилетия. Причины очевидны – яркость группы памятни-

ков, связанных с функционированием волго-уральского (согласно мнению некоторых – южно-уральского) очага культурогенеза [Бочкарев, 1991; Отроценко, 1996], их ключевой характер в процессе формирования крупнейших

культурно-исторических общностей поздней бронзы – срубной и андроновской. На этом фоне остается до конца невыясненным культурогенез синташтинского населения Южного Зауралья, разброс мнений по поводу которого столь широк, что свести их к лапидарной характеристике – задача не из легких. Можно лишь констатировать, что большинство авторов придерживаются точки зрения о многочисленности исходных компонентов и о примате западного импульса [Виноградов, 1995; Зданович Г., Зданович Д., 1995]. С точки зрения автора, в этом процессе недооценена роль катакомбного населения.

Парадоксальность ситуации состоит в том, что пока явно не сформулированы признаки «синташтинской культуры» и, соответственно, не проведен детальный сравнительный анализ ни с одной из культур-прототипов. Между тем в памятниках синташтинского типа вполне уверенно констатируется доминирование абашевского субстрата [Кузьмина, 1992], или они включаются в абашевскую КИО [Пряхин, 1976 и др.]. Именно эта составляющая культурогенеза и была избрана нами для анализа¹. Естественным шагом стало обращение к наиболее близким территориально абашевским памятникам, среди которых особое место занимает Мало-Кизыльское селище, de facto единственный поселенческий памятник Зауралья.

История исследования памятника растянута во времени и связана в первую очередь с именами Н.Н. Бортвина и К.В. Сальникова. Первым был опубликован и интерпретирован Верхнекизыльский клад [Bortvin, 1928], обнаруженный местным жителем пос. Верхнекизыльский М.В. Бутаковым в 1926 г. Оказалось, правда, что из металлических вещей, уложенных в кожаную сумку вместе с комком тлена (ткани?), минимум два крупных изделия – вислобушный топор и тесло (?) были утаены находчиком для использования в качестве паяльника. Согласно другим сведениям, в составе клада были также керамические сосуды и камни, на одном из которых были нанесены «знаки» (?).

Впоследствии усилиями К.В. Сальникова место находки было переобследовано в 1948 г., и в результате установлена связь находки с поселенческим памятником, который по названию реки был назван Мало-Кизыльским селищем. В дальнейшем в течение двух полевых сезонов (1949–1950 гг.) тремя раскопами и траншеей было исследовано около 400 кв. м. Сохранность селища была такова, что автор раскопок оказался в ситуации, когда даже оценка первоначальных размеров памятника оказалась невозможна. Негативными факторами стали глубокое залегание культурного слоя, изменение русла реки и антропогенное воздействие (разработка карьера, строительство плотины, домов и т. п.). В результате двухлетних работ были изучены два участка огородов и выполнена зачистка борта современной траншеи. Объем

подъемных сборов также дал ограниченные материалы. Несмотря на столь неблагоприятные обстоятельства, памятник дал чрезвычайно важные и богатые материалы раскопок, которые были опубликованы автором [Сальников, 1950; 1951; 1954; 1967]. Однако сводка в последней монографии выполнена не очень четко, что осложняет анализ коллекции (избран мелкий масштаб отображения вещей, во многих случаях отсутствуют линейные масштабы, части прорисовок недостает сечений и т. п.). Метрические характеристики сосудов также остались за рамками книги.

За прошедшие десятилетия фонд источников пополнился мало, до сего дня селище остается наиболее ярким памятником абашевской культуры в Зауралье, а также практически единственным «представителем» ее магнитогорского варианта [Сальников, 1967, с. 124–127]. Между тем существенно изменился уровень наших знаний в отношении сопредельных восточных территорий, сложилось или складывается новое понимание событий и процессов периода рубежа средней и поздней бронзы. Все это делает неизбежным повторное обращение к результатам полевых исследований 40 – начала 50-х гг. Кроме того, сегодня существенно изменились и требования к обработке и публикации материалов.

К настоящему времени анализ материалов осложняется рядом обстоятельств. Во-первых, надежды на продолжение раскопок практически минимальны. В ходе осмотра Д.В. Нелиным места работ К.В. Сальникова выяснилось, что территория занята усадебной застройкой. Во-вторых, площадь раскопа, разделенного к тому же на два участка, равно как и особенности лесостепной стратиграфии, оставляли мало надежд на возможность архитектурных наблюдений. В-третьих, коллекция поселения и полевые материалы оказались разобщены. Коллекция поселения хранится в Челябинском областном и Магнитогорском краеведческом музеях, а Верхнекизыльский клад находится в Свердловском областном краеведческом музее². Архив исследователя хранится в Уфе, часть полевой документации имеется в Челябинске. В итоге даже реставрация керамики Мало-Кизыльского селища оказалась затруднена, так как части одних сосудов оказались в фондах разных городов. Есть «потери» и из числа металлических изделий, в частности не удалось обнаружить большую часть браслетов, вислобушный топор, контурная прорисовка которого имеется в публикации К.В. Сальникова [1954, с. 76; 1967, с. 42, 55] и др. Что касается отчетов, то они оказались мало полезны при идентификации отдельных вещей, так как в соответствии с требованиями 40-х гг. в них не содержится прорисовок и фотографий артефактов. Таким образом, перед нами стояла группа источниковедческих и аналитических задач, в ходе решения которых предполагалось прояснить

вопросы о хронологической позиции памятника, вариантах культурной идентификации, возможности использования материалов при решении проблемы генезиса памятников синташтинского типа.

Мало-Кизыльское селище располагалось на северном берегу старицы р. Малый Кизыл (правый приток р. Урал), в 1,5 км от устья, в границах пос. Супряк (ССЗ окраина г. Магнитогорска Челябинской области). С точки зрения ландшафтного районирования данный район является пограничной зоной степи и лесостепных предгорий восточного склона Урала. Кроме Мало-Кизыльского селища к числу поселенческих абашевских памятников Зауралья может быть отнесен только ранний горизонт городища Серный Ключ (близ г. Нязепетровск Челябинской области), расположенного 300 км к северу, в зоне смешанных лесов [Борзунов, 1998], а также выделенная типологически группа керамики из раскопок в зоне Аргазинского водохранилища [Петрин и др., 1993, с. 111]. Существенно расширить этот список за счет погребальных памятников также невозможно. Упомянуть можно лишь немногочисленные курганы могильников IV Тавлыкаевский, I Альмухаметовский, Юкалекулево [Горбунов, 1986, с. 76] и Баишевский [Обыденнова, 1996].

Обращаясь к результатам раскопок селища, приходится сожалеть о мизерности информации об архитектурных остатках, являющихся одной из ярчайших черт синташтинских укрепленных поселений. Можно лишь констатировать, что в раскопанной части не было выявлено следов монументальных укреплений, а техника домостроительства не обнаруживает черт сходства с синташтинскими каркасно-столбовыми конструкциями, «блочной» застройкой в виде «жилой стены» и т. п. Существенно отличается и конструкция прямоугольных малокизыльских очагов с использованием камня. Следует оговориться, что конфигурация «канавы», выявленной в периферийных участках раскопок, не исключает наличия фортификационных элементов. В таком случае слабая насыщенность находками раскопок I и II, как и предполагал К.В. Сальников, объясняется расположением основной части поселения (возможно, ограниченной рвом) к северу от исследованных участков. Если верно это предположение, то площадь памятника могла быть оценена примерно в 10–12 тыс. кв. м.

Значительным своеобразием характеризуется и состав остеологической коллекции (определения выполнены И.А. Дуброво в 1950 г.), в которой резко преобладает крупный рогатый скот [Сальников, 1967, с. 48]. Чрезвычайно интересный факт обнаружения трех частично обожженных скелетов, как и находка останков нескольких индивидов в неканонических позах, был интерпретирован автором раскопок как свидетельство ритуальной деятельности. Однако более обоснованной представляется

выдвинутая Е.Н. Черных [1972, с. 69] и обоснованная А.Д. Пряхиным версия о военной катастрофе, постигшей жителей [Пряхин, 1976, с. 108–109].

Виды животных	Количество костей	%	Количество особей	%
Крупный рогатый скот	512	77,2	37	64,9
Мелкий рогатый скот	117	17,7	15	26,3
Лошадь	24	3,6	2	3,5
Собака	6	0,9	2	3,5
Косуля	4	0,6	1	1,8
Всего	663	100	57	100

В условиях малочисленности остеологической коллекции, видимо, не стоит переоценивать полученные проценты, особенно в свете любой из выдвинутых интерпретаций. Однако некоторые выводы возможны. К сожалению, количество сравнительного материала с других абашевских поселений [Горбунов, 1986, с. 56; 1992, с. 6–10] чрезвычайно ограничено. Наиболее примечательно отсутствие на Мало-Кизыльском селище следов содержания свиньи, кости которой в обязательном порядке встречаются на других памятниках данной культуры [Кузьмина, 2000]. В целом, по соотношению видов скота картина наиболее близка синташтинской [Косинцев, 2000]. Исключение составляет типичная для абашевских поселений единичность костей лошади³, доля которых в «синташте» достигает 15%. Это может быть увязано с мизерностью следов использования колесниц абашевским населением, хотя нередко в абашевской среде исследователи пытаются усмотреть истоки данной традиции.

Таким образом, в нашем распоряжении для анализа остается почти исключительно вещевой комплекс памятника, представленный всеми традиционными категориями инвентаря. Прежде всего следует остановиться на интерпретации Верхнекизыльскогоклада, в составе которого 40 изделий из меди и серебра, а также керамический сосуд. Обращает на себя внимание массивность большинства изделий, включая украшения. Именно они доминируют количественно (60%), хотя отчасти это достигнуто за счет скромных по металлоемкости пронизей (5), бляшек-«розеток» (3) и колец (2), а также похищения части вещей авторами находки. Доля орудий – около 30%, оружие составляет всего 10% всех вещей. Визуальным осмотром не выявлены надежные свидетельства эксплуатации вещей. Более того, некоторые экземпляры явно выглядят как нефункциональные.

Даже без учета клада Мало-Кизыльское селище выделяется среди поселенческих абашевских памятников обилием металла (более 40 единиц, т. е. в среднем одна находка на 10 кв. м). Правда, преобладание украшений еще более впечатляющее. Эта категория представлена практически всеми абашевскими типами (полушарные бляшки и бляшки-«розетки», браслеты, в том числе свинцовый; височные кольца, пронизи различных типов, очковидные подвески). Кроме того, в составе инвентаря – витая поделка («обмотка») из плоской полоски. Среди прочих изделий – вислобужный топор, тесло, однолезвийный нож, крючок, шилья. Нетрудно заметить, что к специализированным предметам вооружения может быть отнесен только топор, да и то с оговорками⁴.

Эта ситуация типична для абашевской КИО в целом [Большаков и др., 1994]. Баланбашский вариант выделяется наличием поселений со следами стационарного обитания, включая свидетельства развития собственной металлургии, которые обнаружены и на Мало-Кизыльском селище – шлаки (более десятка фрагментов), вкладыш литейной формы, каменный пест («мотыга»), фрагмент абразивной плиты («зернотерка») и др. Анализ химического состава в памятнике металла выполнен и опубликован достаточно давно [Сальников, 1967, с. 66; Черных, 1970, с. 157–158]. Статистически достоверной примесью в сплавах меди является только мышьяк, который, по мнению упомянутых авторов, является естественной составляющей руды из месторождений Бакр-Узяк и Таш-Казган. Последнее утверждение подверг сомнению С. А. Григорьев, считающий наличие мышьяка отражением традиции искусственного легирования [Григорьев, 1996], но не отрицающий местного характера металлургического производства.

Остальной инвентарь немногочислен. За вычетом упомянутых наконечников стрел, из которых как минимум один имел выделенный черенок, достойно упоминания каменные навершие булавы («заготовка») чрезвычайно редкой шестиконечной формы. В площади раскопа обнаружены каменный диск, костяное пряслице, а также более двух десятков кремневых пластин и отщепов.

Керамическая коллекция памятника отличается относительно хорошей сохранностью сосудов, число которых составило около 60. Выводы технологического анализа⁵ в конспективном изложении следующие. При отборе исходного сырья предпочтение отдавалось средне- и слабожелезненным глинам, редко применялось илистое глиноподобное сырье. Диагностируя традиции подготовки формовочных масс, приходится констатировать абсолютное доминирование типично уральской искусственной примеси – тальковой дресвы (95%). Примерно в равных долях представлены шамот и дресва кварцевая (13–15%). Основной программой конструирования начинающе была

донно-емкостная (из девяти сосудов, для которых удалось ее установить, лишь один характеризуется емкостным началом). Для конструирования пологого тела использовался только лоскутный налп. Особенностью способов придания форм было трехкратное преобладание сосудов, изготовленных с помощью форм-емкостей, над изготовленными с помощью формы-основы. Не исключено, что малые сосуды были выполнены способом скульптурной лепки. Поверхность 90% сосудов заглажена гладким, редко зубчатым инструментом, в остальных случаях применено лощение по подсушенной (единожды по влажной) поверхности.

Морфологически серия довольно разнообразна. Детальность выводов лимитирована фрагментацией большей части сосудов, что особенно сказалось на наиболее крупных из них. Наибольший процент составляют крупные (30–40 см по венчику) слабопрофилированные горшечные и горшечно-баночные формы. Плечо таких сосудов образовано за счет плавного расширения от шейки к тулову. Острореберные формы диагностируются только для трех сосудов среднего размера, которые отличаются и другими признаками (относительная тонкостенность; для двух при нанесении геометрического орнамента использован мелкогребенчатый штамп, один вовсе лишен орнамента и др.). Так называемые «светильники» составляют 8%. В составе коллекции имеются также две крупные и одна малая чаша, богато орнаментированные гребенчатым штампом. Минимум двумя экземплярами представлены яйцевидные сосуды. Оформление дна большинства сосудов установить трудно, однако округлая форма надежно выявлена только в одном случае и реконструируется предположительно еще в одном. Переход от стенки к днищу обычно очень плавный. Традиция орнамента дна зафиксирована только для малых форм. Описание формы венчиков может быть сведено к двум основным типам – округлым и плоским, второй более характерен для слабопрофилированных сосудов. Внутреннее ребро имеет каждый четвертый сосуд.

Степень орнаментированности посуды высока (97%). Система зонирования орнамента различна для каждой из форм. Для слабопрофилированных и яйцевидных сосудов характерно заполнение простыми элементами верхней части, включая плечо, которое не подчеркивается орнаментальными средствами. Из шести сосудов (13%) с орнаментированной внутренней поверхностью венчика четыре характеризуются наличием внутреннего ребра, два других сосуда – чаши. Срез венчика орнаментирован у шести сосудов.

В технике нанесения орнамента доминирует традиция использования зубчатого (66%) и гладкого (26%) штампов, наряду с которыми встречаются давлениа, пророчерчивание, каннелюра. Единичными примерами

представлены нервюра, «шагающая гребенка», желобок и отступающая палочка. Количественно среди орнаментальных мотивов преобладают горизонтальные линии, простые и многорядные зигзаги. Геометрических фигур (треугольники, ромбы, меандр) сравнительно мало, и связаны они почти исключительно с остросереберными формами и чашами. Обращает на себя внимание почти полное «игнорирование» криволинейных мотивов (3% керамики) – волны и фестона⁶ и отсутствие рельефных элементов – наклепного или сформованного валика и «шишечек» [Горбунов, 1986, с. 81], нередких в абашевских и синташтинских коллекциях.

Подводя некоторые итоги анализа керамики, можно констатировать следующее. На уровне субстратных, наиболее консервативных, навыков конструирования сосуда культурные традиции относительно однородны. Однако на ступени формообразования наметились две тенденции развития – применение форм-емкостей и форм-основ. Процессы смещения более активно проявляются на уровне приспособительных навыков. Наиболее очевидным свидетельством этих процессов является широкое использование тальковой дресвы наряду с кварцевой и шамотом. Подтверждением смещения традиций являются и особенности орнаментации керамики. Нет четкой дифференциации зубчатых штампов по типу. Остается впечатление об относительно позднем овладении этим инструментом, что косвенно подтверждается преобладанием крупных и средних штампов и другими деталями. Важным выводом технологического анализа является большее технологическое сходство керамики Мало-Кизыльского селища с поздним этапом синташтинского гончарства (могильник Кривое Озеро и поселение Устье), чем с ранним (Синташта, Аркаим). Наличие сосудов с округлым или уплощенным дном не может быть аргументом ранней даты, поскольку примеры такого рода не редкость для абашевской, срубно-абашевской и даже срубной керамики.

Данные выводы технологического анализа не могут быть признаны окончательными, поскольку необходима обработка по единой программе других абашевских памятников, а также керамики сургандинской, ямной и иных культур с целью создания эталонных серий. Тем не менее возможность относительно поздней даты Мало-Кизыльского селища подтверждается и другими параллелями. Наиболее очевидной является находка витой металлической поделки, прямые аналогии которой имеются не только в курганах культуры многоваликовой керамики, но и в синташтинских погребениях могильника Солнце II [Епимахов, 1993, с. 38] и Каменный Амбар 5 [Костюков и др., 1995, с. 197]. Последнее в рамках синташтинских древностей занимает относительно позднюю хронологическую позицию. Этот же памятник дает еще одну прямую аналогию упомянутому наверху бузавы

[Костюков и др., 1995, с. 199]. Впрочем, обнаружение такого изделия на вольско-лбищенском поселении в Поволжье [Васильев и др., 1987, с. 46, 54], да и сама редкость находок, удерживают нас от категоричного вывода.

Несмотря на многочисленные оговорки о специфичности материалов Мало-Кизыльского селища, у нас нет сомнений по поводу правильности вывода о включении памятника в круг абашевских древностей. Вместе с тем интерпретация ряда неабашевских черт вызывает определенные затруднения. Со времен К.В. Сальникова утвердился тезис о существовании контактов с энеолитическим населением. Правда, в пределах Мало-Кизыльского селища встречено довольно значительное количество пластин и отщепов, что может быть отражением разновременности отложившихся материалов. В этом случае перед нами встает проблема раздела керамической коллекции на два комплекса. По формальным признакам это сделать несложно, однако мы придерживаемся мнения об одновременности формирования комплекса, на что, в частности, указывает примерно одинаковая сохранность сосудов всех групп.

Тем не менее ряд черт керамики, в том числе и технологических, адресует нас к древним уральским, а не средневожско-абашевским традициям, в то время как большинство исследователей придерживаются мнения об относительно позднем возрасте баланбашских памятников в системе абашевской общности. Таким образом, возникновение прочной оседлости и связанного с ней комплекса культурных черт относится к позднему этапу существования абашевской КИО. Принимая этот тезис, мы обязаны объяснить причины существенного расхождения облика средневожских и уральских памятников данной общности. Кроме хронологического фактора явно сказывался и культурный – в рамках сугубо эволюционных построений вряд ли удастся установить истоки домостроительных, металлургических и иных традиций уральского «абашева». Между тем именно эти черты, как и определенное сходство керамического комплекса, часто являются основанием для тезиса об абашевских корнях «синташты».

Гораздо менее прост ответ на вопрос о причинах сходства материалов Мало-Кизыльского селища с синташтинскими. Теоретически возможны следующие варианты: прямая генетическая преемственность культурных стереотипов, единство происхождения, результат контактов разнотипного населения. Естественно, реальная ситуация могла сочетать эти сценарии. Симптоматичным выглядит заключение об отсутствии прямой генетической связи между абашевским и синташтинским комплексами погребальной керамики [Мочалов, 1999].

О возможности частичной синхронизации уральских абашевских и синташтинских памятников автору этих строк уже приходилось высказываться [Епимахов, 1993;

2001]. Особенно красноречивы в этом отношении следы прямого абашевского влияния в зауральских памятниках петровской и алакульской культур. Однако вопрос хронологии, даже при условии его надежного решения, не может подменить содержательного анализа. Мы полагаем, что наличие абашевско-синташтинских черт, с одной стороны, объясняется распространением эпохальных стереотипов (в первую очередь, форм металлических изделий), связанных с катакомбным наследием, а с другой – является результирующей длительных контактов населения, проживавшего на сопредельных территориях, но занимавшего разные экологические ниши. Сравнительно немногочисленное собственно абашевское население в Зауралье само оказалось под влиянием местных энеолитических (суртандинских ?) традиций. Что касается «синташты», то здесь этот пласт практически не ощущается [Мосин, 1990], в этой связи неслучайно относительное единодушие исследователей в отстаивании тезиса о пришлое характере данной группы населения. В числе возможных объяснений этого наблюдения не только хронологический разрыв между синташтинскими и энеолитическими памятниками, но и мизерная численность по-

следней группы населения. Гипотеза о связанном с аридизацией экологическом кризисе в Зауралье накануне бурных событий синташтинского культурогенеза как будто не противоречит такому предположению [Лаврушин, Спиридонова, 1999, с. 100].

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 01-01-00212а.

¹ Выводы публикации базируются на работе соавторов по гранту А.И. Гуткова, М.Г. Епимаховой, Д.В. Нелина.

² Пользуясь случаем, приношу глубокую благодарность руководству и хранителям перечисленных музеев за активную и бескорыстную помощь в осуществлении настоящей работы.

³ Это особенно очевидно, когда в распоряжении палеозоологов оказываются большие серии костного материала.

⁴ Этот вывод может быть уверенно распространен и на остальную часть коллекции, поскольку список можно расширить разве что за счет двух каменных наконечников стрел.

⁵ Выполнен А.И. Гутковым.

⁶ Пример последнего приведен в публикациях К.В. Сальникова [1967, с. 88 и далее], но увы, не обнаружен в составе коллекций.

Ю.Н. ЕСИН

ПРОБЛЕМЫ СЕМАНТИКИ АНТРОПОМОРФНЫХ ЛИКОВ ОКУНЕВСКОГО ИСКУССТВА

Одной из тем, которой были посвящены работы М.П. Грязнова, является искусство, связанное с окуневской археологической культурой, существовавшей во II тыс. до н. э. в Южной Сибири. Отличительная особенность окуневского искусства – рисунки сложных антропоморфных ликов, разделенных на два или три яруса поперечными линиями, противопоставляющими друг другу глаза, ноздри и рот (рис. 1, 3, 4). В работах ряда исследователей такая композиция объясняется соотношением с представлениями о трехъярусной вертикальной структуре мира (небо, воздушное пространство, земля) [Подольский, 1985, с. 112–113; Кызласов Л. Р., 1986, с. 199; Кызласов И. Л., 1987, с. 128–130; Есин, 1999, с. 144–145]. Однако по вопросу смысла конкретных изобразительных элементов ликов единства мнений нет.

В частности, дискуссионным остается вопрос о семантике кружков, используемых для передачи глаз. Еще на заре изучения семантики окуневского искусства И.Т. Савенков предположил, что три глаза окуневских ликов символизируют восходящее, полуденное и заходящее солнце. Идея отождествления глаз ликов со светилом была поддержана и развита А.И. Мартыновым [1983, с. 25],

М.Л. Подольским [1985, с. 113], Л.Р. Кызласовым [1986, с. 235–236], И.Л. Кызласовым [1987, с. 129], привлекавшими для ее обоснования различные инокультурные аналогии. Другим аргументом солярного значения глаз выступал единичный случай изображения на месте «третьего глаза» кружка с четырьмя уголками, который ранее считался рисунком солнца [Леонтьев, 1978, с. 116–117; Кызласов Л. Р., 1986, с. 236; Кызласов И. Л., 1987, с. 128]. В последнее время Н.В. Леонтьевым предложена интерпретация кружков глаз как символа луны. Его аргументация строится на том, что кружок в некоторых композициях замещается выгнутой вниз дугой, которая может ассоциироваться с лунным серпом. По Н.В. Леонтьеву, кружок и «серпик» семантически эквивалентны, но символизируют разные состояния луны [Леонтьев, 1997, с. 229; 2001, с. 12–13]. Однако такое объяснение противоречит другим композициям, в которых используется кружок. Например, это касается его сочетания с четырьмя уголками, которые являются символом четырех Мировых гор и связаны с горизонтальной моделью мира [Есин, 2000, с. 115; Леонтьев, 2000, с. 33]. Поэтому необходимо дальнейшее изучение семантики изображений глаз на основе ис-

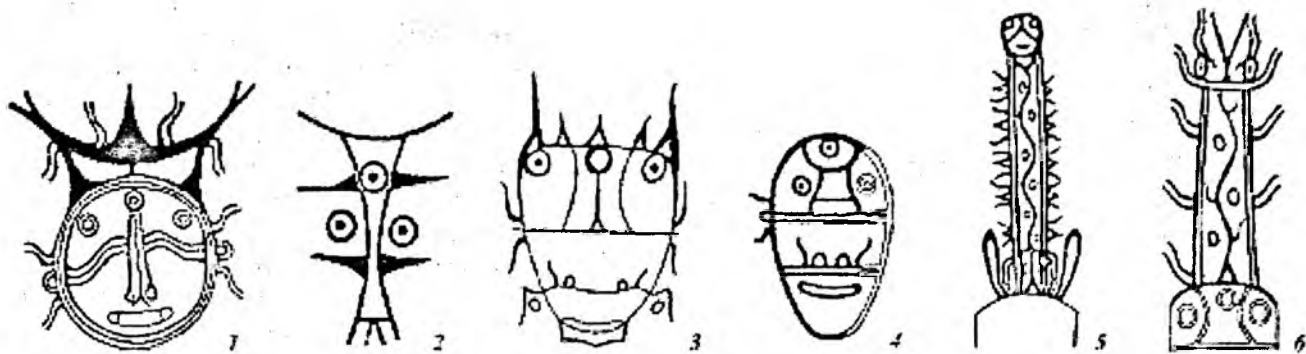


Рис. 1. Знаки столпа окуневской культуры: 1, 3 – Черновая XIII, с. Маяки (по Э.Б. Вадецкой); 2 – Утух-Хая-Кисте; 4–6 – Изых, р. Аскиз, р. Уйбат (по Н.В. Леонтьеву)

пользования внутренних информативных возможностей знаковой системы окуневского искусства.

Рассмотрим композицию, в которой кружок «третьего глаза» изображен на вершине вертикального элемента в виде двух сходящихся под углом прямых линий с извилистой линией в середине (либо без нее), змеиного языка, прямой линии (рис. 1, 1–3). Данные знаки располагаются в верхней части ликов и в антропоморфном контексте символизируют нос, а с точки зрения космологического кода должны означать космический столп, гору. Последнее подтверждается тем, что аналогичные знаки изображались также за пределами ликов, а в наиболее полном варианте эта вертикаль предстает телом змея с головой внизу (рис. 1, 5). Такая структура знака подобна символизирувавшему космический столп окуневским изваяниям, которые иногда показаны в виде тела змея с пастью в нижнем ярусе [Есин, 2000, с. 114].

Внутри кружка на вершине наиболее полного варианта знака столпа изображен антропоморфный лик с двумя вертикальными дугами, что аналогично структуре всей верхней, «небесной» зоны сложного лика с трехъярусным членением (рис. 1, 5). Следовательно, этот и равнозначные ему обычные кружки на вершине знаков столпа, выступающие «третьим глазом» (рис. 1, 1–3), соответствуют всей верхней зоне трехъярусного лика, а значит, символизируют не отдельные светила, а все небо, которое поддерживается столпом. Кружки передают верхний мир в плане – как линию горизонта или границу небесного свода. Поскольку «третий глаз» равнозначен всей верхней зоне сложного лика, то он связан с «третьим», высшим небом, где преодолеваются различия двух других частей неба, обозначенных двумя другими кружками глаз, которые могут соотноситься с западом и востоком, утренним и вечерним небом и т. п.

Упрощенным вариантом окуневского изображения столпа с кружком неба на вершине является так называемая «антенна» в наголовье ликов окуневского времени Тувы [Дэвлет, 1997, табл. II]. Характерно, что кружок неба в тувинском варианте иногда разделен вертикальной линией на две части, что соответствует отмеченному выше выделению двух частей неба в окуневском искусстве.

Помимо кружка, передававшего небо в плане, на вершине окуневского столпа изображался знак в виде дуги, хотя чаще дуга, как и кружок, изображена в верхней части лика без опоры (рис. 1, 2, 4, 6). Дуге в верхней части лика соответствует горизонтальная дуга в верхней части изваяний и плит (рис. 1, 4, 6). Семантика данных знаков понималась по-разному. Так, дугам небольших размеров, выбитым одной линией, приписывалось значение лунного серпа [Хлобыстина, 1978, с. 160; Кызласов Л. Р., 1986, с. 228; Леонтьев, 1997, с. 229]. Один из таких знаков, выше которого расположен змей, был истолкован как рисунок судна [Кызласов Л. Р., 1986, с. 182]. Дуги из трех линий с развилками на концах объяснялись зримым выделением верхней части камня, соотносимой с небесной сферой [Кызласов Л. Р., 1986, с. 193–194]. Однако если рассмотреть эти рисунки и их позицию в изобразительном тексте комплексно, то становится очевидным, что все они являются знаками одной семантической группы. При этом «лунная» гипотеза сразу отпадает, так как большая часть вариантов на лунный серп абсолютно непохожа. Исходя из того, что дуга может занимать ту же позицию, что и кружок, она тоже является символом неба, но передает нижнюю границу верхнего мира и, возможно, происходит от его образа в виде нависающей дождевой тучи [Есин, 1999а, с. 143–144]. Из-за этого различия в значении кружок и дуга в верхней части ликов

часто изображаются одновременно. Существует вариант, когда в верхней зоне лика показано сразу три одинаковых дуги [Кызласов Л. Р., 1986, рис. 97; Паульс, 1997, рис. 4]. При этом, подобно кружкам глаз, две крайние дуги будут символизировать две противопоставленные друг другу части неба, а центральная дуга передает небо как единое целое, включающее в себя обе противопоставляемые части. На плите с оз. Шира две горизонтальные дуги выбиты по бокам «третьего глаза» (рис. 2). Эти

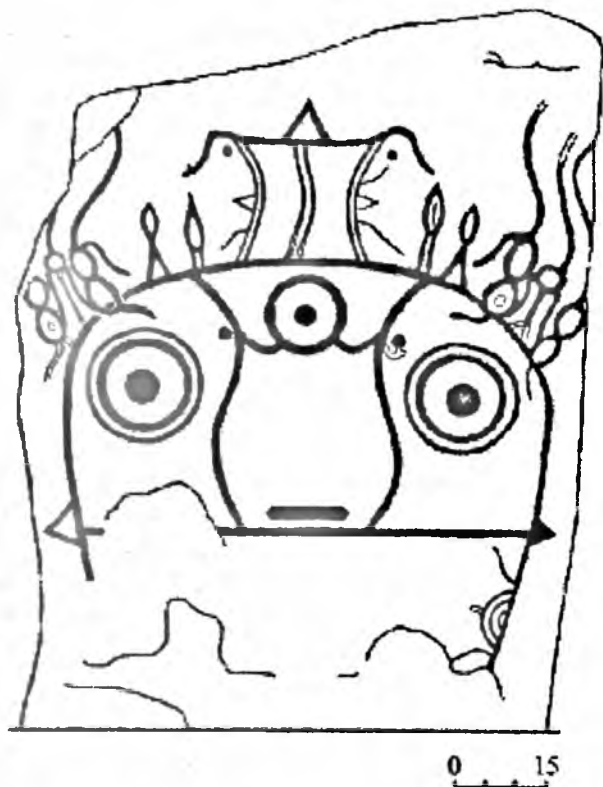


Рис. 2. Плита с озера Шира (песчаник; переиспользована в ограде кургана тагарской культуры)

дуги символизируют правую и левую части верхнего яруса лика и равнозначны двум дугам, которые обособляют правый и левый глаз и показаны вертикально.

Кроме кружка и дуги на вершине знака столпа может находиться верхняя часть контура лика, которая, в таком случае, должна символизировать небесный свод [Леонтьев, 1978, рис. 6; Савинов, 1997, табл. III]. В связи с этим следует отметить, что в окуневском искусстве имеются антропоморфные лики с незамкнутым контуром, показанным только над верхней их половиной [Леонтьев, 1978, рис. 5, 2; Есин, 2000а, рис. 4].

У ранних окуневских изображений Минусинской котловины и рисунков окуневского времени Алтая типичным элементом является вертикальная линия, опущенная от верхнего контура лика вниз. На этом же месте мог быть изображен треугольник, обращенный вершиной вниз; в одном случае треугольник отходит от расположенной в верхней части лика слабоизогнутой дуги [Есин, 2000а, рис. 4; Кубарев, 1988, табл. XI, 2; XII, 2, XIII, 2]. Последний вариант находит аналогию в верхней части одного из окуневских изваяний [Савинов, 1997, табл. II]. Треугольник и прямая линия являются простейшими вариантами изображения космического столпа, который в данном случае показан перевернутым. Аналогии такой позиции столпа имеются среди знаков с нижней стороны окуневских ликов Минусинской котловины и Алтая, а также ликов окуневского времени из Тувы. Перевернутый знак столпа внизу ликов из Тувы ранее трактовался как ручка маски [Дэвлет, 1997, с. 241], впрочем два этих значения могут совмещаться. Столп (гора), показанный вершиной вниз, получает объяснение как образ нижнего, иного мира, в котором все отношения перевернуты [Есин, 1999а, с. 145–146; Леонтьев, 2000, с. 33]. Появление знака перевернутого столпа в верхней части лика может быть связано с моделью мира, при которой нижний мир в ночное время оказывался сверху [Есин, 2000, с. 119].

В нижней части верхнего яруса лика, выбитого на плите с оз. Шира, показан рот (рис. 2), у другого лика на этом месте находится развилка языка змея, символизирующая пасть змея и маркирующая низ столпа (рис. 1, 3). Сверху лика с оз. Шира изображен знак в виде двух двойных дугообразных линий, между которыми находится двойная извилистая, а сверху расположена слабовыгнутая дуга. Это еще один вариант изображения знака столпа. Он сопоставим с другими изображениями в верхнем ярусе ликов и над ними (рис. 1, 1, 2, 4, 6). Следует отметить, что такой же вариант знака столпа показан на месте носа антропоморфного лика из Тувы [Чугунов, 1997, рис. 2]. Одно из значений волнистой линии в середине окуневских знаков столпа, вероятно, связано с движением влаги из верхнего мира в нижний.

Итак, основные изобразительные знаки, расположенные в верхней части сложных окуневских ликов, связаны с семантикой небесного свода (контур верхней части лика), круга горизонта (глаза), поднебесья (дуга). Правый и левый кружки глаз и две вертикальные дуги выделяли две части верхнего мира (видимо, западную и восточную), а «третий глаз» символизировал их синтез. С верхним миром связан также космический столп, на вершине которого могли располагаться «третий глаз», дуга или контур лика.

«USE LIFE» ГЛИНЯНОЙ ПОСУДЫ И ДИНАМИКА СТИЛЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

(К ИССЛЕДОВАНИЮ СИНТАШТИНСКОЙ ПРОБЛЕМЫ)

Средний срок службы, длительность использования (use life) керамических сосудов – существенная и интересная проблема. «Use life» керамики влияет на формирование культурного слоя [Schiffer, 1972] и керамического комплекса памятника [Shott, 1996]. Возможно, этот параметр бытования глиняной посуды имеет отношение и к динамике стилевых изменений керамических комплексов. Отмечено [Plog, 1980, p. 121], что такие изделия, как керамика, с их небольшим сроком службы и высокой «мобильностью», должны испытывать быстрые стилевые изменения в результате «стилевого дрейфа» (stylistic drift).

Стилевые вариации и их изменение. В самом общем смысле под «стилевыми вариациями» подразумеваются «формальные вариации, в наименьшей степени предопределенные утилитарными факторами» [Plog, 1990, p. 61]. Стилевые изменения в керамике мы понимаем как изменения декоративно-морфологических стандартов [Глушков, 1996, с. 118]. Такие изменения могут быть «завершенными» и «незавершенными». Незавершенные изменения – это те модификации, мутации и трансформации стандарта, которые постоянно происходят внутри керамического типа при тиражировании изделий; тип при этом не разрушается¹. Понятно, что вслед за другими авторами [Plog, 1990, p. 63; Глушков, 1996] мы рассматриваем тип в керамике как политегетическую группировку. В другой терминологии незавершенные стилевые изменения в керамике можно назвать «изокрестными вариациями» [Wiessner, 1985]. Напротив, завершенные стилевые изменения приводят к изменениям декоративно-морфологического стандарта.

Типы изделий (например, керамика) с низким показателем «use life» подвержены особенно массовым и высокочастотным изменениям незавершенного характера. Потенциально в этом заложена возможность легкого перехода к завершенным изменениям; следовательно, мобильность и пластичность типа с низким показателем «use life», в принципе, выше, нежели соответствующие показатели типа с высокой «use life». Однако если мы попытаемся перейти от теории к реальной модели, то возникает серьезная проблема. Суть в том, что даже высокочастотные незавершенные изменения переходят в завершенные лишь при определенных внешних условиях, в определенном социальном и культурном контексте. Эти условия очень индивидуализированы. Полагаем, что здесь нет некоего единого списка факторов, в каждом случае ситуация требует тщательного, продуманного исследования².

Другой важный момент – дискретность стилевых изменений. Стиль изменяется и во времени, и в пространстве. Временные периоды, насыщенные стилевыми изменениями, перемежаются фазами устойчивости. На протяжении этих фаз большее значение приобретает исследование стилевых вариаций в пространстве [Plog, 1980, p. 1–4].

Можно попытаться оценить скорость стилевых изменений в их активной фазе. К сожалению, конкретных этнографических или археологических данных по этому вопросу нет, однако мы можем использовать данные, касающиеся степени устойчивости разных технологических составляющих керамического производства. Принято считать, что наиболее устойчивыми являются навыки конструирования посуды. Для их частичного изменения, даже в условиях смешения населения, необходим промежуток времени, измеряемый не менее чем двумя-тремя поколениями гончаров [Бобринский, 1978, с. 129, 171], т. е. примерно 40–50 лет. Менее устойчивыми являются традиции составления формовочных масс. Так, на Потаповском могильнике в Поволжье отмечено почти полное исчезновение за 30–40 лет начальной традиции добавления в керамическое тесто талька [Салугина, 1994]³. Стилевые характеристики керамики еще более мобильны⁴. Не исключено, что стилевые изменения могут укладываться в пределы жизни одного поколения (20–30 лет). Однако повторимся, что для этого необходим определенный комплекс условий внешней (в данном случае социокультурной) среды.

«Use life». Существуют разные оценки средней длительности функционирования керамических сосудов в древности. «По некоторым данным кухонная посуда, в которой ежедневно готовится пища, существует не более одного месяца, а столовая посуда, из которой едят, – до полугода» [Васильева, Салугина, 1997, с. 25]. Определенным уровнем доказательности обладают этнографические данные, подборки таких данных мы находим в нескольких работах [Arnold, 1985, p. 152–155; Глушков, 1996, с. 88; Shott, 1996]. По заключению Д. Арнольда, кухонные сосуды служат от 0,9 до 3 лет, сосуды для пищи – 0,3–0,5 лет, емкости для воды – от 0,8 до 15 лет [Arnold, 1985, p. 152–155].

Указываются различные факторы, которые удлиняют либо, напротив, укорачивают срок жизни сосуда. По Д. Арнольду, это следующие факторы: 1) прочность (технология изготовления) сосуда; 2) частота использования; 3) мода на ту или иную посуду; 4) наличие в жилищах

домашних животных; 5) выбрасывание еще целых сосудов за ненужностью [Arnold, 1985, p. 152–155]. Более широкий список факторов, частично расшифровывая указанные позиции, приводит М. Шотт: 1) фактор технологии: длительность сушки посуды перед обжигом, качество глины, прочность изделия, температура обжига, обработка поверхности; 2) частота использования; 3) характер использования, где главным является пассивное (для воды) и активное (приготовление пищи) использование сосуда; 4) климатический фактор⁵; 5) более длительные периоды жизни ритуальных сосудов [Shott, 1996, p. 464–465, 472].

М. Шотт была предложена оригинальная методика математического расчета средних сроков службы сосудов из археологических комплексов. Исходная идея расчетов состоит в том, что тип сосуда, частота и способы его использования обычно коррелируют друг с другом и соотносятся с размерами сосуда. Отсюда (и опираясь на данные этнографии) можно попытаться вывести формулы зависимости «use life» от высоты сосуда или его объема [Shott, 1996, p. 476–478].

Формулы М. Шотт были применены нами для исследования керамической коллекции кургана 25 Большекараганского могильника. Курган принадлежит к числу памятников синташтинского типа (первая треть II тыс. до н. э.) и входит в состав некрополя поселения Аркаим. Определены вероятные средние сроки службы 47 сосудов. Они укладываются в пределы 3–5 лет. В целом для коллекции «use life» составляет 3,35 года (зависимость от объема) и 3,42 года (зависимость от высоты сосуда).

Глиняная посуда, представленная в культурном слое поселения Аркаим, в целом крупнее керамики могильника – соответственно здесь должна возрасти и «use life». Судя по имеющимся у нас данным [Петров, Вербовецкий, 1996], распределение аркаимских сосудов по их объему образует дискретное множество. Выделяются две группы посуды: объемом до 7 л и от 8 до 50 л. Первая группа соответствует по данному показателю керамике могильника. Сроки жизни сосудов первой группы поселенческой керамики лежат в пределах 3–4 лет, второй группы – 6–10,5 лет. «Use life» для сосудов обеих групп составила 5,3 года.

Расчеты «use life» керамических комплексов, как могильника, так и поселения, не противоречат информации этнографов. Не исключено, что полученные значения несколько завышены, но и в этом случае мы, думается, верно оцениваем порядок искомых временных интервалов.

«Use life» и ремонты глиняной посуды. Ремонт посуды продлевает ее «use life», с другой стороны, в условиях малых сроков службы керамики факты ремонтов могут получить свое дополнительное технологическое и психологическое обоснование.

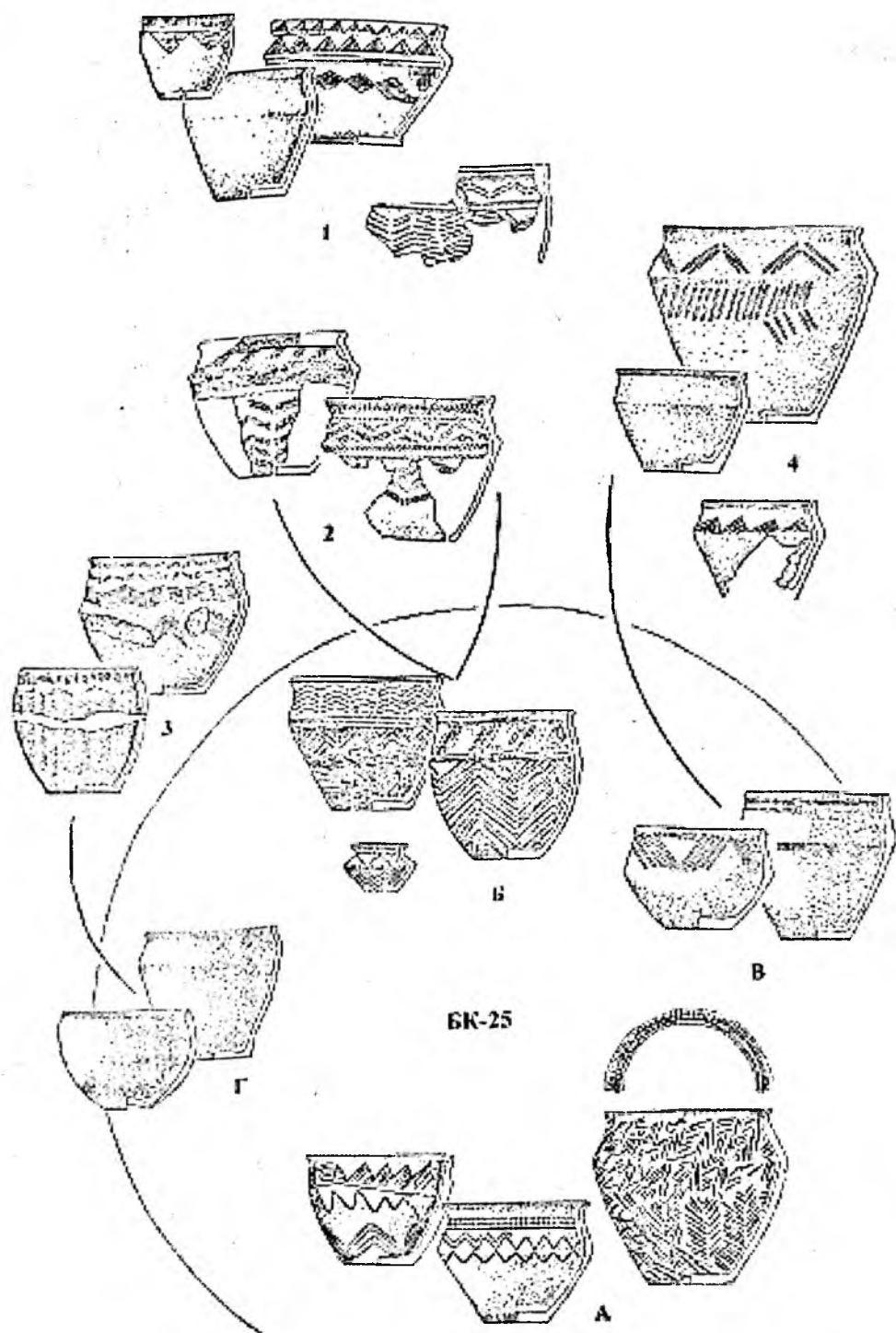
Основных способов ремонта в эпохи средней и поздней бронзы два. Это «протезирование», или поверхностная реставрация, тела сосуда глиной, и стягивание трещин с использованием металлических скрепок (скоб) [Потемкина, 1996; Гутков, 2000]. На керамике кургана 25 Большекараганского могильника в нескольких случаях зафиксированы вероятные следы ремонта второго типа (сквозные отверстия округлой и прямоугольной форм для закрепления скоб). Ремонт при помощи глиняных заплат не обнаружено⁶. В целом ремонты посуды мало влияли на «use life» керамики как Большекараганского могильника (курган 25), так и, по-видимому, синташтинской культуры в целом.

Ремонт глиняной посуды, особенно с использованием дорогостоящих металлических деталей, может вызвать удивление. Между тем, этим фактам можно найти разнообразные объяснения (технологические, психологические) с точки зрения категории «use life». Технологическая проблема выражается прежде всего в исчерпаемости доступных и качественных залежей сырья («глинищ»). При этом известно пристрастие традиционных мастеров к глине определенной пластичности, цветности и т. д. [Васильева, Салугина, 1997, с. 40]. Существует и психологический фактор, который, вероятно, можно охарактеризовать как «психологическая усталость». Такая «усталость» могла возникать в условиях особенно высокой частоты воспроизведения керамических форм при низких значениях «use life» сосудов. Можно найти, безусловно, и другие основания для ремонта глиняных сосудов.

Ремонты могли быть связаны с религиозной символикой и эстетикой («украшение вещи»). Примечательно здесь и отношение к сосуду в погребальном культе: сосуд мог ассоциироваться не только с пищей, но и с душой [Parker Pearson, 1999, p. 10], а разбитый сосуд – со смертью.

Обсуждение гипотезы. Могут ли низкие показатели «use life» керамических комплексов в данном конкретном случае свидетельствовать о высокой динамике стилевых изменений керамики? Попытаемся ответить на этот вопрос утвердительно, апеллируя, во-первых, к нашим данным и, во-вторых, к культурному контексту и модели синташтинской культуры.

1. Нами отмечены некоторые различия в «поведении» группы мелких и группы крупных сосудов поселения Аркаим. При всех вариантах предварительной классификации керамики Аркаима [Петров, Вербовецкий, 1996; Зданович Г., 1997] создается впечатление, что сосуды второй размерной группы (8–50 л) поддаются классификации значительно лучше и более уверенно распределяются по типам⁷, т. е. крупные сосуды Аркаима более стандартны. Кроме того, архаические черты аркаимской керамики [Малютина, Зданович, 1995, с. 105; Зданович Г., 1997, с. 60–61] тяготеют именно к крупным сосудам



Соотношение керамических комплексов Большекараганского могильника:

Курган 25: А – с ямными и абашевскими чертами из ранней группы погребений; Б – «классическая» синташтинская; В – синташтинская, тяготеющая к раннесрубной; Г – с полтавкинскими чертами; 1 – петровская, курганы 22, 24; 2 – «классическая» синташтинская, курган 24; 3 – синташтинско-полтавкинская, курган 11; 4 – раннесрубная (покровский тип), курган 20

(отдельным их группам). То есть в какой-то мере крупные сосуды более традиционны. Возможно, отмеченные различия можно объяснить фактором высокой динамики стилевых изменений архаимской керамики при разных средних значениях «use life» у мелких и крупных сосудов⁸.

2. Представляется, что положительный ответ на поставленный вопрос дают и общие результаты раскопок синташтинских памятников. Не только синташтинские поселения, но и могильники характеризуются выраженными стилевыми и культурными вариациями⁹. Более того, та же ситуация характерна и для крупных погребальных комплексов внутри могильников. Это не только комплексы Большекараганского могильника, но и так называемые «большой» и «малый» грунтовые могильники на р. Синташта и курган 2 могильника Каменный Амбар 5. В этом, с одной стороны, вероятно, сказывается пространственный аспект стилевых вариаций. В этом аспекте стилевые вариации обусловлены значительной сложностью «горизонтальной структуры» синташтинского общества, неоднородностью социокультурного ландшафта, спецификой локальных культурных групп (концепт «культурной мозаики»). С другой стороны, наблюдения над стратифицированными погребальными комплексами свидетельствуют в пользу значительной временной динамики стилевых изменений. Хороший пример – курган 25 Большекараганского могильника, время существования которого оценивается в 20–30 лет. Этого времени оказалось достаточно не только для сильных стилевых изменений, но и для изменения культурных стандартов керамики. Еще более выразительная картина вариаций фиксируется на уровне могильника в целом (рисунок)¹⁰.

Завершающая гипотеза. История и бытование керамики синташтинских памятников Южного Зауралья сопряжены с высокой динамикой стилевых изменений. Изменения неравномерны и неоднородны. Существуют достаточно устойчивые группы керамики, образующие «стержень» керамических комплексов [Малютина, Зданович, 1995, с. 105]. Наряду с этим имеют место быстрые стилевые изменения, они могут укладываться в пределы жизни одного поколения (20–30 лет). Такие изменения приводят к сильным модификациям культурных типов керамики. Быстротекущие изменения наблюдаются и в других сферах, например в планировке укрепленных поселений. Изменения такого типа в целом отвечают стилю синташтинской культуры. Не исключено, что, оценивая срок жизни «Страны городов» в 150–250 лет [Зданович Г., Зданович Д., 1995, с. 50], мы завышаем цифры в несколько раз. Интуиция «взрывного» характера «синташты» присутствует в работах современных исследователей.

Исходной базой активных стилевых изменений служит, по-видимому, компонентный характер синташтинской культуры, исходная мозаика стилей и культурных тра-

диций. Одно из условий активного развития этих процессов – опытный и экспериментальный характер освоения пространства, сопряженный с кризисами и поисками выхода из кризисных ситуаций. Другой момент – возможный мотивированный характер стилеобразования. Имеется в виду «символический аспект» стилевых вариаций [Wiessner, 1985]. Стиль в этом аспекте – средство познания, способ идентификации и сопоставления индивидуумов и социальных групп, а также способ выражения социальных связей либо разрушения последних.

Наследием 1990-х гг. в археологии степной зоны Евразии стала своего рода «синташтинская проблема». Не исключено, что решение этой проблемы требует определенной исторической перспективы. С точки зрения предметно-культурологического подхода к истории «нужно различать три основных типа развития – эволюционное, межкультурное, историческое. Эволюционное развитие относится к отдельной культуре, межкультурное – к процессу, пронизывающему ряд сменяющихся друг друга культур, историческое – к общему изменению и движению человеческого бытия» [Розин, 1989, с. 217]¹¹. С точки зрения межкультурного развития и в «среднем масштабе» времени синташтинский феномен представляется наиболее ярким выражением глобального периода трансформаций, мутаций, поисков и приобретения нового опыта, который предшествует еще более глобальному, длительному периоду стабильности и устойчивости в степной зоне (срубно-алакульская метаобщность).

Основное содержание периода трансформаций – освоение широких степных пространств с их ресурсами, широкое внедрение комплексного земледельческо-животноводческого хозяйства, приобретение опыта оседлого быта и испытание его крайностями – урбанизированными формами общежития. Перефразируя известное изречение (Ф. Энгельс), можно сказать, что Степь, в своем опыте построения нового мира, зашла значительно дальше, чем это было возможно, чтобы позднее откатиться назад. Показательно, что этот опыт был реализован на широких степных пространствах и в достаточно широком временном диапазоне. Синташтинские укрепленные поселения Южного Зауралья – лишь наиболее представительная часть широкого «горизонта фортификаций» евразийской степи XVIII–XVI вв. до н. э.¹² В этот горизонт входят памятники Нижнего Дона (Ливенцовская и Каратаевская крепости), отдельные абашевские, раннесрубные, а на востоке петровские и, может быть, кротовские поселения, несмотря на всю дискуссионность их хронологического соотношения с «андромом» [Стефанова, 1988].

В этом плане как таковой проблемы формирования синташтинской культуры, может быть, вообще не существует. Вся «синташта» – это процесс становления нового

состояния степного мира. Существенной остается только проблема первичного толчка¹³.

Предложенный подход оставляет место для трактовки синташтинской поселенческой системы в качестве одного из феноменов урбанизации. Современные междисциплинарные подходы требуют различать понятия «урбанизация», «город» и «полис». В различении города и урбанизации подчеркиваются разные аспекты [Город., 1995, с. 5–6, 13, 21–24, 239–240, 346], но в принципе исследователи сходятся в том, что урбанизация является более широким и объемным процессом, а город выступает как фокус и как ведущий фактор урбанизации. Нами было высказано предположение о том, что только зрелые фазы процесса урбанизации совпадают с урбогенезом (градообразованием) [Зданович Д., 1997, с. 17]. В работах Э.В. Сайко использован термин «урбанизованная среда» [Сайко, 1991; 1995]. Это новая историческая форма социальности, которая предшествует появлению города.

¹ Границы типа (стандарта) в керамике экспериментально исследовались И.Г. Глушковым [1996, с. 110/1–110/8].

² Сходная ситуация, на наш взгляд, возникает в биологии при исследовании проблем изменчивости видов.

³ Здесь, впрочем, многое зависит от фактора природной среды, наличия/отсутствия тех или иных минеральных ресурсов.

⁴ По отношению к технологическим навыкам «декоративная традиция» более мобильна, рефлексивна. Орнаментальный «текст» зависит, в первую очередь, от общекультурного сти-

ля... Индивидуальный, творческий элемент «текста» относительно независим и отражает уровень восприятия, таланта, мастерства отдельного индивида» [Глушков, 1994, с. 19].

⁵ По некоторым данным, срок жизни горшков в высоких широтах меньше, чем у их «собратьев» в тропиках.

⁶ Исследователи оценивают следы ремонта керамики при помощи глиняных заплат как уникальные [Потемкина, 1996; Гутков, 2000, с. 173–175]. Мы, однако, можем указать на десятки таких сосудов в петровских и алакульских погребениях региона (Могильники Исинея I, Чекатай, Степное VII). Раскопки Д.Г. Здановича.

⁷ Работа по систематизации керамического комплекса пос. Архим не завершена, поэтому пользуемся предварительными и оценочными данными.

⁸ Здесь, однако, нужно добавить, что крупная глиняная посуда, более сложная и трудоемкая в изготовлении, в целом более консервативна; здесь мастер, вероятно, менее склонен к новациям и экспериментам.

⁹ Методика описания стилевых вариаций керамики эпохи бронзы степной зоны не разработана. Это отдельное направление исследований. Одним из крайних проявлений стилевых вариаций в керамике является изменение культурного типа.

¹⁰ Использована публикация по итогам раскопок Большекараганского могильника в 1988 г. [Боталов, Григорьев, Зданович, 1996] и полевые материалы Д.Г. Здановича.

¹¹ Подобные «игры» с «масштабом времени» восходят к работам Ф. Броделя.

¹² С вероятным удревнением по калиброванным радиоуглеродным датам.

¹³ Авторы признательны Г.Б. Здановичу и Т.С. Малютиной за участие в обсуждении этих проблем.

В.С. ЗУБКОВ

НОВЫЕ НЕОЛИТИЧЕСКИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ В ПОДТАЕЖНОЙ ЗОНЕ ХАКАСИИ

Неолит Хакасско-Минусинской котловины все еще остается наименее исследованным периодом древней истории данного региона. Имеющаяся к настоящему времени источниковедческая база для его изучения явно недостаточна. Она представлена преимущественно подъемными сборами археологического материала неолитического облика со стоянок с разрушенным культурным слоем. Именно на таких местонахождениях делали свои сборы Э.Р. Рыгдылон, П.Е. Чернявский, Я.И. Сунчугашев, Л.П. Зяблин, Н.В. Леонтьев, Н.Ф. Лисицын.

Неолитические местонахождения со стратифицированными условиями залегания археологического материала немногочисленны: поселение Укюк (раскопки Л.П. Зяблина), неолитический слой на стоянках Майнинская, Уй II, Теплая (раскопки С.А. Васильева). За исключением поселения Укюк, они не дали серийного массового матери-

ала. Отнесение стоянок Оглахты II, III к неолиту, исходя из данных, опубликованных Л.Р. Кызласовым, вызывает большие сомнения. Ни стратиграфические условия залегания находок, ни типологическая характеристика немногочисленной керамики и предметов из камня не дают надежных оснований для подобного вывода.

В силу очевидной узости источниковой базы слабо разработаны такие темы, как: 1) генезис и периодизация неолита Хакасско-Минусинской котловины; 2) эволюция каменной и костяной индустрии в эпоху неолита; 3) культурно-хронологическая интерпретация керамических комплексов; 4) участие и роль неолитического населения в формировании культур раннего бронзового века.

Исследователями уже давно осознана необходимость поиска стратифицированных местонахождений неолита и их стационарного изучения большими площадями.

В этой связи представляют определенный интерес результаты археологической разведки в подтаежной зоне Хакасии, проведенной отрядом Лаборатории археологии Хакасского госуниверситета в 2001 г. с целью поиска поселений неолита и бронзового века.

Маршрут пролег через малоизученные в археологическом отношении территории: долины левых притоков реки Абакан – Уйбат, Аскиз, Малая и Большая Есь, Тея, Таштып в их среднем и верхнем течении. В ходе этой разведки были обнаружены четыре неолитические стоянки – Туманный III (второй слой), Читыгол I (второй слой), Читыгол II (второй и третий культурный слой), Сигиртуп I.

Туманный III. Стоянка расположена на 5–6-метровой первой надпойменной террасе левого берега р. Бюра в 360–370 м к востоку от современного русла реки и примерно в 0,7–0,8 км к ВЮВ от железнодорожного полустанка Туманный. Выявлена следующая стратиграфия геологических отложений: I. современный гумусный слой черного цвета, задернованный в кровле, 0,08–0,10 м; II. суглинок (оглиненная супесь?) гумусированный, темно-серого цвета 0,10–0,20 м; III. супесь бурого цвета 0,15–0,20 м; IV. светло-желтая супесь. Вскрытая мощность до 0,4 м.

Первый культурный слой – находки залегают на глубине 0,20–0,25 м от современной поверхности в подошве II геологического слоя и на границе его со слоем III. В слое найдена керамика и изделия из камня.

Керамика (8 фрагментов) относится к одному сосуду. На ее внешней поверхности имеются следы «рубчатой» колотушки и орнамент в виде заглаженных оттисков узкой отступающей лопаточки. Толщина стенок сосуда 0,9–1,1 см. Тесто довольно плотное с примесью мелкой дресвы.

Предметы из камня (29 экз.) представлены одноплощадочными монофронтальными микронуклеусами клиновидной формы (6 экз.), микропластинами и пластинчатыми скопами (4 экз.), отщепами (19 экз.). Поделочный материал – кремнистый сланец темно-серого цвета, мелкозернистый белый кварцит, халцедон.

Второй культурный слой – археологический материал зафиксирован на глубине 0,60–0,65 м от современной поверхности в IV геологическом слое. Он отделяется от находок первого культурного слоя стерильной прослойкой в 0,30–0,35 м. В этом слое была обнаружена каменная кладка из валунов песчаника и известняка. Кладка имела овальную в плане форму размерами 1,1 x 0,6 м и вытянутую по направлению СЗ-ЮВ. Она была засыпана слоем красной охры. В центре кладки и в СЗ ее части слой охры достигал 5–10 см. В районе кладки были найдены мелкие фрагменты колотых трубчатых костей животных и зуб травоядного зверя, а также 10 сколов и от-

щепов. Изделия из камня и костные останки были сильно заизвесткованы. Керамики в этом слое не обнаружено.

Материалы первого культурного слоя предварительно датируются нами в диапазоне поздний неолит – ранняя бронза. Второй культурный слой, вероятно неолитический, его стратиграфическая позиция позволяет отнести его ко времени раннего–среднего голоцена.

Читыгол I, II. На левом берегу р. Большая Есь, в 3 км вверх по течению реки от аала Тюртас, к ЗСЗ от него. На выходе лога Читыгол к реке на древнем конусе выноса в результате разведочных шурфовочных работ было обнаружено две стоянки.

Стоянка Читыгол I располагается на северном борту конуса выноса с отметками 13–14 м от уреза вод р. Большая Есь, а стоянка Читыгол II – на более пологом южном борту этого же конуса выноса с отметками 8–10 м от уреза воды. Местонахождения разделяются неглубоким заросшим древним оврагом и отстоят один от другого на 90–100 м.

Читыгол I. Стратиграфия геологических исследований на данном памятнике следующая: I. гумус черного цвета, задернованный в кровле, 0,10–0,12 м; II. суглинок гумусированный, черно-серого цвета, гранулированный с включениями дресвы и мелкого щебня 0,28–0,32 м; III. темно-бурый суглинок 0,10–0,12 м; IV. светло-серая супесь с включениями дресвы и щебня. Вскрытая мощность 0,15 м.

На стоянке выделено два культурных слоя.

Первый культурный слой – находки залегают в подошве гумусного слоя и в кровле геологического слоя II на глубине 0,10–0,20 м от современной поверхности. Здесь найдены железный наконечник стрелы листовидной формы и керамика раннесредневекового времени.

Второй культурный слой – материалы зафиксированы в средней и нижней части III геологического слоя на глубине от 0,25 до 0,45 м от современной поверхности. В этом культурном слое удалось выделить верхний (глубина залегания материала 0,23–0,33 м) и нижний (глубина залегания находок 0,33–0,43 м) уровни.

В верхнем уровне был найден следующий археологический материал: керамика неорнаментированная, гладкостенная, толщина стенок сосуда 0,6–0,8 см (4 фрагмента); керамика, орнаментированная по шейке и тулову сосуда параллельно прочерченными линиями (12 фрагментов). Каменный инвентарь представлен 50 предметами, среди них физматические микропластинки (15 экз.), 1 микронуклеус, одноплощадочный монофрагментальный и 34 отщепы. Материал – кремнь темно-серого цвета, мелкозернистый кварцит.

В нижнем уровне обнаружена керамика и каменный инвентарь. Керамика представлена фрагментами, орнаментированными вдавленными ромбовидного штампа,

зубчатыми вдавлениями в сочетании с «вафельным» штампом. Коллекция предметов из камня включает в свой состав более 50 предметов: обломки призматических нуклеусов (3 экз.), призматические микропластинки (15 экз.), отщепы (29 экз.), сколы с краевой ретушью (2 экз.) и од-нолезвийные концевые скребки на отщепах (2 экз.) В качестве сырья использовался темный кремнь, кварцит.

Второй культурный слой содержит материалы в широком культурно-хронологическом диапазоне от раннего железного века до раннего бронзового века. Такое заключение сделано на основе найденных здесь фрагментов керамики. Каменный инвентарь и в верхнем и в нижнем уровнях сходен как по сырью, так и по технико-типологическим показателям. Мы можем отметить также, что большая часть предметов из камня найдена на глубине от 0,35 до 0,45 м от современной поверхности. Возможно, что в подошве геологического слоя II сосредоточены материалы, прежде всего изделия из камня, относящиеся к финальной поре неолита.

Читыгол II. Стратиграфия геологических отложений на местонахождении следующая: I. современный гумусный слой, задернованный в кровле, 0,12–0,18 м; II. супесь темно-серого цвета, гумусированная, оглиненная с включениями мелкой дресвы и окатанного плитняка 0,20 м; III. темно-бурый суглинок с примесью мелкой дресвы, гумусных включений. Контакт с подстилающим слоем неровный, размытый 0,18–0,20 м; IV. светло-коричневая, оглиненная супесь (почти суглинок) 0,45–0,20 м; V. суглинок полевого цвета с включениями дресвы и мелкого плитняка.

На данном памятнике зафиксировано три культурных слоя.

Первый культурный слой – материал располагался в средней части геологического слоя II, ближе к его подошве, на глубине 0,13–0,18 м от современной поверхности. Здесь найдены фрагменты толстостенных керамических сосудов раннесредневекового времени.

Второй культурный слой – материал располагался в средней части геологического слоя II, ближе к его подошве, на глубине 0,30–0,35 м от современной поверхности. Найдены только предметы из камня: 3 микронуклеуса одноплощадочных монофронтальных латерально уплощенных, 3 микропластинки и 10 отщепов. Сырье – близкая к кремню порода темно-серого цвета. В этом же слое встречен фрагмент кости со следами обработки – один конец ее приострен.

Третий культурный слой – археологический материал залегает в кровле светло-коричневой оглиненной супеси (геологический слой IV), на глубине 0,70–0,75 м от современной поверхности. Находки представлены призматическими пластинками (4 экз.), отщепами (53 экз.), из которых два отщепа с мелкой краевой ретушью.

Большинство изделий покрыты известковой коркой. Материалом для получения пластин и отщепов служили кремнистый сланец серо-зеленого цвета и близкая к кремню порода темно-серого цвета.

Третий культурный слой, без сомнения, может датироваться неолитическим временем. Датировка второго культурного слоя, скорее всего, лежит в диапазоне от финального неолита до бронзового века, поскольку, хотя в нем не найдено керамики, каменный инвентарь вполне сопоставим с находками из второго культурного слоя стоянки Читыгол I.

Сигиртуп I. Стоянка располагается на 6–7-метровой первой надпойменной террасе правого берега р. Таштып, в 0,2–0,3 км выше впадения в нее ручья Сигиртуп. В осыпи обнажений были собраны предметы из камня: нуклеовидно отколотые гальки, отщепы, отбойник – всего 27 предметов. С целью выяснения стратиграфических условий залегания в борту террасы были сделаны шурфы врезки. Стратиграфия геологических отложений в них оказалась сходной: I. современный гумусный слой, задернованный в кровле черного цвета, 0,12–0,18 м; II. супесь гумусированная, гранулированная серо-черного цвета 0,13–0,15 м; III. суглинок: в верхней части светло-коричневого цвета, с тонкими прослойками в 1,5–2,0 см суглинка темно-бурого цвета. В нижней части суглинок имеет темно-бурый цвет – 0,25 м; IV. суглинок светло-коричневого цвета с включениями дресвы и мелкого песчаника. Вскрытая мощность до 0,15 м.

Археологический материал залегал в геологическом слое III на глубине 0,45–0,48 м от современной поверхности. Памятник однослойный. Коллекция предметов, найденная в шурфах, включает нуклеус одноплощадочный монофронтальный, однолезвийный концевой скребок, отщепы, сколы.

По сырью и технико-типологическим характеристикам находки из шурфов и подъемные сборы, несомненно, относятся к единому культурно-хронологическому пласту. Предварительная относительная датировка этой стоянки – неолит, возможно даже ранний, а абсолютная хронология определяется в рамках ранний–средний голоцен.

В заключение можно сделать следующие выводы.

1. В подтаежной зоне Хакасии стоянки неолита располагаются на первых надпойменных 5–7-метровых речных террасах, нередко в приустьевых участках ручьев, либо на древних конусах выноса логов, выходящих к реке и имеющих южную экспозицию.

2. Культурные слои неолита приурочены к деловиальным отложениям, подстилающим супесь гумусированную темно-серого цвета. Археологический материал залегает в светло-желтой супеси (Туманный III), в кровле светло-коричневой оглиненной супеси (Читыгол II), в светло-коричневом суглинке (Сигиртуп I).

3. В вышележащем геологическом слое, а это, чаще всего, супесь гумусированная темно-серого цвета, гранулированная, нередко оглиненная залегает археологический материал в диапазоне от раннего бронзового века до тагарского времени. Причём в подошве этого геологического слоя залегают каменные артефакты, которые типологически могут быть датированы как ранним бронзовым веком, так и финальным (поздним) неолитом.

4. Предварительный анализ материалов показывает, что приемы расщепления камня и его вторичной обработки, выработанные в эпоху позднего неолита, продолжались, вероятно, существовать и в раннем бронзовом веке.

5. Определение абсолютного возраста неолитических слоев затруднено тем, что геологами слабо изучены условия и время формирования деловиальных отложений голоценового времени для подтаежной и таежной зон Хакасии.

В.С. ЗУБКОВ, А. НАГЛЕР, Э. КАЙЗЕР

КАМЕННОЛОЖСКАЯ ГРУППА КУРГАНОВ МОГИЛЬНИКА ПОДСУХАНИХА II

(ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК 2000 года)

В 1999–2000 гг. совместная археологическая экспедиция Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартыанова и Евразийского отдела Германского археологического института проводила исследования могильника Подсуханиха II. Памятник расположен в одноименном урочище на правом берегу Красноярского водохранилища на 8–12-метровой террасе, в 16 км к ЮЗ от дер. Николо-Петровка Минусинского района Красноярского края. На территории могильника, протянувшегося на 650 м с ЮЗ на СВ, размещаются курганы афанасьевской (ранняя бронза) и тагарской (ранний железный век) культур Минусинской котловины. Тагарские курганы преобладают – их около 100.

В ходе раскопок могильника были получены интересные археологические материалы, относящиеся к генезису тагарской культуры. Цель данной статьи – ввести в научный оборот материалы трех курганов – 10, 11, 11А, расположенных компактной группой, на юго-западной оконечности территории памятника (раскопки 2000 г.).

Курганы имели каменные ограды прямоугольной в плане формы, сложенные из установленных на ребро и врытых в землю плит песчаника, подкрепленные с внешней стороны контрфорсами. Ограды ориентированы продольной осью по направлению С-Ю с отклонением на 15–20° на СЗ-ЮВ. Размеры оград: курган 10 – 5,6 x 5,2 м, курган 11 – 4,3 x 4,2 м, курган 11А – 4,5 x 4,5 м. В углах оград устанавливались вертикально каменные стелы. К моменту раскопок сохранилась лишь СЗ угловая стела в кургане 10.

Курган 10. Здесь было три могилы. Могилы 1 и 2 располагались в середине площади ограды, параллельно друг другу, на расстоянии 0,15 м. Устройство их однотипно: в прямоугольной яме, вдоль ее стенок, устанавливались плиты песчаника, образуя каменный ящик. Сверху ящик перекрывался плитами песчаника. Могилы ориентированы по направлению СВ-ЮЗ.

В могиле 1 было погребено пять человек: 3 взрослых (мужчина 40–50 лет, женщина 45–50 лет и мужчина 45–

50 лет), ребенок 7–8 лет и новорожденный. Первоначально в могилу были захоронены мужчина и женщина. Оба в вытянутом положении на спине, головой на СВ, параллельно и вплоборота, лицом друг другу. Женщина лежала слева (к югу) от мужчины. Третий взрослый (мужчина 45–50 лет) был захоронен позже. Он уложен вытянуто на спине, но головой на ЮЗ. Костные останки детей обнаружены в разрозненном и переотложенном состоянии. В могиле найден следующий сопроводительный инвентарь: 1) бронзовый коленчатый нож, рукоятка которого завершается грибовидной шляпкой; 2) коромыслообразный предмет из бронзы, так называемая «пряжка колесничего», длина предмета 16 см; 3) костяной предмет серповидной формы – головной нож, на одной стороне которого вырезан орнамент в виде пяти колец, расположенных зигзагообразно; 4) фрагменты керамического сосуда, венчик которого имеет утолщение с косо срезанной наружу верхней плоскостью (рис. 1, 12, 13, 15, 16).

Могила 2 разграблена. В ее заполнении найдены фрагменты человеческих костей пожилого человека и младенца. Из предметов обнаружено: 1) бронзовая прямоугольная пластинка размером 2,9 x 2,1 см, по боковым краям которой сделаны два небольших сквозных отверстия (рис. 1, 14); 2) фрагмент сосуда, венчик которого орнаментирован по боковой поверхности пояском выпуклин-«жемчужин».

Могила 3 располагалась у СЗ угла каменной ограды с ее внешней стороны. В небольшом каменном ящике размером 0,60–0,35 м и глубиной до 0,3 м был погребен ребенок в возрасте до 6 месяцев. Он лежал на спине, головой на Ю-ЮЗ. Сопроводительных вещей не найдено.

Курган 11. В ограде, в центре ее площади, размещалась одна могила. В земляной яме, прямоугольной в плане формы, был сооружен каменный ящик из плит песчаника, ориентированный по направлению СВ-ЮЗ. Сверху могила перекрывалась сначала деревянными жердями, а затем уложенными плоско плитами песчаника.

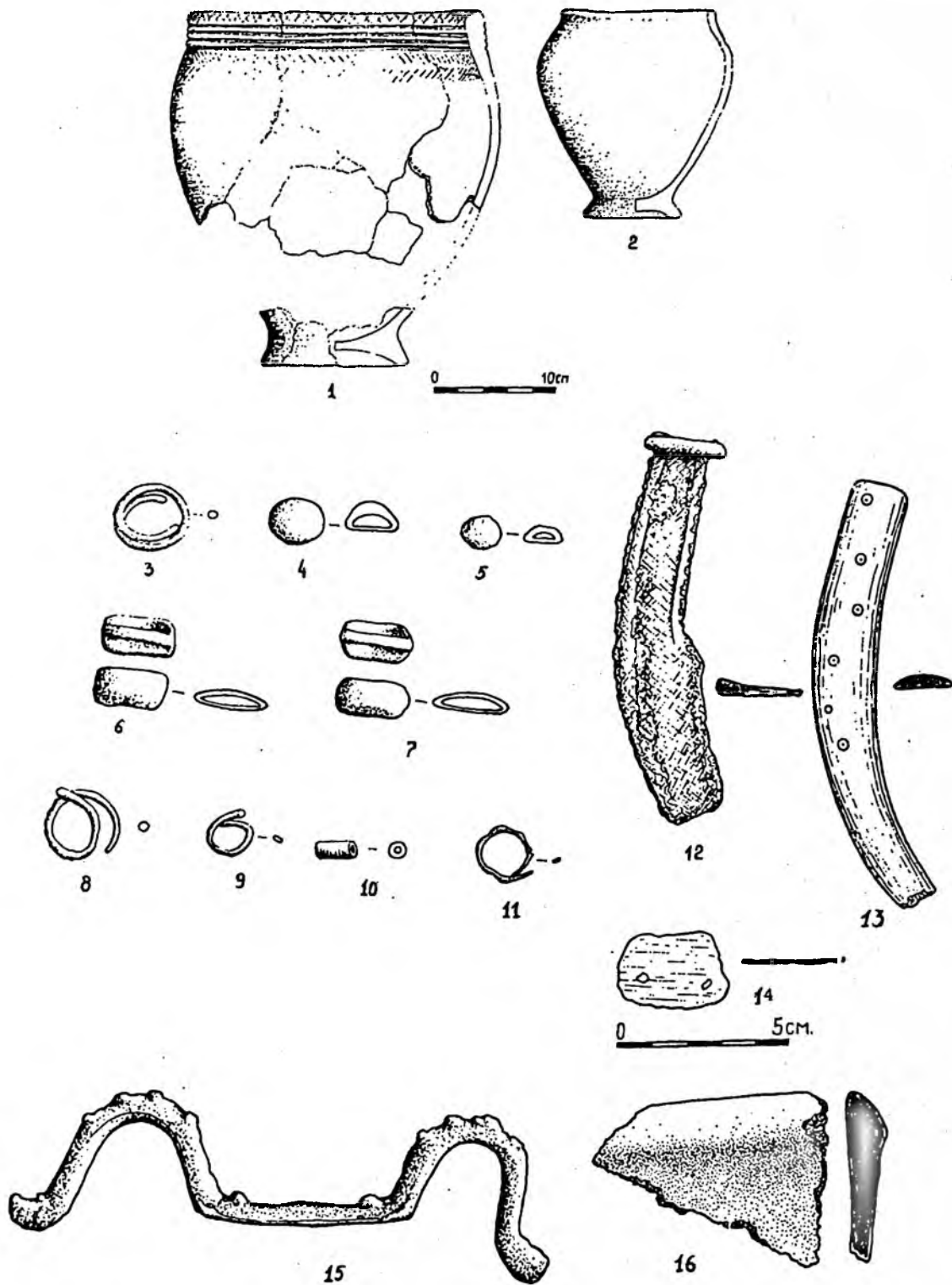


Рис. 1. Подсуханиха II, Курганы 10 и 11: 1, 2, 3, 4, 5 – курган 11; 6; 7; 8; 9; 10 – курган 11А, могила 1; 11 – курган 11А, могила 2; 12; 13 – курган 10; могила 1; 14 – курган 10; могила 2; 15, 16 – курган 10, могила 1

В могиле было захоронено два человека – мужчина 40–45 лет и подросток 14–15 лет. Оба в вытянутом положении на спине, головой на СВ. Подросток лежал слева от мужчины, каждому в ногах были уложены куски мяса: лопатка, нога и часть грудины овцы. Сопроводительный инвентарь: 1) справа от головы мужчины, в СЗ углу могилы, стоял сосуд оваловидной формы на невысоком поддоне; 2) слева от головы мужчины стоял второй керамический сосуд также оваловидной формы на поддоне. Венчик прямой, шейка едва намечена. Он орнаментирован по венчику короткими прочерченными линиями, образующими решетку. Параллельно верхней плоскости венчика, по шейке сосуда, нанесены четыре прочерченных линии, а ниже, по верхней части тулова, – два ряда наклонных коротких линий, образующих орнамент в виде горизонтальной елочка (рис. 1, 1, 2); 3) в заполнении могилы найдены две литых бронзовых пуговицы с дужкой на внутренней стороне и бронзовое височное проволочное колечко в два витка (рис. 1, 3–5).

Курган 11А. В ограде кургана, в центре ее площади, размещалась могила 1, точнее то, что от нее осталось, поскольку курган подвергся техногенному разрушению. Здесь были захоронены два человека – мужчина 40–45 лет и мужчина 30–35 лет. Судить об устройстве могилы и первоначальном положении погребенных здесь людей невозможно. В районе могилы 1 достаточно компактно лежали следующие предметы: 1) два коромыслообразных предмета – полноразмерные «пряжки колесничего». Один имеет длину 34,5 см и высоту дуг до 5 см, другой – длину 31,5 см и высоту дуг до 5 см (рис. 2, 3, 4); 2) бронзовый наконечник копья лавролистной формы зажимного типа. Перо наконечника копья разделено длинной и узкой прорезью от основания к вершине. Длина наконечника копья 15,8 см, наибольшая ширина 3,4 см (рис. 2, 7); 3) два бронзовых проволочных колечка (рис. 1, 8, 9) и две, прямоугольные в плане, выпуклые бляшки-пуговицы с дужкой (рис. 1, 6, 7); 4) буса-пронизка цилиндрической формы из камня белого цвета (рис. 1, 10).

Керамика, найденная в районе могилы 1, представлена четырьмя сосудами. Два сосуда оваловидной формы с округлым дном. Венчик прямой и с внешней стороны имеет небольшое утолщение. Именно эта зона орнаментирована наклонно прочерченными линиями. Диаметр венчиков сосудов 24 и 27,5 см, а высота сосудов соответственно 28,5 и 30 см (рис. 2, 1, 5). Два других сосуда имели тулово шаровидной формы, прямую короткую шейку и прямой венчик. Один из них орнаментирован по венчику и шейке четырьмя параллельно прочерченными линиями (рис. 2, 2).

Мои́ла 2 располагалась у СВ ограды кургана, с внешней ее стороны. Захоронен ребенок 2–3 лет. Он лежал на спине в вытянутом положении, головой на юг. У левого виска

черепа найдено небольшое бронзовое колечко из проволоки (рис. 1, 11). У грудной клетки ребенка стоял сосуд оваловидной формы на поддоне. Высота сосуда 17,5 см, диаметр венчика 16 см (рис. 2, 6).

По совокупности характеристик – устройству погребальных сооружений, ориентировке умерших и сопроводительному инвентарю – курганы 10, 11, 11А могильника Подсуханиха II можно отнести к памятнику каменоложского типа эпохи поздней бронзы в Минусинской котловине. В археологическом материале прослеживаются традиции, идущие от классического карасука – височные кольца, шаровидной формы керамические сосуды. Одновременно по ряду признаков обнаруживается близость к раннетагарским погребальным комплексам – прямоугольные каменные ограды с угловыми стелами; по сопроводительным вещам – коромыслообразный предмет из бронзы уменьшенных размеров, костяной головной нож, венчик керамического сосуда со скошенным наружу утолщением.

Не исключено, что иногда производилось и намеренное захоронение ранних тагарцев в каменоложские могилы. Возможно, именно это мы зафиксировали в могиле 1 кургана 10, что нашло отражение и в найденных здесь предметах.

Для определения абсолютной хронологии курганов 10, 11, 11А могильника Подсуханиха II существенное значение имеют находки «пряжек колесничего» как полноразмерных, так и несколько уменьшенных. Появление этих предметов, по мнению исследователей, связано с их проникновением в Южную Сибирь с территории Восточного Китая в IX–VIII вв. до н. э. в эпоху Западного Чжоу [Савинов, 1995]. Эти престижные предметы широко распространены по степным и лесостепным районам Минусинской котловины. В одно время с «пряжками колесничего» получили распространение и наконечники копий с зажимным пером, район находок которых столь же широк.

Каменоложские памятники отражают сложные историко-культурные и, вероятно, этнокультурные явления, происходившие в Минусинской котловине в IX–VIII вв. до н. э. Очевидно, что каменоложцы приняли участие и существенно повлияли на формирование тагарской культуры. Эту идею впервые сформулировал и обосновал М.П. Грязнов, активно поддерживал и развивал Г.А. Максименков. Они рассматривали эти памятники как финальный этап карасукской культуры. Но для этих исследователей было ясно и другое – в археологическом комплексе каменоложцев имеются категории вещей, которые в собственно карасукских памятниках не встречаются: бронзовые кинжалы, модели ярма, коленчатые ножи, треугольные бляшки и бляшки-розетки [Максименков, 1975, с 54].

Анализ материалов, полученных в 70–80-х гг. XX в., позволил Е.Д. Паульсу высказать идею о выделении

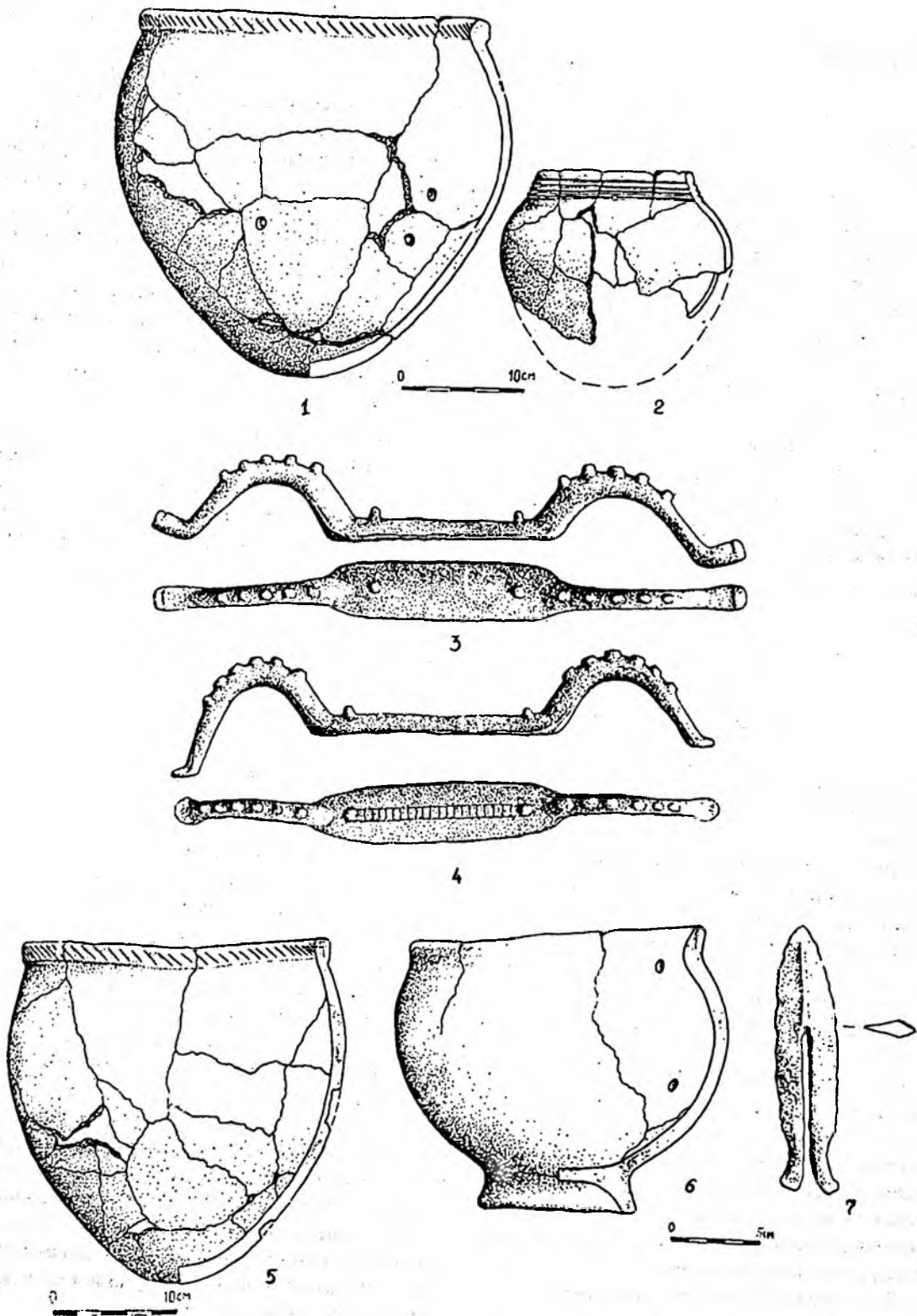


Рис. 2. Подсуханиха II. Курган 11А: 1, 2, 3, 4, 5—могила 1; 6—могила 2; 7—могила 2

карасукско-тагарского культурного пласта, в который он предложил включить некоторые атипичные (каменоложские. – В.З.) памятники и раннетагарские памятники баиновского типа, отличные от тагарских, т. е. было предложено их рассматривать как самостоятельный культурный феномен [Паульс, 1983]. В то же время Е.Д. Паульс верно отметил, что памятники, включенные им в карасукско-тагарский пласт, неоднородны и имеют локальные различия. Полученные за последние 15–20 лет материалы, кажется, подтверждают эту мысль.

Так, для памятников каменоложского типа, расположенных в южной части Койбальской степи, характерно сооружение в земляных ямах бревенчатых срубов в 2–3 венца и перекрытие могил бревнами или жердями, ориентировка умерших головой на запад и установка керамических сосудов слева от головы.

На Правобережье Енисея (урочище Подсуханиха) в каменоложских могилах сооружаются каменные ящики прямоугольной в плане формы, как правило, перекрытые плашмя уложенными плитами песчаника. Умершие взрослые укладывались на спине вытянуто, головой на СВ.

Л.С. ИЛЬЮКОВ

КРЕПОСТЬ БРОНЗОВОГО ВЕКА В НИЗОВЬЯХ ДОНА

На краю высокой обрывистой террасы р. Мертвый Донец, на западной окраине Ростова-на-Дону, между пунктами Ливенцовкой и Каратаево, расположена крепость, разделенная на две части глубоким оврагом. Одна часть крепости, расположенная ближе к Ливенцовке, была названа Ливенцовской, другая ее часть, у окраины Каратаево, – Каратаевской. С.Н. Братченко выяснил, что, судя по археологическим находкам, эти части крепости были синхронными. Он отнес их к ливенцовско-каменной культурной группе и датировал XVI–XV вв. до н. э. [Братченко, 1985, с. 462].

В 1964–1966 гг. и в 1970 г. С.Н. Братченко проводил исследование Ливенцовской крепости. Им был раскопан участок рва, оборонительной стены и примыкавший к ней участок внутри крепости. В крепости вдоль стены располагались развалы камней, которые интерпретировались С.Н. Братченко как остатки наземных построек с каменными стенами. Под камнями зафиксирован тонкий культурный слой с различными находками.

В 1984 г. Л.С. Ильюков проложил узкий раскоп поперек Каратаевской крепости. Выявлены ров и участок стены с примыкавшим к ним развалом камней, возможно от жилой постройки, идентичные тому, что хорошо было исследовано С.Н. Братченко на Ливенцовской крепости. Од-

нако в рамках раскопа не удалось выявить строительные комплексы.

Исследователи каменоложских памятников на юге Хакасии Н.А. Боковенко и П.И. Сорокин обратили внимание на то, что на могильнике Кызлас выделяется ряд элементов в погребальных конструкциях (наличие оград, составленных из высоких, до 1 м, плит песчаника, наличие цисты из плитняка, сложенной для захоронения на уровне древнего горизонта) и в сопроводительном инвентаре (присутствие больших полусферических поясных блях с солярной символикой по внешней стороне), которые могут быть объяснены, по их мнению, импульсами, исходящими от носителей дандыбай-бегазинской культуры с территории Восточного Казахстана [Боковенко, Сорокин, 1995, с. 83–84].

Неоднородность, мозаичность каменоложских памятников, вероятно, отражает как процессы внутреннего развития культуры, так и результаты разнообразных внешних воздействий и заимствований. Отметим, что в силу каких-то причин каменоложцы оказались достаточно открытыми для восприятия культурных инноваций.

нако в рамках раскопа не удалось выявить строительные комплексы.

В 2001 г. Л.С. Ильюковым были продолжены раскопки на территории Каратаевской крепости. В ее южной половине, от самого края обрывистой террасы к центру крепости, был заложен раскоп более 800 кв. м. Поверх известнякового материка, который был в виде мелких плоских камешков, лежал тонкий песчаный слой почвы с культурными остатками. В древности материковый известняк был сплошь покрыт дерном.

Эта часть Каратаевской крепости была застроена наземными сооружениями. При их устройстве для установки опорных столбов или жердей в материке нередко приходилось долбить неглубокие столбовые ямки, поскольку слой древнего дерна был тонким. В такие ямки устанавливали концы опор и закрепляли их там при помощи небольших камней, поставленных вертикально. Открыта серия подобных ям, иногда расположенных по две. Однако их несколько хаотичное размещение свидетельствует о том, что столбовые конструкции неоднократно подвергались перестройке.

Кроме того, в южной части раскопа открыты три неглубокие канавки, в заполнении которых обнаружены камни средней величины. Две из них, одна почти па-

раллельна другой, расположены ближе к краю террасы. Расстояние между ними 3–4 м. Смыкались ли их концы поперечными канавками – неизвестно. Еще одна канавка длиной более 3 м расположена к СЗЗ от первых. В створе последней, в 3 м от нее, расположена короткая канавка, в которой находилась столбовая ямка с вертикальными камнями. По-видимому, в описанных выше канавках закреплялся нижний край тростниковой (?) стены какого-то наземного сооружения.

В северо-восточной части раскопа, т. е. почти в средней части крепости, открыто основание большой прямоугольной постройки (14,0 x 7,5 м), ориентированной длинной осью по линии ЮВВ-СЗЗ. Для укрепления нижнего края стен этой постройки, по их периметру, в материке были выдолблены неглубокие канавки. В центральной части каждой длинной стены находился вход в помещение. Ширина входа 1,3 м. Возможно, вход был еще и в узкой, северо-западной стене. В центральной части этой постройки, между двумя входами в нее, расположена большая округлая яма – очаг (?), в центре которой было углубление. Несколько в стороне от этого очага (?) зафиксировано скопление бычьих астрагалов. Еще несколько таких астрагалов найдено на территории самой постройки. В прямоугольной постройке, ближе к ее западному входу, было выявлено аморфное углубление, около которого находилась россыпь фрагментов керамики, бронзовое шило и т. д. В северо-западной части этой постройки, у ее стены, выявлено небольшое овальное скопление пережженных камней. В целом в рамках самой постройки находок было немного, не было развалов керамики.

Открытия столбовых ям и канав под основаниями стен, сделанных из дерева и тростника, по-видимому, свидетельствуют, что южная часть крепости, ближе к ее обрывистому краю, была плотно застроена. Она не являлась загонем для скота. В то же время на территории крепости, вдоль ее обрывистого края, обращенного к реке,

не обнаружено следов укрепления. Здесь не найдено оборонительной стены. Она ограждала крепость только с напольной стороны.

На территории Каратаевской крепости, так же как и на Ливенцовской, особенно среди фортификационных сооружений, собрана выразительная серия кремневых черенковых наконечников стрел, многие из них разбиты от удара о камень. Так же как в Ливенцовской крепости, найдены фрагменты литейных чаш полусферической формы. Керамика сильно фрагментирована. Частой находкой являются фрагменты горшков с резко отогнутым раструбным горлом, основание которого опоясывает валик с защипами. Иногда такой валик украшают высоко поднятые округлые плечики. С другой стороны, нет в коллекции посуды с массивными широкими венчиками, характерными для реповидников. Редкой находкой являются фрагменты посуды, украшенной несколькими параллельными тонкими наклепными валиками.

В истории Каратаевской крепости много темных страниц. Тонкий культурный слой свидетельствует о том, что она просуществовала короткий отрезок времени. Ее появление на краю дельты Дона – явление экстраординарное. Ее взаимоотношение с соседней Ливенцовской крепостью во многом загадочное. По-видимому, эти крепости, с оригинальной фортификацией, появившиеся в финальный период развития позднекатакомбных культур, были достаточно инородным явлением в среде скотоводческих племен, обитавших в низовье Дона.

Черенковые наконечники стрел, найденные на территории каждой крепости, позволяют предположить, что воинственно настроенные люди, окружившие обе крепости, могли относиться к кругу позднекатакомбных племен. Этот конфликт завершился тем, что крепость была атакована, захвачена и заброшена.

На руинах Каратаевской крепости в скифское время был сооружен небольшой могильник с кромлехами.

Ю. Ф. КИРЮШИН, А. А. ТИШКИН, С. П. ГРУШИН

МАТЕРИАЛЫ ЭПОХИ РАННЕЙ БРОНЗЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ М. П. ГРЯЗНОВЫМ С ПАМЯТНИКА ЧУДАЦКАЯ ГОРА В ВЕРХНЕМ ПРИОБЬЕ

История изучения памятников археологии порой напоминает человеческие судьбы. Некоторым из них фатально не везет. Ярким примером может служить исследование Сейминского могильника в бассейне Оки. Памятник подвергался многочисленным непрофессиональным раскопкам. В результате большая часть объекта и информация о нем были уничтожены [Бадер, 1970, с. 82]. Подобных фактов можно привести еще много.

В настоящей публикации представлена история открытия и результаты исследования одного из интереснейших памятников Верхнего Приобья – Чудацкая Гора. Несмотря на то, что артефакты с этого археологического объекта привлекали внимание ученых с момента его открытия, до сих пор материалы, полученные более 75 лет назад, в полном объеме в научный оборот не введены.

Чудацкая Гора находится в Павловском районе Алтайского края. Сведения о ней сохранились в архивных источниках, датированных февралем 1924 г. [Тишкина, 1998, с. 25]. Однако возможно существование и более ранних свидетельств. Судя по инвентарным книгам Алтайского краеведческого музея (Барнаул), коллекция предметов, собранных с песчаной поверхности «Чудатской горы неподалеку от выселка Нагорного около д. Касмалы ...», поступила от гражданина Субботина, побывавшего на древнем памятнике летом 1924 г. В следующем году школьный работник М.А. Неупоков также пожертвовал музею находки, обнаруженные на Чудацкой Горе [Уманский, 1993, с. 5]. Среди них были вещи, собранные учениками харьковской школы во время экскурсии 23 мая 1925 г. В этом же году по поручению Этнографического отдела Государственного Русского музея М.П. Грязнов производил обследования берегов Оби от Бийска до Барнаула [Грязнов, 1956, с. 5]. В Центре хранения архивных фондов Алтайского края имеются сведения о деятельности исследователя, связанной с установлением контактов с местными организациями [Тишкина, 1999, с. 193]. Материалы сборов 1925 г., произведенные М.П. Грязновым на Чудацкой Горе, были переданы в Государственный Эрмитаж (кол. № 343 и 5597). Они представлены преимущественно керамикой и каменными орудиями эпохи энеолита, ранней и поздней бронзы.

Вторично этот объект Михаил Петрович обследовал в 1927 г. Тогда же он произвел и археологические раскопки. Памятник был обозначен М.П. Грязновым как стоянка «Чудацкая Гора», которая «...располагалась на высоком коренном берегу р. Оби на мысу, образованном поймой р. Оби и р. Касмалы и двумя глубокими оврагами, на правом берегу р. Касмала ...». В 1920-е гг. песчаный мыс разрушался господствующими западными ветрами. На поверхности выдувов лежало множество костей животных и человека. Там же были обнаружены каменные, металлические, костяные изделия и керамика. Непотронутой осталась лишь небольшая часть мыса (около 20–30% от всей площади). М.П. Грязнов вскрыл 121 кв. м в двух пунктах восточной оконечности этого неразрушенного островка и небольшой останец (3 кв. м) около его западной окраины [Кирюшин, Тишкин, Грушин, 2000, с. 23].

В результате оказались исследованы энеолитическое и средневековое погребения (ГЭ, кол. № 5513; 5512), а также получена представительная коллекция, датированная ранним железным веком [Абдулганеев, Казаков, 1994]. Кроме материалов указанных периодов на памятнике обнаружена керамика эпохи ранней бронзы, среди которой имелись целые или поддающиеся реконструкции сосуды.

Некоторые полученные результаты и часть находок были опубликованы в работе «Древние культуры Алтая»

[Грязнов, 1930], в том числе первая систематизация археологического материала и периодизация местных культур. Коллекцию сосудов эпохи ранней бронзы из Чудацкой Горы М.П. Грязнов сопоставил с материалами раскопанного на этом же памятнике энеолитического погребения и с материалами афанасьевской культуры Горного Алтая, поместив их в дометаллическую эпоху. Ранняя бронза в указанной публикации представлена андроновской культурой, а средняя – карасукской [Грязнов, 1930, с. 4–6, 10–11].

Материалы с Чудацкой Горы оказались востребованными в 70-е гг. XX в., что было связано с интенсивным накоплением археологического материала на территории Среднего Прииртышья, Верхнего Приобья и Минусинской котловины. В статьях Г.А. Максименкова «Окуневская культура и ее окружение» и «О культурах эпохи бронзы южной части Сибири» памятник Чудацкая Гора, вместе с другими объектами Верхнего Приобья (Кротово VII, Морайка, Ляпустин Мыс, Коровья Пристань I, III, Озерки), отнесены к окуневской культуре [Максименков, 1970а, с. 73] развитого энеолита [Максименков, 1970б, с. 79]. С этой точкой зрения не согласился В.И. Матющенко, который указанные археологические объекты рассматривал в рамках раннего этапа самусьской культуры [Матющенко, 1970, с. 97].

После выделения в Верхнем Приобье кротовской и елунинской культур [Молодин, 1977; Кирюшин, 1985] принадлежность материалов Чудацкой Горы, полученных М.П. Грязновым, к той или иной культуре оставалась неопределенной. Один из авторов предполагал, что территория между Ордынским и Чудацкой Горой в древности была контактной зоной между населением обеих обозначенных культур [Кирюшин, 1986, с. 19].

В 2000 г. часть керамических находок, хранящихся в ГЭ и обработанных в свое время Ю.Ф. Кирюшиным, была опубликована и отнесена к елунинской археологической культуре [Кирюшин и др., 2000, с. 24].

В настоящее время значение материалов, полученных в 1925 и 1927 гг. на памятнике Чудацкая Гора и относимых нами к эпохе ранней бронзы, трудно переоценить, так как обследование памятника в 2001 г. показало, что его значительная часть разрушена карьером, а подъемный материал представлял собой преимущественно керамику эпохи раннего железа и средневековья. Материалов раннего бронзового века вообще не обнаружено.

В 2001 г. были обработаны коллекции № 343; 5597; 4772; 4568, хранящиеся в настоящее время в фондах ГЭ (авторы считают своим долгом выразить благодарность Л.С. Марсадолову за помощь, оказанную в процессе работы с коллекционными и архивными материалами). Керамический комплекс эпохи ранней бронзы из раскопок и сборов М.П. Грязнова на памятнике Чудацкая Гора

представлен десятью целыми и реконструированными сосудами, 15 фрагментами венчиков, 26 фрагментами придонных частей и 175 фрагментами стенок горшков.

Среди целых сосудов можно выделить три типа форм.

Тип 1. Сосуды баночной формы с прямой вертикальной горловиной и с туловом, резко сужающимся ко дну. За счет этого диаметр устья и наибольший диаметр тулова примерно равны друг другу и значительно больше диаметра дна. К такому типу относятся три сосуда.

Тип 2. Сосуды баночной формы с вертикальной горловиной и почти вертикальными стенками. Керамика данного типа отличается от предыдущего тем, что диаметр дна близок к диаметру тулова и устья. Отмечено два сосуда такой формы.

Тип 3. Сосуды горшечно-баночной формы с сильно раздутым туловом, относительно узкой горловиной и с отогнутым наружу венчиком. К этому типу относится один сосуд.

Статистический анализ по 194 определимым экземплярам (100%) показал, что преобладающей техникой орнаментации керамической посуды являлась «отступающая палочка» – 113 экз. (58,2%). Керамика, украшенная «шагающей гребенкой», составила 48 экз. (24,8%). Техник «протасенной палочки» орнаментировано 23 фрагмента (11,9%). Из остальных приемов декорирования керамической посуды Чудацкой Горы следует отметить следующие: «гребенчатая качалка» – 4 экз. (2,1%); гребенчатый штамп и заглаживание – по 1%, вдавления и насечки – по 0,5%.

Для построения орнамента на сосудах характерно несколько вариантов: горизонтальные ряды оттисков, полностью покрывающие стенки сосудов; зона под венчиком украшена вертикальными или диагональными рядами оттисков, по тулову идут горизонтальные ряды, между зонами в некоторых случаях использован «разделитель» в виде волнистого валика; горизонтальные ряды оттисков, полностью покрывающие стенки сосудов, с наличием пояса по центру сосуда из вертикально поставленных,

слегка наклоненных вдавлений (на одном из сосудов такой пояс присутствует и в придонной части).

Один сосуд по тулову орнаментирован горизонтальными рядами «отступающей палочки». В его придонной части горизонтальные ряды прерывистые, и чем ближе ко дну, тем неорнаментированных участков больше. Таким образом, ряды составляют своеобразные фестоны (всего их восемь), которые спускаются ко дну и соединяются в его центре, образуя солярную розетку. Необходимо отметить еще такой мотив – расположенные в шахматном порядке квадраты, образованные, как и фестоны в предыдущем случае, горизонтальными рядами оттисков «отступающей палочки».

Форма сосудов, техника орнаментации и композиционное построение декора в большей степени сопоставимы с комплексами елунинской археологической культуры раннего бронзового века [Кирюшин и др., 2000, с. 24]. Кроме керамики в коллекции имеются каменные изделия, которые, по нашему мнению, могут относиться к рассматриваемому периоду: это плоский шлифованный камень бурого цвета с выбитыми чашевидными углублениями (по одному на двух плоскостях изделия) и каменное шлифованное тесло.

Месторасположение памятника Чудацкая Гора на высоком коренном мысу левого берега Оби, характер археологического материала и присутствие в коллекции целых сосудов позволяют считать его погребально-поминальным комплексом эпохи ранней бронзы. Важно отметить, что описанное расположение памятника характерно для всех исследованных могильников елунинской культуры, ближайшие из которых Телеутский Взвоз I и Елунино I находятся ниже по течению Оби [Кирюшин и др., 2001].

В заключение стоит еще раз указать на необходимость полной публикации всех материалов, полученных М.П. Грязновым с памятника Чудацкая Гора.

Работа выполнена по гранту Минобразования РФ, проект № Г00-1.2-298.

А.В. КИЯШКО

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ И ЭТАПАХ КАТАКОМБНОГО КУЛЬТУРОГЕНЕЗА

Нынешнее представление о катакомбной культуре формировалось постепенно, в результате столетнего исследования памятников эпохи средней бронзы. Был выработан ряд общепринятых положений о характере и составе катакомбной культуры, ее приоритетных признаках и внешней ориентации. Сегодня при определении этой культуры речь может идти прежде всего о ритуальном сходстве ряда локально-хронологических групп погребе-

ний эпохи средней бронзы степного Предкавказья. Ядром этой общности практически на всех этапах ее развития были памятники Северо-Восточного Приазовья и Нижнего Дона: сначала местные позднеямные–раннекатакомбные древности, а затем комплексы донецкой катакомбной культуры. Центральная роль этого региона, классический характер его памятников связаны с хронологическим приоритетом и чистотой проявления здесь

признаков катакомбного обряда. Кроме того, на территории Нижнего Подонья наиболее отчетливо фиксируется культурное влияние Северо-Западного Кавказа, которое стало катализатором начала эпохи средней бронзы в предкавказских степях.

Все эти выводы составляют лишь исходную, весьма общую, позицию ряда исследователей. Многие вопросы происхождения, периодизации, локализации, интерпретации катакомбного ритуала, а также культурного развития практиковавших его групп населения остаются дискуссионными и пока ждут своего решения.

Нами предпринята попытка дать формулировку и наметить пути изучения еще одной актуальной проблемы – динамики катакомбного культуросогенеза. Этот процесс являлся своего рода стержнем развития эпохи средней бронзы Предкавказья. Ему были присущи определенные временные и территориальные рамки, а также соответствующие им качественные параметры: зарождение – формирование – кульминация – стагнация – упадок; центр – периферия (первичная и вторичная). Катакомбный культуросогенез зависел также от ряда внешних и внутренних факторов, стимулировавших его развитие. Прежде чем охарактеризовать основные этапы культуросогенеза средней бронзы, отметим, что это понятие в содержательном плане, а также в синхронном и диахронном аспектах более широкое, чем возникновение, расцвет и угасание катакомбного обряда. Оно включает относительно независимые, нередко асинхронные тенденции развития материальной культуры (эволюция изделий из металла, керамики и т. д.) и духовной сферы (появление новых идей, предметов культа, деталей ритуала и т. д.).

Начало эпохи бронзы в степях Юго-Восточной Европы в значительной степени было связано с культурными изменениями на Кавказе. Этот регион являлся очагом культуросогенеза для огромной территории и, в частности, служил ядром металлургической провинции, включавшей зону степей и лесостепей от Днепра до Волги [Бочкарев, 1990; 1991]. О приоритете Кавказа свидетельствует явный дисбаланс развития: местная майкопско-новосвободненская общность с характерной бронзовой индустрией была синхронна энеолитическим культурам степного Предкавказья (константиновской, репинской и др.). Определенное взаимодействие этих культурных регионов привело к распространению кавказских импортов в степных комплексах, к центростремительному движению на юг некоторых энеолитических племен (например, появление в Нижнем Подонье и в Прикубанье памятников репинского типа) и т. д. Однако симбиоз двух традиций в эпоху энеолита – ранней бронзы еще не создал качественно новую культурную ситуацию в степи, население которой оставалось пока вне сферы кавказского культуросогенеза. Все это произойдет позже, в эпоху средней бронзы.

В результате анализа древностей позднеямного–катакомбного времени, а также памятников средней бронзы Северного Кавказа культурный процесс, происходивший в степях Предкавказья, может быть охарактеризован как стимулированная трансформация [Массон, 1996]. Ее начало было связано с дивергенцией майкопско-новосвободненской общности, племена которой в Северо-Восточном Приазовье стали основным субстратом новотитаровской культуры [Гей, 1991]. Эта часть степной территории была включена в зону культуросогенеза эпохи средней бронзы, через нее происходила ретрансляция кавказских влияний, в том числе мегалитических традиций. Результатом их адаптации в степной среде, своего рода ответом местной культуры, стало возникновение в Восточном Приазовье и распространение в смежные районы катакомбного погребального обряда. Это явление имело циклический и локальный характер, так как нарушенные степные древнеямные традиции в финале катакомбного времени возобладали уже в ином культурном контексте, а на периферии приазовского центра катакомбного обряда они эволюционировали более или менее устойчиво вплоть до эпохи поздней бронзы.

Таким образом, эволюция погребального обряда составляла основу катакомбного культуросогенеза, который, в свою очередь, имел определяющее значение для эпохи средней бронзы в целом. Можно наметить, по крайней мере, пять этапов этого развития.

1. Зарождение предпосылок формирования очага катакомбного обряда, а также признаков соответствующей материальной культуры происходило в среде новотитаровских племен Прикубанья и родственных им групп населения низовий Дона. Сюда относится распространение погребений с антитезными значениями скорченности костяков (право/лево) и ориентировки (В/З), находки металлических изделий постновосвободненских типов (успенского этапа Северного Кавказа) [Рысин, 2000], плоскодонной керамики, молоточковидных булавок с прямым стержнем и горизонтальной композицией орнамента. Эти новации возникали на фоне степных позднеямных традиций (ямные погребения городцовского типа).

2. Формирование нижнедонского (приазовского) центра катакомбного обряда. Появление погребений в Т-видных катакомбах с жаровнями и простейшими типами северокавказских бронзовых украшений в инвентаре. Найдены молоточковидных булавок с веретенообразным стержнем и вертикальной композицией орнамента. Металлические орудия – преимущественно бронзовые клинки – практически не отличаются от новотитаровских (позднеямных) образцов.

Это стадия преддонецких, ранних катакомб, в ритуале которых прослеживается наибольшее число параллель-

лей со склеповым, дольменным обрядом Северо-Западного Кавказа [Кияшко, 1979]. Они доминировали в курганах Приазовья, сочетались с периферийными формами катакомбного обряда в центральных районах Нижнего Подонья (погребения в Н-видных и асимметричных конструкциях) и практически отсутствовали в волго-донских степях. Последняя территория хотя и попала в сферу катакомбного культурогенеза, но составляла его дальнюю, вторичную периферию.

3. Этап максимального взаимодействия культур эпохи средней бронзы Северного Кавказа и степного Предкавказья (металлические булавки и разнообразные типы северокавказских украшений в инвентаре, наибольшее число находок в степи импортной керамики Западного Кавказа и т. д.). Вместе с тем, фиксируется отход от канонов раннего катакомбно-дольменного погребального обряда и появление целого ряда элементов развитого степного катакомбного ритуала (деформация черепов, ранние типы курильниц, комки охры, расширенный керамический сервиз и т. д.). Это раннедонецкий период развития классической катакомбной культуры Донетчины и Нижнего Подонья. О кульминации культурогенеза свидетельствуют археологические признаки включения в него племен соседних регионов: на Нижнем Дону отмечены

элементы центральноевропейских шнуровых культур; в волго-донских степях возникает восточная по своим истокам полтавкинская керамическая традиция; культура волго-маньчских степей и Калмыкии преобразуется, по всей вероятности, в результате южного импульса из раннеземледельческого региона Северо-Восточного Кавказа.

4. Развитый этап культур катакомбного круга (донецкой, среднедонской, маньчской, батуринской и т. д.). Характеризуется высокой степенью локализации степных культур. Наблюдается их стагнация и даже возрождение ряда архаичных традиций: ямно-подбойного погребального обряда, горизонтально-зональной орнаментации керамики; усиление в ряде районов восточных и лесостепных влияний (например, распространение вплоть до Нижнего Подонья и Донетчины «елочной керамики»).

5. Период распада катакомбной общности, возникновение на отдельных ключевых территориях (например, на правобережье Нижнего Дона) культуры многоваликовой керамики, а на периферии – памятников синташтинско-потаповского круга. Эстафета культурогенеза переходит к Волго-Уральскому региону.

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект № 00-01-00059а.

В.Я. КИЯШКО

ЕЩЕ РАЗ О ПРОБЛЕМЕ «УТЮЖКОВ» В МЕЗОЛИТЕ–ЭНЕОЛИТЕ ЕВРАЗИИ

Основная часть богатого творческого наследия М.П. Грязнова посвящена археологическим памятникам Сибири и Средней Азии, однако ему были близки и интересны материалы Кавказа и степей Восточной Европы. В одной из памятных бесед в конце семидесятых годов Михаил Петрович, разглядывая привезенную мной серию каменных поделок из Константиновского поселения на Дону, вначале побранил провинциальную неряшливость (на одном из предметов не было шифра), а затем, узнав о сопоставлении находок с «утюжками» Надпорожья, посоветовал взглянуть на проблему шире, обратить внимание на Южный Урал и Сибирь.

«Утюжки», или «човники», как их называют на Украине, всегда привлекали внимание исследователей. Существует много работ и, соответственно, мнений, посвященных этой категории находок. Последняя по времени, опубликованная на Украине, сводка И.М. Гавриленко [«Човники» эпохи мезолита-энеолита и проблема их назначения // Восточноевропейский археологический журнал. 2001. № 5/12. Сентябрь-октябрь] обстоятельно излагает суть проблемы и перечисляет большинство из предложенных автором решений. К сожалению, им не

учтено одно из направлений в трактовке назначения и использования «утюжков», отраженное в работах следующих авторов: В.Я. Кияшко, В.Д. Викторова, В.Ф. Кернер [«Утюжки» эпохи неолита-энеолита и их смысловая интерпретация // Тез. докл. конф. «350-летие Азовского осадного сидения». Азов, 1991]; В.Д. Викторова, В.Ф. Кернер [«Утюжки» с неолитическими и энеолитическими памятников Зауралья // Вопросы археологии Урала. Екатеринбург, 1998]. В этих публикациях авторы разными путями приходят к сходному мнению о связи «утюжков» с первобытной верой в женское божество.

Весь разнородный связанный с «утюжками» суждений можно свести к двум группам. Первая, наиболее представительная, учитывая морфологические, трассологические, технологические признаки предметов, используя этнографические параллели и обращая внимание на хронологию и географию находок, склоняется к сугубо утилитарной роли загадочных камней. Литейные формы, абразивы для костяных и деревянных стержней, «утюжки» для одежных швов, мягчители ремней, штампы для тиснения кож, шлифовалки; детали приспособлений для добывания огня, лучкового сверления, витяг шнуров,

копьеметания – вот далеко не полный список предположений. Сторонники второй малочисленной группы, исходя из дефицита используемого сырья, тщательности отделки, семантической сложности орнаментации и наличия зоо- и антропоморфных экземпляров, говорят о культовой принадлежности изделий, видя в них подобие антропоморфных статуэток, изображений рыб и других ритуальных символов, используемых в промысловой и производственной магии.

На основании анализа всех факторов, связанных с кругом исследуемых предметов, можно предложить компромиссное соединение мнений из обеих групп с доминантой культовой составляющей. Морфология большинства «утюжков», и особенно их реалистических экземпляров, связана с символикой Великой Богини-Матери, ее всепорождающей функцией в любых проявлениях первобытной повседневности. Опираясь на этнографию, можно предположить, что одной из основных «производственных» задач этих священных орудий было именно изготовление сакральных фетишей Богини из пучков обработанных палочек-прутьев, связок бахромы из ремней либо костяных поделок. Ритуальная практика требовала постоянного возобновления изделий, отсюда и сработанность проточин, поэтому лесная зона, с иным кругом верований и их материальным воплощением в деревянной резной скульптуре,

почти не имеет «утюжков». Символ Великой Богини мог освящать производство и применение оружия, процессы добывания огня и приготовления ритуальной пищи, мог соединять утилитарное и духовное.

В Западной Европе и Средиземноморье, где находки «утюжков» единичны, в неолите либо доминируют каменные, глиняные и костяные женские идола, имеющие иногда поперечные проточки, либо развивается культ лабриса – символа Великой Богини, как на Крите, с иными обрядами почитания.

Сравнительно быстрое повсеместное исчезновение «утюжков» в начале бронзового века, возможно, связано с распространением новой идеологии скотоводческих племен, с преобладанием солярных мужских божеств с почитанием оружия-фаллоса, символом которого становится сверленный топор. Рудименты былых верований можно увидеть в стремлении снабдить сверленный топор проточиной на обушке, в орнаментах на отдельных экземплярах и в убогих дериватах «утюжков», изредка встречающихся в погребениях курганных культур. Процесс изготовления священных пучков-факелов, наряду с изготовлением стрел, вышел из сферы домашнего производства и стал осуществляться на ином уровне и иными инструментами, хорошо известными исследователям бронзового века.

А.А. КОВАЛЕВ

О ПРОИСХОЖДЕНИИ КОМПЛЕКСА ФОРМ БРОНЗОВЫХ ЛЕЗВИЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДРЕВНЕГО КИТАЯ (ЭПОХА СЯ-ШАН)*

Сходство форм ряда категорий металлического инвентаря Центральной равнины и «северной зоны» обычно обсуждается в общем контексте вопроса о происхождении древнекитайской металлургии и цивилизации Китая в целом [Варенов, 1993]. Материалы раскопок на территории Северного и Западного Китая позволяют четко выявить в инвентаре памятников эпохи Шан среднего и позднего периодов артефакты инокультурного происхождения, оказавшиеся на Центральной равнине как военные трофеи либо импорты. Большинство таких предметов относится к кругу памятников XIV–XII вв. до н. э., для которых типичны втульчатые топоры (клевец) с выступом на обушке, кинжалы с пластинчатой гардой и плоской рукоятью, дугообразнообушковые и выгнутообушковые ножи с выделенной гардой без подрезки и уступа основания лезвия. Эти памятники китайскими и рос-

сийскими исследователями отнесены к различным культурам, однако нам представляется, что пока можно территориально и хронологически очертить только комплекс указанных форм в целом, который мы обозначаем условным названием «культура Чаодаогу».

Кроме этого, инородными для собственно «китайских» памятников эпохи развитой бронзы можно считать бронзовые зеркала с центральной петелькой, втульчатые секиры и бронзовые ножи, имеющие такие характерные для синхронных культур Саяно-Алтая признаки, как подрезка, грибовидное либо кольцевое с тремя выступами на вершине [У Энь, 1985; Линь Юнь, 1987; 1990; Варенов, 1987; 1996; Kovalev, 1992; Linduff, 1995; 1996; Wu En, 2001]. Количество находок таких артефактов в памятниках Центральной равнины и предметов «шанских» типов в памятниках «северной зоны» позволяет нам разделить мнение китайских ученых о том, что в XIV–XII вв. до н. э. на территории современного Китая проходил активный процесс взаимного влияния «северных» скотоводческих и земледельческих культур [Линь Юнь, 1987,

*Настоящая статья представляет существенно переработанный вариант доклада на конференции по археологии Аньяна в 1998 году [Ковалефу, 1998].

с. 155–156; 1990, с. 42]. Однако это ни в коем случае не дает ответа на вопрос о происхождении тех видов и типов артефактов, которые характеризуют собственно древнекитайскую культуру эпохи бронзы.

Для прояснения вопроса о внешних факторах формирования комплекса форм орудий Древнего Китая необходимо выделить специфические и устойчивые черты формы отдельных категорий предметов, характерных для культуры Центральной равнины в эпоху Ся-Шан, отличающие их от ведущих типов артефактов всех синхронных пограничных культур, и затем найти те же признаки в едином культурном контексте, датирующемся заведомо более ранним временем. При этом очевидно, что заимствование отдельных передовых технологий либо наиболее эффективных категорий орудий не может само по себе означать присутствие на Центральной равнине многочисленной группы мигрантов, непосредственно принявших участие в формировании древнекитайской цивилизации (согласно модели, сконструированной Л.С. Васильевым [1976, с. 318–321]). Напротив, факт комплексного восприятия населением Древнего Китая инородного набора признаков, не связанных с идеей технического прогресса, вплоть до бывших даже своеобразным атавизмом в контексте культуры-«донора», но ставших ведущими в шанской культуре, может указывать на глубочайшие структурные связи этих культур, которые возможны только при непосредственном включении коллектива – носителя инородной традиции – в систему древнекитайского общества.

С этой точки зрения целесообразно рассмотреть вопрос о происхождении комплекса лезвийных орудий шанского Китая – в «аньянский период», поскольку об этом периоде в нашем распоряжении имеется богатый статистический материал.

Два ведущих вида иньских лезвийных орудий – копьё и кельты (в том числе долота) с тонкостенными слепыми втулками, появляющиеся в памятниках Центральной равнины не ранее времени верхнего слоя Эрлиган [Хаяси Минао, 1972, с. 104–107, 139–151; Варенов, 1989а; Чжу Фэнхань, 1995, с. 262–264, 299–302], несомненно, имеют внешние корни. В соответствии с идеей М. Лера, поддержанной впоследствии С.В. Киселевым и высказанной в работах Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых, а также Л.Дж. Фицджеральд-Хубер [Loehr, 1956, р. 41–43; Киселев, 1960, с. 264; Черных, Кузьминых, 1989, с. 257–259; Fitzgerald-Huber, 1995, р. 40–52], распространение этих видов лезвийных орудий в Древнем Китае связано с сейминско-турбинской традицией. Недавняя находка огромного (61,5 см длиной) литого «постсейминского» бронзового наконечника копья с крюком-багром типа «ростовкинских» в комплексе культуры Цицзя в Цинхэе, могильная (?) яма Н74 на памятнике Шэньна, Синин

(рис. 1, 16) [Хай Дуаньчжи, 1994, с. 138], подтверждает предположение о раннем проникновении на Центральную равнину именно сейминско-турбинских технологий [Debaine-Francfort, 2001, S. 63]. Этот наконечник осмотрен нами в Институте археологии и культурного наследия Цинхэа весной 2000 г. Он отличается от сейминско-турбинских тем, что вместо «вилки» центральный стержень его пера снабжен гребнем, идущим от втулки; те же признаки имеет ряд заведомо более поздних, чем сейминско-турбинские, наконечников копий «самусьско-кижировского типа» [Черных, Кузьминых, 1989, с. 157, 158, рис. 81]; совершенно ясно, что эту находку нужно использовать для датировки соответствующего этапа культуры Цицзя исходя из даты могильника Ростовки в качестве *terminus post quem*, а не для обоснования глубочайшей древности появления технологии бронзового литья в Цинхэе («до 2000 года до н. э.»!), как это делает М. Вагнер [Wagner, 2001, S. 54]. В то же время иньские орудия с тонкостенными втулками не имеют таких специфических черт, как «ребра жесткости» кельтов, вильчатость стержня пера наконечников копий и другие, обязательность которых для сейминско-турбинской атрибуции артефактов подчеркивается в литературе [Черных, Кузьминых, 1989, с. 38, 65]. Так что появление в материальной культуре иньского Китая этих новых видов орудий может быть следствием диффузии передовых технологий и само по себе не проясняет интересующий нас вопрос.

Еще один вид лезвийных орудий, распространяющийся в иньское время – ножи с выгнутой спинкой (по всей длине либо в пределах рукояти – и те и другие будем называть далее выгнутообушковыми), при этом часто с оттянутым кончиком лезвия, ребром жесткости, идущим по спинке, с уступом при основании лезвия, и преимущественно – с кольцевым навершием (рис. 2, 3) [Ли Цзи, 1949, с. 28–38; Хаяси Минао, 1972, с. 167–193; Чэнь Чжэнчжун, 1985, с. 75–76; Ли Вэймин, 1988; Цзи Найцзюнь, 1994; Кун Дэмин, Чжан Сюоцинь, 1995, с. 107, рис. 9, 10]. Форма изогнутого ножа с уступом и кольцевым навершием быстро становится ведущей в культуре и удерживается в течение более полутора тысяч лет, приобретая в том числе и чисто символическую функцию [Хаяси Минао, 1972, с. 179–193]. При этом необходимо отметить, что иньские мастера отливали выгнутообушковые ножи вместе с бронзовой рукоятью. Об этом говорит и орнаментация этих рукоятей, и их форма. Большинство ножей шанского производства – в том числе практически все, относящиеся к культуре Эрлитоу (рис. 1, 14, 15) и периоду верхнего слоя Эрлиган, которые имеют прямой либо вогнутый обушок, преимущественно снабжены плоским прямым черенком для крепления к деревянной рукояти [Ли Цзи, 1949, с. 30–34, рис. 26, 27, табл. XXI–XXII;

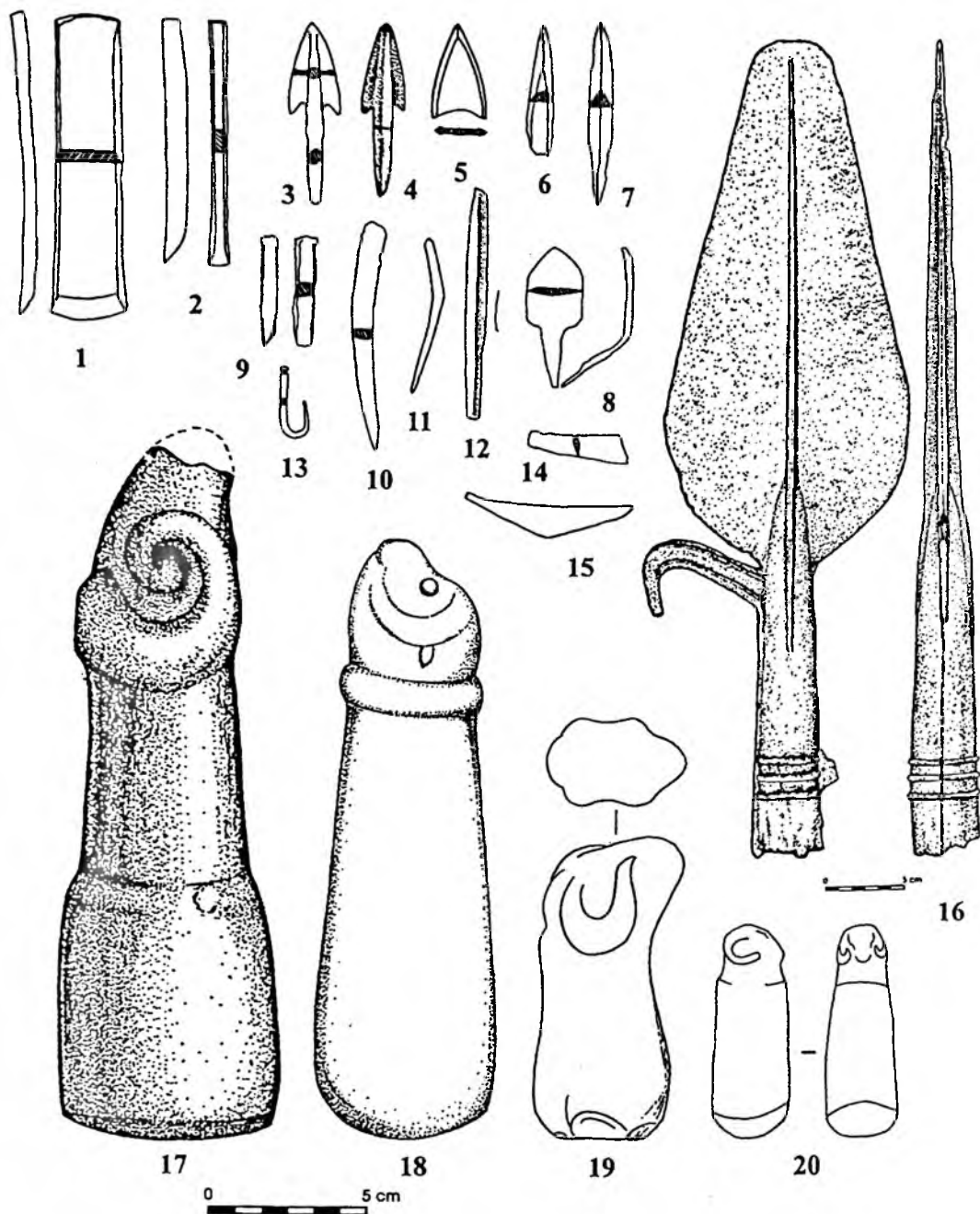


Рис. 1. Археологические материалы эпохи Ся-Шан и их параллели из степей Евразии:

- 1-15 – поселение Эрлитоу (1, 2 – бронзовые тесло и долото, раскоп 8, 3-й период;
 3, 6, 8 – бронзовые наконечники стрел, раскоп 5, 4-й период; 4 – бронзовый наконечник стрелы, раскоп 5;
 5 – каменный наконечник стрелы, раскоп 5, 4-й период; 7 – костяной наконечник стрелы, раскоп 5, 4-й период;
 9 – бронзовое долото, раскоп 5, 4-й период; 10 – бронзовое шило, раскоп 5, 4-й период;
 11, 12 – бронзовые шилья, раскоп 5; 13 – бронзовый рыболовный крючок, раскоп 5, 4-й период;
 14 – бронзовый нож, раскоп 5, 4-й период; 15 – бронзовый нож, раскоп 5); 16 – бронзовый наконечник копья, Шэньна, яма Н74;
 17 – каменный пест, Иссык, Республика Казахстан; 18 – каменный пест, Кобдоский аймак, Монголия;
 19 – каменный пест, Минусинская котловина; 20 – каменный пест, поселение Эрлитоу, раскоп 5, 4-й период, VT12A3:1

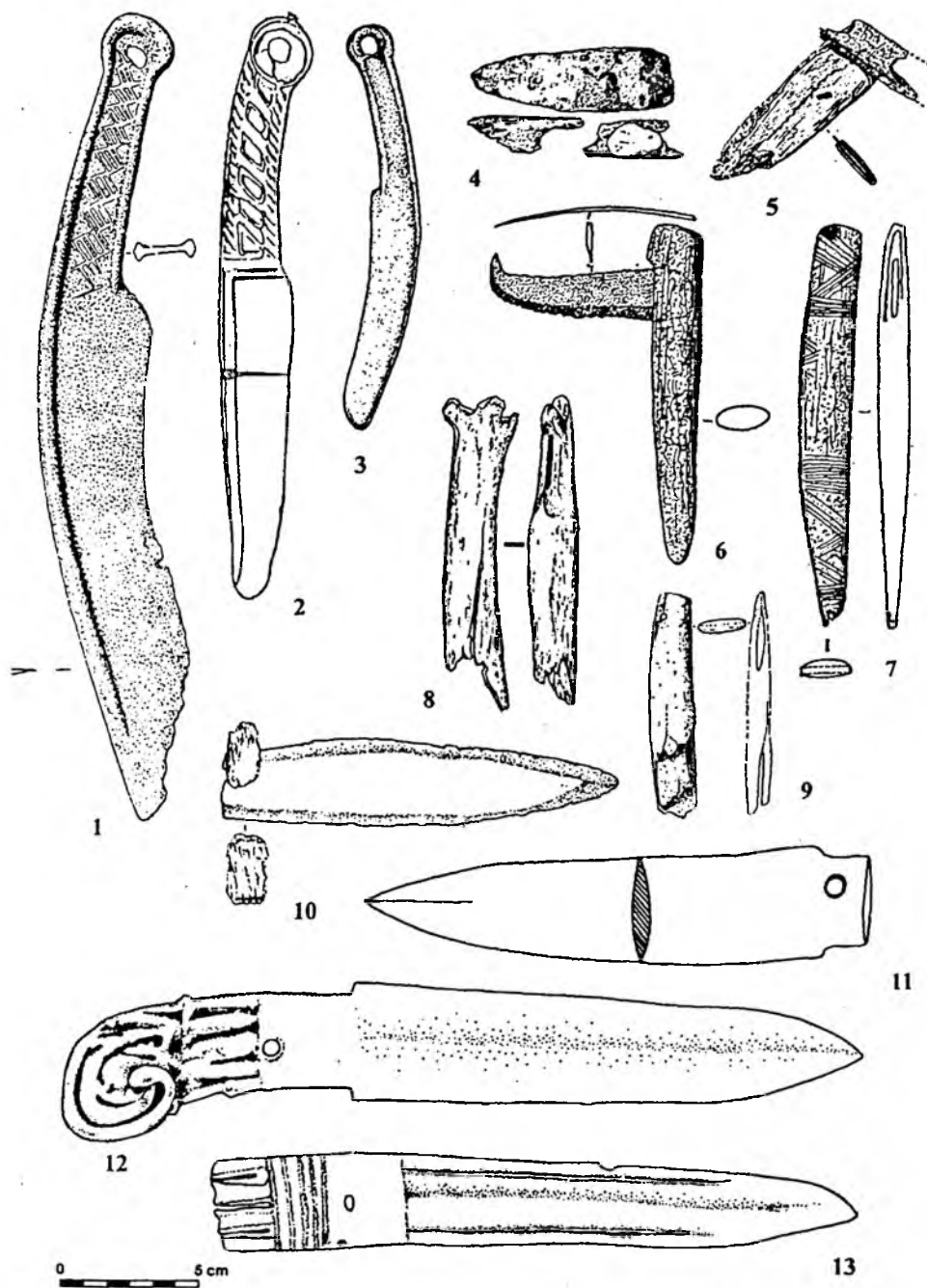


Рис. 2. Археологические материалы эпохи Ся-Шан и их параллели из степей Евразии (продолжение):
 1 – бронзовый нож, мог. Ростовка, квадрат Д-17; 2 – бронзовый нож, поселение Эрлитоу 3, могила М2;
 3 – бронзовый нож, иньское городище, Аньянский музей, № 0460;
 4–6 – бронзовые острия с костяными рукоятями, мог. Ростовка (4, 5 – м. 4, 6 – м. 20);
 7–9 – костяные рукояти для бронзовых острий, мог. Ростовка (7 – м. 33, 8 – м. 1, 9 – м. 8);
 10 – бронзовое острие с остатками деревянной рукояти, мог. Ростовка, могила 8;
 11 – нефритовый клевец, поселение Эрлитоу; 12 – бронзовый клевец, поселение Эрлитоу, раскоп 6, 3-й период;
 13 – бронзовый клевец, поселение Эрлитоу, раскоп 3, 3-й период

Хаяси Минао, 1972, с. 168, рис. 232, 235–240, 242–243, 245, 265–268, 271–275; Ли Вэймин, 1988, с. 42–43, рис. 1–20; Кун Дэмин, Чжан Сяоцин, 1995, с. 107, рис. 7; Чжу Фэнхань, 1995, с. 302–303, рис. 4 (21, 51, 52), 10 (4, 8)].

Представляется, что эти различия носят слишком принципиальный характер, чтобы предполагать генетическую связь обоих видов орудий. В то же время нельзя считать форму выгнутообушковых ножей заимствованной у носителей пограничных скотоводческих культур в иньское время. Во-первых, бронзовые ножи северных и северо-западных соседей иньцев – носителей культуры Чаодаогу, – в том числе найденные в иньских комплексах, отличаются, как уже говорилось, обязательным наличием выступающей гарды и отсутствием выраженного уступа у основания лезвия. Во-вторых, ни на одном ноже, бесспорно изготовленном на Центральной равнине, не обнаружено таких характерных для центральноазиатских культур эпохи поздней бронзы признаков, как три выступа на кольцевом навершии и подрезка. В-третьих, наиболее древний литой нож, имеющий все указанные характерные признаки иньских выгнутообушковых с уступом (рис. 2, 2), найден в могиле М2 раскопа 3 в Эрлитоу [Эрлитоуская..., 1983, с. 201, 202, рис. 10 (9)], которая относится к третьему периоду эрлитоуской культуры (не позже начала XVI века до н. э. [Цзоу Хэн, 1980, с. 129–138]), т. е. к гораздо более раннему времени, чем датированные комплексы культуры Чаодаогу и вообще какие-либо датированные ножи с выгнутой спинкой на территории Китая.

Единственным культурным контекстом, где мы можем обнаружить бронзовые ножи с выгнутым обушком, уступом и усиленной спинкой, датированные при этом первой половиной II тыс. до н. э., оказываются памятники той же сейминско-турбинской общности, к которым относятся не менее девяти таких предметов и двух (четыре?) каменных форм для их отливки [Черных, Кузьминых, 1989, с. 117–124, рис. 66–68; Матюшенко, Синицына, 1988, с. 30–31, 40, рис. 38 (3), 49 (2)] (рис. 2, 1). В том числе три ножа, обнаруженные в памятниках восточной зоны сейминско-турбинской области (Ростовка, Цыганкова Сопка), имеют небольшое кольцеобразное навершие с едва намеченным отверстием, как и нож из Эрлитоу [Черных, Кузьминых, 1989, с. 122, рис. 68 (1–3)]. Орнамент на рукояти эрлитоуского ножа имитирует обмотку ее тонким ремешком. Имитация обмотки представлена и на ножах из Сеймы и Ростовки [Черных, Кузьминых, 1989, рис. 66 (2, 3)]. На рукояти ножа, представленного в литейной форме с Иртыша вместе с типичным сейминско-турбинским кельтом [Черных, Кузьминых, 1989, рис. 18 (2)], нанесены насечки, что также аналогично ножу из Эрлитоу. Начиная с Ф.А. Теплоухова [1892, с. 55],

исследователи связывали происхождение этих предметов с Сибирью либо с Западным Алтаем [Бадер, 1964, с. 149–150; Черных, Кузьминых, 1989, с. 249–250].

Особенности, сближающие рассматриваемые древнекитайские предметы и совокупность сейминско-турбинских ножей с выгнутой спинкой, в основном трудно отнести к функционально обусловленным.

Наиболее специфическим и характерным видом лезвийного оружия Древнего Китая являются клеветцы «гэ» – плоские танговые двулезвийные орудия, вставлявшиеся перпендикулярно в прорезь деревянной рукояти. Судя по археологическим данным, этот вид оружия появляется внезапно, на позднем этапе культуры Эрлитоу – раннем периоде культуры эпохи Шан. Поиски прототипов танговых клеветцов в материале неолитических культур Китая пока не дали результатов. Автохтонные гипотезы, трактующие о происхождении клеветцов от неолитических каменных орудий, были подвергнуты обоснованной критике [Варенов, 1989, с. 21–23].

Очевидно, что при решении вопроса о исходных формах этого вида оружия необходимо установить наиболее раннюю форму бронзовых клеветцов. Это можно попытаться сделать двумя способами: на основании анализа форм или древнейших бронзовых предметов, или каменных клеветцов эпохи Шан, являвшихся в основном ритуальными предметами и в этом качестве, возможно, «законсервировавшими» признаки бронзовых «предков» (о назначении и датировке каменных клеветцов см. у А.В. Варенова) [1989, с. 17–21]. В данном случае нам могут помочь материалы поселения Эрлитоу.

Наиболее ранними бронзовыми клеветцами, обнаруженными в слоях третьего периода эрлитоуской культуры, были два обоюдоострых орудия без зубчиков «чи», один из которых имел изогнутый обушок, а другой – прямой (рис. 2, 12, 13) [Эрлитоуская..., 1976, рис. 3 (2, 3); Цзоу Хэн, 1980, рис. 21 (3, 4); Чжу Фэнхань, 1995, с. 596, рис. 9 (5, 6)]. Бронзовые клеветцы более поздней культуры Чжэнчжоу (Эрлиган) отливались с зубчиками и изогнутым обушком [Чжу Фэнхань, 1995, с. 256–261, 605–621]. Что же касается каменных клеветцов (рис. 2, 11), то, начиная с эпохи Эрлитоу, они отличаются редким единообразием: это заостренные орудия с параллельными лезвиями, отделенными небольшими уступами от черенка, вставлявшегося в рукоять. Зубчиков они не имеют [Варенов, 1989, с. 17–21]. А.В. Варенов совершенно справедливо сделал вывод о происхождении этих, в основном ритуальных, предметов от бронзовых прототипов. Однако их появление на раннем этапе формирования древнекитайской цивилизации одновременно с началом освоения бронзового литья показывает, что копировать они должны были именно наиболее древние бронзовые клеветцы. Таким образом, можно с большой вероятностью за-

ключить, что самые древние бронзовые клевцы на Центральной равнине имели форму, аналогичную традиционным каменным орудиям такого рода, – без зубчиков и изогнутого обушка.

После этого заключения невозможно пройти мимо поразительной аналогии древнейшей формы китайских клевцов и двулезвийных бронзовых орудий, около сотни экземпляров которых обнаружены в памятниках сейминско-турбинской общности [Черных, Кузьминых, 1989, с. 91–99]. Эти предметы также имеют небольшие уступы на переходе к короткому черенку. Сейминско-турбинские орудия обычно определяются как ножи, т. е. как лезвия, закреплявшиеся в рукояти продольно. О.Н. Бадер реконструирует метод такого крепления по находкам в Турбинском могильнике лезвий с хорошо сохранившимися остатками деревянной рукояти [Бадер, 1964, с. 82–83, рис. 75, 76]. Видимо, именно такие лезвия с продольной деревянной рукоятью воспроизводят целиком бронзовые «кинжалы», обнаруженные в европейских памятниках [Черных, Кузьминых, 1989, с. 108–111, рис. 62, 63]. В то же время обращает на себя внимание зачастую слишком малая длина череновой части, не позволяющая эффективно использовать такие «ножи» для резания, что заметно также и на орудиях с прилитой бронзовой рукоятью. Специфичность их именно для сейминско-турбинской культурной традиции, которая вряд ли может быть объяснима техническим совершенством, подчеркивается фактом находок в сейминско-турбинских комплексах обоюдо-острых ножей с гораздо более рациональным длинным узким черенком, попавших сюда из абашевской, срубной либо андроновской среды [Черных, Кузьминых, 1989, с. 101–102]. О традиционности этих изделий говорит и особое оформление бронзовых рукоятей некоторых из них (Сейма, Пермь, Галичский клад), изготовленных явно для использования в ритуальных целях.

В восточной зоне, с которой Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых связывают происхождение сейминско-турбинского феномена, таких пластинчатых «ножей» с бронзовыми рукоятями пока не обнаружено. Однако материалы могильника Ростовка показывают еще один способ крепления этих орудий. При раскопках могилы 4 был обнаружен типичный небольшой бронзовый нож, вставленный в костяную рукоять перпендикулярно [Матющенко, Сеницына, 1988, с. 10, рис. 11(4)] (рис. 2, 4, 5). Осмотр сохранившихся фрагментов этого изделия, предпринятый нами в Музее археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета (МАЭС ТГУ), подтвердил сведения авторов публикации о перпендикулярности рукояти к лезвию «ножа», а также показал, что череновая часть была вставлена на краю рукояти так, чтобы она не выступала за пределы кости. Использовать такое орудие для резания или скобления боковыми лезвиями по

меньшей мере неудобно. Скорее, оно могло служить в качестве чекана-пробойника либо для прорезания чего-либо кончиком лезвия. Аналогичную конструкцию имеет изделие из могилы 20 [Матющенко, Сеницына, 1988, с. 29–30, рис. 35 (1)] (рис. 2, 6), однолезвийность которого дала возможность для сопоставления его с составными ножами, у которых клинок вставлен в костяную рукоять под тупым углом, а также с соответствующими цельнометаллическими коленчатými ножами более позднего времени [Черных, Кузьминых, 1989, с. 105]. Однако строгая перпендикулярность рукояти отличает ростовкинский экземпляр от указанных ножей, что, как уже говорилось, указывает на различие функций этих орудий.

В Ростовкинском могильнике обнаружены еще три костяные рукояти, предназначенные для такого же перпендикулярного скрепления с бронзовыми лезвиями. Две из них (из могил 33 и 8) опубликованы (рис. 2, 7, 9) [Матющенко, Сеницына, 1988, с. 16, 47, рис. 17(2), 67(3)], еще одна (из могилы 7) обозначена в публикации как «рукоять» со знаком вопроса [Матющенко, Сеницына, 1988, с. 14]; осмотр этой последней рукояти в МАЭС ТГУ показал ее полную аналогичность остальным (рис. 2, 8). Из всех ростовкинских костяных рукоятей четыре (из могил 4, 7, 8, 20) предназначены для крепления небольших острий, череновая часть которых имеет ширину около 2 см, а в рукоять из могилы 33, длиной около 18 см, могло, видимо, вставляться лезвие с черенком, имеющим ширину более 3 см и относящееся, по классификации Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых, к «длинным» экземплярам [1989, с. 92, рис. 50].

К сожалению, сохранившиеся остатки деревянных рукоятей на изделиях из Ростовкинского могильника, как правило, счищены при реставрации, однако в МАЭС ТГУ сохранились фрагменты дерева, снятого при раскопках с крупного «ножа» из могилы 8, который был обнаружен *in situ* [Матющенко, Сеницына, 1988, с. 15–17, рис. 15, 16]. Предпринятая нами попытка восстановления первоначального положения этих фрагментов привела к выводу о наиболее вероятном перпендикулярном креплении рукояти (рис. 2, 10). «Нижний» фрагмент дерева сохранил характерный вдавленный след от черенка, а восстановить расположение «верхних» фрагментов помогает след бронзовых окислов от кончика шила, лежавшего рядом с «ножом». Наш вывод не может считаться окончательным, если учитывать современное состояние находки, однако сделанные наблюдения указывают на необходимость хорошей фиксации и детального анализа таких остатков деревянных рукоятей.

Таким образом, хотя бы часть двулезвийных пластинчатых острий, относящихся к сейминско-турбинской общности, могла крепиться к рукояти перпендикулярно и использоваться в качестве пробойников. Это позволяет

сопоставить их с шанскими клевцами, наиболее ранние из которых, как уже говорилось, имели совершенно аналогичную форму. Интересно, что ряд наиболее ранних каменных клевцов имеет очень короткий черенок, который не мог выступать за пределы рукоятки [Эрлитоуская..., 1975, с. 305–306, рис. 4(7)] (рис. 2, 11), а на некоторых каменных и бронзовых клевцах показаны поперечные линии [Цзоу Хэн, 1980, рис. 21(4), табл. 2; Варенов, 1989, рис. 5 (11, 13)] (рис. 2, 13), совершенно аналогичные бороздкам или желобкам на сейминско-турбинских кинжалах с прилитой рукоятью [Черных, Кузьминых, 1989, рис. 62, 63].

Займствование (если оно имело место) столь оригинального вида лезвийных орудий вряд ли могло иметь какие-либо рациональные основания, особенно если учитывать повсеместное распространение в эпоху Шан на территориях, окружающих Центральную равнину, таких альтернативных видов оружия, как втульчатый топор и кинжал.

Последний вид бронзовых лезвийных орудий Древнего Китая, который использовался в качестве вооружения, – бронзовые наконечники стрел – имел, видимо, местные корни. Наиболее ранние находки бронзовых наконечников, относящиеся к четвертому периоду культуры Эрлитоу [Эрлитоуская..., 1965, с. 222, табл. 5 (9); Лоянская..., 1974, с. 240, рис. 3 (4)] (рис. 1, 3, 4), копируют каменные (рис. 1, 5) и костяные экземпляры. Поскольку каменные наконечники использовались в основном с бамбуковыми древками, то для их закрепления требовалась заостренная деревянная палочка, в один конец которой вставлялся наконечник, а другим концом она закреплялась в древке. На деревянной палочке оформлялся упор, позволявший утолщить ту ее часть, в которую должен вставляться наконечник. Бронзовые наконечники из Эрлитоу точно воспроизводят форму такого комбинированного каменно-деревянного наконечника. Кстати, тем же объясняется и то, что наиболее древними бронзовыми наконечниками являются, вопреки мнению эволюционистов [Варенов, 1989, с. 37–40], именно наконечники с упором. Таким образом появились бронзовые двухлопастные черенковые наконечники, ставшие ведущим видом этих орудий в Древнем Китае [Ли Цзи, 1949, с. 54–58;

Варенов, 1989, с. 30–40; Чжу Фэнхань, 1995, с. 275–277]. Еще один бронзовый наконечник из Эрлитоу (рис. 1, 6), скопирован с неолитического костяного, также вставлявшегося в бамбуковое древко (рис. 1, 7), а другой (рис. 1, 8) представляет раскованную (?) металлическую пластину, пригодную только для деревянного древка, что может указывать на его инородное происхождение [Эрлитоуская..., 1974, с. 240, рис. 3 (5, 6)]. Эти последние формы не получили развития в эпоху Шань.

Если исходить из вышеизложенного, то вполне может оказаться, что весь комплекс наступательного вооружения иньской культуры, за исключением наконечников стрел, повторяет комплекс сейминско-турбинских лезвийных орудий. Это с точки зрения названных критериев позволяет предположить присутствие многочисленной группы сейминско-турбинского населения на Центральной равнине на этапе формирования шанской цивилизации.

Эрлитоуская культура еще не дает нам сложившегося комплекса этих форм. Металл использовался здесь в основном для производства ритуальных предметов и орудий труда [Чжу Фэнхань, 1995, с. 596] (рис. 1, 1, 2, 9–15). Независимо от решения вопроса об истоках металлургии Эрлитоу находка здесь литого изогнутого бронзового ножа с кольцевым навершием (рис. 2, 2) говорит о непосредственном соприкосновении этой культуры с носителями традиций «евразийской» металлургической провинции. В пользу этого вывода свидетельствует и обнаружение в слое третьего периода культуры Эрлитоу вотивной (?) копии типичного орудия «евразийского» металлурга – каменного песта с головой барана (рис. 1, 20) [Эрлитоуская..., 1974, с. 239–240, рис. 4 (14)], близкие аналогии которому происходят с Монгольского Алтая, из Сибири и Казахстана (рис. 1, 17–19) [Ченченкова, 1995, с. 222–226]. Западные связи могли обусловить и появление в Эрлитоу плоских бронзовых тесел, стамесок и шильев (рис. 1, 1, 2, 9–12) [Лоянская..., 1965, с. 222, табл. 5 (6, 7); 1974, с. 240, рис. 3 (1, 2); 1975, с. 304, рис. 4 (1, 2)], но эти орудия были распространены слишком широко, чтобы указать источник влияния. И все же материалы раскопок свидетельствуют, что процесс культурной трансформации, обусловивший специфику иньского комплекса лезвийных орудий, проходил вне среды эрлитоуского населения.

С.А. КОВАЛЕВСКИЙ

ПОГРЕБАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНЫЙ ОБРЯД ИРМЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЦКОЙ КОТЛОВИНЫ

Ирменская культура среди археологических культур позднего бронзового века на территории Западной Сибири изучена наиболее полно. Достаточно репрезентатив-

ный свод источников по этой культуре накоплен и по Кузнецкой котловине, на территории которой за 1960–1990-е гг. были исследованы пятнадцать курганных мо-

гильников, один одиночный курган и два случая впускных захоронений в андроновские курганы [Бобров, 1994, с. 17–19]. В настоящее время опубликованы материалы по десяти курганным могильникам. На этих памятниках раскопано 86 курганов, в которых были открыты 390 могил с останками 416 погребенных.

Автором данной работы предложен список признаков погребально-поминального обряда. Он включает XIV совокупностей, каждая из которых состоит из нескольких признаков. Общее их количество для рассматриваемой группы могильников насчитывает 47 наименований. Приводим список совокупностей и признаков с их полной характеристикой.

I. Тип могильника. Все рассматриваемые могильники ирменской культуры Кузнецкой котловины курганные.

II. Форма курганных земляных насыпей в плане. Все ирменские курганы Кузнецкой котловины имеют в плане округлую (61,62%), реже овальную (38,38%) форму. В курганах округлой формы фиксируется не более восьми погребений; в основном это одно-два погребения в каждом. В курганах овальной в плане формы может насчитываться до 17 погребений.

III. Ориентация курганов по длинной оси. Наблюдается закономерность и в ориентации курганных насыпей овальной в плане формы. Почти все они ориентированы длинной осью по линии либо З-В (58,06%), либо СЗ-ЮВ (41,94%). Интересно, что и ряды могил под насыпями этих курганов ориентированы аналогичным образом.

IV. Способы разметки и оформления сакральной площади кургана. Сакральное пространство под курганной насыпью размечалось в древности при помощи ровиков (15,11%), грунтовых ям (30,23%) и каменных оградок (6,98%). В значительной части курганов (40,7%) специальной разметки сакрального пространства не зафиксировано. Интересной особенностью погребально-поминального обряда являются деревянные, вертикально установленные столбы (6,98%).

V. Ритуально-жертвенные комплексы под насыпями курганов. Часть ирменских курганов содержала остатки ритуально-жертвенных комплексов, представленных костями животных (23,26%), керамическими сосудами или их фрагментами (23,26%) и кострищами (18,6%). Кости домашних и промысловых животных чаще всего фиксируются под насыпями курганов (26 случаев) на уровне древней дневной поверхности. Из них в восьми случаях определены кости лошади, в четырех – коровы, в двух – овцы и собаки. В единичных случаях отмечаются кости промысловых животных (медведь, лось, свинья). Остеологические материалы из семи курганов не определены.

Значительно реже кости животных находят в грунтовых ямах, расположенных на периферии курганного пространства. Известно 12 таких курганов. Из них в четырех курганах находились черепа и фрагменты скелетов лошадей, выполнявших ритуальную функцию [Бобров и др., 1993, с. 77; Зах, 1997, с. 86; Бобров, Горяев, 1998, с. 182–185]. В грунтовых ямах из восьми курганов кости животных не определены.

Керамические сосуды или их фрагменты чаще всего находились под курганными насыпями на уровне древней поверхности (19 курганов). Реже сосуды отмечены в грунтовых ямах (6 случаев). Кострища зафиксированы под насыпями 14 курганов. Значительная часть курганов не содержала следов ритуально-жертвенных комплексов (34,88%).

VI. Погребальные конструкции. Под насыпями исследуемых курганов находились погребальные могильные сооружения. Их типология была разработана Д.Г. Савиновым и В.В. Бобровым [1981, с. 130], выделившими 4 основных типа погребальных сооружений. Впоследствии В.В. Бобров и Ю.И. Михайлов уточнили имеющуюся типологию [Бобров и др., 1993, с. 79]. Остановимся подробно на характеристике выделенных типов и видов погребальных сооружений.

Могилы, представленные деревянной прямоугольной рамой и не имеющие перекрытия (28,2%), занимали планиграфическую позицию в пределах ряда могил, но могли располагаться и вне ряда. Рассмотрение их планиграфического расположения в пределах ряда могил показало, что центральными погребальными камерами они, как правило, не были, уступая место рамам с деревянными перекрытиями. Часто этот вид погребальных камер располагался на периферии ряда могил. Центральную позицию в пределах ряда деревянные рамы занимали в тех курганах, где отсутствовали рамы с перекрытиями.

Могилы, представленные деревянной рамой с перекрытием (25,12%), как и в первом случае, находились как в пределах ряда могил, так и вне ряда. В пределах ряда они были центральными погребальными камерами, но могли располагаться и на периферии ряда. Интересно, что рамы с перекрытиями, располагавшиеся в центре ряда, отличались и большими размерами относительно других погребальных камер.

Могилы, представленные деревянным перекрытием без рамы (2,05%), во всех случаях были крайними в ряду либо находились вне ряда. Во всех этих могилах в определенных пяти случаях находились женщины и дети и только в одном случае – мужчина преклонного возраста.

Могилы, представленные каменными ящиками (1,8%), малочисленные. Следует лишь отметить, что этот тип погребальных камер связан с погребениями женщин

и детей и тяготеет к периферии ряда могил либо вынесен за пределы ряда.

Могила, не имеющие надмогильных конструкций, наиболее многочисленны (42,83%). Планиграфический анализ этого типа погребальных камер свидетельствует, что в курганных могильниках, где ведущими погребальными сооружениями были деревянные рамы (Журавлево 4), все могилы, не содержащие погребальных конструкций, были крайними в ряду могил или находились вне ряда и были связаны с погребениями женщин и детей. В могильниках, где могилы без надмогильных конструкций доминировали (Сапогово 1 и Заречное 1), подобных закономерностей не отмечено.

VII. Стратиграфическое расположение погребений. Подавляющее количество ирменских могил располагалось на уровне древней дневной поверхности либо углублялось до материка (94,1%). Это следует считать универсальной чертой ирменского погребального обряда. Незначительная часть могил (5,9%) была углублена в материковый слой. Планиграфически все они были крайними в ряду могил или были вынесены за пределы ряда.

VIII. Количественный состав погребенных в одной могиле. Почти все исследованные могилы (95,13%) содержали останки одного погребенного, что не исключало наличия в погребальной традиции парных (4,1%) и коллективных (0,77%) погребений. Если универсальность одиночных погребений не позволяет выявить их особенности, то парные и коллективные погребения такие особенности демонстрируют. Все парные погребения условно можно разделить по половозрастным признакам. Выделяются парные погребения детей (Заречное 1), взрослого человека (женщины) и ребенка, взрослых людей (мужчины, женщины и двух мужчин), биритуальные погребения взрослого человека (женщины или мужчины) и кремированных останков. Все парные погребения женщины и ребенка являлись крайними в ряду могил или находились вне ряда. Аналогичное планиграфическое расположение занимает и парное детское погребение. Парные погребения взрослых людей, напротив, занимают центральное место в ряду могил либо являются единственными погребениями в кургане. Биритуальные погребения взрослого субъекта и кремированных останков зафиксированы в центре ряда, на его периферии и вне ряда.

Коллективные погребения состоят не более чем из трех костяков в могиле. Погребения взрослых людей во всех случаях располагались в центральной части кургана и ориентированы головами на юг. Единственное коллективное захоронение детей из могильника Заречное 1 располагалось на периферии ряда могил.

IX. Половозрастной состав погребенных. Половозрастные определения свидетельствуют о том, что основная часть погребенных – это мужчины и женщины (их

пропорциональное соотношение примерно равно). Детских погребений сравнительно мало. Планиграфический анализ погребений мужчин, женщин и детей в пределах сакрального пространства кургана показал, что центральное положение в пределах ряда могил чаще всего занимали мужские погребения (10 случаев), реже – женские погребения (6 случаев) и никогда – детские. Крайнюю позицию в ряду могил занимали погребения детей (11 случаев), мужчин (15 случаев) и женщин (14 случаев). Вне ряда могил чаще всего встречались захоронения детей (11 случаев), реже – женщин (8 случаев) и очень редко мужчин (2 случая).

X. Способ захоронения. Основная часть костных останков человека была погребена по обряду ингумации (93,33%). Часть погребенных захоронена по обряду трупосожжения на месте (2,56%). Планиграфический анализ не выявил закономерностей в их расположении в пределах подкурганного пространства. Однако имеющиеся немногочисленные половозрастные определения, а также наличие во многих могилах керамических сосудов и бронзовых женских украшений свидетельствуют о том, что этот обряд применялся чаще для погребения женщин. Интересно, что наиболее «богатые», снабженные инвентарем женские погребения имеют следы трупосожжения (Сапогово 1, курган 7, могилы 4, 9, 10; курган 19, могила 12).

Погребения, выполненные по обряду кремации на стороне (4,11%), в большинстве исследуемых могильников замыкали ряд могил или располагались вне ряда. Есть и случай одиночного погребения с кремацией в кургане (Шабаново 4, курган 9). По мнению В.В. Боброва и Ю.Я. Михайлова, сравнивших погребения кремированных субъектов с размерами деревянных рам, в которых те были погребены, этот обряд применялся преимущественно по отношению к детям [Бобров и др., 1993, с. 81]. Наблюдения, сделанные нами на материалах могильника Сапогово 1, свидетельствуют о том, что в основе обрядов кремации на стороне и трупосожжения в могиле были общие представления, так как погребения, выполненные по обряду кремации на стороне (курган 7, могила 12; курган 19, могила 14), располагались рядом с погребениями, выполненными по обряду трупосожжения в могиле.

XI. Поза погребенных. Погребенные по обряду ингумации и трупосожжения в подавляющем большинстве определяемых случаев (95,9%) находились в позе скорченно, на правом боку. В исключительных случаях (1,54%) погребенные зафиксированы в позе скорченно, на левом боку. Наблюдения показали, что на левом боку погребали на периферии ряда либо за его пределами женщин. Интересны случаи совмещения поз погребенных в биритуальном захоронении (Журавлево 4, курган 22, могила 10), где погребенная молодая женщина развернута лицом к кремированным останкам другого человека; в пар-

ном погребении (Шабаново 1, курган 10, могила 2), где погребенные расположены «лицом к лицу», и в коллективном захоронении детей, где крайние костяки находятся на правом боку, а средний костяк – на левом, т. е. он также развернут «лицом» к погребенному, находящемуся от него слева (Заречное 1, курган 4, могила 7).

Так же редко (2,56%) погребенные находились в позе вытянуто, на спине, иногда с подогнутыми вправо (влево) ногами. Почти все они отличаются отсутствием сопроводительного инвентаря и надмогильных конструкций. Есть и различия. Так, погребенные из могильника Сапогово 1 ориентированы головами на СВ, что для ирменской культуры нехарактерно. Погребенные из могильника Заречное 1, напротив, ориентированы в ЮЗ сектор, иногда с отклонениями к З и ЮВ.

XII. Ориентация погребенных. Ориентированы погребенные головами на ЮЗ (75,89%), реже на Ю (12,31%). В редких случаях погребенные ориентированы на ЮЮЗ (4,11%), ЮВ (4,36%), З или СЗ (2,31%), В или СВ (1,02%). Ориентация погребенных на ЮЗ является универсальной для ирменской культуры Кузнецкой котловины. Интересно, что в двух случаях к ЮЗ от ирменских могильников (Сапогово 1 и Торопово) находятся ирменские поселения (Красная Горка 1 и Торопово 4). Однако это единичные наблюдения, и они нуждаются в дальнейшей проверке. Наблюдения над ориентацией погребений мужчин, женщин и детей показывают, что ЮЗ ориентация наиболее характерна для женских погребений, которые вообще отличаются стабильностью в ориентации. Ориентация на Ю чаще отмечена для мужских погребений. Другие варианты ориентировки погребенных каких-либо закономерностей не дают.

XIII. Снабжение инвентарем. Большая часть изученных погребений содержала различный сопроводительный инвентарь (64,62%), но значительное их количество было безынвентарным (35,38%). Сравнение этих данных с половозрастными характеристиками погребенных показы-

вает, что чаще всего безынвентарными являются захоронения мужчин, реже – детей и редко – женщин. Состав сопроводительного инвентаря распределяется следующим образом: мужчины чаще всего были снабжены принадлежностями одежды и украшениями (27 случаев), реже – керамическими сосудами (10 случаев) и бронзовыми ножами (5 случаев). Женщины также очень часто были снабжены принадлежностями одежды и украшениями (40 случаев), реже – керамическими сосудами (26 случаев) и в единичных случаях – ножами (2 случая). Дети и подростки, напротив, чаще всего снабжены сосудами (25 случаев), реже – принадлежностями одежды и украшениями (22 случая) и в единичных случаях – ножами (2 случая).

XIV. Ритуально-жертвенные комплексы в погребениях. Кроме сопроводительного инвентаря в 16 могилах (4,87%) были зафиксированы кости животных. Из них два случая не определены, в четырех случаях – это кости крупного рогатого скота, по три случая – лошади, мелкого рогатого скота и медведя и в одном случае – тетерева. Черепа медведей из могильника Журавлево 4 были положены сверху на могилы с погребенными мужчинами, отличающимися атлетическим телосложением [Бобров и др., 1993, с. 85], и имеют явно ритуальный характер. Кости лошади, зафиксированные в погребениях из могильников Журавлево 4 и Танай 7, по мнению В.В. Боброва и В.С. Горяева, могут свидетельствовать о появлении у ирменцев традиции погребений с конем [1998]. Кости остальных животных, вероятно, представляют собой заупокойную мясную пищу.

Камни-обелиски (3,08%) зафиксированы в могильниках Журавлево 4 и Танай 7 в могилах мужчин, погребения которых, как правило, занимали центральную часть ряда могил [Бобров и др., 1993, с. 80]. В единственном случае (0,26%) из могильника Сапогово 1 (курган 7, могила 14) в ногах погребенного субъекта был обнаружен деревянный столб.

С.Н. КОРЕНЕВСКИЙ, В.Л. РОСТУНОВ

«БОЛЬШИЕ» МАЙКОПСКИЕ КУРГАНЫ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Образное понятие «большого кургана» на юге России ввел в научный оборот в 1911 г. А.М. Тальгрэн. Затем этот термин использовался А.А. Иессеном в применении к майкопским памятникам Прикубанья. Но практически до наших дней тема изучения насыпи «большого» кургана майкопской культуры остается малоизученной.

Настоящая работа посвящена изложению результатов исследования трех крупных курганов майкопской куль-

туры у с. Заманкул Правобережного района Республики Северная Осетия – Алания. Курганы 1 и 2 Заманкульского могильника расположены южнее с. Заманкул, курган 3 находится неподалеку от с. Брут. Курганы раскопаны в 1993–1996 гг. В.Л. Ростуновым на средства малого государственного предприятия «Инженер». Майкопские погребения были основными. Проведенные палинологические исследования (Е.А. Спиридонова, А.А. Алешинская)

установили, что курганы насыпаны в конце атлантического периода голоцена. Проведем описание памятников в хронологической последовательности.

Курган 3 у села Брут. Он имел в плане овальную форму. Основное погребение 3 было совершено в материковой яме подтрапециевидной формы (7,45 x 3,4/2,7 x 1,65 м), ориентированной с СЗ на ЮВ. Вокруг ямы был выложен каменный бордюр, или вымостка. Погребение было ограблено. Обнаруженные фрагменты костей принадлежали мужчине в возрасте около 50 лет (*nuturus*)*.

Над могилой были возведены последовательно три овальные насыпи из чернозема с двумя прослойками из желтой глины, разделяющие насыпи 1 и 2. Более того, насыпь 2 опиралась на выложенную из земли фигуру в виде полумесяца. После перекрытия ее насыпью 3 курган достиг высоты 7,8 м. Затем, вслед за обрушением перекрытия и ограблением могилы, насыпь кургана еще раз была перекрыта насыпью 4. В итоге курган достиг высоты 8 м при размере 54 x 38 м.

Дата погребения 3 в кургане 3 у с. Брут (по кости) – 5020 ± 30 ВР (ГИН 9037). Калиброванное значение с вероятностью 68 % – 3900–3770 ВС са**.

Курган 1 у села Заманкул. Основное захоронение 70 было вырыто с уровня погребенной почвы. Яма имела подпрямоугольную форму. Размеры ямы 6,9 x 4,8 x 2 м. Длинной осью она была ориентирована в направлении СВ-ЮЗ. Стенки ямы несколько сужались ко дну и были обложены камнем.

Наверху галечная выкладка заканчивалась невысокими бортиками по периметру могилы. Бортики имели высоту до 30–35 см и ширину – до 60–75 см. Так возник своеобразный каменный кант вокруг могилы. В могиле было похоронено по крайней мере два человека. Об этом можно судить по охристым пятнам на дне могилы и останкам костей, собранным из грабительского лаза.

Антропологические определения двух черепов из погребения 70 Заманкульского могильника дали такие результаты. Один череп принадлежал мужчине в возрасте 40–45 лет (*adultus I*), второй – женщине 20–25 лет (*adultus II*). Это второй случай, иллюстрирующий сооружение огромного кургана над могилой мужчины старшей возрастной группы.

У СВ стенки под завалом камней были найдены в СЗ углу развалы двух сосудов, бронзовая мотыга, тесло и топор, в СВ углу – глиняный и бронзовый сосуды. После положения покойных в могилу она была перекрыта накатом из бревен в два ряда. Над захоронением возвели насыпь 1. Кромлех для нее не полагался. Высота насыпи 1

составила 6 м. Она имела округлую сферическую форму диаметром около 35 м. Грунт насыпи имел черный цвет и был сильно гумусирован. На полах насыпи зафиксирован дерновой покров.

Впоследствии с южной стороны насыпи 1 в погребение проникли древние люди. После этого проникновения в могилу верх насыпи 1 осел. Образовалась воронка до 10 м в диаметре. Для ее ликвидации возвели насыпь 2. Она сооружалась из мешаного грунта с включениями материкового желтого суглинка и чернозема. Диаметр насыпи составил около 44–45 м. Курган «подрос» в высоту. Современная его высота составляет около 6 м. Край новой насыпи были укреплены кромлехом. Ширина кромлеха составляет 3,75 м.

Низ кромлеха слагался из крупных окатанных булыжников – гальки диаметром 40–60 см. Эти камни привозили с р. Терек за 5–5,5 км. Верхняя часть кромлеха достраивалась из камня менее крупных размеров, который привозили с Сунженского хребта.

Дата погребения 70 в кургане 1 у с. Заманкул (по дереву) – 4820 ± 70 ВР (ГИН 8034). Калиброванное значение с вероятностью 68 % – 3640–3500 ВС са.

Курган 2 у села Заманкул. Основное захоронение 60 было вырыто с уровня погребенной почвы. Подпрямоугольная яма была ориентирована с СВ на ЮЗ. Длина ямы составила 7,54 м, ширина 4,2 м. Глубина от уровня древней поверхности доходила до 1,8 м. Стенки ямы были вертикальными. По периметру стенок была выложена кладка из булыжника на глинистом растворе. Могила оказалась полностью разграбленной. От погребального инвентаря сохранились только фрагменты сосудов.

Насыпь 1 над погребением представляет сложную земляную конструкцию с плоской вершиной и винтовым подъемом наверх. Ширина подъема составляла 3–4,2 м. Высота всей конструкции составила около 5,7 м. Диаметр ее основания приблизительно соответствовал 44 м. После проседания насыпи она была досыпана.

Дата погребения 60 в кургане 2 у с. Заманкул (по кости) – 4670 ± 35 ВР (ГИН 8424). Калиброванное значение с вероятностью 68 % – 3500–3340 ВС са.

«Большие» Заманкульские курганы иллюстрируют последовательное сооружение майкопцами земляного гиганта над одним погребением майкопца в несколько этапов. Досыпки насыпи совершались, надо полагать, в ходе последующих поминальных церемоний. Две ямы Заманкульских курганов по своей конструкции относятся к типу удлиненных ям «сунженского» типа, длинная сторона которых больше короткой в 1,6 раза и более, при размерах длинной стороны не менее 3 м [Кореневский, 1993].

По своему инвентарю эти курганы связаны с галгоаевско-серегинским вариантом МНО, а точнее – с его «галгоаевской» разновидностью в Центральном Предкавказье.

*Определения выполнены академиком Т.А. Алексеевой.

**ВС са – калиброванное значение даты до н. э. Значения дат в тексте несколько округлены.

казье. Территориально ближайшие им аналогии происходят из могильника у с. Сунжа близ Владикавказа (раскопки П.К. Козаева, В.Л. Ростунова). Но если последние можно расценивать как могилы относительно «рядовых» майкопцев, то захоронения в больших Сунженских курганах – как могилы родовой знати.

Даты ¹⁴C Заманкульских курганов, как и поселения Галюгаевского III, подтверждают вывод, что хронология памятников Центрального Предкавказья близка майкопским древностям в Прикубанье. По времени они соответствуют эпохе среднего или позднего Урукского периода.

Сложные структуры «больших» майкопских курганов у с. Заманкул и с. Брут позволяют также поставить вопрос о знакомстве майкопских племен с элементами геометрии, понятиями симметрии в строительстве земляных колоссов. Не исключено, что подобные сооружения предварительно планировались. Скорей всего, этим могли заниматься культовые лидеры, и курган превращался в масштабное земляное архитектурное сооружение – святилище в честь умершего предка.

Правомерна гипотеза о том, что ритуальные (?) ограбления этих курганов происходили именно во время май-

копской культуры. Каменные кромлехи-крепиды в Заманкульских курганах появились не сразу, а лишь на заключительном этапе строительства «большого» кургана майкопского времени.

Обнаруженная земляная серпообразная выкладка в кургане 3 у с. Брут показывает, что в погребальных культурах галюгаевско-серегинского и долинского вариантов на Тереке было немало общих элементов. Принцип возведения кургана 2 у с. Заманкул с плоской вершиной, характерной для земляных сооружений племен МНО, продолжает существовать у разных племен Предкавказья и юга Восточной Европы в эпоху средней бронзы.

В целом, можно прийти к выводу, что «большой» майкопский курган высотой более 3 м над одним погребением был сложным земляным сооружением. В случаях, когда он насыпался над одной (основной) могилой, его огромная насыпь могла строиться в несколько приемов с некоторыми промежутками во времени. По форме насыпи «большой» майкопский курган мог быть эллипсоидным или округлым, в отдельных случаях мог иметь плоскую вершину и даже винтовой подъем на нее.

А.И. КРАМАРЕВ

К ВОПРОСУ О ПЛАНИГРАФИИ ПОГРЕБАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ СРУБНОЙ КУЛЬТУРЫ ВОЛГО-УРАЛЬЯ

Изучение взаиморасположения курганов внутри могильников срубной культуры Волго-Уралья и погребений под насыпями этих курганов показало, что в большинстве случаев в организации и устройстве как могильников (состоящих более чем из двух курганов), так и курганов прослеживается определенная упорядоченность. Целью данной работы является характеристика планиграфических особенностей могильников и курганов, исследованных преимущественно на территории Самарской и Ульяновской областей в бассейне среднего течения Волги. Кроме этого, использованы материалы погребальных памятников, раскопанных в Оренбургской области, в Мордовии, на юге Татарии и Чувашии.

Рассмотрение планиграфии каждого конкретного погребального памятника, как правило, начинается с характеристики местоположения кургана относительно других курганов в составе могильника (для курганных могильников) и определения взаимного расположения погребений и других комплексов (жертвенников, ям, кострищ и т. д.) на погребальной площадке могильника. Характеристика объектов исследования в системе погребального памятника (в данном случае курганов, погребений, ритуальных комплексов и др.) может быть представлена на

уровне двух приближений: 1) группировка курганов в составе могильника; 2) группировка погребений и других комплексов под насыпью кургана или на площади могильника (для грунтовых могильников).

В литературе, посвященной погребальной проблематике эпохи поздней бронзы, отмечалось, что в планиграфии курганов срубной культуры лесостепного Поволжья прослеживаются две основные тенденции в расположении курганов: 1) курганы вытянуты цепочкой или расположены «в ряд», при этом иногда один или два кургана находятся вне этого ряда; 2) курганы расположены компактной группой или более мелкие курганы сосредоточены вокруг более крупных [Обыденнов, Обыденнова, 1992, с. 77; Семенова, 2000, с. 161, 171].

В общей сложности проанализированы материалы 150 могильников (в том числе одного курганно-грунтового и двух грунтовых) и 382 курганов. Результаты, полученные в ходе обработки материалов, позволяют несколько конкретизировать и уточнить планиграфию погребальных памятников рассматриваемого региона.

Самой массовой является группа памятников, курганы в которых расположены цепочкой (56 случаев). При этом в зависимости от взаиморасположения курганов

внутри могильника могут быть выделены следующие основные подгруппы:

1. Курганы в могильнике выстроены в линию (с разрывом или без). Как правило, такое расположение насыпей имело место лишь в могильниках с небольшим числом курганов.

2. Курганы в могильнике расположены в виде изогнутой цепочки (также с разрывом и без). Абсолютное большинство могильников представлено именно этой группировкой курганов. Такое расположение насыпей в большинстве случаев связано с топографией участков местности, на которых находятся могильники. Часто курганы сооружались вдоль края надпойменных террас рек или на водоразделах рек. Отмечены случаи, когда крайние курганы в цепочке (часто самые крупные) оторваны от остальных.

3. Курганы также образуют цепочку, но внутри нее, на отдельных участках могильника, наблюдается группировка насыпей, обычно в виде отдельных скоплений, чаще вокруг какого-то одного кургана или рядом с ним.

Как вариант первой группы памятников могут рассматриваться могильники, курганы в которых располагались несколькими параллельными цепочками. Насыпи в подобных могильниках выстраивались в виде прямых линий или изогнутых цепочек (пять случаев).

В следующую группу объединены могильники, курганы в которых располагаются без видимого порядка, но довольно компактно или в виде отдельных скоплений от одного до трех в каждом могильнике (11 случаев). Такое взаиморасположение курганов часто характеризуется в литературе как бессистемное.

Еще две достаточно массовые группы составляют могильники, состоящие из одного (25 случаев) и двух (22 случая) курганов. Однако имеем ли мы в данном случае дело с целым могильником или только с уцелевшей его частью, остается вопросом.

В остальных случаях (29 памятников) группировка курганов в могильниках не установлена как вследствие отсутствия информации о взаиморасположении насыпей в материалах отчетов и публикаций, так и по причине того, что могильник исследован частично, а некоторые из курганов, входящих в его состав, относятся к другим археологическим культурам.

Кроме этого, имеется ряд могильников, где три кургана располагаются треугольником, четыре – четырехугольником (ромбом). Вопрос о включении таких памятников в одну из выделенных групп или объединении их в самостоятельные группы пока остается открытым.

Гораздо большее внимание исследователями уделено проблемам внутрикурганной планиграфии и характеристике устройства кургана. Первым на особую организацию подкурганного пространства срубных могильни-

ков лесостепного Поволжья обратил внимание Н.Я. Мерперт [Мерперт, 1954, с. 39–150; 1958, с. 86–89]. В последующие годы характеристика планиграфических особенностей курганов срубной культуры неоднократно была представлена как в обобщающих работах, так и при публикации материалов отдельных памятников [Семенова, 1983, с. 60; Обыденнов, Обыденнова 1992, с. 80, 86; Иванов, Скарбовенко, 1993, с. 96; Багаутдинов, Крамарев, Скарбовенко, 1999, с. 25; Халяпин, 2000, с. 89–90; Семенова, 2000, с. 162; и др.].

При изучении планиграфии курганов были учтены данные, полученные при раскопках 364 курганов из 146 могильников Волго-Уралья. Детальный анализ устройства курганов позволил дополнить и конкретизировать схему внутрикурганной планиграфии. К рассмотрению могут быть представлены следующие основные группы.

I. Курганы с определенным образом выделенным центром, т.е. с таким размещением погребений на погребальной площадке, при котором местоположение каждого погребения соотносится с центром подкурганного пространства. К ней относятся две подгруппы:

I.1. Курганы, в которых центр выражен либо погребением, либо ритуальным комплексом. Возможно также, кроме центрального погребения (ритуального комплекса), наличие различного количества периферийных захоронений. Выделены следующие типы:

– погребение в кургане является единственным (98 случаев);

– два центральных погребения, образующие пару (27 случаев);

– одно центральное погребение, вокруг которого по кольцу или по дуге располагались периферийные (64 случая), – это самый массовый тип многомогильных курганов;

– два центральных погребения и любое количество периферийных, кольцом охватывающих центральное (17 случаев);

– центральное погребение и одно периферийное (35 случаев). В этот тип объединены курганы с одним погребением, расположенным в центре кургана (как правило, взрослым), и одним, находящимся на периферии (часто детским);

– ритуальный комплекс в центре погребальной площадки и периферийные погребения, кольцом охватывающие ритуальный комплекс (три случая).

I.2. Курганы, в центре которых нет погребений или ритуальных комплексов, но присутствует группировка погребений вокруг условного центра (48 случаев). Погребения образуют кольцо (одно или несколько), а также часть кольца – дугу. Иногда при кольцевом размещении могил идея круга подчеркивается ориентировкой погребений, при которой погребения, расположенные в СВ

и ЮЗ секторах, ориентированы в северо-западном направлении, погребения СЗ и ЮВ секторов – в северо-восточном направлении, а погребения, находящиеся строго к северу и к югу, имеют восточную ориентировку (в единичных случаях – западную).

В ряде курганов зафиксировано расположение могил треугольником (восемь случаев) или четырехугольником (четыре случая). Погребения находились приблизительно на одинаковом расстоянии друг от друга в центральной части кургана.

II. Курганы с рядовой схемой группировки погребений (53 случая). Погребения на подкурганной площадке располагаются в ряд (чаще в широтном направлении). При этом не обязательно, чтобы погребения выстраивались в один ряд, имеют место два и более параллельных ряда. Как правило, могильные ямы, находящиеся в ряду, располагались параллельно друг другу продольными стенками. Самым распространенным является расположение могил в виде одной или нескольких изогнутых цепочек погребений, проходящих через центр кургана. Довольно часто одно-два погребения находятся в стороне от остальных, не вписываясь в ряд.

III. Курганы с размещением погребений без определенного порядка (бессистемно). Погребения сплошь заполняют погребальную площадку, распределяясь относительно равномерно, не проявляя выраженной тенденции к какой-либо группировке в пределах погребальной площадки (три случая). Вероятно, все же определенный порядок в расположении погребений был. В пользу этого может свидетельствовать хотя бы то, что на отдельных участках подкурганного пространства фиксируются группы погребений с микропланировкой, выражающих идею кольцевого или рядового расположения могил.

IV. Одно или все погребения смещены в один из секторов кургана, остальная часть подкурганной площадки остается свободной (пустой) от погребений и ритуальных

комплексов (пять случаев). Однако при таком расположении могил необходима уверенность в том, что насыпь кургана не была смещена вследствие распашки, деятельности грызунов и других факторов.

Подводя итоги, необходимо отметить следующие основные моменты, характеризующие планиграфию погребальных памятников срубной культуры Волго-Уралья:

1. В устройстве могильников прослеживается определенная организация погребального пространства, которая фиксируется как в размещении курганов в составе могильника, так и в расположении погребений под насыпью кургана.

2. В планировке могильников представлены две основные идеи взаиморасположения курганов: в виде цепочки (или нескольких цепочек) и в виде компактной группы (или нескольких групп). Часто такое расположение насыпей напрямую связано с топографией.

3. В организации подкурганного пространства также можно выделить две ведущие идеи размещения погребений в кургане. Первая идея связана с выделением центра кургана. Она реализуется в ходе совершения центрального захоронения, размещения центрального жертвенника или оставления центра кургана «пустым», но с группировкой погребений вокруг центра по кругу или по дуге. Вторая идея связана с размещением погребений в ряд. При такой схеме группировки погребений центр кургана не выделяется. Остальные типы группировок могил, а именно: без определенного порядка и со смещением всех погребений в один из секторов кургана – представлены незначительным количеством.

4. Как правило, в составе могильников находились курганы с различной схемой группировки погребений на погребальной площадке и различным количеством погребений под одной насыпью. Данное обстоятельство не позволяет говорить о приоритете во времени той или иной группы курганов.

С.В. КРАСНИЕНКО

ПАМЯТНИКИ АФАНАСЬЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЮГО-ЗАПАДЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В 1982 г. А.В. Субботиним в урочище Синючиха был обследован, а Э.Б. Вадецкой опубликован разрушенный могильник окуневской культуры. В результате анализа, сделанного М.П. Грязновым, антропологический тип погребенных был определен как афанасьевский.

Раскопки С.Б. Гультовым могильников Ашпыл (1984 г.) и Ораки (1990 г.), когда была зафиксирована керамика, которую автор раскопок определил в первом случае как относящуюся к «карасевскому» типу (фрагменты, орнаментированные «шагающей гребенкой»), а во втором слу-

чае как афанасьевскую, были первыми материальными доказательствами пребывания здесь афанасьевцев.

В 1999–2000 гг. автором были произведены раскопки поселения Гляден VIII, находящегося в 2 км к востоку от восточной окраины дер. Гляден и в 11 км по дороге от районного центра г. Шарыпово (Шарыповский район Красноярского края). Подъемный материал состоял из находок крупных фрагментов больших круглодонных сосудов с лощеными и затертыми пучками травы стенками, а также из незначительного количества костей

животных и фрагментов верхних курантов зернотерок. Здесь же, в стенках широкой траншеи, разрушившей основную часть памятника, были сделаны и первые стратиграфические наблюдения. Было установлено, что памятник однослойный. В результате раскопок, проведенных на площади 320 кв. м, удалось установить, что находки начинались практически сразу под дерном и в находящемся ниже слое гумуса (мощность около 0,3 м), но в основном на нижней границе последнего. При этом находки керамики в основном были приурочены к слою желтовато-серой супеси. Ближе к матерiku отмечалось повышение количества орнаментированных фрагментов.

В западной части раскопа – по сути в центральной части поселения – был расчищен развал фрагментов керамики в количестве около 150 штук. В остальных квадратах насыщенность была не столь значительной, при этом плотность находок уменьшалась по мере удаления от берега водоема, т.е. в южном направлении.

В центральной же части памятника были расчищены два сооружения из камней и небольших плит песчаника. Одно из них представляло собой каменную наброску размерами 0,8 x 1 м, высотой 0,15 м. Среди камней обнаружено два фрагмента керамики. К северу от первого сооружения было расчищено сооружение из уложенных в виде круга кусков песчаникового плитняка. Размеры его: внутренние – 0,8 x 0,8 м, внешние – 1,4 x 1,6 м. Края плиток по внешнему обводу сооружения приподняты, во внутренней части наклонены внутрь. По внешнему виду обоих сооружений их можно интерпретировать как очаги. К сожалению, небольшая глубина и, следовательно, близость к поверхности земли не позволили сохраниться следам горения на камнях, даже если камни и подвергались воздействию огня.

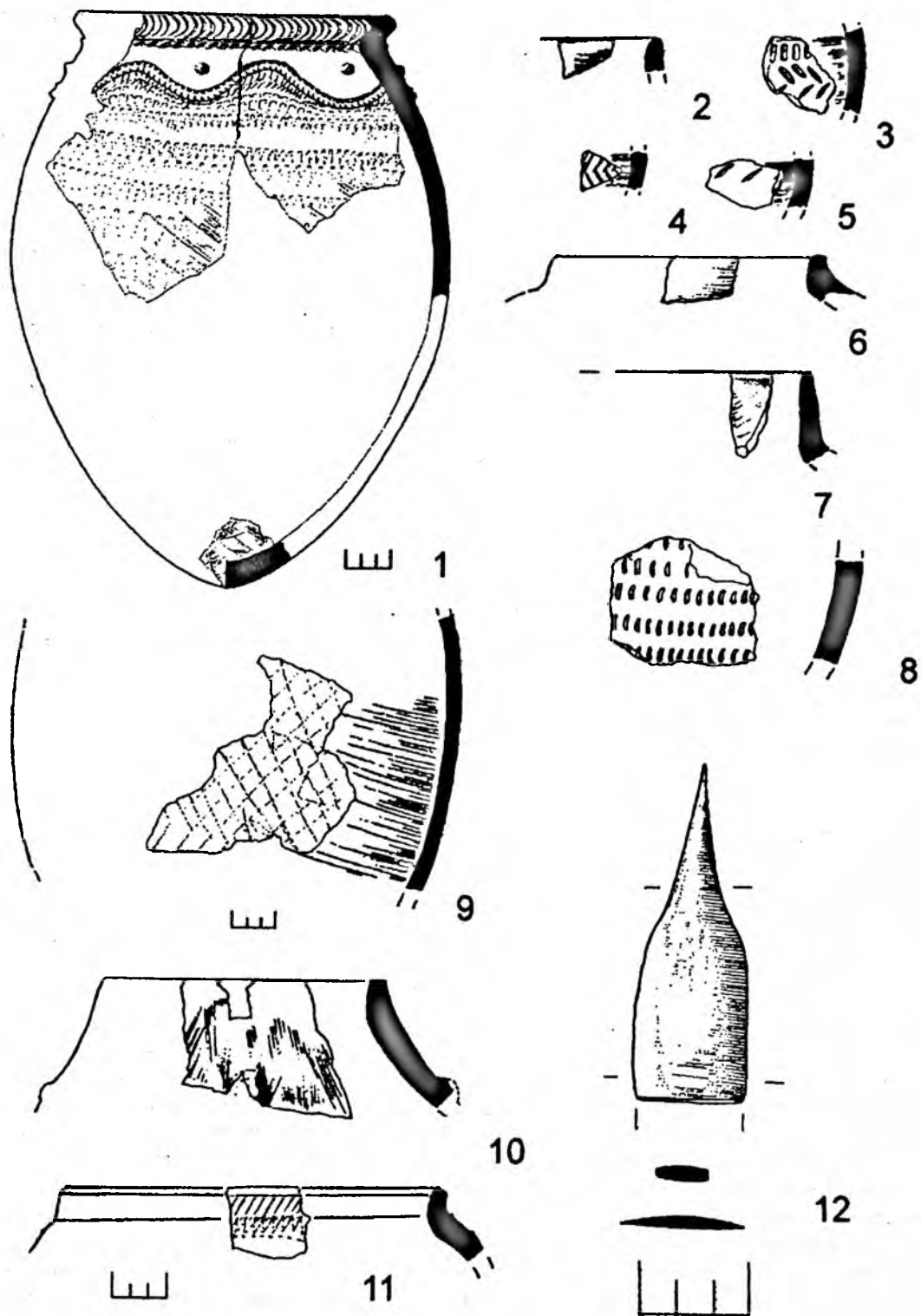
Кроме фрагментов керамики были обнаружены 5 кремневых отщепов, скребок, каменная крышка сосуда из куска оббитого плитняка, костяное изделие с отверстием (обоймочка или деталь упряжи), фрагмент медного ножа (практически 100% меди, согласно анализу, проведенному С.В. Хавриным) (рисунок 1, 12). Последняя находка близка бронзовым окуневским листовидным ножам. Однако до выделения окуневской культуры в числе характерных предметов в инвентаре энеолитических памятников Енисея назывались «асимметричные ножи лавролистной формы» [Максименков, 1961]. Аналогов же данной находке пока нет ни в афанасьевских, ни в окуневских памятниках.

В общей сложности было выявлено 73 фрагмента керамики (8 венчиков и 65 стенок), 2 развала орнаментированной и около 200 фрагментов (среди них 10 венчиков и 2 донца) неорнаментированной керамики.

Тесто практически всех фрагментов рыхлое, с большим содержанием песка, фрагменты непрочные. Обжиг

неравномерный, низкотемпературный. Цвет керамики с внешней стороны от светло-коричневого до темно-коричневого, с внутренней – от коричневого до черного, на изломе – от светло-коричневого до черного, в придонных частях – серый. Большинство фрагментов украшены отпечатками гребенчатого штампа и горизонтальными линиями, видимо сплошь покрывавшими поверхность сосуда. Кроме того, встречаются фрагменты, украшенные мелкими ямками, – отпечатками круглой или треугольной в сечении палочки. Внутренняя поверхность фрагментов имеет следы заглаживания либо гребенчатым штампом, либо травой, либо руками. Из фрагментов, подобранных ранее, удалось реконструировать один сосуд. Сосуд имеет яйцевидную форму, сформованную ленточным способом. Высота его около 60 см, максимальный диаметр (в средней части тулова) 39 см, диаметр слегка отогнутого, с небольшим валиком снаружи и уплощенной поверхностью венчика 18 см. На горле сосуда имеются ручки, вылепленные в виде двух пар небольших сосцевидных выступов и предназначенные, вероятно, для подвязывания под них веревки и транспортировки его таким образом.

Остальная часть афанасьевской керамики представлена фрагментами 10–11 сосудов (см. рисунок, 1–11). Тесто одного из сосудов (рисунок, 1), верхняя часть которого в виде развала и частично сохранившихся в вертикальном виде стенок была найдена *in situ*, относительно плотное, с примесью дресвы (в основном мелкодробленой). Оно плохо промешано. В незначительном количестве и неравномерно встречается органическая примесь. Толщина стенок сосудов от 1 до 1,5 см. Обжиг сосудов окислительный. Вероятно, сосуд во время обжига был установлен на венчике. В результате кислород хорошо поступал к внешней стороне, но недостаточно – внутрь сосуда. Формовка сосудов осуществлялась ленточным способом. Ширина лент 3–4 см. Ширина венчиковой ленты – 8,5 см. Горловина сосуда сформована дополнительным налепом по внутренней стороне венчика. Отогнутый наружу край венчика также сформован с помощью дополнительно наклепленной ленты шириной 2 и толщиной 1,5 см. Форма сосуда параболическая, с приостренным дном, венчик резко отогнут наружу. Поверхность сосуда обработана снаружи и с внутренней стороны расчесами гребенчатого штампа. Возможно, этим же штампом нанесен и орнамент по внешней поверхности сосуда. Орнамент образован параллельными рядами «шагающей гребенки» в основном на венчике и привенчиковой зоне. Обрез венчика с внешней стороны орнаментирован отпечатками штампа или веревки, размещенными в виде чешуи. Непосредственно под венчиком идет налепной валик, рассеченный гладким штампом. Аналогичный валик в виде волны опоясывает сосуд в привенчиковой



Поселение Гляден VIII (раскопки 2000 года):
 1-11 – керамика; 12 – нож (бронза)

зоне. В зоне между двумя валиками поверхность заглажена, внутренний фестон украшен налепной шишечкой. Отпечатки гребенчатого штампа начинаются сразу ниже волны, повторяя ее кривизну, а затем в 1 см от нижнего края волны орнамент начинает образовывать горизонтальные ряды. Размеры сосуда: высота 35 см, диаметр венчика 20 см, диаметр тулова 26,5 см. Сосуды, орнаментированные похожим образом, отмечены в энеолитических памятниках Урало-Иртышского междуречья (см., в частности, материалы, происходящие с поселения Ботай) [Мартынюк, 1985]. Что касается заглаживания, то этот признак имеет широкие аналогии. В частности, можно сослаться на «выгертость» сосудов из Усть-Собакинской стоянки и аналогии им в Прибайкалье и Минусинской котловине [Киселев, 1951, с. 44; Максименков, 1966, с. 81].

Из нескольких фрагментов стенок и венчиков, заглаженных снаружи рукой или гребенчатым штампом или покрытых сеткой гребенчатого штампа, были частично реконструированы формы афанасьевских сосудов: с прямыми венчиками, узким горлом и раздутым туловом. С внутренней стороны практически всех фрагментов также имеются расчесы гребенчатого штампа. Толщина стенки 0,5–0,8 см. В тесте – небольшая примесь мелкодробленых обломочных горных пород.

Среди оставшегося небольшого количества фрагментов керамики, отнесенных к окуневской, каменноложской и тагарской культурам, нужно отметить несколько фрагментов керамики, изготовленной в синкретичном стиле, в смешанной афанасьевско-окуневской технике. Это 12 фрагментов стенок одного сосуда. Формовка сосуда осуществлялась послойным (в два слоя) наращиванием, что характерно для некоторых окуневских сосудов. В то же время и внешняя, и внутренняя стороны обработаны расчесами мелкого зубчатого штампа, что характерно для афанасьевской технологии. В тесте – примесь песка. Обжиг восстановительный. Орнамент, вероятно, по всей поверхности сосуда. Он представляет собой ряды слегка изогнутого короткого (1 см) штампа (фрагмент раковины или скрученная тонкая веревочка).

К смешанной афанасьевско-окуневской технике относятся и еще один фрагмент керамики. Его украшает гладкий штамп, нанесенный в виде елочки, с лицевой стороны. На внутренней же поверхности мелкозубчатым штампом нанесены расчесы.

Подобная же керамика, изготовленная в традиции, сочетающей черты и афанасьевской, и окуневской культур, обнаружена еще на одном памятнике Назаровской котловины. Поселение Дубинино VI находится в 0,5 км к ЮЗ от окраины одноименного поселка (Шарыповский район Красноярского края) и располагается на краю выделенного в виде мыса склона первой надпойменной террасы левого берега р. Береш. Подъемный материал был

собран при зачистке стенок ям, частично разрушивших памятник. Он состоял из фрагментов глиняной курильницы и другой глиняной посуды, оббитого каменного топора, кремневого наконечника стрелы и отщепов кремнистой породы, а также мелких фрагментов костей животных.

В результате раскопок, проведенных в 2000 г. на площади 48 кв. м, удалось выявить стратиграфию памятника. Под дерном и гумусным слоем мощностью до 0,12–0,15 м залегал слой чернозема мощностью до 0,20–0,25 м, до глубины 50 см от современной поверхности, на нижней границе которого находились небольшое количество костей животных и отдельные фрагменты керамики. Чернозем переходным слоем был отделен от условного материка, представлявшего собой суглинисто-супесчанистую фракцию с включениями материкового крупного песка светло-серого цвета и речной гальки (песчано-гравийная смесь) (ниже 0,65 м от поверхности), не содержащую никаких культурных останков.

В общей сложности найдено 40 фрагментов керамики (в том числе 7 орнаментированных венчиков и 29 орнаментированных стенок), около 200 фрагментов костей, в том числе кальцинированных и обожженных, а также каменный топор-тесло, кремневый наконечник стрелы, 5 скребков, 14 отщепов, каменные льячки, 2 крышки сосудов (фрагменты), дисковидное орудие, галечный пест. Орнамент и техника изготовления керамики (в том числе и курильницы) близки окуневско-самусьской традиции. Однако имеется один фрагмент орнаментированной керамики, выполненный в смешанной окуневско-афанасьевской технике. Внешняя поверхность сохранила следы расчесов мелкозубчатого гребенчатого штампа, поверх которых нанесен орнамент из рядов овальных вдавлений. Внутренняя поверхность не сохранилась. Обжиг характерен, скорее, для афанасьевской керамики: излом и поверхность – ярко-оранжевые. В середине черепка – серая полосо недожога. Тесто гомогенное, мелкая примесь дресвы.

К моменту написания свода Э.Б. Вадецкой [1986] имелись сведения о раскопках 30 памятников, среди которых лишь два были определены как стоянки: Тепсей X и Мочеркина Горка. Кроме упомянутых территорий, памятники, содержащие материалы афанасьевского времени, были исследованы в Туве [Семенов, 1992]. При этом безусловно афанасьевскими являются комплексы находок на стоянках Тоора-Даш и Хадынных I. В последние годы продолжались новые исследования памятников афанасьевского времени в Минусинской котловине и на Алтае, но лишь в последнем регионе отмечался рост числа новых поселенческих памятников. При этом существует тенденция к «открытию» новых археологических культур, что затрудняет определение места тех или иных находок в сложившейся культурно-хронологической шкале.

Как уже отмечалось, общее число известных поселенческих памятников, относящихся к афанасьевской культуре и исследованных в Минусинской котловине и Туве, до недавнего времени не превышало четырех. В связи с этим нахождение новых афанасьевских материалов, а тем более поселенческих, приобретает исключительно важное значение. Кроме того, характер находок, составляющих инвентарь погребений, также не слишком разнообразен: отсутствие оружия, немногочисленные и в основном каменные орудия труда, редкие находки других изделий. Исключение составляет лишь глиняная посуда и также «немногочисленные, но очень разнообразные» украшения

[Вадецкая, 1986, с. 18–19]. Поселенческие находки ограничивались керамикой и изделиями из оббитого камня, позволяющими предположить существование каменной индустрии и в афанасьевское время. Таким образом, публикации материалов ранее исследованных памятников [Грязнов, 1999], новые находки, а тем более в поселениях, могут расширить представления об афанасьевцах, их происхождении и их связях, по-новому оттенить проблемы, связанные с изучением афанасьевской культуры.

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект № 00-01-18046е.

П.Ф. КУЗНЕЦОВ, О.Д. МОЧАЛОВ

САМАРСКАЯ ДОЛИНА В БРОНЗОВОМ ВЕКЕ

Самара – самая протяженная широтная река Восточной Европы, соединяющая Поволжье и Приуралье, Европу и Азию. Ее общая длина составляет 575 км. Долина реки является объективной пограничной зоной степной и лесостепной территорий. Это самая северная область распространения Евразийских степей. Специфика рассматриваемой территории отразилась и на распространении памятников различных культур. Особенно следует отметить, что в этой пограничной зоне во все времена существовали благоприятные условия для развития скотоводства – базовой отрасли эпохи бронзы.

Современная источниковая база памятников, изученных в бассейне р. Самары, позволяет обобщить полученный материал для создания историко-культурных и хозяйственных реконструкций бронзового века с использованием комплексного подхода. Первые археологические исследования в крае были предприняты А. Миллером в 1907 г., а затем Ф.Т. Яковлевым в 1914 г., которые обследовали джунгли Захар-Калма у с. Марычевка. Работы были продолжены в 20-х гг. В.В. Гольмстен и М.Г. Макиным, однако носили в основном разведочный характер. Затем К.В. Сальниковым производились работы в восточных районах бассейна р. Самары. Самые интенсивные и масштабные исследования начались после длительного перерыва с 70-х гг. благодаря усилиям археологов Самары и Оренбурга.

Памятники эпохи бронзы – самые яркие и многочисленные в самарской долине. Здесь представлены все культуры и культурные типы бронзового века Волго-Уралья: ямная, полтавкинская, вольско-лбищенская, абашевская, потаповская, срубная, ивановская, сусканская, атабаевская, нурская. Причем некоторые памятники, такие как широко известные могильники Утевка I и VI, Никифоровское лесничество, поселения Максимовка, Нур, явля-

ются ключевыми в истории материальной культуры населения бронзового века. В регионе представлен уникальный материал по проблемам формирования и контактов культур, в частности по проблеме культуругенеза позднего бронзового века. Накопленные материалы нашли отражение почти в тридцати публикациях. Некоторые из них посвящены специализированному анализу археологических материалов бассейна р. Самары [Корневский, 1977; 1980, с.59–66]. В последние годы в регионе начаты активные комплексные исследования. Появились и первые публикации по итогам комплексных исследований [Демкин, 1999, с. 243–249; Иванов, Плеханова и др., 2000, с. 375–385; Косинцев, Рослякова, 2000, с. 302–308; Плеханова, Иванов, Чичагова, 2001, с. 135–136; Кузнецов, Мочалов, 2001, с. 79–82]. Получены абсолютные даты по некоторым памятникам культур бронзового века [Кузнецов, 1996, с. 56–59].

Всего в бассейне р. Самары известно около ста памятников бронзового века. Большинство из них расположено в среднем и нижнем течении реки, недалеко от слияния с реками Большим Кинелем и Волгой. В верховьях (Оренбуржье) исследовано только несколько памятников, что, видимо, связано с еще недостаточной изученностью района. Многие материалы не введены в научный оборот. При этом интересно, что большинство памятников находится в левобережье, тяготеющем к типично степной зоне.

В представленной работе нами учтено 48 поселенческих и 36 погребальных памятников. В числе поселенческих учитывались и памятники, на которых не производились стационарные раскопки. Всего полевые исследования (раскопки и сборы на дюнах) проводились на 23 поселениях, материалы 13 из них частично опубликованы. При этом некоторые находки были найдены в ходе

разведок. Из более чем тридцати известных могильников опубликованы материалы пятнадцати.

Поселения, как правило, располагаются в поймах или на невысоких террасах и удобных старичных мысах. Именно в бассейне р. Самары отмечен особый тип поселений на дюнах. Всего известно восемь таких памятников: Нур, Захар-Калма, Виловатое, Андреевская, Лебяжья, Человечья голова, Немчанка, Коноваловка.

Исследованные поселения в основном многокультурные. Как правило, все они содержат материалы срубной культуры. Достаточно часто срубный материал перекрывается культурами финального бронзового века. В позднем бронзовом веке долина р. Самары была заселена особенно плотно. Это было связано с благоприятными условиями ведения хозяйства. Отдельные памятники (Максимовка, Кирпичные сараи, Грачев сад) содержат материалы четырех-пяти археологических культур. Семь поселений – однокультурные. В нескольких случаях срубным материалам предшествуют абашевские. Однако нередко раннесрубный материал на таких поселениях отсутствует (Ивановское). Это делает более актуальным вопрос о дальнейшей судьбе абашевской культуры.

Самые ранние керамические коллекции селищ относятся к среднему бронзовому веку, в основном к абашевской культуре. Кроме того, на некоторых памятниках встречены фрагменты вольско-лбищенской керамики (Кирпичные сараи, Человечья голова, Красносамарское IV). Следует отметить немногочисленность материалов среднего бронзового века, что может быть связано с подвижным скотоводческим хозяйством и сезонностью селищ. Количественно материалы культур бронзового века представлены на поселениях следующим образом: абашевские – 6, лбищенские – 3, потаповские – 1, покровский этап срубной культуры – 11, развитой срубной культуры – 22. Культуры финального периода эпохи бронзы представлены на 13 поселениях: сусканские – 3, ивановские – 3, атабаевские – 4, нурские – 8. При этом большинство финальных памятников расположено на правом берегу р. Самары, непосредственно примыкающему к лесостепной зоне.

Эпоха ранней и средней бронзы представлена курганными могильниками – типичной составной частью степного ландшафта, характерной для скотоводческих культур. Отметим, что значительная часть могильников сконцентрирована вокруг известных погребений знати среднего бронзового века у с. Утевка. Именно здесь р. Самара делает достаточно крутой изгиб. Причем крупные поселения здесь неизвестны.

Второй «куст» погребальных памятников намечается западнее, ближе к слиянию рек Самары и Большого Кинеля. В большинстве курганов погребения однокультурные. Некоторые содержат впускные захоронения поздних периодов. Однако состав могильников может быть и мно-

гокультурным, т. е. содержать в курганах погребения как ранней, так и поздней бронзы, хотя таких памятников немного. Единственный во всем Заволжье могильник абашевской культуры – Никифоровское лесничество – расположен в верхних р. Самары на ее правом лесостепном берегу, в то время как абашевские поселения самарской долины локализируются западнее. Известно три грунтовых могильника: Никифоровское лесничество (абашевская культура), Съезжее (срубная культура), Утевка VI (ивановская культура). Традиция захоронения в грунтовых некрополях известна в бассейне р. Самары еще с эпохи энеолита (Съезжинский могильник самарской культуры).

Погребения ямной культуры известны в шести могильниках (18 курганов), полтавкинской – в тринадцати (25 курганов), абашевской – в одном (грунтовый могильник) и потаповской – в одном (3 кургана) могильнике. Также в четырех могильниках выделены впускные погребения эпохи бронзы, определить культурную принадлежность которых затруднительно (Красносамарское II, Утевка VI, Съезжее, Утевка I). Иногда данные погребения исследователи относят к абашевской культуре [Кузьмина, 2000, с. 95–96]. Однако отсутствие керамики не позволяет столь однозначно определять их атрибуцию. В частности, набор украшений с дюны Человечья голова интерпретируется О.В. Кузьминой как свидетельство наличия абашевского некрополя [Кузьмина, 2000, с. 96, 121]. Но здесь найдена только типичная вольско-лбищенская керамика [Васильев, 1999, с. 103]. Регулярные обследования дюны к обнаружению абашевской керамики не привели. Металлические изделия имели широкое распространение в эпоху средней бронзы. Спорна функциональная принадлежность этого памятника.

К эпохе поздней бронзы относится 21 могильник срубной культуры. Срубные могильники распределены по долине р. Самары более равномерно, без видимой привязки к конкретным микрорайонам. Отметим, что курганы раннего этапа срубной культуры топографически расположены достаточно низко, как и более ранние некрополи. Только в трех учтенных могильниках присутствуют погребения как раннего, так и развитого этапов срубной культуры (Спиридоновка IV, Николаевка I, Чистый яр). Только ранние погребения содержатся в одиннадцати могильниках, а только поздние погребения – в пяти могильниках. Всего изучено 329 раннесрубных погребений и 127 погребений развитой срубной культуры. Таким образом, количество погребений раннесрубной культуры почти в 3 раза превышает количество погребений развитого этапа культуры и в 10 раз – эпохи средней бронзы!

Материалы, полученные в ходе многолетних полевых исследований, позволяют создать надежную основу для историко-культурных реконструкций. Всего из эпохи бронзы в бассейне р. Самары известно 232 изделия из меди и бронзы, 10 изделий из золота, 5 – из серебра, более 100 –

из камня, 77 – из кости, 6 – из глины, 4 – из раковины, 2 – из пасты. Керамическая коллекция могильников насчитывает более 500 полностью реконструируемых сосудов.

Эпоха ранней бронзы представлена шестью курганами могильниками ямной культуры и случайной находкой ножа. Исследовано 18 курганов и 19 погребений. Инвентарь немногочислен: 4 медных изделия, 6 каменных, 1 костяное, 1 раковина, 1 глиняный сосуд. Все памятники расположены на левом берегу реки и входят в степную зону. Севернее известен только один памятник ямной культуры у с. Лопатино на р. Сок.

Более многочисленны памятники среднего бронзового века, относящиеся к полтавкинской и абашевской культурам и лбищенскому типу. Всего известно 14 могильников и 8 поселений с материалами среднего бронзового века. Полтавкинская культура, генетически связанная с ямной, представлена двенадцатью могильниками и случайной находкой сосуда. Поселений неизвестно. Исследовано 25 курганов и 39 погребений. Инвентарь состоит из следующих изделий: 18 – из меди и бронзы, 17 – из кости, 17 глиняных сосудов, 5 – из камня, 2 – из золота, 2 – из глины. Отметим, что значительная часть инвентаря происходит из могильника Утевка I, известного как захоронения знати начала среднего бронзового века.

К абашевской культуре достоверно можно отнести только один могильник – грунтовый некрополь у Никифоровского лесничества в верховьях р. Самары. Инвентарь состоит из 44 изделий из меди и бронзы, 2 – из камня, 1 – из кости, 8 реконструируемых глиняных сосудов и несколько фрагментарных. Географически памятник тяготеет к лесостепной зоне Приуралья и связан с абашевской культурой Южного Урала. Возможно, данный комплекс относится к захоронениям социально значимой части абашевского общества. Абашевские поселения расположены значительно западнее указанного могильника и представлены небольшими коллекциями керамики, наиболее близкой к южноуральской абашевской культуре: Максимовка, Грачев сад, Кирпичные сараи, Виловатое, Бариновка. На трех поселениях встречены единичные фрагменты керамики вольско-лбищенского типа. На доне Человечья голова, неординарном и дискуссионном памятнике, обнаружена коллекция из 17 металлических украшений, включая 3 серебряные подвески. При этом следует отметить, что долина р. Самары «стремится» к удалению от Волжского Правобережья – основного ареала распространения лбищенских памятников.

Финальный период среднего бронзового века представлен широко известным могильником потаповского культурного типа Утевка VI. Это самый богатый комплекс бронзового века. Количество инвентаря значительно превышает этот показатель ямных и полтавкинских памятников бассейна р. Самары. Известно 36 изделий из меди и бронзы, 40 глиняных сосудов, 35 изделий из кам-

ня, 13 – из кости, 2 – из глины, 1 – из золота. На бытовых памятниках единичные фрагменты керамики потаповского типа обнаружены только на поселении Бариновка.

К позднему бронзовому веку относятся многочисленные могильники и поселения срубной культуры. Изучен 51 курган. Большая часть погребений и инвентаря относится к раннему этапу срубной культуры. Особенно яркими памятниками раннего этапа срубной культуры являются могильники Спиридоновка II, Утевка III, Неприк, Широценка, а также Съезжинский грунтовый могильник. Инвентарь срубных могильников следующий: изделия из бронзы – 86, из камня – 23, из кости – 22, из золота – 7, из серебра – 5, из пасты – 1, из раковины – 3.

Материалы как раннего, так и развитого этапа срубной культуры в различных пропорциях представлены почти на всех поселенческих памятниках и являются основными находками поселений. Однако в связи с отсутствием стратиграфии и перемешанностью слоев не всегда возможно с уверенностью определить культурную принадлежность находок на поселениях. Известно 15 изделий из меди и бронзы (серпы, ножи, шилья, крючки, тесло), около 30 каменных изделий (песты, молоты, обработанный кремль), 14 – из кости (пряслица, псалии и т. д.), 1 – из глины (грузило). На срубных поселениях изучены 3 жилища и 2 крупных хозяйственных сооружений. Многие поселения и могильники развитой срубной культуры отражают алакульское влияние, которое проявляется в отдельных сооружениях камнем, в особенностях керамики.

В финальном периоде бронзового века некоторые поселения срубной культуры были освоены племенами сусканской, атабаевской, ивановской культур и нурского культурного типа. Причем на некоторых памятниках эти типы присутствуют совместно в различных комбинациях. Известно два грунтовых захоронения ивановской культуры финального бронзового века, расположенных непосредственно на территории могильника Утевка VI.

Остановимся на вопросах хозяйства племен эпохи бронзы. На основе изучения костей животных на поселениях и жертвенников в могильниках достаточно очевидным представляется вывод о скотоводческом характере экономики бронзового века в Самарском Поволжье. Однако важным вопросом является конкретный тип скотоводства и особенности экономического уклада. Osteологические материалы находятся в процессе обработки П.А. Косинцевым. В настоящее время мы располагаем только предварительными выводами по этому вопросу [Косинцев, Рослякова, 2000, с. 302–308].

Выводы о хозяйстве ямной и полтавкинской культур основаны на изучении погребальных памятников, так как поселения неизвестны. Очевидно, это свидетельствует о подвижном характере скотоводства с преобладанием мелкого рогатого скота. Разведение и уход за крупным рогатым скотом требует основания для постоянных поселений.

О составе стада свидетельствуют и данные остеологов о доминировании овцеводства у ямных и полтавкинских племен [Косинцев, Рослякова, 2000, с. 302–308], что связано с особенностями экологии засушливых степей. По данным почвоведов, климат эпохи был выражено континентальным [Иванов, Плеханова, 2001, с. 379]. Неслучайно ямные памятники бассейна р. Самары в основном известны на ее левом берегу, примыкающем к Заповолжским степям. Таким образом, мелкий рогатый скот составлял основу подвижного скотоводческого хозяйства ямных и полтавкинских племен, крупный рогатый скот, видимо, использовался в качестве тягловых животных. В полтавкинской культуре увеличивается доля крупного рогатого скота. Особая роль в хозяйстве принадлежала лошади. Процесс ее одомашнивания является отдельной темой специального и углубленного исследования. Яркое отражение этого процесса мы видим в памятниках бассейна р. Самары. Здесь выстраивается своеобразная цепочка от появления первых образов лошади (Съезжинский энеолитический могильник) и до захоронений в курганах жертвенных частей коней, а также деталей конской узды (Утевка I, курган 2; Утевка VI). В памятниках ранней бронзы остатки лошади неизвестны. В памятниках полтавкинской культуры имеются ее достоверные кости.

В составе стада абашевской культуры ведущим, видимо, был мелкий рогатый скот (Никифоровское лесничество).

Начиная с финального периода среднего бронзового века, возрастает роль крупного рогатого скота, кости которого присутствуют на всех поселениях. Второе место занимало разведение мелкого рогатого скота и свиньи. Лошадь активно используется как транспортное средство. Стационарные поселения свидетельствуют о наличии хозяйства, основу которого составляло пастушеское придомное скотоводство. Открытым остается вопрос о земледелии в позднем бронзовом веке. Многочисленные флотационные анализы на поселениях срубной культуры достоверных свидетельств земледелия не дали. Вместе с тем, в долине р. Самары имеются естественные благоприятные условия для развития этого сектора экономики. Объективно этому соответствовал и благоприятный климат эпохи поздней бронзы – более влажный и теплый, чем современный [Иванов, Плеханова, 2001, с. 382].

Свидетельства металлургии и металлообработки обнаружены на девяти памятниках. Большинство из них относится к поселениям позднего бронзового века, однако имеются данные и в могильниках средней бронзы: Утевка I (могильник раннего этапа полтавкинской культуры) – шлак; Утевка VI (могильник потаповского типа) – медный сплеск, ошлакованная керамика, 2 глиняных сопла; Съезжее (могильник раннего этапа срубной культуры) – керамическая льячка; Бариновка (поселение абашевской и срубной культуры) – шлак, сплеск меди; Красносамарское (поселение срубной культуры) – шлак; Кирпичные сараи (поселение поздней и финальной бронзы) – литейная форма для серпов, 3 молота для дробления руды, ступка; Нурская дюна (поселение поздней и финальной бронзы) – обломки тиглей; Токское (поселение развитой срубной культуры) – медный шлак; Ивановское (поселение абашевской и срубной культуры) – 4 ямы со шлаком, 1 яма с рудой, сосуды с вкраплениями меди.

Традиционными находками, свидетельствующими о занятиях населения, являются: тесла, пряслица, костяные орудия для обработки кожи, раковины-орнаменты, обработанные кремневые сколы, наконечники стрел, крючки, песты. Однако на поселениях эти находки не всегда привязываются к конкретным культурам. Определенную роль в хозяйстве продолжали играть охота и рыболовство.

В заключение отметим, что пограничное положение долины р. Самары, ее непосредственная связь со степным миром, отразились на концентрации здесь различных видов памятников всех археологических культур Волго-Уралья. Археологические материалы, относящиеся к разным этапам культур, передают процесс их формирования и развития. Многие материалы свидетельствуют о связях скотоводов Самарского бассейна не только с Волго-Уралем, но и с территориями Зауралья, Кавказа и Донского бассейна. Уникальность и особенность региона также наглядно демонстрируют элитные, социально значимые могильники бронзового века: Утевка I, Утевка VI, Николаевка III, Никифоровское лесничество Спиридоновка II.

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект № 00-01-00093а.

О.В. КУЗЬМИНА

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИСОЧНЫХ ПОДВЕСОК В 1,5 ОБОРОТА АБАШЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Подвески в 1,5 оборота – это одно из наиболее характерных украшений абашевской культуры. Они представлены уже в самых ранних абашевских памятниках, в то

время как другие, специфические только для абашевской культуры украшения, например бляшки-розетки, еще не известны. Это первое украшение, которое было изготов-

лено абашевскими мастерами. В абашевской культуре височные подвески в 1,5 оборота появились на раннем этапе и изготавливались на протяжении всей ее истории, причем это одно из наиболее часто встречаемых украшений. Решение вопроса о происхождении височных подвесок в 1,5 оборота способствует пониманию проблемы формирования абашевской культуры в целом.

База данных. Для исследования привлечено 100 экземпляров височных подвесок из памятников абашевской культуры. В Правобережье Среднего Поволжья и в Волго-Окском междуречье в 35 погребениях обнаружено 58 височных подвесок в 1,5 оборота. В этом регионе они чаще всего встречаются на раннем и классическом этапах культуры. В Левобережье Среднего Поволжья из 26 погребений происходят 32 подвески, причем число и комплексов и подвесок увеличивается от раннего этапа к позднему. В Волго-Уралье из 10 памятников происходят 10 подвесок, и также, от классического к позднему этапу, увеличивается число и комплексов и подвесок. В целом височные подвески в 1,5 оборота более всего были распространены в Правобережье Среднего Поволжья и менее всего — на Южном Урале. Их нет в Прикамье и на Вычегде. Они не встречаются вкладах.

Технология изготовления. Все височные подвески в 1,5 оборота абашевской культуры сделаны из серебра. Это отличает их от подвесок более позднего времени, для изготовления которых уже применялось не серебро, а бронза или золото. По мнению исследователей, «колечки выделывались путем штамповки из тонких серебряных листов» [Ефименко, Третьяков, 1961, с. 60]. Эта технология лежит в основе изготовления и других типов абашевских украшений — бляшек-полугорошин и рифленых пронизей. Концы подвесок всегда желобчатые. Исключением является одна подвеска из Правобережья (Тауш-Касы), которая сделана из полукруглого в сечении прутка, и одна подвеска из Левобережья Среднего Поволжья (Троицкое), свернутая из круглой в сечении проволоки с утолщениями на концах, имитирующими ложковидные концы желобчатых подвесок. Вторая подвеска из этого же погребения в Троицком обычная, желобчатая. Из проволоки подвески в 1,5 оборота делались в предшествующее абашевской культуре время и в культурах катакомбного мира. Исключением являются полусферические подвески с усиками среднедонской катакомбной культуры. Они сделаны, по всей видимости, по той же технологии, что и абашевские подвески в 1,5 оборота.

Размеры. Высота абашевской подвески в 1,5 оборота от 8 до 14 мм. В ранних погребениях преобладают крупные подвески. На классическом и позднем этапах культуры есть подвески и крупные и мелкие. В тех случаях, когда в погребении находится несколько подвесок (3, 5, 6), они мелкие. В поволжских памятниках преобладают крупные подвески, а в уральских — мелкие.

Чтобы решить вопрос о происхождении абашевских височных подвесок в 1,5 оборота, необходимо обратиться к культурам, предшествующим абашевской в зоне широколиственных лесов Восточной Европы, с которыми и связывается, по мнению ряда исследователей, происхождение самой абашевской культуры. Верхнее и Среднее Поволжье является основной зоной распространения фатьяновской и балановской культур. Кроме того, здесь известны памятники с металлическими украшениями унетицкого типа.

Из памятников фатьяновской и балановской культур происходит довольно большая коллекция височных украшений, классификация которых была дана в работе О.А. Гадзяцкой [1976]. Опираясь на нее, предлагаем классификацию, построенную на трех основных признаках: наличие или отсутствие у подвески щитка; в виде кольца или спирали основа подвески, технология изготовления украшения (из проволоки или пластины). Для данного исследования привлечено 50 подвесок.

Подвески без щитка

В виде простого колечка

Из проволоки

Колечко имеет заходящие друг за друга концы. Проволочные колечки (20 экземпляров) происходят из Волосово-Даниловского, Северо-Бирского, Балановского могильников.

Из пластины

Колечко из раскованной пластины имеет заходящие друг за друга концы. Эти украшения (10 экземпляров) происходят из Волосово-Даниловского, Голузинского, Никольского, Балановского, Чуркинского могильников.

В виде спирали

Из проволоки

Подвеска в 2 оборота, свернутая из сложенной вдвое проволоки, концы которой сужены. Она известна в одном экземпляре в Балановском могильнике.

Подвеска в 2 оборота, свернутая из одинарной проволоки. Один конец ее сужен, а другой утолщен. Такие подвески происходят из Балановского и Таутовского могильников (по одному экземпляру).

Подвеска в 1,5 оборота с суженными концами. Такие подвески происходят из Балановского, Скомороховского, Наумовского могильников.

Из пластины

Подвеска в 1,5 оборота, сделанная из узкой пластины. Подвески происходят из Балановского и Алексеевского могильников (по одному экземпляру).

Подвески с одним щитком

В виде кольца

Из проволоки

Подвеска, один конец кольца раскован в широкий округлый щиток, украшенный несколькими продольными

валиками и раздвоенный в центре. Другой конец кольца сужен и входит в разрез на щитке, что и является замочком. Одно такое кольцо происходит из Дикарихи у Плещеева озера.

Подвеска, один конец проволоки сужен, а другой раскован в узкий длинный тонкий листок без ребра. Одна такая подвеска происходит из пещеры Братьев Гречи. Эта подвеска имеет большие размеры. Принципиально такое же строение имеет подвеска из Волосово-Даниловского могильника. Отличие последней заключается в меньших размерах и в том, что ее узкий конец заканчивается расширением в виде змеевидной головки.

В виде спирали

Из проволоки

Подвеска в 2,5 оборота. Один конец сужен, другой раскован в тонкий плоский щиток в виде узкого листка. Украшение происходит из Алексеевского могильника (один экземпляр).

Подвеска в 1,5 оборота. Один конец сужен, другой раскован в узкую длинную пластину с закрученным окончанием. Такие подвески происходят из Волосово-Даниловского могильника.

Из пластины

Подвеска в 1,5 оборота из раскованной пластины, один конец которой раскован в щиток в виде плоского листка, а другой конец узкий и плоский. Такие подвески происходят из Голузинского (один экземпляр), Никульцинского (два экземпляра), Волосово-Даниловского (шесть экземпляров) могильников.

Подвеска в 1,5 оборота из раскованной пластины, один конец которой раскован в щиток в виде листка с продольным ребром, а другой конец узкий и гладкий. Ребро на щитке не выдавлено с внутренней стороны, а получено в результате проковки краев листка. Такие подвески происходят из Северо-Бирского (три экземпляра), Никульцинского (один экземпляр), Волосово-Даниловского (два экземпляра) могильников.

Подвески с двумя щитками

В виде кольца

Из проволоки

Подвеска, оба конца кольца раскованы или утолщены и имеют вид змеевидной головки. Эти подвески относятся к щитковым условно. Они очень близки самым простым подвескам в виде колечка. Они происходят из Кузьминского и Волосово-Даниловского могильников (по одному экземпляру).

В виде спирали

Из проволоки

Подвеска из сложенной вдвое проволоки, оба конца которой раскованы в длинные узкие листки с продольным ребром. Одна такая подвеска происходит из Волосово-Даниловского могильника.

Из пластины

Подвеска в 1,5 оборота, оба конца которой сделаны в виде широких щитков, орнаментированных несколькими продольными валиками. Щитки не симметричны. Подвески происходят из могильников Мытищи и Волосово-Даниловский (по одному экземпляру).

Большое число типов и малое количество экземпляров каждого типа, за исключением самых простых украшений, свидетельствуют о том, что представлены культурно-неоднородные украшения. Самую многочисленную группу фатьяновских и балановских украшений составляют простые колечки из проволочки или пластинки, которые были широко известны в ряде культур. Этот тип мог возникнуть в культуре самостоятельно.

К украшениям унетичского типа можно отнести подвески, представленные единичными экземплярами. Это щитковые и спиральные провололочные украшения, которые, как правило, крупнее других. Исследователи [Гадзяцкая, 1976; Бадер, 1971] указывали на унетичские аналогии этим украшениям. В унетичских памятниках, обнаруженных на территории Волини и Подолии (например, Киевский и Стеблевский клады), височные подвески хорошо известны. Они сделаны в виде проволочного кольца, один конец которого сужен, а другой имеет щиток. Щиток – это главная особенность таких подвесок. Он может делаться двумя способами: сворачиваться из проволоки в плоскую спираль или расковываться в «ивый листок». Можно спорить о том, являются ли щитковые подвески из памятников Поволжья и Приуралья импортными или изготовлены на месте, но ясно одно – они относятся к типам, совершенно чуждым Восточной Европе и хорошо известным в Центральной Европе, в частности, в унетичской культуре.

Другие подвески, вероятно, надо рассматривать как модификации унетичских типов, которые привели к формированию нового типа фатьяновских украшений – подвесок в 1,5 оборота с асимметричными раскованными концами. Каждая из групп модифицированных подвесок представлена несколькими экземплярами (от двух до десяти).

Есть памятники, в которых присутствуют украшения только унетичских типов (Дикариха, Мытищинский), только модифицированных типов (Наумовский, Кузьминки, Скоморохово, Таутово), только простые колечки (Чуркино). Есть памятники, в которых модифицированные украшения сочетаются с простыми колечками (Северо-Бирский, Голузинский могильники). Возможно сочетание подвесок всех трех групп в одном памятнике (Волосово-Даниловский и Балановский могильники). По всей видимости, эти данные свидетельствуют о проникновении унетичского компонента в фатьяновскую и балановскую культуру. Так, известны погребения с целы-

ми наборами унетицких украшений как в Поволжье (например, погребение на Владыченской стоянке), так и в Приуралье (Северо-Бирский могильник). Это культурное влияние было довольно сильным и привело к определенным изменениям в облике местных культур, что проявилось, в частности, в создании новых типов металлических украшений.

Можно предположить следующие ступени в формировании абашевского типа подвесок. Абашевские подвески имеют в своей основе спираль, свернутую в 1,5 оборота, концы которой симметричны, раскованы и имеют полусферическую форму. Наиболее близки им фатьяновские подвески в 1,5 оборота с раскованными, но асимметричными и плоскими концами. Такие подвески можно считать характерными только для фатьяновской культуры. Они, по всей видимости, возникают под влиянием появившихся в Восточной Европе унетицких подвесных украшений в виде проволочного кольца, один ко-

нец которого раскован в щиток. Верхнее Поволжье не имеет достаточных источников меди, с этим связаны небольшие размеры фатьяновских украшений и изготовление их из раскованной пластины, а не из проволоки, что, в свою очередь, явилось основной модификацией подвесок унетицких типов. Абашевские подвески завершают этот ряд, представляя собой совершенно самостоятельное явление, но происхождение которого, опосредованно через фатьяновские образцы, можно предположительно связать с украшениями унетицкого типа. Каждое из этих культурных явлений – унетицкое кольцо со щитком, фатьяновская подвеска в 1,5 оборота с асимметричными раскованными концами и абашевская подвеска в 1,5 оборота с кованными полусферическими концами – своеобразно, но наличие переходных типов, модифицирующих основные типы, позволяет представить их в одной системе, где все элементы взаимообусловлены и связаны между собой.

СОФИ ЛЕГРАН

РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МОГИЛЬНИКОВ КАРАСУКСКОЙ КУЛЬТУРЫ: АРХИТЕКТУРА, ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД И ИНВЕНТАРЬ

Карасукская культура Среднего Енисея характеризуется, в отличие от предшествующих культур, многочисленными погребальными памятниками. По этой теме существует достаточно много научных работ. В основном эти исследования сравнивали карасукскую культуру с другими культурами, вместо того чтобы сначала выявить ее своеобразие. Они, как правило, рассматривали ее только через изучение морфологических или иконографических черт погребальных вещей. Конфигурация и архитектура погребальных комплексов практически выпали из поля зрения большинства исследователей, как и организация общества и тип ее экономики. Лишь в работах М.П. Грязнова этим вопросам уделялось большее внимание.

Чтобы получить общие и наиболее полные представления о карасукской культуре, была создана база данных по 156 исследованным могильникам. Но для корректного использования статистических исследований привлече-

ны только 125 погребальных комплексов, относящихся, по моему мнению, бесспорно к карасукской культуре.

Статистические исследования (по программам EXEL, SPAD 4) включали выделение признаков по различным категориям по всем компонентам культуры: планиграфия могильников, конструкция и архитектура погребальных сооружений (оград и могил), погребальный обряд и сопроводительный инвентарь. Специальный типологический анализ проведен по таким категориям, как керамическая посуда и бронзовые ножи. Корреляция всех составляющих и статистическая их обработка дали возможность выявить локальные, хронологические и социальные компоненты, наиболее важные в процессе развития культуры, и проследить закономерности их развития.

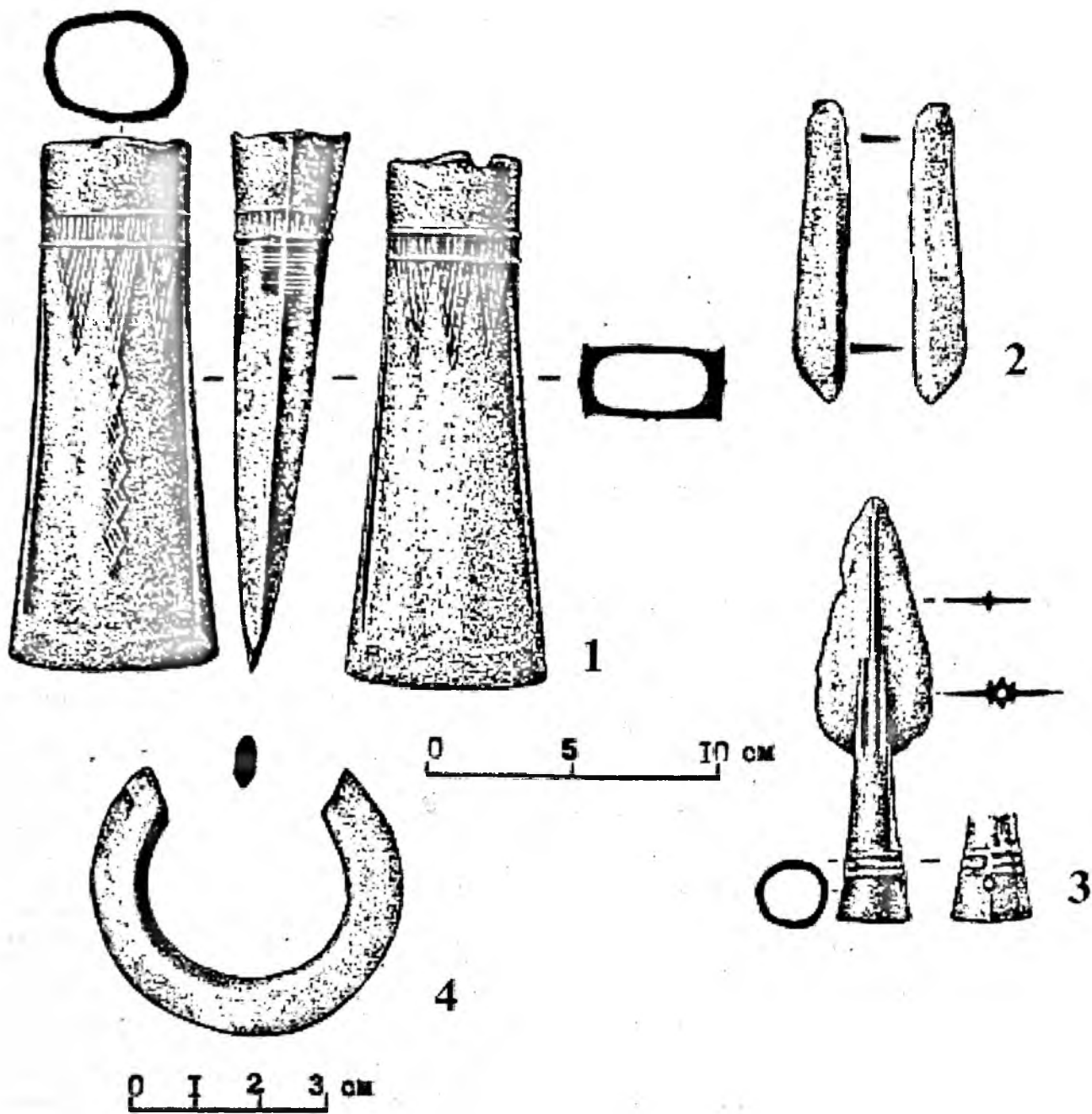
Таким образом, полученные результаты проведенного статистического анализа позволяют иметь на современном этапе наиболее объективные и полные представления о древнем обществе карасукской культуры.

С. Н. ЛЕОНТЬЕВ

К ВОПРОСУ О СЕЙМИНСКО-ТУРБИНСКОЙ ТРАДИЦИИ НА СРЕДНЕМ ЕНИСЕЕ

Хронология, происхождение и этнокультурная атрибуция сейминско-турбинской бронзолитейной традиции остаются дискуссионными до настоящего времени как для

всей территории ее распространения, так и для отдельных ее регионов. На Среднем Енисее единичность и случайность находок металлических изделий этого типа не



Сейминско-турбинские вещи на Среднем Енисее:
 1-3 - с. Верхняя Мульга, «клад» (бронза); 4 - Черновая XI (нефрит)

позволяют локализовать их во времени, увязав с какой-либо из известных здесь археологических культур. К тому же большинство этих находок было совершено в тайге и подтаежной зоне [Гришин, 1971, с. 60–61; Членова, 1977, с. 108–109] – территории, в археологическом отношении изученной крайне слабо. Поэтому каждый новый предмет сейминско-турбинского материального комплекса в этом регионе представляет особый интерес.

Две или более «сейминско-турбинские вещи, подобранные случайно в одном месте», Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых выделяют в группу условных погребений и могильников [Черных, Кузьминых, 1987, с. 88]. На рассматриваемой территории автору известен лишь один подобный случай – не публиковавшийся ранее «клад», найденный жителями с. Верхняя Мульга (Курагинский район Красноярского края) во время ремонта старого дома в пойме одноименной речки, при впадении ее в р. Кизир. «Клад» состоял из кельта сейминско-ростовкинского типа, наконечника копья малых размеров с вильчатым стержнем и прямого однолезвийного бесчеренкового клинка составного ножа (рисунок, 1–3), залежавших на глубине 35–40 см от уровня дневной поверхности и в 30–50 см друг от друга.

Интерпретация мульгинского «клада» как погребения вполне правомерна, если учесть распространенность в сейминско-турбинской практике погребения обычая сооружать кенотафы и их незначительную (30–50 см) глубину [Черных, Кузьминых, 1987, с. 86–88]. Подобный погребальный обряд чужд культурам эпохи бронзы степной части Среднего Енисея.

Летом 1999 г. при раскопках одиночного кургана позднего черновского этапа окуневской культуры Черновая XI (Боградский район Хакасии) в заполнении разрушенной грабителями могилы ребенка 1,5–2 лет было обнаружено полированное каменное кольцо (рисунок, 4), по форме, материалу (бледно-зеленый нефрит) и технике изго-

товления (двусторонняя встречная резьба) полностью тождественное аналогичным предметам из глазковских и сейминско-турбинских погребений [Окладников, 1955, с. 178; Бадер, 1964, с. 95–96]. Наличие в окуневскую эпоху населения Среднего Енисея самостоятельной индустрии нефритовых изделий [Хлобыстин, Шер, 1966, с. 51; Максименков, 1981, с. 102; Ковалев, 1997, с. 82, 90; Хаврин, 1997, с. 72], а также нахождение месторождений этого камня на Хантгирском и Восточно-Саянском хребтах [Кызласов, 1986, с. 59] не позволяют однозначно говорить об импортном происхождении этого кольца. Но его взаимосвязь с глазковскими и сейминско-турбинскими комплексами очевидна. Эти кольца большинством исследователей воспринимаются как материальное выражение культурных контактов, связавших в XVI–XIII вв. до н. э. Прибайкалье, Западную Сибирь и Урал [Киселев, 1949, с. 38, 39; Бадер, 1964, с. 178; Косарев, 1970, с. 120; Кызласов, 1993, с. 78–80]. Находка нефритового кольца в позднеокуневском погребении свидетельствует о том, что в эти контакты было втянуто и предандроновское население приенисейских степей.

Мульгинский «клад» и нефритовое кольцо из Черновой XI должны относиться к одному хронологическому горизонту. Он может быть определен в рамках XV–XIV вв. до н. э., исходя из общих представлений о генезисе сейминско-турбинской традиции на территории Западной Сибири [Черных, Кузьминых, 1987, с. 102; Кузьмина, 1994, рис. 31]. В этот период в саянской тайге, очевидно, появляются группы мигрантов, вступивших в контакты с позднеокуневским населением, также частично проживавшим в таежных районах [Семенов, 1997, с. 152–154]. Этим объясняются те параллели между окуневским и сейминско-турбинским культурными комплексами, которые неоднократно уже отмечались в литературе [Матющенко, 1975, с. 134–135; Членова, 1977, с. 109–110; Хаврин, 1997а, с. 163].

Р.А. ЛИТВИНЕНКО

КАТАКОМБНОЕ НАСЛЕДИЕ В БАБИНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Вопрос об участии катакомбной культуры в сложении бабинской (многоваликовой керамики) корнями своими уходит ко времени выделения последней в качестве самостоятельного археологического явления. Именно сходство керамических комплексов обеих групп памятников явилось камнем преткновения, в споре о разделении их на отдельные археологические культуры. И тем не менее, какую бы позицию дискутирующие стороны ни занимали, показательным признанием ими несомненной связи памятников многоваликовой керамики со среднедонскими катакомбными [Попова, 1960; Латынин, 1964].

С накоплением источниковой базы и углублением знаний о катакомбной и бабинской культурах проблема соотношения между ними соответственным образом трансформировалась и рождала новые подходы к решению тех или иных ее аспектов. И все же, даже с учетом того, что бабинская культура в пределах своего огромного ареала сегодня не представляется однородной, и ее территориальные группы (варианты или даже культуры) исследователи связывают с различными культурогенетическими механизмами и составляющими, большинство авторов не отрицают связи этих процессов с предшествующим

пластом древностей катакомбной культурно-исторической общности. Вместе с тем, данное положение до сих пор так и не получило всестороннего осмысления и развернутой аргументации. Поэтому реальный «вклад» катакомбного мира (какого именно, в какой форме и степени?) в сложение памятников бабинского круга (каких именно, ведь они не являются гомогенными?) остается весьма неопределенным, улавливаемым на уровне ограниченных источниками сопоставлений или даже интуиции. Постараемся осветить обозначенную проблему.

Для начала обратимся к одному из наиболее аргументированных подходов, сформулированному С.Н. Братченко, в свою очередь развившему гипотезу Б.А. Латынина. В соответствии с этим подходом ведущим генетическим фоном в сложении бабинской культуры явились лесостепные катакомбные памятники, в первую очередь среднедонская (харьковско-воронежская) катакомбная культура, в меньшей мере среднеднепровская и степной катакомбный субстрат [Братченко, 1976, с. 117–118; 1977; 1985, с. 457]. В той или иной степени его мнение разделяют многие археологи [Матвеев, 1980, с. 75; 1990, с. 49; 1990а; Пряхин и др., 1991, с. 14; Савва, 1992, с. 10, 157; Санжаров, 1991, с. 16; Шарафутдинова, 1987, с. 43–44; 1995, с. 124–125; и др.], в том числе те, которые видят в бабинской культуре восстановление ямных традиций [Ковалева, 1981, с. 75–76; 1987, с. 22–23, 30; Писларий, 1983, с. 15, 19; 1991, с. 60–62]¹. Примечательно, что главным и наиболее зримым связующим элементом между среднедонской катакомбной и бабинской культурами выступает керамическая посуда. Предметное сопоставление и анализ лесостепной катакомбной керамики с бабинской произведены С.Н. Братченко [1977, с. 26–31, 32–34] и Э.С. Шарафутдиновой [1995], что, впрочем, не исчерпывает данного вопроса. Новые материалы, полученные в результате раскопок поселений в бассейне Северского Донца, настолько очевидно демонстрируют преемственность керамических традиций среднедонской катакомбной культуры (ее многоваликового этапа) и бабинской культуры, что С.Н. Санжаров [2000] даже предложил раннебабинские памятники считать финальнокатакомбными, возвратившись тем самым к истокам дискуссии конца 50 – начала 60-х гг. XX в. [Отрошенко, 2001, с. 82]. Говоря об этой преемственности, подчеркнем, что она проявляется в бабинских памятниках не только в лесостепи Левобережной Украины (хотя там наиболее ярко), но также далеко за ее пределами. Данное обстоятельство, наряду с другими, демонстрирует, с одной стороны, культурную общность этих памятников от катакомбных, а с другой – общность исходного импульса, приведшего к сложению и распространению памятников бабинского круга на огромной территории между Волгой и Дунаем.

И сколь бы существенным в том или ином регионе Причерноморья ни выступал местный субстрат (среднедонской, ингульский катакомбный, среднеднепровский и др.), определяющий своеобразие местного варианта (культуры), трудно не заметить того общего знаменателя, который объединяет сотни памятников в рамках *единого по происхождению (истокам)* образования.

Преемственность керамических традиций среднедонской катакомбной и бабинской культур казалась столь очевидной, что другим сопоставимым параметрам уделялось значительно меньше внимания. Однако было замечено, что среднедонская катакомбная культура вообще, а на своем валиковом этапе (развитом по периодизационной шкале для Среднего Подонья и позднем – для Северского Донца) в особенности демонстрирует ряд черт, получивших дальнейшее развитие и ставших определяющими в бабинской культуре. Среди них назывался значительный удельный вес ямных погребальных конструкций – до 42 % [Матвеев, 1980, с. 69; 1990, с. 48; Пряхин и др., 1991, с. 7; Синюк, 1996, с. 93, 119, 129, 134; Шарафутдинова, 1987, с. 43]. Кроме того, обратим внимание на такие черты, как выраженная тенденция *левобочных* ингумаций – до 40 % [Матвеев, 1980, с. 70; Пряхин и др., 1991, с. 7], «адоративная» позиция рук², отсутствие охры в могилах, которые стали ведущими не только для бабинской культуры, но и для синхронной с ней среднедонской катакомбной позднего (финального) этапа [Матвеев, 1980, с. 70; 1990а; Пряхин и др., 1991, с. 7, 12; Синюк, 1996, с. 119, 133–135, табл.17]. Впрочем, указанные признаки в той или иной мере проявляются и в некоторых других позднекатакомбных культурах. К подобным же связующим параллелям следует отнести практику помещения в катакомбные и бабинские могилы «шкуры» животных, фиксируемых по черепам и костям конечностей. Не случайно и совпадение географии данного элемента погребальной обрядности: в пределах катакомбной области он наиболее характерен для культур Доно-Донецкого региона, в частности донецкой (особенно позднего этапа) и среднедонской, в меньшей степени маньчской [Братченко, 1976, с. 34; Братченко, Шпапошникова, 1985, с. 406, 409; Смирнов, 1996, с. 30, 50, 80, 100]; в памятниках круга Бабино «шкур» также известны главным образом в бассейне Северского Донца и Днепро-Донецком лесостепном междуречье (рис. 1, 1) [Литвиненко, 1997]. К списку показателей преемственности необходимо добавить сопровождение некоторых умерших «производственными» или «ремесленными» наборами [Пустовалов, 1995, с. 213–214; Литвиненко, 1998а, с. 97–102]. Несмотря на то, что подобные наборы (рис. 1, 4) встречены во многих катакомбных культурах, в бабинской они вновь приурочены исключительно к ее восточной группе –

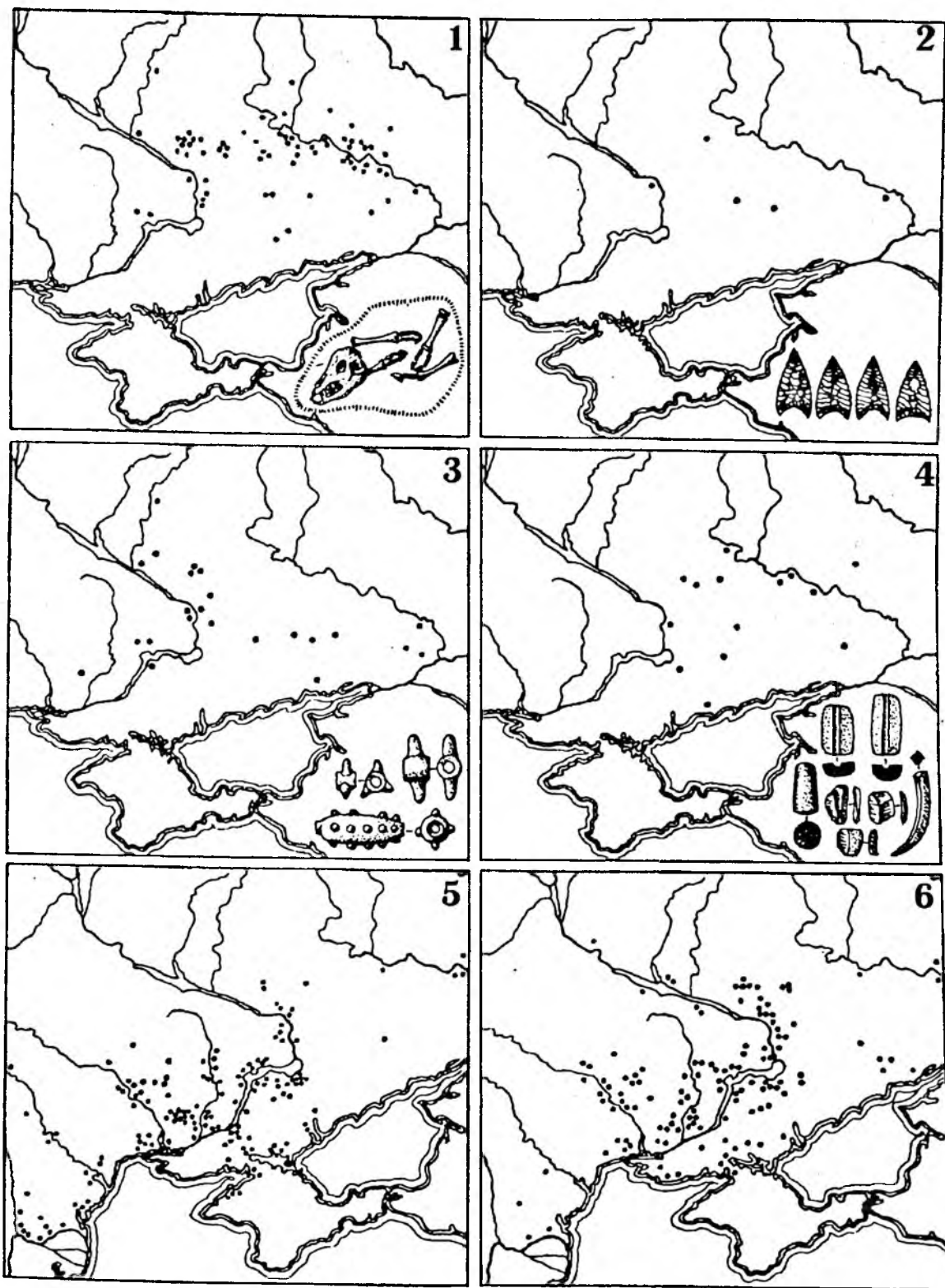


Рис. 1. Карты распределения обрядово-инвентарных признаков бабинской культуры Надзовья (1-4) и Надчерноморья (5-6): 1 - «шкуры»; 2 - колчаные наборы; 3 - бусы с выступами; 4 - «производственные» наборы; 5 - подбои; 6 - южная ориентация

днепеко-днепро-азовской (*надазовской*) [Литвиненко, 1998а, с. 103–104].

Из других составляющих материального комплекса бабинской культуры с катакомбными прототипами связывают некоторые типы медно-бронзовых орудий, кремневых наконечников стрел и украшений³.

Ножи. В ограниченном и «нестандартном» металлокомплексе бабинской культуры [Черных, 1995] они являются наиболее «массовой» категорией изделий, хотя во всем ареале их известно лишь 16–18 экземпляров. С позднекатакомбными образцами можно сравнительно надежно соотнести лишь единичные экземпляры⁴. Три из них (рис. 2, 7–9) представляют вариации пламевидных ножей (тип 2, по С.Н. Братченко; группа 2, по С.Н. Корневскому). Один нож (рис. 2, 4) находит близкую аналогию в инвентаре позднекатакомбного комплекса на Нижнем Маныче [Парусимов, 1997, с. 31, рис. 31, 4]. Известный нож из Кривого Рога (ЮГОК, Острая Могила, погребение 1 – рис. 2, 5) сочетает в себе элементы двух рассмотренных выше типов и, на наш взгляд, должен сопоставляться с катакомбными, а не с абашевскими или раннесрубными изделиями, как это иногда делают. Остальные ножи из бабинских комплексов демонстрируют значительную вариабельность форм и не могут быть с уверенностью связаны с теми или иными традициями, за исключением экземпляров с отдельными «абашоидными» проявлениями. Впрочем, отдельные из них, по сохранившимся следам дерева, фиксируют характерное для ямно-катакомбных ножей аркообразное оформление перехода от рукояти к клинку (рис. 2, 3–6).

Тесло. Единственное тесло-топор (рис. 2, 2) находит аналогии в материалах поздней северокавказской культуры [Черных, 1995, с. 16].

Как справедливо заметил С.Н. Братченко [1995а, с. 81–87], подавляющая часть захоронений с ножами и теслом, а от себя добавим – и другим металлическим инвентарем, сосредоточена в восточном ареале культуры Бабино – между Северским Донцом, Днепром и Азовским морем (рис. 2, 1), что поразительным и неслучайным образом совпадает с областью распространения большей части находок металлоемких изделий предшествующих культур энеолита–средней бронзы, в том числе катакомбных.

Наконечники стрел. Типичными для бабинской культуры являются кремневые наконечники катакомбного типа – с выемчатым основанием [Братченко, 1985, с. 454; Литвиненко, 1998б]⁵. Они распространены, хотя и неравномерно, в пределах всего бабинского ареала. Отметим лишь, что в составе колчаных наборов, известных также в катакомбную эпоху, выемчатые наконечники встречены исключительно в памятниках восточной, надазовской, группы (рис. 1, 2).

Бусы. Из бытовавших в бабинской культуре украшений с предшествующей катакомбной средой можно связать только некоторые типы пастовых (фаянсовых) бус и ожерелья из клыков хищника. Среди бус особого внимания заслуживают кавказские разновидности с выступами [Братченко, 1976, с. 147–148]. Во-первых, это длинные цилиндрические пронизи с четырьмя рядами бородавчатых налепов. Аналогичные типы, кроме кавказских находок, происходят из позднеднепецких комплексов (бахмутских или «с елочной орнаментацией керамики») Правобережья Северского Донца [Братченко, 1976, с. 147, рис. 72, II, 3; Смирнов, 1996, с. 91, 93, 97, рис. 41, 9, 28; 47, 31]. Во-вторых, короткие цилиндрические бусины с тремя выступами – трехрожковые, или трехбордавчатые, в зависимости от размеров и формы выступов. В катакомбных памятниках Украины такие бусы не встречаются, что может свидетельствовать и в пользу их более поздней хронологии. Характерны они для финальнокатакомбного или даже посткатакомбного времени Калмыкии, Ставрополя, Северного Кавказа и Закавказья. В-третьих, короткие цилиндрические бусины с двумя длинными выступами-рожками. В качестве возможных прототипов двухрожковых бус можно было бы считать указанные С.Н. Братченко [Братченко, 1976, с. 152; Братченко, Шпапошникова, 1985, с. 412, 418, рис. 110, 16] аналогии из позднекатакомбных погребений Нижнего Поднепровья. Сейчас известна уже серия подобных находок из указанного региона (пока не опубликованных), хотя все они несколько отличаются от бабинских. Вместе с тем, прямые аналогии двухрожковым бусам встречены в памятниках юго-восточной периферии катакомбного мира в комплексах с позднейшими разновидностями реповидных сосудов – в Прикубанье (Пластуновский I, курган 1, погребение 22) и Ставрополье (Веселая Роща, курган 26, погребение 10), а также в склеповом захоронении из Ингушетии (Эгикал). Все перечисленные типы диагностичных бус сосредоточены опять-таки в восточных памятниках бабинского круга, выходя единичными пунктами на Правобережье Днепра (рис. 1, 3).

Остальные элементы обрядности и категории материальной культуры или совсем не находят аналогий, или имеют более общее сходство с катакомбными, а потому специально не анализируются.

Таким образом, рассмотренный выше блок параллелей, наряду с некоторыми новациями, характеризует бабинскую культуру именно в восточном ее варианте, надазовском. А какова в таком случае ситуация в других областях бабинского ареала?

Надчерноморская степная зона демонстрирует совершенно иной вариант или даже культуру, входящую в круг Бабино на основании лишь отдельных связующих признаков погребальной обрядности и материальной

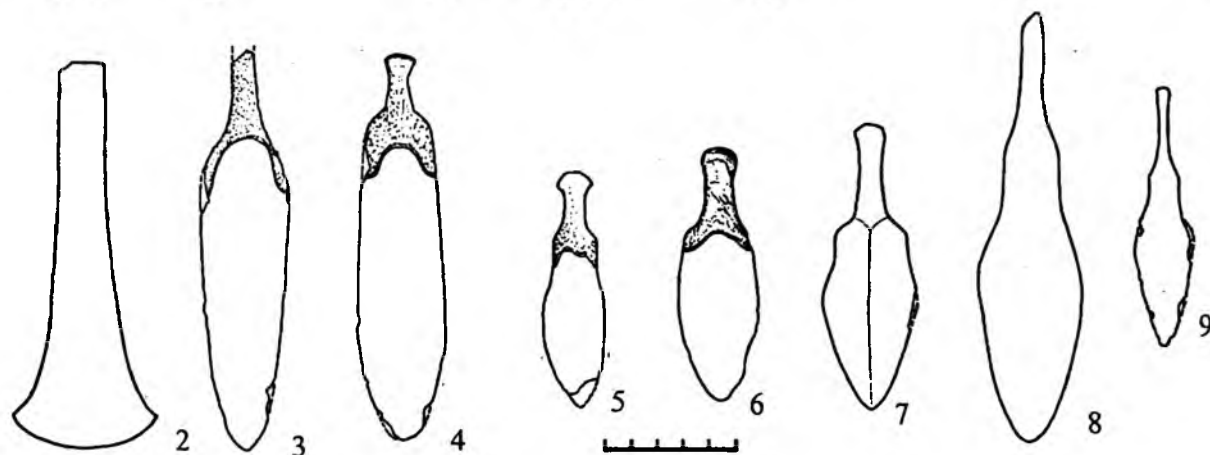


Рис. 2. Ножи и тесло из памятников бабинской культуры:

1 – карта распространения ножей и тесел; 2 – Морокино, к. 8, п. 1; 3 – Ново-Андреевка, к. 3, п. 5; 4 – Соколовский, к. 1, п. 2; 5 – Кривой Рог (ЮГОК), к. 1, п. 1; 6 – Николаевка 89, к. 1, п. 8; 7 – Рыбинское, к. 9, п. 7; 8 – Раздольное, поселение; 9 – Николаевка 71, к. 5, п. 2

культуры, к которым относятся: преобладание левобочных ингумаций, частая безынвентарность захоронений, редкость в них глиняной посуды, общие типы пряжек и др. В целом же памятники Нижнего Поднепровья, Понингуля, Побужья и Крыма (Надчерноморья) характеризуются особым устойчивым набором признаков, определяющих их своеобразие на фоне посткатакомбных образований. Разумеется, от катакомбного мира их отделяет комплекс новаций и инноваций. Однако для понимания «механизмов» культурогенеза, кроме изменений, необходимо знать, что и в какой степени сохранилось от предшествующей, катакомбной, эпохи.

Сразу же подчеркнем, что черты восточных катакомбных культур в бабинских памятниках степного Над-

черноморья почти не прослеживаются. И это логично: ведь на данной территории предшествующий горизонт представлен древностями своеобразной ингульской или днепро-азовской катакомбной культуры. Что сохранилось от нее в местном варианте культуры Бабино? Говоря о такого рода наследии, авторы обычно указывают на несколько его проявлений, к которым добавим и выявленные нашими наблюдениями [Литвиненко, 2000, с. 70]. Во-первых, это неразвитость курганного строительства (т. е. возведения собственных насыпей и досыпок), граничащая с полным его отсутствием. Во-вторых, сохранение традиции радиальной планировки впускных захоронений в кургане [Саенко 1990, с. 62; Отрощенко, 2001, с. 86, 95–96]. В-третьих, трансформация

катакомбных погребальных сооружений в подбойные, удельный вес которых, по разным данным и районам, колеблется от 16 до 64 % [Клюшинцев, 1980, с. 63; 1988, с. 227; Отрошенко, 1981, с. 65–67; 2001, с. 86, 93, 95–96; Елисеев, 1990, с. 25; Саенко, 1990, с. 62]. В-четвертых, это южная ориентировка умерших – до 44 % [Литвиненко, 1999, с. 158–159]. Показательно, что картографирование вышеперечисленных признаков (рис. 1, 5, 6) демонстрирует почти полное взаимоналожение их ареалов, в свою очередь совпадающих с областью ингульской (днепро-азовской) катакомбной культуры [Литвиненко, 1999, с. 157; Отрошенко, 2001, с. 93], и таким образом подтверждает сделанные выводы.

Примечательно, что преемственность между катакомбными и бабинскими памятниками в Днепро-Бугском регионе проявляется в совершенно ином наборе признаков, нежели мы наблюдали в восточной (Днепро-Донской) области. Создается впечатление, что здесь даже имел место другой «механизм» культурогенеза [Литвиненко, 2000, с. 70]. В пользу данного предположения свидетельствует и тот факт, что возникшая в результате этого процесса посткатакомбная (постингульская) культура Надчерноморья выглядит значительно менее ярко по сравнению со своим аналогом из Надазовья. Во-первых, эта культура не отвечает такому ведущему признаку новой эпохи, как возрождение курганного строительства, маркирующему все культуры переходного периода от средней к поздней бронзе, от синташтинской и доно-волжской абашевской культуры до бабинской в ее восточном варианте [Отрошенко, 2001, с. 77, 95]. Во-вторых, в ней, как это ни удивительно, вообще трудно найти элитные захоронения, во всяком случае признаки социального ранжирования выступают невыразительно⁶.

Возможно, для объяснения такой ситуации следует учесть некоторые дополнительные факты. Дело в том, что охарактеризованные выше бабинские памятники степного Надчерноморья и Крыма непосредственно не сменяют ингульские катакомбные. Между ними лежит зафиксированный стратиграфически пласт переходных катакомбно-бабинских комплексов (в подбоях-катакомбах, со скрюченным, часто левобочным и спиной ко входу, положением умершего [Пустовалов, 1979; Нечитайло, 1984, с. 112–113; Тоцев, 1990, с. 126; 1996, с. 80]), заполняющих «нишу между катакомбами ингульской культуры и древнейшими подбоями КМК» [Отрошенко, 2001, с. 93]. Именно эти переходные памятники демонстрируют ломку ингульских культурных традиций, приобретая окраску новой эпохи. Примечательно, что среди них имеется группа погребений, характеризующихся основным положением в кургане и ориентацией в западный сектор [Отрошенко, 2001, с. 94], т. е. демонстрирующих отдельные черты классических раннебабинских памятников Над-

азовья. Учитывая сосредоточенность этих памятников в Нижнеднепровском Левобережье, являвшемся контактной зоной с восточной группой бабинской культуры, логично видеть в них результат воздействия последней на позднекатакомбный ингульский субстрат. Синхронность же раннебабинских памятников Надазовья с переходными комплексами Надчерноморья определяется их сходным стратиграфическим положением в курганах обоих регионов – выше ингульских катакомбных и ниже поздних бабинских, в том числе подбойных.

Наряду с описанными выше и массово представленными памятниками, в Нижнем Поднепровье и степном Крыму выделяется своеобразная и немногочисленная группа «захоронений с вытянутыми костяками», обособленных в Крыму в *евпаторийскую группу* [Тоцев, 1990, с. 126; 1993; 1996, с. 80; 1998; Отрошенко, 1995, с. 194–195; 2001, с. 107–108]. Относительно ранняя хронологическая позиция этих памятников среди посткатакомбных как будто подтверждается стратиграфическими наблюдениями. Намечено даже их внутреннее деление: более ранние – с ориентацией умерших в западном секторе, поздние – в восточном [Отрошенко, 2001, с. 107–108]. В такой последовательности есть явные параллели с внутренней хронологией классических бабинских памятников восточных областей. Единственным пока противоречием для подобного хронологического сопоставления является несоответствие типов пряжек в обеих группах ранних памятников.

Г.Н. Тоцев [1993; и др.] связывает происхождение евпаторийской группы с ингульской катакомбной культурой, обращая при этом внимание на сходное положение умерших и встреченные в ряде случаев подбойные могильные сооружения. В.В. Отрошенко [1995, с. 194–195] предложил искать ее истоки не в местной среде, а далеко на северо-востоке – в бассейне лесостепного Дона, среди памятников доно-волжской абашевской культуры. Таким образом, сложение памятников евпаторийской группы Крыма и подобных им в Нижнем и Среднем Поднепровье он связывает с походами воинов-колесничих через территорию нынешней Украины на юг Балкан. Однако «поразительная бедность» подавляющей части подобных захоронений Украины вызвала справедливое сомнение в обоснованности такого вывода [Тоцев, 1998, с. 123]. Кроме того, ранние комплексы доно-волжской абашевской культуры характеризуются ориентировками в восточный сектор, а ранние причерноморские – в западный.

В этой связи обратимся к известному комплексу погребения 2 из кургана Соколовский в верховьях р. Конки [Попандопуло, 1991, с. 68–69, рис. 2]. В нем вытянутое положение умершего сочеталось с набором обрядово-инвентарных признаков классических раннебабинских погребений Надазовья (яма с деревянной рамой, западная

ориентация костяка, три бронзовых ножа, каменный оселок, производственный набор с выпрямителем древков). Не указывает ли данный комплекс и ему подобные, например с Бабиной Горы [Березанская, 1986, с. 18–19, рис. 5, 4], реальный вектор поиска исходного культурного импульса, приведшего к трансформации ингульской катакомбной культуры в памятники типа евпаторийской группы в Крыму и аналогичные им в Поднепровье? Мы склонны рассматривать это взаимодействие именно в направлении с востока на запад, а не наоборот, иначе это фиксировалось бы в археологических материалах.

Противоположное воздействие, возможно, имело место несколько ранее, на этапе сложения бабинской культуры в Донецко-Азово-Днепровской области. Проявляется оно, главным образом, в керамическом комплексе раннебабинских погребений, и, что примечательно, именно в женских. Возможно, это объясняется тем, что для женской обрядовой группы ранних захоронений керамическая посуда является более характерной. Речь идет о сравнительно небольшой, однако выразительной серии посуды, представленной плоско- и округлодонными мисками-чашами с характерным орнаментом, и о сосудах, снабженных одной или двумя парами «ушек» с проколами, напоминающими ингульские амфорки (рис. 3). Наличие

комплексов с такой посудой вызвало к жизни суждение об особой «местной линии развития КМК от ингульской катакомбной культуры, параллельной ориентированным на запад погребениям с кольцами-пряжками в деревянных рамах» [Отрощенко, 2001, с. 91, 95]. Не слишком ли много «потомков» оставила после себя ингульская катакомбная культура: группа скорченных погребений в подбоях, евпаторийская группа с аналогичными ей «вытянутыми захоронениями» Поднепровья и какая-то местная группа постингульского населения Северного Приазовья? Все же следует внести ясность: подобная ингульской посуда встречена в ареале и комплексах именно восточной, надазовской, группы культуры Бабино, в том числе в Восточном Надазовье, на Северском Донце и даже в лесостепном Левобережном Поднепровье. Определяя причины ее появления там, следует иметь в виду, что в упомянутых регионах ингульский компонент в той или иной степени был представлен еще в позднекатакомбное время [Санжаров, 1991а; 1999] и потому мог явиться одной из составляющих в сложении бабинской культуры Донецко-Азово-Днепровской области.

Для других регионов распространения памятников бабинского культурного круга (Среднее Поднепровье, Правобережная лесостепь и Днестровско-Прутский бас-

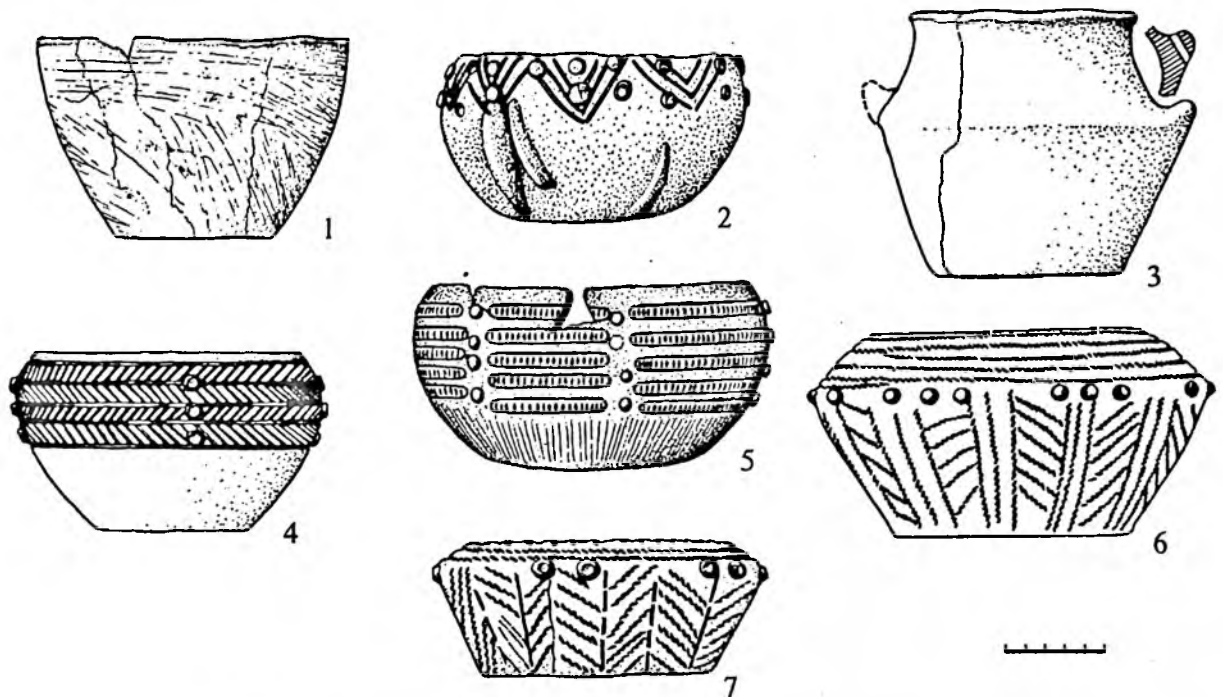


Рис. 3. Керамика позднекатакомбного типа из ранних погребений бабинской культуры:

1 – Молодогвардейск, к. 2, п. 6; 2 – Полковое, к. 1, п. 8; 3 – Шмальки, к. 2, п. 25; 4 – Подгородное V, к. 7, п. 2; 5 – Белики, к. 1, п. 3; 6 – Губиниха II, к. 3, п. 10; 7 – Компанийцы, п. 2616

сейн) исследователи не отмечают сколько-нибудь заметной связи с катакомбной культурой [Березанская, 1986, с. 22–23; Дергачев, 1986, с. 140; Тошев, 1987, с. 119–122], если не считать наличия в первом из них серии «вытянутых захоронений», о которых говорилось выше. Очевидно, что для этих областей (и в каждом случае отдельно) следует искать иные слагаемые культурного субстрата⁷ и механизмы культурогенеза, не забывая при этом тот общий знаменатель, который объединяет все эти памятники в рамках единого археологического явления.

¹ Заметим, что о возрождении в погребальном обряде и идеологии культуры Бабино позднейших традиций пишет и С.Н. Братченко [1995, с. 23; 1995а, с. 87], что не противоречит его представлениям о позднекатакомбных древностях как среде, в которой это возрождение происходило.

² Впрочем, для раннего горизонта классических бабинских захоронений «адоративная» позиция не является характерной, там преобладают «катакомбные» позы: руки к коленям или тазу, а также перекрестное положение рук. «Адорация» получает распространение на втором и третьем (позднем) этапах бабинской культуры, что можно связывать уже и со «срубным» влиянием [Ковалева, 1981, с. 19–20].

³ Здесь учитывались только надежно атрибутируемые находки, происходящие почти исключительно из бабинских погребений. Материалы известных кладов в связи с проблематичностью их культурной идентификации, не привлекались.

⁴ В отличие от приводившихся ранее данных [Братченко, 1976, с. 150, рис. 72, IV, 12, 13; 1977, с. 24–25, рис. 1, 13, 14; 1985, с. 454, рис. 123, 18; Корневский, 1978, с. 38, рис. 4, 26] комплексы погребений с ножами из Среднего Подонья (Ильмень 8, погребение 4; Нижняя Ведуга 3, погребение 2) мы относим не к бабинской культуре, а среднедонской катакомбной, а потому не учитываем.

⁵ Другие типы наконечников, в том числе черенковые, сравнительно редки. География и археологический контекст этих находок позволяют считать их в большинстве инокультурными [Литвиненко, 1998б, с. 49–51].

⁶ Приводимые в качестве поздних социально значимых погребений комплексы из Балабино (курган 1, погребение 2) и Ку-

конештий Веж (курган 9, погребение 28) [Отрощенко, 2001, с. 110] по географическим и обрядовым показателям относятся не к рассматриваемой надчерноморской группе культуры Бабино, а, соответственно, к восточной (надазовской) и западной (днестровско-прутской). Предпринятая же для Надчерноморья попытка выделения элитных комплексов в деревянных рамах и каменных ящиках на фоне рядовых подбойных захоронений имеет один существенный недостаток – одновременность обеих групп погребений не может быть подтверждена привлекаемыми планиграфическими наблюдениями [Отрощенко, 2001, с. 98–99]. В то же время, при всем своем дефиците, имеющиеся случаи стратиграфии [Мельник, 1988, с. 214], которые мы не вправе игнорировать под предлогом «опасности их абсолютизации» [Отрощенко, 2001, с. 89, 93, 109], фиксируют хронологический приоритет каменных и деревянных ящиков с западной ориентацией умерших в сопровождении пряжек-колец по отношению к захоронениям в подбоях с овальными двудырчатыми пряжками. Возможно, в качестве элитных можно считать комплексы в подбоях и овальных ямах с деревянными и каркасно-глинобитными рамами, названные «правобережными репликами на элитные погребения КМК Восточной Украины» [Клюшинцев, 1988; Отрощенко, 2001, с. 97]. Однако относить их к переходному времени, синхронизируя с ранними памятниками Левобережной Украины, нет никаких оснований, учитывая поздний тип найденных в них пряжек, а главное потому, что подобные захоронения (в деревянных рамах с восточной ориентацией и соответствующими пряжками) известны на восточных территориях в поздних стратиграфических контекстах: Каменское I, курган 1, погребение 13; Прядовка IV, курган 1, погребение 6; Пролетарское ХХХ, курган 6, погребение 2 (раскопки ДГУ); Шнурки, курган 3, погребение 2 (раскопки ДонГУ).

⁷ В этой связи особого внимания заслуживает сопоставление бабинских памятников, и не только правобережной лесостепи, с древностями постшнурового горизонта Центральной и Восточной Европы. Судя по имеющимся параллелям в погребальном обряде и материальной культуре, особенно в комплексе украшений из металла и пряжках, проявляющимся главным образом в ранних бабинских памятниках восточной группы, ошутимую роль в сложении этих последних, кроме катакомбного, сыграл также постшнуровый мир [Братченко, 2001, с. 47, 49; Литвиненко, 2001, с. 168].

Д.А. МАЧИНСКИЙ

НОВОЕ О ДРЕВНЕЙШЕМ САКРАЛЬНОМ ПУТИ ЕВРАЗИИ, О ВЗАИМОСВЯЗИ АФНАСЬЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СТЕЛ С «ТРЕХГЛАЗЫМИ ЛИКАМИ»

Геродот, рассказывая о Скифии, называет не менее четырех «священных путей». Во-первых, некие «священные пути» подразумеваются в сюжете о местности Экзампей («Святые пути» в переводе Геродота) между Ю. Бугом и Днепром, где хранится огромный медный котел, принесенный царем Ариантом в дар святилищу, к которому и вели «святые пути»; второй путь, по Геро-

доту, ведет от низовьев Днепра в Юго-Западное Приуралье, где живет священный народ безволосых аргипеев (которых позднейшие авторы уподобляют блаженным гиперборейцам).

Третий священный путь пролегает от гипербореев (живущих, по данным Дамаста, Плиния и др., «выше» гор Рилеев, т. е. Алтая) через земли аримаспов, исседо-

нов, скифов к эллинам на священный Делос. По этому пути во времена Геродота от народа к народу передавались священные дары (завернутые в пшеничную солому «начатки плодов» или «пучки колосьев»). Еще раньше примерно по этому же пути дары, посвящаемые деве Артемиде, приносили на Делос гиперборейские девы, сопровождаемые мужами. Первые девы прибыли на Делос одновременно с богами – Латоной, Артемидой и Аполлоном. Эти посольства, известные с незапамятных времен, прекратились не позднее начала VII в. до н. э. из-за насилия, которому подверглись девы, – видимо, в связи с наступлением периода первых миграций на запад и военных столкновений кочевых народов [Мачинский, 1997а; 1997б].

Этот священный путь дев и даров, достигая Причерноморья, раздваивался. Одна его ветвь (по Геродоту) шла через Северо-Западное Причерноморье и Балканский полуостров в Грецию, а оттуда – на Делос. Другая ветвь (по Павсанию) вела от скифов в Синопу, а оттуда – на Делос. Несомненно, что путь в Синопу и далее совершался морем из Северо-Восточного Причерноморья, т. е. от Боспора Киммерийского и Северо-Западного Предкавказья.

Четвертый священный путь – это путь Аристея из Проконнеса, автора поэмы «Аримаспея», адепта культа Аполлона, который пытался достичь земель, куда Аполлон ежегодно летал на лебедях, – земель аримаспов и гипербореев, но смог достичь лишь исседонов. Видимо, к его времени (VII в. до н. э.) священный путь был уже нарушен враждой аримаспов и исседонов, и по нему могли передаваться лишь святые дары.

Именно Аристей первый фиксирует характерное для кочевого мира миграционное движение этносов на запад – аримаспы постоянно вытесняют исседонов, исседоны – скифов. Из этого следует, что аримаспы, живущие во времена Аристея и Геродота западнее гор Алтая-Рипеев (Дамаст), ранее могли жить в востоку от них. Сами аримаспы описаны и как богатые воинственные скотоводы, и как мифические персонажи, ведущие вечную борьбу за священное золото с грифами и имеющие «глаз на прекрасном челе». В буквальном переводе текста Аристея это «глаз на прекрасном междуглазии», что не исключает двух других обычных глаз – однако более поздние авторы уже трактуют аримаспов как «одноглазых».

Эсхил, писавший ранее Геродота, в трагедии «Прикованный Прометей» отправляет рогатую деву Ио по пути гиперборейских дев, но в обратном направлении – от Боспора Киммерийского к аримаспам и грифам. Гипербореев он не упоминает. Геродот и ряд других авторов называют народ, посылающий дев, мужей и дары, гиперборейцами. Однако младший современник Геродота Антимах (вторая половина V в. до н. э.) свидетельствует, что

«гиперборей – это аримаспы»; Каллимах (310–235 гг. до н. э.), автор второго по времени (после Геродота) сохранившегося свидетельства о посольствах дев, утверждает, что они прибывают на Делос «от белокурых аримаспов». Ференик сообщает, что гиперборейцы «заселили Борееву землю царя Аримаспа».

В итоге создается устойчивая связка образов: священные девы и сопровождающие их мужи от священных гипербореев и аримаспов с «глазом на прекрасном челе», живущих или живших за Алтаем-Рипеями, направляющиеся с древности и до VII в. до н. э. к деве Артемиде, – рогатая дева Ио – плешивые аргиппеи, подобные гиперборейцам. При всей кажущейся фантастичности этого комплекса образов он находит поразительное соответствие в фиксируемой историей и археологией реальности. Именно за Алтаем, в Хакасско-Минусинских котловинах, давно обнаружены высокие каменные стелы, изображающие в большинстве своем сакрализованных дев (изредка – мужей), безволосых и зачастую рогатых, характернейшим признаком которых является третий глаз, расположенный в середине чела.

Эти стелы, воздвигнутые в большинстве своем никак не позднее первой половины II тыс. до н. э., стояли (за редкими исключениями) на своих местах до VIII в. до н. э. и лишь позднее начали интенсивно использоваться при создании погребальных оград. Их почитание местным населением, не раз менявшим свой облик, культуру и язык, продолжалось вплоть до XX в.

То, что подавляющее большинство этих стел изображает именно дев, знали местные хакасы, поскольку большинство изваяний, имеющих собственные имена, назывались у них девами. Со временем к этому же убеждению пришел и М.П. Грязнов [1950, с. 155], признавший подобные изображения образами девы-матери.

Позднее на основании подробного анализа мы пришли к выводу, что подавляющее большинство ранних стел с изображениями на узкой стороне представляют образ сакрализованной девы, хотя изредка среди них встречаются и изображения «мужей», а третий глаз изображает «чакру аджну», энергетический орган духовной концентрации и духовного ясновидения [Мачинский, 1995; 1997а; 1997б].

Повествуя об этих «святых путях», Геродот и другие античные авторы ни разу не упоминали о торговле. Нет у Геродота и свидетельств об особых торговых путях в Скифии. Полагаем, что все это отражает существовавшую реальность. Особое значение придавалось вслушиванию в то, что предназначено богами и судьбой, попыткам завоевать их благосклонность, воздействовать на них в свою пользу, обрести благодать. Все это с наибольшим успехом реализовалось в особых «святых местах», где контакт с высшими силами был наиболее

действен (Делос, Дельфы, Стоунхендж, Хакасско-Минусинские котловины). Между этими «энергетическими центрами» устанавливались каналы связи – «святые пути», что создавало разветвленную систему обмена разноприродной благодатью. Не вызывает сомнения, что по «святым путям» осуществлялись и разнообразные межэтнические (контакты с родственными этносами, паломничества на прародину, к могилам предков и т. д.) и дипломатические (заклучение союзов и т. д.) связи (на что есть намеки у античных авторов). Несомненно, на этих путях происходила и простейшая торговля (обмен дарами, провоз сакрализованных предметов или материалов – золота, нефрита и т. д., а также просто товаров, пользующихся спросом в дальних местах, попутный обмен всего этого на местные продукты и изделия). Но все это перекрывалось представлением о «святых путях», о действиях, совершаемых под покровительством высших сил с целью обретения благодати.

Но все же сакральный путь длиной свыше 5000 км между Хакасско-Минусинскими котловинами и Делосом представляется уникальным. Скорее всего, первоначальной целью паломничеств был не Делос, а некое святилище в западной части Малой Азии. А для определения времени возникновения этого пути необходимо установить время сложения и культурной принадлежности той традиции создания упомянутых стел, которая так хорошо коррелируется с античной традицией сведений о гиперборейских девах и аримаспах, имеющих «глаз на прекарном челе».

Как известно, М.П. Грязнов последовательно изменял свои взгляды на время изготовления этих стел в сторону их удревнения. Сначала он связывал их с карасукской культурой, потом с андроновской, а позднее, под влиянием своих учеников, с окуневской. В его опубликованной посмертно книге сквозит некоторое недоумение по поводу того, что каменные антропоморфные стелы ямной культуры, столь родственной афанасьевской, не находят никакого соответствия в материалах последней [Грязнов, 1999, с. 53–54].

Представляется, что собранных Я.А. Шером [1980; 1994] и нами [Мачинский, 1995; 1997а; 1997б] фактов вполне достаточно, чтобы признать, что наиболее сложные по системе изображений стелы с яйцевидными и, как правило, трехглазыми ликами на узкой грани являются древнейшими и были созданы носителями афанасьевской культуры не позднее III тыс. до н. э. Однако новые материалы и наблюдения заставляют вернуться к этой теме.

Непросто найти конкретные точки соприкосновения между стелами, стоявшими первично в стороне от могильников и поселений, и сооружениями и артефактами последних. Общность улавливается в сходстве стиля

изображений на стелах и стиля изделий и сооружений афанасьевской культуры. В обоих случаях основой служат формы и абрисы яйца и круга. Удлиненно-яйцевидный абрис большинства ранних ликов повторяет такой же абрис ведущей формы сосудов афанасьевской культуры, а «знак чакры» (солярный знак) на стелах, в основе круг (или 2–3 концентрических круга) с отмеченным центром, совпадает с кругом (или двумя концентрическими кругами) погребальных оград, центром которых является основное погребение. Почти полный круг или овал представляют в профиль шаровидные и эллипсоидные сосуды афанасьевской культуры. Наиболее сакрализованная посуда афанасьевской культуры, курильницы, суть которых – воскурения для богов, представляют при взгляде сверху правильный круг. Даже подчеркнутая четырьмя «уголками» четырехсторонность большинства «знаков чакры» находит соответствие в четырех каменных выступах вокруг некоторых погребальных оград афанасьевской культуры [Подольский, 1997, с. 113–114, рис. 1] – в четырех ножках ряда курильниц.

В целом, то общее, что объединяет ранние изображения на стелах, изделия и сооружения афанасьевской культуры, можно охарактеризовать как стиль, где доминируют яйцевидно-округлые формы и абрисы при подчиненном присутствии мотива четырехсторонности.

Перейдем к конкретным сопоставлениям. Надо отказать от представления, что афанасьевской культуре даже в пределах комплекса могильных находок несвойственны антропоморфные и зооморфные изображения. Так, в погребениях могильника Кэрмуцци (Синьцзян), определенных как афанасьевские по обряду, керамике и антропологическому типу, обнаружены деревянное изображение женщины (девы?) и каменный сосуд с ручкой в виде головы животного [Культура..., 1985]. Женское изображение с выраженным овалом головы, маленькими грудями и отсутствием даже намека на половой орган напоминает изображения каменных дев из Хакасско-Минусинских котловин, с их яйцевидными или овальными ликами, маленькими округлыми девичьими грудями и полным игнорированием органа воспроизводства.

Наконец, наиболее древние изображения маралов среди петроглифов святилища на р. Кучерла у подножия горы Белухи на Алтае В.И. Молодин уверенно связывает с афанасьевской культурой, к которой относятся древнейшие культурные отложения святилища [Молодин, 1996]. Чрезвычайно важно, что именно афанасьевцам принадлежит честь первичного «сакрального освоения» подножий двух высочайших вечноснежных вершин Алтая, претендующих на роль прообраза «мировой горы» для населения окружающих степей, лесостепей и полупустынь, – имеется в виду упомянутое святилище у Белу-

хи и афанасьевский могильник Бертек 33 на высокогорном плато Укок у подножья Таван-Богдо-Улла [Деревяно, Молодин, Савинов, 1994]. И именно в одном из женских погребений этого могильника был обнаружен костяной перстень в виде правильного круга с четырьмя округлыми выступами вовне. По своей форме он аналогичен «знаку чакры» на каменных стелах Хакасско-Минусинских котловин (рисунок, 6, 7).

«Высотная устремленность» алтайских «афанасьевцев» находит соответствие в аналогичной, но выраженной иначе устремленности изображений на стелах Хакасско-Минусинских котловин: имеются в виду изгибающиеся линии или прямые полосы («каналы восхождения»), поднимающиеся высоко над ликами; внутри последних иногда изображаются все упрощающиеся «восходящие лики». Казалось бы, именно этому изобразительному мотиву, отражающему обычно эзотерический опыт экстатических состояний, труднее всего найти аналогию в «бытовом инвентаре» могильников. Однако материалы некрополя афанасьевской культуры у с. Тесь на р. Тубе дают такие аналогии. В погребении 2 кургана 15 обнаружена «сломанная грабителями костяная кинжаловидная подвеска с резным орнаментом» [Киселев, 1929; 1949] в виде трех горизонтальных «перекладин» из нескольких линий, пространство между которыми заполняют три косых креста (реконструируемая длина 26–27 см). Сужающийся заостренный конец лишен орнамента. По краям идут подтреугольные зубчики (рисунок, 2). В целом орнамент подвески поразительно напоминает псевдоорнаментальную разработку «канала восхождения» у одного из самых впечатляющих изваяний Хакасско-Минусинских котловин – грандиозной (высота 4,68 м) гранитной стелы с берегов р. Белый Июс (рисунок, 1). Отличие данного изображения состоит лишь в усложненной разработке композиции: в образованных перекрещивающимися линиями треугольниках точками намечены геометризованные «восходящие лики», а вместо треугольных рубчиков края полосы украшены треугольниками в обрамлении «усиков». Наиболее близка к орнаменту подвески разработка «канала восхождения» у другого изваяния, также с р. Белый Июс, именуемого «дева-камень» (рисунок, 3) – ниже лика рельефно обозначены маленькие груди. По-видимому, в обоих случаях внутри «канала восхождения» присутствует мотив «лестницы восхождения» из горизонтальных перекладин, усложненный крестообразными перекладинами.

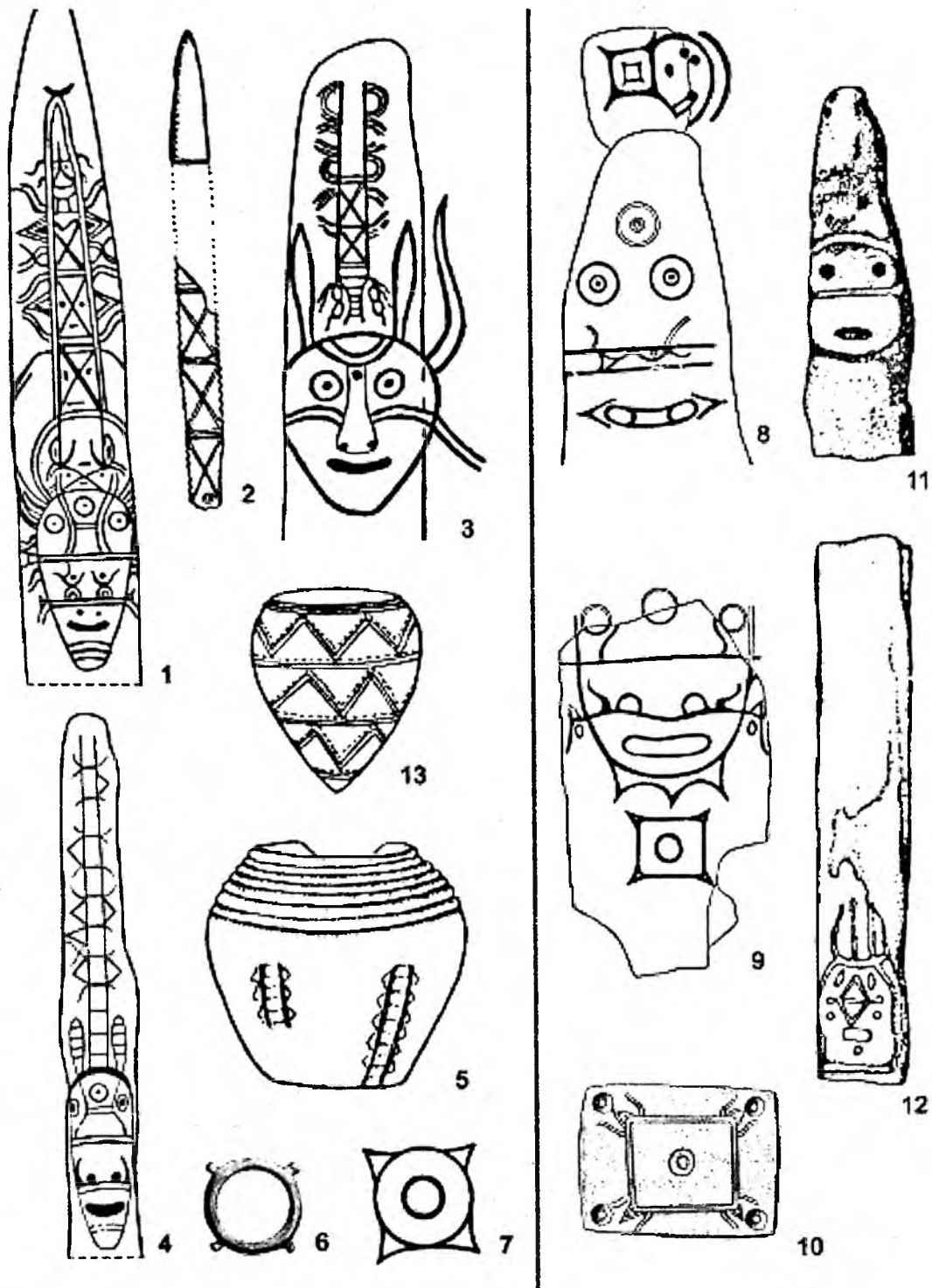
В погребении 2 кургана 14 обнаружен сосуд с уплощенным дном (рисунок, 5), на котором «была обнаружена роспись – пять полос рисунка, нанесенного белой краской, изображающего поставленные вертикально от плеч до дна лесенки с парными боковыми линиями, к которым примыкают снаружи основаниями треугольные гордки» [Киселев, 1949, с. 20, табл. 3]. К настоящему вре-

мени роспись при обычных условиях не прослеживается, но хорошо видна при ультрафиолетовом свете. Этот орнамент рядом элементов напоминает «лестницу восхождения» изваяния с р. Ташебы (рисунок, 4). Данное погребение отличается, несмотря на ограбление, признаками повышенного сакрального статуса погребенного – с ним найдены семь сосудов, среди них два (редкий случай!) – типичные афанасьевские курильницы, окрашенные в ярко-красный цвет. Особое внимание привлекает один яйцевидный сосуд, украшенный необычным для керамики афанасьевской культуры орнаментом – вся его поверхность равномерно разделена двойными горизонтальными линиями на три части, заполненные треугольниками, а внизу выделено округло-заостренное дно, лишенное орнамента (рисунок, 13). Подобная орнаментальная разработка поверхности сосуда воспроизводит типичную, семантически насыщенную разработку ранних трехглазых ликов (в том числе изображенных на рисунке, 1, 4), которые делятся двойными горизонтальными линиями на три главные части, где помещаются сверху вниз, соответственно, сначала три глаза, затем раздутые вдыхающие ноздри и, наконец, изогнутый в улыбке рот, и на четвертую, нижнюю, часть – подбородок, лишенный каких-либо изображений.

Таким образом, в материалах лишь одного могильника у с. Тесь обнаружено три предмета, орнаментация которых, несомненно, воспроизводит самые существенные и содержательные композиционные схемы, входящие в «канон» ранних стел с трехглазыми ликами.

Все изложенное свидетельствует о том, что выделенные нами ранее древнейшие изваяния Хакасско-Минусинских котловин действительно воздвигались «афанасьевцами» и что уникальный сакральный центр возник здесь не позднее III тыс. до н. э.

Традиция афанасьевских изваяний продолжается и после появления в Хакасско-Минусинских котловинах носителей окуневской культуры, однако их стиль, как и стиль культуры в целом, резко меняется. Круглые погребальные ограды афанасьевской культуры сменяются в окуневской культуре прямоугольными, яйцевидно-шаровидный профиль сосудов – подтрапециевидным, а округлый свод черепа – уплощенным, что при деформации придает ему в профиль некоторую угловатость, отраженную и на стеатитовых головках окуневской культуры; точно так же и изображения трехглазых ликов теперь помещаются на широкой стороне обычно прямоугольных стел, да и сами лики становятся подпрямоугольными, утрачивая и продиктованное семантикой разделение лика на 3–4 части по вертикали, и устремленные высоко вверх «линии/полосы восхождения»; улыбка на ликах выражается теперь не мягко изогнутым ртом, а «уголками» по сторонам рта, изображаемого прямыми линиями.



Взаимосвязь изображений афанасьевской и окуневской культур:
 1-7, 13 – «афанасьевская» традиция; 8-12 – «окуневская» традиция

В целом стиль окуневской культуры определяется доминированием подпрямоугольных и угловатых форм и абрисов при подчиненном присутствии мотива круга.

Весьма резкий разрыв с традицией «трехглазых лиц» афанасьевской культуры чувствуется и в древнейших каменных стелах раннего, уйбатского этапа окуневской культуры, выделенного И.П. Лазаретовым [1997]. На них изображены подпрямоугольно-округлые лики, разделенные посередине горизонтальной линией, без «линий восхождения», без «чакр» и зачастую без третьего глаза (рисунок, 11, Уйбат III, курган 1, могила 1). Одна плита с изображением найдена в выбросе между двумя одновременными могилами, раннего и позднего («черновского») этапов. Соответственно, на широкой стороне прямоугольной плиты сохранился фрагмент лика описанного выше типа, а на узкой, в перевернутом положении – более поздний прямоугольно-трапециевидный лик (рисунок, 12), отличающийся от ранних уйбатских некоторой усложненностью, явно вызванной влиянием, которое стали оказывать на религиозное искусство окуневской культуры стоявшие повсеместно в Хакасско-Минусинских котловинах афанасьевские изображения. Однако эта «усложненность» карикатурна. Рот передан точкой, два рога и «линия восхождения» превратились в некий четырехзубый короновидный головной убор, а ромбовидный знак на лбу, пересеченный горизонтальной линией, должен изображать «третий глаз» – «чакру аджну».

Наиболее упорно сохраняли верность форме круга максимально сакральные знаки и артефакты – «знаки чакры» и курильницы, доставшиеся окуневской культуре в наследство от афанасьевской культуры. Но даже правильный круг курильниц (вид сверху) нарушается появлением на них в окуневской культуре внутреннего «кармана». В свое время нами было высказано осторожное предположение, что форма курильниц афанасьевской и окуневской культур могла ассоциироваться у их носителей с формой воспринимаемых чакр [Мачинский, 1997, с. 277]. Лишь позднее автор познакомился с публикацией погребения окуневской культуры в устье р. Аскиза [Липский, 1952]. Найденная там курильница украшена и внутри, и на дне усложненными «знаками чакры» – концентрическими кругами и отходящими от них лучами, а на стенке и поддоне – семью округлыми ямками и семью крестами (что соответствует семи чакрам и семи слоям «энергетического тела», по современным представлениям) [Мачинский, 1997а]. Но главное, что эта роскошная курильница-чакра стояла на темени погребенного, череп которого опирался на каменную плиту и был приподнят, – т. е. курильница стояла именно в той точке свода черепа, где на большинстве афанасьевских и на части окуневских ликов начинается ли-

ния и/или полоса с разными изображениями выхода за пределы головы (тела), иногда дополненная разными изображениями. Поскольку это место (чакра сахасрара или брахма-рандхра) над ликом занято вышеописанными изображениями и места для знака чакры здесь нет, постольку на стелах афанасьевской культуры знак этой чакры помещается обычно на оборотной или боковой стороне стелы, на уровне верхней точки лика или чуть выше. В данном случае это место отмечено курильницей-чакрой.

Погребение в устье р. Аскиза свидетельствует, что курильницы ассоциировались со знаками чакры уже в сознании их создателей. Мы не возражаем против именования знаков чакры и орнамента этой курильницы «солярными», но надо понимать, что здесь имеются в виду, возможно, и «солярные», и, несомненно, иные энергии, восходящие вверх внутри «энергетического тела» неких сакрализованных антропоморфных персонажей.

На стеле у с. Верхний Аскиз, если верна интерпретация автора публикации [Есин, 2000], над ликом «девы» первоначально была изображена «линия восхождения», а «знак чакры сахасрары» был, как обычно, вынесен на боковую грань на том же уровне. Позднее еще один знак этой чакры был помещен над головой девы, перекрыв «линию восхождения». Этот лик явно афанасьевской традиции, хотя имеет и окуневские черты (прямой рот вместо изогнутого и др.). На широкой стороне стелы еще раньше изображен раннеокуневский лик уйбатского этапа, что подтверждает факт сосуществования афанасьевской и окуневской культур в течение некоторого времени. Однако в целом стиль изображений окуневской культуры явно позднее стиля афанасьевской культуры и отличается тенденцией к доминированию прямоугольных фигур и абрисов.

Наряду с традиционными, восходящими к афанасьевской культуре, знаками чакры, где доминирует круг, в окуневской культуре появляются прямоугольные знаки чакры, соответствующие стилистике этой культуры. Яркий образец этого – каменная пряжка с прямоугольным знаком, найденная в погребении позднего этапа окуневской культуры (рисунок, 10). И.П. Лазаретов [1997] приводит ряд аналогий лишь мотиву уголка с фланкирующими «усиками» на уголках знака – этот мотив действительно широко представлен на изображениях и афанасьевской и окуневской культур – но совершенно не замечает прямой аналогии знаку в целом, которым, несомненно, является прямоугольный «знак чакры» под трехглазым ликом из Черновской VIII (рисунок, 9). Этот лик явно ориентируется на афанасьевские образцы, однако абрис его подпрямоуголен, рот не изогнутый в улыбке, а прямой. Дальнейшее нарастание уловленной тенденции заметно в утрачивающем абрис лике и «знаке

чакры» над ним (рисунок, 8), где квадратным становится даже центр чакры, еще сохраняющий в двух вышеописанных случаях форму круга.

В настоящее время трудно определить время существования и стыковки афанасьевской и окуневской культур в Хакасско-Минусинских котловинах. Радиоуглеродные калиброванные даты говорят о существовании афанасьевской культуры с середины IV тыс. до н. э. до начала III тыс. до н. э., а окуневской культуры – начиная с последней трети III тыс. до н. э. [Лазаретов, 1997; Vokovenko, Mit'jaev, 2000]. Если доверять этим датам, то время стыка культур относится примерно к середине III тыс. до н. э. Ряд сакрализованных элементов культуры связывает окуневскую культуру с Северо-Восточным Причерноморьем, с приазовско-предкавказским очагом культурогенеза, особенно с катакомбной культурой.

На уйбатском этапе окуневской культуры появляются погребальные ямы с заплечиками, а затем и катакомбы [Лазаретов, 1997]; курильницы с внутренним «карманом» также сближают обе культуры. Однако наличие четырех ножек и отсутствие «кармана» у некоторых курильниц катакомбной культуры, возникшей в начале III тыс. до н. э., сближает их с курильницами афанасьевской, а не окуневской культу^р.

Исследователи отмечают сходство керамики новоторовской культуры Прикубанья с афанасьевской [Семенов, 1993], близость орнаментации и ряда других признаков курильниц дольменной и катакомбной культуры к курильницам афанасьевской культуры [Ковалев, Резепкин, 1995]. Курильница, формально напоминающая афанасьевскую, происходит из дольмена, который был воздвигнут около середины III тыс. до н. э. [Rézepkin, 2000]. Таким образом, эти переклички, на столь большом расстоянии охватывающие, в первую очередь, сферу сакрального (погребальный обряд и курильницы), заставляют предполагать наличие уже к середине III тыс. до н. э. некоего пути контактов. Поскольку, по никем всерьез не опровергнутому мнению С. В. Киселева, могильник у с. Тесь, в материалах которого обнаружено наибольшее число соприкосновений с традицией создания «трехглазых ликов», относится к позднему этапу афанасьевской культуры, постольку и сложение этой традиции следует относить к концу IV – первой половине III тыс. до н. э.

Итак, чрезвычайно своеобразный сакральный центр возник в Хакасско-Минусинских котловинах примерно к тому же времени, что и поразительный качественный скачок в истории Египта, Двуречья, Эгеиды, особенно заметный в сакральной сфере в XXVIII–XXV вв. до н. э. Именно к этому времени относятся и строительство пирамид, и сооружение знаменитых царских гробниц Ура, и расцвет кикладской культуры с ее женскими идолами и священными «сковородками», и расцвет Трои эпохи «клада Приама».

Осмелимся предположить, что к этому времени относится и возникновение того сакрального пути, который был зафиксирован античной традицией через две тысячи лет, в эпоху другого качественного сдвига, в VIII–V вв. до н. э. При этом есть основания полагать, что уже в середине III тыс. до н. э. этот путь достигал не только Восточного Приазовья и Северо-Западного Предкавказья, но, подхватываясь новыми этнокультурными силами, продолжался до Эгеиды. Именно ко второй четверти III тыс. до н. э. относится и расцвет культуры мореплавателей Киклад, и Трои, которая контролировала узловую точку на морском пути из Средиземноморья в будущую Скифию, и появление в Северо-Западном Предкавказье культуры строителей дольменов, «идеологическая система» которой была, судя по погребальным сооружениям и типам амулетов, заимствована из малоазийско-эгейского региона [Резепкин, 1988; Рысин, 1997].

Таким образом, два пути сакральных и иных связей (предполагавших и передвижение, и оседание в новых местах групп людей, несущих разные религиозные традиции) – один, сухопутный, из Хакасско-Минусинских котловин, другой, преимущественно морской, из Эгеиды – соединялись в области между Нижним Доном и предгорьями западной части Кавказского хребта, образуя единый трансевразийский путь. И самым ярким сакрализованным образом на юго-западной окраине этого пути являются знаменитые каменные кикладские идолы, изображающие, по принятому мнению, женщин. Однако трактовка их юношеских фигур, с широкими плечами и узким тазом, с едва намеченными грудями убеждает в том, что и здесь мы имеем дело с изображениями и культом дев. Таким образом, предположительно выявляемый путь уже в середине III тыс. до н. э. пролегал между центрами, весьма различными по религиозным воззрениям и их воплощению в камне, но все же имеющими важную точку соприкосновения. И в VIII–V вв. до н. э. этот затухающий путь отмечен античной традицией как путь гиперборейских дев к деве Артемиде.

Что касается уникального религиозного феномена конца IV – середины I тыс. до н. э. в Хакасско-Минусинских котловинах на Енисее, то в самых разных письменных традициях имеются сведения о путешествиях и паломничествах в его направлении из Древней Греции, Вавилонии, Ирана, Индии и Китая. В чем суть этого феномена и его притягательности, какова его роль в истории Скифии, России и Евразии – это должно стать предметом комплексного исследования нескольких исследователей из разных сфер познания.

Автор благодарит за консультации Н.А. Боковенко, В.С. Бочкарева, А.Д. Резепкина.

ОБЛОМКИ ПЛИТ – ФРАГМЕНТЫ МИФОВ

(или о точности копирования и возможностях интерпретации окуневского искусства)

Таблица, опубликованная М.П. Грязновым в его классической работе по минусинским каменным изваяниям [Грязнов, 1950, рис. 8] и иллюстрирующая различие одного и того же изваяния (Усть-Есинская Кыс-Таш) в копиях различных исследователей (по Фальку, по Кастрену, по Аспелину), могла бы служить хрестоматийным примером субъективности воспроизведения древних произведений искусства. Этот ряд может быть дополнен, с одной стороны, еще более далеким от оригинала рисунком Д.Г. Мессершмидта, а с другой – фотографией и «прорисью» этого знаменитого изваяния, сделанными М.П. Грязновым [1950, рис. 6, 7]. Именно эта прорисовка, наиболее точно воспроизводящая облик изваяния с изображением рельефного реалистического лица и глубоко вырезанными линиями волос, стала классической и публиковалась в разных изданиях десятки раз. Этот памятник имеет особое значение в сибирской археологии, выступая в роли эталона окуневских изваяний реалистической группы, связующего звена между стелами и женскими изображениями на костяных пластинках, и даже в роли единственного «безусловно окуневского» [Кызласов, 1986, с. 287] изваяния. Кыс-Таш хранится в Минусинском музее, и однажды внимательный взгляд археолога этого музея, блестящего знатока окуневского искусства, Н.В. Леонтьева, позволил открыть нечто принципиально новое на много раз виденном памятнике. Оказалось, что слева от женской фигуры находится шлифованное изображение быка, рога которого сливаются с линиями волос женщины. Кроме того, на обратной стороне изваяния были вырезаны глубокие линии, тоже напоминающие волосы.

Другой пример касается не менее знаменитого памятника, копия которого также переходила из публикации в публикацию, являясь постоянным аргументом в дискуссиях о датировке окуневской культуры, о роли колесного транспорта у окуневцев, о неодновременности самого окуневского искусства и т. д. Речь идет о так называемой «Знаменской стеле», где на плоской грани типичного изваяния с личиной выбита композиция с повозкой и быками, выполненными в разных стилях. Схематичная копия нижней части этого памятника (разбитого в древности) была опубликована Михаилом Петровичем еще в его первой работе с Е.Р. Шнейдером [Грязнов, Шнейдер, 1929], но в 1955 г. он смог изучить все изваяние, хранящееся в Красноярском музее, сделать его точную копию и затем посвятить этому памятнику специаль-

ную статью [Грязнов, 1960]. Но, несмотря на всю тщательность работы, как оказалось позже, и этот памятник таил в себе возможность нового открытия. В 1986 г. я сделала фотографии археологических экспозиций Красноярского музея. На одном из снимков была Знаменская стела, причем удачное косое освещение совершенно неожиданно выявило дополнительные конструктивные детали на колесах повозки, которые прежде публиковались в виде простых окружностей. В 1989 г. появилась возможность снова посетить Красноярский музей и взглянуть на знакомое изваяние более внимательно. Благодаря любезности и помощи сотрудников музея В.И. Привалихина и Н.П. Макарова, мне даже удалось сделать его микалентную копию. Уже в процессе «натирки» стали выявляться интереснейшие, не замеченные никем ранее, детали композиции. Колеса повозки оказались не сплошными, как считалось, а составными. На голове верхнего быка, запряженного в повозку, проявились такие детали, как уши, глаз, линия рта и характерная окуневская петля запряжки. На нижнем из пары так называемых «топчих» быков – глаз, линии раскраски морды и «ожерелье». Кроме того, были выявлены фигуры еще двух быков, но самое главное – сидящий человек внутри повозки! Профильное изображение знаменской повозки само по себе считалось уникальным, но дополненное образом сидящего внутри человека оно приобрело еще большее значение.

Список примеров можно продолжить. Каждый, кому приходилось работать со статуарными памятниками окуневской культуры, хранящимися в Минусинском, Абаканском и других музеях, знает, что не всегда их опубликованные копии, а точнее сказать зарисовки, передают все детали изображения. До сих пор самым полным и наиболее используемым сводом остается публикация Э.Б. Вадецкой [Вадецкая и др., 1980], проделавшей грандиозную работу по сбору полевых, архивных и музейных данных, по описанию и классификации полутора сотен окуневских изваяний и плит. Большинство зарисовок в этом своде были выполнены в 1963–1964 гг. художниками К.Г. Претро и Н.Л. Лейкум под наблюдением археологов Г.А. Максименкова и Н.В. Леонтьева, так как к тому времени «выяснилось, что многие из опубликованных <Грязновым и Шнейдером> изображений зарисованы неточно» [Вадецкая и др., 1980, с. 39].

Теперь, по прошествии еще нескольких десятилетий, за которые усовершенствовались способы копирования петроглифов и расширились наши технологические

возможности, а также появились новые требования к информативности источников, стало очевидным, что и достаточно точные для своего времени копии 60-х гг. все же не могут удовлетворить современного исследователя. Речь идет не только о пропущенных деталях изображения, как, например, лишняя пара «усиков» на личине, «космограмма» и т.п. Особенность многих окуневских памятников состоит в их чрезвычайной насыщенности образами и деталями, в сочетании рельефа и плоскости, в комбинировании разных техник нанесения рисунка, в применении разных масштабов изображений, во взаимоперекрывании рисунков и т. д. Зарисовывая большое изваяние, часто с известного расстояния, художники иногда не замечали изображений, нанесенных в другой технике или более мелких по размеру, или же не могли разобраться в хитросплетениях линий.

Отдельного упоминания заслуживает упорное невнимание к гравированным рисункам. В результате представление об окуневском искусстве складывалось не настолько полным и точным, каким оно могло бы быть. По нашему мнению, многие аспекты яростных дискуссий вокруг феномена окуневского изобразительного комплекса могли быть решены либо утратили бы свою актуальность, если бы его интерпретаторы имели в своем распоряжении корпус максимально точных и детализированных копий. Думается, что успех замечательного «Окуневского сборника», вышедшего в 1997 г. под редакцией Д.Г. Савинова и М.Л. Подольского, и существенный сдвиг в понимании окуневского искусства в последние годы в значительной степени связаны с более тщательным копированием новооткрытых материалов.

Все сказанное касается, конечно, не только изваяний, но и композиций на скалах и могильных плитах. Многие из них, к сожалению, до сих пор не опубликованы, а те, что опубликованы, зачастую тоже несвободны от недостатков. При этом к неточностям копирования может добавляться отсутствие композиционных связей. Не секрет, как много надуманных интерпретаций в литературе по наскальному искусству связано с публикацией вырванных из композиционного контекста сюжетов. Часто бывает, что опубликованный второпях наиболее интересный, с точки зрения автора, фрагмент композиции воспринимается затем другими исследователями как самостоятельный сюжет и начинает кочевать из публикации в публикацию, становясь уже эталоном, отправной точкой для интерпретации других сюжетов. Поэтому задачей исследователя должно быть не только максимально точное воспроизведение деталей изображения, но и максимально полное воспроизведение композиционного контекста. В связи с этим хотелось бы привести пример очень интересного случая, когда композиционный контекст был «разорван» не публикатором,

а намеренно разрушен еще в древности, но его удалось в какой-то мере восстановить.

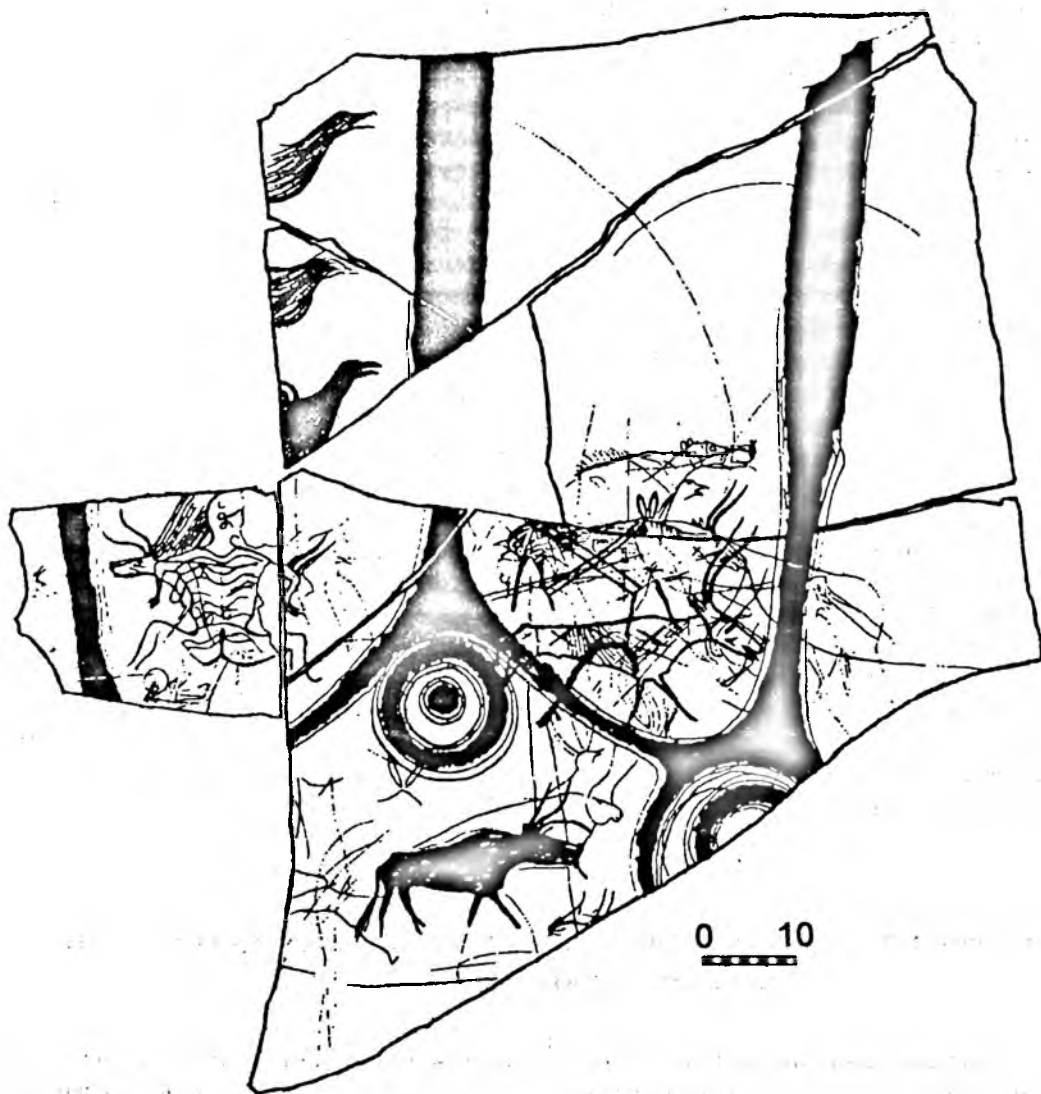
Как известно, в могильнике окуневской культуры Черновая VIII, раскопанном Г.А. Максименковым в 1964 г., было найдено множество плит и плиточек с фрагментами изображений, использованных для сооружения могильных ящиков, перекрытий, оград и просто найденных между могилами. Поразительные по мастерству исполнения и набору персонажей (фантастические звери и личины, быки и коровы, солярные знаки и геометрические фигуры, птицы, собака, лось, роженица и др.) эти рисунки были частично скопированы и опубликованы, будучи всесторонне проанализированными в ряде работ Э.Б. Вадецкой и Н.В. Леонтьева. Условия нахождения плит и фрагментарность рисунков сразу же позволили высказать предположение, «что плиты с изображениями первоначально употреблялись в каких-то других, по-видимому культовых, целях, и лишь позже их использовали как обычный строительный материал» [Леонтьев, 1970, с. 265–266]. Действительно, и этот и многие другие (не только окуневские) могильники Минусинской котловины, где были использованы изваяния и плиты с рисунками в качестве строительного материала, указывают на то, что в окуневское время существовали какие-то святилища, капища, где выставлялись специально созданные плиты со сложными композициями и изваяния. Они выполняли какую-то свою функцию, после чего плиты разбивались. Обломки таких плит использовались окуневцами же для погребальных конструкций, безо всякого внимания к изображенному на них. Изваяния же чаще использовались как строительный материал более поздними племенами, видимо у окуневцев они выполняли более долговременные функции, чем плиты. Б.Н. Пяткин высказал предположение, что плиты с изображенными на них мифологическими сюжетами использовались в каких-то календарных обрядах, после чего следовало намеренное их разбивание, чтобы изображенное потеряло свою сакральную силу.

Таким образом, композиционный контекст рисунков на плитах был разрушаем самими их создателями, они как будто хотели, чтобы никто чужой не узнал их священных мифов. В Черновой VIII обломки одной и той же плиты были найдены в разных могилах и даже в разных курганах, но, к счастью, в пределах одного могильника. Эти плиты (51 шт.) хранятся в Государственном Эрмитаже, составляя коллекцию № 2441. В 1980-х гг., с любезного разрешения М.П. Завитухиной и при всемерном содействии ее и других сотрудников ОИПК, мы с Б.Н. Пяткиным занимались копированием плит этой коллекции. Как уже говорилось, работая ранее с другими памятниками окуневского искусства и сравнивая оригиналы с публикациями, мы часто замечали пропущенные

детали изображений и целые фигуры. Для реконструкции мифологии окуневской культуры, что являлось одним из главных научных интересов Бориса Николаевича, необходимы были более точные копии изобразительных памятников. В этом смысле важность повторного копирования изображений на плитах из эталонного окуневского могильника Черновая VIII нельзя было переоценить.

Однажды, фотографируя копии плит, мы заметили, что некоторые фрагменты легко стыкуются. Первым потрясающим открытием было то, что знаменитая «роженица» [Вадецкая, 1970, рис. 1а] обрела свои правые ногу и руку, при этом обнаружилось рога еще одного быка. Затем удалось подобрать фрагменты с птицами и несколько

плиток с частями огромной личины. Из шести фрагментов удалось собрать только часть некогда большой плиты (рисунок), но даже в таком виде она дает некоторое представление о том, как выглядело это произведение окуневского искусства первоначально. Это была большая, высотой не менее двух метров (по крайней мере, размеры представленного здесь фрагмента 112 x 112 см) плита, на которой доминирующим изображением была выбитая по предварительному гравированному эскизу огромная трехглазая личина с тремя отходящими вверх лучами копьевидной формы. Между элементами личины, в характерной для окуневского наскального искусства технике (сочетание поверхностной и глубокой гравировки плюс шлифовка) и более мелкой по масштабу,



Обломок плиты из могильника Черновая VIII

были нанесены, как мы полагаем, остальные персонажи и сюжеты окуневского мифа. Многократные взаимоперекрывания гравированных сюжетов и выбитой личины должны рассеять последние сомнения у сторонников их разновременности.

Кроме того, что опубликованные ранее в виде отдельных изображений птицы, быки, «роженица» соединились в общей композиции, были обнаружены здесь и совершенно новые образы: голова лошади (?) с такой же петлей в носу, как и у быков; морда лося; возможно, фрагмент изображения повозки (под «роженицей»), а также дополнительные абрисы птиц и быков. Получилось так, что каждый из «поджарых» быков с крестами на туловище и петлей в носу обязательно «неразлучен» с фигурой «тучного» быка, пусть даже и едва намеченной. Эта пара связана и с образом «роженицы» – голова «поджарого» быка с петлей в носу расположена слева от нее, а набросок массивной головы «тучного» быка с рогами – справа. Некоторые незначительные уточнения были сделаны и для самой женской фигуры. Ее знаменитый профиль – на самом деле лишь скол камня, напоминающий типичный окуневский женский профиль (хотя не исключено, что скол образовался именно по вырезанной линии профиля, такие случаи известны в петроглифике). То, что считалось распущенными волосами, может иметь отношение к фигуре птицы (хвост?). К сожалению, не удалось пока найти обломок плиты с изображением других частей птиц. Но несомненно, что птицы выступают здесь не как случайный образ, а в композиционной связи с быками и женщиной. Таким образом, изображение «роженицы» является частью большой, некогда единой композиции (соответственно, персонажем или сюжетом единого мифа), а не самостоятельным изображением на легком обломке плиты, служившим «лишь для магического обряда, связанного с облегчением родов» [Вадецкая, 1970, с. 264]. То же можно сказать и о других «фрагментах мифов». Пока еще рано реконструировать весь окуневский миф, некогда запечатленный на этой плите. Представленная здесь прорисовка ни в коей мере не претендует быть окончательной. Она была сделана с микалентных копий, и даже на них осталось еще много неясных линий, которые

вполне могут быть лучше идентифицированы при тщательной работе с оригиналом. Кроме того, не исключено, что подберутся и другие фрагменты. Однако я надеюсь, что приведенные мною примеры показали, сколько открытий ждет исследователя первобытного искусства при вдумчивой работе даже с давно известными памятниками, а уточненные копии дадут новую пищу для размышлений интерпретаторам окуневского изобразительного феномена.

Копирование изображений на плитах из Черновой VIII подарило нам немало и других открытий. Так, оказалось, что сидящие «в несколько нелепой позе» (по выражению М.Л. Подольского) профильные мужские фигуры [Вадецкая, 1980, рис. 12] на самом деле сидят на небольших низких четырехколесных повозках, а на плите с изображением группы «тучных» и «поджарых» быков и неоконченной личиной [Вадецкая, 1980, табл. LI–119] обнаружилось изображение повозки. Символично, что через несколько лет изображение повозки на этой плите совершенно независимо привлекло внимание и другого исследователя – Л.А. Соколову, сделавшую уточненную копию и недавно опубликовавшую ее в интересной статье под замечательным и очень характерным названием «Стела из Черновой VIII со знаменитыми быками и неизвестными повозками» [Соколова, 2001]. Хотелось бы только уточнить, что повозка на этой плите изображена все-таки одна, а то, что исследователь ошибочно приняла за «сохранившуюся часть второй повозки» (платформу и колесо с четырьмя спицами), на самом деле является крестом на бедре несущегося быка и параллельными линиями его задних ног. Кстати, не исключено, что и М.П. Грязнов был осведомлен об изображении повозки на черновской плите. В его изданной за рубежом книге «Древние цивилизации Южной Сибири» [Gryaznov, 1969] опубликована фотография фрагмента этой плиты, где изображение повозки видно достаточно четко. По крайней мере, нас с Б.Н. Пяткиным на вторичное копирование плит из Черновой VIII подвигла именно эта фотография.

Автор выражает глубокую благодарность за помощь и искреннюю заинтересованность в работе сотрудникам ОИПК.

Ю.И. МИХАЙЛОВ

К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИНТАШТИНСКИХ ПАМЯТНИКОВ

Для этнокультурной характеристики синташтинских погребений с колесницами изначально были привлечены данные ведийской традиции [Генинг, 1977]. Наиболее последовательный анализ материальной культуры индо-

ариев по материалам Ригведы был осуществлен В. Рау, который отметил, что ведийцы не знали не только укреплений из кирпича, но и каменных, глинобитных и кирпичных домов [Рау, 1983, с. 22–38]. В статье, сопровож-

дающей русский перевод Ригведы, авторы цитируют результаты исследований В. Рау и вслед за ним отмечают, что в ведийскую эпоху арии предпочитали жить в повозках, которые на ночь расставлялись таким образом, что образовывали круговое укрепление [Елизаренкова, Топоров, 1995, с. 489, 490].

В древнеиранской традиции, в мифе о Йиме, есть описание процесса постройки идеального убежища – Вары. В ходе строительства он «топтал землю пятками и мял руками, так как люди лепят намокшую землю» [Видевдат, 2, 32]. В связи с этим существенно, что в качестве строительного материала на поселении Синташта использовались глиняные блоки или вальки, а, кроме того, часть блоков, употребленных для обкладки стен, обжигалась [Генинг и др., 1992, с. 23]. Глинобитные оборонительные стены поселений Синташта, Аркаим и Куйсак по архитектуре близки [Малютина, Зданович, 1995, с. 105].

Образу Вары формально соответствует «этажность» конструкции Большого Синташтинского кургана, а также количество его ярусов – девять (9–6–3 – числовой ряд в «архитектурной формуле» Вары). Особо отметим строительную технику и материал – вальки из речного ила, смешанного с землей и глиной [Генинг и др., 1992, с. 346]. Разумеется, сопоставление архитектурной композиции Большого Синташтинского кургана с данными из древнеиранской традиции отнюдь не означает, что его следует прямо отождествлять с легендарной Варой. Вероятно, он представляет собой один из вариантов некоей идеальной модели, схожей с образом Вары.

Наконец, согласно реконструкции, на поверхности площадок каждого яруса этого грандиозного сооружения находились столбы [Генинг и др., 1992, с. 367, рис. 210, 213]. Они могли символизировать деревья (лес), а возможно, были частью конструкции, ограждавшей ярусы. Вспомним, например, «палисад» вдоль дороги – предполагаемую реалию «Ардвисур-яшта» [5, 50], которая была реконструирована Р. Хаусшильдом. Согласно его интерпретации, «дорога» – это беговая дорожка в «девять кругов», по которой мчались колесницы Хаосраваха и Нереманаха [Hauschild, 1959, S. 43]. В самом же тексте лишь сообщается, что она состояла из «девяти кругов леса» [Иванов, 1981, с. 134]. Существующая интерпретация большого кургана как храма-святилища позволяет допускать использование прилегающей к нему территории для проведения гонок колесниц, составлявших важную часть индоевропейского погребального обряда [Топоров, 1990, с. 12–47].

Среди остеологических материалов городищ Аркаим, Тюбьяк и Куйсак обнаружены кости свиньи (соответственно, 1,5 %; 15 %; 0,9 % от общей массы костей животных). Учитывая зафиксированные скопления челюстей этого животного на городище Аркаим, можно предполо-

жить его использование в культовой практике, хотя, как считает П.А. Косинцев, свиней в Южном Зауралье разводили только на самом раннем этапе развития животноводства андроновского типа под прямым влиянием абашевского населения [Косинцев, 1996, с. 83–87]. В погребениях 2 и 3 большого грунтового Синташтинского могильника обнаружены кости дикого кабана, а в погребении 5 находились две подвески из клыков этого животного [Генинг и др., 1992, с. 113, 120, 130]. Останки туш кабана также исследованы в погребениях Большекараганского могильника, материалы которого характеризуются смешанными полтавкинскими и синташтинскими чертами [Боталов и др., 1996, с. 70, 74, 80]. В могилах Синташтинского могильника Каменный Амбар 5 были найдены наборы астрагалов, среди которых есть и таранные кости кабана [Костюков и др., 1995].

В.И. Абаев, опираясь на итоги исследований А. Йоки, выделил несколько хронологических пластов в схеме арио-уральских контактов. К наиболее древнему протоарийскому периоду контактов в числе прочих арийских заимствований финно-угорскими языками он отнес лексемы со значением «южный, юго-западный», «свинья». Для фин. *раб* в качестве источника он допускал протоарийский, протоиндоарийский и протоиранский, а для фин. и морд. *кабан* – только протоиранский [Joki, 1973; Абаев, 1981, с. 84, 85]. Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов, обратившись к списку А. Йоки, привели собственные аргументы в пользу «раннеиранского» источника заимствований, указав на авест. *varaza-* *кабан* для фин.-волж. **ogas* (**voras*) при фин. *ogas* *холощенный кабан, кабан* и другие, а также на авест. *aiṣu*, *aiṣu-* *арийский* для фин.-волж. **ogja* с семантическим гнездом: *раб, южный, юго-западный* и другие [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 922–924]. По мнению исследователей, это заимствование отразило взаимную пространственную ориентацию двух групп носителей контактирующих языков. Что же касается значения термина «раб», то, согласно их предположению, он является указанием на социальное положение носителей раннеиранского языка среди финно-угров [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 924]. В.И. Абаев для фин. *ogja* *раб* допускал с равным правом протоарийский, протоиндоарийский или протоиранский источник [Абаев, 1981, с. 85].

Л.А. Лелеков, как и вышеназванные исследователи, также отталкивался от результатов изысканий А. Йоки. По мнению Лелекова, древние финны, не позже середины II тыс. до н. э., общаясь с индоариями, улавливали в термине «арья» идею благородства крови и личной свободы [Лелеков, 1982, с. 157]. Нам представляются важными и справедливыми рассуждения Л.А. Лелекова о том, что в Индии термин «арья» маркировал прежде всего оппозицию между всеми индоариями, с одной стороны,

и автохтонами – с другой, тогда как в Иране – между различными иранскими племенами, т. е. внутри одного этноса [Лелеков, 1982, с. 161]. Присутствие в абашевских и синташтинских погребениях колесниц позволяет реконструировать ситуацию, способствовавшую росту амбиций знати, которая только себя идентифицировала с настоящими «арья». По предположению Д.В. Нелина, высокий уровень милитаризации синташтинского общества есть следствие межобщинной конкуренции в использовании природных ресурсов [Нелин, 1999, с. 20]. Подобная конкуренция в принципе соответствует гипотезе Л.А. Лелекова об актуализации термина «арья» прежде всего в условиях соперничества древнеиранских племен между собой. В этой ситуации мог сложиться культ кабана, поскольку охота на это животное, как проявление воинской доблести и собственного превосходства, органично вписывается в общую историко-культурную ситуацию. Астралы кабана обнаружены во всех погребениях колесничих, исследованных в кургане доно-волжской абашевской культуры Селезни 2. Данную обрядовую черту авторы, и не без оснований, связывают с охотой на этих животных, которая выступала в качестве развлечения для элиты абашевского общества [Пряхин и др., 1998, с. 29]. Возможно поэтому древнеиранское название кабана становится достоянием фин.-волж. языковой среды. На наш взгляд, весьма существенно то, что у абашевцев и синташтинцев обнаруживается не только культ кабана, но и документировано присутствие в составе стада свиньи, а заимствованное обозначение для этих животных у финно-угров также относится к древнейшему периоду арио-уральских контактов.

Мы не можем настаивать на том, что рассмотренные выше свидетельства языковых контактов должны быть соотнесены непременно с синташтинцами, однако считаем, что одной из контактирующих сторон было именно древнеиранское население. Независимо от Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова, отрицающих заимствования из «общейиндоиранского» в соответствии с собственной схемой распространения носителей индоевропейских языков [Гамкрелидзе, Иванов, 1984 с. 924], Л.А. Гиндин относит раздельное существование индоарийских и иранских диалектов по крайней мере к концу III тыс. до н. э. [Гиндин, 1972, с. 154, 158]. Для нас вероятны древнеиранские отражения в иной языковой среде, в данном случае финно-угорской, важны, прежде всего, для иллюстрации одного из аспектов идеологических представлений. С учетом этого вновь вернемся к мнению Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова о возможном «раннеиранском» источнике (авест. *airyo, airya- арийский*) для фин.-волж. **oġa* с семантическим гнездом: *раб, южный, юго-западный* и др. [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 922–924].

В Синташтинском могильнике, судя по опубликованному плану [Генинг и др., 1992, рис. 42], рядом с ритуальным «домиком» находились погребения 4–6, которые, вероятно, составляли композиционное ядро некрополя. В двух из них были обнаружены колесницы. В могиле 4 колесница была ориентирована дышлом на юг. В могиле 5 колесница была установлена аналогичным образом, но с небольшим смещением к западу [Генинг и др., 1992, с. 126, 132; рис. 50, 56]. В других могилах колесницы были ориентированы иначе, но в данном случае нас интересуют могилы, занимавшие центральную площадку на территории памятника. Не исключено, что именно способ размещения колесниц в могилах (дышлом на юг) указывает на особое сакральное значение этого направления в обряде погребения лидеров синташтинского общества. Дышло колесницы могло указывать на некий ориентир – сакральный объект или локус, к которому пролегал путь колесничего, истинного «арья», после смерти (аналогично рекам, текущим на юг в море Ворукаша?). Еще одним свидетельством в пользу особой связи социального лидера с направлением на юг является реконструированная планировочная схема из синташтинского комплекса грунтовых и курганных захоронений (С1). В центре площади этого комплекса построили надмогильное сооружение – платформу в виде усеченной пирамиды, с южной стороны которой был оставлен проход. Под этим сооружением находились погребение 14 (ориентированное по линии С-Ю) и погребение 15 (ССЗ-ЮЮВ). Авторы допускают, что в погребении 14 была помещена колесница. В Синташтинском малом кургане (С111) колесница была помещена дышлом на юг [Генинг и др., 1992, с. 273–277, 338, 339].

В большом грунтовом Синташтинском могильнике (СМ), в погребении женщины, находился серебряный нагрудник и ритуальный набор – крупный кристалл хрусталя, а также два осколка этого минерала вместе с медной пластинкой и литником [Генинг и др., 1992, с. 190–191]. В могильной яме 17 из кургана 2 Синташтинского могильника Каменный Амбар 5, вместе с мелкими металлическими изделиями и двумя кусочками медной руды (малахит с азуриком и отожженный малахит), обнаружен обломок кристалла горного хрусталя [Костюков и др., 1995, с. 156]. Кристалл горного хрусталя был обнаружен перед глазами умершего в погребении Большекараганского могильника. Предполагается, что кристалл был взят из речных наносов, а источником сноса были хрустальные жилы вблизи пос. Новинка, в 30 км к востоку от городища Аркаим [Зайков, 1995].

Обратим внимание на то, что в приведенных синташтинских комплексах хрусталь обнаружен вместе с металлургическим сырьем и продуктами металлообработки.

Отметим также связь этого минерала с погребениями женщин и детей. Последнее наблюдение находит подтверждение в материалах раннеалакульского комплекса из Чистолебяжского могильника (курган 6, могила 3), где женщина 25–30 лет была погребена совместно с юношей 16 лет и ребенком 7–8 лет. Среди предметов сопроводительного инвентаря был обнаружен кусок горного хрусталя [Могильников, 1984, с. 34; Матвеев, 1998, с. 52]. Состав погребенных в этих могилах позволяет предположить, что орудия металлообработки, руда и хрусталь были символически связаны с идейным значением комплекса: смерть – рождение.

Не исключено, что интересующий нас пласт культурных явлений отразился в более поздних религиозных представлениях в среде зороастрийского жречества. «С распространением бронзы, за которой (начиная примерно с IX в. до н. э.) последовало употребление железа, орудия нельзя уже было представлять как изделия из камня. Все, касающееся шести Амеша-Спэнта, имело огромное религиозное и нравственное значение, поэтому ученые жрецы, видимо, упорно бились над этой проблемой, пока не нашли остроумное решение: они определили, что камень небес – это горный хрусталь и его можно классифицировать и как металл, потому что он находится в горных жилах, так же как и металлические руды. Поэтому Хшатра, владыка хрустального неба, теперь мог почитаться и как властелин металлов, а потому еще и как защитник воинов» [Бойс, 1987, с. 53]. И.В. Пьянков, анализируя возможные значения авестийского *ayah-*, вслед за М.М. Дьяконовым считает возможным его употребление и для обозначения меди (бронзы), и для железа. В этом допущении он опирается на предположение М. Бойс о том, что данная лексема в сочетании с эпитетом *хваена* – *светлое, яркое* могла означать также «алмаз» и «небо» [Дьяконов, 1954, с. 140; Пьянков, 1996, с. 20].

Анализируя материалы производственных комплексов крупного центрально-казахстанского поселения Атасу I, А.Х. Маргулан упомянул, что среди производственных отходов были обнаружены обломки кристаллов горного хрусталя [Маргулан, 1979, с. 173]. Это представляется немаловажным, поскольку на поселении Атасу I хорошо изучены медеплавильные комплексы, а металлургия, как считают исследователи, была главной отраслью экономики [Кадырбаев, 1983; Кадырбаев, Курманкулов, 1992]. Обломки горного хрусталя, лазурного малахита и полированный круглый камень («яда таш») найдены в гробнице 3 из некрополя Бегазы [Маргулан, 1979, с. 88]. Установлено, что сырьевую базу для центрально-казахстанской металлургии в эпоху бронзы составляли, прежде всего, малахит, азурит, хризоколла [Жауымбаев, 1984, с. 113–114]. В мавзолее 7 из бегазы-дандыбаевского некрополя Сангру I вместе с обожжен-

ными костями обнаружены куски медной (азурит) и железной руды. Кроме того, железная руда и медистый песчаник встречены в основаниях опорных столбов перекрытия погребальной камеры, что, по мнению автора исследований, свидетельствует о «культе металла» [Маргулан, 1979, с. 88, 127].

На наш взгляд, процесс плавки в контексте погребального обряда мог иметь эсхатологические коннотации. Представления о гибели мира в огне и образ потоков расплавленного металла известны в зороастрийской традиции. Находки в бегазы-дандыбаевских комплексах позволяют предполагать обыгрывание представлений, связанных с материалами, употребленными для мироустройства. Во всяком случае, каменная опора для поддержания перекрытия гробницы символически могла соответствовать образу столпа, на котором покоится небесный свод (обломок кристалла горного хрусталя найден в срубном погребении из сложного курганного сооружения с облицовкой из белого известняка и красного гранита) [Андросов, 1986, с. 74]. Все эти наблюдения приобретают особое значение, если учесть, что первобытный миф имеет лишь одно содержание – космогонию, неразрывно слитую с эсхатологией [Фрейденберг, 1978, с. 53].

В предполагаемой реконструкции эсхатологических представлений существенно важно то, что бегазы-дандыбаевские гробницы могут рассматриваться в качестве аналогий сожженным мавзолеям Северного Тагискена. Обрядовая практика, связанная с тагискенскими погребальными комплексами, отразила представления о гибели-обновлении мира в огне и обнаруживает несомненное родство с культурной средой, непосредственно повлиявшей на развитие собственно зороастрийских представлений [Рапопорт, 1971; Лелеков, 1976]. По мнению Л.А. Лелекова, идеология тагискенцев близка к авестийской, если только не является таковой в буквальном смысле слова, а погребальный обряд имитировал пожар вселенной как символ ее огненного обновления [Лелеков, 1972, с. 128–131]. Было также высказано мнение, что миф о гибели мира в пламени, из которого праведные выйдут нетронутыми, – иранского происхождения [Элиаде, 1987, с. 117]. Согласно Э. Бенвенисту, в иранском мире были широко распространены представления о хшатра варья – «желанном царстве», куда попадут праведные, а персонафицированное Хшатра варья играло сразу две роли – эсхатологическую и вещественную [Бенвенист, 1995, с. 255]. С учетом этого руду и хрусталь в составе погребальных комплексов гипотетически можно рассматривать как вещественную (минералогическую) символику, которая отразила представления, близкие к тем, что позднее вошли в эсхатологическую доктрину зороастрийцев.

Согласно античным свидетельствам [Гомер, Плутарх, Фукидид, Плиний], древние греки особо ценили хрусталь

и считали этот минерал горным льдом, замерзшим настолько, что он потерял способность таять. Они предполагали, что возникать этот камень мог из снега во время очень холодной зимы. По мнению М. Неймайра, поводом для подобных умозаключений послужила добыча хрусталя в снежных вершинах Альп [Неймайр, 1898, с. 771]. Эти представления у греков и римлян подкреплялись практическим использованием шаров из хрусталя, которые носили в руках в жаркие дни, поскольку прикосновение к природному хрусталу рождает ощущение прохлады. Не исключено, что находки хрусталя в синташтинских погребениях – это еще один штрих в картине своеобразных «полярных» представлений у древних ариев [Бонгард-Левин, Грантовский, 1983]. Учтем также вероятную принадлежность синташтинского населения к древним иранцам, которые были просто «одежды зимы» [Лелеков, 1982, с. 34].

Возможно, именно этот семантический план демонстрируют материалы детского погребения Ростовкинского могильника, где, помимо других предметов сопроводительного инвентаря, обнаружены шестигранный кусок горного хрусталя и нож с фигурками лыжника и коня [Матющенко, Сивячина, 1988, с. 7]. Сверкающий хрусталь в комплексе с изображением лыжника – весьма показательное сочетание. По мнению В. Мажюлиса, от и.-е. *ghei- (:*ghi-) *светить, сверкать, быть холодным* образованы слова индоевропейских языков, обозначающие снег или зиму, в частности греч. χιων *снег* и др.-инд. himāñ *мороз, снег; зима* (<*ghi-), греч. χειμων *зима, мороз; бурное время года* [Мажюлис, 1986, с. 127]. Понятия о зиме как о бурном времени года представляют особый интерес. В.И. Абаев, анализируя осет. *ud дух, душа*, отмечает, что оно этимологически идентично с *wad ветер*, и вслед за В.С. Миллером допускает сближение *ud* с авест. *aota-* *холодный, холод*. Согласно В.И. Абаеву, если прародина иранцев находилась где-то к северу от Каспия, то холод для них очень часто ассоциировался с ветром [Абаев, 1989, с. 6, 7].

Даже если допустить, что нож с лыжником оказался в одном комплексе с хрусталем случайно, то независимо от символики минерала образ героя-лыжника свидетельствует о развертывании мифологических сюжетов в особых климатических условиях, где продолжительная зима определяла характеристики ландшафта мифопоэтических повествований. С учетом предполагаемых тесных контактов абашевской и сейминско-турбинской традиций особенно показателен сосуд с изображением лыжника, обнаруженный на Шиловском поселении. Автор исследований увидел на этом сосуде «мифический сюжет, имевший конкретное культовое назначение» [Пряхин, 1970, с. 62]. Мнение о том, что на шиловском сосуде изображен именно лыжник, было впервые высказано А.А. Фор-

мозовым, который еще до этой находки рассматривал данный образ как свидетельство общности мифологических представлений в среде древнего населения лесной зоны Евразии [Формозов, 1967, с. 78; 1979, с. 11, 12]. Для обоснования этого предположения он привлек изображения лыжников на II Каменном острове Ангары, Шалаболино, Томской писанице, Залавруге, а также нож из могильника Ростовка.

Хронологический горизонт бытования образа лыжника в наскальном искусстве А.А. Формозов определяет рамками II тыс. до н. э. [Формозов, 1979, с. 12], и именно поэтому связь ростовкинского изображения лыжника с хрусталем представляется не случайной. Во II тыс. до н. э. в Канише процветала техника резьбы по камню и наряду с обсидианом использовался хрусталь [Сайко, 1990, с. 181]. В троянском кладе L обнаружены высверленные пластины из горного хрусталя, служившие, вероятно, навершиями рукоятей ритуальных кинжалов подобно микенским образцам, а также экземплярам из критского дворца в Маллии и храма обелисков в Библе. Датировка кинжала из Библи близка датировке микенских гробниц, а ритуальные каменные топоры троянского клада L имеют наиболее близкие аналогии в бородинском кладе и могут быть датированы в интервале 1700–1500 гг. до н. э. [Никулина, 1999, с. 224, 225]. Бородинский клад является хронологическим репером для синташтинских памятников. Кроме того, для последних неоднократно приводились культурно-хронологические параллели из микенских шахтных гробниц. В связи с этим вновь упомянем находку из Синташтинского могильника – навершие булавы, выточенное из кристалла горного хрусталя [Нелин, 1995, с. 133], и примем во внимание, что широкое использование горного хрусталя в прикладном искусстве Средиземноморья начинается только во II тыс. до н. э. [Никулина, 1999, с. 225].

Сходство реконструированных черт обрядовой практики в комплексах Синташтинского и Ростовкинского могильников необходимо рассматривать как результат опосредованных культурных связей. На наш взгляд, передача представлений о сакральной символике хрусталя шла с запада на восток, и, вероятно, в качестве возможного свидетельства распространения этого идейного комплекса на восток от Урала следует рассматривать Чистобяжнинский некрополь. Данное предположение подкрепляется его ранней датой и обрядовыми параллелями между синташтинским и алакульским погребальными обрядами [Матвеев, 1998, с. 348, 349].

Охарактеризованные особенности обрядовой практики синташтинского населения позволяют рассматривать его как древнеиранский этнос, культурные традиции которого получили дальнейшее развитие в среде андроновского населения и могут быть прослежены вплоть до начала I тыс. до н. э.

МЕСТО МУРАДЫМОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПАМЯТНИКОВ БРОНЗОВОГО ВЕКА БАШКИРСКОГО ПРИУРАЛЬЯ

Изучение Мурадымовского поселения – памятника бронзового века Башкирского Приуралья – необходимо рассматривать в контексте создания источниковой базы данного периода в регионе. 1960–1990-е гг. стали в Волго-Уральском регионе временем наиболее интенсивного исследования археологических памятников, в том числе бронзового века. Однако следует отметить, что из 810 известных в регионе поселенческих памятников стационарно исследовано только 64 (7,9%), при этом лишь незначительное число изучено методикой сплошных площадей (Тюбяк, Таналык, Усманово). Следствием этого стала неполная информативность археологических объектов и, соответственно, ограниченность в интерпретации и осмыслении полученных материалов. Поэтому в настоящее время одной из важнейших задач в археологии бронзового века Волго-Уралья является создание серии реперных поселенческих памятников, исследованных методикой сплошных площадей, с применением методов естественных наук.

Мурадымовское поселение было открыто в 1990 г. экспедицией Башкирского научного центра УрО РАН под руководством А.Х. Пшеничниока. Систематические, планомерные археологические раскопки памятника начинаются с 1999 г., проводятся они экспедицией Башкирского государственного педагогического университета (руководитель Г.Т. Обыденнова). Геодезическое исследование памятника было проведено Г.Т. Турекешевым, остеологический материал обработан А.Г. Петренко, почвоведческий анализ сделан УНЦ РАН Р.Р. Сулеймановым. В течение трех сезонов полевых работ было вскрыто три жилищные впадины, межжилищное пространство между двумя из них, заложено семь раскопов, общая вскрытая площадь поселения составила 1576 кв. м (что является примерно половиной площади памятника).

Мурадымовское поселение расположено в 2,5 км севернее с. Мурадымово Аургазинского района Башкирии, относится оно к группе памятников Демско-Уршакского междуречья долины р. Белой. Памятник находится на первой надпойменной террасе правого берега р. Уршак, в 0,2 км к востоку от современного русла. Поселение расположено на возвышенности (высота от подошвы около 1,5–2,0 м) и занимает площадь 6 га. Часть площадки поселения хорошо задернована и используется для выгона скота. На поверхности памятника зафиксированы шесть впадин площадью от 260 до 300 кв. м, глубиной 0,25–0,4 м. Площадь поселения с СВ на ЮЗ окружена валом шириной 1,7–3,2 м, высотой 1,4–1,5 м.

Археологические раскопки поселения предваряла топографическая (полярная) съемка поверхности памятника, сопровождавшаяся промером высот (через 20 м) по всей поверхности памятника. В дальнейшем все раскопы привязывались к снятому топографическому плану и аэрофотосъемке. Поселение раскапывалось вручную – на вынос грунта за пределы границ памятника. Раскопы разбиты при помощи теодолита и компаса на квадраты 2 x 2 м и имеют арабскую индексацию.

Вскрытые жилищные впадины имеют сходную стратиграфию: стратиграфическая шкала представлена четырьмя слоями. Данные почвенного анализа позволяют представить экологическую среду исследуемого периода. Памятник был сформирован на древней лугово-черноземной почве, протекающая р. Уршак придала почве пойменный характер. Химический анализ погребенных почв свидетельствует о прохождении ими лугово-степного процесса почвообразования. Верхние культурные слои характеризуются более тяжелым механическим составом, легкие и средние суглинки перемешаны с золой. Возможно, золы горизонты были преднамеренно засыпаны суглинками для предотвращения развеивания и размыва золы, утепления и закрепления стенок жилища (об этом свидетельствует обсыпка жилищ только с южной стороны, по направлению преобладающих на Южном Урале ветров). Анализ культурного слоя показал повышенное содержание фосфатов, что свидетельствует о характере его формирования. Межжилищное пространство характеризуется тремя слоями, несмотря на практически отсутствующий культурный процесс в образовании горизонтов, и повышенным содержанием валового фосфора, что говорит о деятельности человека, хотя и менее значительной, чем в жилищах.

При вскрытии котлована (№ 5), расположенного в юго-западной части памятника, была выявлена Постройка I. Котлован имел ориентировку С-Ю, после вскрытия очертания котлована имели ориентировку по линии С-З – Ю-В. Размеры Постройки I 28 x 12,5 м, что составило общую площадь 350 кв. м. Глубина от современной поверхности раскопа составила 1,10–1,25 м, углубленность в материке 0,2–0,4 м; с западной, северной и восточной сторон четко выраженные борта Постройки, по внутреннему краю которых прослеживаются столбовые ямы, развалы сосудов встречены в северо-западном и юго-западном углах борта, в углах Постройки – развалы сосудов. В северной, западной и южной частях Постройки ступени. В центре жилища колодец, по периметру

которого скопление камней, к северо-западу от колодца два очага. Система столбовых ям ориентирована по линии С-Ю. Постройка имеет два выхода: с юго-западной и юго-восточной сторон, последний направлен в сторону Постройки II.

Постройка II расположена в юго-восточной части мыса, юго-восточный край котлована окружен валом высотой 1,45 м и шириной 1,5 м. После вскрытия очертания котлована имели ориентировку по линии С-З – Ю-В. По всему периметру борта котлована были прослежены остатки столбовых конструкций, часть из которых располагалась в известняковой линзе.

При зачистке пола Постройки II было выявлено три осевых линии столбовых ям, расстояние между которыми составляло 0,7–0,9 м. В юго-западной части Постройки был обнаружен колодец, стены которого были покрыты остатками дерева. Рядом с колодцем находится хозяйственная яма, стенки и дно которой были выложены известняковой галькой.

Каменный инвентарь Постройки представлен немногочисленными изделиями (обломок каменной кувалды, несколько кремневых отщепов, несколько обработанных камней со следами сколов), рядом каменных булыжников и обломков плитняка небольших размеров, расположенных на разной глубине залегания. В ряде случаев были обнаружены скопления камней и костей.

Основной костяной инвентарь состоит из целого ряда проколов, а также нескольких амулетов из зубов животных и подвески в виде кольца. Также было обнаружено несколько обработанных костей, полированных костяных трубочек и несколько альчииков. В керамическом материале Постройки удалось выделить по форме и по орнаментальным мотивам несколько групп посуды.

Наряду со срубной керамикой, часто в одном слое залегают и алакульская керамика, о чем могут говорить несколько развалов сосудов с характерным алакульским ребром, имеется керамика и с заметным андронидным влиянием.

Способы нанесения орнамента также различны – от «проташенной гребенки» до прочерченных орнаментальных композиций щепой или костью. Часть керамики заглажена пучком травы или щепой, исследованный керамический материал дал возможность соотнести формы сосудов с орнаментальными мотивами.

Межжилищное пространство дало как керамический, так и костяной материал. Кроме вещевого инвентаря Постройка II дала также и антропологический материал, представленный двумя детскими костяками, предположительно в возрасте 8,5 мес. – 1,3 года, захороненными в традиционном для срубной культуры положении. Костяки были обнаружены в юго-восточной и северо-восточной частях Постройки, рядом с одним из них обнаружен погребальный сосуд.

Постройка III (впадина № 5), ориентированная по линии С-Ю, имела площадь около 312 кв. м и располагалась в северо-восточной части площадки поселения, подходя вплотную к его краю, возможно обрамленному небольшим валом. Средняя заглубленность от поверхности раскопа составляет около 1,2 м. Постройка имела выход, расположенный в западной части и обрамленный рядом столбовых ямок. Заглубленность самого жилища в материк около 0,45 м. В северо-восточном углу Постройки обнаружена каменная выкладка из небольших камней. У восточной стенки расположен погреб, имевший две сохранившиеся ступени, выложенные деревянными плахами, около западной стенки расположен колодец. Вещевой материал Постройки III представлен каменным, костяным, керамическим и бронзовым комплексами. Керамика в большинстве срубная.

Подробный анализ остеологического материала всех построек был произведен А.Г. Петренко. Согласно полученным результатам, на поселении занимались разведением крупного рогатого скота и лошадей; наличие костей кулана подтверждает выводы, сделанные почвоведом Р.Р. Сулеймановым, об остепненном характере ландшафта площадки памятника в эпоху бронзы.

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что Мурадымовское поселение относится к развитому бронзовому веку и принадлежало носителям срубной культурно-исторической общности, население которой занималось придомным пойменным скотоводством и охотой. Наличие двух детских захоронений представляется возможным отнести к «неординарным», но по ориентировке и инвентарю, сопровождавшему погребенных, их можно сопоставить с подкурганными захоронениями срубной культуры.

Д.В. ПАПИН

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЗДНЕБРОНЗОВЫХ КУЛЬТУР В ПЕРЕХОДНОЕ ВРЕМЯ ОТ ЭПОХИ БРОНЗЫ К РАННЕМУ ЖЕЛЕЗНОМУ ВЕКУ НА ВЕРХНЕЙ ОБИ

В IX–VIII вв. до н. э. в степной зоне Северной Азии формируются раннескифские культуры с единообразным набором конского снаряжения, вооружения, предметов

быта и искусства. К северу, в лесостепи, складываются культуры переходного времени от эпохи бронзы к эпохе железа: гамаюнская, красноозерская, завьяловская, позд-

неирменская, молчановская, большеберченская. В этих комплексах обнаружены вещи раннескифского облика, прежде всего бронзовые наконечники стрел и детали узды. Наибольшее их количество найдено в ареале распространения большеберченской культуры в лесостепном Алтайском Приобье [Шамшин, 1989]. В настоящее время здесь известно 19 поселений и 11 могильников, относящихся к этой культуре. Несмотря на наличие здесь таких важных элементов скифской триады, как типы оружия и конской упряжи, вряд ли эти культуры можно отнести к раннескифскому кругу. Во-первых, неизвестны происходящие из археологических комплексов предметы искусства в раннескифском зверином стиле; во-вторых, в погребальном обряде не выделяется роль лошади, как, например, в это же время в сопредельном Горном Алтае [Кирюшин, Тишкин, 1997]; в-третьих, керамические комплексы несут в себе орнаментальные традиции эпохи поздней бронзы [Папин, Шамшин, 1998]. Таким образом, позднебронзовая культурная традиция существует в лесостепном Алтайском Приобье вплоть до VI в. до н. э., когда этот регион окончательно вовлекается в круг скифских культур.

Впервые попытку интерпретации материалов переходного времени от эпохи поздней бронзы к раннему железному веку лесостепного Алтая Михаил Петрович Грязнов предпринял в своей работе «Древние культуры Алтая» [Грязнов, 1930]. Позднее данный период получил название «большеберченская культура» и был отнесен им к культурам раннего железного века [Грязнов, 1950]. В своей обобщающей монографии «История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка» [Грязнов, 1956] ученый отказывается от выделения трех археологических культур и относит все памятники к одной большеберченской культуре, датировав ее в пределах VII в. до н. э. – I в. н. э. Одноименный этап отражал переход от карасукской культурной традиции к раннему железному веку в хронологических границах VII–VI вв. до н. э. [Грязнов, 1956]. Позднее, анализируя материалы кургана Аржан, Михаил Петрович отмечал, что «VIII–VI вв. до н. э. это не какой-то конец эпохи бронзы и не какой-то переходный или самостоятельный этнокультурный период, а начальный этап так называемой скифской эпохи» [Грязнов, 1983]. К нему же была отнесена большеберченская культура лесостепного Алтая.

В современной сибирской археологии у исследователей сложилось несколько взглядов на памятники переходного времени. Их рассматривают в рамках отдельной культуры VIII–VII(VI) вв. до н. э.: большеберченской (М.Т. Абдулганеев, В.А. Могильников, М.Ф. Косарев, Д.В. Папин, А.Б. Шамшин), завьяловской (Т.Н. Троицкая, В.А. Зах), позднеирменской (В.И. Молодин, А.В. Матвеев) и в рамках переходных типов (комплексов) между

культурами поздней бронзы и раннего железа (Н.Л. Членова, В.В. Бобров). В развернувшейся дискуссии о генезисе и развитии этих культур можно выделить несколько подходов. Первый связан с признанием ведущей роли в формировании культур переходного периода местного карасукско-ирменского населения. Эта традиция, прежде всего, связана с работами М.П. Грязнова и получила дальнейшее развитие у В.И. Молодина и Н.Л. Членовой. Не отрицая в принципе роли миграций, определяющим они считают внутреннее развитие ирменской культуры. На противоположном полюсе находится точка зрения Т.Н. Троицкой и, отчасти, В.А. Заха [1997], по мнению которых облик культур переходного времени формировался под влиянием северного таежного населения; именно миграция этих групп из районов Средней Оби и определила развитие новой культурной общности. На наш взгляд, подобный подход преувеличивает роль крестового компонента, на что многократно указывалось в литературе [Труфанов, 1994; Бобров, 1999]. Инфильтрация северных групп в местную среду (на территории Верхнего Приобья) носила эпизодический характер – это подтверждают материалы керамических комплексов [Папин, 1995, 1998]. Третий подход представлен в исследованиях М.Т. Абдулганеева, В.А. Могильникова, Д.В. Папина, А.Б. Шамшина и основывается на рассмотрении памятников VIII–VI вв. до н. э. в рамках большеберченской культуры переходного времени, сформировавшейся как синтез корчажкинской и ирменской культур с участием двух инокультурных компонентов: северного «крестового» и западного «валиковского». Несколько отличное мнение В.А. Могильникова на суть корчажкинской традиции, в ней он видит переселение групп северного еловского населения X–IX вв. до н. э. Хотя поселения Алтая эпохи поздней бронзы четко фиксируют возрождение местной гребенчато-ямочной традиции в постандроновское время [Кирюшин, Шамшин, 1987], подтверждается это и материалами быстровского этапа [Матвеев, 1985]. В основном эти историко-культурные построения основывались на изучении керамических комплексов поселений, и каждая территория обладала своими особенностями [Папин, 2001].

В южной части Верхнего Приобья (лесостепной Алтай) известно 19 поселений этого периода. Мы относим их к большеберченской культуре переходного времени [Папин, Шамшин, 1998]. На основе анализа орнаментальных традиций поселенческих керамических комплексов этой культуры для данного региона выделяются памятники с ярко выраженными ирменской (геометризм – ряды ромбов, треугольников: Крестьянское IX, МГК 1/3) и корчажкинской (зональность – ряды, сеточки, елочки: Мыльниково, Усть-Чумышская Пристань, Бобровка, Долгая Грива, Аллак) доминантами. Переходная традиция

в орнаментальной схеме поселений Ближние Елбаны I, Елбанка и Елунинское культовое место синтезирована в окончательной форме. Именно в этой группе проявляется инокультурное влияние: северная традиция крестовой фигурно-штампованной керамики и западная, связанная с «валиковцами». В целом процесс изменения орнаментальной схемы большереченской культуры можно охарактеризовать как синтез традиций ирменской и корчажкинской культур эпохи поздней бронзы (Крестьянское IX, МГК 1/3 – Мыльниково, Аллак) и начало формирования декора раннего железного века (Ближние Елбаны I). Его сущностью является преобладание зональной схемы построения орнамента, снижение числа строк на сосуде (орнаментация верхней трети сосуда), переход от слабопрофилированных к господству баночных форм сосудов, оформление среза венчика наружу.

Это подтверждается данными, полученными на основе фаунистического анализа остеологических комплексов поселений. В хозяйственно-культурном типе большереченской культуры переходного времени, по сравнению с предшествующим типом ирменской культуры, возрастает доля охоты, а по сравнению с корчажкинским – скотоводства. Происходит нивелировка двух типов хозяйствования: многоотраслевого корчажкинского и скотоводческого ирменского [Папин, Шамшин, 2000].

Погребальный обряд населения переходного времени прежде всего известен по материалам наиболее изученных грунтовых могильников Ближние Елбаны VII, XII, XIV и Бобровского, кроме этого небольшие серии погребений происходят с других памятников [Тур, Фролов, 2001; Кунгуров, Папин, 2001]. Основными признаками обряда являются: труположение головой на юго-восток, юго-запад, наличие следов огня в могиле и отсутствие инвентаря. Из предметов в могилу чаще всего помещались сосуды, в большинстве случаев это небольшие

полусферические чаши [Грязнов, 1956; Шамшин, Фролов, Медникова, 1996; Кунгуров, Папин, 2001].

Как было сказано выше, в основе большереченской керамической традиции лежат две культуры поздней бронзы, что подтверждается и материалами Бобровского могильника, в котором выделяются две «модели» погребального обряда: ирменская и андронидная–корчажкинская [Тур, Фролов, 2001]. Сложнее обстоит дело с инокультурным влиянием, хотя в могильниках присутствует крестово-штампованная керамика, но по антропологическим данным этот компонент не прослеживается [Тур, 2001]. Особое место занимает группа мужских погребений Бобровского могильника с северо-западной ориентацией и краниологическими параметрами, характерными для «ранних скифов» степной зоны Алтая [Тур, 2001]. Несмотря на то, что в могилах отсутствует керамика, орнаментированная валиком, по всей видимости эту группу логичнее связать с влиянием «валиковцев», так как западные территории от Верхней Оби являются очагом распространения этой традиции.

Если обратиться к картографированию большереченских поселений, то они в основном расположены на высоких речных террасах, останцах и зачастую имеют фортификационные сооружения. По всей видимости, подобное расположение памятников можно объяснить повышенной военной активностью в регионе в переходное время. Обращены они против раннескифского населения степного Алтая, что, в свою очередь, связано с движением населения в степных районах Северной Азии.

Таким образом, несмотря на проникновение отдельных раннескифских элементов на территории южной части Верхнего Приобья продолжает существовать поздне-бронзовая линия развития вплоть до VI в. до н. э., когда местные племена окончательно были втянуты в орбиту скифского мира.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 01-06-80173.

А.Ф. ПОКРОВСКАЯ

НАСКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ПРИТОМЬЯ. ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР

Река Томь – венозная ветвь Оби, текущей на юге Западной Сибири. На территории Притомья сегодня известно шесть памятников наскального искусства: Томская писаница, Новоромановская писаница, Вторая Новоромановская писаница, Висячий камень, Никольская писаница и Тутальская писаница. Они расположены компактно на протяжении 50 км и составляют четко обозначенный регион наскального искусства. Район писаниц на р. Томь –

это последние, вниз по течению реки, выходы каменного основания. Дальше, к северу, река течет равнинными просторами. Все писаницы расположены на правом скалистом берегу реки, между городами Кемерово и Юрга. Рисунки нанесены на обращенные в сторону реки поверхности скал. Локализация всех рисунков связана с притоками р. Томь. Томская писаница находится вблизи устья р. Писаной, Новоромановские писаницы и Висячий

камень – вблизи устья р. Долгой, а Тутальская и Никольская писаницы – вблизи устья р. Никольской. Писаницы расположены на естественно-исторической пограничной зоне западно-сибирского лесного и южно-сибирского степного массивов с их традиционными культурно-историческими и этническими различиями. Памятники наскального искусства тесно связаны с природной средой, являются ее дополнением и составляют вместе с ней природно-исторический комплекс.

К началу неолита долина р. Томь представляла собой заболоченную местность с развитой сетью сообщающихся между собой проточных заболоченных озер и болот-топей. Заболоченная долина р. Томь являлась благоприятной для проживания территорией, укрытой от ветров, с обильной растительностью, богатой охотничьими и рыболовными угодьями. Такие условия могли способствовать появлению первых поселений охотников и рыболовов, оставивших после себя наскальный эпос. А.Н. Кондаков и А.А. Возная выделяют следующие геологические предпосылки, определившие местоположение второй группы рисунков одного из памятников наскального искусства Притомья – Томской писаницы:

1. Рисунки святилища Томская писаница нанесены в ядре и крыльях синклиналиных чашеобразных складок. Необычная, резко выступающая в рельефе чашеобразная

форма геологической структуры скалы могла быть сама объектом культового поклонения.

2. Скальный массив разбит системой грубых, почти вертикальных трещин, вывалы породы естественно подготовили удобные площадки для нанесения рисунков.

3. У подножия скалы, в восточной ее части, располагается пещера, происхождение которой можно объяснить работой источника подземных вод; наличие источника могло быть одной из причин образования поселений.

4. В тектонически напряженной зоне не исключено наличие биофизических аномалий, создавших особую культовую комфортность для обитателей древних поселений [Кондаков, Возная, 1998, с. 34–35].

Следует отметить, что в процессе формирования мировоззрения человека существенную роль играет историко-культурная среда. Однако в традиционных первобытных обществах историко-культурная среда не очень богата и разнообразна. Зачастую функции историко-культурных предметов выполняют объекты природы, наделенные тотемными и фетишными свойствами. Таким образом, мировоззрение древнего охотника Притомья связано с лесом, его обитателями, охотой, рекой, прибрежными скалами. Многовековой опыт предков, знания первобытного охотника об окружающем мире нашли отражения в древнем наскальном искусстве.

А.В. ПОЛЯКОВ

СХЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ КЛАССИЧЕСКОГО ЭТАПА КАРАСУКСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Основные работы, посвященные вопросам внутренней хронологии карасукской культуры, вышли в 60–70-х гг., и их главной задачей было выделение каменнолоожского этапа (лугавской культуры, или бейской группы) [Грязнов и др., 1968; Хлобыстина, 1963; Новгородова, 1970; Членова, 1972]. С тех пор произошли серьезные изменения в объемах накопленного материала и в приоритетах направления исследования.

Публикация Э.Б. Вадецкой отчасти упорядочила точки зрения на принадлежность конкретных памятников к той или иной группе [Вадецкая, 1986, с. 51–76]. В результате определились ключевые критерии выделения погребений каменнолоожского этапа. Таким образом, центр тяжести изучения культуры спустился на уровень ниже. Появилась объективная необходимость отдельного изучения двух самостоятельных групп памятников. Последние годы основное внимание исследователей было приковано к сложной, и оттого более острой, проблеме каменнолоожского этапа [Членова, 1972; Лазаретов, 1993; 1995; Паульс, 1983; 2000; и др.]. При этом намного более значительная классическая группа оставалась «в тени»,

и на данный момент возникла серьезная необходимость полной ревизии этих, долгое время не востребованных материалов.

Первую попытку подобного исследования предпринял в своей, к сожалению не опубликованной, рукописи «Карасукский могильник Сухое Озеро II» Г.А. Максименков. Наряду с подготовкой к публикации материалов (550 могил), им проведена серьезнейшая работа по анализу структуры могильника, что позволило выделить две большие группы погребений, различающиеся, по мнению автора, хронологически. Более того, эти группы были сопоставлены с двумя другими карасукскими могильниками Малые Копёны III и Карасук I, что позволило Г.А. Максименкову предположить существование двух этапов для всей массы классических памятников.

В основу данного исследования положен анализ планов серии крупнейших карасукских могильников (Сухое Озеро II, Малые Копёны III, Кюргенер I–II, Карасук I, Сабинка II и т. д.) методом горизонтальной стратиграфии. В применении к керамическому материалу это позволило выявить ключевые тенденции в развитии

отдельных элементов, в частности – от «богатых» орнаментов к более простым, от уплощеннодонных форм к круглодонным и т. д.

Основываясь на полученных результатах, автором была разработана собственная типология керамики. Ее принципиальное отличие от уже существующих заключается в использовании как орнаментальных мотивов, так и формообразующих признаков, тогда как предшественники применяли преимущественно только один из этих критериев [Новгородова, 1970; Зяблин, 1977; Максименков, 1978]. При разработке указанной типологии был использован 1221 сосуд из 17 крупнейших могильников, что составляет 73% известных материалов (взяты только крупные серии сосудов).

На следующем этапе исследования был осуществлен подробный статистический анализ встречаемости сосудов разных типов в одном погребении и повторное, более детальное, изучение планов могильников. В результате удалось выделить три хронологических пласта керамики, ярко прослеживаемых в материалах всех крупнейших карасукских могильников.

Заключительным шагом в разработке типологии стал всесторонний анализ максимального числа карасукских комплексов с целью сопоставления с керамикой элементов погребального обряда, конструкции погребений, бронзового инвентаря. В данном исследовании использованы материалы 2296 погребений, происходящих из 91 могильника, что составляет ~96% всего объема раскопанных на данный момент комплексов.

Полученные результаты убедительно подтвердили существование в рамках классического этапа карасукской культуры как минимум трех хронологических групп памятников. Обнаружены устойчивые связи между определенными типами керамики, ориентировкой погребенного и бронзовым инвентарем. Получены интересные материалы по результатам картографирования.

Указанные группы в дальнейшем маркируются как Ia, Ib и II. Этап I подразделяется на два хронологически самостоятельных этапа Ia и Ib. Различия в материалах минимальны и сводятся лишь к разнице в наборе керамики. Однако существуют два довода, делающие такое деление необходимым. Во-первых, это результаты анализа планов крупных могильников, где погребения Ib этапа всегда занимают периферийное положение по отношению к более ранним – Ia. Во-вторых, и это является решающим доводом, существует целая серия крупных могильников, где отсутствуют погребения Ia этапа, т. е. они начинают свое функционирование в качестве кладбищ с этапа Ib.

По данным, полученным в результате картографирования, подавляющее большинство погребений I этапа расположены в центральной и северной частях Хакасско-Минусинской котловины, что полностью совпадает с аре-

алом распространения на Енисее предшествующей андроновской культуры. В южной части котловины существуют отдельные могильники, где встречаются небольшие группы погребений Ib этапа (Сабинка II, Терт-Аба, Тигир-Тайджен II). II этап полностью охватывает весь регион без каких-либо исключений.

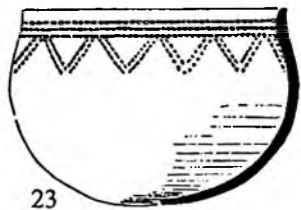
Погребения этапа I практически никогда не встречаются в виде отдельных могильников, их всегда сопровождают более поздние (II этап). Однако даже на плане их легко отличить от последних по организации пространства. Курганы I этапа располагаются хаотично, чаще в виде округлых скоплений. Расстояния между ними довольно значительные, часто превосходящие размер самого кургана в 3–5 раз. Сооружения II этапа обычно занимают периферийные участки могильника и располагаются рядами. Расстояние между ними заметно меньше, обычно оно не превосходит размер самого кургана более чем в 1–2 раза.

Заметно отличаются курганы и внешне. Ранние комплексы представлены как круглыми, так и прямоугольными оградами всегда довольно значительных размеров (часто более 10 м). Они бывают как одиночными, так и в виде целой системы пристроенных друг к другу оград (до 16 пристроек). В свою очередь, курганы II этапа практически исключительно прямоугольной формы и редко превышают 6–7 м в поперечнике. Максимальное количество пристроек 1–2.

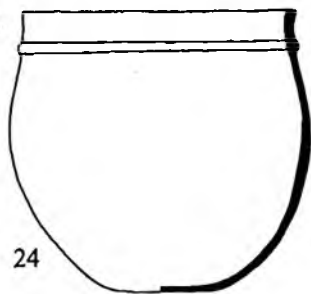
Погребальный обряд комплексов Ia этапа включает в себя труположение на левом полубоку головой всегда в восточном секторе. Этап Ib отличается только тем, что те редкие погребения, которые расположены в южной части котловины, уже демонстрируют ориентировку головой в западный сектор. Для II этапа характерно как положение погребенного на левом полубоку, так и на правом. Наряду с ориентировкой в восточный сектор появляется уже большая серия могил, где погребенный положен головой на запад. Причем последние четко локализируются в южной части Хакасско-Минусинской котловины.

Особенно интересные результаты получены при анализе сопроводительного инвентаря. Набор бронзовых вещей ранних комплексов чрезвычайно беден. Это височные кольца (рисунок, 3), пронизки (рисунок, 4), обоймочки, шилья (рисунок, 5), пуговицы с петелькой (рисунок, 6), ножи только одного типа – с кольцом и двугавровой в сечении рукояткой (рисунок, 7). Зато на II этапе неожиданно появляется целая серия бронзовых изделий, не имевших более ранних прототипов. Это лапчатые привески (рисунок, 17), биконические перстни (рисунок, 15), зеркала (рисунок, 14), «гвоздики» (рисунок, 21), ярусные бляшки (рисунок, 16). Наряду с ними сохраняются и уже существующие височные кольца, шилья и пронизки.

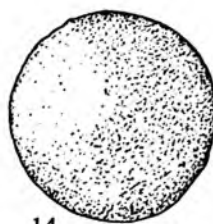
"арбанская" группа



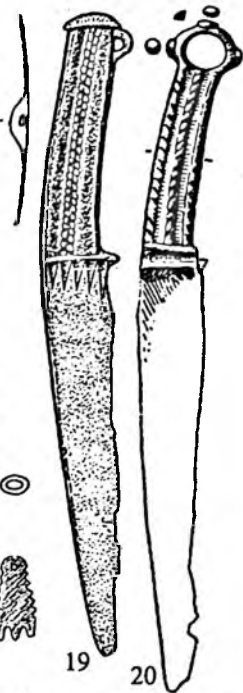
23



24



14

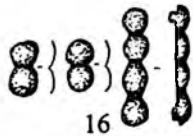


19

20



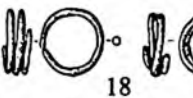
15



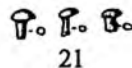
16



17



18

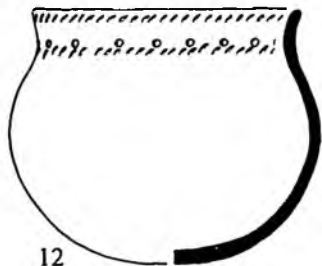


21

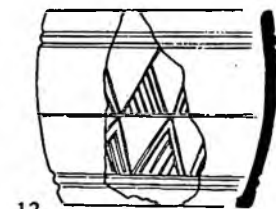


22

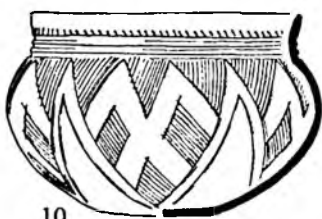
II этап



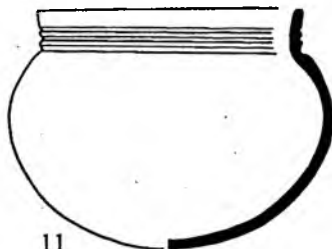
12



13



10



11

"Б"

8

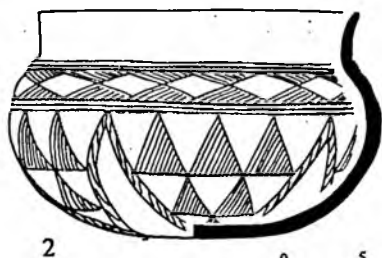
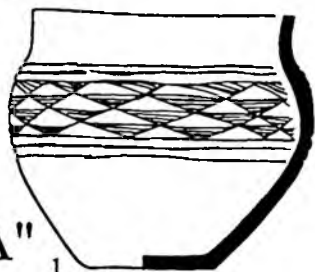


9

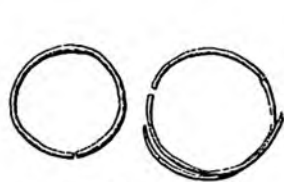
I этап

"А"

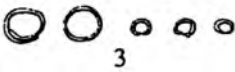
1



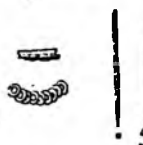
2



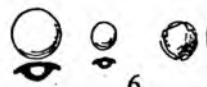
3



4



5



6



7

0 5

0 5

Значительно изменяется форма ножей. Появляются навершия с грибовидной шляпкой (рисунок, 19), с изображением головы животного или кольцом с тремя кнопками (рисунок, 20). В месте перехода лезвия в рукоятку встречаются шипы.

Керамика Ia этапа в основном уплощеннодонная (более 80% сосудов). Явно преобладают два типа сосудов. Первые (рисунок, 1) – андроновских пропорций (высота больше ширины, максимальный диаметр приходится на середину или верхнюю треть сосуда), без уступа, дно сильно уплощено. Вся посуда орнаментирована. Основные элементы – треугольники, ромбы, горизонтальный зигзаг на тулове сосуда. Вторые (рисунок, 2) – традиционно карасукских приземистых пропорций (ширина больше высоты, максимальный диаметр ниже середины сосуда), дно слабоуплощенное, сильно выраженный уступ у основания шейки, шейка очень высокая (до 6–7 см), все сосуды орнаментированы (ряды ромбов, заштрихованные треугольники и т. д.). В могиле обычно присутствует один сосуд.

Керамика Ib этапа крайне стандартна. На смену разнообразию ранних форм и орнаментов приходит очень строгий набор из сосудов всего двух типов. Первый продолжает линию развития сосудов с уступом (рисунок, 9) – это приземистый тип с уступом и несколько меньшей высотой шейки, без каких-либо орнаментов, исключительно круглодонный. Второй тип (рисунок, 8) – несколько большие сосуды с высотой, равной ширине, без уступа, круглодонные и всегда с простым орнаментом в виде ямок под венчиком, расположенных через равные промежутки. На этом этапе в могилу обычно ставились 1–2 сосуда.

С началом II этапа связан настоящий «взрыв» в керамической традиции. Набор керамики претерпевает серьезные изменения. Сосуды с уступом полностью вымирают. Им на смену приходит новый ведущий тип керамики – сосуды с несколькими желобками у основания шейки, довольно часто на них встречается дополнительный орнамент (рисунок, 10 и 11). Продолжают развиваться сосуды с «ямочным» орнаментом. Ямки теперь группируются с некоторыми разрывами, появляются дополнительные элементы обычно в виде косых насечек (рисунок, 12). Возникает принципиально новый тип керамики – «бадейки» (рисунок, 13). Это плоскодонные цилиндрические сосуды, часто с наклепными ручками. Развивается тенденция к увеличению числа сосудов в могиле. Теперь их чаще бывает 2–3, а в отдельных случаях встречается до 8 сосудов.

Отдельно стоит упомянуть керамику «арбанской» группы памятников (Арбан I, Терг-Аба, Торгажак, Есинская МТС I, Хара-Хая). Это довольно обособленная локальная группа в составе II этапа, которая выделяется несколько отличающейся керамикой. В первую очередь, обращает на себя внимание выполнение вполне тради-

ционных орнаментов (желобки, треугольные фестоны и т. д.) зубчатым штампом (рисунок, 23). Второй важный признак – заметное разнообразие формы сосудов. Встречаются отдельные сосуды с валиками (рисунок, 24). Определить роль данной группы в составе II этапа довольно сложно. Можно лишь констатировать локальность этого образования.

Взаимосвязь с предшествующей культурой не вызывает сомнения. Ранняя группа памятников (этап Ia) очень близка к андроновскому пласту. Большие ограды круглой формы, сложенные методом цистовой кладки, лаконичный бронзовый инвентарь, практически идентичный андроновскому, керамика андронидных форм с характерным орнаментом и т. д. – все эти признаки подтверждают постандроновский характер происхождения карасукской культуры. Важно отметить лишь один момент. Нет никаких оснований связывать происхождение культуры исключительно с местным енисейским андроном. Многие элементы, особенно в керамическом материале, позволяют предполагать участие в формировании культуры андроновских компонентов из более западных районов.

Следующий этап (Ib) – внутреннее саморазвитие культуры без каких-либо инноваций со стороны. Конструкция погребений, обряд, бронзовый инвентарь сохраняются в первоначальном виде. Единственное, что подвергается изменению, – это керамический материал. Однако и он типологически связан с предшествующим этапом. Исчезает орнамент, форма становится окончательно круглодонной, происходят некоторые другие косметические изменения. Керамика максимально стандартизируется. Все это – лишь результат изолированного саморазвития, о чем говорит масса погребений переходного типа со смешанной керамикой.

Принципиально иначе выглядит переход ко II этапу, который, вероятно, связан с сильнейшими внешними воздействиями. Меняются очень многие элементы погребальной культуры, начиная с планировки кладбищ, где на смену хаотичной застройке приходит планомерное линейное размещение курганов. Практически исчезают (за редким исключением) ограды круглой формы, а вместе с ними и методика цистовой кладки. Заметно снижаются размеры курганов, исчезают большие системы пристроек. Формируется традиция погребения на правом боку. Начинается заметно более активное распространение ориентации погребенного головой в западный сектор. В бронзовом инвентаре возникает целый список новых категорий бронз, не имеющих прототипов в материалах ранних этапов. Это лапчатые привески, биконические перстни, зеркала, «гвоздики», ярусные бляшки и т. д. Трансформируются некоторые элементы традиционных дугообразнообушковых ножей. В отдельных случаях появляются шипы и разнообразные типы на-

верший: грибовидные, зооморфные, кольцевидные с тремя кнопками.

Отдельного описания заслуживает изменение керамического материала. В первую очередь, поражает разнообразие типов и присутствие принципиально новых форм и орнаментов. Ведущая роль от сосудов с уступом переходит к керамике с орнаментом в виде резных желобков под венчиком. Вновь возвращаются в отдельных случаях формы с уплощенным дном и зубчатый штамп. Наряду с этим появляются сосуды яйцевидных и бомбовидных форм, ни разу не отмеченные на ранних этапах. В редких случаях встречаются формованные валики и налепные ручки.

Трудно даже перечислить весь объем произошедших изменений. Причем основная их масса – это нововведения, до того в материалах культуры не проявлявшиеся. Из этого можно сделать только один вывод. Само формирование II этапа явилось следствием мощнейшего внешнего импульса.

Особо обращает на себя внимание, что практически весь спектр перечисленных инноваций продолжит свое существование уже в рамках каменноложского этапа культуры, тем самым прочно связав его со II этапом, – это линейное расположение курганов исключительно прямоугольной формы; ориентация погребенного головой в западном секторе; весь вышеперечисленный список бронзовых изделий; грибовидные и зооморфные навершия ножей; сосуды с тремя желобками, валиками, ручками; керамика яйцевидной и бомбовидной форм, бадейки.

Практически к началу каменноложского этапа от первоосновы карасукской культуры (этап Ia) уже ничего не сохранилось. Небольшое количество каменных ящиков и оград из вертикально вкопанных плит и отдельные случаи погребений на полуобуку, вероятно, следует воспринимать как рудиментарные.

Интересен вопрос о происхождении волны влияний, приведшей к формированию II этапа классической части культуры. В первую очередь, необходимо обратить внимание на ареал его распространения. В отличие от I эта-

па, занимающего центральную и северную части котловины, курганы II этапа распространяются и на южную ее часть. Именно в южных районах, в первую очередь, проявляется весь описанный спектр новшеств. Группы погребений II этапа, расположенные в более северных районах, заметно консервативнее. К примеру, там практически никогда не встречается ориентировка в западный сектор, крайне редки лапчатые привески и биконические перстни.

На основании этого можно предположить, что именно расширение занимаемой территории привело к возникновению новых контактов и, как следствие, положило начало процессу трансформации. Наиболее вероятно, что эти контакты были ориентированы в южном направлении.

Несколько осложняет решение данного вопроса двухкомпонентность указанных изменений. Из всего потока новых культурных элементов можно выделить две составляющие. Первая – новая «волна» андронидных компонентов, не отмеченных на раннем этапе культуры (лапчатые привески, биконические перстни и т. д.), и частичный возврат к уже существовавшим традициям в керамике: уплощеннодонность, зубчатый штамп, геометрическая орнаментация. Вторая – принципиально новые элементы, в основном культурно связанные с центральноазиатским регионом. Это все типы наверший ножей (грибовидные, зооморфные, трехкнопочные) и, возможно бронзовые зеркала.

Стоит обратить внимание на то, что каменноложский этап также связан с территориями центральноазиатского региона (ПНН, коленчатый тип ножей). Вполне закономерен вопрос, не являются ли формирование II этапа классической части карасукской культуры и возникновение памятников каменноложского типа этапами одного культурно-исторического процесса. Ответить на этот вопрос однозначно на данной ступени исследованности материала невозможно. Однако исключать такой возможности нельзя.

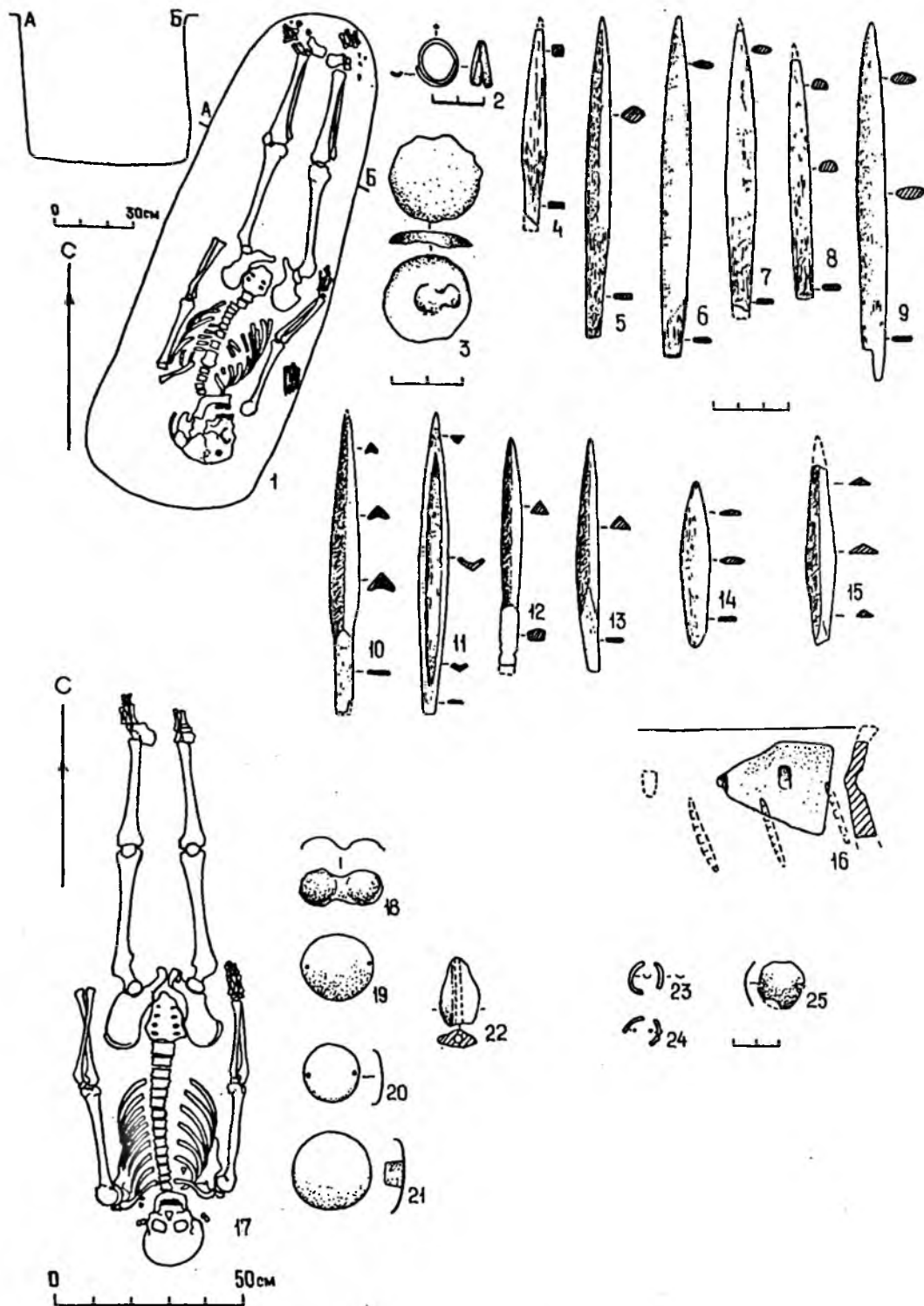
В.В. ПОТАПОВ

ОБ ОДНОЙ ГРУППЕ ПОГРЕБЕНИЙ ИЗ САРАТОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

М.Г. Мошкова опубликовала украшения из погребения 2 кургана 8 у с. Ровное (раскопки И.В. Синицына). Это бронзовые бляшки – восьмерковидные, круглые нашивные и полусферическая пуговица с обратной петелькой [Мошкова, 1963, с. 16], обычные для памятников черноторовской культуры. Восстановить этот комплекс достаточно полно удалось с помощью М.А. Изотовой по

дневниковым и отчетным данным, хранящимся в саратовском архиве.

Погребение было впущено в насыпь кургана, в 3,3 м северо-западнее его центра, на глубину 0,65 м от поверхности. Костяк лежал вытянуто на спине, черепом к югу (рисунок, 17). По дну отмечены темные следы от подстилки. Находки были сосредоточены в районе черепа,



Погребение из Саратовского Поволжья:

1-16 – погребение 33 грунтового могильника у с. Новопривольное; 17-22 – погребение 2, курган 8 у с. Ровное;
23-25 – погребение 5, курган 3 у с. Букатовка

шейных позвонков и на груди. Среди них три восьмерковидные бляшки (рисунок, 18) и «спиралевидные украшения из тонкой желобчатой пластинки», которые, скорее всего, располагались у черепа. На груди находились (две?) выпуклые бляшки с парными отверстиями для пришивания (рисунок, 19, 20). Кроме того, была найдена «бронзовая круглая сферическая бляшка со штифтиком для крепления к ремню» (рисунок, 21). Вокруг шеи и черепа обнаружены 22 бусины из сурьмы, а на правом плече – наконечник стрелы со скрытой втулкой и плавным очертанием пера (рисунок, 22). В дневниковых зарисовках имеются не упомянутые в тексте украшения в виде обойм или спиралей.

Несмотря на то, что ряд вещей находит аналогии в черноголовских памятниках, погребальный обряд отличается от черноголовского. Вытянутое на спине положение погребенных в позднейших предскифских и предсавроматских могилах не редкость. Однако описанные выше бляшки разных типов встречаются почти исключительно в захоронениях ранней группы, содержащих, как правило, скорченные костяки. В Северном Причерноморье и на Нижнем Дону в предскифскую эпоху изредка встречается южная ориентировка погребенных, а в Поволжье она, насколько мне известно, ни разу не зафиксирована. Вытянутые же на спине головой к югу погребения исследованы все в том же Саратовском Поволжье. Это погребение 33 грунтового могильника у с. Новопривольное [Дремов, Семенова, 1998, с. 101] и погребение 5 кургана 3 у с. Букаровка [Ляхов, 1994, с. 84–85; Дремов, Семенова, 1998, с. 101; Тихонов, Якубовский, 1999, с. 162–166], датированные авторами публикаций «киммерийским» временем. Здесь погребенные были уложены вытянуто на спине и ориентированы на юг с отклонением к востоку. Инвентарь представлен украшениями или предметами вооружения. Эти погребения отличаются от погребений степей Восточной Европы начала раннего железного века не только по обряду, но и по находкам стрел: металлической из с. Ровное, курган 8, погребение 2 и костяных из с. Новопривольное, погребение 33. Такие стрелы неизвестны в черноголовской культуре, но встречаются за ее географическими пределами. Все это делает необходимым поиск культурных соответствий данным погребениям, с одной стороны, а с другой – требует более пристального хронологического анализа происходящих из них находок и расширения круга аналогов¹.

Так, восьмерковидные бляшки, однотипные найденным у с. Ровное, курган 8, погребение 2, известны не только в черноголовских комплексах, но и в инокультурных, более ранних памятниках [Аванесова, 1991, с. 65; Павлов, 1995, с. 47–56; Халиков, 1980]. Точно так же и нашивные бляшки, подобные ровненским, встречаются в более раннюю эпоху. Они появляются еще в абашевских па-

мятниках [Малов, 1992, с. 35–36] и, судя по их находкам в андроновских комплексах [Маргулан и др., 1966, с. 107; Аванесова, 1991, с. 64–65; и др.], непрерывно бытуют до финала поздней бронзы [Матющенко, 1974; Халиков, 1980, с. 49; Зданович, 1988; Березин, Калмыков, 1998, с. 59] и начала раннежелезного века.

Главным хронологическим индикатором для погребения у с. Ровное, курган 8, погребение 2 является наконечник стрелы. Наконечники этого типа достаточно широко распространены в памятниках конца эпохи бронзы Казахстана, Средней Азии и Алтая. Их находки известны на поселениях различных культур: амирабадской [Итина, 1977, с. 160–161], алексеево-саргаринской [Черников, 1960, с. 44; Маргулан, 1979, с. 213; Зданович, 1988; Демин, Ситников, 1999, с. 27], а также из донгальского горизонта поселения Кент [Варфоломеев, 1987, с. 62]. Есть они и на могильниках этого времени [Маргулан, 1979; Маргулан и др., 1966, с. 270; Итина, 1992, с. 35]. Единственная находка таких стрел, связываемая с началом раннего железного века, происходит из поселения Куюсай [Вайнберг, 1979, с. 42–43]. Однако все происходящие оттуда архаичные разновидности стрел представляют собой подъемный материал [Медведская, 1972, с. 85], что ставит под сомнение их связь с памятником. Не может свидетельствовать о поздней дате и находка на поселении Кент, так как, по моему мнению, памятники нурского и донгальского типов относятся к самому финалу поздней бронзы, не выходя за его рамки [Потапов, 2001]. Так же датируется и комплекс из с. Ровное.

Погребение 33 из с. Новопривольное содержало височное желобчатое кольцо из электра (рисунок, 2), бляшку-пуговицу с петлей на обороте (рисунок, 3) и набор костяных стрел удлиненной формы с невыделенным или слабо выделенным черенком (рисунок, 4–15). Морфологически наиболее близкие новопривольненской электровые подвески происходят из кобанских погребений XII–X вв. до н. э. Центрального Кавказа [Техов, 1977, с. 171]. Бляшка с маленькой петлей на обороте сходна с экземплярами, изредка встречающимися в степи в белозерскую эпоху. Однако щиток ее более крупный, чем у степных экземпляров. Похожие бляшки появляются в позднеприкавказских памятниках и продолжают бытовать в раннеананьинских. По сечению пера среди стрел из погребения 33 выделяются четыре типа: треугольный (рисунок, 10–13, 15), линзовидный (рисунок, 6–9, 14), прямоугольный (рисунок, 4) и ромбовидный (рисунок, 5) [Дремов, Семенова, 1998, с. 101, табл. XXVII]. Разнообразности стрел с треугольным и четырехугольным сечением пера достаточно широко распространены как географически, так и хронологически [Эпоха бронзы..., 1987, с. 280, 286, 293; Горбунов, Обыденнов, 1975, с. 254–255; Иванов, 1984, с. 14, 33; Потемкина, 1985, с. 65, 133;

Зданович, 1988, с. 105; Троицкая, Новиков, 1988, с. 39–42]. Наиболее типологически близкие стрелы известны в раннеананьинских памятниках в Волго-Камье [Халиков, 1977, с. 205; Патрушев, 1982, с. 48], однако, по наблюдению А.Х. Халикова, этот тип наконечников появляется на маклашеевском этапе приказанской культуры [Халиков, 1969, с. 307; 1980, с. 50]. Из этого же региона происходят аналогии и другому типу стрел из с. Новопривольное – листовидные, линзовидные в сечении, которые, однако, встречены в предананьинских памятниках [Халиков, 1969, с. 307; 1980, с. 50]. Таким образом, погребения у с. Новопривольное и с. Ровное можно считать одновременными.

Погребение Букатовка II, курган 3, могила 5, идентичное по обряду двум предыдущим погребениям, может быть синхронизировано с ними по наличию нашивных бляшек с двумя отверстиями (рисунок, 23–25), аналогичных найденным в с. Новопривольное.

Набор стрел свидетельствует не только о синхронности новопривольненского комплекса позднеприказанским памятникам, но и о его волго-камском происхождении, что было отмечено в публикации [Дремов, Семенова, 1998, с. 101]. В пользу этого говорит и расположение бляшки-пуговицы на черепе. Оно опять же характерно для Волго-Камья, где в конце поздней бронзы – начале раннего железного века такие бляшки входили в состав налобных венчиков или головных уборов [Халиков, 1969, с. 313–314; 1980, с. 49; Патрушев, 1982, с. 189; Патрушев, Халиков, 1982, с. 12, 13, 14; и др.]. Большая часть украшений из с. Ровное, ровненские и букатовские нашивные бляшки обычны для налобных повязок из Волго-Камья, оформляющихся в маклашеевское время [Халиков, 1980, с. 49]. Кроме того, обряд рассмотренной группы, резко отличающийся от господствующего в это время в степи, находит достаточно полные соответствия в обряде маклашеевских погребений [Халиков, 1980, с. 26–27].

Необходимо отметить, что в финале эпохи поздней бронзы в степи постоянно ощущается маклашеевское влияние в виде проникновения отдельных вещей, как, например, кельтов с лобным ушком [Иессен, 1951, с. 87, рис. 13; Потапов, 1993, с. 218–219]. На поселениях Северского Донца отмечены «свидетельства контактов с приказанской культурой маклашеевского этапа» [Гор-

бов, 1996, с. 20–21]. Известны в степной полосе Восточной Европы и другие материалы того же происхождения. Однако пока только в Саратовском Поволжье мы имеем свидетельства инфильтрации позднеприказанского населения, по крайней мере отдельных его представителей.

Проникновение в степь представителей северного населения является отражением тех процессов, которые происходили в Восточной Европе в конце эпохи поздней бронзы. К XII в. до н. э. срубная культурно-историческая общность сходит с исторической арены. С одной стороны, эта общность на значительной части своей территории трансформируется в иные культурные образования, изучение и выделение которых находится в начальной стадии. Исключение, пожалуй, составляет выделенная в 80-е гг. хвалынская культура [Малов, 1992]. С другой стороны, территории, занимаемые ранее срубными племенами, осваивает иное по происхождению население. С севера проникают бондарихинские и чернолесские племена, с Северо-Западного Кавказа в низовья Дона переселяются кобьяковцы. Появление в Саратовском Поволжье маклашеевского населения – явление того же порядка. Однако преждевременно говорить об освоении какой-то части этого региона носителями позднеприказанской культуры. Мы имеем на настоящее время лишь свидетельства о проникновении отдельных таких носителей, но не о сплошном заселении каких-либо районов.

¹Предваряя такой анализ, необходимо отметить некоторую нестыковку систем абсолютного датирования памятников финальной бронзы – раннего железного века, применяемых для восточных и западных культур. Иными словами, согласно используемым для территорий Северного Причерноморья, Дона и Северного Кавказа хронологическим разработкам А.И. Тереножкина и Г.И. Смирновой [Тереножкин, 1976, с. 196–197, 206–207; Смирнова, 1985], граница между эпохами бронзы и железа близка рубежу X и IX вв. до н. э. В работах, посвященных памятникам и культурам, расположенным восточнее Волги, эта граница проводится где-то в начале VIII в. до н. э. Неудачная попытка синхронизировать по металлическим изделиям культуры «валиковой» керамики с памятниками XII–X вв. до н. э. предпринята Н.А. Аванесовой [1991, с. 92]. Важно то, что существование различных хронологических схем не свидетельствует об асинхронности рубежа эпох бронзы и железа для восточных и западных культур.

Т.М. ПОТЕМКИНА

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ САКРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В ЭНЕОЛИТЕ СТЕПНОЙ ЕВРАЗИИ

Открытие и исследование в 70–90-х гг. XX в. круглоплановых святилищ с астрономическими ориентирами типа «рондел» и «хенджей» в Западной Европе и За-

уралье (Савин I) свидетельствуют о существовании у населения V(?)–IV–III тыс. до н. э. на широкой территории степной и лесостепной Евразии цельной концептуальной

системы миропонимания, основой которой являлась трехчастная модель мира в ее горизонтальной и вертикальной проекциях с делением Вселенной на три основные сферы – нижнюю, среднюю и верхнюю.

На это указывают *основные принципы* пространственной и временной организации сакрального пространства святилищ: 1 – доминирующее положение на местности; 2 – правильная круговая архитектура, образованная рвами, валами, частоколами, с главными входами по странам света, со столбовыми и каменными конструкциями, фиксирующими восходы и заходы основных небесных светил; 3 – наличие в центре круга сооружений в виде прямоугольных или овальных углублений, ям, столбов и др.; 4 – присутствие значительных жертвенных комплексов: из костей животных, сосудов, орудий, предметов с солярно-астральной символикой, кусков и пятен охры, мела, мощных углистых прослоек; 5 – человеческие жертвоприношения; 6 – проявления длительного и обширного возжигания огня; 7 – следы использования цветовой символики (красной и желтой глины, мела, охры, угля).

Привлечение данных астрономии свидетельствует, что отдельные конструкции святилищ (столбы, менгиры, камни, валы, проходы и коридоры во рвах, оформленные столбами и частоколами, и т. п.) выполняли функции маркеров солнечных и лунных направлений, приуроченных к сезонным и суточным изменениям положений светил. Повсеместно наиболее значимые жертвенные комплексы были связаны с конструкциями, фиксирующими восходы и заходы Солнца и Луны в дни равноденствий и солнцестояний, что есть суть направлений В, З, СВ, ЮВ, СЗ, ЮЗ и близких к ним. Это указывает, прежде всего, на календарное (информативное) назначение рассматриваемых памятников. Вместе с тем наблюдаемая по многим артефактам связь основных ритуально-обрядовых действий с восходом Солнца и Луны в наиболее значимые для природных циклов года дни (направления В, СВ, ЮВ и близкие к ним) заставляет предполагать отношение к данным светилам как к божествам [Потемкина, 2001, с. 166–218].

Есть все основания полагать, что круглоплановые святилища с астрономическими привязками, в числе которых немало масштабных, как, например, широко известный Стоунхендж, осмысливались его создателями как модель Мира и потому имели строго организованную пространственную структуру в соответствии с горизонтальной, вертикальной и горизонтально-вертикальной проекциями Вселенной. По мировоззренческой логике ей придавалось не просто астрономическое, а более сложное и сущностное мифолого-ритуальное и космологическое содержание. Повсюду появление подобных святилищ связано с переходом к производящим формам хозяйства.

Используя комплексный подход к материалам святилища Савин I, можно попытаться реконструировать один из вариантов подобной модели, устанавливая связь архитектуры святилища в целом, отдельных его конструкций и выявляемых свидетельств культовой практики с конкретными составляющими проекциями предполагаемой модели Мира у энеолитического населения Зауралья [Потемкина, 2001, с. 166–185, рис. 1–3].

Горизонтальная модель на Савине I четко прослеживается на примере основных архитектурных элементов – входных коридоров первого круга с восточной и западной сторон, а также валов за пределами обоих кругов с восточной стороны.

Связь восточного коридора и вала с Верхним (небесным и светлым) миром была основана в представлении древних на появлении диска восходящего Солнца и первых его лучей на горизонте напротив просвета коридора и насыпи вала вдоль его оси в дни равноденствий. Эта связь, вероятно, подчеркивалась цветовой символикой, если учесть ярко-желтый цвет внутренней площадки круга и коридора, очищенной от верхнего слоя земли до материковой глины, а также насыпи вала, сложенной из светлого материкового слоя с подсыпкой белого песка в основании.

С Нижним миром был связан западный входной коридор, фиксирующий точку исчезновения солнечного диска на горизонте в эти же дни. Связь западного направления на святилище с Нижним миром, миром мертвых, маркирует также юго-западная ориентировка всех трех погребенных в ритуальном захоронении во рву второго круга.

Средний мир, вероятнее всего, ассоциировался с прямоугольным сооружением в центре очерченной кольцевым рвом площадки, где находились центральный столб-гномон и основная часть наиболее интересных археологических находок. Это предположение соответствует представлениям о Среднем мире как месте, откуда можно вести наблюдения, «видеть» Верхний и Нижний миры и контактировать с ними и его обитателями путем разного рода ритуалов и обрядов, главным образом посредством жертвоприношений. Именно в пределах центра прямоугольного сооружения находились столбы, с помощью которых осуществлялось визирование на основные точки направления восходов и заходов Солнца и Луны в наиболее значимые дни года.

Выявлена также и вертикальная трехчастная модель Вселенной. Символом Верхнего мира в вертикальной проекции, вероятнее всего, являлись столбы-маркеры того или иного солнечного направления. Эта связь устанавливалась, прежде всего, благодаря тому, что столбы отмечали место появления главного божества Верхнего мира – Солнца, первыми принимали на себя его лучи

и отмечали дальнейший путь на небосводе. Некоторые столбы могли иметь сходное смысловое содержание, но связанное с Луной и представлениями о ее месте во Вселенной. Столбы-меты могли обозначать также мировое или космическое дерево, к разным частям которого были приурочены определенные миры. С Верхним миром в вертикальной модели Вселенной был связан огонь, следы которого имеются у каждого значимого столба-маркера. Мифы многих народов мира, прежде всего индоевропейских и индоиранских, свидетельствуют о персонификации огня с Солнцем.

С Нижним миром в вертикальной проекции ассоциировалось место ниже поверхности земли. Как связь с Нижним миром могут рассматриваться: ритуальные захоронения двух черепов внутри первого круга и трех человек во рву второго; основания столбов, вкопанных в землю; предметы с лунарной символикой, обнаруженные в жертвенном комплексе западного входного коридора (у многих народов Луна была символом Земли, земных недр, Нижнего мира).

Средний мир в вертикальной проекции занимает то же место, что и в горизонтальной, со сходными представлениями о нем. Наиболее значимые элементы двух проекций одновременно присутствуют в центральных сооружениях обоих кругов.

Таким образом, исследования круглоплановых святилищ эпохи энеолита свидетельствуют, что наблюдения за астрономическими явлениями лежали в основе жизненных функций общества. Они же легли в основу мировоззренческих представлений, связанных с пониманием Вселенной. Положения Солнца и Луны, фиксирующие сезонные изменения, стали основополагающими в создании моделей Мира и их составных частей.

Отмеченные выше основные признаки сакрализации пространства, характерные для святилищ, присутствуют также в ранних курганах эпохи энеолита степей Евразии, что свидетельствует о сходной мировоззренческой основе архитектуры этих видов памятников.

Примером может служить древнейшая насыпь эпохи энеолита с ритуальным комплексом из столбовых конструкций кургана 9 у с. Красное в Нижнем Приднестровье [Серова, Яровой, 1987, с. 42–81, 121–125, рис. 1, 20, 21, 31, 32]. В курганной группе из 11 курганов (рис. 1, II), вытянувшихся цепочкой в направлении с ЮЗ на СВ 40–45° (согласно опубликованному плану), курган 9 является единственным, включающим захоронения эпохи энеолита, и потому может рассматриваться как наиболее ранний. Во всех остальных курганах, за исключением 8, 11, относящихся к скифскому времени, основными являлись ямные погребения.

Древнейшая насыпь диаметром 11 м, высотой 0,5 м была возведена над энеолитическим погребением 16, по

мнению авторов раскопок, ограбленным в древности (рис. 1, I). Кости скелета мужчины 40–45 лет, окрашенные красной охрой, находились в беспорядочном состоянии (рис. 1, III).

Одновременно с центральным захоронением, к северо-востоку от него, на уровне древней поверхности было сооружено святилище, конструкция которого состояла из шести дубовых столбов диаметром 0,25 м, высотой 1,9 м, вкопанных в глубокие ямы (рис. 1, IV). С сооружением связана жертвенная яма, заполненная кальцинированными костями животных. Четыре столбовые ямы были попарно соединены двумя параллельными ровиками, образующими коридор длиной 1,6–1,7 м, шириной 0,5–0,6 м, ориентированный (согласно плану) в направлении СВВ-ЗЮЗ (72–74°). Площадка между ровиками, столбами и жертвенной ямой была выложена камнями со следами обжига.

Вокруг центральной могилы и ритуальной конструкции был вырыт ров диаметром 12,5 м, с разрывом-проходом с юго-западной стороны.

После сооружения насыпи вершины столбов выступали над ее поверхностью, и вокруг них была сделана каменная выкладка, на которой разводился огонь. Одновременно в поле насыпи, к югу от центрального погребения 16, было совершено еще одно погребение 17. Могильная яма, ориентированная по линии ЮЮВ-ССЗ, была перекрыта на уровне поверхности насыпи деревянными плахами, обмазанными белой глиной. Судя по останкам скелета, погребенный (взрослый человек) был положен на правом боку головой на ЮЮВ, лицом на СВ. Костяк был интенсивно «окрашен» малиновой охрой; рядом – комки охры, угли, вкладыш серпа и наконечник стрелы пулевидной формы из кремня. За спиной умершего находился «окрашенный» охрой скипетр из рога крупного оленя с отверстием для насадки на рукоятку. Весь набор кремневого инвентаря характерен для энеолитических кургатур Балкано-Дунайского региона.

На завершающем этапе сооружения древнейшей насыпи кургана полы насыпи, в том числе и над погребением 17, были укреплены широкой круглой каменной обкладкой из плотно подогнанных известняковых камней. В каменную обкладку специально укладывались стилизованные изображения голов быка, вырезанные из известняка. Во рву, преимущественно с южной стороны, обнаружены семь черепов туров (или зубров) и два черепа домашних быков, многочисленные кострища.

Авторы раскопок интерпретируют комплекс сооружений как одно из древнейших энеолитических святилищ, связанных с культом быка и с захоронением жреца или вождя племени, практикующего этот культ. Предлагаемая датировка: середина – вторая половина IV тыс. до н. э.

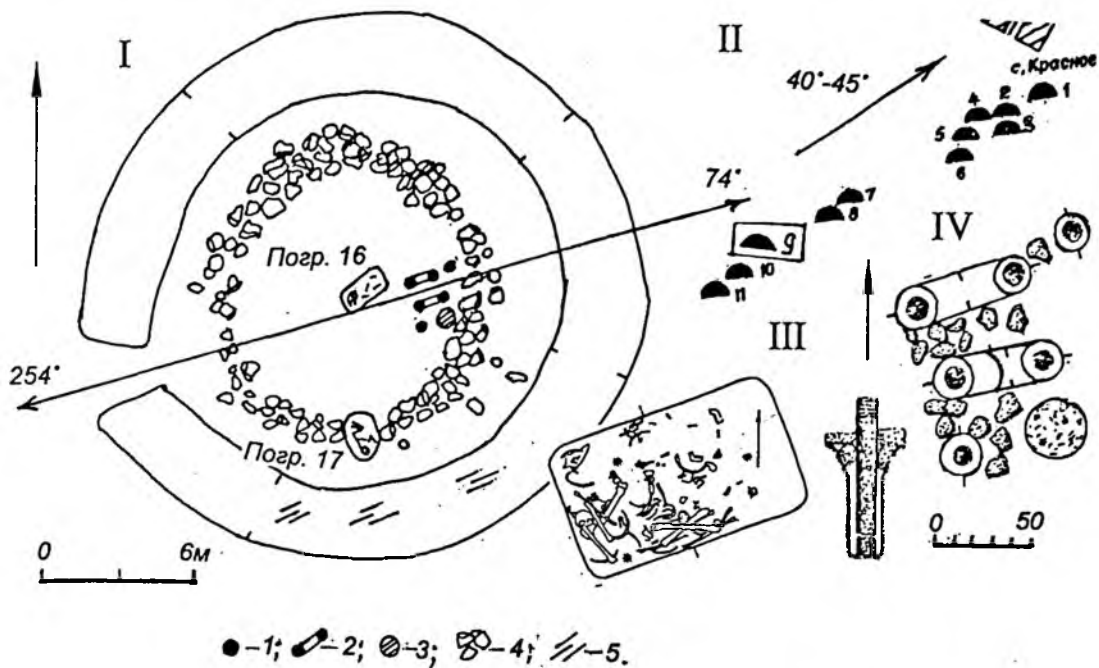


Рис. 1. Ритуальный комплекс кургана 9 у с. Красное в Нижнем Приднестровье

Даже при самом общем подходе к выявлению основных принципов пространственно-временной организации сакральной площадки раннего кургана 9, на основании только имеющихся в публикации планов погребений и сооружений, устанавливается их строгая зависимость от значимых для жизни энеолитического населения солнечных направлений. Важным подтверждением тому является нахождение на центральной осевой линии очерченного сакрального пространства кургана оси «коридора» святилища, основного погребения и середины прохода во рву. При этом весьма показательно, что направления оси всех трех объектов точно совпадают с направлением центральной оси (74°) (рис. 1, III, IV). Для широты расположения памятника (около 47° с. ш.) это направление соответствует точкам восхода солнца в конце апреля – начале мая или в конце августа – начале сентября [Потемкина, Юревич, 1988, с. 46, табл. 1].

В этом единстве трех основных объектов раннего кургана, связанным центральной осевой линией, ведущим, на наш взгляд, является проход между канавками с четырьмя столбами, которые представляли собой конструкцию для визирования точки восхода Солнца в интересующем строителей направлении, соответствующем определенному времени года. Близким аналогом данной конструкции являются «крылообразные» входы в круглоплановые святилища лендельской и баальбергской культур эпохи неолита и энеолита Южной и Центральной Европы, которые служили основными маркерами солнеч-

но-лунных направлений [Потемкина, 2001, с. 190–198, рис. 9, 2; 10; 11]. Вокруг отмеченной осевой линии развивалось все очерченное и сакрализованное пространство раннего кургана: конструкции святилища, захоронение жреца со скипетром, места жертвоприношений животных во рву.

Во всех наблюдаемых здесь ориентирах, символах и общей схеме пространственно-временной организации сакрализованного пространства присутствует солнечная направленность. Но вполне реально предположить наличие на памятнике и лунных ориентиров, тем более что в древних представлениях есть немало примеров о связи образов быка и луны, где бык – образ лунного божества, воплощавшего Землю, плодородие и нижний (хтонический) мир.

Расположение кургана 9 в крайнем положении в цепочке курганов, вытянутых по линии ЮЗ-СВ, предполагает, что святилище с конструкцией для визирования солнечных восходов явилось своего рода центром, откуда в дальнейшем разворачивалось и пространство всего курганного поля, поскольку цепочка курганов с основными древнейшими погребениями тянется в направлении, близком осевой линии древнейшего кургана 9.

Сходная вышеописанной система организации сакрального пространства выявлена в кургане 11 могильника Аккермень I на р. Молочной в Запорожской области ($47,3^\circ$ с. ш.) [Тереножкін, 1960, с. 3–9; Вязьмігіна и др., 1960, с. 112–117, рис. 30, 86, 87].

В группе курганов Аккермень I, протянувшихся цепочкой длиной 1,2 км с СЗ на ЮВ, раскопано 22 насыпи, где основными почти во всех случаях являются древнеямные захоронения. Курган 11 выделяется в группе крупными размерами и присутствием каменного ящика (размером 3,5 x 2,5 м) из больших песчаниковых плит, расположенных на древней поверхности под центром насыпи (рис. 2, I, III). С внешней стороны плиты были сплошь окрашены красной краской.

Вокруг центрального сооружения на уровне древней поверхности было выложено кольцо из плит известняка и песчаника; некоторые камни были поставлены на ребро. Затем над основным сооружением и каменной оградой была возведена ранняя насыпь диаметром 28 м, вы-

сотой 1,9 м из желтого суглинка (единственный случай в курганной группе).

К ранним объектам кургана, связанным с каменным ящиком, относятся (см. рис. 2, I): жертвенный комплекс между камнями кромлеха к югу от центра ящика (22), состоящий из нижней челюсти, двух бедренных и берцовых костей человека с обломанными эпифизами; площадка за пределами каменного кольца, на которой в большом числе были рассыпаны зубы быка (21); пять столбов (15–19) и кострище (20) к северо-востоку от центра за пределами кольцевой ограды; столбы (остатки дерева сохранились) диаметром 12–25 см находились в ямках, огороженных с разных сторон полукругом из вертикально поставленных каменных плиток.

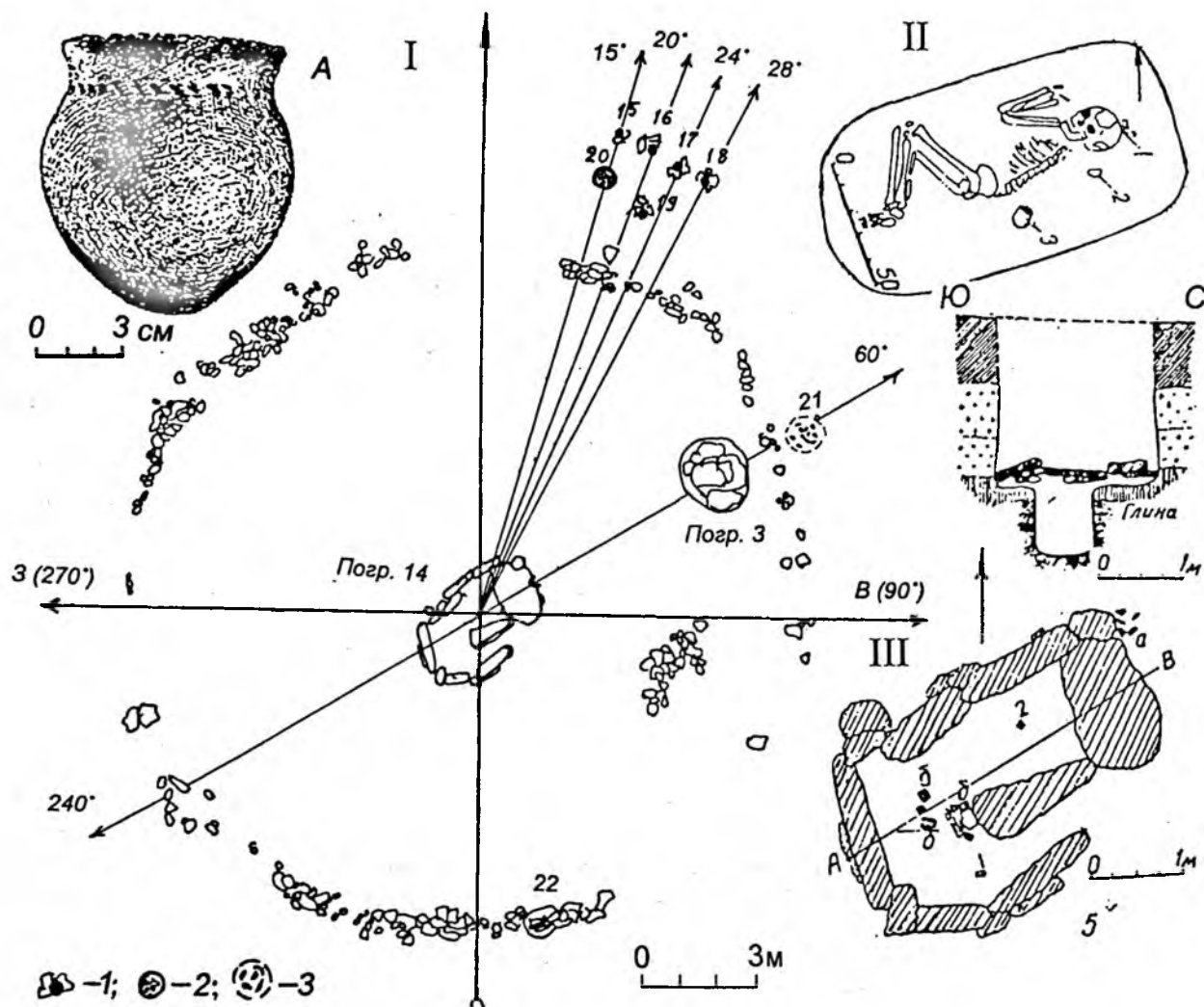


Рис. 2. Древнеямное захоронение кургана 11 могильника Аккермень I

Все впускные древнеямные погребения занимают четкое определенное положение по отношению к центру кургана, обозначенного каменным ящиком: непосредственно над ящиком на уровне поверхности насыпи из желтого суглинка; на основной осевой линии кургана, впущенные в материк через насыпь, к северо-востоку (погребение 3) и юго-западу (погребение 12) от центра; к югу от жертвенного погребения 22.

Организирующим центром пространства кургана в его горизонтальной и вертикальной проекциях являлся каменный ящик в центре. Авторы раскопок считают этот объект погребением, ограбленным в древности. Но имеющиеся данные дают основания полагать, что дольменоподобное сооружение являлось *главным жертвенником*, своего рода алтарем, обозначившим центр очерченной сакральной площадки кургана 11, а возможно, и всего пространства могильника и *связанным с культово-обрядовыми действиями*, посвященными Солнцу и Луне как главным Божествам в существующей модели Мира.

Об этом свидетельствуют: 1 – своеобразие самой конструкции, единственной в курганной группе; 2 – окрашенность ящика в красный цвет, символизирующий солнце, огонь; 3 – расположение в центре и на главной осевой линии кургана, ориентированной в направлении 60°, что с учетом азимутов восхода солнца в дни летнего (52,2°) и зимнего (307°) солнцестояний для широты расположения памятника (47,3°) должно соответствовать

точке восхода солнца в последние дни мая или июля; 4 – наличие внутри ящика следов жертвоприношения и отсутствие четких свидетельств погребения; 5 – привязка к центру каменного ящика и его осевой линии всех других объектов кургана; 6 – насыпь из желтого суглинка и круглая каменная ограда, символизирующие солнечный, светлый мир.

Комплекс из пяти столбов с каменными оградками и одного кострища, вероятнее всего, имеет отношение к некоторым положениям Луны на небосводе. Столбы могли также указывать направления на какие-либо важные объекты на курганном поле или на горизонте.

Расположение на одной линии центрального алтаря других жертвенников и погребений с противоположной солнечной ориентировкой и разным социальным статусом, очевидно, отражало в представлениях древних место каждого объекта в горизонтальной и вертикальной структуре Вселенной, которая, по всем имеющимся данным, вырисовывается как трехчастная модель.

Приведенные выше примеры свидетельствуют, что археологически фиксируемые способы организации сакрального пространства и проявлений ритуальной практики на неолитических–энеолитических круговых святилищах и курганах степной Евразии практически идентичны. Все это предполагает существование на рассматриваемой территории сходных по структуре моделей Мира.

Е. САВВА

ГЕНЕЗИС, ПЕРИОДИЗАЦИЯ И АБСОЛЮТНАЯ ХРОНОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ НОУА

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА)

Синхронизация региональных археологических культур эпохи средней и поздней бронзы Юго-Восточной Европы с культурами Карпато-Дунайской зоны основана на традиционных хронологических схемах культуры Монтеору (по И. Нестору) и Ноуа (по А. Флореску). Однако детальный анализ погребального обряда культуры Ноуа, распространенной в эпоху поздней бронзы между Днестром и Трансильванским плато, доказывает, что периодизацию и абсолютную хронологию культуры Ноуа необходимо пересмотреть. В связи с этим радикально изменяется и суть вопроса о происхождении культуры Ноуа.

В работе учтены сведения о 710 погребениях (одиночных и в составе различной величины могильников), из них 695 – это погребения в виде труположений и только 15 – трупосождения. Большинство комплексов (565) концентрируются между Подкарпатьем Молдовы и левым берегом р. Прут. В западной зоне ареала, в Трансильва-

нии, известно около 140–145 погребений, информация о которых весьма ограничена и часто противоречива.

Основные черты погребального обряда культуры Ноуа отличаются устойчивостью и относительным типологическим однообразием. Одновременно выявлено, что в различных зонах существовали определенные отличия, которые были обусловлены сочетанием элементов культуры Ноуа с элементами предшествующих культур. Однако «западные» элементы (культуры Монтеору, Виетенберг, Комаров/Костиша) выявляются только в некоторых керамических формах и системах орнамента, а «восточные» (культуры многоваликовой керамики и срубная) присутствуют не только в керамическом комплексе, но и во всех остальных чертах погребального обряда – в ориентировке и положении погребенных, в форме погребальных сооружений и др. Основываясь на данных картографирования и статистического анализа, можно определить,

что основным и, вероятно, первоначальным ареалом культуры Ноуа была Северо-Западная Бессарабия и Молдавское плато на территории Румынии. Именно в этих зонах концентрируется не только основное количество поселений культуры Ноуа, но и наибольшее количество погребальных комплексов, в том числе и самые крупные могильники – Бэдражий Векь, Кирилень, Бурлэнешть, Трушешть, Краснолеука. Погребальные комплексы из этой зоны характеризуются преобладанием восточных элементов при самом незначительном присутствии элементов типа Виетенберг или Монтеору. Элементы культуры Комаров выявляются четче, и это вполне объяснимо, так как именно в этой зоне существовали территориально-хронологические контакты между культурой Комаров и Ноуа. Необходимо подчеркнуть, что эти контакты отражены не только в материалах погребальных комплексов, но и в материалах поселений (Магала, Невзиско, Котяла).

В погребальном обряде памятников культуры Ноуа восточной зоны ареала можно выделить ряд элементов, которые ясно указывают на влияние культур эпохи средней и поздней бронзы Северного Причерноморья. В группу таких элементов входят: преобладание ориентировки погребенных в восточном и южном направлениях; присутствие охры на костях погребенных; преобладание скелетов «восточного» антропологического типа; существование захоронений в курганах и курганно-грунтовых могильниках; преобладание сосудов, на которых полностью отсутствует орнамент «западной» традиции. Картографирование и результаты статистической обработки показывают, что сосуды с резными геометрическими орнаментами и каннелюрами преобладают в Трансильвании. Сосуды с каннелюрами в Пруто-Днестровском междуречье известны только в могильнике Остривец (два сосуда). Обычным для керамики восточной части ареала является присутствие валика, наколов и проколов под венчиком; полное отсутствие каннелюр и резного орнамента на канфарах и чашках. Распространение типов орнамента ясно указывает, что существовали региональные различия, возникшие под влиянием культур Виетенберг, Монтеору, Комаров/Костиша на западе и севере ареала культуры Ноуа и под влиянием культур Северо-Причерноморских степей на востоке ареала.

В соответствии с результатами всестороннего анализа погребений культуры Ноуа можно предположить, что погребальные комплексы Подкарпатья Молдовы и Трансильвании составляют два локальных варианта культуры, которые предлагаю назвать «Трансильванским» и «Подкарпатским» вариантами культуры Ноуа. Оба варианта содержат многочисленные элементы, которые связаны с традициями и влиянием культур Монтеору и Виетенберг. Эти влияния обнаруживаются главным образом

в преобладании сосудов, украшенных каннелюрами и резным орнаментом, морфологически очень похожих на сосуды, характерные для заключительных фаз культур Монтеору и Виетенберг (Аркюд, Клуж, Банд, Теюш и др.). Интересно отметить, что объем «западных» элементов в восточной части ареала (Бессарабия) минимальный, однако доля восточных элементов в западной части ареала (Трансильвания) весьма значительна. В то же время необходимо отметить, что основные элементы погребального обряда культуры Ноуа имеют самые широкие аналогии практически во всех археологических культурах эпохи средней и поздней бронзы, распространенных от Казахстана и Южного Урала до Балкан. Возможно, правы В.С. Бочкарев и А.М. Лесков [1978, с. 23–26], которые объясняют распространение «срубных элементов» в погребальном обряде большинства культур эпохи бронзы Северного Прикарпатья путем постепенного и длительного процесса миграции носителей культур срубно-андроновской общности на запад и юго-запад.

Своеобразная унификация погребального обряда в эпоху поздней бронзы от Подунавья до каспийских степей, вероятно, объясняется наличием единой культурно-генетической среды реципиентов. На огромной территории, от Казахстана и до Северо-Западного Причерноморья, в эпоху средней и поздней бронзы распространились однотипные погребальные сооружения, позы и ориентировки погребенных, аналогичные формы керамики и орнаментации сосудов, однотипные металлические изделия, предметы из камня и кости, песты-скипетры, псалии, зольники [Sava, 1998; Boroffka/Sava, 1998]. Эта своеобразная типологическая однородность практически во всех компонентах материальной культуры указывает на то, что культура Ноуа являлась составной частью древностей эпохи бронзы евроазиатского происхождения. Судя по всему, «восточные» элементы в культуре Ноуа более ранние, чем «западные», которые наиболее четко выявляются только в Подкарпатья Молдовы и Трансильвании, т. е. там, где культура Ноуа, вероятно, ассимилировалась с культурами Монтеору и Виетенберг, причем это произошло на самых заключительных этапах развития культур Монтеору и Виетенберг.

Значение «восточных» элементов в культурогенезе блока культур Ноуа – Сабатиновка бесспорно. Однако аргументация их присутствия и преобладания может быть принципиально верна только при условии объяснения процесса формирования единого культурного блока не как простой типологической суммы одной или нескольких археологических культур, а как феномен эпохи поздней бронзы всей зоны Карпато-Поднепровья. «Восточноевропейское течение» (по А. Флореску) не может быть отождествлено только с памятниками «срубно-хвалынского типа», а исходная географическая направленность «за-

падного течения» (также по А. Флореску) была, на мой взгляд, несколько иной. «Западное течение» необходимо связывать не с Центральной Европой (Hugelgräber-Kultur), а непосредственно с автохтонными культурами эпохи средней бронзы Карпато-Подунавья, которые практически постоянно на разных стадиях подпитывались инновациями и традициями Крито-Микенской цивилизации эпохи бронзы, что в итоге и предопределило существование, без каких-либо радикальных метаморфоз, в течение длительного времени – от эпохи ранней бронзы до поздней бронзы – таких культур, как Монтеору, Виетенберг, Отомань, Тей и других.

Анализ всех элементов погребального обряда культуры Ноуа позволяет сделать вывод о том, что периодизация А. Флореску (Ноуа I–II) не подтверждается по материалам погребальных комплексов. Вероятно, необходимо признать существование локальных вариантов – трансильванского и подкарпатского, которые, возможно, синхронны между

собой, но являются более поздними относительно погребальных памятников культуры Ноуа, распространенных между Сиретом и Днестром. Таким образом, от периодизации А. Флореску необходимо отказаться или формально поменять местами этапы Ноуа I и Ноуа II.

Синхронизация культуры Ноуа с заключительными фазами культур Комаров, Виетенберг C-D, Монтеору Ia–IIa, с ранними этапами культуры Сабатиновка и позднесрубной позволяет определить начало культуры Ноуа до XV в. до н. э. Другим аргументом в пользу удревнения абсолютной хронологии культуры Ноуа являются радиоуглеродные и дендрохронологические данные, полученные в последние годы для ряда культур эпохи бронзы Карпато-Подунавья [Pora, Boroffka, 1996; Palincas, 1996; 2000; Gogăltan, 1999] и Евразии [Трифонов, 1996; 1996a; 1997; 2001]. Исходя из проведенного исследования, абсолютную хронологию культуры Ноуа возможно определить между XVI–XIII в. до н. э.

Вл.А. СЕМЕНОВ

ГЕНЕЗИС АБОРИГЕНОВ-ОЛЕНЕВОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА САЯНО-АЛТАЙСКОГО НАГОРЬЯ

В процессе изучения материалов, полученных мной в Саянском каньоне Енисей, я нередко обращался за консультациями к Михаилу Петровичу Грязнову. Эрудиция, живой интерес к вновь открытым памятникам, доброжелательное участие, непререкаемый авторитет главы Сибирской археологии и многое другое привлекали к Михаилу Петровичу археологов-сибироведов. Методы исследования, осторожная манера изложения своей точки зрения выдавали в М.П. Грязнове ученого-позитивиста – представителя старой школы, сторонящегося сиюминутной конъюнктуры. Однажды я показал Михаилу Петровичу керамику из одной стоянки и не только получил исчерпывающую информацию о ее культурной принадлежности, но узнал также, что данный горшок делала женщина-левша. У него было потрясающее умение видеть и знать вещь. Занимался М.П. Грязнов и проблемами енисейских самодийцев-оленеводов.

Оленеводы Саяно-Алтайского нагорья представлены незначительными по численности этническими группами, проживающими в труднодоступных высокогорных регионах Восточного Саяна и Хангая. К ним относятся тофалары (в прошлом карагасы) численностью более 700 человек, тувинцы-тоджинцы, среди которых оленеводов не более 1000 человек, а также цаатаны (в Хубсугульском аймаке МНР) и некоторые группы орликских сойотов в Западной Бурятии. В XVII в. оленеводы-табынцы обитали в верховьях р. Абакан [Грязнов, 1978, с. 222]. В не-

давнем прошлом по р. Мана и Кан проживали оленеводы-камасинцы, почти полностью утратившие свой язык к началу XX в. Граница между Китаем и Россией, установленная к 1757 г., разделила тофаларов и тувинцев-тоджинцев, но связи между этими группами сохранялись благодаря экзогамным бракам. Об этом свидетельствуют определенные фольклорные источники – песни, зафиксированные Н.Ф. Катановым в карагасской среде, в которых упоминается р. Кизи-Хем. В кочевьях на этой реке карагасы сватали невест. Этногенез восточносаянских оленеводов восходит к самоедоязычным народам, тюркская аккультурация которых началась в первых веках новой эры. Археологические исследования в Тодже позволяют наметить в общих чертах генезис дотюркского населения этой части Тувы и сравнить их с другими археологическими секвенциями Саяно-Алтайского нагорья.

Наиболее важными памятниками Тоджинской котловины являются стоянки Азас I и Азас II, расположенные на правом берегу протоки между оз. Азас и Ходжир-Холь и известными в литературе как Тоджинские стоянки, или Тонмак, и памятники низовьев р. Тоора-Хем (правый приток Бий-Хема), исследованные М.А. Дэвлет. Стоянка Азас I (Тоджинская) была открыта и частично исследована С.И. Вайнштейном, М.А. Дэвлет, Вл.А. Семеновым. Азас II раскапывалась М.А. Дэвлет и затем, в течение трех полевых сезонов, Вл.А. Семеновым. Это очень важный памятник, так как он дает ключ

к реконструкции этногенетических процессов населения древней Тоджи. Стоянка занимает площадь не менее 2000 кв. м. Ее культурный слой достигает мощности 0,5–0,8 м и содержит артефакты от палеолита до средневековья, включая погребальные сооружения, скрытые в толще почвенных отложений.

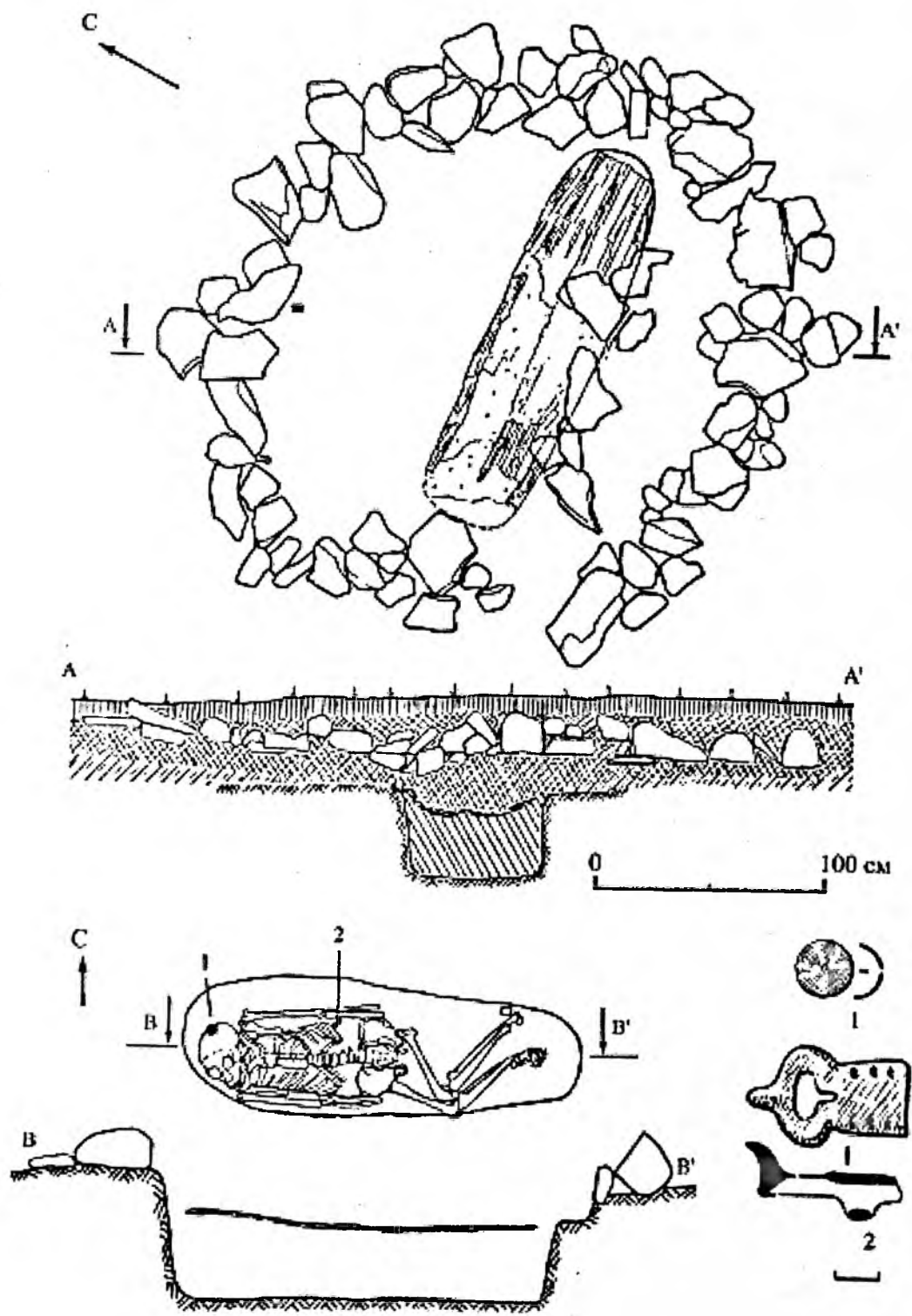
Материалы, которые могут быть непосредственно связаны с этногенезом тоджинцев, происходят из двух каменных курганов диаметром около 3,0 м. Курганы были задернованы и входили в цепочку подобных сооружений, просматривающуюся по травяным «пятнам», выделяющимся среди остальной луговой растительности. Под одним из курганов находилась узкая грунтовая могила длиной 1,5 м и шириной 0,5 м. Глубина могилы 0,3 м. Яма была вытянута по длинной оси в направлении ЗСЗ-ВЮВ. Перекрытие могилы состояло из тонких деревянных плах. Скелет лежал на спине, головой на ЗСЗ. Но череп был повернут вполоборота на правую сторону (лицом на ЮЮЗ), в том же направлении были ориентированы и колени, руки лежали вытянуто вдоль туловища покойного. Возможно, погребенный был захоронен с поднятыми вверх коленями и затем ноги упали на правую сторону. Но это сомнительно из-за малой глубины ямы. На черепе находилась бронзовая полусферическая бляшка с отверстием в центре (украшение или деталь головного убора, прически?), на поясе – бронзовая поясная пряжка специфической формы (рисунок, 1). Подобные изделия известны в таштыкских комплексах из Минусинской котловины. Второй курган находился рядом с первым. Его диаметр был меньше первого (2,5 м). Могильной ямы под каменным сооружением не обнаружено, но на древнем горизонте находились сильно коррозированные железные предметы, возможно спекшиеся наконечники стрел.

Датировка рассматриваемых азасских погребений таштыкской эпохой чрезвычайно важна по причине наиболее реального соотношения носителей таштыкской культуры с самодоязычным населением Южной Сибири. Тоджинские погребения отличаются от таштыкских, но, возможно, именно здесь и лежит центральноазиатский компонент в таштыкской культуре, тем более что определенные памятники таштыкского круга или времени протянулись цепочкой с Верхнего к Среднему Енисею. Вероятно, близкий по времени и культурной принадлежности курган был раскопан М.А. Дэвлет на горке между стоянками Азас I и II. Здесь, под каменной выкладкой, находились две могилы: одна длиной 1,3 м, шириной 0,85 м, перекрыта жердями и по краям обложена бревнами, вторая – размерами 1,2 x 0,85 м. Ориентированы по линии СЗ-ЮВ. В обеих могилах было захоронено по два человека, скорченно, головами на СЗ. В сопроводительный инвентарь входили железные наконечники

стрел и нож [Дэвлет, 1971, с. 263]. С.И. Вайнштейн раскопал такое же парное захоронение к западу от оз. Азас. В прямоугольной яме, заваленной обломками плит, на спине, головой на север, лежали два скелета. Ноги обоих были согнуты в коленях и направлены у одного в западном, а у другого в восточном направлении (т. е. в разные стороны, как и в могилах, раскопанных М.А. Дэвлет). Из инвентаря сохранился один фрагмент керамики, ожелезившийся предмет [Вайнштейн, 1951; отчет Р1-669]. Подобное погребение, найденное в 6 км от пос. Самагалтай, опубликовано Л.Р. Кызласовым. Автор считает это погребение афанасьевским. Здесь, под каменным курганом находилась яма размером 1,85 x 0,93 x 0,7 м, перекрытая деревянными плашками. В яме был захоронен один человек, он лежал на спине, головой на ЗСЗ, руки вытянуты вдоль туловища, а ноги стояли коленями вверх. Л.Р. Кызласов датирует погребение эпохой бронзы на основании пронизки из медной проволоки, скрученной в три оборота, и европеоидного антропологического типа [Кызласов, 1979, с. 21–22], но совпадение в форме и размерах ямы, в ориентации и положении погребенного заставляют думать иначе. Подобный обряд погребений в узких грунтовых ямах на спине, с согнутыми в коленях и поднятыми вверх ногами встречается и на могильнике Аймырлыг XXXI [Стамбульник, 1963].

По ряду признаков таштыкским временем следует датировать памятники с керамикой, украшенной арочным или «елочным» гребенчатым штампом. Конечно, далеко не вся гребенчатая керамика относится к раннему средневековью, а только та, которая происходит из поминальников и погребений таштыкской эпохи. Такие памятники выявлены на стоянке Хадынных I и Тоора-Даш в Саянском каньоне Енисея на территории Тувы и прилегающих к ней районов Красноярского края. На стоянке Хадынных I был раскопан могильник с погребениями по обряду трупосожжения, помещенными в каменные ящики и гробницы из плит, уложенных плашмя. Остатки кремации иногда оставались на площади некрополя рядом с каменными конструкциями. В таких случаях они просто покрывались каменной плиткой. Сопроводительный инвентарь представлен двумя баночными сосудами таштыкского облика, железной витой цепочкой, аналогии которым известны в таштыкских памятниках Среднего Енисея, фрагментами керамики со сплошной елочной орнаментацией, выполненной серповидным штампом. Инвентарь и кости животных, сопровождающие погребения, воздействию огня не подвергались.

Рядом (в 1,5 км) со стоянкой Хадынных I расположен другой памятник – Хадынных II, в одном из слоев которого обнаружены фрагменты таштыкской керамики с орнаментом [Семенов, 1979, с. 87–89]. На стоянке Тоора-Даш были выявлены поминальники – стелы,



Стоянка Азас II в Тодже. Погребение таштыкского времени

установленные в ямы, которые прорезали нижележащий слой скифского времени. В ямах была найдена такая же гребенчатая керамика, как и в каменных ящиках на стоянке Тоора-Хем (Первая поляна), раскопанная М.А. Дэвлет. Эти поминальники перекрыты слоем, содержащим чернолощенную керамику, характерную для культуры сюнну [Семенов, 1984, с. 84–85]. Не останавливаясь сейчас на спорных вопросах хронологии таштыкской культуры, можно сделать предварительный вывод о том, что экспансия сюнну вынудила к перемещению какие-то группы «лесных» народов, которые проникали в глубинные районы Саянского каньона Енисея, так как, по всей видимости, здесь обитали носители культуры скифского круга. Вероятно, Восточная Тува была зоной контактов между этими «лесными» народами и центральноазиатскими скифскими племенами. Не исключено, что один или два составляющих компонента у этих народов были общими. Эти компоненты восходят, с одной стороны, к населению, оставившему памятники типа Бай-Даг 3, с другой – к тувинскому варианту окуневской культуры.

На стоянке Азас II участки слоя, насыщенные керамикой и другими артефактами окуневской культуры, расположены главным образом вдоль береговой террасы протоки. Часть керамических форм полностью соответствует материалам, полученным из шестого слоя стоянки Тоора-Даш, соотносимого с первым этапом окуневской культуры в Туве, выделенного Вл.А. Семеновым, и из слоя Б стоянки Хадьных I [Семенов, 1992, с. 42–44]. Но здесь же, на Азасе, встречается керамика, совершенно отличная как от окуневской, так и от выделенной по неолитическим материалам Тоора-Даш верхнеенисейской культуры. По-видимому, в Тодже представлен еще какой-то компонент, отсутствующий или еще не прослеженный в Саянском каньоне Енисея.

Погребения (одно из них сохранилось хорошо, а два других хуже) окуневского времени, найденные в культурных отложениях Азас II, совершались, вероятно, с расчленением трупа. В «неразрушенной» могиле были обнаружены только череп, без нижней челюсти, тазовые и длинные кости ног в сочленении, фрагменты ребер и костей руки. В других могилах найдены только фрагменты черепа или зубы. Все три окуневские могилы представлены захоронениями на горизонте, но площадку слегка выравнивали ввиду размещения могил на склоне террасы, а затем закладывали камнями, создавая нечто вроде курганчика. Керамика, найденная под камнями и поверх курганчиков, имеет окуневский облик, так что стратиграфия памятника позволяет говорить об окуневских захоронениях на поселении. Курганчики с Азас II более всего напоминают каменные конструкции из неолитических слоев стоянки Тоора-Даш. Череп из окуневской могилы Азаса II был определен И.И. Гохманом как европе-

оидный, афанасьевского облика. Он принадлежал женщине (устное сообщение Гохмана). Рядом с женской могилкой, под отдельной каменной выкладкой, находилось погребение ребенка [Семенов, 1997, с. 152–160].

Окуневские погребения Центральной Тувы – это могильники Аймырлыг 13 и 27. В них погребения совершались в каменных ящиках скорченно, на боку, реже на спине, головой на ССЗ или СВ. Их антропология также определяется как европеоидная, афанасьевская по своему типу [Гохман, 1980, с. 27–28], а по наблюдениям А.М. Мандельштама, каменные ящики окуневской культуры по форме и устройству практически не отличаются от скифских. Кроме того, между обеими культурами имеется сходство в расположении скелетов и в их ориентировке [Семенов, 2000, с. 134–157]. Погребения в каменных ящиках появляются на втором этапе окуневской культуры – не ранее второй половины II тыс. до н. э. В Тодже эти изменения могли протекать не с той интенсивностью и не в той последовательности, как в степной зоне Тувы, причиной чему был несколько иной тип хозяйства обитателей степной и лесной зоны и другая направленность связей, а отчасти иной культурный субстрат.

В культурных напластованиях Азаса помимо неолитической керамики, отличной от известной на западе Тувы, представлена нехарактерная для верхнеенисейского комплекса микролитическая индустрия, базирующаяся на пластинчатых орудиях, заготовки которых (микропластинки) снимаются с призматических и конических нуклеусов. Такая техника фактически отсутствует в нижних слоях стоянки Тоора-Даш. Микролитический неолит очень широко распространен в Центральной Азии. В Туве он появляется уже в V тыс. до н. э. (стоянка Усть-Хемчик 3 и др.) [Астахов, Васильев, 2001, с. 148–154]. Большая часть местонахождений с микролитами не имеет керамики. На Азасе II также выявлены участки слоя с микролитическими орудиями без керамики. В этой части стоянки слой с микролитами залегает выше материка. На материке обнаружено скопление орудий палеолитического облика. Эти орудия по некоторым показателям отличаются от афонтовских и кокоревских Среднего Енисея и занимают промежуточное положение между алтайскими и позднепалеолитическими памятниками Якутии.

Теперь можно оценить возможности археологии для ретроспективных поисков прародины этносов Нового Света. Молекулярно-генетические характеристики коренного населения Америки обнаруживают четыре группы митохондриальной ДНК. Те же мт ДНК выявлены у бурят, тувинцев, южных алтайцев, сойотов и хакасов. Эти показатели у бурят составляют 52 %, а у тувинцев – 72 %. Высокие частотные показатели всех групп мт ДНК у бурят и тувинцев обусловлены происхождением этих народов от древнейшего населения Центральной Азии

и позволяют считать, что начало этносам Нового Света дали предки тувинцев и бурят, заселившие территорию Южной и Восточной Сибири [Деренко, Малярчук, 2001, с. 72–78]. Каким образом такое родство могло сохраниться на двух различных континентах? Вероятно, передаточным звеном служили носители окуневской культуры – европеизированные «американоиды», чьи предки заселяли Новый Свет [Козинцев, Громов, Моисеев, 1995, с. 74–77]. Эти предки могли оставить следы своего присутствия на Тоджинских озерах 10–12 тыс. лет назад. Дальнейшее существование этих «предков» на Саяно-Алтайском нагорье маркируют раннеголоценовые памятники с микролитической индустрией, а затем стоянки с ранне-неолитической керамикой в бассейне Верхнего и Среднего Енисея (Казачка, Няша, Улан-Хада, Горелый Лес, Усть-Белая, в том числе и ранняя керамика с оз. Азас). Круг этих памятников традиционно связывался с просамодийским пластом [Чернецов, 1973, с. 14; Астахов, Семенов, 1980, с. 17–35], а в последние годы рассматривается и как один из компонентов окуневской культуры [Соколова, 1995, с. 20–24]. Появление первых волн европеоидов – афанасьевцев в Минусинской котловине и Горном Алтае, а затем в Туве привело к той самой европеизированности местного неолитического населения,

ставшего создателем окуневской культуры. Были ли они изначально самодоязычными или усвоили этот язык в процессе позднейшей аккультурации с другими западносибирскими и центральноазиатскими этносами, сейчас сказать трудно, но это не исключено. «Урализация» древнего населения бассейна Верхнего Енисея могла протекать в тех же формах и с той же скоростью, как и более поздняя «калтанзация», приведшая к проникновению в современные тюркские этносы генов древнейших сибирских американоидов.

Эта предварительная схема носит пока что гипотетический характер. Дальнейшее исследование на востоке Саяно-Алтая позволит уточнить ее некоторые не вполне ясные детали. В этой связи все большую роль должны играть такие культурные феномены, как наскальное искусство, в известной мере отражающее мифологию своих создателей. Новейшие исследования в области ареального распределения мифологических мотивов Америки, Северо-Восточной и Центральной Азии демонстрируют перспективность этого направления в поисках прародины древнейших американоидов в Старом Свете [Березкин, 2001, с. 116–159].

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 01-06-80198.

М.Б. СЛОБОДЗЯН

НАСКАЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ КОЛЕСНИЦ КАК АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Наскальным изображениям в археологической литературе посвящено значительное количество работ. Большинство археологов в своих исследованиях обращаются к ним довольно часто. Но многие основополагающие вопросы изучения петроглифов и сегодня остаются дискуссионными, и в первую очередь, главный вопрос «...о том, как определять и понимать изображения, относящиеся к отдаленным эпохам – как искусство или как изобразительную деятельность» [Савинов, 2000, с. 197].

Подход к данному вопросу непосредственно влияет на выбор методов, применяемых к исследованию материала. В настоящий момент одни авторы говорят о хорошо разработанных методах петроглифоведения как специального направления в археологии [Советова, Миклашевич, 1999, с. 48, 53]. Другие сетуют о недостаточном внимании искусствоведов к наскальным рисункам и в настоящий момент все чаще высказываются о необходимости применения методов искусствознания как для самого предмета изучения, так и для извлекаемой информации [Формозов, 1969, с. 15–16; Маточкин, 1999, с. 113; Матющенко, 2001, с. 123–124]. Кроме того, неоднократно высказывались справедливые сомнения

в правомерности привлечения неограниченно широкого круга данных для построения стратиграфических колонок и истолкования петроглифов [Формозов, 1969, с. 19; Подольский, 1973, с. 266].

Данная работа посвящена поиску возможных методов исследования, позволяющих при интерпретации извлечь максимальную информацию. При этом основной задачей была не столько критика существующих концепций, сколько выбор подходов, которые бы не зависели от способов интерпретации и могли стать опорой для дальнейшей работы [Подольский, 1973, с. 265].

Одной из важнейших проблем является проблема интерпретации изображений на камнях погребальных сооружений, в особенности на стенках погребальных камер. Обоснованная датировка и культурная привязка рисунков зависят от решения главного вопроса – изготовлены ли плиты с рисунками специально для погребения или использованы как строительный материал. В последнем случае возможны также два варианта: либо использованы изображения, относящиеся к той же культуре, что и погребения, – в этом случае они понятны устроителям могилы либо они чужды данной культуре, в

этом случае они не понятны и их помещение в могилу «случайно». Однозначного ответа здесь дать, скорее всего, мы не сможем, и в каждом конкретном случае его необходимо будет обосновывать. Для отнесения рисунков к той же культуре, что и археологический памятник, важны насыщенность изображений, единство стиля, наличие определенной композиции. Наиболее ярким примером служат изображения на плитах погребальной камеры в Кивике. В ряде других случаев одновременность существования памятников мы можем лишь предполагать. Так, в погребении в Хара-Хая изображения повозок отражают, вероятно, значимость именно этого сюжета для создателей погребального сооружения и, следовательно, возможную однокультурность изобразительного и погребального памятников, а возможно, и специальное изготовление плит для погребения. Но и в тех случаях, когда мы не можем доказать синхронность рисунков и археологического памятника, правомерно говорить о верхней дате бытования изображений.

Примером не менее сложной ситуации служат изображения предметов и их аналоги, находимые в археологических комплексах. В данном случае датировка и культурная атрибуция рисунков во многом зависят от степени изученности как археологического, так и изобразительного материала, и зачастую здесь возникают определенные трудности. Например, до сих пор дискуссионной остается проблема, связанная с изучением оленных камней, которая по одной из формулировок заключается в том, что на них изображено карасукское оружие, а стиль изображения животных – скифский [Худяков, 1987, с. 156].

К рассмотренной проблеме близок вопрос о возможности датировки петроглифов по аналогии с изображениями на других категориях археологического материала. С одной стороны, предметы с изображениями относятся к разряду археологических памятников, для их датировки и типологии применяются соответствующие методы, с другой – изображения на них принадлежат к сфере искусства, и вполне возможно, и даже необходимо их исследование с этих позиций. Проблема, возникающая при использовании данного подхода, заключается в том, что вопросы соотношения различных проявлений художественной деятельности (прикладного и изобразительного искусства) в настоящий момент разработаны недостаточно. Сама природа последних, на наш взгляд, очень различна: материал, техника нанесения рисунка, назначение и т. д. На сюжетном уровне это проявляется в особенности, отмеченной для скифского искусства Алтая: большое распространение в прикладном искусстве изображений рыб и сцен «терзания» и почти полное отсутствие их в петроглифах [Кубарев, 1999, с. 85; Соев, 2001, с. 23].

Достаточно редкие случаи перекрытия петроглифов культурным слоем дают только верхнюю дату их создания.

Перечисленные подходы к хронологии петроглифов опираются на археологические данные. Далее следует рассмотреть подходы, использующие методы и достижения других наук.

Для датировки изображений колесниц часто применяется подход, названный П.М. Кожиным [1982] «историко-техническим». Он опирается на сюжеты, характеризующие хозяйственный уровень населения. На основании этого подхода большинство названных рисунков относят к эпохе бронзы, нижняя дата определяется ближневосточными данными о появлении колесниц (повозок) и находками последних в степных погребениях, а верхняя дата определяется исходя из того, что к рубежу скифской эпохи произошел переход к всадничеству и, следовательно, по логике многих авторов, произошло уменьшение значимости колесницы. Данный подход достаточно обоснованно дает только нижнюю дату изображений – они не могли появиться ранее изобретения самой повозки, верхняя дата остается гипотетической. Предполагаемая потеря колесницей значения как средства ведения боя не исключает ее использования в других важных сферах человеческой деятельности: в погребальной практике как символе власти и т. д., а также сохранения ее роли в мифологических представлениях и, следовательно, в изобразительной сфере. Кроме того, боевое использование колесниц для степных территорий остается не доказанным, а количество сцен с их участием в петроглифах, которые можно бесспорно отнести к батальным, крайне невелико [Цимиданов, 1996].

Использование статистических методов, широко применяемых для анализа археологического материала, например орнаментов на керамике, не всегда может дать результаты при исследовании петроглифов, а иногда лишь подтверждает выводы, основанные на визуальном анализе [Помаскина, 1975]. Негативная сторона излишней формализации метода ярко проявилась в монографии В.А. Новоженова: в ряде случаев повозки, входящие в единую композицию (Франнарп, Акджилга, Арпаузен), отнесены автором к различным подтипам и вариантам, с чем трудно согласиться [Новожен, 1994, рис. 75–80].

Одним из наиболее популярных направлений исследования петроглифов являются разного рода семантические интерпретации. Данная тема, с одной стороны, наиболее сложна и по логике исследования должна рассматриваться после выделения определенных изобразительных традиций, при возможности уточнения их хронологии и культурной атрибуции. С другой стороны, семантическая интерпретация возможна и без проведения детального анализа, степень убедительности концеп-

ции может быть достигнута привлечением как можно более широкого круга данных (археологических, этнографических, данных мифологии и т. д.), относящихся к различным культурам и периодам времени. Более того, достаточно распространен метод, при котором посредством ряда допущений, через семантику отдельных сюжетов пытаются дать их этническую атрибуцию, отождествить с определенными археологическими культурами и, соответственно, датировать.

В настоящий момент можно выделить две основные концепции развития изображений колесниц в петроглифах Средней и Центральной Азии. Первая предполагает развитие традиции от «профильного» изображения повозок к «плановому» стилю [Шер, 1980; Новоженев, 1994]. Согласно второй концепции, многообразие вариантов идет от смешения двух изначальных традиций, одна из которых передает колесницу, управляемую идущим сзади возницей, причем изображения вожжей со временем приобретают вид «многодышловой» конструкции, другая – передает колесницу с возницей-воином в кузове [Кожин, 1987]. Первая концепция построена, главным образом, на сочетании проекции изображения упряжных животных с особенностями транспортного средства – на особенностях средств выражения. Вторая концепция основана, скорее, на содержательной стороне рисунка. Данная двойственность концепции – как изображено и что изображено – уже отмечалась В.А. Новоженовым [1994, с. 84]. Для обеих концепций остается открытым вопрос о месте незапряженных колесниц, а для второй еще и запряженных, но без возницы.

С методической точки зрения используются два подхода к исследуемому материалу. При первом подходе материал анализировался на основании петроглифов одного местонахождения, а затем полученные выводы распространялись на остальные местонахождения изображений [Шер, 1980]. Второй подход предусматривает анализ всей совокупности материала [Кожин, 1987; Новоженев, 1994]. Большинство исследователей исходят из убеждения о единстве изобразительной традиции для всего указанного региона, а иногда и значительно более обширной территории – от Аравийского полуострова до Центральной Индии [Новгородова, 1984, с. 77].

Независимо от того, как воспринимать наскальные рисунки, терминология, применяемая для описания петроглифов, относится к сфере искусствоведения. Следовательно, первичная классификация должна строиться, опираясь на такие понятия, как стиль, приемы изображения, композиция, сюжет и т. п.; следует учитывать палимпсесты и технику нанесения рисунков как материал для датировки.

Изображения колесниц имеют некоторые преимущества перед другими изображениями наскального искусства, так как большинство рисунков колесниц несет в себе

определенный сюжет. Если рассматривать эти рисунки на всем ареале, можно отметить следующие моменты. Ракурс передачи упряжки отражает хронологические различия только в пределах одного местонахождения, если же рассматривать всю территорию в целом, то можно говорить о районах преимущественного распространения. Рисунки типа «профиль» преобладают на ряде местонахождений Казахстана, в Саймалы-Таш, в Минусинской котловине; рисунки типа «план» – на Алтае и в Монголии; в Туве оба типа представлены одинаково. Стиль упряжных животных, позволяющий соотнести колесницы и изображения животных, не находящиеся в бесспорной композиционной связи, чаще всего, также не выходит за рамки местонахождения («чудесные упряжки» Саймалы-Таш). В некоторых случаях правильнее говорить, скорее, не о стиле, а о приемах изображения, единство которых также отражает принадлежность рисунков к одной эпохе или изобразительной традиции (сочетание двух технических приемов – выбивки и гравировки в петроглифах местонахождения Ешкиольмес) [Марьяшев, Рогожинский, 1991, с. 5].

Особенности трактовки фигуры возницы также позволяют очертить определенный круг изображений, принадлежащих одной традиции. Для территории Алтая это возница в грибовидном головном уборе. Детали конструкции могут, на наш взгляд, служить типологическим признаком только в том случае, когда приобретают характер повторяющегося явления, например, «многодышловая» конструкция или четырехспицые колеса повозок хребта Каратау. О единстве изобразительной традиции для евразийских колесниц можно говорить только на основании господства «планового» стиля, который более точно определяется как «плановая» перспектива, при которой изображение является развернутым [Балонов, 2000, с. 53]. Попытки объяснить возникновение столь необычной проекции основаны, главным образом, на косвенных данных: особенности погребального обряда (мнение высказано еще Буссалли) [Шер, 1980, с. 202]; особенности мировоззрения [Сергеева, 2000, с. 34–35]; попытки более точной передачи конструкции [Новоженев, 1994, с. 122, 219]; нейрофизиологическая закономерность [Балонов, 2000, с. 52–53]. Автором ранее была предложена гипотеза возникновения данной проекции, исходя из логики развития самой изобразительной традиции [Слободзян, 1999, с. 114–115].

Подводя итог, хочется подчеркнуть, что речь идет не о выведении изучения петроглифов из сферы археологии и передаче их в область искусствоведения, а лишь о более строгом подходе к исследованию данного вопроса. Для этого необходимо понять своеобразие предмета изучения и выработать адекватные методы изучения, а не просто перенести методы, применяющиеся в археологии.

Можно также констатировать, что постановка глобальных проблем на раннем этапе исследования подчас заслоняет сам предмет. Попытки дать однозначный ответ на вопросы, что отражают петроглифы – реалии жизни древних или мифологические представления, приводят к тому, что материал изучается очень широко, а это и обуславливает применение методов и данных других наук. Так, признание приоритета коммуникативной функции петроглифов приводит к активному применению семи-

отики; признание «мифологичности» наскального искусства – к привлечению данных о религиозных представлениях народов, как правило территориально и хронологически удаленных. На наш взгляд, петроглифы станут полноценным источником в археологии только при всестороннем исследовании, так же как письменная история, лингвистика, мифология, изучение которых ведется параллельно и лишь корректируется и дополняется данными сопредельных наук.

Л.А. СОКОЛОВА

ХАРАКТЕРИСТИКА И ТИПОЛОГИЯ ОКУНЕВСКОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

М.П. Грязнов был подлинным «генератором идей» для всей минусинской археологии. Окуневской культуре он не посвятил специальных работ, однако эта проблематика входила в круг его научных интересов. Отблеск его таланта ощутим в работе его учеников Г.А. Максименкова и Л.И. Ивановой, посвятивших свои работы проблемам окуневской культуры.

С атрибуцией окуневской культуры [Максименков, 1975] закончился период экстенсивного изучения минусинской археологии. Сейчас накопились новые данные, которые позволяют уточнить и представить полнее характер каждого культурного образования.

Методика выделения окуневской культуры Г.А. Максименковым была выдержана в рамках традиционных для 60–70-х гг. типологических построений. По схеме Г.А. Максименкова окуневская культура оказалась «зажатой» между афанасьевской и андроновской [Максименков, 1975]. Для этого размещения у автора имелись серьезные основания, так как окуневские могилы типа «Черновая VIII» зачастую оказывались впускными в афанасьевские курганы, что было воспринято как безусловное доказательство более поздней даты окуневской культуры в целом.

При этом Г.А. Максименков, прекрасно зная местный неолит, не мог не понимать, что окуневская керамическая традиция, а значит и культурный субстрат имеют непосредственное отношение к местному неолитическому пласту: «...говоря об окуневской культуре, приходится признать, что она местная сибирская, а не пришлая» [Максименков, 1975]. Однако поскольку пришлый характер афанасьевцев в Минусинской котловине очевиден, то речь, скорее, должна идти о том, на каком этапе развития местной культурной традиции появилась афанасьевская миграция.

Наиболее действенным инструментом, позволяющим выявить происхождение той или иной археологической культуры, является анализ керамических комплексов.

Керамика имеет самостоятельное значение как культурный индикатор, поскольку обладает целой структурой независимых признаков: состав формовочных масс, способ формовки, обжиг, способ обработки поверхности, морфология сосудов, основной способ нанесения орнамента, доминирующие орнаментальные композиции. Поскольку все эти компоненты глубоко традиционны и передаются только в ходе непосредственного обучения «из рук в руки», то устойчивые комбинации признаков являются определителем соответствующей этнической группы. Трансформация признаков в небольшом временном диапазоне, скорее всего, означает влияние чуждой керамической традиции.

Впервые вопрос о керамике, предшествующей окуневской, был поставлен М.Н. Комаровой. Курганы типа Карасук II и Пристань, о которых идет речь в статье, относились автором к особому культурному типу. Исходя из того, что «в Карасуке VIII было совершено впускное афанасьевское погребение в имевшуюся уже там могилу типа Карасук II», автор делает логичный вывод, что «погребения типа Карасук II принадлежали населению более древнему, чем население афанасьевской и окуневской культур». Характеризуя керамику этих ранних комплексов, М.Н. Комарова считает, что она отлична и от окуневской, и от афанасьевской. Хотя здесь же она пишет: «Керамика окуневской культуры по форме и орнаменту близка керамике из погребений типа Карасук II. Отличается только тем, что дно у банок окуневской культуры плоское, а не уплощенное» [Комарова, 1981].

Г.А. Максименков, по всей видимости, не придавал значения выводам М.Н. Комаровой по хронологии курганов типа Карасук II, так как в сводке окуневских памятников, приведенных в его диссертации, курганы Карасук VIII, Карасук II и Пристань безусловно относятся к окуневской культуре, и вопрос об их раннем возрасте не ставится.

Такой упрощенный подход к культуре как к застывшему образованию с заданными параметрами сказыва-

ется уже в самой подаче могильника Черновая VIII как эталонного. В результате получается, что представление об окуневской культуре должно складываться по набору признаков, зафиксированных на этом памятнике.

Между тем Черновая VIII по сегодняшним понятиям, в целом, является довольно поздним памятником, в котором представлен уже устоявшийся стандарт и погребальных конструкций, и керамических типов. Хотя и в Черновой VIII есть курганы и отдельные погребения, выходящие за рамки этой жесткой конструкции, отражающие более ранний период развития, например курган 2, могила 1. Из этой могилы происходят фрагменты керамики с орнаментом, «ближайшим образом напоминающим украшения энеолитических сосудов района Красноярска, и керамики, найденной на стоянке под горой Унюк, относящейся, по всей видимости, к доафанасьевскому времени» [Максименков, 1980].

Вопрос о происхождении окуневской культуры можно ставить, лишь рассмотрев предшествующие культурные традиции. Начало изучению Енисейского неолита положил И.Т. Савенков (поселения Базаиха, Ладейки, Усть-Собакино, 1883–1885 гг.). К сожалению, автор раскопок основное значение придавал каменному инвентарю, полностью игнорируя керамику. Эту практику справедливо осудил Г. Мергарт [1923].

В 1890–1891 гг. археолог-краевед А.С. Еленев открыл и раскопал в устье р. Бирюсы, левого притока Енисея, неолитическую Усть-Бирюсинскую стоянку. Повторно она исследовалась в 1926–1927 гг. Н.К. Ауэрбахом и В.И. Грозовым.

В 1890–1892 гг. В.В. Передольский исследовал берег Енисея между реками Маной и Есауловкой. Им было обнаружено еще пять поселений, «одновременных Базайскому и Ладейскому».

В 1910–1911 гг. Е.А. Попов исследовал поселение на оз. Долгом близ г. Канска.

В 1920 г. Г. Мергарт вместе с Г.П. Сосновским исследовал берега Енисея от дер. Означенной до г. Енисейска [Merhart, 1928].

Данные по Енисейскому неолиту были проанализированы А.П. Окладниковым. Им было установлено, что енисейская керамика и некоторые типы инвентаря имеют несомненную связь с красноярско-канским и ангарским неолитом. Под керамикой красноярско-канского неолита в настоящее время понимаются стратифицированные комплексы поселений Усть-Белая, Няша, Казачка. Усть-бельская керамическая традиция выделена Л.Я. Крижевской по материалам слоя VI поселения Усть-Белая и отмечается на всех поселениях в слоях, идущих непосредственно после китойских, т. е. содержащих сетчатую керамику.

Керамика, аналогичная найденной на поселениях Усть-Белая, Казачка, Няша, Усть-Собакино и т. п., была

обнаружена на поселении Унюк в Минусинской котловине в 1967 г. Л.П. Зяблиным. Она представлена сосудами параболических и «митровидных» форм. Тесто часто без отощителя, плохо промешано, иногда с примесью песка. Толщина стенок от 5 до 10 мм. Венчики в большинстве случаев округлые. Орнаментальные схемы аналогичны усть-бельским: сплошная орнаментация горизонтальными рядами отступающего штампа; практически обязательен ряд ямок под венчиком. Как и на поселении Усть-Белая, унюкские сосуды украшены рядом насечек по внутреннему краю, часто этот ряд дублируется и по внешнему краю, что создает эффект волнистого в плане венчика. И в том и в другом комплексе на внутренней стороне встречаются отпечатки плетеной основы. На поселении не найдено ни одного неорнаментированного фрагмента (рис. 1).

По мнению исследователя унюкской керамики А.В. Виноградова, «данные горизонтальной стратиграфии поселения Унюк позволяют выделить два хронологических этапа развития керамики унюкского типа и выявить хронологические тенденции ее эволюции», которые проявляются «в увеличении удельного веса плоскодонных сосудов, усложнении орнаментов» [Виноградов, 1972].

При сравнении керамических комплексов поселений Усть-Белой и Унюк выявляется разительное сходство морфологии, орнаментальных схем и самих штампов, несмотря на значительное расстояние между ними. Это подтверждает мысль А.П. Окладникова, А.В. Виноградова и Л.П. Хлобыстина о сложении в неолите единой усть-бельской (или западно-ангарской, по Л.П. Хлобыстину) общности, охватывавшей районы Среднего Енисея и Ангары, вплоть до Байкала. Этот район имеет единую гидросистему, и распространение вдоль Ангары носителей единой культурной традиции представляется логичным.

Можно согласиться с мнением Г.А. Максименкова и А.В. Виноградова, что унюкский керамический комплекс является непосредственной предковой формой по отношению к ранней окуневской керамике. Пожалуй, единственным промежуточным звеном между Унюком и ранним окуневским комплексом Уйбат III/1 можно считать погребение на Афонтовой горе. Сосуд и инвентарь из этого погребения сохраняют неолитические черты, а костяной стерженек с антропоморфным скульптурным изображением живо напоминает окуневские «стеатитовые головки», иглы еще имеют перехват у верхнего конца, а не отверстие, как у окуневских игл (рис. 2).

Для работы с любым сложным явлением необходимо разработать понятийный аппарат. С этой целью предлагается схема типологического членения окуневского керамического комплекса (рис. 3).

Тип А. Сосуды с округлым или уплощенным дном. Венчик срезан прямо или закрутлен. Большинство сосудов

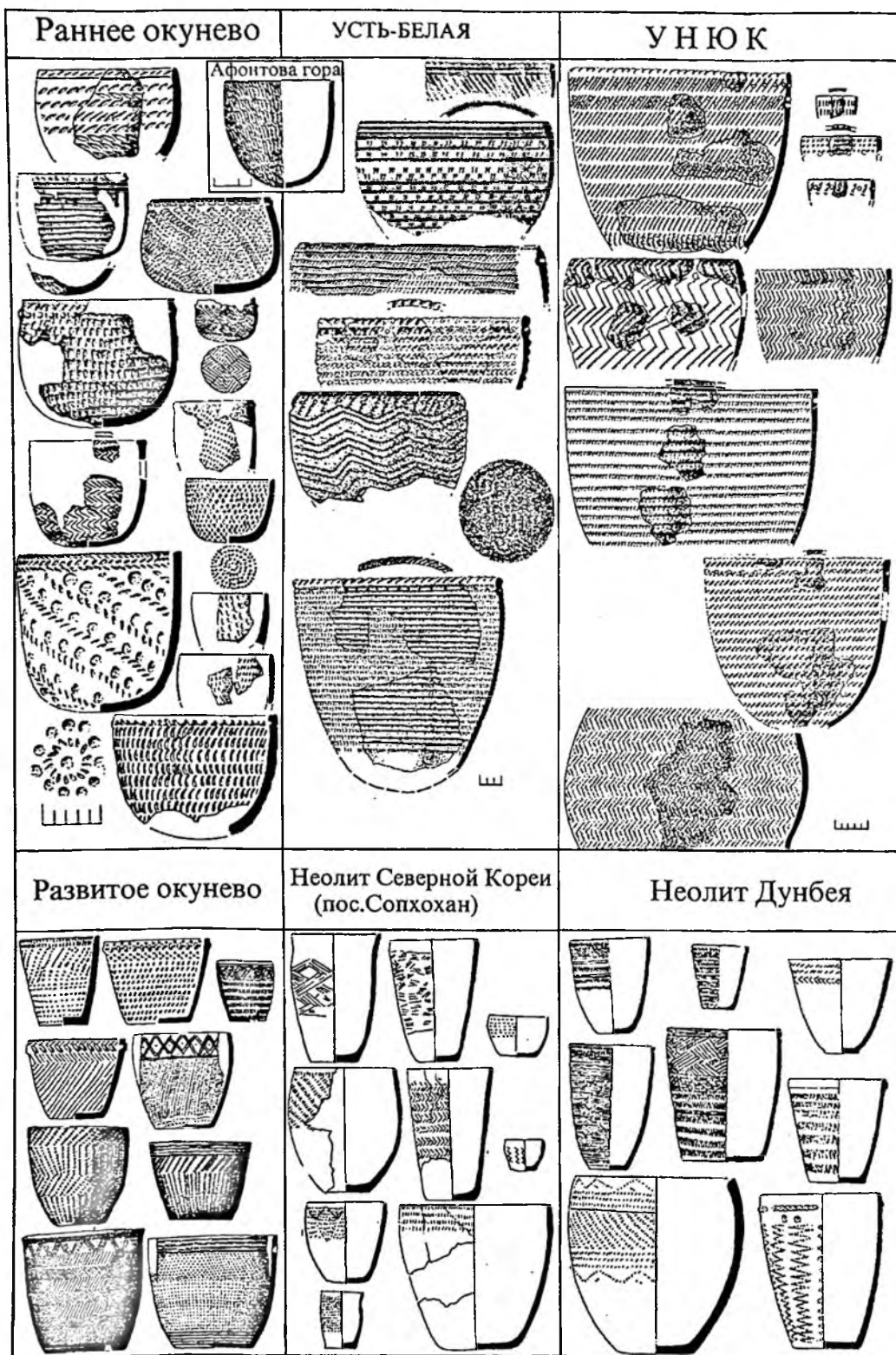


Рис. 1. Орнаментированная посуда окуневской культуры и ее аналоги в неолите – энеолите Центральной и Юго-Восточной Азии

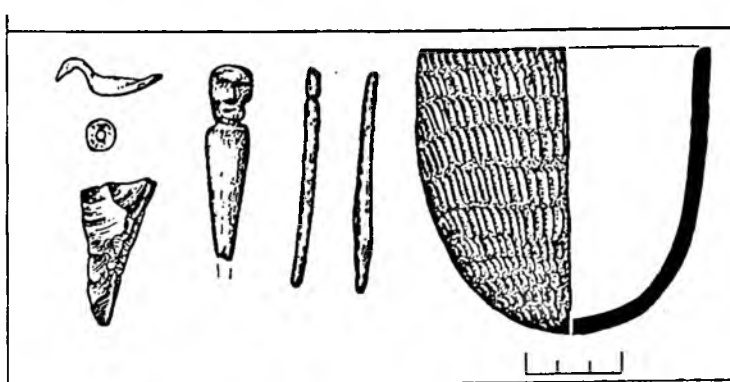


Рис. 2. Погребение на Афонтовой горе

ТИПЫ	1	2	3	4
А				
Б				
В				
Г				

Рис. 3. Типология окуневского керамического комплекса

имеют ряд «жемчужин» или ямок под венчиком. Часто встречаются насечки по внутреннему или внешнему краю венчика. Орнамент акцентированный, в отступающе-накольчатой технике. Раннюю группу этого типа характеризует тяготение к волнистому профилю, получаемому в результате глубокого орнаментального накола. Основная орнаментальная схема – заполнение тулова многорядным параллельным наколом. Очень часто встречается орнаментированное дно. Именно для этого типа характерна развертка орнамента, начиная со дна, часто по спирали. Для орнаментации дна и тулова используется один орнаментир. Известна также схема сплошной орнаментации многорядными, свисающими с венчика фестонами. Морфология сосудов, по всей видимости, отражает способ формовки ленточным способом на полумягком шаблоне с последующей уплотняющей выбивкой.

A1 – профиль прямой, слабо расширяющийся от дна к устью сосуда. Наибольший диаметр («экватор») приходится на венчик. A2 – «митровидная» форма. Стенки плавно сужаются к устью. Экватор – в нижней трети сосуда. A3 – формы, близкие к типу Б, но с уплощенным дном.

Тип Б. Сосуды плоскодонные. Венчик, как правило, прямосрезанный, прямой в профиле. Принципы орнаментации ранних сосудов сохраняют схему типа А. В динамике исчезают «жемчужины», выделяются орнаментальные зоны у дна, накол сменяется отступающей гребенкой. В поздних сосудах появляется «шагающая гребенка». Меняются принципы орнаментации: акцентированный накол сменяется неглубокими отпечатками штампа, в целом наблюдается стремление к более гладкой поверхности, появляются крупные орнаментальные композиции с зонами, свободными от орнамента. В поздних типах появляется кольцевая нарезка под венчиком и у дна. Орнаментация дна образует самостоятельную композицию. Часто дно орнаментировано иным штампом, чем тулово, или выполнено в технике прочерчивания.

B1 – профиль сосуда прямой или слегка округлый. Диаметр дна приближается к диаметру устья. Пропорции приземистые. B2 – сосуды в верхней трети цилиндрические, ко дну – усеченно-конические. Ребро не выражено. B3 – инновационная форма сосудов, усеченно-коническая. Диаметр дна примерно в два раза меньше диаметра венчика. B4 – сосуды с «тюльпановидным» профилем, т. е. с венчиком, отогнутым наружу.

Тип В. Сосуды на поддоне. Инновационная форма.

B1 – курильницы. Сосуды с полусферическим резервуаром, камерой внутри и зачастую перфорированными стенками внутри камеры. Орнаментация индивидуальная. B2 – сосуды, близкие к типу А, но имеющие разной высоты поддоны. Орнаментация тулова типовая, поддона –

индивидуальная. B3 – сосуды, близкие к типу Б, но с небольшим поддоном.

Тип Г. Инновационная форма профилированных плоскодонных сосудов. Небольшое дно, раздутые бока, отогнутый венчик. Эти сосуды по форме и орнаментации близки к афанасьевским и встречаются в смешанных комплексах.

Технологические показатели окуневской керамики значительно варьируют. Особенно выделяется как наиболее архаичная керамическая коллекция из кургана Уйбат III, могила 1, состоящая из 18 сосудов [Лазаретов, 1997]. Текстура черепка этих сосудов рыхлая, пластинчато-комковатая. В качестве отощителя использовался песок, иногда крупные зерна шамота. Формовка в некоторых случаях производилась с помощью лент шириной около 3–4 см. Часть сосудов формовалась «из куска». Морфология округлодонных сосудов, по всей видимости, отражает метод формовки на полумягком шаблоне с последующей уплотняющей выбивкой. Выбивка визуально не фиксируется, но наличие вертикальных трещин позволяет ее предполагать. В тех случаях, когда можно зафиксировать ленточную лепку, стыки лент деструктурированы последующей уплотняющей выбивкой.

Типы A1, A2 и B1, B2 в этой коллекции представлены примерно поровну. Остальные типы отсутствуют. Несмотря на то, что здесь есть несколько уникальных орнаментальных композиций, можно выделить две типичные: многорядный горизонтальный накол – шесть фрагментов, диагональные ряды накола – шесть фрагментов. Два фрагмента орнаментированы гладким штампом, образующим елочные композиции. Примерно половина венчиков имеет «жемчужины». Все донные фрагменты орнаментированы.

Эти отмеченные особенности представлены и в предшествующей по времени усть-бельской керамической традиции с неизбежной поправкой на более ранний возраст, например более крупные размеры и ямки под венчиком. В материалах неолитических поселений упоминается небольшое количество плоских донышек при абсолютном большинстве округлых. При этом для усть-бельской морфологии характерны параболические формы.

Формовка в большинстве рассмотренных случаев представляет собой сочетание ленточного налета с последующим выравниванием толщины стенок с помощью дополнительного послойного наращивания. Эта технология предусматривает применение шаблона и уплотняющей лопатки. На некоторых сосудах отмечена рельефная фактура на внутренних стенках: слабые горизонтальные отгиски и на некоторых – плетеная основа типа корзины. Такая комбинированная формовка, по всей видимости, обусловлена довольно большими размерами сосудов.

Ленты не имеют ярко выраженной структуры, так как деформированы последующим уплотнением, однако их наличие подтверждается системой продольных трещин.

Накол исключительно акцентированный, часто с негативом на внутренней стороне. Орнаментальные схемы представляют собой разнообразные варианты параллельного накола: сплошной горизонтальный, горизонтальный с разрядкой, параллельные зигзаги, елочный. Венчик орнаментирован по максимальному варианту: насечки с внешней и внутренней стороны по срезу, ямки или «жемчужины» (90%). Орнамент в большинстве случаев начинается со дна и разворачивается на тулове.

Таким образом, раннеокуневская керамическая традиция имеет убедительные аналогии в неолитической усть-бельской (западно-ангарской) традиции и, по всей видимости, восходит к прототипам, представленным на поселениях Казачка, Няша, Усть-Белая, Унюк. В целом в окуневской керамической традиции наблюдается резкое увеличение удельного веса плоскодонных сосудов, хотя округлое или уплощенное дно в небольшом количестве встречается и в поздних памятниках.

Различия ранней и поздней групп окуневской керамики отмечены практически по всем категориям признаков, но они выступают в комплексе. Выделить один маркирующий признак вряд ли возможно.

Первый признак – тип дна. Плоское дно более характерно для поздней группы, но оно в небольшом количестве присутствует и в неолитических коллекциях, т. е. здесь можно говорить о переходе количества плоскодонных сосудов в качество керамической традиции. Округлодонные сосуды встречаются и в поздних коллекциях, но уже в единичных случаях, как раритет.

Второй признак – качество формовки. Это яркий признак, но он требует некоторого навыка со стороны исследователя. Здесь тесто однородное, выдержана равная толщина черепка, тесто плотное, в ряде случаев почти звенящее. На архаичных сосудах формовка еще не совершенна, часто можно наблюдать плохо промешанное керамическое тесто. Позднее технология огрубляется, в тесто вводится избыточное количество дресвы. Сосуды становятся тяжелыми и хрупкими.

Третий признак вводится мной как характерный для ранней керамики. Это степень акцентированности орнаментального накола. Орнамент держится под одним углом; отпечатки четкие, глубокие, расстояние между отпечатками равное. Здесь мы можем зафиксировать изменения эстетических представлений в оформлении керамики. Если неолитические и раннеокуневские сосуды со своим акцентированным наколом имеют фактурную поверхность и волнистый профиль в разрезе, то сосуды поздних групп имеют гладкую поверхность, несмотря на сплошную орнаментацию, выполненную слабым наколом.

Четвертый признак – орнаментальные схемы. Мы можем выделить два типа орнаментов: индивидуальные и типовые. Индивидуальные орнаменты встречаются во все времена и, как и любое творчество, не поддаются систематизации. Хотя индивидуальные орнаменты более характерны для ранних групп. Типовые орнаменты поддаются некоторой систематизации: для ранней группы основой орнамента является многорядный накол, для поздней – происходит замена одиночного накола вертикально поставленной гребенкой. Как индикатор поздней группы керамики можно выделить кольцевую нарезку под венчиком и у дна.

Пятый признак – орнаментация венчика. Пышная орнаментация венчика с заполнением среза и внутренней подвенчиковой зоны более характерна для ранней группы керамики.

Шестой признак – это орнамент на дне сосуда. В целом характерен для ранней, и для поздней групп. Для ранней группы орнамент дна и тулова представляет единую композицию.

Таким образом, проведенный анализ значимых признаков раннеокуневской и усть-бельской керамических традиций демонстрирует близость в принципах орнаментации венчика, дна и базовых орнаментальных схем. Отмечается порой полное тождество орнаментов, используемых мастерами.

Сравнительно недавно в литературе можно было встретить утверждение о том, что в конце неолита смена круглодонной керамики на плоскодонную происходит повсеместно. Однако по мере накопления новых данных выяснилось, что плоскодонная керамика является древнейшей формой, выработанной человечеством. Более того, архаичные типы круглодонной и яйцевидной керамики не только не исчезают, но появляются и в довольно поздних комплексах. Другими словами, появление нового типа плоскодонной керамики никак не связано с процессами внутреннего развития старых керамических традиций.

Прежде всего, тип дна связан с таким глубоко этнизирующим признаком, как тип очажного устройства. Замена очажного устройства, в свою очередь, предполагает и иной уклад бытовой деятельности – т. е. иной этнический состав населения.

Сама смена керамических традиций идет не по принципу технологического совершенства, а по системе этнических иерархий. Можно сказать, что доминирующая керамическая традиция есть индикатор самоутвердившегося этноса.

Кроме того, керамическая традиция, будучи предельно консервативной сферой, практически не обладает возможностями для самостоятельного развития, если она не вовлекается в процесс товарных отношений. Даже

будучи явно технологически несовершенной, как, например, керамика пражского типа ранних славян, она не эволюционирует самостоятельно. Всякое значительное изменение в керамике сигнализирует о наличии контакта с чуждой керамической традицией. Этот контакт не может носить информационного характера, так как передача навыков имеет исключительно практический характер. Только в процессе совместного проживания вырабатываются гибридные формы или происходит полный переход на новые керамические технологии.

К примеру, на Японских островах в условиях относительной изоляции керамика дзэмон существовала как единая традиция с X тыс. до н. э. по III в. н. э. Саморазвитие касалось в основном элементов орнамента. Так, небольшие «ушки» на неолитических сосудах в развитом дзэмон вырастают до размеров рогов и заставляют видоизменяться венчиковую зону.

Устойчивость орнаментальных схем и тождество орнаментов наводит на мысль, что орнаментация сосуда тесно связана с соответствующими мифологемами – т. е. орнамент на керамике, как и на органических материалах, несет некий текст, знакомый всей этнической группе. Это, в свою очередь, означает включенность керамической орнаментики в менталитет и в языковую среду.

Таким образом, появление плоскодонной керамики в позднем неолите, скорее всего, надо связывать не с внутренним эволюционным развитием, а с миграционной волной, прокатившейся с востока по всей Северной Евразии. Однако давление с востока ощущалось и в энеолите. Восточная традиция «усеченно-конической» керамики (по определению А.П. Окладникова) повлияла на формирование окуневского керамического комплекса (см. рис. 1).

Единственным регионом, где подобная традиция формировалась изначально, с XIV тыс. до н. э. является Дальний Восток, Северная Корея, Северный Китай. К сожалению, состояние источников не позволяет ответить на все вопросы по этим комплексам, и мы вы-

нуждены ограничиться не самыми лучшими по качеству иллюстрациями. Поселение Сопхохан в Северной Корее сейчас датируется VI–V тыс. до н. э. Неолит Дунбея не может быть позже, поскольку в IV тыс. до н. э. здесь появляется керамика яншао, дающая совершенно другую традицию. В любом случае эти комплексы представляют устойчивое сочетание типов и орнаментов и могут претендовать на источник окуневской керамической традиции. Это подтверждается и реальными прототипами других составляющих окуневского инвентарного комплекса.

Сложность выделения миграционного комплекса состоит в том, что он, в большинстве случаев, вырабатывает гибридные формы и создает впечатление плавного перехода от одной формы к другой. Смена керамических традиций может происходить разными путями, в зависимости от характера миграции. Небольшое количество мигрантов старается «мимикрировать», т. е. слиться с местным этносом. Нарастание миграционной волны приводит к появлению новых элементов. Затем начинает действовать закон перехода количества в качество, т. е. возросшее количество пришельцев изменяет характер культуры.

Отмеченные изменения в позднеокуневском керамическом комплексе соотносятся и с новыми чертами в погребальном обряде – одиночная могила в центре ограды заменяется традицией плотного заполнения могилами всего пространства ограды. Вырабатывается практика погребений в каменных ящиках, впущенных в верхний почвенный слой, вместо ранних погребений в глубоких грунтовых ямах. Наиболее ярко влияние восточной миграционной волны сказывается на изобразительном искусстве, поскольку во всей Северной Евразии в неолите личности известны только на Дальнем Востоке.

Таким образом, в ходе сравнительного анализа подтверждается, что окуневская керамическая традиция формировалась из усть-бельского комплекса, но при нарастающем влиянии восточного миграционного потока.

Н.Ф. СОЛОВЬЕВА

КАМЕННЫЕ СТАТУИ ИЛГЫНЛЫ-ДЕПЕ

Энеолитическое поселение Илгынлы-депе расположено в Южном Туркменистане, в подгорной полосе Копетдага, в 240 км на юго-восток от Ашхабада и в 110 км на северо-восток от Мешхеда. Современное состояние памятника – оплывший овальный холм высотой около 14 м и площадью около 15 га.

Поселение было оставлено в течение конца IV – начале III тыс. до н. э. (два верхних горизонта содержат кера-

мику геоксюрского стиля) и, вероятнее всего, связано с миграцией русла реки Меана-чай [Марколонго, Моцци, 2000, с. 37]. Исходя из того, что мощность культурных отложений на памятнике составляет около 14 м, можно предположить, что основано поселение в конце V – начале IV тыс. до н. э.

Основные раскопки памятника проводились российскими и туркменскими археологами в середине 80–90-х гг.,

когда было заложено семь раскопов на разных участках памятника. Время существования шести исследованных строительных горизонтов – это середина – вторая половина IV тыс. до н. э. [Массон, 1989, с. 15–20; Masson et al., 1994, р. 18–26]. Одним из главных результатов работ стало обнаружение на поселении 23 помещений, названных авторами раскопок сначала святилищами, а затем парадными помещениями, с нестандартными деталями интерьера, свидетельствующими об особом назначении этих комнат внутри домохозяйств [Березкин, Соловьева, 1998, с. 86–123]. В трех парадных помещениях сохранились фрагменты настенной росписи, выполненной в технике сграффито [Соловьева, 1998, с. 124–128].

Все археологи, побывавшие на поселении, обращали внимание на обилие изделий из меди [Solovyova et al., 1994, р. 31–35] и антропо- и зооморфных статуэток. Коллекция антропоморфных статуэток Илгылы-депе, насчитывающая более 700 экземпляров, представлена терракотовыми фигурками, поделками из необожженной глины и каменными изваяниями. Последних всего 22 единицы: четыре целых статуи, восемь торсов без голов и десять голов. (Термины «статуя», «изваяние», «скульптура» и «идольчик» в данной статье являются синонимами.) Идолы выполнены из цельных плит белого плотного известняка или ракушечника техникой оббивки и пикетажа или точечной с доработкой деталей абразивами [Masson, Korobkova, 1989, р. 65].

Все статуи передают в условно-плоскостной манере стоящую женскую фигуру 20–50 см высотой (рисунок). Тело трактовано в форме равнобедренного треугольника вершиной вниз (основание либо заостренное, либо округлое, лишь одна статуэтка по форме ближе к цилиндру на плоском основании). Никакие части тела, кроме груди, не изображены. Голова моделирована в виде цилиндра с закругленной или уплощенной вершиной. Уши и волосы не показаны ни разу. На всех головах, кроме голов двух целых статуй, изображены плоские округлые лица с более или менее четко очерченным овалом. Глаза и иногда рот выполнены либо круглыми углублениями, либо узкими горизонтальными прорезами. Нос всегда длинный прямой, рельефный. У двух экземпляров в глазах сохранилась черная краска, лица двух других были покрыты охрой, у одного из них кусочек охры был вставлен в рот.

Большинство каменных статуй собраны с поверхности холма: одна целая, пять торсов без голов и шесть голов. Два фрагментированных торса найдены на раскопе 4 в заполнении помещений 7/II* и 37/II. Голова с кусочком

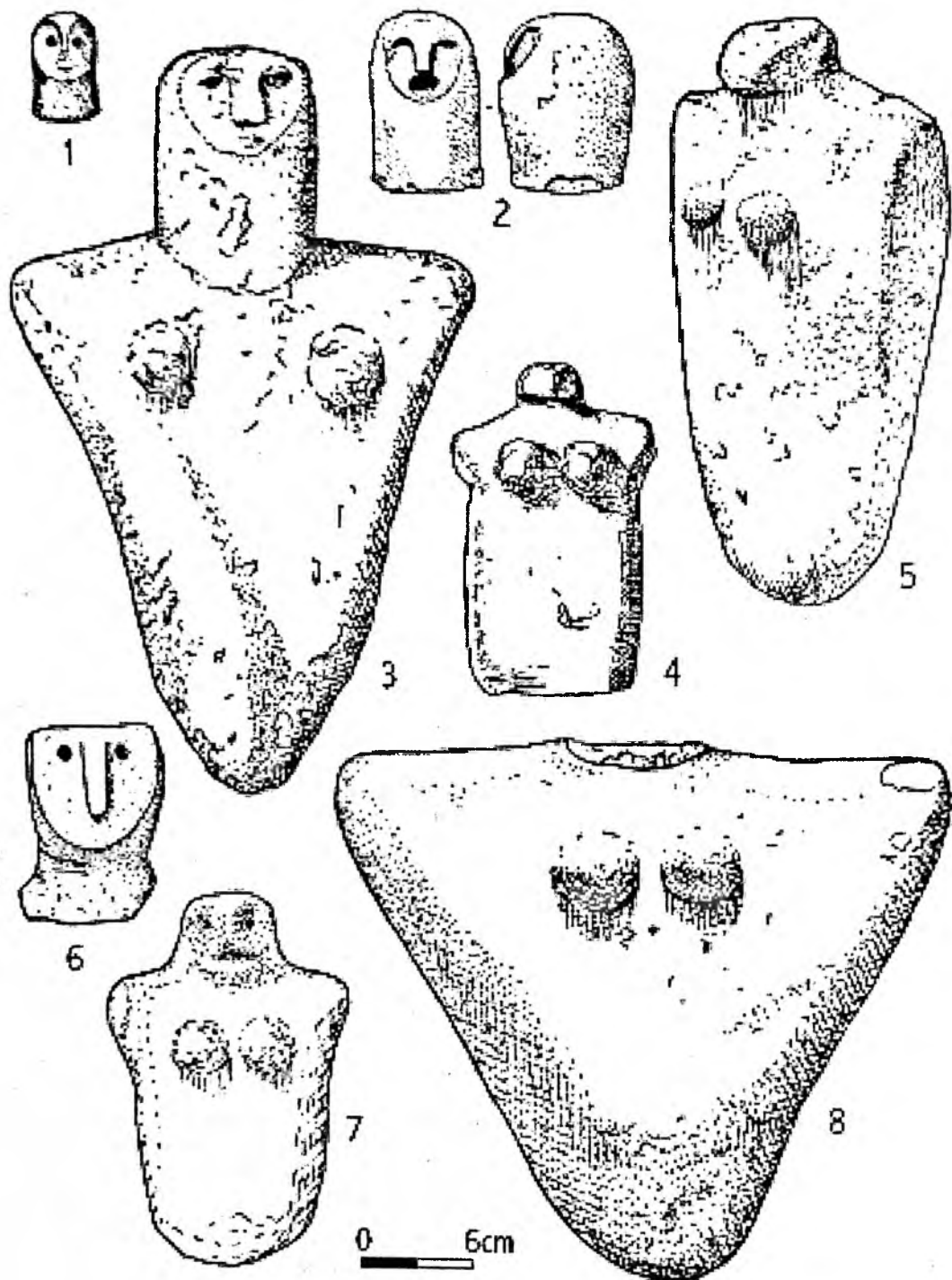
охры во рту обнаружена в заполнении помещения 12/III раскопа 5. Вторая голова, покрытая охрой, лежала на керамической вымостке в помещении 48/VI раскопа 3. На раскопе 3 найдены еще две головы: одна в заполнении помещения 13/III-A, другая в заполнении помещения 44/V. Все указанные помещения, кроме 7 и 37, были дворами при парадных комнатах. О назначении и связи с конкретными домохозяйствами помещений 7 и 37 судить трудно, поскольку остатки архитектуры на этом участке поселения плохо сохранились [Березкин, Соловьева, 1998, рис. 10, с. 99; рис. 12, с. 101; рис. 19, с. 114].

Наибольший интерес для понимания значения и назначения каменных изваяний Илгылы-депе представляют случаи их нахождения *in situ*. Целая статуя со схематично изображенной головой без лица была наполовину заглублена в пол парадного помещения 26/IV раскопа 5. Статуя располагалась в 70 см от дверного проема, под тупым углом к нему, и была обращена лицевой стороной в помещение. Также была расположена целая статуя с реалистично трактованным лицом в парадном помещении 12/III раскопа 4. Цилиндрическая статуя на плоском основании с головой без лица стояла во дворе (помещение 56), перед входом в парадное помещение 55/III раскопа 5. Статуя лицевой стороной была обращена в парадную комнату. В парадных помещениях 9/III и 10/IV раскопа 5 в полу перед дверным проемом в вертикальном положении находились, соответственно, продолговатый камень и длинный обломок куранта. Каждый из них для большей устойчивости был заклинен камнем меньшего размера. Длинный камень с горизонтально подтесанным верхним краем найден стоящим вертикально в полу перед дверным проемом помещения 7 поселения Муллали-депе в Геоксюрском оазисе [Хлопин, 1969, с. 10]. Вероятно, камни выполняли в помещениях ту же роль, что и каменные статуи [Березкин, Соловьева, 1996, с. 108].

После обнаружения на Илгылы-депе описанных статуй автором раскопок была высказана рабочая гипотеза об установке каменных идольчиков в полу перед входом уже после прекращения функционирования парадных помещений. Гипотеза основана, главным образом, на неудобном расположении статуй – любой входящий и выходящий мог споткнуться об нее. Информация о том, прорезала ли каждая вкопанная скульптура или камень многочисленные глиняные промазки пола или они примыкали к ней, позволила бы уточнить время установки статуи, но, к сожалению, такие данные отсутствуют.

Большая треугольная статуя с отбитой головой была найдена стоящей на печи рядом с зернотеркой и крупной галькой в парадном помещении 26/IV раскопа 3.

*Здесь и далее римской цифрой указаны номера строительных горизонтов в соответствии со стратиграфическим раскопом 3.



Каменные статуи Илгынлы-депе:

- 1 – раскоп 3, горизонт III-A, помещение 13; 2 – раскоп 5, горизонт III, помещение 12;
 3, 6 – подъемный материал с поверхности поселения; 4 – раскоп 5, горизонт III, помещение 56;
 5 – раскоп 5, горизонт III, помещение 26; 7 – раскоп 4, горизонт III, помещение 12; 8 – раскоп 3, горизонт IV, помещение 26

По окружности статуи, примерно на середине, сохранились следы черной краски, которой обычно покрывали пол и платформы парадных помещений, что позволяет предположить, что статуя в течение какого-то времени (функционирования парадного помещения?) находилась в вертикальном положении, наполовину заглубленная в пол или платформу, а затем, возможно, во время совершения обряда оставления парадного помещения, детали которого удалось проследить в ряде случаев на Илгынылы-депе [Березкин, Соловьева, 1998, с. 97, 99, 104–105], статую вынули, отбили голову и переставили в другое место. Косвенным подтверждением такого предположения может служить то, что у статуй, найденных *in situ* в полах, головы не отбиты, а у всех перемещенных, найденных в заполнении помещений и на поверхности поселения, головы отбиты. Исключение составляет лишь одна целая статуя с головой, которая была наполовину вымыта дождями из культурного слоя поселения. На ее поверхности хорошо читался ободок черной краски.

Также в пользу того, что каменные статуи и их заменители находились в полах и платформах во время функционирования помещений, говорит обнаружение *in situ* во дворах раскопа 3 трех вертикально вкопанных камней, которым грубой оббивкой была придана более или менее треугольная форма. Первый, самый крупный, стоял в центре помещения 42/V (хозяйственный двор), перпендикулярно входу. Поверхность двора была вымощена битой керамикой и засыпана мелкой галькой. Вокруг камня находились шесть кухонных горшков, также заглубленных в пол. На одной оси с этим камнем, сразу за дверным проемом, в поверхности помещения 44/V (парадный двор того же домохозяйства) стоял камень поменьше. Третий камень был вертикально вкопан в поверхность невысокой, около 15 см, сырцовой платформы, сооруженной в восточном углу помещения 48/V-В (более ранний хозяйственный двор того же домохозяйства). Все камни были заклинены более мелкими гальками. О том, что эти камни долгое время стояли на одних и тех же местах, говорят примыкающие к ним слои керамической вымостки и глиняные промазки поверхностей двора и платформы.

К сожалению, невозможно проследить, имел ли каждый жилой комплекс с парадной комнатой каменную статую или ее заменителя, поскольку четкие границы таких комплексов выявлены лишь в нескольких случаях. Можно лишь отметить присутствие каменных изваяний и камней в домохозяйствах III, IV и V горизонтов. Архитектурные остатки I и II горизонтов плохо сохранились, в VI горизонте исследовано пока одно парадное помещение. Тем не менее очевидная связь женских ка-

менных изваяний с домохозяйствами позволяет видеть в них в качестве одной из возможных ипостасей хранильниц/хозяек жилища. Размещение же их наполовину заглубленными в пол может указывать на связь с землей, на наделение земли и статуи (женщины) одинаковыми качествами.

Немаловажную роль в попытке выяснения семантики каменной скульптуры Илгынылы-депе играет содержимое контекста, в котором они найдены. Общим для всех помещений со статуями или их заменителями является только наличие в них либо заглубленных, как статуи, в пол крупных сосудов для хранения припасов, либо ямок для таких сосудов, либо сосудов для приготовления пищи, также заглубленных в пол. Исключение составляет лишь помещение 12/III раскопа 4, о котором нет достаточной информации. Донца сосудов сужаются книзу, как и основания статуэток. В помещении 26/IV раскопа 3 в крупных сосудах и на полу были найдены обуглившиеся зерна ячменя и пшеницы. Такие же зерна были рассыпаны по полу вокруг каменной статуи в помещении 26/IV раскопа 5. Эта ситуация может отражать типичную для первобытных земледельцев и традиционных обществ связь изваяния с благополучием обитателей дома, статуя выступает как подательница благ, кормилица, возможно приравнивавшаяся к сосуду как вместилищу пищи и воды [Антонова, 1984, с. 145].

Однако магическая сила изваяния, вероятнее всего, не простиралась за пределы помещения или домохозяйства, в котором оно находилось, и прекращала свое влияние вместе с прекращением функционирования дома, и иногда вынимание статуи из пола и отбивание головы, возможно, было частью обрядовых действий, связанных с оставлением помещения. Затем торс и голову либо просто выбрасывали, либо использовали в хозяйстве, например как маленькие наковаленки.

Каменные изваяния, как уже отмечалось, составляют лишь ничтожную часть коллекции антропоморфной пластики Илгынылы-депе, представленную женскими terra-cottovыми статуэтками и бесполоыми фигурками из необожженной глины. Такая гигантская разница в количестве (22 и около 700) может быть связана с их назначением, что, в свою очередь, обусловлено и различной сложностью в изготовлении: глиняную фигурку при наличии элементарных навыков вылепить намного быстрее и легче. Каменные статуи требуют если не значительной физической силы, то большого мастерства и времени, возможно поэтому их изготавливали на длительный срок, надеясь описанными выше функциями. Обилие глиняных фигурок отчасти может объясняться их участием в сезонных праздниках, но рассмотрение их семантики выходит за рамки данной статьи.

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОМОРФНОЙ МЕЛКОЙ ПЛАСТИКИ ЛЕСНОЙ ЕВРАЗИИ В ЭПОХУ НЕОЛИТА И БРОНЗЫ

При всей многогранности научных интересов М.П. Грязнова предметом его особого внимания были памятники первобытного искусства. Тонкий анализ, умение видеть вещь «изнутри», широкий научный кругозор позволяли ему проникать в смысл древних предметов и исторически интерпретировать их. Образцом глубокого проникновения в семантику конкретных археологических объектов можно считать две статьи Михаила Петровича, посвященные первобытной антропоморфной пластике [Грязнов, 1962; 1964].

Начиная с эпохи палеолита среди сюжетов древнего искусства особое место занимают изображения человека. В неолите тема человека превращается в «зримую доминанту общественного сознания» [Столяр, 1974; 2001] населения лесной полосы Евразии.

Антропоморфные изображения в мелкой пластике различны по своему стилистическому оформлению и семантике. К сожалению, наши знания об этих предметах крайне отрывочны, поскольку, будучи изготовленными из недолговечных материалов (мех, кожа, береста, дерево), они просто не сохранились. Однако имеется достаточно представительная серия изображений человека из разных регионов лесной полосы, которая показывает, сколь разнообразны были формы пластического воплощения этого сюжета.

Анализ антропоморфной скульптуры из четырех наиболее значимых очагов первобытного искусства эпохи неолита и бронзы в лесной зоне позволяет показать, что при едином «плане содержания» (человек) «план выражения» [Шер, 1980] существенно отличается в зависимости от территориальных и хронологических различий. Изображение человека в искусстве малых форм особенно расцветает в середине III – середине II тыс. до н. э.

В эпоху неолита и энеолита один из очагов первобытного искусства был связан с территорией лесных массивов Северо-Запада европейской части бывшего СССР, где в III – начале II тыс. до н. э. искусство малых форм было хорошо известно. Среди скульптурных изображений человека особое место занимает глиняная пластика, которая во многом и определила специфику этого региона. Попав в поле зрения исследователей еще в начале XX в., эта группа изображений неизменно оставалась в центре их внимания.

Значительный вклад в разработку типологии глиняных антропоморфных изображений Финляндии и Южной Карелии внесли финские археологи (А. Европеус,

Т. Миеттинен). Ими была выделена группа так называемых «эмбрионовидных фигурок», для которых характерна сильная изогнутость туловища, спинной «гребень», сделанный пальцевыми зажимами, утрированно большой нос и орнаментация поверхности гребенчатым штампом [Miettinen, 1964]. Эту группу фигурок Т. Миеттинен связывал с культурой гребенчатой керамики. Она близка глиняным фигуркам из Восточного Прионежья, в частности из Кубенино [Студцицкая, 1985].

Другая стилистическая группа характерна для Восточной Прибалтики [Лозе, 1970]. Один из наиболее распространенных типов этой группы – фигурки с приподнятыми вверх головками и плоским основанием, обобщенно передающим ноги. Черты лица у них показаны как пластически, так и графически. Сравнивая этот тип скульптур с эмбрионовидными изображениями, легко заметить, что приемы стилизации образа в ряде случаев совпадают. Основное внимание мастера направлено на рельефное изображение массивного носа.

Опираясь на уже созданные для глиняной пластики типологии, Е.А. Кашина выделила четыре группы антропоморфных изображений, начиная с эмбрионовидной, и наглядно показала [Кашина, 2001], как постепенно происходит своеобразное «выпрямление» фигуры, появляются отдельные ноги, руки, теряется «спинной гребень», уменьшается нос, область щек и глаз вдавливаются, акцентируя брови.

В поздненеолитических памятниках Северо-Запада широко представлена антропоморфная скульптура из кости и рога, а также янтаря. Наибольшее развитие она получает у населения Восточной Прибалтики. Ее возникновение, вероятно, следует связывать с появлением на этой территории в конце III – начале II тыс. до н. э. носителей культуры шнуровой керамики [Лозе, 1979]. Сделанные из рога изображения отличаются многообразием типов и резко выраженной индивидуальностью. Наряду с круглой скульптурой широко распространена плоская резьба с применением гравировки.

Следует выделить группу фигурок, представленную полными изображениями человека в фас. Ей присущ набор стилистических признаков, подтверждающий существование устойчивой иконографии образа. Это статичность позы, общая композиционная схема изображения и сходство передачи наиболее важных деталей. Ярко выраженное стилистическое своеобразие каждого изображения этой группы может объясняться локальной спецификой изобразительной традиции.

В конце III – начале II тыс. до н. э. в антропоморфной скульптуре северо-западного центра доминирует мужской образ, возможно какой-то мифологический персонаж, изобразительная схема которого остается неизменной, несмотря на многовариантность трактовки. Яркая индивидуальность мужской костяной фигурки со стоянки Усвяты IV [Микляев, 1967] не исключает возможности ее сопоставления с восточно-прибалтийской скульптурой, и не только по сюжету. Она и композиционно, и по ряду стилистических особенностей вписывается в хорошо разработанную иконографию мужского образа. От прибалтийских скульптур ее отличает большая тщательность в проработке деталей. Сравнение ее с бронзовыми идолами Галичского клада [Мазуркевич, 2001] неоправданно, так как их объединяет только тот факт, что в обоих случаях передан образ мужчины атлетического телосложения [Студзицкая, Кузьминых, 2001].

Среди антропоморфной скульптуры Северо-Запада известны и деревянные изображения, которые датируются серединой III тыс. до н. э. Найдены они на стоянках Сарнате [Ванкина, 1970] и Швянтойя II [Римантене, 1975]. По мнению А.Д. Столяра, прообразом этих древнейших деревянных идолов, вероятно, можно считать уникальное вертикальное погребение 100 Оленеостровского могильника [Гурина, 1956], которое представляло собой «натурального идола» и заключало в себе «специфические сакральные качества, которые получили фундаментальное развитие в последующей антропоморфной скульптуре» [Столяр, 2001]. Моделировка лица деревянного идола из Швянтойя II выполнена тем специфическим художественным приемом, который в дальнейшем получит распространение не только во всей деревянной скульптуре, но и в костяной, роговой и даже глиняной и доживет в скульптуре сибирских народов Севера вплоть до XIX – начала XX в. [Иванов, 1970]. Этот прием состоит в подчеркивании массивного носа и выступающих надбровий при передаче черт лица. Глаза и щеки передаются неразделенной плоскостью, уходящей под выступы бровей.

Один из очагов первобытного искусства был связан с территорией лесных массивов центра Русской равнины, которую в середине III – начале II тыс. до н. э. занимали неолитические племена волосовской культуры или культурно-исторической общности с несколькими локальными вариантами. Памятники этой культуры встречены от Прибалтики до Камы и от Вологды до Пензы. Одна из отличительных ее особенностей – наличие значительного количества разнообразных предметов мобильного искусства [Студзицкая, 1994]. В них наиболее полно отразилась этническая специфика этой культуры, мировоззренческая направленность ее носителей.

Самый многочисленный и наиболее яркий образец искусства этого населения – кремневая скульптура, которую впервые блестяще проанализировал и классифицировал С.Н. Замятнин, рассмотревший кремневые фигурки, в частности антропоморфные, как аналог петроглифам Карелии [Замятнин, 1948].

Антропоморфные изображения из кремня представляют самую большую и компактную группу среди всех аналогичных изображений лесной зоны Восточной Европы. Специфика материала и характер его обработки обусловили сходную в целом, и тем не менее богатую нюансами, морфологию изображений. Основная масса антропоморфных изображений сосредоточена в волосовских памятниках Волго-Окского междуречья и на Валдае [Уткин, Косталева, 1996]. Для абсолютного большинства фигурок характерна устойчивая иконография. Изображения человека выполнены в фас, ноги широко расставлены и разделены параболической кривой. Руки, там, где они обозначены, показаны небольшими выступами, идущими от плеч. В очень редких случаях руки прижаты к туловищу. Некоторые из скульптурок имеют расширение в области бедер и обычно тракуются как женские. Высота фигурок от 3 до 7 см.

Оформление головы чрезвычайно разнообразно. Различия в деталях позволили условно разделить их на типы [Студзицкая, 1994; Уткин, Костылева, 1996; Кашина 2001]. Многообразие форм этой антропоморфной скульптуры может объясняться не только локальной спецификой, но и разным смысловым значением. На Средней Волге и в Заволжье на стоянках волосовской культуры встречены лишь единичные кремневые фигурки человека.

Глиняная пластика не характерна для волосовцев. Лишь на стоянках Средней Волги было найдено четыре сильно стилизованных глиняных изображения человека, выполненных в манере, отличной от северо-западной традиции [Никитин, 1998]. Глиняная же фигурка со стоянки Николо-Перевоз I [Раушенбах, 1969], сделанная в традиции эмбрионовидных скульптур, все же имеет некоторые отличия. На ней в виде небольших выступов обозначены руки, как в одной из групп кремневых антропоморфных изображений. По-иному оформлен и переход от средней части туловища к ногам. Эти стилистические особенности позволяют предположить ее местное изготовление, но с учетом западных «эталонов». Волосовцы практически не изготавливали антропоморфные изображения из кости или рога, хотя этот материал широко использовался для анималистической скульптуры. Лишь на стоянке Сахтыш II в ритуальном комплексе была обнаружена уникальная антропоморфная маска из цельного основания рога. На той же стоянке найдена и фигурка человека из кости, полностью выполненная в традиции костяной антропоморфной скульптуры Восточной Прибалтики.

Самыми ранними изображениями среди урало-западносибирской антропоморфной скульптуры лесной полосы являются идолы Горбуновского торфяника конца III – начала II тыс. до н. э. [Эдинг, 1940]. При всей индивидуальности изображений им всем присуще однообразие в моделировке человеческого лица, на котором характерным для деревянной скульптуры приемом подчеркнуты нос и резко выступающие надбровья. Горбуновские идолы явились древнейшими «предками» антропоморфной деревянной скульптуры уральских типов по классификации С.В. Иванова [1970].

Особую группу каменной скульптуры Томского Приобья составляют своеобразные песты в виде головы человека с поселения Самусь IV середины II тыс. до н. э. [Матющенко, 1973; Студзицкая, 1987]. Несмотря на индивидуальность каждого из этих предметов, в целом им присуще стилистическое единство. Выполненное точечной ретушью на узкой грани гальки, лицо человека передает один и тот же физический тип. Основной формообразующий элемент в моделировке образа – неглубокий желобок. Иконография образа человека в каменной скульптуре самусьцев устойчива. Применение желобков в моделировке образа – черта, объединяющая искусство Томского Приобья с окуневской культурой Минусинской котловины. Несмотря на разницу в размерах (самусьские фигурки имеют в высоту 13–15 см), они обнаруживают некоторое стилистическое сходство с реалистической группой окуневских изваяний, прежде всего по манере детализации лица, выделенного овалом.

Появившись в середине II тыс. до н. э., каменные антропоморфные изображения, постепенно трансформируясь, долго существуют в Западной Сибири. Каменная скульптура вообще является специфическим этническим признаком древнего населения Приобья и Прииртышья [Чернецов, 1958].

С поселения Самусь IV происходит и уникальная серия антропоморфных изображений, представленных на одной из групп керамики. Вырезанные желобчатыми линиями и оттисками лопаточки на стенках сосудов, причудливо стилизованные «человечки» располагаются в средней части тулова, составляя единую композицию. По своей схеме фигурки разнообразны, но выполнены в определенных канонах. Ритмически повторяясь, они отделяются одна от другой вертикальными желобками. Сопоставление антропоморфных изображений на самусьской керамике с аналогами на окуневских стелах указывает на значительное сходство в приемах стилизации образа.

По мнению ряда исследователей (М.Ф. Косарев, Е.А. Васильев), самусьские сосуды, как и каменные скульптуры, имеют отношение к ритуалам, связанным с брон-

золитейным производством. По мнению Е.А. Васильева, памятник Самусь IV является не поселением, а сакральным центром, где периодически происходили обряды получения и распределения металла и символического изготовления бронзовых орудий [Васильев, 2001].

Особую группу антропоморфных изображений составляют своеобразные глиняные фигурки, которые появились здесь в результате проникновения на территорию Западной Сибири в середине III – начале II тыс. до н. э. носителей ямочно-гребенчатой керамики [Ковалева, 1995; Усачева, 1995]. Стилистически эти фигурки находят полные аналогии в глиняной пластике северо-западного очага первобытного искусства, подтверждая тем самым мнение исследователей о том, что в формировании андреевской археологической культуры приняло участие население ямочно-гребенчатой культуры Северо-Запада.

Особое место в антропоморфной пластике лесной зоны Евразии в начале II тыс. до н. э. занимают изображения человека в глазковской культуре Прибайкалья. Все они происходят из погребений, выделявшихся обилием и специфическим набором инвентаря. Большая часть фигурок обнаружена в могильнике Усть-Уда, а скульптурки из погребений 4 и 6 этого могильника можно считать эталонными для глазковской культуры [Окладников, 1955; 1975; Студзицкая, 1970; 1987]. При всей индивидуальности этих изображений им присущ устойчивый набор иконографических признаков. Он прослеживается в статичности поз, в общей композиционной схеме изображения в полный рост и фас и в четкой моделировке лица. Фигурки выполнены плоской резьбой, односторонни и как скульптуры могут рассматриваться лишь условно. Прорабатывая детали, резчик акцентирует внимание на передаче специфических монголоидных черт. Разработанная глазковцами стилистическая манера воспроизведения лица человека была полностью воспринята древними литейщиками, изготовлявшими уже из бронзы своеобразные маски-личины («шаманские изображения»), которые бытовали в Прибайкалье в конце I тыс. до н. э. [Окладников, 1948].

Глазковские антропоморфные изображения сопоставимы с пятым (западно-сибирским) типом антропоморфных скульптур по классификации С.В. Иванова [1970], которые распространены у эвенков, южных хантов, нганасан и кетов. Сходство проявляется как в трактовке фигуры в целом, так и в пластике лица. Именно в глазковской скульптуре обнаруживаются истоки того специфического культового искусства лесной зоны, которое доживает до XIX – начала XX в.

В глазковских погребениях Усть-Уды и Шумилихи, наряду с изображениями, где черты лица переданы в прибайкальской традиции, встречаются фигурки с ли-

цами, оформленными в стиле уральских изображений. Большая часть глазковской скульптуры выполнена на пластинах из бивня мамонта. Этнографические материалы подтверждают важную роль этого животного в сибирском культовом искусстве [Рычков, 1917; Иванов, 1954; 1970]. Не исключено, что в данном случае сам материал подчеркивал сакральную сущность этих фигурок. Традиции изготовления таких предметов из мамонтовой кости доживают у тунгусских народов вплоть до XIX в.

Культовый характер глазковских изображений несомненен, особенно если учесть, что именно в это время формируется тот сложный шаманский комплекс, основные черты которого известны по этнографическим материалам XVII–XIX вв. [Окладников, 1955]. Найденная в погребении 38 могильника Шумилиха маска-личина стилистически увязывается с моделировкой черт лица у полных человеческих фигур.

Сопоставление глазковских изображений человека с окуневскими костяными фигурками, предпринятое с целью доказать близость и даже определенное родство этих культур [Максименков, 1970], представляется нам необоснованным. Стилистический анализ антропоморфной пластики обеих культур показывает, что эта категория памятников существенно различается между собой и не может быть привлечена для доказательства их близкого родства.

Известны антропоморфные изображения на глазковской керамике. Такие находки единичны, но очень важны, поскольку, с одной стороны, они свидетельствуют о разнообразии способов воплощения этого сюжета, а с другой – уточняют время появления широко распространенного на сибирских писаницах образа «рогатого человека».

Анализ антропоморфных изображений древнего населения лесов Евразии, несмотря на известную фрагментарность материала, дает достаточно полное представление об отражении темы человека в искусстве малых форм. Наибольшее развитие она получила в памятниках середины III – середины II тыс. до н. э. Характерно многообразие вариантов этого сюжета. Как и бытовые предметы, объемные и плоскостные изображения человека делались из глины, кости, рога, камня и дерева, но выбор конкретного материала для каждой категории был обусловлен этнической традицией и функцией предмета. В этом убеждает постоянство использования одного и того же материала для скульптуры той или иной локальной группы. При этом в ряде случаев материал для антропоморфных и зооморфных изображений мог быть различным.

В неолитических памятниках европейского Северо-Запада преобладают изображения человека из глины, кости, рога, в то время как носители волосовской культуры, также прекрасно владевшие глиной, предпочитали кремень. Не делали они человеческие фигурки и из кости, хотя косторезным искусством владели в совершенстве, о чем красноречиво свидетельствуют фигурки животных. Неизвестна у них и каменная скульптура. Наоборот, в творчестве населения Томского Приобья именно каменная скульптура получает наибольшее развитие. Ее появление тесно увязывается с «огненным ремеслом» (бронзолитейным производством), но в системе мифоритуальных действий [Вальков, 1997]. Древние резчики Прибайкальского очага делали изображения человека преимущественно из мамонтовой кости, несмотря на трудоемкость ее обработки, хотя прекрасно умели использовать различные породы камня при изготовлении орудий труда.

Стилистический анализ антропоморфной пластики позволяет установить преобладание того или иного типа в отдаленных районах обширной лесной зоны. Единичные находки «инородных» типов изображений на памятниках совершенно иного круга указывают, скорее всего, на существование связей между населением смежных, а иногда и очень отдаленных друг от друга районов.

Многообразие форм антропоморфной скульптуры, по-видимому, связано с ее функциональным назначением. Осмысление образа человека происходило на основе развивающихся анимистических представлений, связанных с культом стихий и природы, а также с мифологией.

Схематизм в трактовке образа человека по сравнению с выразительной анималистической скульптурой объясняется, как свидетельствуют о том этнографические материалы, не способностью древнего мастера к более углубленной его разработке, а жесткими требованиями социальной традиции, запрещавшей какие-либо отклонения от господствующего канона. Содержание образа предопределяло его моделировку. Изображения человека в материализованной форме отражали определенные стороны взаимоотношений первобытных охотников-рыболовов с окружающей их природой и многообразной сферой социальной жизни.

Распространение антропоморфных скульптурных изображений в памятниках лесной зоны Евразии показывает, что, начиная с эпохи неолита, тема человека разрабатывалась не только в наскальных рисунках, где была создана целая галерея образов с глубоким внутренним содержанием, но и занимала важное место в искусстве малых форм.

АРЕАЛЫ ДРЕВНИХ КУЛЬТУР И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА КАВКАЗЕ В ЭПОХУ ЭНЕОЛИТА – РАННЕЙ БРОНЗЫ

Многочисленными исследованиями последних лет достаточно надежно установлена зависимость между характером развития древних культур и климатическими изменениями. В условиях невысокой хозяйственно-экономической адаптивности традиционных культур к существенным изменениям природной среды их обитания одним из показателей социально-экономического развития является изменение территории распространения культуры. Сокращение ареала чаще всего проявляется в кризисном, угнетенном состоянии культуры, тогда как территориальная экспансия, нередко преодолевающая границы природно-климатических и ландшафтных зон, – признак социально-экономического процветания.

Кавказ и примыкающая к нему с севера степь представляют собой исключительную по разнообразию физико-географическую зону, явившуюся в эпоху энеолита – средней бронзы средой обитания различных по происхождению археологических культур. На протяжении этого периода, продолжительностью около трех тысяч лет (калибр. ^{14}C : 5500–2500 гг. до Р.Х.), наблюдаются разнообразные по скорости и направлению изменения как ареалов этих культур, так и значительные климатические изменения. Чтобы выяснить, как и в какой степени они взаимосвязаны, следует, в первую очередь, установить хронологическое соотношение климатических и культурных трансформаций.

Методической основой решения этой проблемы является сравнительный анализ и картографирование палеоклиматических и археологических данных с учетом абсолютной хронологии обоих явлений. Естественно, что при таком подходе особое значение приобретает комплекс данных, происходящих из конкретного археологического контекста, а именно – из археологических памятников соответствующих культур и эпох. Исходную базу этих данных составляют результаты региональных исследований последнего десятилетия [Александровский, 1997; Величю и др., 1994; Иванов, 1992; Кременецкий, 1991; 1997; Лаврушин и др., 1991; Левковская и др., 1990, 1992; и др.]. Рассматривая культурно-исторические события в контексте как региональных, так и глобальных природно-климатических изменений, можно сделать следующие выводы.

Благоприятные условия для распространения на Кавказе и в Предкавказской степи энеолитических культур с производящей формой хозяйства наступают только с началом голоцена (9000–8000 л.н.), когда на смену холод-

ному и сухому климату позднего дриаса приходит более теплый и влажный. Как следствие этого изменения на Западном Кавказе вдоль восточного побережья Черного моря, с юга на север, происходит распространение широколиственных лесов, а прежде засушливые и пустынные равнинные области Восточного Кавказа превращаются в зону увлажненной степи с отдельными лесными массивами и зарослями орешника [Adams, 1995]. Неожиданное и резкое похолодание в начале среднего голоцена (около 7500 л.н. или калибр. ^{14}C : 8200 л.н.) и связанная с ним заметная аридизация климата в Восточной Анатолии и Западном Иране, длившаяся приблизительно 200 лет, могли стать причиной продвижения оседлого населения на север – в безлюдные прежде (?) аллювиальные долины Восточного Кавказа, где приблизительно к середине VI тыс. до Р.Х. (калибр.) сформировалась шулавери-шомутепинская культура.

Культуры, занимавшие в это время территорию Западного и Северо-Западного Кавказа, пока не выделены исследователями. Возможно, их памятники даже пока не открыты. При отсутствии надежных оснований для датировки «неолита» Западного Кавказа, представленного памятниками типа Анасеули – Одиши (одишская культура) [Небиеридзе, 1986], возможность его синхронизации с шулавери-шомутепинской культурой сомнительна. Если памятники VII – начала VI тыс. до Р.Х. тяготели к прибрежным районам Черного моря, то приблизительно около середины VI тыс. до Р.Х. (калибр.) они могли исчезнуть в результате катастрофически быстрого подъема уровня Черного моря (прибл. на 155 м) и затопления в короткий период почти 90 000 кв. км прибрежной зоны [Adams, 1995; Ryan et al., 1997; Ballard et al., 2001]. Какими бы ни были последствия этого катаклизма, уже в начале V тыс. до Р.Х. (калибр.) на Западном Кавказе появляются памятники дарквети-мешоковской культуры [Трифонов, 2001]. Судя по преобладанию на памятниках этой культуры костей свиньи, можно предположить, что в условиях теплого и влажного климата среднего голоцена (7000–5000 л.н.) распространение широколиственных лесов вдоль восточного побережья Черного моря (с ЮВ на СВ) сопровождалось расселением в том же направлении населения, хозяйственной основой которого было разведение свиней на естественной кормовой базе. Это предположение становится более вероятным, если учесть, что свинья была одомашнена в Малой Азии уже в начале голоцена [Flannery, 1987; Pringle, 1998].

К концу среднего голоцена (приблизительно 5000 л.н.), видимо с кратковременным ухудшением климата [Adams, 1995], культурные группы древневосточного типа проникают из Восточной Анатолии и Северо-Западного Ирана далеко на север, за Кавказский хребет, где в местной среде в первой четверти IV тыс. до Р.Х. (калибр.) они трансформируются в майкопскую культуру. В благоприятных климатических условиях, позволяющих заниматься, видимо, богарным (неполивным) земледелием и разведением крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней [Кореневский, 1993], майкопская культура первоначально осваивает относительно узкую подгорную зону Северного Кавказа с высотными отметками от 200 до 500 м над уровнем моря. Позднее (на этапе Костромская – Иноземцево) культура распространяется через предкавказскую степь до Нижнего Дона и Калмыкии, где во вторую половину атлантического периода (6000–4500 л.н.), а именно на него приходится климатический оптимум, существовали комфортные условия (благоприятная увлажненность, луговое разнотравье, долинные широколиственные леса) для поддержания хозяйственного типа майкопской культуры [Кременецкий, 1997].

В конце атлантического периода голоцена повсеместно, в том числе в горной и степной ландшафтных зонах, судя по палинологическим материалам, происходящим с многослойных археологических памятников (Гумский грот, Раздорское), наблюдается ухудшение условий увлажнения и намечается переход к более сухому и континентальному климату суббореального периода [Левковская и др., 1992; Кременецкий, 1997]. Общее похолодание и аридизация степи в конце IV – начале III тыс. до Р.Х. (калибр.) повлекли за собой сокращение ареала майкопской культуры до первоначального, т. е. подгорной зоны Северного Кавказа со все еще благоприятным уровнем выпадения годовых осадков, позволяющим некоторое время сохранять традиционный хозяйственный уклад. К рубежу IV–III тыс. до Р.Х. (калибр.) в условиях усиливающейся аридизации и эта экологическая ниша, видимо, перестала быть экономически продуктивной, что, в свою очередь, должно было привести к снижению общей численности населения в регионе и, в конечном итоге, к глубокому кризису и упадку майкопской культуры. Дополнительным источником культурно-экономического стресса для майкопской культуры было ее соседство с ямной культурой. Сокращение зоны комфортного существования майкопской культуры в результате аридизации одновременно означало расширение ареала, благоприятного для иного хозяйственного уклада ямной культуры.

Ухудшение климата в конце атлантического периода в Восточном Закавказье совпадает по времени с началом территориальной экспансии куро-араксской культуры (конец IV тыс. до Р.Х. – калибр.) на юг и север, продолжав-

шейся до периода максимальной аридизации климата, когда Закавказье вновь стало привлекательным для населения более южных засушливых районов Северо-Западного Ирана и Восточной Анатолии.

В период наибольшей аридизации климата (4200–3700 л.н.) предкавказскую степь занимают близкие по хозяйственному укладу, но различные по происхождению северокавказская и катакомбные культуры, причем первая из них осваивала степь, распространяясь с юга на север, в то время как катакомбные культуры, сменяя северокавказскую, продвигались с севера на юг. В какой степени последние два события первой половины III тыс. до Р.Х. (калибр.) связаны с климатическими переменами, пока остается неясным из-за недостатка радиоуглеродных дат и данных палеопочвенного и палинологического анализов.

С началом похолодания и аридизации зоны распространения широколиственных лесов Западного Кавказа сокращаются, усиливается процесс «остепнения» ландшафта [Александровский, 1997] с одновременным снижением высотных отметок распространения хвойных пород и березы [Левковская и др., 1992]. Косвенным подтверждением формирования открытых ландшафтов на облесенных прежде участках является широкое распространение в этот период практики строительства монументальных погребальных сооружений – дольменов, создание которых на террасах и вершинах водоразделов предполагает возможность их обзора со значительного расстояния. Сокращение площади широколиственных лесов, видимо, негативно отразилось на продуктивности хозяйства, основу которого составляло разведение свиней. На этом климатическом фоне и происходит смена энеолитической дарквети-мешоковской культуры дольменной культурой, экономическую базу которой уже составляет разведение не свиней, а крупного и, в меньшей степени, мелкого рогатого скота, для выпаса которого «остепнение» среднегорного ландшафта и формирование обширных лугов явилось благоприятным процессом.

Сравнительный анализ палеоклиматических и археологических данных позволяет сделать вывод, что основные культурные события эпохи энеолита – ранней бронзы на Кавказе и в предкавказской степи находятся в тесной взаимосвязи с наиболее существенными природно-климатическими изменениями на протяжении всего раннего и среднего голоцена.

Характер связи радикальных культурных изменений с климатическими как будто указывает на очень невысокую степень адаптивности традиционных культур эпохи энеолита – ранней бронзы в меняющейся экологической среде. При наличии культур, соперничающих за жизненное пространство, всякий раз преимущество получает та из них, культурно-хозяйственный тип которой

оказывается экономически наиболее эффективным. Вынужденная специализация и приспособление к конкретным природно-климатическим условиям, при значительном и относительно быстром изменении последних, чаще всего оборачиваются неспособностью культурной популяции к спасительным для нее переменам в хозяйственной деятельности.

Вместе с тем, несмотря на климатические и ландшафтные изменения, на Кавказе в течение всего голоцена сохранялись устойчивые физико-географические и климатические различия между восточной и западной частями, что способствовало очень раннему формированию двух

основных культурно-исторических зон — западнокавказской и восточнокавказской. В разной степени открытый влиянию степи с севера Западный Кавказ в ландшафтном, климатическом и культурно-историческом аспектах теснее всего связан с северо-восточной частью Малой Азии, в то время как Восточный Кавказ — с западными областями Ирана.

Оценивая влияние климатических изменений на характер развития и смену древних культур, следует, в первую очередь, отметить их побудительную роль в инициировании процесса перемен, ход которого определяют уже совсем другие причины.

Е.Г. ФУРСИКОВА

О СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЯХ В ОКУНЕВСКОМ И СКИФО-СИБИРСКОМ ИСКУССТВЕ

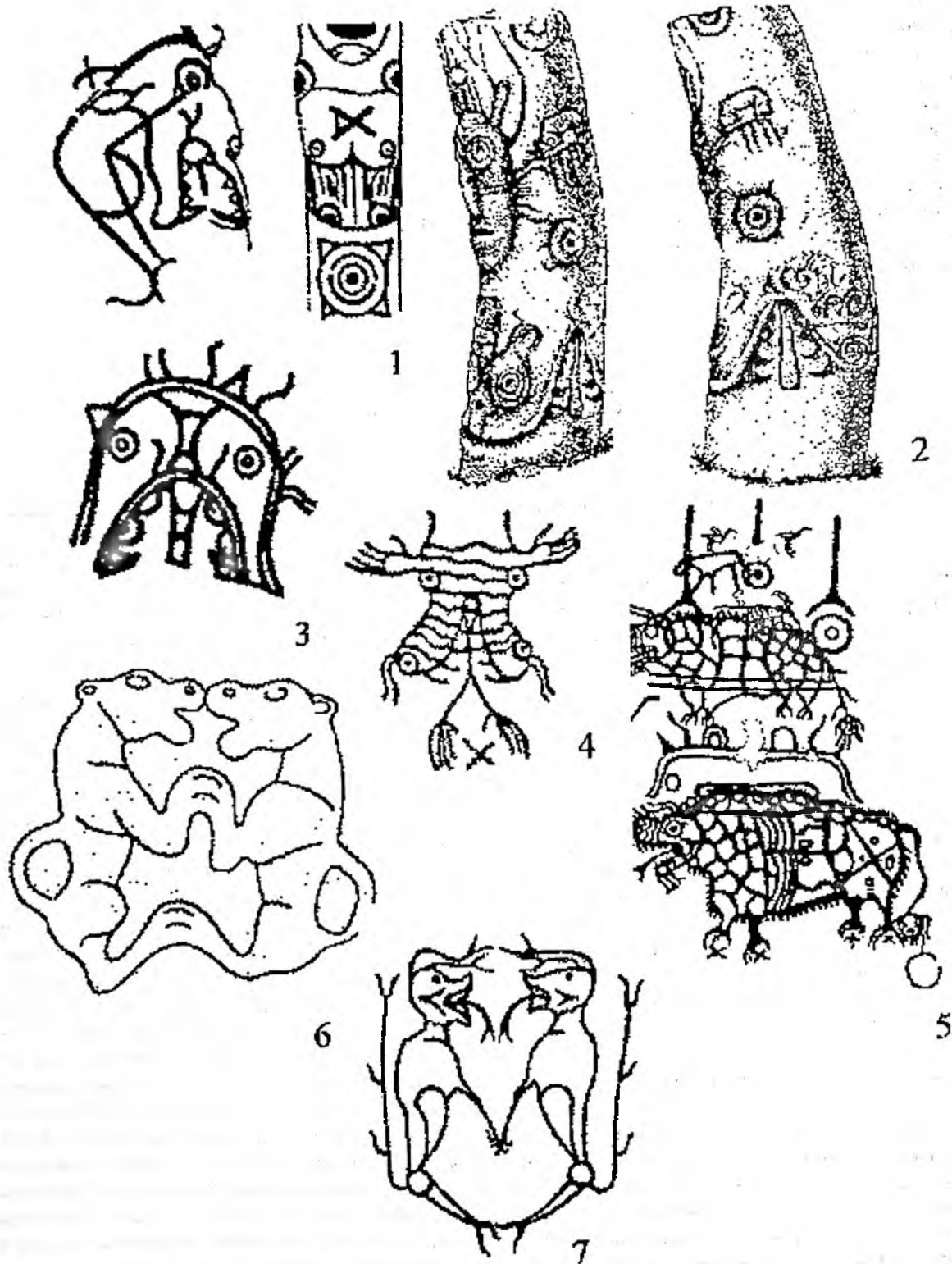
Многие исследователи художественного наследия племен древней Сибири в разное время обращали внимание на некоторые параллели между окуневским и скифо-сибирским искусством — как семантические, так и стилистические [Пяткин, 1987; Шер, 1989], предполагая их возможную преемственность.

Я.А. Шер, один из последовательных сторонников этой гипотезы, отмечал неосторожность, с какой памятники искусства, имеющие некоторое визуальное сходство, привлекаются для аргументации тех или иных теорий в отношении различных исторических процессов. «Стиль», отпечаток которого несет любое произведение искусства, — явление «многослойное», в котором содержательные и формальные черты слиты неразрывно. Кроме того, формальные особенности художественных произведений также имеют градиацию значимости в контексте данной традиции. Условно говоря, стилистические черты могут быть поверхностными, более подверженными изменениям под влиянием инокультурных контактов, времени, материала и т. д., и глубинными, теснее связанными с мировоззрением, и потому более стойкими (правда, они также могут редуцироваться, утрачивать первоначальный смысл и переходить в план поверхностных). Строить же предположения относительно вклада одной культуры в развитие другой (по крайней мере, ее изобразительной составляющей) имеет смысл, если они основываются на сравнении действительно специфических стилистических особенностей.

Одной из таких значимых черт, имеющих параллели в искусстве скифо-сибирского мира, многие исследователи считают традицию билатерального сечения, достаточно отчетливо прослеживающуюся в окуневском искусстве. На окуневском материале эта традиция представлена

сравнительно немногочисленными образцами, однако важно, что существовали психологические предпосылки для создания изображений таким способом. В скифо-сибирском искусстве она оказалась весьма живучей и представлена не только в произведениях раннего периода, но и значительно позже, например среди материалов из алтайских могильников и других.

Изображения с билатеральным сечением объекта (симметрично развернутые, по К. Леви-Стросу) существуют и в некоторых других культурах. Один из крупнейших специалистов в области первобытного и древнего искусства Ф. Боас [Boas, 1955, p. 221–224] на примере произведений индейцев северо-запада Америки объяснял возникновение подобных изображений отождествлением криволинейного предмета, на который оно наносилось, с «телом» реального животного и расположением проекций его тела с разных точек зрения на разных сторонах вещи для того, чтобы представить зверя целиком. При этом изображение, как правило, распадалось на два вида в профиль, которые соединялись между собой посередине, или анфасное изображение плюс два профиля туловища. В этом случае развертка возникает как результат искусственного отделения декора от самой вещи. Однако симметрично-развернутые мотивы встречаются и на вещах иной конфигурации, например плоских. Для Ф. Боаса их существование объяснялось простым механическим использованием той же схемы, в соответствии с которой декорировались объемные предметы (что не очень логично, поскольку сама основа, которую благодаря ее трехмерности можно было отождествить с животным, исчезала). При таком подходе причиной возникновения симметрично-развернутых изображений является исключительно сложность перехода от объема к плоскости.



Билатеральное сечение и зеркальная симметрия в скифо-сибирском искусстве

Однако многие специалисты, изучавшие искусство коренного населения северо-запада Америки, отмечали условность и гораздо большую сложность этого приема, нежели представляется на первый взгляд. Например, определенные замечания по этому поводу высказал Д.М. Сегал [1972, с. 357, 361].

В окуневском искусстве характерный пример подобных изображений на объемной вещи – жезл из Черновой VIII, а также ряд каменных стел с нанесенными на них сложными композициями. Если бы и в самом деле декор «оживал» только в сочетании с материалом вещи, а не имел бы самостоятельного статуса, тогда декорированные предметы приближались бы по внешнему виду к круглой скульптуре, как жезл из Черновой. Но, например, изображение головы хищника на Ширинском камне (рисунок, 1) кажется вполне «реалистичным» только в профиль, анфас же оно значительно деформировано: вполне отчетлива средняя линия, соединяющая два профиля, есть западина посреди лба, фрагменты челюсти заходят на фронтальную сторону камня [Леонтьев, 1997, с. 224] – т. е. с этой точки зрения оно более условно и неестественно, чем предполагает представление о «предмете-животном». При нанесении изображения на круглую поверхность камня в развертке нет необходимости, но поскольку ее признаки имеются, то процесс «декорирования»* выглядит так, как если бы уже подвергнутый билатеральному сечению мотив «навернули» на камень. В отличие от жезла здесь изображение хищника не занимает весь объем вещи, а действительно наложено на нее.

Зверь на камне с оз. Беле (рисунок, 2) более близок изображенному на жезле. Он представлен как бы заглазывающим каменный ствол. Наличие языка с обеих сторон камня можно объяснить условной «прозрачностью» материала и необходимостью «правдоподобия» изображения со всех точек зрения при обходе. Но более красноречива граница, разделяющая нижнюю часть челюсти на две половины. По-видимому, изображение могло рассматриваться как бы натянутым на столб, а не составлять с ним единое целое, что также дискредитирует гипотезу «предмет-животное» (тем более что зверь здесь – не единственный персонаж).

Полностью плоскостные развертки головы хищника представлены на стеле из Усть-Бюри (рисунок, 3). Композиционно (под личиной) они соответствуют «объемным» изображениям зверя на других стелах, но продублированные на обеих боковых гранях. Такая же по схеме развертка нанесена на плоский камень с личиной (рисунок, 4). Оба изображения состоят из двух неполных

профилей (без нижней челюсти). Здесь, кстати, хорошо видно, что характерное «луноподобие» многих личин может объясняться проекцией на плоскость частей, которые на круглых камнях обычно оказывались на боковых сторонах.

В скифском искусстве встречаются оба типа изображений с билатеральным сечением. По схеме первого типа голов животных – на «Ширинской бабе» и стеле с оз. Беле изображались чаще всего головы кошачьих хищников и грифонов и, как правило, на плоской поверхности. Развертки второго типа представлены на псалнях, колчаных крючках, подвесках, пряжках (рисунок, 5, 6).

Может возникнуть вопрос относительно правомерности сопоставления столь немногочисленного материала. В скифо-сибирском искусстве развернутые изображения широко распространены и практически не ограничены каким-либо временным периодом. Однако почти все они являются, так сказать, образцами «мобильного» искусства и декорируют предметы упряжи, вооружения и быта, значительная часть которых выполнена из таких недолговечных материалов, как кожа, дерево и войлок. Подобных изображений на камне, насколько мне известно, нет. Если бы в распоряжении специалистов были только изображения, сделанные на металле, они показались бы лишь странным случайным вкраплением в «репертуаре» скифо-сибирского искусства.

Невозможность двухмерного пространства вместить все значимые или желаемые черты вызывала и другие деформации образов, которые мы рассматриваем как формальные, но которые были, видимо, и семантически обусловлены.

Например, на стеле с р. Аскиз (рисунок, 5) изображения животных отмечены одинаковыми «неправильностями»: часть морды над верхней челюстью показана анфас, будучи формально профильной. Она повернута в вертикальной плоскости, видны складки через все «лицо» (у нижнего – с западинами посередине морды), обе ноздри и выходящие из каждой ноздри пары отростков. Манера показывать рога и уши друг за другом, «в строчку», вполне обычна, правда, не только для окуневского искусства. У нижнего животного выделен фрагмент тела, представленный в «скелетном стиле». Часть позвоночного столба развернута в плоскости, с отходящими вверх и вниз ребрами. По бокам от него изображены, возможно, почки или признаки пола [Леонтьев, 1997, с. 231]. Сходным образом передан позвоночник зверя из Черновой (плюс две ноздри и «почки» при виде в профиль) и «хищника» из Бырканова [Пяткин, 1997, с. 263]. Можно предположить, что к подобным деформациям прибегали в случае необходимости подчеркнуть двоичность, в остальных случаях вполне удовлетворялись профильными

*Естественно, что под «декорированием» подразумевается не «украшательство», а изменение поверхности предмета.

изображениями. В искусстве кочевников совмещение в одном изображении различных точек зрения, а также частичные развертки тоже нередки.

В скифо-сибирском искусстве нами также отмечена особая роль, которую играла симметрия в его изобразительном строе на всех уровнях – в отдельных мотивах, в композиционных построениях, на смысловом уровне. По-видимому, она (а также всяческое подчеркивание двоичности, двойственности и парности) имела место и в окуневской культуре [Леонтьев, 1997, с. 224]. В искусстве кочевников, кроме мотивов с билатеральным сечением, существовало множество просто сдвоенных. Например, характерна пара зверей из Цукур-Лимана (рисунок, 7), сопоставимая с животными из Верхнего Аскиза (правда, единственными в своем роде). Наиболее интересной, на наш взгляд, является бессюжетность (в формальном отношении) обеих вещей, поскольку животные в том и другом случае не связаны ничем, кроме близкого расположения. Эти построения трудно истолковать как схватку, поскольку они лишены агрессии, более того, у окуневских лапы не сцеплены, а когти повернуты вовнутрь. В парных изображениях, подобных этому, персонажи не только зеркально отражают друг друга, но часто представлены в позах, приближающихся к каноническим (например, свернувшиеся или скребущие в скифо-сибирском искусстве), а в данном случае положение тел такое же, как у целой группы «сидящих» зверей [Студзицкая, 1997, с. 254–255], т. е. у каждого персонажа своя, вполне устоявшаяся семантическая нагрузка, и положение их ничуть не меняется от соседства «двойника». (Надо еще раз подчеркнуть, что мы говорим о формальных аспектах произведения. Очевидно, что какой-то сюжет существовал, но визуально он не отображен. Поэтому построения, подобные этому, примут любую интерпретацию: звери-стражи, борющиеся, близнецы и т. д.)

Кроме этих особенностей звериный стиль и искусство окуневцев сближает и «скелетная» трактовка образов петроглифов, о чем писал, например, Я.А. Шер [1989].

К более общим признакам изобразительной традиции относится незамкнутость отдельных образов, обеспечивающая их восхитительную визуальную игру, при которой один перетекает в другой или является его частью, при этом не теряет самостоятельности и не разрывает композиционного целого. Прекрасный пример – «Ширинская баба» (как и многие другие образцы); в скифском же искусстве – пронизка из Темир-горы, ульское навершие и другие.

Поскольку вопрос происхождения скифо-сибирского искусства является наиболее дискутируемым в ски-

фологии, подобные формальные параллели в изобразительном языке обеих традиций могли бы стать весомым аргументом в пользу центральноазиатских корней этого феномена. Однако справедливости ради надо принять во внимание, что столь индивидуальные признаки, как билатеральное сечение, сходные схемы построения изображений, отношение к форме как весьма пластичному материалу и одновременно довольно жесткая детерминированность образов, хорошо представленные как в окуневском, так и в скифо-сибирском искусстве, присутствуют и в художественном наследии Древнего Китая и коренного населения северо-запада Америки. Причем, представлены там не единично и случайно, но также образуют некую закономерную систему. И при всех неоспоримых стилистических различиях на уровне отдельных образов проявляется порой ошеломляющее сходство (маски или свернувшиеся в кольцо звери), однако самостоятельность сложения этих анималистических стилей вряд ли нужно подвергать сомнению.

В вопросах формирования того или иного стиля различные формальные особенности часто воспринимаются как готовый продукт, который может передаваться в завершенном виде. Отчасти, возможно, это так, учитывая неоспоримую традиционность древних обществ. Но при изучении взаимоотношений разных культур, как нам кажется, большее значение имеет внутренняя мировоззренческая, мифологическая, духовная среда, благодаря которой отдельные мотивы и композиции оформляются тем или иным образом. В данном случае полагаем, что наличие столь своеобразных черт в двух указанных традициях подразумевает существование определенного сходства между ними, учитывая, что выделенные особенности намного более специфичны, чем подобие анималистического репертуара, близость сюжетов и т. д. Однако прямая трансляция отнюдь не обязательна, о чем говорят приведенные выше параллели.

Необходимо отметить, что между двумя рассматриваемыми нами культурами существует не меньше различий, чем сходства. Здесь мы имеем в виду не только формальные особенности, но и такие более общие характеристики, как репертуар образов, характер памятников, «удельный вес», например антропоморфной составляющей в изобразительном искусстве. Сходство изображений двух культур может объясняться «доживанием» окуневской культуры до скифского времени. И в совокупности с ясно выраженными параллелями в изобразительном наследии двух традиций это может подкреплять предположение о том, что область формирования искусства ранних кочевников находится именно в Центральной Азии, где сложилась определенная духовная среда, отразившаяся и в строе кочевнического искусства.

О ВОЛГО-УРАЛЬСКИХ ТИПАХ СОСУДОВ В ПАМЯТНИКАХ СРУБНОЙ КУЛЬТУРЫ

Появление восточных типов керамики или ее элементов в памятниках срубной культуры – один из существенных факторов по вопросам проблематики позднего бронзового века на юге Восточной Европы. В настоящей статье мы не претендуем на полный охват данной темы, к которой все время обращаются исследователи в той или иной степени. Приток новых материалов на территории Левобережной Украины (Нижнее Поднепровье, р. Северский Донец), где содержалась рассматриваемая посуда, сразу же привлек внимание исследователей [Ковалева, Волкобой и др. 1978; Волкобой, 1980; Гершкович, 1978; Березанская, Гершкович, 1983]. Речь идет о федоровских, федоровско-черкаскульских типах керамики или их подражаниях. Такие сосуды встречаются в срубных комплексах от Поволжья до Нижнего Поднепровья и как будто проникают в Поднестровье [Шмагли, 1970]. Сосуды этого типа характерны для выделенной Ю.И. Колевым в Волго-Камье и Западном Приуралье сусканской культуры андроновского происхождения [Колев, 1991; 2000].

В западной части срубного ареала федоровские типы и их подражания известны, как стало ясно, в погребениях Нижнего Дона, а также Прикубанья [Шарафутдинова, 1991] и на севере Калмыкии [Шнайдштейн, 1981, рис. 17; Васюткин, 1987]. На Нижнем Дону известно около 40 таких комплексов, включая Миусский полуостров. Небольшая часть сосудов из них была опубликована, но тогда еще без сопоставления с восточными типами [Мошкова, Максименко, 1974; Федорова-Давыдова, 1983; 1986; Шарафутдинова, 1985; Ильюков, Казакова, 1988; Козюменко, Парусимов, 1989, с. 20; Семенов, 1999]. В двух случаях указана связь с черкаскульскими типами [Рогудев, 1990, с. 49]. В Прикубанье известно примерно 15–16 комплексов с сосудами, близкими федоровским формам и названными нами тогда постостроречерными либо причисленными к остроречерным.

Рассматриваемая керамика в Левобережной Украине и на Нижнем Дону представляет собой следующее. Горшковидные формы плавных, иногда вытянутых пропорций; приземистые формы – чашеобразные и вазообразные. Оба типа, но чаще последние, нередко на небольших характерных поддонах. Распространены так называемые кубки на ярко выраженных поддонах. На Нижнем Дону встречены один кубок в разрушенном погребении под Таганрогом и федоровское блюдо в насыпи кургана, орнаментированное мелкозубчатым штампом (Мехзавод под Ростовом, раскопки Л.М. Казаковой в 1973 г.). Узор зачастую покрывает 2/3 сосуда, иногда

встречается у дна либо на поддонах. Техника исполнения: врезные линии, каннелюры, мелкозубчатый и веревочный штампы (последний, несомненно, от срубной культуры). В Прикубанье встречается орнамент в двух случаях. Мотивы узоров – обычно заштрихованные свисающие треугольники, нередко в верхней части сосудов, но более типичны косые треугольники, иногда стоящие и размещенные в верхней части сосуда. Характерны своеобразный меандр, горизонтальная «елочка» в три-четыре излома. Распространен многозонный орнамент из горизонтальных линий, каннелюр, из мелко заштрихованных узких полос, вдавлений и т.п.; горизонтально заштрихованные прямоугольники, часто косые. Срубные мотивы (горизонтальный зигзаг, «паркет», свисающие на тулове вложенные треугольники и т. д.) нередко сочетаются с федоровскими. Существенно, что иногда федоровские мотивы встречаются на срубных остроречерных формах. Все это свидетельствует о переработке восточных типов керамики в срубной среде. На Нижнем Дону орнаментация такой посуды скромнее и сопровождает 70–75 % экземпляров.

Восточные (федоровские) формы сосудов, а также горшки с валиком под венчиком на Нижнем Дону и в Левобережной Украине связываются с предсабастиновским этапом* [Бочкарев, Доклад в Самаре, 1990; Бочкарев, 1995, с. 119]. К предсабастиновскому этапу срубной культуры, выделенному В.С. Бочкаревым по металлическим изделиям в 1970-х гг., относятся, по его типологии, ножи с глубокими выемками под плоским ромбическим упором [Leskov, 1981, taf. 15, p. 4–8], и в этот же период появляются сосуды с валиком под венчиком [Бочкарев, Лесков, 1978, с. 24]. На орнаментацию таким валиком горшков раннесрубной культуры также указывалось исследователями [Косарева, 1979; Березанская, Косарева, 1980]. Следует отметить, что иногда горшки с валиком имеют федоровские пропорции: плавность, округлость и т. п.

В погребениях предсабастиновского этапа с федоровскими и федоровско-черкаскульскими типами (в том числе и с кубками) – всегда срубный обряд, но иногда присутствуют две черты. При доминировании ориентировки на В и СВ встречается ЮВ, а также положение на правом боку при господстве на левом. Эти две черты являются преимущественными для сусканских погребений

*Предсабастиновский этап срубной культуры следует за ранним классическим этапом срубной культуры, где еще сохраняется ряд покровских черт.

[Колев, 2000, с. 246]. Уместно добавить, что для срубного погребального обряда предсабастиновского этапа характерно (весьма значительно) следующее преобладание: восточная ориентировка над северной, веревочный штамп над зубчатым в орнаментации острорезберных сосудов (при сохранении нейтрального врезного узора) [Шарафутдинова, 1992, с. 38–39].

Все изложенное позволяет подчеркнуть значение присутствия восточных федоровских типов керамики в срубной культуре для периодизации позднего бронзового века и характеристики межкультурных связей в тот период на юге Восточной Европы. Срубная культура, продвигаясь из Волго-Уралья на З и ЮЗ, включила в свою среду восточные типы керамики, переоформив их в той или иной

мере. Материалы сусканской культуры синхронизируются с предсабастиновским этапом. Этому не противоречат и положения Ю.И. Колева [2000].

Поэтому невозможно согласиться с мнением ряда исследователей о появлении федоровско-черкаскульских типов керамики в позднесабастиновское время (III период) – раннебелозерское [Гершкович, 1998, с. 72]; даже при учете существования этих типов в раннесабастиновское время. Федоровские типы керамики в Левобережной Украине и на Нижнем Дону сочетаются всегда в комплексах с материалами предсабастиновского этапа [Ковалева, 1981, табл., с. 84; Литвиненко, 1999, с. 15–17]. Не исключено, что нижняя граница этого этапа, может быть, понизится.

Т.А. ШАРОВСКАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АЛЕБАСТРОВЫХ СОСУДОВ

Одним из наиболее ярких явлений в культурных комплексах периода позднего энеолита – эпохи бронзы Алтын-депе являются каменные туалетные сосуды. Такие сосуды появились в позднем энеолите и, судя по инвентарю богатых погребений III тыс. до н. э., обязательно входили в состав женского туалетного набора. Большой частью сосуды были изготовлены из алебаstra белого, желтоватого и розового цветов. Размеры и форма их отличаются большим разнообразием – от маленьких туалетных сосудиков с кубическим, квадратным, коническим, конусовидным, подшаровидным туловом до чаш и мисок, о которых можно судить по отдельным фрагментам. Изучение алебастровых предметов с помощью трасологического метода позволило реконструировать приемы их изготовления, а также инструменты, которые при этом использовались.

Для реконструкции начальной стадии – подготовки болванки – были использованы материалы помещений 10 и 13 горизонта 9 раскопа 5. Они представлены обломками горной породы в различной степени подготовки, и здесь мы имеем настоящий гомологический ряд. Среди заготовок имеется обломок подшаровидной формы, с которого на 50% поверхности снята корка. При освобождении желвака от корки и создании первичной наметки объема производилась грубая оббивка без выравнивания поверхности. Излишки породы также отсекались узким орудием, оставившим борозды шириной 0,2–0,1 см. Они расположены на расстоянии 0,5–1,0 см друг от друга и имеют протяженность от 1,2 до 3,4 см.

Вторая по степени подготовки заготовка имеет форму цилиндра. На боковой поверхности цилиндра все бороз-

ды расположены строго по вертикали. Торцы выровнены орудием, оставившим аналогичные следы, однако борозды объединяются в отдельные группы, параллельные между собой.

Третьей болванке придана усеченно-конусовидная форма с выпуклыми торцами. На ней сохранились следы первичной подготовки в виде негативов сколов размерами до 1,5 x 1,8 см. Следы орудия, применявшегося для дальнейшей обработки, представляют собой насечки шириной 0,1–0,3 см. Расположены они так же, как и на цилиндрической заготовке, но протяженность имеют разную: на выпуклых участках – 0,7–1,1 см, на более плоских – 1,5–2,5 см. Скорее всего, и протяженность лезвия орудия, применяемого при данной операции – отеске, равнялась 2,5 см. К этому выводу мы пришли, предположив, что на плоской поверхности лезвие контактирует с материалом максимально, а на выпуклой поверхности – частично.

Четвертая заготовка – цилиндро-коническая. На данной заготовке наблюдаются негативы сколов уже упоминавшихся размеров и насечки, расположенные все по тому же принципу, однако здесь борта насечек имеют разные углы наклона. Это может свидетельствовать о применении орудия с плоским, а не стержневидным лезвием, так как только такое лезвие при изменении угла приложения оставляет насечки с вышеописанными особенностями.

Пятая заготовка имеет также цилиндро-коническую форму. На ней присутствуют все перечисленные следы, однако наблюдается и еще один прием использования основного орудия. В данном случае орудие ставилось с наклоном под меньшим углом, благодаря чему возник-

ли плоские снятия протяженностью 0,5–1,0 см. Именно это можно считать настоящим отесыванием.

На шестой заготовке проступает форма подконического туалетного сосудика с узким горлом и выпуклым дном. Здесь впервые наблюдаются поперечные насечки на тулове, так как формировалась вогнутая боковая поверхность. Поэтому орудие изменило направление работы.

Седьмая заготовка также была предназначена для изготовления подконусовидного туалетного сосудика. Здесь мы наблюдаем не только все ранее описанные приемы, но и признаки последующих стадий изготовления сосуда. Если в начальной стадии предполагаемое нами орудие фиксировалось вертикально, по нему, скорее всего, ударяли киянкой и таким образом дробили поверхность, то с целью приближения к конкретной форме сосуда орудие ставили более наклонно и материал скалывали расчетливее и осторожнее. На данном же объекте мы наблюдаем некоторую огранку поверхности при переходе к формированию шейки сосуда. На этом участке орудием работали как бы по касательной к поверхности, т. е. угол наклона орудия еще более уменьшался. Ширина грани при этом получалась 1,0–1,5 см. Основание шейки сосудика было намечено пропилом глубиной 0,2, шириной 0,3 см. Такова и возможная характеристика отдельных параметров лезвия пилки.

Восьмая заготовка еще более конкретизирует форму будущего туалетного сосудика. Он должен был иметь усеченно-коническое тулово с валиком под узкой шейкой и коническое горло. Разметка валика была сделана двумя пропилами. Затем оббивкой и отесыванием был грубо сформирован валик шириной 0,9 см. Шейка сверху до валика отесывалась орудием, оставившим плоские полосы шириной до 1,0 см. На границе с валиком орудие упиралось, оно оставляло насечку шириной 0,1 см.

Верхние торцы заготовок, в отличие от нижних, обрабатывались специальным орудием реже, обычно ограни-

чивались грубой оббивкой. Затем эта деталь спиливалась, чему есть подтверждение – на памятнике обнаружены соответствующие отходы. Например, из нескольких фрагментов нами был собран округлый предмет, на одной стороне которого имелись грубые сколы, а на другой – следы глубоких пропилов, направленных с четырех сторон к центру, но не доведенных до него. Надпиленный кружок был затем просто сбит с болванки. После этого высверливали начало устья сосуда.

По имеющимся целым законченными формам и их фрагментам нами прослежены приемы окончательной отделки сосудов при помощи узкой (шириной 0,5–0,7 см) желобчатой стамески. На внутренней поверхности стенок полосы соответствующих размеров направлены по вертикали. По краю дна фиксируется бороздка от лезвия, которое здесь заканчивало движение. На внутренней поверхности дна фиксируются скользящие следы работы этим же орудием, но направленным уже вертикально к обрабатываемой поверхности. Следы при этом также желобчатые, но более короткие и извилистые, с многочисленными царапинами. Снаружи фиксируются участки поверхности, сформированной выстругиванием. Как правило, все сосуды тщательно обработаны на абразиве. Украшались сосуды в основном с применением пиления. Таким образом создавалась, например, красивая рифленая поверхность.

Наиболее неясным моментом в наших наблюдениях был вопрос о «срезающем» движении орудия (или строгающем). В какой-то мере ответ получен благодаря небольшой серии экспериментов по изготовлению алебастровых сосудов.

На данном этапе исследования удалось выяснить, что изготовление сосуда из алебастра значительно облегчается после его замачивания в воде. В этом случае сопротивление материала при резании, строгании, скоблении значительно уменьшается.

Н.И. ШИШЛИНА, О.В. ОРФИНСКАЯ, В.П. ГОЛИКОВ

ТЕКСТИЛЬ ЭПОХИ БРОНЗЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА: ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Майкопская культура представляет собой один из ярчайших культурных феноменов эпохи бронзы Кавказа и всей Евразии. Особое место среди уникальных материалов этой культуры занимает текстиль, происходящий из погребальных памятников.

В дольмене у станции Новосвободной (Царской), раскопки 1898 г., курган 2 [Попова, 1963, с. 14], на скелете были найдены «остатки нескольких одежд» (ГИМ,

оп. № 89). Фрагмент ярко-красной ткани происходит из коллекции Майкопского кургана (Ошад) (ГЭ, инв. № 34-133). При новых раскопках в 1979–1980 гг. в станице Новосвободной (урочище Клады), в погребении 5 (каменная гробница) кургана 31, на внешней стороне донца ковчежца из мышьяковой меди сохранился фрагмент ткани, пропитанный окислами меди (ГЭ, инв. № 2785-42).

Майкопский курган. Проведенное исследование трех образцов показало, что ткань была трехцветной. Полосы на ткани сформированы нитями основы темно-коричневого, светло-коричневого и бежевого цвета. Нити утка бежевого цвета идентичны нитям основы, но в два сложения (II-го порядка). На бежевом фоне проходят вертикальные темно- и светло-коричневые полосы. Ткань покрыта (пигментирована) красной краской (рис. 1, 2).

Образец 1. Это очень тонкая газовая ткань с перевитой основой, спрессованной в несколько слоев. Тип текстильного переплетения – ткань с перевитой основой при повороте нитей на 360° в одном направлении (рис. 1, 3). Нити основы I-го порядка, толщина 0,04–0,08 мм. Нити утка II-го порядка с S-круткой (шаг крутки 1,5 мм), толщина 0,1 мм. Плотность по нитям основы 20, по утку 20 нитей/см.

Образец 2а аналогичен образцу 1: ткань также была сложена в несколько слоев, которые отличаются по интенсивности «пигментированной» окраски.

Образец 2б аналогичен образцу 2а, но имеет сплошную ровную окраску.

Образец 3 имеет, как и образец 1, сильную «пигментацию» красного цвета. Коричневые нити просматриваются хуже. Все технические характеристики такие же. Исследование нитей показало наличие в образце хлопковых и шерстяных волокон.

Станица Новосвободная, курган 2 (1898 г.). В образце ткани были идентифицированы шерстяные и хлопковые нити (рис. 1, 1). Тип текстильного переплетения – ткань с перевитой основой при повороте нитей на 180° в одном направлении (рис. 1, 3). Нити основы I-го порядка – темно-коричневого и бежевого цвета; толщина темно-коричневых нитей 0,04–0,06 мм, бежевых – 0,04–0,08 мм. Нити утка I-го порядка – бежевые, толщина 0,06 мм. Плотность по нитям основы 14, по утку 20 нитей/см. Таким образом, образец представляет собой ткань газового переплетения из тонких нитей с низкой плотностью (14 x 20 нитей/см): она была легкой и полупрозрачной. Образец двухцветный: узор в виде вертикальных полос сформирован нитями основ разного цвета (темно-коричневого и бежевого); ткань имела бежевый фон с четкими вертикальными полосами темно-коричневого цвета.

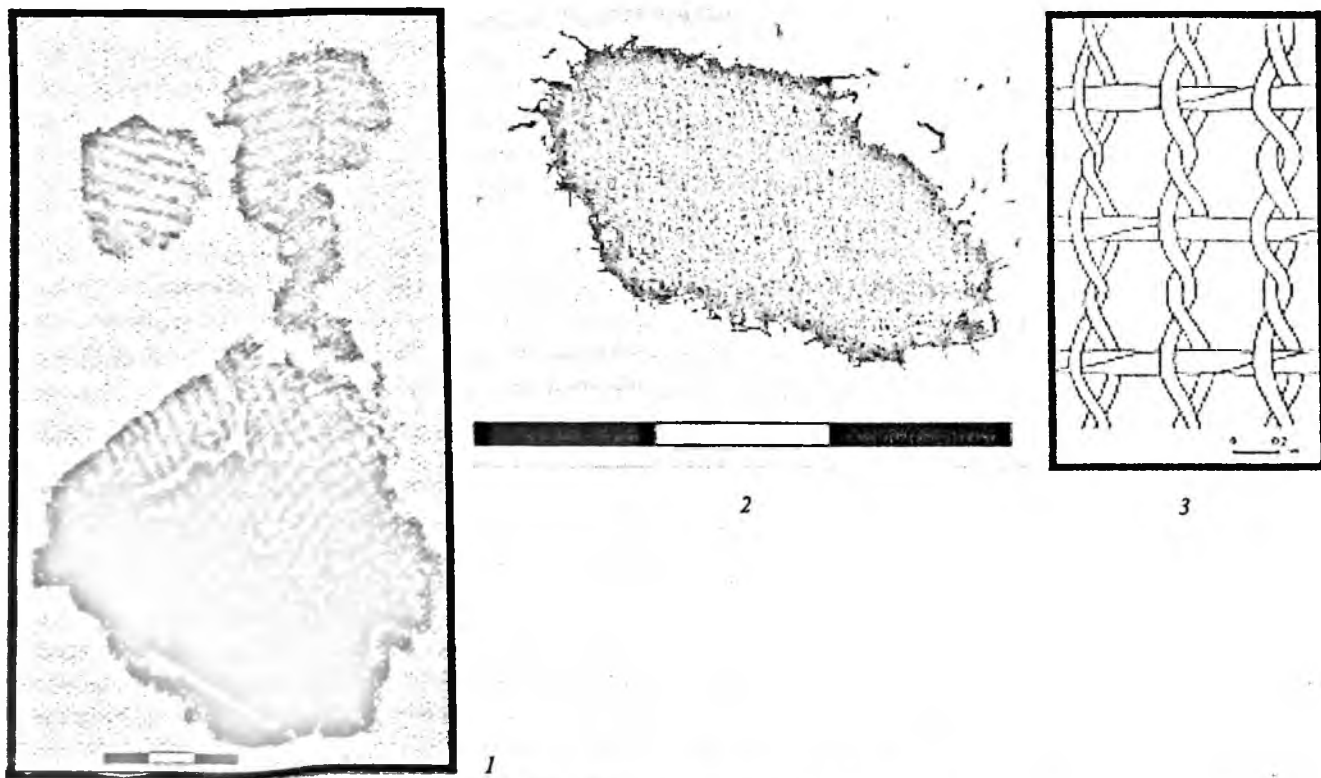


Рис. 1. Образцы текстиля Майкопской культуры:
1 – курган 2 у станицы Новосвободная (коллекция ГИМ); 2 – Майкопский курган (коллекция Эрмитажа);
3 – схема текстильного переплетения

При наложении нескольких слоев этой ткани в разных направлениях создается впечатление «клетки» узора. После того как ткань была сложена, на нее с лицевой или изнаночной стороны попали капли красной краски, которые и окрасили отдельные волокна. В темно-коричневых нитях определено наличие окраски внутреннего объема волокон протравными красными и черными органическими красителями с применением протравных катионов.

Таким образом, можно высказать предположение, что в одной ткани использовали нити из смеси волокон шерсти и хлопка или два типа нитей из шерсти и хлопка. В пользу последнего предположения свидетельствует высококачественное крашение танидами, что возможно только для шерсти. Тогда в этой ткани светлые нити (неокрашенные) – хлопковые, темные (окрашенные) – шерстяные.

В этом же кургане на поверхности меха черного цвета были зафиксированы отдельные «пигментированные» красные волокна. Они могли лежать как сверху меха, так

и снизу. По технологическим характеристикам они близки или идентичны нитям образцов из Майкопского кургана. Нити были окрашены.

Станица Новосвободная (урочище Клады), курган 31, погребение 5 (1979–1980 гг.). Образец соткан из льняных нитей; тип текстильного переплетения – полотняный (рис. 2, 1, 3). Нити основы двух видов: темно- и светло-коричневые II-го порядка с S-круткой (шаг крутки 0,9 мм). Толщина светлых нитей 0,2 мм, темных – 0,15 мм (рис. 2, 2). Нити утка II-го порядка с S-круткой (шаг крутки 0,5–1 мм). Толщина нитей 0,25–0,3 мм. Плотность по нитям основы 32, по нитям утка – 40 нитей/см. Зафиксированы ошибки в ткацком переплетении, что помогло выделить направление нитей основы и утка. Образец аналогичен первому, но более интенсивно окрашен: отдельные участки уточных и/или основных нитей ткани локально хромогенизированы с помощью красного пигмента или красной краски (рис. 2, 1).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА

Идентификация текстильных волокон в изучаемых фрагментах показала, что использовались шерстяные, хлопковые и льняные нити. На поверхности меха из Новосвободной идентифицированы волокна хлопка.

Идентичность волокон из ткани, хранящейся в Эрмитаже, с волокнами, обнаруженными на поверхности черного меха, а также на полосатой ткани из Новосвободной позволяет высказать предположение, что при распределении коллекции из раскопок В.Н. Веселовского Археологической комиссией произошла путаница и фрагменты красной ткани из кургана 2 станицы Новосвободной попали в коллекцию Государственного Эрмитажа, где хранятся материалы Майкопского кургана. В пользу того, что эти ткани из одного погребения, свидетельствуют следующие аргументы: 1) обе ткани выполнены на дощечках с двумя дырочками, но при разных поворотах дощечек (на 180 и 360°). В данном случае могли использовать одни и те же дощечки, угол поворота объясняется не разными ткацкими традициями, а, скорее всего, задачами, поставленными перед ткачами: создание разных по структуре и плотности тканей; 2) использование одного сырья (шерсти и хлопка) для изготовления нитей.

Такое сочетание в одном изделии является необычным на современный взгляд, но может характеризовать традиции одного или нескольких древних текстильных центров; 3) применение одинаковых по толщине нитей для ткачества двух тканей; 4) одинаковая окраска нитей – в темно-коричневый и бежевый цвет; 5) обе ткани покрашены целиком или имеют только следы одной красной краски; 6) присутствие идентичных майкоп-

ской коллекции волокон красной ткани на мехе из Новосвободной.

Анализ всех тканых образцов и идентификация красных окрашенных волокон, обнаруженных во всех образцах из комплекса Новосвободная – Майкопский курган, позволили нам высказать следующее предположение. Погребенного из кургана 2 могильника у станицы Новосвободной обернули (одели) в ткань (одежду), которую затем «залили» краской. Возможно, это была не тканая одежда, а ленты шириной не менее 6 см (о том, что это не было одно шитое изделие, свидетельствует различное направление полос в спрессованном фрагменте). Покойника сверху запеленали сложенной в несколько слоев тканью (лентами?). На изнаночную сторону полосатой ткани попала краска, т. е. умершего пеленали сразу же после «заливки» тела краской. Сверху покрыли шкурой мехом наружу.

Оценка текстильных характеристик образцов текстиля выявила, что были использованы таблички или диски (более 84). Применение высококачественного сырья, прядение очень тонких нитей – 0,04–0,08 мм, ткачество широких полос с использованием большого числа табличек – все это свидетельствует об очень высоком уровне мастерства ткачей – создателей тканей из кургана у станицы Новосвободная (1898 г.). Ткань из могильника Клады у станицы Новосвободная (1979–1980 гг.) изготовлена на раме с ручным перебором нитей основы в одном направлении.

В целом, оценивая уровень ткачества на основании изученных образцов, следует отметить, что на первом месте

стоит новосвободненский/майкопский текстиль, на втором – новосвободненский текстиль из новых раскопок.

Идентификация крашения в изученных фрагментах имеет огромное значение. Определено два способа крашения танидными красителями: 1) неклассическая технология для льняных тканей: в один раствор одновременно добавлялись и красильное сырье, и протравные соли; затем в эту смесь опускали окрашиваемые нити; в результате красители и протравные катионы образовывали в растворе нерастворимые соединения, которые затем осаждались на поверхности волокон и не проникали в их внутренний объем (Клады); 2) классическое протравное крашение

шерсти, причем красили волокнистое сырье, а не готовые нити (Новосвободная); определен красный пигмент – редкий минерал монтроидит, который использовался для окраски тканей в технике живописи (Майкоп/Новосвободная; Новосвободная, курган 31).

В ткани из Майкопского/Новосвободненского кургана и в ткани из Новосвободной реконструируется авторское крашение:

– темно-коричневые нити из шерстяных волокон были окрашены танидами после протравы волокнистого сырья – это классический вариант технологии крашения танидами по протраве;

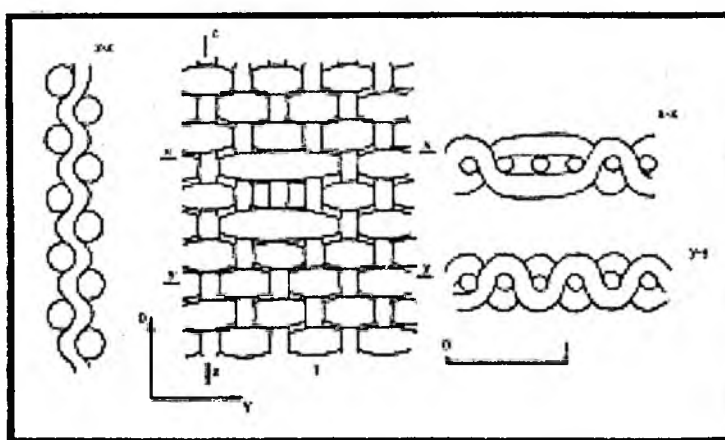
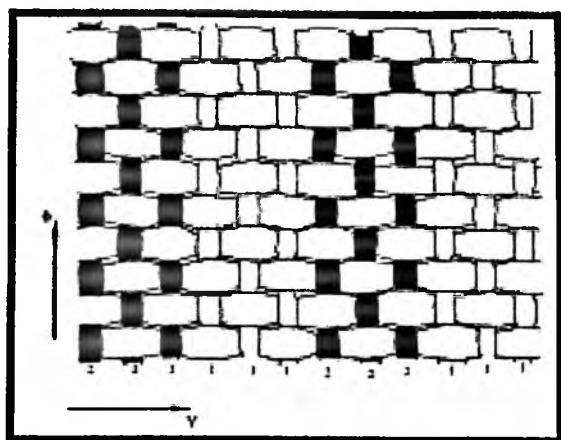
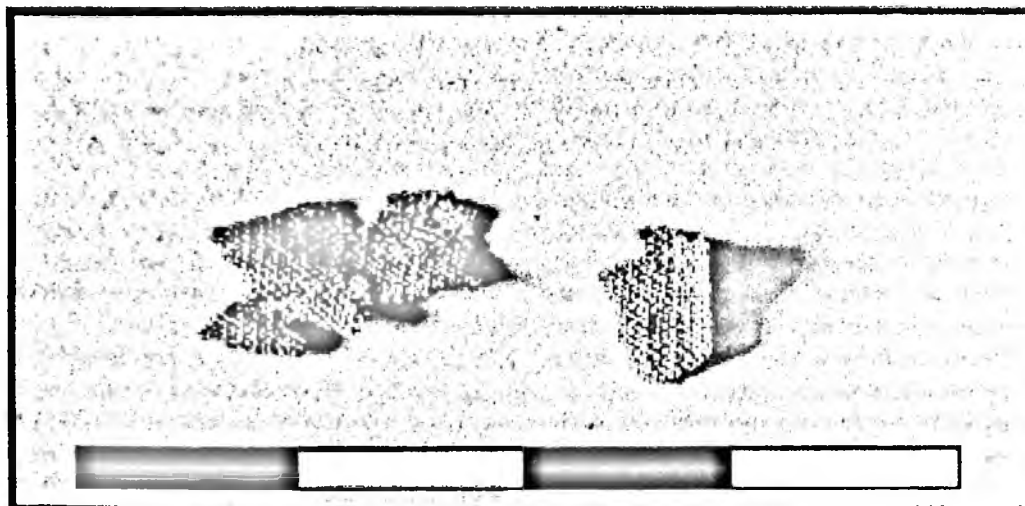


Рис. 2. Образцы текстиля из кургана 31 погребения 5, ст. Новосвободная, урочище Клады:

- 1 – общий вид; 2 – колористическая реконструкция ткани (1 – светлые, 2 – темные нити; O – направления нитей основы, Y – направление нитей утка); 3 – реконструкция текстильных переплетений: фронтальный вид ткани, боковой разрез по линии «X-X» (видна ткацкая ошибка – захват трех нитей основы вместо одной нити), боковой разрез по линии «Y-Y», боковой разрез по линии «Z-Z» (O – направления нитей основы, Y – направление нитей утка)

– бежевые нити из хлопка, видимо, не были окрашены, следовательно, были белыми.

На втором этапе хромогенации ткань из Майкопского/Новосвободненского кургана поливали, опускали в красную краску или наносили ее на ткань кистью, капли крас-

ки попали на двухцветную полосатую ткань. Волокна, покрытые этой краской, оказались и среди волосков меха.

Анализ текстиля указывает на очень высокий уровень текстильного производства и позволяет обсудить несколько исторических проблем.

ТЕКСТИЛЬ ИЗ НОВОСВОБОДНЕНСКИХ ПАМЯТНИКОВ СЕВЕРНОГО КAVKAZA: МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ИМПОРТ?

Определенные нами технологические характеристики древнейшего текстиля, сохранившегося на Северном Кавказе, позволяют остановиться на проблеме возможного происхождения и развития текстильной технологии региона. Для этого необходимо рассмотреть, каким образом развивались аналогичные технологии на территориях, с которыми Северный Кавказ мог иметь в это время культурные и экономические связи, в первую очередь – на Южном Кавказе, Переднем Востоке, в степях Евразии и Западной Европе во второй половине IV – начале III тыс. до н. э.

Сырье. Одной из важнейших характеристик является, полагаем, сырье, определенное нами: лен, шерсть и хлопок (?). Лен (*Linum usitatissimum*) является одним из самых ранних domesticiрованных растений и выращивался на Переднем Востоке начиная с VII тыс. до н. э., он известен в Леванте, Анатолии, Ираке, Египте, Греции, Германии [например, Schick, 1998; Zohary et al., 1988; Barber, 1991]. На Кавказе, в Евразийской степи бронзового века, до определения ткани из Новосвободной (курган 31) как льняной, не было известно находок льняных семян или фрагментов льняного полотна [Zohary et al., 1988, par. 15]. Род *Linum* – это луговые и степные растения, но встречаются они и на альпийских лугах. Культурный лен возделывается в субтропических и умеренных широтах, а также на севере. Его происхождение связывается с горными областями Индии и Китая, узколистный лен известен в Средиземноморье и Закавказье [Жуковский, 1964, с. 453, 455].

Начало освоения хлопка (*Gossypium arboreum*) как текстильного сырья связывается с кругом памятников Восточного Средиземноморья (Восточный Иордан; cal. 4450–3000 BC) и Южной Азии (Пакистан; cal. 5000 BC) [Meadow, 1996, p. 396–397]. Фрагмент текстиля и веревки из хлопка происходит из памятников харлапской культуры, например Мохенджо-Даро (cal. 3000 BC) и Катхивавар (Синд) (cal. 3000 до н. э.). В Индию хлопковая культура, скорее всего, пришла из Восточной Африки, где на юге пустыни Сахара (Египетская Нубия) в памятниках Афуа (cal. 2500 BC) были найдены семена хлопка, хотя никаких свидетельств его использования для изготовления текстильных изделий в этом регионе нет [Zohary

et al., 1988, p. 122; Жуковский, 1964, с. 449]. В Африке, где, скорее всего, хлопчатник был одомашнен, культура его разведения была примитивна и основывалась на использовании многолетних форм вида *G. herbaceum*. Такой же вид хлопчатника позже возделывался в Средней Азии, Иране, Ираке. В Индии, где климатические условия были иными, распространился вид *G. arboreum* [Жуковский, 1964, с. 444–448]. Лишь в I тыс. до н. э. хлопок как культурное растение вторично попадает из Индии на Передний Восток [Zohary et al., 1988 p. 122] и далее в Средиземноморье, широко распространяясь только в классическое время, например в Египте чуть раньше 700 г. до н. э. [Barber, 1991, p. 66]. До определения тканей из Новосвободной хлопок или ткань из хлопка не были известны. Виды дикорастущего хлопчатника распространены на всех континентах, кроме Европы. Хлопок выращивали с XVIII в. только в Закавказских республиках [Жуковский, 1964, с. 425]. Обработка короткого хлопкового сырья требовала более совершенной техники, чем обработка льняного или шерстяного сырья [Жуковский, 1964, с. 449].

Шерстяные волокна начинают использоваться в текстильном производстве позже, скорее всего появляются в Керманшахе или Луристане в период позднего Убейда (cal. 5000 BC) [Sherratt, 1997, p. 539]. Только в Месопотамии в конце IV тыс. до н. э. происходит практически замена льняного волокна на шерстяное [McCormiston, 1997, p. 519]. В Египте разведение мериносных овец относится к Среднему царству [Sherratt, 1981, p. 180], и льняное полотно абсолютно доминирует вплоть до II тыс. до н. э. [Barber, 1991]. Для памятников Евразийского степного региона нами было определено начало использования шерстяных волокон только среди катакомбного населения в западной части (cal. 2500–2000 BC), срубного и андроновского (cal. 1800–1500 BC) – в восточной [Орфинская и др., 1999; Шишлина и др., 2001]. В Западной Европе самые ранние текстильные изделия из шерсти датируются началом – второй половиной III тыс. до н. э. [Sherratt, 1981, p. 180–181; 1983, p. 205; 1985, p. 233].

Интересно, что нигде в перечисленных регионах мы не встретили упоминания об использовании в IV–III тыс.

до н. э. одновременно волокон, изготовленных из шерсти, льна и хлопка. Исключение составляет комплекс из Wierpenkathen (Северная Германия), где в текстиле было идентифицировано использование льняных и шерстяных волокон, но он датируется 2400 г. до н. э. [Shettatt, 1983, p. 204]. Если наш вывод о хлопковых волокнах верен, то комплекс из Новосвободной может рассматриваться как уникальный из всех известных, дошедших до нас текстильных материалов эпохи бронзы.

Очень важно оценить экономический уровень местного северокавказского населения: насколько был высок производственный потенциал носителей майкопско-новосвободненской культуры, и возможно ли было выращивание и обработка таких растительных волокон, как лен и хлопок, а также разведение животных, дающих шерсть, – овец и коз.

Мы полагаем, что, скорее всего, фрагмент ткани из Новосвободной (и все изделие, которое было использовано в погребальном обряде) является импортным. Никаких данных о выращивании хлопка в исследуемом регионе в IV–III тыс. до н. э. нет. Хлопок не выращивают на Северном Кавказе и сегодня. Приведенные выше данные о начале использования хлопка как текстильного сырья уведут нас в круг культур Восточного Средиземноморья и Южной Азии IV–III тыс. до н. э.

Более сложным является вопрос о возможном льноводстве на Северном Кавказе в IV тыс. до н. э. Отсутствие карпологических данных на поселенческих памятниках майкопско-новосвободненской культуры не позволяет нам точно определить, практиковалось ли разведение льна в приречных долинах Северокавказского региона во второй половине IV – начале III тыс. до н. э. Теоретически мы можем предположить, что льноводство могло быть местным, однако вопрос об этом до появления новых данных (идентификации пыльцы и семян льна в памятниках майкопско-новосвободненского круга и синхронных памятниках сопредельных территорий) остается открытым. Процесс обработки льна от начального этапа выращивания до прядения включает несколько технологических этапов: выращивание, прополка, дерганье, чесание и обмолот, стлание и мочение, удаление семян, трепание, чесание и прядение [McCortiston, 1997, tab. 1], что означает высокое мастерство и большие затраты рабочего времени. Кроме того, разведение льна требует смены обрабатываемых полей каждые 5–6 лет [Zettler, 1997]. Насколько это было возможно в хозяйстве майкопского оседлого населения, предположить пока трудно.

Что касается вероятности местного производства шерстяных волокон, то мы можем его допустить. Но необходимо еще раз отметить высокое качество шерстяного

текстиля из Новосвободной и тот факт, что он был окрашен. Хотя технологический процесс приготовления шерстяных волокон более прост, чем волокна из растительного сырья (включая шесть операций), МакКорристон отмечает, что расчесывание 60 кг шерстяного волокна могло занять 2 часа, изготовление тонкого шерстяного полотна требовало 94 человеко-часа [McCortiston, 1997, p. 523], а окраска текстильных волокон могла намного увеличить и усложнить технологический процесс, что, в целом, требовало значительного времени и включения в процесс обработки как минимум нескольких человек.

Таким образом, авторы изученного текстиля использовали разнообразное сырье, достигнув высокого уровня мастерства. Применение льна и, возможно, хлопка, а также их обработка указывают на развитие земледелия и оседлость населения, применение шерсти – на включение в хозяйство специального разведения мелкого рогатого скота. Отметим, что любое сырье могло быть получено и в результате обмена.

Технологические характеристики ткани. Изученные текстильные фрагменты представлены тканями газового (с перевитой основой) и полотняного переплетения. Они изготовлены из спряденных нитей; там, где это возможно было определить, фиксировалась S-крутка (льняная ткань из Кладов). Существует две традиции – S- и Z-крутки. Шерсть прядется в любом направлении, волокна льна, естественно, прядутся в S-крутку, а хлопка и конопли – в Z-крутку. Интересно, что льняные нити из Нахал Хемара (Левант), Чатал Хуюка (Анатолия) и некоторых других передневосточных памятников спрядены Z-круткой; но льняные волокна из пещеры Воина имеют S-крутку; в Египте доминирует S-крутка, Z-крутка чаще встречается в Европе и Индии. Известны, однако, и ткани, изготовленные из нитей разных круток [Barber, 1991; Schick, 1988; 1998].

Полотняное переплетение – одно из самых распространенных и известно с VI тыс. до н. э. Исследования Елизаветы Барбер показали, что горизонтальный ткацкий станок с двумя навоями использовался на Переднем Востоке и в Египте начиная с неолита [Barber, 1991]. Из археологических находок, связанных с текстильным производством, в памятниках Северного Кавказа встречаются пряслица, а также предметы, которые могли служить грузами для ткацких станков [Шишлина, 2000]. С.Н. Корневским на Галюгаевском поселении майкопской культуры были найдены глиняные конусы, которые, возможно, использовались для натяжения основных нитей простого ткацкого станка [Корневский, 1995].

Для памятников бронзового века степной Евразии нами реконструировалось несколько простейших ткацких

приспособлений, на которых могли изготавливаться ткани [Орфинская и др., 1999]. Изученный текстиль, скорее всего, ткали с использованием табличек – технология, широко распространенная с древности.

Таким образом, можно предположить, что мастерам – авторам текстильных изделий из изученных памятников – была известна технология прядения нитей разного качества, вплоть до очень тонких; технология ткачества на табличках (включая достаточно сложную, с использованием как минимум 84 табличек); простейшее ткацкое приспособление в виде рамы. Высокое качество ткани указывает на длительную текстильную производственную традицию и, скорее всего, на оседлость населения.

Технология крашения. Она является, полагаем, ключевой характеристикой изучаемых тканей, которая может указать нам на вероятные связи местного северокавказского населения и определить, был ли текстиль изготовлен на месте или он был импортирован.

К сожалению, идентификация крашения древнего текстиля – очень сложный процесс и такие исследования проводились не для всех дошедших до нас образцов. Многие текстильные фрагменты, происходящие из передневожосточных и восточно-средиземноморских памятников и относящиеся к III тыс. до н. э., окрашены в технике живописи: когда краска наносится на готовую ткань, как на полотно [Koren, 1998, p. 101]. Для других регионов, в первую очередь для Европы, хотя и упоминаются иные технологии хромогенации (например, использование подсолнечника, железа, кermеса) [Barber, 1991], однако для более позднего времени (вторая половина III–II тыс. до н. э.). В Египте вплоть до II тыс. до н. э. доминируют льняные неокрашенные холсты.

Для нашего исследования особый интерес представляют фрагменты льняной ткани, «окрашенной» в бежевый, светло-коричневый, коричневый и темно-красно-коричневый цвет, из пещеры Воина в Леванте (первая половина IV тыс. до н. э.). Специальное исследование, проведенное З. Кореном, показало, что окраске подвергалось не сырье, а уже спряденные нити. В основе красителей лежат гидролизные таниды, идентификация происхождения которых затруднена. Реконструируемая технология хромогенации отлична от распространенной в более позднее, классическое время. Для окраски в коричневый и темный цвет могли использовать растительную смолу или масло, камедь, асфальтовый битум из Мертвого моря. Автор предполагает, что ткань была свернута вдвое и умерший воин был запеленат с помощью двух тканых кусков. Затем тело было полито специальной жидкостью, которая и окрасила ткань, разные цветовые оттенки на поверхности которой получились оттого, что красящая жидкость попадала неравномерно на разные

части тела и ткани [Koren, 1998, p. 104–105]. Химическое и минералогическое исследование показало, что текстиль был покрыт слоем глины с большим содержанием железистых оксидов и красной охры, идентифицированной как гематит [Segal, 1998].

Описанный комплекс во многом напоминает ситуацию, реконструируемую нами для погребения из кургана 2 Новосвободной: умершего воина завернули в два куска льняного холста (один размерами 7 x 2 м, его сложили вдвое; второй – 1,40 x 0,90 м), нити которого были окрашены (реконструируются темные нити основы и утка, образующие полосатый узор). На втором этапе завернутое в ткань тело посыпают (поливают?) раствором, куда входит гематит (красная охра), что придает ткани вторичную окраску неравномерного характера, так как раствор охры попадает в неодинаковом количестве на разные участки сложенной ткани [Koren, 1998].

Итак, можно сделать вывод, что текстильный комплекс из новосвободненских памятников Северного Кавказа является уникальным. Использование трех видов сырья для изготовления нитей (лен, шерсть, хлопок); высокая технология прядения и ткачества с использованием дополнительных текстильных приспособлений: пряслиц, табличек для тканья, простых деревянных рам; технология крашения – древнейшая идентифицированная для региона – все это свидетельствует о высоком уровне мастеров, изготовивших эти изделия.

Хотя нами были приведены сопоставительные материалы по сопредельным территориям, пока открытым остается вопрос, являются ли изученные текстильные изделия оригинальными предметами местного ткацкого производства, изготовленными традиционным ткачеством на табличках и на простой раме, или импортными, скорее всего, происходящими из круга анатолийских, иранских или северо-месопотамских культур. До выявления новых находок, аналогичных или близких по всем выявленным технологическим характеристикам, мы не можем сузить этот ареал. Согласно первой гипотезе, северокавказские текстильные изделия были выполнены на месте, под влиянием ближневосточных, восточно-средиземноморских и, может быть, египетских текстильных традиций, с использованием частично импортного (лен, хлопок), а частично местного (шерсть) текстильного сырья. Согласно второй гипотезе, все ткани являются импортными. В пользу последнего предположения свидетельствует технология крашения красителями класса танидов, известная в IV тыс. до н. э. только в восточно-средиземноморском ареале.

Работа выполнена по гранту Wenner Green.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОГРЕБЕНИЕ ЭПОХИ БРОНЗЫ В ЮЖНОМ ТУРКМЕНИСТАНЕ

В 117 км к востоку от Ашхабада, на подгорной равнине Копетдага располагается оазис эпохи бронзы с центральным поселением Намазга-депе, орошавшийся в древности протоками горных речек Казганчай и Лоинсу. Особый интерес представляет Шабалинский комплекс, открытый в 1974 г. и исследованный в 1976, 1978 и 1987 гг. Он расположен в 2,5 км к югу от Намазга-депе в обрыве пересохшего ручья, где на протяжении 15 м между аллювиальными отложениями зафиксирован культурный слой (мощность 1–1,5 м), состоящий из двух горизонтов: на уровнях 1,2–1,3 м и 0,65 м. Это уникальный закрытый комплекс.

В южной части раскопа находится глинобитная конструкция, традиционно именуемая «толосом», — овал в плане (1 x 0,8 м) цилиндр (высота 1,6 м над нижним горизонтом), углубленный на 0,7 м в древнюю поверхность. Стенки ее наземной части, венчающей грунтовую яму, сооружены из сырцового субстрата. Толщина обмазки стенок ямы 0,1 м, а наземной части — 0,25 м (удвоена за счет дополнительной обмазки). На дне сооружения, внутренние и внешние стены которого прокалены огнем, засчищено зольное пятно с фрагментами керамики. З двух метров к западу от толоса располагается яма, заполненная мусорными слоями с золой.

В толосе и рядом с ним найдены остатки восьми скелетов разной сохранности. На первом этапе были похоронены (возможно, одновременно или с небольшим интервалом) двое мужчин: один — 40–50 лет, второй — 20 лет (определения антрополога А.В.Громова). Оба лежали на дне толоса в скорченной позе, лицом друг к другу, головами на СЗ и, очевидно, в одежде (сохранились следы плена органических остатков и бронзовая булавка). Их перекрывает скелет женщины (25–35 лет) в позе ничком, черепом на ЮВ. У ее правого колена в скорченной позе лежал скелет младенца. Затем толос был закрыт глинобитной «пробкой» и засыпан слоем пепла (0,2 м).

На втором этапе было совершено еще четыре захоронения. Сначала в северной и южной частях толоса поместили два детских погребения, от которых сохранилась часть костей, засыпанных золой. Самые поздние погребения представлены черепами двух взрослых людей к югу от толоса: первый — в 0,5 м, второй — в 2,6 м, среди скопления керамики.

Двум этапам захоронений соответствуют и два горизонта, выделенные стратиграфически. В каждом из них зафиксированы обожженные участки поверхности, связанные с погребальным обрядом. Вся керамика (1100 единиц, из них 87 % — гончарная) изготовлена из хорошо отмученной глины, равномерно обожжена и покрыта светлым или розоватым ангобом. Более ранний комплекс (кувшины, миски, чаши, чайники с цилиндрическими носиками) занимает площадь 6 кв. м в 1,5 м к СЗ от толоса. Поздний комплекс, состоящий из целых сосудов (вазы, кубки, бокалы на ножках), бронзовой чаши и булавки, расчищен в двух метрах к северу от толоса на площади 2 кв. м.

Уникальный погребальный комплекс представляет собой завершающий этап развития традиции коллективных (семейных) усыпальниц Южного Туркменистана (энеолитические толосы Геоксюра, коллективные захоронения Алтын-депе). Керамические аналогии синхронизируют его с могильником Аучин I (Маргиана), где, однако, не выяснена конструкция могил. Культурный слой поселения (отсутствие женских статуэток и перегородчатых печатей) датирует начальный этап захоронений временем ранняя Намазга VI. Второй этап (совершение тризны и защитная роль огня при погребении усопших) сближает его с кузалинским и молалинским периодами сапаллинской культуры эпохи поздней бронзы и указывает на появление новой идеологии, отраженной в погребальном обряде.

Д. ЭРДЭНЭБААТАР

ОБ ИТОГАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ХЕРЕКСУРОВ В МОНГОЛИИ

Одним из важнейших источников по истории бронзового и раннего железного веков Монголии по праву считаются херексуры, ареал распространения которых охватывает как Саяно-Алтай, так и прилегающие области Синьцзяна и Забайкалья. В Монголии эти памятники известны под разными названиями: западные монголы называют их *хялгасан-уур*, *киргизхуур* (откуда

в русском языке и появилось слово «херексур»), тогда как монголы центральных районов именуют их *хиригсуур* [Сэр-Оджав, 1970, с. 20]. В археологической литературе обычно под этим названием понимают древнее погребальное либо жертвенное сооружение, состоящее из каменной насыпи, окруженной оградой квадратной или округлой формы.

Начало научного изучения херексуров можно отнести к 70–80-м гг. XIX в., когда их обнаружили в ходе своих научных экспедиций по Монголии путешественник Г.И. Потанин и ученый В.В. Радлов. Они и опубликовали первые описания херексуров [Потанин, 1881, с. 47–65; Радлов, 1896].

На протяжении XX в. ряд сооружений этого типа был полностью или частично раскопан на территории Монголии, Бурятии и Тувы. Краткий историографический очерк исследования херексуров дан в недавно опубликованной статье А.Д. Цыбиктарова [Цыбиктаров, 1995].

В последние годы монгольскими археологами приняты особые усилия по исследованию херексуров. С начала 1990-х гг. монгольско-французская экспедиция начала раскопки многочисленных, различных по размерам херексуров в долине реки Эгийн-гол на территории Хутаг-Ундер сомона Булганского аймака, а также в бассейнах рек Орхон и Туул. Их исследование показало, что, как и забайкальские херексуры, они представляли собой погребальные сооружения. Более того, по всей видимости, памятники Эгийн-гола и Забайкалья хронологически близки.

За последние десять лет нами были раскопаны 20 херексуров: как больших, так и малых по размеру. Из них следует упомянуть раскопки одного херексура с круглой оградой в долине реки южнее местности Бурхан толгой в 1992 г., по одному херексуру в местности Холтост нуга в 1994 и 1995 гг., а также раскопки херексура с квадратной оградой и тринадцатью круглыми жертвенными сооружениями и еще двух херексуров без ограды в местности Битуугийн цаган в 1997 г. В 1998 г. в местности Эмгэнт хошуу были раскопаны еще два херексура, один из которых был с квадратной оградой, а другой – без ограды.

Херексур, раскопанный в Бурхан толгой в 1992 г., находился на северной террасе реки и имел круглую ограду диаметром 28–30 м. В центре ограды находилась круглая каменная насыпь диаметром 9 м, а в четырех метрах от нее – еще одна каменная насыпь неопределенной формы, размерами в плане около 4 х 5 м.

Херексур, раскопанный в Холтост нуга в 1994 г. (могила 4), внешне выглядел как весьма разрушенная плиточная могила. За исключением южной, были выявлены все стенки ограды. Сооружение было ориентировано по линии СВ – ЮЗ (45°). На глубине 140 см в южной части сооружения под тремя камнями были найдены две берцовые кости человека и фрагменты черепной коробки животного. Несмотря на достаточно сильное ограбление, все же можно предположить, что погребенный был уложен головой к северу.

Каменная насыпь херексура, раскопанного в Холтост нуга в 1995 г. (могила 8), имеет округлую форму размерами около 4,5 х 5 м. Северная часть насыпи была пере-

крыта навалом камней, скатившихся с северо-восточного склона горы. Насыпь была окружена округлой каменной оградой, устроенной на древнем горизонте, размерами 18 х 17 м. В центре насыпи находилась могила ребенка, уложенного головой на запад. Инвентаря обнаружено не было. Радиоуглеродный анализ костей человека и животных, обнаруженных при раскопках, дает для могилы 4 дату 1675–1404 (± 60) гг. до н. э., а для могилы 8 – 1259–912 (± 55) гг. до н. э. [Батсайхан, Эрдэнэбаатар, Цэрэндавга, Эрдэнэбат, 1994].

Херексур на возвышенности Элст хотол (Песчаный холм) имеет круглую ограду диаметром 13–14 м, в центре которой находится каменная насыпь диаметром 8 м. К западу и северо-западу от ограды, на расстоянии 6–7 м друг от друга, расположены 4 каменные насыпи диаметром примерно по 1,5 м.

В целом в долине реки Эгийн-гол находится более 60 херексуров, которые можно разделить по форме на три группы: округлые насыпи с округлой оградой, округлые насыпи с квадратной оградой, округлые насыпи без ограды. Из них херексуры, расположенные на горе Баянгол, на реках Богс, Хайлант и Битуугийн цагаан, планиграфически связаны с плиточными могилами. Результаты раскопок херексуров, к сожалению, не дают возможности прояснить вопрос о взаимоотношении этих двух типов погребальных сооружений.

В 1986 г. совместной монголо-советской историко-культурной экспедицией были раскопаны два херексура в Тосонцэнгэл сомоне Завханского аймака. Они имели подквадратные ограды и представляли погребальные сооружения. Кроме этого, недалеко от сомонного центра, близ горы Хайрхан уул были исследованы три округлые насыпи без ограды, под одной из них были найдены кости человека, которые позволяют авторам раскопок сделать вывод, что погребенный был уложен головой на ЮВ. Участники этой экспедиции П.Б. Коновалов, Д. Наваан, В. Волков, Т. Санжмятав [Коновалов, Наваан, Волков, Санжмятав, 1995], а также археолог из Горно-Алтайского университета В.Н. Елин и преподаватель филиала МонГУ в Кобдо Р. Эрдэнэцогт [Елин, Эрдэнэцогт, Батмунх, 1994], исследовавшие подобные насыпи в 1993 г. в районе озера Хар-Ус Кобдоского аймака, не высказали своего мнения относительно датировки раскопанных ими памятников.

К настоящему времени, как уже отмечалось исследователями, в Центральной и Западной Монголии распространены херексуры более чем тридцати различных форм. В ходе наших полевых работ в Центральной Монголии были обнаружены херексуры двух ранее не отмеченных форм. Так, насыпь херексура на возвышенности Агуйт-хотол (сомон Хутаг-Ундер Булганского аймака) пристроена к обрезу речной террасы, а с другой стороны

окружена оградой. Херексуры, обнаруженные в местности Битуугийн цагаан, представляют собой каменные насыпи ромбовидной формы, соединенные между собой в цепочку, направленную с севера на юг.

Снаружи невозможно определить, является тот или иной херексур погребальным либо ритуальным сооружением. Этот вопрос может быть решен только при условии детальной фиксации при раскопках всей структуры сооружения, а также с применением соответствующих лабораторных методов анализа. Поскольку достаточного количества раскопок надлежащего качества в Монголии до сих пор не проведено, вопрос о назначении многих херексуров остается открытым.

Сравнение общих итогов исследований херексуров Монголии с результатами раскопок российских ученых на Алтае и в Туве позволяет определить время сооружения херексуров как конец II – начало I тыс. до н. э. Таким же образом датируют херексуры российские ученые А.Д. Цыбиктаров, Ю.С. Худяков и В.Д. Кубарев.

Результаты монголо-французской экспедиции проливают новый свет на датировку этих сооружений. О радиоуглеродном анализе костей из херексуров Эгийн-гола говорилось выше. Кальцинированные кости из раскопанных нами поминальных сооружений, относящихся к херексуру, расположенному в местности Хануй бригада Ундэр-Улаан сомон Архангайского аймака, датируются по ¹⁴C 1500–906 гг. до н. э.

К настоящему времени монгольские археологи предполагают информацией о более чем 40 полностью или частично исследованных херексурах и семи погребально-поминальных сооружениях в 22 пунктах на территории Монголии и на юге Бурятии. Эти 50 херексуров и жертвенных сооружений подразделяются нами на 6 типов. При этом следует отметить, что данная классификация не охватывает все херексуры Монголии, а представляет лишь ту их часть, которая имеет круглую или квадратную ограду. При построении классификации учитывалось также наличие сопроводительных ритуальных сооружений.

Под насыпью 20 херексуров были найдены человеческие останки, в девяти случаях удалось установить, что погребенный был уложен вытянуто на спине, а в одном случае – на боку с согнутыми ногами. Из них в семи погребениях покойный был уложен головой на запад, а в трех – на север. Все погребения были устроены на древнем горизонте и окружены каменными стенками. В насыпи четырех херексуров были обнаружены фрагменты керамики различных исторических эпох. Кости животных найдены в семи херексурах, причем кости оленей располагались отдельно от костей домашних животных. Только в восьми сооружениях были найдены артефакты, которые можно отнести к различным периодам – от ранней бронзы до XIX в. В 32 херексурах не найдено ни инвентаря, ни костей человека и животных.

A. SEMIH GUNERI

SOME REMARKS ON THE CULTURAL RELATIONS BETWEEN NORTHEASTERN TURKEY AND THE CAUCASUS–CENTRAL ASIA DURING THE LATE BRONZE–EARLY IRON AGE

The archaeological excavations, at Sos hoyuk located in near Erzurum northeastern Turkey, carried out by a group of scholars from Ataturk University, Department of Archeology, and sponsored by the administration of Ataturk University, in 1987; and other archaeological works which have been carried out in the ancient Hayasa land (Erzurum, Erzincan, Kars regions-northeastern Turkey), between 1985–1997, have provided some archaeological materials related to Caucasian and central Asian Bronze Age cultures, which have lightening the Late Bronze-Early Iron Age of Eastern Anatolia.

In the light of these archaeological materials, we would like to try to attract attention some questions related to cultural connection between northeastern Anatolian highland and Caucasus and central Asia.

Surface surveys and excavations were hoped to deliver some hints concerning the second half of second millennium BC. However, all data and discoveries about that period

was discovered in Karaz, Pular, and Gьzelova hoyuks excavations 40 years ago and this scattered material relating to entire Caucasus, was the only base when we started the excavations. In this area, all the discoveries, descriptions, and confirmation were directly related to forth and thirth millennium BC of Karaz (Early Transcaucasian Culture; Kura-Araxes Culture) culture.

As we witnessed during the surface surveys in that year, a group of “black-surfaced”, decked out and decorated with relief and incised in geometrical design, well-polished handmade a perfect craftsmanship-, which were also found at Karaz, Pular, Guzelova hoyuks, possessed strong pottery, most of which displayed characteristics belonging to Erzurum region. At the same time, by means of the strongholds and/or inscriptions, and the vessels bought and seized by the museum, it was possible to prove that Urartian culture, had also existed in this region. However, most scientists had actually almost no interest about the time span between the

above-mentioned “cultural periods” i. e. the second millennium BC (at least the second half of it) in those days. A. Erzen the first to work on the East and to whom we owe so much exemplified his concern on this topic as following: “The population had moved into higher plateau because of the wars and the chaos”. This may be true. However, the written sources do not confirm this interpretation. Because there are many proofs pointing that the Kingdom of Hayasa (which was mentioned in the records of King Mursili II, and was so powerful in that period, i. e. since the middle of the second millennium BC onwards), and the Kingdom of Dayaeni (which was mentioned in the records of Asur in the twelfth century BC as the richest, most powerful and politically well-organized dynasty in the region) had been founded in this territory, it would be fake to reach or participate in such a hypothesis without conducting any survey highlight what had happened in those times. Archaeological documents did not claim the same either. Actually, many archeological materials belonging to the second half of the second millennium BC were discovered at hoyuks and on low hills near the valleys. They may have not been numerous they still were there. The period was a transition from the Bronze Age to the Iron Age around the twelfth century BC. Cultural changes in Caucasus and the migration of the ethnic groups in the central Asia through Caucasus on the one hand, and the political groups that rouse that time in eastern Anatolia on the other hand generated issues which made the region extremely chaotic. Local people, Hurrians, who experienced the Karaz culture, to meet another phase in the same region as a result of ethnic factors from the north. However, this new phase was quite painful. It was a period of hard-tempered, conservative warriors who built up local dynasties, “fought for holding the power”. It was not a weak period; on the contrary, every cycle of life marked the period fully.

Those discoveries were significant so as to pursue the concrete traces about the formation of the Protourartu period in northeastern Anatolia. Moreover, the discoveries highlighted a period which slightly appeared in the context of history and was never paid any attention and investigated before. Thus, the discoveries were of utmost importance since they exhibited the archeological remains of the above-mentioned period for the first time as well. Surveys spread over the whole of Erzurum between 1985 and 1997. All the hoyuks, including Karaz, Pulus and Güzelova, were investigated. The one month excavation ended with the discovery of hints and traces related to Caucasian and Central Asian Bronze Age cultures, which were unable to imagine before.

The archaeological material, which were classified at the results of Sos hoyuk works of 1987, is the most vivid trace of Protourartu period (in which the ethnic wholeness of east Anatolian people, Hurrians, had close links to and lived at

the very heart of Karaz Culture). Those remains, at the same time, reveal transitory period (from the Bronze Age to the Iron Age) of a hundred years between Tukulti-Ninurta I (1244–1208 BC) and Tiglatpileser I (1115–1077 BC) in east Anatolia. In this transition period, the archaeological finds help us decipher the dimensions of cultural interaction and describe what kinds of events had taken place in that region.

We claim that the archaeological materials in this region and the ones from Karaz, Pulus, Güzelova (these old materials will be included in scientific literature soon) represent a period of a hundred years (a period around 12th c. BC), which was at the same time directed towards Iron Age, and called a “transitional” period by us. In this period:

- written sources in East Anatolia have totally vanished,
- “hybrid” Late Bronze-Early Iron Age has started to emerge as a result of the effects of nomadic/semi-nomadic dominant Asian cultures (i. e. Andronovo -also may be Karasuk- and other Eurasian cultures) in Caucasus,
- even, perhaps, an “ecological disaster period(?)” which has been lived by whole eastern Anatolian people,
- some bronze weapons, Caucasus and central Asia oriented, spread along the south Black Sea coast (Kars, Erzurum, Artvin, Ordu, Corum, Tokat, Amasya),
- the tradition of pottery in central Kazakhstan and southern Siberia in the second half of second millennium BC (which had typical characteristics) have found its close matches in Pulus graves as well,
- political union which was based on the kingdom of Dayaeni, in northeastern Anatolia have gained power along with these improvements,
- finally, iron have become gradually a part of daily life in Caucasus.

These are what we can conclude from the archaeological point of view. These are the most common traces after the “silent” period. Even in east Anatolia, as in whole of Caucasus, a new period is about to start. This “transitional period” is a period of pain, suffer, and chaos, and the approaching one is nothing but “beginning of the Iron Age”.

The improvements in East Anatolia can be explained by cultural connections and synthesis of cultural various forms of cultures among neighbouring settlements, usually those of Caucasus and, mainly, central Asia. We do not have enough data so as to define the cultural interrelations thoroughly only for Sos III. It is possible to estimate how “commercial activities” increased as the cultural interrelations developed. “Traditions” and “rituals” are extremely abstract notions; therefore, their transfer from one region to remote parts of the world cannot be caused only by limited capacities of commercial interactions. In this sense, development of such cultural interrelations might be due to the effect of the migrations of Asian-oriented ethnic groups. In the near future, the surveys and excavations, we believe, will strengthen the

reliability of this claim (as the discoveries of the "Asian smith's" stells of incredible beauty by V. Sevin and his team did in the near past in Hakkari; and exploration of the some architectural "settlement" traces of the Asian "semi/nomadic" warriors in the middle of the third millennium layer of Aslan Tepe, in Malatya eastern Turkey).

The ceramic material introduced here includes pottery which were made by incise technique and that which contains, particularly, "rows of triangles whose interiors are hatched" (this motif was commonly used in central Asia, and it became the symbol of Andronovo and also Karasuk culture in central Caucasus, Urals, forests and steppes of southern Siberia; this pattern has never been a tradition in Anatolia with the exception of northern shores).

It is interesting that the samples have close relations with the cultures of the Late Bronze-Early Iron Age, particularly with the traditions of the cultures of the nomad/semi-nomad in the central Asia. The idea that the nomadic/semi-nomadic cultures arrived in Anatolia through Caucasus in second (even third) millennium BC seems, perhaps, strange.

However, we should look Caucasus and try to see what is beyond (as we did for Protourartu period with a very limited group of ceramic material). The central Asian nomadic/semi-nomadic cultures in those "remote" regions and the impact upon these cultures should, in one way or another, be examined and discussed in more detail (as we have started new excavations both in northeastern Turkey and in southern Siberia since the last year).

J. DAVIS-KIMBALL

THE SEMANTIC USE OF HORSES IN THE BRONZE AND EARLY IRON AGES OF EURASIA

Assembling the earliest images of horses, an attempt is made to define their semantic uses. Representations found on two- and three- dimensional artifacts and carved images executed in stone at petroglyphic sites in Eurasia are included in the study. The petroglyphic sites selected are in the Minusinsk Basin, the Gorny Altai in southern Siberia; and in eastern and southern Kazakhstan the pre-Irtysh region, Eskiol'mes and Tamgaly; at

Saimaly Tash in the Kyrgyzstan; and along the Karakorum Highway in the Pamirs. Images of related portable art objects were assembled from Pazyryk; Issyk Kurgan; and various Sarmatian sites in the lower Don and Volga. In this preliminary study it is possible to suggest some ancient ideologies that contributed to the horse as it acquired important cultic attributes not associated with other Eurasian domesticates.

K.M. LINDUFF

WHY HAVE SIBERIAN ARTIFACTS BEEN EXCAVATED INSIDE THE ANCIENT DYNASTIC CHINESE BORDERS?

As a graduate student of Chinese art history and archaeology in the late 1960s, I was amazed to find materials that were clearly not Chinese well within the borders of early dynastic China (Xia c. 2006–1550; Shang c. 1550–1050 BCE; Western Zhou c. 1050–771 BCE). These materials were identified as southern Siberian in type and décor by Griaznov [1969], whose work I was able to read only in Chinese translation, and their presence in these early Chinese contexts had fueled debates such as those about the origins of bronze production and the primacy of Siberia or China in that invention [Karlgrén, 1945; Loehr, 1949]. Speculation about the relationship between the two peoples essentialized ways of life: the agricultural, sedentary and politically centralized peoples in China, and those in southern Siberia where mobile herders were thought to have been roaming across great tracts of open steppe. The "steppe and the sown" model also alleged that these lifestyles were exclusive, self-gen-

erating, and incompatible. [Lattimore, 1942; Whittaker, 1994]. Even the artifacts commissioned by each set of patrons were looked upon as stemming from opposing traditions [Karlgrén, 1945; Loehr, 1949]. Although there are significant differences between the lifestyles and artifacts produced by each, these peoples were frequently in contact with each other and the residue of that interaction in the form of bronze artifacts resides in many archaeological settings excavated in China over the past two decades. Why those materials were deposited in such settings and what that says about the relationship between these peoples is what interests me here.

Both ancient as well as modern authors have found convenient ways of framing the relationship between peoples at the frontiers of the early Dynastic Chinese and those to their north and west. The most common explanation for the large numbers of objects of Siberian prototype in Chinese settings

was that they were collected as war booty, such as in the royal cemetery at Anyang, for instance, where they provided a show of power and authority over a “foreign” enemy [Chang, 1986; Cheng, 1967; Li, 1980]. But even though the lifeways may be viewed as exclusive, recent archaeological investigation in northern China suggests that the supposed cultural, and even ecological, borders were far less rigid and hostile and far more fluid than ancient and even modern authors have proposed. This paper assumes that communication at the frontiers was not only frequent, but also suggests that it was opportunistic and diverse in purpose. These relationships in the second and early first millennium BCE depended especially on local economic, political and probably personal factors.

The internal structure and dynamics of four sites (three in the frontier, and one the capital of the Shang Dynasty) will be discussed in response to the question, “Why are Siberian artifacts found within the borders of early dynastic China?”

1. Diffusion of Ideas, Technology: Huoshaogou, Gansu. A site to the west of the dynastic center of the Xia (c. 1900–1600 BCE) where migration of technology and/or technologies from the west [Xinjiang, Mei, 2001], explains the advent of metallurgy in western China and perhaps even in China’s heartland, the Central Plain (Fig. 1). Here Andronovo (Federovo) and Seima-Turbino analogies are most obvious in the material remains at the site [Barnard, 1987; Barnard, 1993; Bunker et al., 1997; Linduff, 1997; Linduff, 2000; Li, 2000].

2. Surplus Extraction/Trade: Zhukaigou, Inner Mongolia [Linduff, 1995; Xu, 1989]. This site is north and west of the Dynastic center dating from the Middle Shang (c. 1500–1250 BCE). Located in a strategic area where the extraction of raw materials (copper), the place provided the local elites the opportunity to channel surplus (metal ores) to the core [Cooter, 1977; Paynter, 1991; Wallerstein, 1976]. Close ties there with the dynastic core must have enhanced their own status and provided economic independence. Both Mid-Shang and Karasuk style items (Fig. 2) were found in the burial of elites in the context of a prestige-good economy [Helms, 1992; Kristianson, 1991; Schortman and Urban, 1987]. Such colonies were fragile since their status was tied to successful relations with the center. Zhukaigou was abandoned by 1250 BCE when the Shang must have secured other sources of ores.

3. Marriage Alliance: Anyang, Henan [Anyang, 1976; 1977; 1986; 1987]. This was the capital of the late Shang period (1250–1050 BCE) located in the Central Plain [Archaeological..., 1994]. Many artifacts with Siberian prototypes (including bow-shaped objects, curved knives with animal pommels, horse gear of all sorts, and chariots; see Fig. 3) were discovered there [Li, 1980]. Coupled with

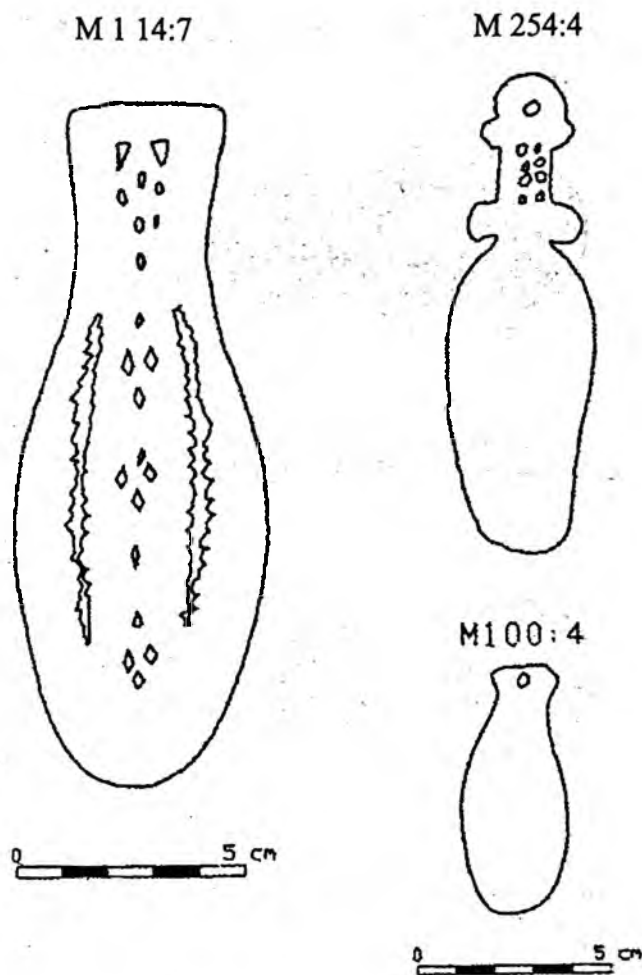


Fig. 1. Bronze Spatulas (*bishou*) from Huoshaogou, Yumen, Gansu. (From Linduff 2000, Fig. 10.)

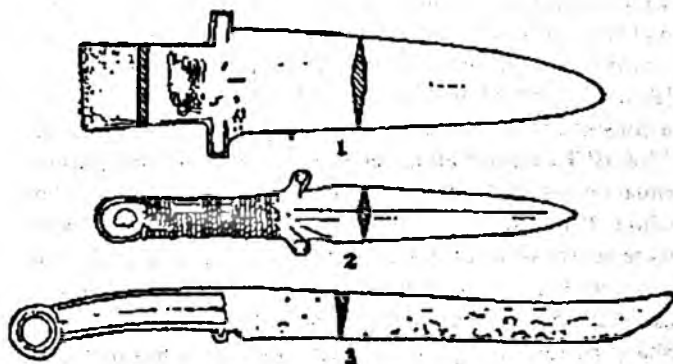


Fig. 2. Zhukaigou, Inner Mongolia, Phase V, Bronzes (From Kaogu xuebao, 1988 (3), p. 325.)

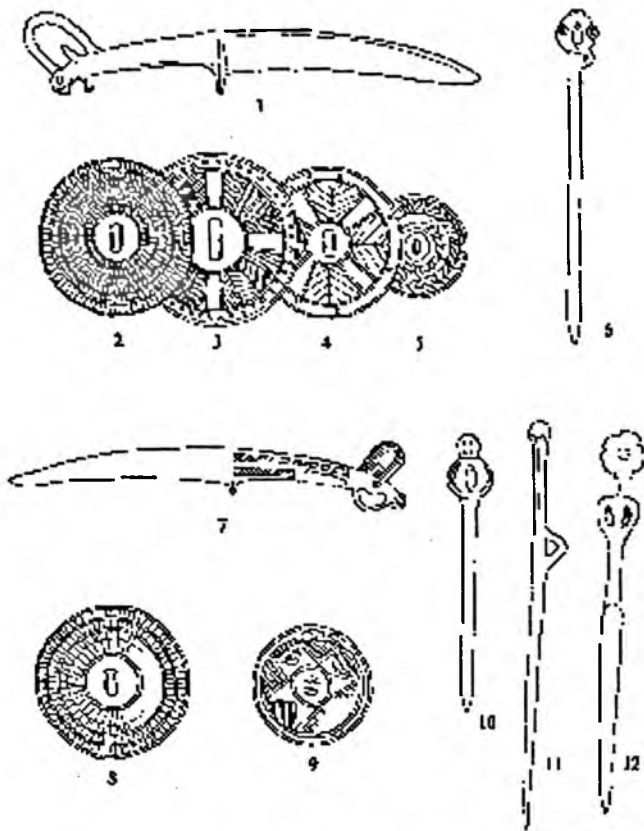


Fig. 3. Bronzes of the Northern Zone Type Unearthed from the Fu Hao Tomb and Their Northern Counterparts:
 1-6 - from Fu Hao Tomb; 7 - from Yantoucun, Suide, Shaanxi;
 8 - Inner Mongolia; 9 - Naimatai; Guinanxian, Qinghai;
 10 - Linzheyu, Baode, Shaanxi;
 11 - Transbaikalia in the Soviet Union; 12 - Chirmokovo, Krasnoiarsk, Soviet Union. (From Chang, 1986, Fig. 51.)

inscriptional evidence from the site, we know that the Chinese were frequently in contact with hostile groups to the north and west of the capital and they often boasted of success in war including the capture of chariots, personnel and objects [Keightley, 1978]. Excavation of the intact Tomb of Fu Hao, a consort of the third king at Anyang in the Late Shang (c. 1200 BCE) yielded all the emblems of a Shang elite (bronze ritual vessels and carved jades) [Chang, 1980; Chang, 1986; Chou, 1970]. In addition, however, found next to her body were scores of frontier items including curved knives, mirrors, and horse gear all with south Siberian (including Karasuk) analogies. These identify her with groups described in Shang period inscriptions as their sometimes hostile northern neighbors. Her marriage to the king suggests that union with her people provided a political alliance of strategic importance to the stability of the dynastic frontiers [Linduff, 1996; Keightley, 1999].

4. Military Control/Ethnogenesis: Yuhuangmiao cemetery, Yanqing county, Beijing district [Beijingshi., 1989; Beijing..., 1990]. This site is well within the borders of the Zhou border state of Yan and can be dated between c. 8th – 5th c. BCE. The area was described in ancient Chinese historical accounts as the home of the Shanrong people, an ethnically non-Chinese, and nomadic people. The excavation of a cemetery at Yanqing yielded over 280 niche-style tombs with evidence of sacrificed goats, cattle and canines, and large numbers of bronze daggers (short swords, Tagar types) of inconsistent décor and belt plaques, all common to mounted warriors of the steppe, but not the Zhou armies (Fig. 4). In this frontier zone, such groups must have been employed to bring under control “nuisance” groups rather than powerful or threatening opponents and to shield the core. Moreover, Chinese materials are rare in these tombs further suggesting that they saw themselves as a coherent unit of “outsiders” with an established, or perhaps created, ethnic identity. Their residence and burial inside of the Chinese state suggests that they were mercenaries in the service of the Zhou military, probably hired and pitted against hostile non-Chinese groups in or near this strategically located border state. Such clearly delineated ethnic accord exhibited in burial practice at the cemetery at Yanqing may have been structured by the political interaction [Brumfiel, 1994].

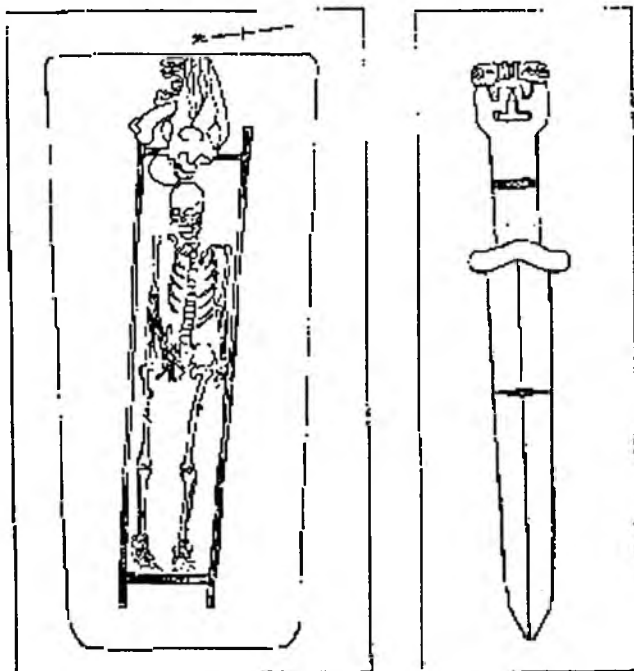


Fig. 4. Yuhuangmiao, Tomb 86.
 Remains of Wooden Coffin and Animal Sacrifice.
 (From Beifang kaogu sishinian, 1990, p. 81, Fig. 35.)

From the movement of peoples and technology in the early second millennium into western China exemplified by the excavation of the cemetery and habitation site at Huoshaogou; to the establishment of "frontier" towns such as Zhukaigou in strategic locations in relation to raw materials; to the marriage practice of the Dynastic leaders for political purposes as evidenced at the capital of the Shang at Anyang; to the employment of warriors of non-Zhou backgrounds to provide border control of other, potentially hostile groups, the presence of "outsider" artifacts provided visual markers of and kept clear the identity of non-Chinese peoples who occupied the frontiers of dynastic China in the second and first millennia BCE. Their presence was of vital importance to the economic, social and political well-being of the Chinese and a diverse set of arrangements with their neighbors in the Three Dynasties period can be distinguished.

Likewise, the use of these "alien" artifacts in each context would seem to underscore choices made by their owners

to distinguish themselves as outsiders. That affiliation provided a strategic political, occupational, economic or personal advantage within the context of a society, especially that of the Zhou, that consciously and selectively was constructing Chinese cultural homogeneity. It is clear from the ancient and modern texts that the limits of Chinese culture were drawn according to lifestyle which could be exemplified by certain artifacts. Due to excavations in China over the past 20 years beyond the ancient Dynastic centers we now know that the peoples and their artifacts identified by Teploukov, Griaznov, Rudenko, and Kiselev, among others, in southern Siberia were not limited to that area and extended into the heartland of China. The relationship of the peoples who bore such artifacts with the Chinese varied according to the specific circumstances of time and place. Either by their own design and/or that of the Chinese who saw them as "outsiders", many did not forsake their roots and carried these signal artifacts to death even within a foreign land.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Книга I. Часть 2

- Абдуганеев М.Т., Казаков А.А. Поселение Чудацкая Гора//Палеодемография и миграционные процессы в Западной Сибири в древности и средневековье. Барнаул, 1994. С. 111–115.
- Абрамова З.А. Элементы одежды и украшений на скульптурных изображениях человека эпохи верхнего палеолита в Европе и Сибири//МИА. 1960. № 79. С. 126–149.
- Аванесова Н.А. Культуры пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР (по металлическим изделиям). Ташкент, 1991.
- Агапов С.А., Кузьминых С.В. Металлы потаповского могильника в системе Евразийской металлургической провинции//Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Семенова А.П. Потаповский курганный могильник индоиранских племен на Волге. Самара, 1994. С. 167–173.
- Антонова Е.В. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии. М., 1984.
- Астахов С.Н., Васильев С.А. Памятники неолита – бронзового века в Саянском каньоне Енисея //Евразия сквозь века. СПб., 2001. С. 148–154.
- Астахов С.Н., Семенов В.А. Палеолит и неолит Тувы (по материалам Саяно-Тувинской экспедиции)//Новейшие исследования по археологии Тувы и этногенезу тувинцев. Кызыл, 1980. С.17–35.
- Бадер О.Н. Древнейшие металлурги Приуралья. М., 1964.
- Бадер О.Н. Бассейн Оки в эпоху бронзы. М., 1970.
- Балонов Ф.Р. Колесницы и колесничие в петроглифах Евразии: семантика с точки зрения экстраверта//Международ. конф. по первобытному искусству. Труды. Кемерово, 2000. Т. 2. С. 50–55.
- Батсайхан З., Эрдэнэбаатар Д., Цэрэндавга Я., Эрдэнэбат У. Монгол-Францын хамтарсан экспедицийн тайлан//ШУА.ТХ.ГБСХ., Улан-Батор, 1994.
- Березанская С.С. Культура многоваликовой керамики//Культуры эпохи бронзы на территории Украины. Киев, 1986.
- Березанская С.С., Гершкович Я.П. Андроновские элементы в срубной культуре на Украине//Бронзовый век степной полосы урало-иртышского междуречья. Челябинск, 1983.
- Березин Я.Б., Калмыков А.А. Курган у с. Красногвардейское Ставропольского края//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Ставрополь, 1998. Вып. 1: Археология.
- Березкин Ю.Е. Ареальное распределение мотивов в мифологиях Америки и Северо-Восточной Азии// Тр. факультета этнологии. СПб., 2001. Вып.1. С. 116–159.
- Березкин Ю.Е., Соловьева Н.Ф. Символы власти в акефальном обществе: Скамья, кресла и бык на юге Центральной Азии//Символы и атрибуты власти. СПб., 1996. С. 102–119.
- Березкин Ю.Е., Соловьева Н.Ф. Парадные помещения Илгынлы-депе (предварительная типология)//Археологические вести. 1998. № 5. С. 86–123.
- Бибиков С.Н. Раннетрипольское поселение Лука-Врублевцевская на Днестре//МИА, 1953. № 38,
- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. М., 1978.
- Боталов С.Г., Григорьев С.А., Зданович Г.Б. Погребальные комплексы эпохи бронзы Большекараганского могильника (публикация результатов археологических раскопок 1988 года)//Материалы по археологии и этнографии Южного Урала. Челябинск. 1996. С. 64–88.
- Бочкарев В.С. Карпато-дунайский и волго-уральские очаги культурогенеза эпохи бронзы// Конвергенция и дивергенция в развитии культур эпохи энеолита бронзы Средней и Восточной Европы. СПб., 1995. Вып. I.
- Братченко С.Н. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы. Киев, 1976.
- Братченко С.Н. К вопросу о сложении бабинской культуры (многоваликовой керамики)// Вильнянские курганы в днепровском Надпорожье. Киев, 1977.
- Братченко С.Н. Культура многоваликовой керамики// Археология Украинской ССР: В 3 т. Киев, 1985. Т. 1.
- Братченко С.Н. Донецька катакомбна культура раннього етапу Луганськ, 2001. Ч.1.
- Братченко С.Н., Шапошникова О.Г. Катакомбная культурно-историческая общность// Археология Украинской ССР, Киев, 1985. Т. 1 (Первобытная археология).
- Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. Л., 1986.
- Вадецкая Э.Б., Гультов С.Б. Исследования в Красноярском крае в 1982–1984 гг.//КСИА. Вып. 188. С. 92–99.
- Вадецкая Э.Б., Леонтьев Н.В., Максименков Г.А. Памятники окуневской культуры. Л., 1980.
- Вайнберг Б.И. Памятники куюсайской культуры//Кочевники на границах Хорезма//Тр. ТХЭ. М., 1978. Вып. 1.
- Варенов А.В. Древнейшие кинжалы Китая//ИСОАН. Сер. истории, филол. и филос. 1987. Вып. 2. № 10. С. 34–41.
- Варенов А.В. Древнекитайский комплекс вооружения эпохи развитой бронзы. Новосибирск, 1989.
- Варенов А.В. Копья ивньского времени и выявление инокультурных памятников. Новосибирск, 1989а.
- Варенов А.В. История изучения оружия эпохи Шань-Инь. Новосибирск, 1993.
- Варенов А.В. Чжужайгоу – памятник эпохи Шан из Ордоса с «карасук-тагарским» кинжалом//Гуманитарные науки в Сибири. 1996. № 3. С. 97–102.

- Варфоломеев В.В.* Относительная хронология керамических комплексов поселения Кент//Вопросы периодизации археологических памятников Центрального Казахстана. Караганда, 1987.
- Васильев И.Б.* Поселение Лбище на Самарской Луке и некоторые проблемы бронзового века Среднего Поволжья//Вопросы археологии Урала и Поволжья. Самара, 1999.
- Васильев Л.С.* Проблемы генезиса китайской цивилизации. Формирование основ материальной культуры и этноса. М., 1976.
- Васильева И.Н., Салугина Н.П.* Не боги горшки обжигают. Самара, 1997.
- Вязьмитина М.И., Іллінська В.А., Покровська Е.Ф., Тереножкін О.І., Ковпаненко Г.Т.*//Археологічні пам'ятки УРСР. Кіпв, 1960. Т. VIII. С. 22–135.
- Гершкович Я.П.* Этнокультурные связи в эпоху поздней бронзы в свете хронологического соотношения памятников (Нижнее Поднепровье – Северо-Восточное Приазовье-Подонцовье)//Археологический альманах. Донецк, 1998. № 7.
- Глушков И.Г.* Миграции и гончарные традиции//Палеодемография и миграционные процессы в Западной Сибири в древности и средневековье. Барнаул, 1994. С. 18–20.
- Глушков И.Г.* Керамика как археологический источник. Новосибирск, 1996.
- Горбов В.Н.* Финал бронзового века Северо-Восточного Приазовья и некоторые проблемы региональных различий//Северо-Восточное Приазовье в системе евразийских древностей (энеолит–бронзовый век). Донецк, 1996. Ч. 2-я.
- Горбунов В.С., Обыденнов М.Ф.* Находки костяных псалиев эпохи бронзы в Башкирии//СА. 1975. № 2. С. 254–257.
- Город* как социокультурное явление исторического процесса/ Ред. Э.В. Сайко. М., 1995.
- Готлиб А.И.* Сооружение-све эпохи ранней бронзы на горе Устанах (К вопросу о возникновении и интерпретации памятников-све Хакасии)//Проблемы изучения окуневской культуры: Тез. докл. СПб., 1995. С. 29–32.
- Готлиб А.И.* Горные архитектурно-фортификационные сооружения окуневской эпохи в Хакасии//Окуневский сборник. Культура. Искусство. Антропология. СПб., 1997. С. 134–151.
- Готлиб А.И., Паульс Е.Д., Подольский М.Л.* Архитектурная организация сакрального пространства (горные сооружения типа «све» эпохи бронзы в Минусинской котловине)//Курган: историко-культурные исследования и реконструкции. СПб., 1996. С. 33–35.
- Гохман И.И.* Происхождение центрально-азиатской расы в свете новых палеоантропологических материалов//СМАЭ. Л., 1980. Вып. XXXVI.
- Гришин Ю.С.* Металлические изделия Сибири эпохи энеолита и бронзы//Археология СССР. Свод археологических источников. 1971. Вып. 3–12.
- Грязнов М.П.* Древние культуры Алтая. Новосибирск, 1930.
- Грязнов М.П.* Древняя бронза минусинских степей//Тр. Отд. истории первобытной культуры (Гос. Эрмитаж). Л., 1941. Т. 1. С. 237–271.
- Грязнов М.П.* Минусинские каменные бабы в связи с некоторыми новыми материалами//СА. 1950. № XII.
- Грязнов М.П.* О так называемых женских статуэтках трипольской культуры//Археологический сборник (Государственный Эрмитаж). 1964. № 6. С. 72–78.
- Грязнов М.П.* Саяно-Алтайский олень (этиод на тему скифо-сибирского звериного стиля)//Проблемы археологии. Л., 1978. Вып. 2-й. С. 222–232.
- Грязнов М.П.* Афанасьевская культура на Енисее. СПб., 1999.
- Грязнов М.П., Пяткин Б.Н., Максименков Г.А.* Карасукская культура//История Сибири. Л., 1968. Т. 1. С. 180–187.
- Гутков А.И.* О традиции ремонта глиняной посуды//Археологический источник и моделирование древних технологий. Челябинск, 2000. С. 170–186.
- Демин М.А., Ситников С.М.* Некоторые результаты археологических раскопок поселения Чекановский Лог I//Вопросы археологии и истории Южной Сибири. Барнаул, 1999.
- Демкин В.А.* Реконструкция содержимого глиняных сосудов из курганных захоронений//Вопросы археологии Поволжья. Самара, 1999. Вып. I. С. 243–248.
- Дергачев В.А.* Молдавия и соседние территории в эпоху бронзы. Кишинев, 1986.
- Деревянко А.П.* и др. Древние культуры Бертекской долины. Новосибирск, 1994.
- Деренко М.В., Малярчук Б.А.* В поисках прародины американских аборигенов//Природа. 2001. № 1. С. 72–78.
- Дремов И.И., Семенова И.В.* Материалы предсавроматского времени из Саратовского Поволжья//Проблемы археологии Юго-Восточной Европы: Тез. докл. Ростов-на-Дону, 1998.
- Дзвлет М.А.* Археологические раскопки в Тодже в 1970 г.//Уч. зап. ТННУИЯЛИ. Кызыл, 1971. Вып. XV. С. 250–253.
- Дзвлет М. А.* Окуневские антропоморфные личины в ряду наскальных изображений Северной и Центральной Азии//Окуневский сборник. Культура. Искусство. Антропология. СПб., 1997. С. 240–250.
- Елин В.Н., Эрдэнэцогт Р., Батмунх Б.* Раскопки на могильнике Овоот в Монголии//Проблемы изучения культурно-исторического наследия Алтая. Горно-Алтайск, 1994.

Елисеев В.Ф. Материалы катакомбной культуры из погребений Степного Побужья//Проблемы изучения катакомбной КИО. Запорожье, 1990.

Есин Ю.Н. О семантике окуневских изваяний//Мартыановские краеведческие чтения (1989 – 1999). Минусинск, 1999.

Есин Ю.Н. Биконические фигуры в древнем искусстве Сибири (по материалам самусьской и окуневской культур)//Междунар. конф. по первобытному искусству. (Труды). Кемерово, 1999а. Т. 1.

Есин Ю.Н. Универсальный космический знак окуневского искусства//Междунар. конф. по первобытному искусству (Труды). Кемерово, 2000. Т. 2.

Есин Ю.Н. Изваяние из с. Верхний Аскиз и проблема хронологии изображений окуневской культуры//Вестн. Сиб. ассоциации исследователей первобытного искусства. 2000а. Вып. 3.

Ефименко П.П. Костенки I. М.;Л., 1958.

Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи. Л., 1964.

Зданович Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. Свердловск. 1988.

Зданович Г.Б. Аркаим – культурный комплекс эпохи средней бронзы Южного Зауралья//Рос. археология. 1997. № 2. С. 47–62.

Зданович Г.Б., Зданович Д.Г. Протогородская цивилизация («Страна городов») Южного Зауралья (опыт моделирующего отношения к древности)//Россия и Восток: проблемы взаимодействия: Материалы конф. Челябинск, 1995. Ч. V. Кн. 1. С. 48–62.

Зданович Д.Г. Синташтинское общество: социальные основы «квазигородской» культуры Южного Зауралья эпохи средней бронзы. Челябинск, 1997.

Иванов В.А. Вооружение и военное дело финно-угров Приуралья в эпоху раннего железа. М., 1984.

Иванов И.В., Плеханова Л.Н., Чичагова О.А., Чернянский С.С., Манахов Д.В. Палеопочвы Аркаимской долины и бассейна р. Самары – индикатор экологических условий в эпоху бронзы//Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация. Самара, 2001. С. 375–384.

Иссен А.А. Прикубанский очаг металлургии и металлообработки в конце медного–бронзового века //МИА. 1951. № 23. С. 75–125.

Итина М.А. История степных племен Южного Приаралья. М., 1977.

Итина М.А. Ранние саки Приаралья. М., 1992.

Катанов Н.Ф. Поездка к карагасам в 1890 г. СПб., 1891.

Кирюшин Ю.Ф. О культурной принадлежности памятников предандроновской бронзы Лесостепного Алтая//Урало-алтаистика. Археология. Этнография. Язык. Новосибирск, 1985. С. 72–77.

Кирюшин Ю.Ф. Энеолит, ранняя и развитая бронза Верхнего и Среднего Приобья: Автореф. дис. ... докт. ист. наук. Новосибирск, 1986.

Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., Грушин С.П. Памятники эпохи энеолита, ранней и развитой бронзы на территории Павловского района//Павловский район. История и культура. Барнаул–Павловск, 2000. С. 23–35.

Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., Грушин С.П. Некоторые планиграфические наблюдения на погребально-поминальных комплексах Верхнего Приобья эпохи ранней бронзы//Проблемы изучения древней и средневековой истории. Барнаул, 2001. С. 40–49.

Киселёв С.В. Материалы археологической экспедиции в Минусинский край//Ежегодник гос. музея им. Н.М.Мартыанова. Минусинск, 1929. Вып. 2. Т. VI.

Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири//МИА. М.; Л. 1949. № 9.

Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири. М., 1951.

Киселев С.В. Неолит и бронзовый век Китая//СА. 1960. № 4. С. 224–266.

Кислый А.Е., Тоцев Г.Н. Средний период бронзового века Крыма//Проблемы хронологии культур энеолита–бронзового века Украины и юга Восточной Европы. Днепропетровск, 1994.

Клюшинцев В.Н. Памятники культуры многоваликовой керамики Степного Побужья//Археологические исследования на Украине в 1978–1979 гг. Днепропетровск, 1980.

Клюшинцев В.Н. Погребения культуры многоваликовой керамики в Степном Побужье с внутримогильными конструкциями//СА. 1988. № 2.

Ковалёв А.А. Могильник Верхний Аскиз 1, курган 2//Окуневский сборник. Культура. Искусство. Антропология. СПб., 1997.

Ковалёв А.А., Резепкин А.Д. Курильница из дольмена в урочище Клады и проблема происхождения курильниц афанасьевской культуры//ПИОК. СПб., 1995.

Ковалева И.Ф. Север Степного Поднепровья в среднем бронзовом веке. Днепропетровск, 1981.

Ковалева И.Ф. История населения пограничья лесостепи и степи Левобережного Поднепровья в позднем энеолите – бронзовом веке: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Киев, 1987.

Ковалефу А. Комплексное формирование наступательного вооружения эпохи Шан-Инь под воздействием северных типов//Доклады юбилейного научного симпозиума, посвященного 70-летию раскопок Иньсюй. Пекин, 1998. С. 76–77.

Кожин П.М. К проблеме хронологии азиатских петроглифов//Проблемы археологии и этнографии Сибири. Иркутск, 1982. С. 100–103.

- Кожин П.М.* Колесничные сюжеты в наскальном искусстве Центральной Азии//Археология, этнография и антропология Монголии. Новосибирск, 1987. С. 109–126.
- Козинцев А.Г., Громов А.В., Моисеев В.Г.* Америконоиды на Енисее? (антропологические параллели одной гипотезе)//Проблемы изучения окуневской культуры: Тезисы докл. СПб., 1995. С. 74–77.
- Коновалов П.Б., Наваан Д., Волков В.В., Санжмятав Г.* Керексуры в Тосонцэнгэле (р. Идэр, Монголия)//Культуры и памятники бронзового и раннего железного веков Забайкалья и Монголии. Улан-Удэ, 1995.
- Корневский С.Н.* О древнем металле бассейна р. Самара//Средневожская археологическая экспедиция. Куйбышев, 1977.
- Корневский С.Н.* О металлических ножах ямной, полтавкинской и катакомбной культур // СА. 1978. № 2.
- Корневский С.Н.* О металлических вещах I Утевского могильника//Археология Восточно-Европейской лесостепи. Воронеж, 1980.
- Корневский С.Н.* Галюгай I – поселение майкопской культуры. М., 1995.
- Косарев М.Ф.* О хронологии и культурной принадлежности сейминско-турбинских бронз//Проблемы хронологии и культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири. Томск, 1970.
- Косинцев П.А., Рослякова Н.В.* Скотоводство населения Самарского Поволжья//История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. Самара, 2000. С. 302–308.
- Красниенко С.В., Субботин А.В.* Археологическая карта Шарыповского района (Красноярский край)//АИ-48. СПб., 1997.
- Кубарев В.Д.* Древние росписи Каракола. Новосибирск, 1988.
- Кубарев В.Д.* Пазырыкские сюжеты в петроглифах Алтая//Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 1999. С. 84–92.
- Кузнецов И.П.* Древние могилы Минусинского округа. Томск, 1889.
- Кузнецов П.Ф.* Новые радиоуглеродные даты для хронологии культур энеолита – бронзового века юга лесостепного Поволжья//Радиоуглерод и археология. СПб., 1996. Вып. 1.
- Кузнецов П.Ф., Мочалов О.Д.* Бронзовый век Самарского Поволжья по данным почвенно-археологического изучения эпохи//Проблемы эволюции почв: Тез. докл. Пушино, 2001.
- Кузьмина Е.Е.* О западных связях андроновских племен. Межплеменные связи эпохи бронзы на территории Украины. Киев, 1987.
- Кузьмина Е.Е.* Откуда пришли индоарии? М., 1994.
- Кузьмина О.В.* Абашевская культура в Самарском Поволжье//История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. Самара, 2000. С. 85–103.
- Культура древнего населения Синьцзяна.* Пекин, 1985 (на кит. яз.).
- Кун Дэмин, Чжан Сяоцин.* Хранилища Аньянского музея. Представление и элементарный анализ избранных бронзовых орудий труда с Иньского городища//Чжуньюань вэньу. 1995. № 4. С. 107–110.
- Кызласов И.Л.* Аскизская культура (средневековые хакасы X–XIV вв.)//Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С. 200–207.
- Кызласов И. Л.* Лик Вселенной: к семантике древнейших изваяний Енисея//Религиозные представления в первобытном обществе. М., 1987.
- Кызласов И.Л., Мылтыгашева Л.П.* 50-летний юбилей Хакасской археологической экспедиции//Российская археология. 2001. № 3.
- Кызласов Л.Р.* Хакасская археологическая экспедиция 1959 г.//Уч. зап. Хакасского НИИЯЛИ. Абакан, 1963. Вып. 9. С. 160–164.
- Кызласов Л.Р.* Древняя Тува. М., 1979.
- Кызласов Л. Р.* Древнейшая Хакасия. М., 1986.
- Кызласов Л.Р.* Проблемы археологии Сибири эпохи металла//Вестник МГУ. Сер. 8: история. 1993. № 1. С. 77.
- Лазаретов И.П.* К вопросу о валиковой керамике Южной Сибири//Охрана и изучение культурного наследия Алтая. Барнаул, 1993.
- Лазаретов И.П.* Каменоложские погребения могильника Арбан 1//Археологические изыскания. 1995. № 24. С. 39–46.
- Лазаретов И.П.* Окуневские могильники в долине р. Уйбат//Окуневский сборник. С. 19–64. СПб., 1997.
- Латынин Б.А.* К вопросу о памятниках с так называемой многоваликовой керамикой//АСГЭ. 1964. Вып. 6.
- Леви-Строс К.* Симметрично развернутые изображения в искусстве Азии и Америки//Структурная антропология. М., 1985. С. 216–241.
- Леонтьев Н.В.* Антропоморфные изображения окуневской культуры (проблемы хронологии и семантики)//Сибирь, Центральная и Восточная Азия в древности. Неолит и эпоха металла. Новосибирск, 1978.
- Леонтьев Н.В.* Стела с реки Аскиз (образ мужского божества в окуневском изобразительном искусстве)//Окуневский сборник. СПб., 1997. Культура. Искусство. Антропология. С. 222–236.
- Леонтьев Н.В.* Образ мировой горы в памятниках искусства окуневской культуры//Гуманитарные науки в Сибири. 2000. № 3.
- Леонтьев Н.В.* Стела окуневской культуры из улуса Тазьмина (опыт структурно-семантического анализа)//Гуманитарные науки в Сибири. 2001. № 3.

Ли Вэймин. Кратко о бронзовых ножах эпохи Шан// Чжунъюань вэнью. 1988. № 2. С. 42–47.

Ли Ци. О бронзовых изделиях, найденных в Сяотунь. Ч. 2-я. Лезвийные орудия//Чжунго каогу сюэбао. 1949. Т. 4. С. 1–65;

Линь Юнь. Рассмотрение вновь [вопроса] о взаимосвязях между бронзами культуры Шан и северной зоны// Каогу сюэ вэньхуа вэньцзи. Пекин, 1987. С. 129–155.

Линь Юнь. Переоценка взаимосвязей между бронзовыми изделиями шанской культуры и северной зоны// Китай в эпоху древности. Новосибирск, 1990. С. 29–45.

Липский А.Н. Афанасьевские погребения в Хакасии// КСИИМК. 1952. 47.

Литвиненко Р.А. Об одной параллели в погребальном обряде скотоводческих племен эпохи бронзы Доно-Донецкого региона//Матеріали вузівської конференції професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідницької роботи. Донецьк, 1997. Кн. I.

Литвиненко Р.А. Наконечники стрел культуры многоваликовой керамики//Эпоха бронзы Доно-Донецкого региона. Киев, Воронеж, 1998.

Литвиненко Р.А. Погребения КМК с производственным инвентарем//Проблемы изучения катакомбной КИО и КИО многоваликовой керамики. Запорожье, 1998а.

Литвиненко Р.А. К проблеме истоков черногоровского погребального обряда//Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. Запорожье, 1999.

Литвиненко Р.А. О появлении КМК в бассейне Нижнего Дона//Взаимодействие и развитие древних культур южного пограничья Европы и Азии. Саратов, 2000.

Лоянская экспедиция Института археологии Китайской академии общественных наук. Краткое сообщение о раскопках памятника Эрлитоу в Яньши//Каогу. 1965. № 5. С. 215–224.

Ляхов С.В. Погребения эпохи поздней бронзы из Букатовских курганов//Срубная культурно-историческая область. Саратов, 1994.

Максименков Г.А. Культура древних племен Среднего Енисея в эпоху бронзы (Археологическое исследование): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л., 1961.

Максименков Г.А. Усть-Собакинская стоянка и ее значение для изучения древней истории района Красноярска//Сибирский археологический сборник. Новосибирск, 1966. С. 77–83.

Максименков Г.А. Окуневская культура и ее окружение//Проблема хронологии и культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири. Томск, 1970а. С. 69–74.

Максименков Г.А. О культурах эпохи бронзы Южной части Сибири//Проблема хронологии и культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири. Томск, 1970б. С. 75–80.

Максименков Г.А. Могильник окуневской культуры у с. Лебяжье//Проблемы западносибирской археологии: Эпоха камня и бронзы. Новосибирск, 1981. С. 91–110.

Малов Н.М. Покровско-абашевские украшения Нижнего Поволжья//Археология Восточно-Европейской степи. Саратов, 1992. Вып. 3.

Малютина Т.С., Зданович Г.Б. Куйсак – укрепленное поселение протогородской цивилизации Южного Зауралья//Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Материалы конф. Челябинск, 1995. Ч.V. Кн.1. С. 100–106.

Маргулан А.Х. Бегазы-Дандыбаевская культура Центрального Казахстана. Алма-Ата, 1979.

Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.И., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. Алма-Ата, 1966.

Марколонго Б., Моцци П. Геоморфологическая эволюция предгорной равнины Восточного Копетдага в эпоху голоцена: предварительный геoarхеологический обзор// Археологические вести. 2000. № 7. С. 33–40.

Мартынов А. И. Растительная символика на изваяниях окуневской культуры//Археология Южной Сибири. Кемерово, 1983.

Мартынюк О.И. Керамика поселения Ботай//Энеолит и бронзовый век Урало-Иртышского междуречья (Междуз. сб.). Челябинск, 1985. С. 59–72.

Марьяшев А.Н., Рогожинский А.Е. Наскальные изображения в горах Ешкиольмес. Алма-Ата, 1991.

Массон В.М. Илгынылы-депе – новый центр энеолитической культуры Южного Туркменистана//Изв. Академии наук Туркменской ССР. 1989. Вып. 6. С. 15–20.

Матвеев Ю.П. Культурно-историческая оценка памятников с многоваликовой керамикой//Археология восточноевропейской лесостепи. Воронеж, 1980.

Матвеев Ю.П. Среднедонская катакомбная культура: происхождение, периодизация, дальнейшая судьба//Проблемы изучения катакомбной КИО. Запорожье, 1990.

Матвеев Ю.П. Заключительный этап среднедонской катакомбной культуры//Археологические исследования в Центральном Черноземье в двенадцатой пятилетке. Белгород, 1990а.

Маточкин Е.П. Искусствознание и проблемы изучения первобытного искусства Сибири//Междунар. конф. по первобытному искусству. (Труды). Кемерово, 1999. Т. 1. С. 110–117.

Матющенко В.И. О некоторых культурно-хронологических комплексах II тыс. до н.э. в Томском Приобье// Проблема хронологии и культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири. Томск, 1970. С. 86–100.

Матющенко В.И. Древняя история населения лесостепного Приобья (неолит и бронзовый век). Ч. 4: Елов-

- ско-ирменская культура. Из истории Сибири. Томск, 1974. Вып. 12.
- Матющенко В.И.* Могильник у д. Ростовка//Археология Северной и Западной Азии. Новосибирск.
- Матющенко В.И., Сеницына Г.В.* Могильник у д. Ростовка вблизи Омска. Томск, 1988.
- Матющенко В.И.* Триста лет истории сибирской археологии. Омск, 2001. Т. 2.
- Мачинский Д.А.* Минусинские «трёхглазые» изображения и их место в эзотерической традиции//Проблемы изучения окуневской культуры. СПб., 1995.
- Мачинский Д.А.* Уникальный сакральный центр III – середины I тыс. до н.э. в Хакасско-Минусинской котловине//Окуневский сборник СПб., Культура. Искусство. Антропология. 1997. С. 265–287.
- Мачинский Д.А.* Сакральные центры Скифии близ Кавказа и Алтая и их взаимосвязи в конце IV – середине I тыс. до н.э.//Стратум: структуры и катастрофы. СПб., 1997.
- Медведская И.Н.* Некоторые вопросы хронологии бронзовых наконечников стрел Средней Азии и Казахстана//СА. 1972. № 3.
- Молодин В.И.* Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. Новосибирск, 1977.
- Молодин В.И.* Наскальные изображения афанасьевской культуры (к постановке проблемы)//Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири. Барнаул, 1991.
- Мошкова М.Г.* Памятники прохоровской культуры//САИ. М., 1963. Вып. Д1–10.
- Нечитайло А.Л.* О крымском варианте катакомбной культуры//Курганы степного Крыма. Киев, 1984.
- Новгородова Э.А.* Центральная Азия и карасукская проблема. М., 1970.
- Новгородова Э.А.* Мир петроглифов Монголии. М., 1984.
- Новожинов В.А.* Наскальные изображения повозок Средней и Центральной Азии. Алматы, 1994.
- Окладников А.П.* Палеолитические статуэтки из Бурети (раскопки 1936 г.)//МИА. 1941. № 2. С. 104–108.
- Окладников А.П.* Неолит и бронзовый век Прибайкалья. Ч. III//МИА. 1955. № 43.
- Орфинская О.В., Голиков В.П., Шишлина Н.И.* Комплексное экспериментальное исследование текстильных изделий эпохи бронзы Евразийских степей//Текстиль эпохи бронзы Евразийских степей. М., 1999. Вып. 109. (Тр. ГИМ).
- Отрощенко В.В.* Срубная культура Степного Поднепровья: Дис. ... канд. ист. наук//НА ИА НАН Украины. 1981. Ф.12. № 598. (Рукопись).
- Отрощенко В.В.* Древности Степного Причерноморья и Крыма//Древности Степного Причерноморья и Крыма. Запорожье, 1995. Т.V.
- Отрощенко В.В.* Проблеми періодизації культур середньої та пізньої бронзи півдня Східної Європи (культурно-стратиграфічні зіставлення). Київ, 2001.
- Павлов П.Г.* К реконструкции карасукского погребального костюма//Южная Сибирь в древности. СПб., 1995.
- Парусимов И.Н.* Труды Новочеркасской археологической экспедиции. Новочеркасск, 1997. Вып. 2.
- Патрушев В.С.* Налобные венчики Старшего Ахмыловского могильника//СА. 1982. № 4.
- Патрушев В.С., Халиков А.Х.* Волжские ананьинцы (Старший Ахмыловский могильник). М., 1982.
- Паульс Е.Д.* Переходные карасук-тагарские памятники в южной части Минусинской котловины//Древние культуры евразийских степей. Л., 1983. С. 70–72.
- Паульс Е.Д.* Два окуневских памятника на юге Хакасии//Окуневский сборник. Культура. Искусство. Антропология. СПб., 1997. С. 123–127.
- Паульс Е.Д.* Могильники Чазы и Мара на севере Минусинской котловины (к вопросу изучения карасукской культуры)//Мировоззрение. Археология. Ритуал. Культура. СПб., 2000. С. 104–118.
- Петров Ф.Н., Вербовецкий М.Э.* Создание типологии форм сосудов керамического комплекса городища Аркам: Отчет. Челябинск, 1996. (Архив ЛАИ ЧелГУ).
- Писларий И.А.* Культура многоваликовой керамики Восточной Украины: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1983.
- Писларий И.А.* Погребальный обряд племен культуры многоваликовой керамики//Древняя история населения Украины. Киев, 1991.
- Плеханова Л.Н., Иванов И.В., Чичагова О.А.* Эволюция почв и осадконакопление в поймах рек степной зоны//Проблемы эволюции почв: Тез. докл. Пуцдино, 2001.
- Подольский М.Л.* О мировоззренческих особенностях сибирского изобразительного искусства эпохи бронзы (окуневские личины)//Мировоззрение народов Западной Сибири по археологическим и этнографическим данным. Томск, 1985.
- Подольский М.Л.* Два окуневских памятника на ручье Узунчул//Окуневский сборник. СПб., 1997. С. 113–122.
- Подольский М.Л.* Све Чилангыг тах на севере Хакасии//Евразия сквозь века. СПб., 2001. С. 108–110.
- Подольский Н.Л.* О принципах датировки наскальных изображений//Советская археология. М., 1973. № 3. С. 265–275.
- Помаскина Г.А.* Некоторые результаты статистического исследования изображений Саймалы-Таша//Изв. АН Киргизской ССР. Фрунзе, 1975. № 3. С. 108–113.
- Попандопуло З.Х.* Курган «Соколовский» у города Пологи//Древности Степного Причерноморья и Крыма. Запорожье, 1991. Т. I.

- Попова Т.Б.* К вопросу о многоваликовой керамики//СА. 1960. № 4.
- Попова Т.Б.* Дольмены станицы Новосвободной//Тр. ГИМ. М., 1963. Вып. 34.
- Потанин Н.Г.* Очерки Северо-Западной Монголии. СПб., 1881.
- Потапов В.В.* Погребения кобяковской культуры на станции Хапры/РА. 1993. № 3.
- Потапов В.В.* О хронологии стоянок нурского типа//XV Уральское археологическое совещание: Тез. докл. Оренбург, 2001.
- Потемкина Т.М.* Бронзовый век лесостепного Притобья. М., 1985.
- Потемкина Т.М.* Оригинальный способ ремонта синташтинско-петровских сосудов//Доно-Донецкий регион в системе древностей эпохи бронзы восточноевропейской степи и лесостепи. Воронеж, 1996. Вып. 1. С. 37–40.
- Потемкина Т.М.* Энеолитические круглоплановые святилища Зауралья в системе сходных культур и моделей степей Евразии//Мировоззрение древнего населения Евразии. М., 2001. С. 166–256.
- Потемкина Т.М., Юревич В.А.* Из опыта археоастрономического исследования археологических памятников (методический аспект). М., 1988.
- Пряхин А.Д., Матвеев Ю.П., Беседин В.И.* Среднедонская катакомбная культура: происхождение, этапы азвтия. Воронеж, 1991.
- Пустовалов С.Ж.* К сложению культуры многоваликовой керамики в Степном Поднепровье//Проблемы эпохи бронзы юга Восточной Европы. Донецк, 1979.
- Пустовалов С.Ж.* Об общественном положении мастеров-ремесленников в эпоху средней бронзы//Хозяйство древнего населения Украины. Киев, 1995. Ч. 2.
- Пяткин Б.Н.* Происхождение окуневской культуры и истоки звериного стиля ранних кочевников//Исторические чтения памяти М.П. Грязнова: Тез. докл. Омск, 1987. С. 79–83.
- Пяткин Б.Н.* Замечания по поводу интерпретации образа фантастического хищника//Окуневский сборник. СПб., 1997.
- Радлов В.В.* Атлас древностей Монголии//Тр. Орхонской экспедиции. СПб., 1896. Вып. II.
- Резепкин А.Д.* Типология мегалитических гробниц Западного Кавказа//Вопросы археологии Адыгеи. Майкоп, 1998.
- Розин В.М.* К проблеме метода научной реконструкции истории точных наук//Историко-астрономические исследования. М., 1989. Вып. XXI. С. 213–228.
- Рысин М.Б.* Культурная трансформация и культура строителей дольменов на Кавказе//Древние общества Кавказа в эпоху палеометалла. СПб., 1997.
- Савва Е.Н.* Культура многоваликовой керамики Днестровско-Прутского междуречья. Кишинев, 1992.
- Савинов Д.Г.* Древние поселения Хакасии. Торгажак. СПб., 1996.
- Савинов Д.Г.* Антропоморфные изваяния из южной части Аскизской степи//Окуневский сборник. СПб., 1997.
- Савинов Д.Г.* Изобразительные памятники и ритуал (по материалам эпохи бронзы Южной Сибири)//Международ. конф. по первобытному искусству. (Труды). Кемерово, 2000. Т. 2. С. 197–206.
- Саенко В.Н.* Курганный могильник культуры многоваликовой керамики в Северном Присивашье//Проблемы изучения катакомбной КИО. Запорожье, 1990.
- Сайко Э.В.* Урбанизация как социокультурный процесс в стадильной характеристике исторического развития (переход от доклассового общества к классовому)//Методические проблемы исследования становления и развития древнего города. М., 1991. С. 11–82.
- Сайко Э.В.* Город как особый организм и фактор социокультурного развития//Город как социокультурное явление исторического процесса. М., 1995. С. 9–21.
- Салугина Н.П.* Технологическое исследование керамики Потаповского могильника//Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Семенова А.П. Потаповский курганный могильник индоиранских племен на Волге. Самара, 1994. С. 173–186.
- Санжаров С.Н.* Катакомбная культура на территории Северо-Восточного Приазовья: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Киев, 1991.
- Санжаров С.Н.* К вопросу о культурно-хронологическом членении катакомбных памятников Северского Донца//СА. 1991а. № 3.
- Санжаров С.Н.* О позднекатакомбных памятниках ингульского типа на территории Северо-Восточного Приазовья//Древности Северского Донца. Луганск, 1999. Вып. 2.
- Сегал Д.М.* Мифологические изображения у индейцев Северо-Западного побережья Канады//Ранние формы искусства. М., 1972. С. 321–371.
- Семенов В.А.* Археологические памятники конца I тыс. до н.э. в Саянском каньоне Енисея//Проблемы скифо-сибирского культурно-исторического единства: Тез. докл. Кемерово, 1979. С. 87–89.
- Семенов В.А.* О стратиграфическом положении таптыкских поминальных сооружений на стоянке Тоора-Даш в Западной Туве//Этническая история тюрко-язычных народов Сибири и сопредельных территорий: Тез. докл. Омск, 1984. С. 84–85.
- Семенов В.А.* Окуневские памятники Тувы и Минусинской котловины (сравнительная характеристика и хронология)//Окуневский сборник. Культура. Искусство. Антропология. СПб., 1997.

- Семенов Вл.А. Неолит и бронзовый век Тувы. СПб., 1992.
- Семенов Вл.А. Окуневские памятники Тувы и Минусинской котловины (сравнительная характеристика и хронология)//Окуневский сборник. СПб., 1997. С. 152–160.
- Семенов Вл.А. Этапы сложения культуры ранних кочевников Тувы//Мировоззрение. Археология. Ритуал. Культура. СПб., 2000. С. 134–157.
- Сергеева М.С. О плановом стиле изображения колесниц//Междунар. конф. по первобытному искусству. (Труды). Кемерово, 2000. Т. 2. С. 33–38.
- Серова Н.Л., Яровой Е.В. Григориопольские курганы. Кишинев, 1987.
- Синюк А.Т. Бронзовый век бассейна Дона. Воронеж, 1996.
- Слободзян М.Б. К вопросу о возникновении плановой проекции в изображении колесного транспорта//Тез. докл. юбилейной конф., посвященной 60-летию кафедры археологии исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 1999. С. 112–115.
- Смирнов А.М. Курганы и катакомбы эпохи бронзы на Северском Донце. М., 1996.
- Смирнова Г.И. Основы хронологии предскифских памятников юго-запада СССР//СА. 1985. № 4.
- Советова О.С., Миклашевич Е.А. Хронологические и стилистические особенности среднеенисейских петроглифов//Археология, этнография и музейное дело. Кемерово, 1999. С. 47–74.
- Соенов В.И. Рыболовство на Алтае//Древности Алтая. Горно-Алтайск, 2001. № 6. С. 16–32.
- Соколова Л.А. Проблемы сложения окуневской культуры//Проблемы изучения окуневской культуры. СПб., 1995. С. 20–24.
- Соловьева Н.Ф. Стенопись Илгынлы-депе//Археологические вести. 1998. № 5. С. 124–128.
- Стамбульник Э.У. Новые памятники гунно-сарматского времени в Туве//Древние культуры Евразийских степей. СПб., 1983. С. 34–40.
- Стефанова Н.К. Кротовская культура в Среднем Прииртышье//Материальная культура древнего населения Урала и Западной Сибири (Вопросы археологии Урала. Вып. 19). Свердловск, 1988. С. 53–75.
- Студзицкая С.В. Тема космической охоты и образ фантастического зверя в изобразительных памятниках окуневской культуры//Окуневский сборник. СПб., 1997. С. 251–262.
- Субботин Л.В. Северо-Западное Причерноморье в эпоху ранней и средней бронзы//Stratum plus. Культурная антропология. Кишинев, 2000.
- Сэр-Оджав Н. Эртний турэгууд//Studia archaeologica. Улан-Батор, 1970. Т. 5. Fasc. 2.
- Таиров А.Д., Ульянов И.В. Новый памятник эпохи бронзы в Северо-Восточном Оренбуржье//Археологические памятники Оренбуржья. Оренбург, 2000. Вып. IV.
- Теплоухов Ф.А. Вещественные памятники каменного и бронзового периодов в западной части Пермской губернии//Тр. Пермской ученой архивной комиссии. 1892. Т. 1.
- Тереножкін О.І. Кургани в долині р. Молочній//Археологічні пам'ятки УРСР. Київ, 1960. Т. VIII. С. 3–16.
- Тереножкин А.И. Киммерийцы. Киев, 1976.
- Техов Б.В. Центральный Кавказ – в XVI–X вв. до н. э. М., 1977.
- Тихонов Б.Г. Металлические изделия эпохи бронзы на Среднем Урале и в Приуралье//МИА. М., 1960. № 90.
- Тихонов В.В., Якубовский Г.Л. Новые памятники и отдельные находки киммерийского времени Саратовского Поволжья//Археологическое наследие Саратовского края. Охрана и исследования в 1997 году. Саратов, 1999. Вып. 3.
- Тишкина Т.В. Деятельность Комиссии по охране памятников природы, старины и искусства Алтайского отдела РГО (1924–1931 гг.)//Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул, 1998. Вып. IX. С. 25–29.
- Тишкина Т.В. Деятельность АО РГО в 1924–25 годах в связи с приездом на Алтай С.И. Руденко и М.П. Грязнова//Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 1999. С. 191–193.
- Тоцев Г.Н. Средний период эпохи бронзы на юго-западе СССР. Депонирована в ИНИОН АН СССР. № 29903. 1986.
- Тоцев Г.Н. Катакомбные памятники Крыма//Древности Степного Причерноморья и Крыма. Запорожье, 1990. Т. I.
- Тоцев Г.Н. Погребения КМК с вытянутыми костяками в Крыму//Древности Степного Причерноморья и Крыма. Запорожье, 1993. Т. IV.
- Тоцев Г.Н. Культуры эпохи бронзы Крымского полуострова//Северо-Восточное Приазовье в системе евразийских древностей: В 2 ч. Донецк, 1996. Ч. 1.
- Тоцев Г.Н. Погребения с костяными пряжками эпохи средней бронзы в Крыму//Проблемы изучения катакомбной КИО и КИО многоваликовой керамики. Запорожье, 1998.
- Трифонов В.А. К абсолютной хронологии евро-азиатских культурных контактов в эпоху бронзы. Радиоуглерод и археология. СПб., 1997. Вып. 2.
- Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Верхнеобская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск, 1988.
- У Энъ. Бронзы северной окраины начиная с периода Инь до начала Западного Чжоу//Каогу сюэбао. 1985. № 2. С. 135–156.
- Уманский А.Л. Археологические памятники Павловского района (материалы к археологической карте//Города и села Алтайского края: Историческое наследие (Павловский район). Павловск, 1993. С. 5–12.

- Формозов А.А. Очерки по первобытному искусству. М., 1969.
- Хаврин С.В. Могильник Верхний Аскиз I, курган I//Окуневский сборник. Культура. Искусство. Антропология. СПб., 1997. С. 65–79.
- Хаврин С.В. Спектральный анализ окуневского металла//Окуневский сборник. Культура. Искусство. Антропология. СПб., 1997а. С. 161–167.
- Хай Дуаньчжи. Записи об основных достижениях работы в области культурного наследия в провинции на протяжении 1988–1992 годов//Цинхай вэнь. 1994. Вып. 8 (Нов. сер). С. 136–139.
- Халиков А.Х. Древняя история Среднего Поволжья. М., 1969
- Халиков А.Х. Волго-Камье в начале эпохи раннего железа (VIII – VI вв. до н. э.). М., 1977.
- Халиков А.Х. Приказанская культура//САИ. М., 1980. Вып. В1-24.
- Хан И. Верхнепалеолитическая статуэтка из бивня со стоянки Холенштайн-Штадель//СА. 1971. № 3. С. 211–217.
- Хаяси Минао. Китайское оружие эпох Инь-Чжоу. Киото, 1972.
- Хлобыстин Л.П., Шер Я.А. Неолитическое погребение близ д. Байкалово на Енисее//КСИА. 1966. Вып. 106.
- Хлобыстина М.Д. Бронзовые изделия Хакасско-Минусинской котловины и развитие карасукской культуры: Автореф. канд. дис., Л., 1963.
- Хлобыстина М.Д. Тотемно-космогонические образы в искусстве южносибирской бронзы//Первобытное искусство. У истоков творчества. Новосибирск, 1978.
- Хлопин И.Н. Памятники развитого энеолита Юго-Восточной Туркмении. Археология СССР. Свод археологических источников. Л., 1969. Вып. Б3-8.
- Худяков Ю.С. Херексуры и оленные камни//Археология, этнография и антропология Монголии. Новосибирск, 1987. С. 136–162.
- Цзи Найцзюнь. В Яньчане провинции Шэньси раскопаны бронзовые предметы позднешанского периода//Каогу ю вэнь. 1994. № 2. С. 27, 28, 112.
- Цзоу Хэн. Сборник статей по археологии Ся, Шан, Чжоу. Пекин, 1980.
- Цимиданов В.В. Еще раз о колесницах степной Евразии эпохи поздней бронзы//Северо-Восточное Приазовье в системе евразийских древностей (энеолит-бронзовый век). Донецк, 1996. Ч. 1. С. 126–128.
- Цыбиктаров А.Д. Херексуры Бурятии, Северной и Центральной Монголии//Культуры и памятники бронзового и раннего железного веков Забайкалья и Монголии. Улан-Удэ, 1995.
- Ченченкова О.П. Древняя скульптура Западной Сибири: Дисс. ... канд. искусствоведения. СПб., 1995. (Рукопись).
- Чернецов В.Н. Этнокультурные ареалы в лесной и сибирской зонах//Проблемы археологии Урала и Сибири. М., 1973. С. 14.
- Черников А.Х. Восточный Казахстан в эпоху бронзы//МИА. М.;Л., 1960. № 88.
- Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Памятники сейминско-турбинского типа в Евразии//Эпоха бронзы лесной полосы СССР. Археология СССР. М., 1987.
- Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен). М., 1989.
- Черных Л.А. Проблемы изучения медно-бронзового производства культуры многоваликовой керамики//Эпоха бронзы Доно-Донецкого региона. Луганск, 1995.
- Чжу Фэнхань. Бронзовые изделия Древнего Китая. Тяньцзинь, 1995.
- Членова Н.Л. Хронология памятников карасукской эпохи. М., 1972.
- Членова Н.Л. Есть ли сходство между окуневской и карасукской культурами? //Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. М., 1977.
- Чугунов К. В. Новые находки личин в верховьях Енисея //Окуневский сборник. Культура. Искусство. Антропология. СПб., 1997. С. 237–239.
- Чэнь Чжэнчжун. Древние бронзовые кривые ножи нашей страны//Каогу ю вэнь. 1985. № 4. С. 72–80, 83.
- Шарафутдинова Э.С. Погребения культуры многоваликовой керамики на Нижнем Дону//Памятники бронзового и раннего железного веков Поднепровья. Днепропетровск, 1987.
- Шарафутдинова Э.С. Тенденции развития посуды в культуре многоваликовой керамики (по материалам погребений)//Древние индоиранские культуры Волго-Уралья (II тыс. до н.э.). Самара, 1995.
- Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М., 1980.
- Шер Я.А. О возможных истоках скифо-сибирского стиля//Вопросы археологии Казахстана. Алматы. М., 1998. Вып. 2. С. 218–230.
- Шишлина Н.И., Орфинская О.В., Голиков В.П. Исследование подстилок из ямного погребения могильника Увак//XV Уральское археологическое совещание: Тез. докл. Оренбург, 2001.
- Эпоха бронзы лесной полосы СССР. Археология СССР. М., 1987.
- Эрлитоуская рабочая группа Института археологии Китайской академии общественных наук. Краткое сообщение о раскопках остатков раннешанского дворца в Эрлитоу, Яньши, провинция Хэнань//Каогу. 1974. № 4. С. 234–248.
- Эрлитоуская рабочая группа Института археологии Китайской академии общественных наук. Краткое сообщ-

- щение о полевых исследованиях раскопов 3, 8 на памятнике Эрлитоу в Яньши, провинция Хэнань//Каогу. 1975. № 5. С. 302–309, 294.
- Эрлитоуская рабочая группа Института археологии Китайской академии общественных наук.* Вновь обнаруженные медные и нефритовые веда на памятнике Эрлитоу, Яньши//Каогу. 1976. № 4. С. 259–263.
- Эрлитоуская экспедиция Института археологии Китайской академии общественных наук.* Краткое сообщение о раскопках памятника Эрлитоу в Яньши, провинция Хэнань, весной 1980 года//Каогу. 1983. № 3. С. 199–219.
- Absolon K.* The diluvial anthropomorphic statuettes and drawings especially the so-called Venus statuettes discovered in Moravia//*Artibus Asiae*. New-York, 1949. Vol. XII. N 3. P. 201–220.
- Adam L.* Nordwestamerikanische Indianerkunst. Berlin, áã.
- Aner E.* Die Frühen Tüllenbeile des Nordischen Kreises//*Acta Archaeologica*. København, 1962. Vol. XXXIII, f. 2–3.
- Antony P.* The Opening of the Eurasian Steppe at 2000 BCE//*The Bronze Age and Early Iron Age Peoples of Eastern Central Asia*. 1998. Vol. 1.
- Anyang City Museum.* Excavation of Yin Dynasty Tomb in South Liujiazhuang, Tiexi at Anyang. *Zhongyuan wenwu*. 1986/3. P. 14–23.
- Anyang Excavation Team, Institute of Archaeology,* 1975. *New Discoveries at Yinxu, Anyang//Kaogu*. 1976/4. P. 264.
- Anyang Work Team, Institute of Archaeology.* Excavation of the Sacrificial Pits of Slaves at Yin Ruins in Anyang//*Kaogu*. 1977/1. P. 20–36.
- Anyang Work Team, Institute of Archaeology.* The Excavation of Tombs M259 and M260 at the Yin Ruins//*Kaogu xuebao* 1987/1. P. 99–118.
- Archaeological Excavation and Researches of the Yin Ruins.* Beijing: Wenwu Press, 1994.
- Barber E.J.W.* Prehistoric Textiles. Princeton University Press, 1991.
- Barnard N.* Bronze Casting Technology in the Peripheral “Barbarian” Regions//*Bulletin of the Metals Museum*. 1987. Vol. 12. P. 3–37.
- Barnard N.* Thoughts on the Emergence of Metallurgy in Pre-Shang and Early Shang China, and a Technical Appraisal of Relevant Bronze Artifacts of the Time//*Bulletin of the Metals Museum*. 1993. Vol. 19. P. 3–48.
- Bégouen H., Breuil H.* Les Cavernes du Volp/ Trois Frères-Nuc d’Audoubert à Montesquie-Avantès (Ariège). Paris, 1958.
- Beijing wenwu yanjiusuo//Beifang kaoqu sishinian.* Beijing, 1990.
- Beijingshi wenwu yanjiushuo Shanrong wenhua kaogudui//Beijing Yanqing Jundushan Dongzhou Shanrong buluo mudi fajue jilue.* Wenwu, 1989/8. P. 17–35.
- Boas F.* Primitive Art. New-York, 1955.
- Bokovenko N.A., Mitjaev P.E., Malinovyj Log.* Ein Gräberfeld der Afanas’evo Kultur//*Eurasia Antiqua*. Berlin, 2000. Bd. 6.
- Boroffka N.* Bronze- und Früheisenzeitliche geweihtresenkennebel aus Rumänien und ihre Beziehungen//*Eurasia Antiqua*. 1999. Bd. 4.
- Brumfiel E. M. and Fox J.* Factional Competition and Political Development in the New World. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Bunker E.C., Kawami T., Linduff K.M., Wu En.* Ancient Bronzes of the Eastern Eurasian Steppes from the Arthur M. Sackler Collections. New-York: Harry N. Abrams, 1997.
- Chang Cheng-lang.* A Brief Discussion of Fu Tzu, in K. C. Chang ed.//*Studies of Shang Archaeology*. Yale University Press, 1986. P. 103–119.
- Chang K.C.* Shang Civilization. New Haven: Yale University Press, 1980.
- Chang K.C.* Studies in Shang Archaeology. New Haven: Yale University Press, 1986.
- Childe G.* The Socketed Celt in Upper Eurasia//*The 10th. Annual Report of the Institute of Archaeology*. London, 1954.
- Chou Hung-hsiang.* Fu-X Ladies of the Shang Dynasty//*Monumenta Serica* 29. 1970. Vol. 1. P. 346–390.
- Cooter S.W.* Preindustrial Frontiers and Interaction Spheres: Prolegomenon to a Study of Roman Frontier Regions//*The Frontier, Comparative Studies*, D. Miller and J. Stefan (eds.). Norman: University of Oklahoma Press, 1977.
- Debaine-Francfort C.* Xinjiang and Northwestern China around 1000 BC. Cultural Contacts and Transmissions//*Migration und Kulturtransfer. Der Wandel vor- und zentralasiatischen Kulturen im Umbruch vom 2. zum 1. vorchristlichen Jahrtausend*. Bonn, 2001. S. 57–70.
- Fitzgerald-Huber L.G.* Qijia and Erlitou: the Question of Contacts with Distant Cultures//*Early China*. 1995. Vol. 20. P. 17–67.
- Gotlib A.I.* Bronzezeitliche Burgenrichtungen-Swe in Khakasien//*Eurasia Antiqua*. Deutsches Archeologisches Institut. Eurasien-Abteilung. Berlin, 1999. Bd 5. S. 28–69.
- Griaznov M.* Ancient Civilization of Southern Siberia. Geneva: Nagel Publishers, 1969.
- Helms M.* Long Distance Contacts, Elite Aspirations and the Age of Discovery in a Cosmological Context//*Resources, Power, and Interregional Interaction*, E. M. Schortman and P. A. Urban. New York: Plenum Press, 1992.
- Institute of Archaeology (Tomb of Lady Hao at Yinxu in Anyang).* Beijing: Wenwu Press, 1980.
- Joy McCarrison.* The Fiber Revolution. Textile Extension, alienation, and Social Stratification in Ancient Mesopotamia//*Current Anthropology*. 1997. Vol. 38. N 4.

- Karlgren B.* Some Weapons and Tools of the Yin Dynasty//Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities. XCII. 1945. P. 101–144.
- Keightley D. N.* Sources of Shang History. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1978.
- Keightley D.* Women in the late Neolithic and Shang Period in China//Nan nū. 1999. Vol. 1. N 1. P. 1–63.
- Klíma B.* Mladopaleolitická keramika z Pøedmosti//Pamatky Archéologické. 1971. LXV. S. 229–240.
- Klíma B.* Chronologie de l'art mobilier paléolithique en Europe centrale//L' Art des Objets au Paléolithique, t.1. Foix-le Mas d'Azil, 1987. P. 133–141.
- Koren Z.C.* Color Analysis of the Textiles//Schick T. The Cave of Warrior. A fourth millennium burial in the Judean desert. Jerusalem, 1998.
- Kovalev A.* "Karasuk-Dolche", Hirschsteine und die Nomaden der chinesischen Annalen im Altertum//Maoqinggou. Ein eisenzeitliches Graberfeld in der Ordos-region (Innere Mongolei). Mainz am Rein. 1992. S. 46–87. (Materialien zur Allgemeine und Vergleichende Archäologie. Bd. 50).
- Kristianson K.* Chiefdom, State, and System of Social Evolution//T. K. Earle (ed.), chiefdoms: Power, Economy and Ideology. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 16–43.
- Lattimore O.* Inner Asian Frontiers of China. Oxford: Oxford University Press, 1942.
- Li J. J.* Mapping Artifacts of the Frontier: An Approach to the Study of the Yan Mountainous Area in the Eastern Zhou Period (8th—3rd Century BCE). PhD Dissertation. University of Pittsburgh, 2000.
- Linduff K. M.* Zhukaigou, steppe culture and the rise of Chinese civilization//Antiquity, 1995. Vol. 69. N 262. March. P. 133–145.
- Linduff K.M.* Art and Identity: The Chinese and Their "Significant Others" in the Third and Second Millennium BC//Cultural Contact, History and Ethnicity in Inner Asia. Toronto Studies in Central and Inner Asia. Acta. 1996. N 2. P. 12–48.
- Linduff K.M.* The Emergence and Demise of Bronze-using Cultures Outside the Central Plain in Ancient China//The Bronze Age and Early Iron Age Peoples of Eastern Central Asia, by Victor Mair (ed.). Washington, DC (The Journal of Indo-European Studies. The University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, Monograph Series). 1998. P. 619–643.
- Linduff K.M.* The Emergence of Metallurgy in China. Lewiston, Queenston, Lampeter: Edwin Mellen Press, 2000.
- Loehr M.* Weapons and Tools from Anyang and Siberian Analogies//American Journal of Archaeology. 1949. LIII. P. 126–144.
- Loehr M.* Ordos Daggers and Knives: New Material Classification and Chronology//Artibus Asiae, XII. 1949. P. 23–83.
- Loehr M.* Chinese Bronze Age Weapons. Ann Arbor. 1956.
- Masson V.M., Berezkin Y.E., Solovyova N.F.* Excavations of Houses and Sanctuaries at Ilgynly-depe chalcolithic site. Turkmenistan//New archaeological discoveries in Asiatic Russia and Central Asia. S.-Petersburg. 1994. P. 18–26.
- Masson V.M., Korobkova G.F.* Eneolithic stone sculpture in south Turkmenia//Antiquity. 1989. Vol. 63. N 238. P. 61–69.
- Meadow R.H.* The origins and spread of agriculture and pastoralism in northwestern South Asia//Ed. D.P. Harris. The Origin and Spread of Agriculture and Pastoralism in Eurasia. Smithsonian Institute Press, 1996.
- Mei J.J.* Copper and Bronze Metallurgy in Late Prehistoric Xinjiang: Its cultural context and relationship with neighboring regions//BAR International Series 865. Oxford: Archaeopress, 2000.
- Oliva M.* The Brno II Upper Palaeolithic burial. Hunters of the Golden Age//Analecta Praehistorica Leidensia, 31. 1999. P. 143–153.
- Parker Pearson M.* The archaeology of death and burial. Stroud. 1999.
- Paynter R.* The Archaeology of Inequality. Cambridge; Oxford, 1991.
- Plog S.* Stylistic variation in prehistoric ceramics: Design analysis in the American Southwest. Cambridge, 1980.
- Plog S.* Sociopolitical implications of stylistic variation in the American Southwest//The uses of style in archaeology. Cambridge, 1990. P. 61–72.
- Rézepek A.D.* Das frühbronzezeitliche Gräberfeld von Klady und die Majkop-Kultur in Nordwestkaukasien//Archäologie in Eurasien. 2000. Bd.10.
- Schick T.* Nahal Hemar Cave. Cordage, Basketry and Fabrics//Nahal Hemar Cave. Eds. Bar-Yosef O., Alon D. Ali-got 18. 1988.
- Schick T., ed.* The Cave of the Warrior. A fourth millennium burial in the Jordan Desert. Jerusalem, 1998.
- Schiffer M.B.* Archaeological context and systematic context//Amer. Antiquity. 1972. Vol. 37. N 1. P. 156–165.
- Schortman E.M. and Urban P.A.* Modeling Interregional Interaction in Prehistory//M. B. Schiffer (ed.), Advances in Archaeological Method and Theory. San Diego: Academic Press, 1987. Vol. 11. P. 37–95.
- Segal I.* A Chemical and Mineralogical Study of Finds//Schick T. The Cave of Warrior. A fourth millennium burial in the Judean desert. Jerusalem, 1998.
- Sher J.* Sibirie du Sud 1: Oglakhty I-III (Russie, Khakassie)//Repertoire des petroglyphes d'Asie Centrale. Paris, 1994. Fasc. N1.
- Sherratt A.* Plough and Pastoralism: Aspects of the Secondary Products Revolution//Pattern of the Past: Studies in Honour of David Clarke. Eds. N. Hammond and G. Isaac. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 1981.

Sherratt A. The Secondary Exploitation of Animals in the Old World//World Archaeology. 1983. V. 15 (1). P. 90–104.

Sherratt A. Comments//Joy McCarrison. The Fiber Revolution. Textile Extensification, alienation, and Social Stratification in Ancient Mesopotamia// Current Anthropology. 1997. Vol. 38. N 4.

Shott M.J. Mortal pots: On the use life and vessel size in the formation of ceramic assemblages//Amer. Antiquity. 1996. Vol. 61, N 3. P. 463–482.

Soffer O., Vandiver P., Klima B., Svoboda J. The pyrotechnology of Performance Art; Moravia Venuses and Wolverines. Before Lascaux. Ed. Knecht H., Pike-Tay A., White R. CRC Press, 1993.

Solovyova N.F., Yegorkov A.N., Galibin V.A., Berezkin Y.E. Metal artifacts from Ilgynly – depe, Turkmenistan//New archaeological discoveries in Asiatic Russia and Central Asia. S.-Petersburg. 1994. P. 31–35.

Valoch K. Der fossile Mensch Brno II. Die Grabbeigaben//Anthropos, è. 9 (N.S. 1). Brno, 1959. S. 23–30.

Wagner M. Kayue – ein Fundkomplex des 2. Jahrtausends v. Chr. Am Nordwestrand des chinesischen Zentralreiches//Migration und Kulturtransfer. Der Wandel vor- und zentralasiatischen Kulturen im Umbruch vom 2. zum 1. vorchristlichen Jahrtausend. Bonn, 1956. S. 38–56.

Wallerstein I. A World-System Perspective on the Social Sciences//British Journal of Sociology. 1976. Vol. 27(3). P. 343–352.

Wanzek B. Die Gußmodel für Tüllenbeile in Südöstlichen Europa. Bonn, 1989.

Wenwu Kaogu gongzuo sanshinian. Beijing: Wenwu Press, 1990. P. 142–143.

Whittaker C.R. Roman Empire: A Social and Economic Study. Baltimore: The Johns Hopkins. University Press, 1994.

Wiessner P. Style or isochrestic variation? A reply to Sackett//Amer. Antiquity. 1985. Vol. 50. N 1. P. 160–166.

Wu En. Zu verschiedenen Problemen der Bronzezeitkulturen entlang der Grossen Mauer//Migration und Kulturtransfer. Der Wandel vor- und zentralasiatischen Kulturen im Umbruch vom 2. zum 1. vorchristlichen Jahrtausend. Bonn, 2001. S. 25–35.

Xu Yongjie. The Siba Culture Site at Huoshaogou, Donghuishan, Minle County//The Almanac of Chinese Archaeology. Beijing: Cultural Relics Press, 1988.

Yakovleva L., Pinçon G. La Frise sculptée du Roc-aux-Sorciers. Paris, 1997.

Zettler R.L. Comments. Joy McCarrison. The Fiber Revolution. Textile Extensification, alienation, and Social Stratification in Ancient Mesopotamia//Current Anthropology. 1997. Vol. 38. N 4.

Zohary D. & Hoph M. Domestication of Plants in the Old World. The origin and spread of cultivated plants in West Asia, Europe, and the Nile Valley. Clarendon Press. Oxford, 1988.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЕ	Археологический ежегодник
АО	Археологические открытия
АСГЭ	Археологический сборник. Государственный Эрмитаж
ВДИ	Вестник древней истории
ГАИМК	Государственная Академия истории материальной культуры
ГМЭ	Государственный музей этнографии
ГЭ	Государственный Эрмитаж
ИИМК РАН	Институт истории материальной культуры РАН
ИИ КиргССР	Институт истории Киргизской ССР
КСИА	Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры АН СССР
ЛО ИА	Ленинградское отделение Института археологии АН СССР
МАЭ	Музей антропологии и этнографии

МИА	Мат-лы и исследования по археологии СССР
ООПИК	Общество охраны памятников и культуры
ПАВ	Петербургский археологический вестник
РА	Российская археология
РАНИОН	Российская Ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук
РАИМК	Российская Академия истории материальной культуры
РО ГРМ	Рукописный отдел Государственного Русского музея
РФФИ	Российский фонд фундаментальных исследований
СА	Советская археология
САИ	Свод археологических источников
ТГЭ	Труды Государственного Эрмитажа
ИИМС RAS	Institute for the History of Material Culture of Russian Academy of Sciences
САИМС	State Academy for the History of Material Culture

Часть 1	Part 1
М.П. ГРЯЗНОВ И ЕГО НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ	MIKHAIL GRYAZNOV SCHOLARLY HERITAGE
<i>М.П. Грязнов.</i> Список печатных работ С.А. Теплоухова 9	<i>M. Gryaznov.</i> The List of S. A. Teploukhov's Published Works 9
<i>Л.М. Всевиов.</i> Список опубликованных работ М.П. Грязнова 10	<i>L. Vseviiov.</i> The List of M. P. Gryaznov's Published Works 10
<i>М.Н. Пшеницына, Н.А. Боковенко.</i> Основные этапы жизни и творчества Михаила Петровича Грязнова (1902–1984) 19	<i>M. Pshenitsyna, N. Bokovenko.</i> The Principal Periods of Mikhail P. Gryaznov's Life and Activity (1902–1984) 19
<i>А.Д. Столяр.</i> Резонанс личности в науке 24	<i>A. Stolyar.</i> Personality as Echoed in Science 24
<i>Р.В. Васильева.</i> Фонд М.П. Грязнова в Рукописном архиве ИИМК РАН 28	<i>R. Vasilieva.</i> Fund of Mikhail P. Gryaznov in the Manuscript Archives of the IHMC RAS 28
<i>С.А. Васютин.</i> Проблемы социальной и потестарной организации ранних кочевников в трудах Михаила Петровича Грязнова 30	<i>S. Vasyutin.</i> Problems of Social and Potentate Organisation of the Earlier Nomads as Treated in Mikhail P. Gryaznov's Works 30
<i>Е.М. Данченко.</i> К проблеме разработки культурогенетических схем в археологии Обь-Иртышья 33	<i>E. Danchenko.</i> The Problem of Cultural Genesis in the Ob and Irtysh Basin: Elaboration of Archaeological Schemes 33
<i>Г.В. Длужневская, Н.А. Лазаревская, М.В. Медведева.</i> Научное наследие Михаила Петровича Грязнова в фотоархиве ИИМК РАН 35	<i>G. Dluzhnevskaya, N. Lazarevskaya, M. Medvedeva.</i> Scholarly Heritage of Mikhail P. Gryaznov as Presented in the Photograph Archives of the IHMC RAS 35
<i>И.К. Кидиекова.</i> Проблемы первобытного искусства в трудах М.П. Грязнова 42	<i>I. Kidiekova.</i> The Problems of Prehistoric Art as Treated in Mikhail P. Gryaznov's Works 42
<i>В.А. Кольченко.</i> Археологические исследования в Кыргызстане в 1928–1930 гг. (работы М.П. Грязнова, М.В. Воеводского, А.И. Тереножкина и Палеозтологической экспедиции ГАИМК) 43	<i>V. Kol'chenko.</i> Archaeological Researches in Kyrgyzstan in 1928–1930 (M. P. Gryaznov, M. V. Voevodsky, A. I. Terenozhkin and the Results of Investigations Undertaken by Palaeoethnological Expedition of the SAHMC) 43
<i>Г.Ф. Коробкова.</i> Трасологические наблюдения М.П. Грязнова и современные достижения метода микроанализа в изучении каменных изделий поздних эпох 47	<i>G. Korobkova.</i> Traceological Observations Made by M. P. Gryaznov and Progressive Method of Microanalysis Applied to Stone Implements of the Later Epochs 47
<i>Е.Е. Кузьмина.</i> М.П. Грязнов и изучение культуры андроновских племен 50	<i>E. Kuz'mina.</i> M. P. Gryaznov's Part in the Studies of the Andronovo Culture 50
<i>Л.Д. Макаров.</i> М.П. Грязнов – исследователь древней Вятки 52	<i>L. Makarov.</i> M. P. Gryaznov as an Explorer of Old Vyatka 52
<i>В.М. Массон.</i> О трех эпохах в древней истории евразийских степей 54	<i>V. Masson.</i> The Three Periods of Ancient History of Eurasian Steppe 54
<i>Б.Х. Матбабаев.</i> История археологического изучения кочевников-скотоводов Ферганы 56	<i>B. Matbabayev.</i> Archaeological Investigations in the History of the Ferghana Cattle Breeding Nomads 56
<i>В.И. Матющенко.</i> Теоретико-методологические поиски сибирских археологов (1960–1990 гг.) 58	<i>V. Matyushchenko.</i> Siberian Archaeologists in Quest of Theoretical and Methodological Principles (1960–1990) 58
<i>Н.Н. Негматов.</i> Арийская «Золотая подкова» Евразии (попытка культурно-антропологической концепции) 62	<i>N. Negmatov.</i> The Aryan «Gold Horseshoe» in Eurasia 62
<i>М.Л. Подольский.</i> Минусинские древности: проблема датировки 64	<i>M. Podol'sky.</i> The Minusa Antiquities: the Problem of Date 64

<i>А.Д. Прякин.</i> М.П. Грязнов и изучение пастушеско-скотоводческого пояса евразийской степи и лесостепи эпохи бронзы	67	<i>A. Pryakhin.</i> M. P. Gryaznov's Part in the Studies of Herder and Cattle Breeding Farming of the Eurasian Steppe and Forest-steppe Zone in the Bronze Age	67
<i>А.М. Решетов.</i> М.П. Грязнов как антрополог и этнограф	69	<i>A. Reshetov.</i> M. P. Gryaznov as an Anthropologist and Ethnologist	69
<i>Д.Г. Савинов.</i> Система хронологии сибирских древностей в трудах М.П.Грязнова	74	<i>D. Savinov.</i> Chronological System of Siberian Antiquities as Presented in M. P. Gryaznov's Works	74
<i>Я.А. Шер.</i> М.П. Грязнов и некоторые вопросы археологии ранних кочевников	78	<i>J.A. Sher.</i> M. P. Gryaznov's Part in the Research of Archaeology of the Earlier Nomads	78
<i>А.Я. Щетенко.</i> М.П. Грязнов и периодизация культур эпохи бронзы Южного Туркменистана	82	<i>A. Shchetenko.</i> M. P. Gryaznov's Part in Chronological Ordering of the South Turkmenistan Cultures of the Bronze Age	82
<i>Из личного архива</i> М.П. Грязнова	85	<i>M. P. Gryaznov's</i> Personal Archives	85
<i>Пазырык.</i> Разговор, услышанный 20 лет спустя	91	<i>Pazyryk.</i> A Talk Heard out after the Period of Twenty Years	91
Список литературы. Часть 1	97	Bibliography. Part 1	97

Часть 2

АРХЕОЛОГИЯ ЭПОХИ КАМНЯ И БРОНЗЫ

<i>З.А. Абрамова.</i> Об ацефальных и составных изображениях в палеолитическом искусстве Европы	105
<i>Н.А. Аванесова.</i> Храмовые функции сакрализованных площадок некрополя доисторической Бактрии – Бустон VI	108
<i>В.А. Алёшкин.</i> Погребения голов в пещере офнет на юге Германии (культурно-хронологическая атрибуция и интерпретация)	111
<i>В.С. Бочкарев.</i> Металлические топоры-кельты Европы эпохи поздней бронзы	115
<i>С.А. Васильев.</i> Палеолит Сибири: новые факты, новые концепции	118
<i>Н.Б. Виноградов.</i> Проблема соотношения и интерпретации памятников синташтинского и петровского типов в Южном Зауралье	121
<i>Е.И. Гак.</i> Металлические ножи восточных регионов катакомбной культурно-исторической области (к вопросу о локальных особенностях производства)	121
<i>М.М. Герасимова.</i> Краниологическое разнообразие населения южнорусских степей в эпоху ранней и средней бронзы	125
<i>О.И. Горюнова.</i> Бронзовый век Прибайкалья: могильник Хужир-Нугэ XIV (ритуал погребения и культурно-исторический контекст)	127
<i>А.И. Готлиб.</i> Горные сооружения-«све» – новый вид археологических источников в Минусинской котловине	129

Part 2

ARCHAEOLOGY OF THE STONE AND BRONZE AGES

<i>Z. Abramova.</i> Acephalic and Composed Images in European Palaeolithic Art	105
<i>N. Avanesova.</i> Buston V, the Necropolis of Prehistoric Bactria – Temple Function of Its Sacral Grounds	108
<i>V. Alekshin.</i> Skull-burials in the Cave of Offnet in the South of Germany (Cultural and Chronological Attribution and Interpretation)	111
<i>V. Bochkaev.</i> European Metal Battleaxes Dating back to the Bronze Age	115
<i>S. Vasiliev.</i> Palaeolithic Age of Siberia: New Facts and Concepts	118
<i>N. Vinogradov.</i> Relics of Sintashta and Petrovsky Types in the South Urals: the Problem of Their Balance and Interpretation	121
<i>E. Gak.</i> Metal Knives of the Eastern Areas of the Kurgan (Catacomb) Culture Historical Region	121
<i>M. Gerasimova.</i> Craniological Diversity of the South Russian Steppe Population in the Early and Middle Bronze Age	125
<i>O. Goryunova.</i> The Bronze Age of the Baikal Region: the Burial Ground of Khudzhir-Nugae XIV (Cultural and Historical Context and Funeral Ritual)	127
<i>A. Gotlib.</i> The «Svae» Mountain Constructions – a New Type of Archaeological Sources in the Minusa Valley	129

<i>А.В. Епимахов.</i> Мало-Кизыльское селище и его место в системе культур бронзового века Урала	133	<i>A. Yepimakhov.</i> Malo-Kizyl'skoye Rural Settlement within the System of the Urals Bronze Age Cultures	133
<i>Ю.Н. Есин.</i> Проблемы семантики антропоморфных ликов окуневского искусства	138	<i>Ju. Yesin.</i> Semantic Problems of Anthropomorphic Face-images in the Okunevo Art	138
<i>Д.Г. Зданович, Е.В. Куприянова.</i> «Use life» глиняной посуды и динамика стилевых изменений (к исследованию синташтинской проблемы)	141	<i>D. Zdanovich, E. Kupriyanova.</i> «Use Life» of Pottery and the Dynamics of Style Transforming (Notes to the Studies in Sintashta Problem)	141
<i>В.С. Зубков.</i> Новые неолитические местонахождения в подтаежной зоне Хакасии	145	<i>V. Zubkov.</i> Newly Found Neolithic Locations in the Subtaiga Area of Khakassia	145
<i>В.С. Зубков, А. Наглер, Э. Кайзер.</i> Каменноложская группа курганов могильника Подсуханыха II (по материалам раскопок 2000 года)	148	<i>V. Zubkov, A. Nagler, E. Keiser.</i> Kamennolozhskaya Group of Barrows in the Burial Ground of Podsuhanikha II (after the Excavations in 2000)	148
<i>Л.С. Ильюков.</i> Крепость бронзового века в низовьях Дона	152	<i>L. Ilyukov.</i> The Bronze Age Fortress in the Lower Course of the Don	152
<i>Ю.Ф. Кирюшин, А.А. Тишкин, С. П. Грушин.</i> Материалы эпохи ранней бронзы, полученные М.П. Грязновым с памятника Чудацкая Гора в Верхнем Приобье	153	<i>Ju. Kiryushin, A. Tishkin, S. Grushin.</i> The Early Bronze Age Material Obtained by M. P. Gryaznov from Chudatskaya Gora in the Headstream of the Ob	153
<i>А.В. Кияшко.</i> К вопросу об истоках и этапах катакомбного культурогенеза	155	<i>A. Kiyashko.</i> The Origins and Stages of the Kurgan (Catacomb) Cultural Genesis	155
<i>В.Я. Кияшко.</i> Еще раз о проблеме «кутюжков» в мезолите–энеолите Евразии	157	<i>V. Kiyashko.</i> More about the Problem of «Small Flatirons» in Mesolithic–Eneolithic Age of Eurasia	157
<i>А.А. Ковалев.</i> О происхождении комплекса форм бронзовых лезвийных изделий Древнего Китая (эпоха Ся-Шан)	158	<i>A. Kovalev.</i> The Origin of Similar-shaped Bronze Blade Implements Dating from the Period of Hsia-Shang Dynasty in Ancient China	158
<i>С.А. Ковалевский.</i> Погребально-поминальный обряд ирменской культуры на территории Кузнецкой котловины	164	<i>S. Kovalevsky.</i> Funeral and Last Rites of the Irmen Culture in the Territory of Kuznetsk Valley	164
<i>С.Н. Кореневский, В.Л. Ростунов.</i> «Большие» майкопские курганы в Республике Северная Осетия – Алания	167	<i>S. Korenevsky, V. Rostunov.</i> The «Great» Maikop Barrows in the Republic of North Ossetia – Alania	167
<i>А.И. Крамарев.</i> К вопросу о планиграфии погребальных памятников срубной культуры Волго-Уралья	169	<i>A. Kramarev.</i> Planigraphy of the Srubnaya Burial Grounds of the Volga–Urals Region	169
<i>С.В. Красниенко.</i> Памятники афанасьевской культуры на юго-западе Красноярского края	171	<i>S. Krasnienko.</i> The Afanasievo Relics in the South-West of Krasnoyarsk Region	171
<i>П.Ф. Кузнецов, О.Д. Мочалов.</i> Самарская долина в бронзовом веке	175	<i>P. Kuznetsov, O. Mochalov.</i> The Valley of Samara in the Bronze Age	175
<i>О.В. Кузьмина.</i> К вопросу о происхождении височных подвесок в 1,5 оборота абашевской культуры	178	<i>O. Kuz'mina.</i> The Problem of the Origin of the Abashevo 1,5-Turned Temple Pendants	178
<i>Софи Легран.</i> Результаты статистических исследований могильников карасукской культуры: архитектура, погребальный обряд и инвентарь	181	<i>S. Legrand.</i> Statistic Research of the Karasuk Burial Grounds: Architecture, Funeral Rite and Offerings	181
<i>С. Н. Леонтьев.</i> К вопросу о сейминско-турбинской традиции на Среднем Енисее	181	<i>S. Leontyev.</i> The Seimino-Turbino Tradition in the Middle Yenissei Basin	181
<i>Р.А. Литвиненко.</i> Катакомбное наследие в бабинской культуре	183	<i>R. Litvinenko.</i> The Kurgan (Catacomb) Trace in the Babino Culture	183
<i>Д.А. Мачинский.</i> Новое о древнейшем сакральном пути Евразии, о взаимосвязи афанасьевской культуры и стел с «Трехглазыми ликами»	190	<i>D. Machinsky.</i> More about the Most Ancient Sacred Way through Eurasia and Mutual Connections of the Afanasievo Culture and Stelae with «Three-eyed Face-masks»	190

<i>Е. А. Миклашевич.</i> Обломки плит – фрагменты мифов (или о точности копирования и возможностях интерпретации окуневского искусства)	197	<i>E. Miklashevitch.</i> Plate Fragments as Fragments of Myths (or the Accuracy of Copying and Interpretation Potentialities of the Okunevo Art)	197
<i>Ю.И. Михайлов.</i> К проблеме определения этнокультурной принадлежности синташтинских памятников	200	<i>Ju. Mikhailov.</i> The Problem of Finding out Ethnic and Cultural Membership of the Sintashta Relics	200
<i>Г.Т. Обыденнова, И.А. Шутелева, Н.Б. Щербаков.</i> Место Мурадымовского поселения в системе памятников бронзового века Башкирского Приуралья	205	<i>G. Obydenmnova, I. Shuteleva, N. Shcherbakov.</i> The Muradymov Settlement within the System of the Bronze Age Relics in the Bashkir Region of the Urals	205
<i>Д.В. Папин.</i> Проблемы трансформации позднебронзовых культур в переходное время от эпохи бронзы к раннему железному веку на Верхней Оби	206	<i>D. Papin.</i> Transformation of the Late Bronze Age Cultures during the Period of Transition to the Early Iron Age in the Upper Ob Basin	206
<i>А.Ф. Покровская.</i> Наскальное искусство Притомья. Природный фактор	208	<i>A. Pokrovskaya.</i> The Factor of Nature in the Rock Art of the Tom' Basin	208
<i>А.В. Поляков.</i> Схема периодизации классического этапа карасукской культуры	209	<i>A. Polyakov.</i> The Scheme of Chronological Ordering for the Classical Stage in the Karasuk Culture	209
<i>В.В. Потапов.</i> Об одной группе погребений из Саратовского Поволжья	213	<i>V. Potapov.</i> A Group of Burials in the Saratov Region of the Volga Basin	213
<i>Т.М. Потемкина.</i> Модели организации сакрального пространства в энеолите степной Евразии	216	<i>T. Potemkina.</i> Standards for Organising the Sacral Space in Eurasian Steppe Cultures of Eneolithic Age	216
<i>Е. Савва.</i> Генезис, периодизация и абсолютная хронология культуры Ноуа (по материалам погребального обряда)	221	<i>E. Savva.</i> The Genesis, Chronological Ordering and Absolute Chronology of the Noua Culture	221
<i>Вл.А. Семенов.</i> Генезис аборигенов-оленоводо-северо-востока Саяно-Алтайского нагорья	223	<i>Vlad. Semenov.</i> The Genesis of Aboriginal Deer-raisers of the North-east Sayan-Altai Plateau	223
<i>М.Б. Слободзян.</i> Наскальные изображения колесниц как археологический источник	227	<i>M. Slobodzyan.</i> Rock-carved Images of Chariots as Archaeological Source	227
<i>Л.А. Соколова.</i> Характеристика и типология окуневского керамического комплекса	230	<i>L. Sokolova.</i> Characteristics and Typology of the Okunevo Pottery Complex	230
<i>Н.Ф. Соловьева.</i> Каменные статуи Илгыны-депе	236	<i>N. Solovyeva.</i> Stone Statues from Ilgynly-depe	236
<i>С.В. Студзицкая.</i> Стилистические особенности антропоморфной мелкой пластики лесной Евразии в эпоху неолита и бронзы	240	<i>S. Studzitskaya.</i> Stylistic Features of Anthropomorphic Small Plastics of the Forest Eurasia in the Neolithic and Bronze Age	240
<i>В.А. Трифонов.</i> Ареалы древних культур и климатические изменения на Кавказе в эпоху энеолита–ранней бронзы	244	<i>V. Trifonov.</i> Ancient Cultural Territories and Climate Changes in the Caucasus during the Eneolithic – Early Bronze Age	244
<i>Е.Г. Фурсикова.</i> О стилистических параллелях в окуневском и скифо-сибирском искусстве	247	<i>E. Fursikova.</i> Stylistic Parallels in the Okunevo and Scythian–Siberian Art	247
<i>Э.С. Шарафутдинова.</i> О волго-уральских типах сосудов в памятниках срубной культуры	251	<i>E. Sharafutdinova.</i> The Volga–Urals Type of Vessels Found among the Relics of Srubnaya Culture	251
<i>Т.А. Шаровская.</i> Технология изготовления алебастровых сосудов	252	<i>T. Sharovskaya.</i> Technology of Alabaster Vessels Making	252
<i>Н.И. Шишлина, О.В. Орфинская, В.П. Голиков.</i> Текстиль эпохи бронзы Северного Кавказа: проблема происхождения	253	<i>N. Shishlina, O. Orphinskaya, V. Golikov.</i> Textiles of the Bronze Age Northern Caucasus: the Problem of Origin	253
<i>А.Я.Щетенко.</i> Коллективное погребение эпохи бронзы в Южном Туркменистане	260	<i>A. Shchetenko.</i> The Bronze Age Collective Burial in the South Turkmenistan	260

<i>Д. Эрдэнэбаатар. Об итогах исследования херексурсов в Монголии</i>	260	<i>D. Erdenebaatar. The Results of the Investigation of Khereksurs in Mongolia</i>	260
<i>А. Семи-Гунери. К вопросу о культурных связях северо-восточной Турции с Кавказом и Центральной Азией в эпоху поздней бронзы–раннего железа</i>	262	<i>A. Semih Guneri. Some remarks on the cultural relations between northe-astern turkey and the caucasus — central asia during the late bronze–arly iron age</i>	262
<i>Дж. Дэвис-Кимбэлл. Семантика использования лошади в эпоху бронзы и раннего железа в Евразии</i>	264	<i>J. Davis-Kimball. The Semantic Use of Horses in the Bronze and Early Iron Ages of Eurasia</i>	264
<i>К. Линдафф. Как оказались сибирские вещи на территории династического Древнего Китая?</i>	264	<i>K.M. Linduff. Why Have Siberian Artifacts Been Excavated Inside the Ancient Dynastic Chinese Borders?</i>	264

СТЕПИ ЕВРАЗИИ В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

*Материалы Международной научной конференции,
посвященной 100-летию со дня рождения
МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ГРЯЗНОВА*

Книга I

Редакторы

Г. В. Голубева, М. Н. Дятлова

Художественный редактор

А. Р. Шилов

Корректоры

В. Ю. Самохина, Е. В. Торопова

Макет и компьютерная верстка

Н. А. Лакатош, Е. Ю. Петухова

Изготовление диапозитивов

В. А. Смирнов

ЛП № 000023 от 09.10.98

Подписано в печать 05.03.2002. Формат 60 x 90^{1/8}

Уч.-изд. л. 39. Тир. 600. Зак. 35

Издательство Государственного Эрмитажа
190000, С.-Петербург, Дворцовая наб., 34

Отпечатано на ротапринтере Государственного Эрмитажа
190000, С.-Петербург, Дворцовая наб., 34